

Scan Kreyder - 29.09.2019 - STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

*

Русская литература



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
БИБЛИОТЕКИ КЛАССИКИ

АЛЕКСЕЕВ М. П.
АНДРЕЕВ Л. Г.
БЕРДНИКОВ Г. П.
ГРИБАНОВ Б. Т.
ДОЛГОВ К. М.
ОЗЕРОВ В. М.
ПУЗИКОВ А. И.
САХАРОВ А. Н.
СЕВРУК В. Н.
ХРАПЧЕНКО М. В.
ЧХИКВИШВИЛИ И. И.
ШМАРИНОВ Д. А.



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

И. С. ТУРГЕНЕВ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Вступительная статья
В. Кулешова

Примечания
В. Фридлянд

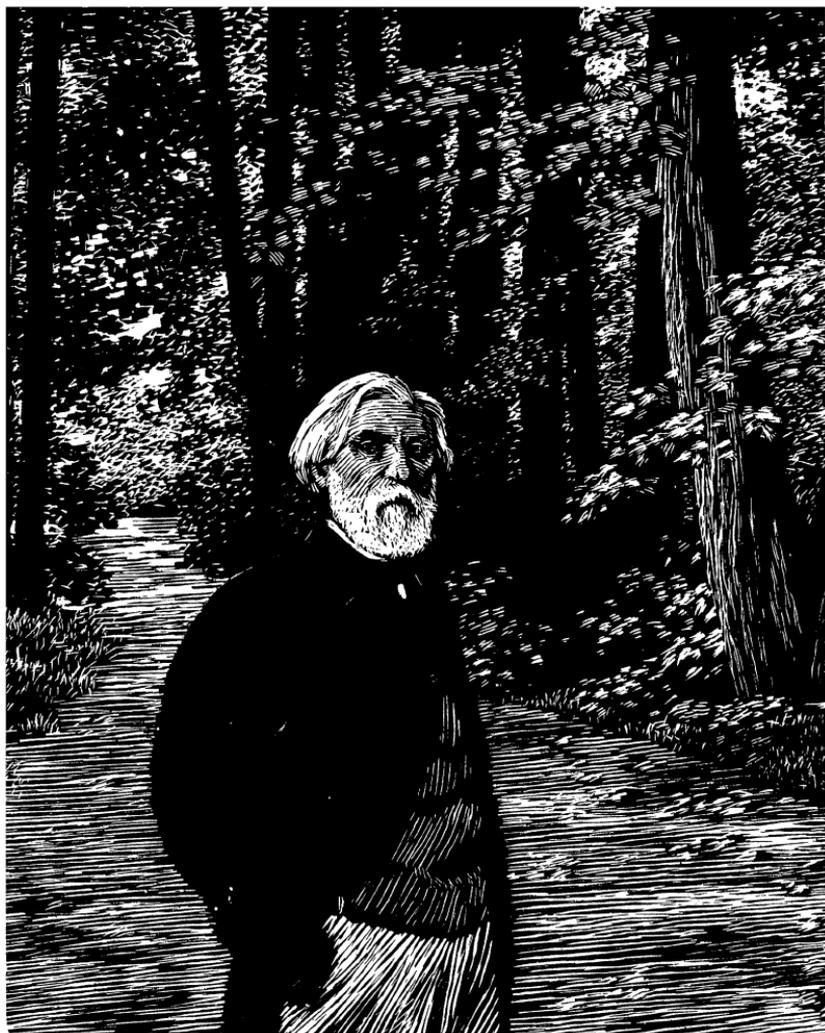
Текст печатается по изданию:

И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений
и писем в 28-ми томах, тт. IV, V, VII, X
(1963—1965). М.—Л., «Наука».

Иллюстрации
В. Домогацкого и Д. Боровского

Т $\frac{70301-262}{028(01)-79}$ 2-79

© Вступительная статья, примечания, иллюстрации Д. Боровского. Издательство «Художественная литература», 1979 г.



ТУРГЕНЕВ—МАСТЕР РАССКАЗА И ПОВЕСТИ

Мысль о мастерстве — естественная и первая, когда речь идет о таком художнике, как Тургенев. Как всякий большой писатель, он был новатором, внесшим значительный вклад в разработку жанра рассказа и повести. Эту его заслугу важно отметить особо, так как в нашем сознании Тургенев — романист и «общественный писатель» все еще заслоняет собой Тургенева — мастера «малых» прозаических форм, в то время как «Записки охотника» и повести 50—70-х годов являют собой целую эпоху в истории отечественной прозы.

В русской литературе повесть сложилась раньше рассказа: ее образцы есть уже у Пушкина и Гоголя; рассказ же, строго говоря, начинается с «Записок охотника» Тургенева, которым предшествовал «физиологический очерк». Его успешно разрабатывали писатели «натуральной школы».

Жанр «физиологического очерка» ставил своей задачей изучение тем, до той поры еще не затронутых в русской литературе. Предметом исследования обычно становилось какое-либо «низменное» явление, к которому надо было привлечь общественное внимание, изучить его признаки, функции («физиологии»). Писатели «натуральной школы» создали целую теорию о влиянии на человека окружающей среды. Для «натуральной школы» программными жанрами были не только «физиологические очерки», но также и повести (М. Салтыкова, В. Соллогуба, В. Даля, И. Панаева) и романы («Бедные люди» Ф. Достоевского, незаконченный «Тихон Тростников» Н. Некрасова). Но все они оказывались так или иначе связанными с «физиологиями».

Нарочитый отказ от вымысла, голая правда факта, «натуральность» — вот что было девизом «школы». Понятие «натуральность» легко соединилось в 40-е годы с термином «физиология», пришедшим из Франции, где на литературу определенным образом начали оказывать влияние успехи естествознания. Такого рода влияние и взаимодействие художественных и научных методов не всегда оказывалось благотворным для прозы, как это

позднее и произошло с «натурализмом» школы Золя. Но в 40—60-е годы «физиологический очерк», с его стремлением к бесспорной достоверности, способствовал углубленному реалистическому постижению жизни. «Натуральная школа» стремилась проникнуть в «анатомию» общественной жизни, в механизм взаимодействия антагонистических сословий, расширяя социальный диапазон прозы. Писатели «натуральной школы» открывали до сих пор не изведенные стороны российской действительности.

«Физиологический очерк», с его подчиненностью реальному факту, наблюдению, был вместе с тем проводником гуманных, альтруистических идей у таких писателей, как Салтыков, Достоевский-«петрашевец», Бутков, Плещеев.

В ранней прозе Тургенева заметны следы прямого влияния Пушкина. Например, «Три портрета» — это рассказ о событиях и лицах по старинным «портретам» (по «картине», как у Пушкина в «Выстреле»). Описания крутых нравов помещиков-крепостников можно возвести не только к преданиям о роде Лутовиновых, но и к Троекурову из «Дубровского». Поэтический колорит «Свидания» напоминает «Барышню-крестьянку», хотя у Тургенева воспроизведена подлинная драма жизни, а не мирные, с элементом пасторальности, взаимоотношения, как у Пушкина. Требования «нагой простоты», «мыслей и мыслей» были органично восприняты Тургеневым, но его проза уже этой поры заметнее пушкинской окрашена в лирические тона.

Еще в большей мере ощутимо влияние на Тургенева реализма Гоголя. Тургенев вслед за создателем «Мертвых душ» нарисовал типы провинциальной России, помещиков-степняков, одаренных, смысленных крестьян, лишь эпизодически воспроизводимых Гоголем: вспомним хотя бы в «Мертвых душах» каретника Михеева или убежавшего на вольницу Абакума Фырова и других. Но у Тургенева мужики предстали как «живые души», подлинная опора нации, резко противостоящие миру господ. Заметно влияние Гоголя и в отдельных художественных приемах: в шаржированном описании гостей-монстров, собравшихся в имении помещика Александра Михайлыча Г***, в сцене третнего ожидания «важного сановника» («Гамлет Щигровского уезда»). Или, например, в юморе, с которым описывается бесшабашный удалой нрав Чертопханова и кроткий облик его смиренного подопечного Санчо-Недопюскина. Но искрометность стиля, особый — трагической окраски — лиризм Гоголя были чужды Тургеневу; его стиль — прозрачно-спокойный.

С «натуральной школой» Тургенева роднит обостренное внимание к простому человеку, характерное для Гоголя, «отца школы». Крестьянина как личность автор «Записок охотника» открывает одновременно с Д. В. Григоровичем и Н. А. Некрасовым. Тургенев использовал жанр «физиологического очерка» для создания образов крестьян и провинциальных помещиков, и в этом отношении пошел дальше «натуральной школы», в основном — урбанистической, которая прежде всего интересовалась жизнью

городской бедноты, дворников, шарманщиков, обитателей «петербургских углов».

С появлением «Записок охотника» можно сказать, что традиционный для русской прозы 40-х годов жанр Тургенев преобразовал в рассказ, долгое время, однако, носивший в себе черты «физиологического очерка». Поэтому Белинский не раз говорил, что «настоящий род таланта Тургенева физиологический очерк разных сторон русского быта и русского люда». Автор «Записок охотника» с полным основанием был причислен к писателям «натуральной школы»: он сам хотел непременно участвовать в Некрасовских сборниках. Сохранился черновой прозаический набросок, из которого ясно, что Тургенев намеревался описать гавань и другие уголки Петербурга. Через «физиологический очерк» прошел и молодой Л. Н. Толстой («Рубка леса», 1853). Некрасов писал Тургеневу 18 августа 1855 года: «В IX номере «Современника» печатается посвященный тебе рассказ юнкера «Рубка лесу»... Это очерк разнообразных солдатских типов... то есть вещь доньше небывалая в русской литературе...»

«Записки охотника» возникли в атмосфере обозначившегося в ряде европейских литератур широкого движения к «низам», к народу. Тургеневский цикл перекликается с крестьянскими рассказами «Чертова лука», «Маленькая Фадетта» Ж. Санд, «Шварцвальдскими деревенскими рассказами» Б. Ауэрбаха.

Художественный принцип «физиологического очерка» — подчеркнутая достоверность изображения — совпадал с самой природой таланта Тургенева: рисовать с натуры. Его образы большей частью имели реальные прототипы, их отдельные черты автобиографичны, в языке множество этнографических «эссенций», то есть областных, профессиональных слов, речений, которые писатель сам тут же пояснял.

Казалось бы, такое «приземление» грозило снижением художественных достоинств произведений, и многие «физиологические очерки» действительно остались достоянием сравнительно узкого круга историков литературы. Но Тургенев знал меру опоры на «голый» факт, служивший ему лишь отправным пунктом. И это не противоречило гоголевской манере — отталкиваться от живой действительности, не боясь гиперболлизации и заострений. Вспомним: самые причудливые сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ» не выдуманы, это реальные случаи, которые рассказал Гоголю Пушкин, сам слышавший их от других.

«Натуральная школа» исследовала факты не ради них самих: она была воодушевлена великой идеей общедоступности искусства. Рассказ становился вызывающе демократическим жанром, который властно вторгался в самые разнообразные сферы жизни.

В этом смысле Тургенев — творец «Записок охотника» — нашел новый типологический принцип, создал характеры, которые в дальнейшем образовали как бы внутренний психологический стержень героев его прослав-

ленных идеологических романов. Это типы рационалиста, мыслителя-скептика и поэта, детски непосредственного, близкого к природе.

Так, например, в рассказе «Хорь и Калиныч» решались те же задачи, которые ставились авторами «натуральной школы», но решались другими художественными средствами.

С первой же страницы читатель вовлекается в, казалось бы, привычное для «физиологического очерка» рассуждение о том, чем отличается мужик Орловской губернии от мужика Калужской губернии. Автор специально сопоставляет два основных психологических типа — и именно это делает сюжетом очерка. Мужики предстают здесь как пекие объекты изучения, достойные самых скрупулезных, детализированных описаний (внешность, уклад жизни и т. д.).

«На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь... Склад его лица напоминал Сократа», — так пишет автор, подчеркнуто возвышая тем самым героя и ставя его в ряд великих характеров, достойных памяти людей. «Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист...» — замечает далее Тургенев.

Такими же смелыми, неожиданными красками, хотя и с помощью совершенно другого сравнения, обрисован Калиныч — человек мечтательный, идеалист, исполненный врожденной любви к Прекрасному. Он приходит к своему другу Хорю с пучком земляники, как «посол природы». (В первой публикации рассказа Калиныч уподоблялся романтическому Шиллеру, а Хорь — более «земному» Гете.) И хотя герои рассказа — типы противоположные, тем не менее «они составляют единство, которому имя — человечество». Впервые в мировой литературе крестьяне выступают как носители лучших черт национального характера.

Но рассказ преследовал и откровенно полемические цели — он был явно направлен против «западнического» космополитизма и снобизма по отношению к народу, и Белинский сразу же обратил внимание на эту тенденцию «Хоря и Калиныча».

В обзоре русской литературы за 1847 год Белинский ставил перед читателем вопрос: «...что может быть интересного в необразованном, грубом человеке? — Как что? — отвечал сам же критик. — Его душа, ум, сердце, страсти, склонности, — словом, всё то же, что и в образованном человеке, а иногда в мужике оказывается больше мыслей и чувств, чем в аристократе. С другой стороны, в «Хоре и Калиныче» заметна полемика и со славянофилами, особенно в том месте, где рассказчик заявляет: «...из наших разговоров я вынес одно убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед». Славянофилы же утверждали, что реформы Петра I оторвали Россию от исконной русской народности и что главная добродетель русского народа — послушание, сми-

рение, отсутствие предприимчивости. А Хорь и Петр I, оказывается, родственные души.

В «Записках охотника» главенствуют три темы: жизнь крестьян, жизнь помещиков и духовный мир образованного сословия. Главный пафос этого цикла — изображение задвленных крепостничеством народных сил, безграничной талантливости, нравственной и духовной красоты народа. Белинский писал, что автор здесь «зашел к народу с такой стороны, с какой до него к нему никто не заходил», то есть со стороны нравственно-этической и эстетической. В этом прежде всего и заключался могучий протест Тургенева против крепостного права.

Крепостничество выступает в «Записках охотника» во всех разновидностях и оттенках: деревня Колотовка — от слова «колотить»; непроницаемый, недоверчивый Хорь заметно оживляется, когда собеседник заговаривает с ним о «свободе», об откупе от «доброго» барина...

Рассказ «Бурмистр» — одно из самых острых антикрепостнических произведений Тургенева. В окончательной редакции он дописывался в Зальцбрунне летом 1847 года, где в это время лечился Белинский; рассказ создавался под влиянием статей критика.

В «Бурмистре» запечатлена картина крепостнических взаимоотношений — перед барином на коленях, с обнаженными головами, стоят два крестьянина, отец и сын; они просят о помощи и жалуются на притеснения бурмистра Софрона, присутствующего тут же. Но вопли обезумевших от горя крестьян объявляются «бунтом». Никогда еще в литературе после А. Радищева так зримо не сводились в одном повествовательном полотне барин и мужик как потенциальные враги. Лицемерно-вежливое распоряжение Певочкина о камердинере, забывшем нагреть вино: «насчет Федора... распорядиться», — дает возможность представить себе, что ожидает этих «несравненных» крестьян.

В «Записках охотника» автор довольно часто прибегает к эзоповскому языку, к иносказаниям, намекам. Умиравшая Лукерья в «Живых моцах» утешает себя: «привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает». Куда же еще хуже? Но она радует о крестьянах, изнывающих на барщине и оброке. Заоря, в защите барских интересов, пропадает недюжинная сила, ум и способности красавца-лесничего Бирюка. Тургенев не изображает злодеев, а между тем во всем чувствуется до предела накаленная атмосфера, ибо самым тяжелым преступлением крепостничества было каждодневное, незаметное убийство живой души в подневольном рабе, лишение его человеческих прав. Весь ужас такого существования таился именно в этой обыденщине.

Как обличитель крепостничества Тургенев особенно выразителен в рассказах, повествующих о личных драмах, о загубленных судьбах. Особенность в изображении любовных трагедий, безысходности, поспрашивания самого святого в чувствах человека состоит у Тургенева в том, что это делается сдержанно, с обобщающей многозначностью рисунка, тонкостью ретуши.

В «Ермолае и мельничихе» писатель показывает, из какого бесконечного житейского моря черпает он материал, из какого сложного переплетения людских судеб складывается жизнь отдельного человека. Арина Тимофеевна вроде бы не жалуется на судьбу: мельник Савелий Алексеевич ступил горничную у Зверковых. Но она чуть не погибла, когда посмела просить разрешения выйти замуж за лакея Петрушку. Разгневавшийся господа приказали остричь Арину, «...одеть в затрапез и сослать в деревню». Ее жизнь сломлена. Она явно гибнет, превращается в живые мощи, как и Лукерья.

Однако в рассказе «Ермолай и мельничиха» суть не во взаимоотношениях Ермолая и мельничихи, хотя какой-то намек на их отношения есть. Неопределенность ретуши, акварельность рисунка была сознательной задачей Тургенева-художника. Сюжет здесь нарочито не развит, но есть в отношениях между этими людьми, в переживаниях их настроений какая-то высшая правда, ее-то и стремится передать Тургенев.

В другом рассказе — «Свидание» — удивительно тонко передано глубокое чувство впервые полюбившей юной Акулины (особенно по контрасту с цинизмом и бездушием ничтожного Виктора, избалованного барского камердинера, бросающего ее на произвол судьбы). «Свидание» — одна из самых лиричных и драматических глав «Записок охотника». Недаром этот рассказ понравился Чехову и он написал почти на ту же тему своего «Егеря».

Белинский высоко оценил рассказ «Петр Петрович Каратаев» за правдивое изображение еще одной человеческой трагедии. Ему пришелся по душе образ главного героя — типично русского человека, да еще «с московским оттенком» (рассказ имел первоначальное название «Русак»). Каратаев тоже жертва жестоких социальных условий: когда ушла его возлюбленная, крепостная Матрена, принадлежавшая другой помещице — злобной самодурке, он спивается. Каратаев не может себе простить, что стал «голубем мужества» и не сумел завоевать своего счастья. В Каратаеве можно уловить черты Веретьева из повести «Затишье». Физическое и нравственное рабство мешает развиваться искреннему, сильному чувству подневольного крестьянина. Однако уродливые общественные условия губят и господ («Мой сосед Радиков»). Овдовев, Радиков не может обвенчаться с любимой женщиной, ему нужно лгать и притворяться: нормы сословной морали и церковных установлений не разрешают соединить свою жизнь с сестрой первой жены. Полюбившие друг друга люди обречены на разлуку: фальшивая мораль делает их любовь «незаконной». Но во всем рассказе — опять же как бы намеченные тонкой ретушью — чувства нигде не афишированы, они сдержанны и глубоки.

Обескураживающая бестолковщина крепостнического хозяйствования, которая убивает у крестьян любовь к труду и самый смысл труда, показана в рассказе «Льгов». Из рук в руки переходившая ревизская душа, дворовый

мужик Сучок успел побывать и в звании «рыболова» (хотя в местной реке и рыбы-то нет), и «кучером», два раза «поваром» (хотя ничего стряпать не умел), и «кофишенком» (кофе подавал), и звали его по приказу барыни не Кузьмой, а Аптопом. Был он и «ахтером», на «княгге» слепого представлял, был и «казачком», и «фалетором» (форейтором), садовником, до-скажачим, сапожником. Ясно, что он никем толком не был. Не дозволено было ему и жепиться. Так бессмысленно, бобылем, обломленной веткой без лвтвеств доживает Сучок свой век.

Осмеял Тургенев горе-рационализаторские начинания господ. Такова помещица Лоснякова, мало понимающая в хозяйстве, но затеявшая открыть сельскую контору. Двойным гнетом легли на плечи мужиков ее нововведения: кроме прежних начальников, появились спевшиеся в круговой поруке главный конторщик, наглый Николай Еремеич, и никчемные секретари, кассиры... Компячески бессмысленные затеи барыни они превратили в источник наживы и за ее спиной вершили свои темные дела, обирая и ее самое.

Тургенев показал, как может не падить своего же брата крестьянина пригретый господами дворовый или управляющий. Бурмистр Софрон Яковлевич выглядит пострашнее Пеночкина: «собака, а не человек», он уже и Шипиловкой владеет, «крестьяне ему кругом должны». Никакого намека на общинный мир, па силу заступничества всех за одного. В этом смысле Тургенев был значительно правдивее многих будущих писателей-народников, идеализировавших крестьянский «мир». Его картины крепостничества столь же суровы, как и в «Пошехонской старике» Щедрина, созданной почти через полвека.

Уловил Тургенев и начала протеста, мятежа в народной среде. Гордая сила таится в великане-вожаке, шутнике-разбойнике из рассказа «Стучит!». Откупилсь же ездоки, Фелюфей и рассказчик, своим «заячьим тулупчиком». И точно так же, как Пугачев у Пушкина, разбойник говорит прибаутками да угрожающими обиняками на своем воровском жаргоне. Бирюку было бы под стать примкнуть к таким удалым головам. И Ермолаю тоже, и Якову Турку, спел бы он им на привале «Не шуми, мати зеленая дубровушка»... Под стать было бы и тем двум крестьянам, которые преклонили колепа перед Пеночкиным. Да и Герасиму из «Муму».

И все-таки по преимуществу Тургенев изображал глубоко затаенный ропот. Еще нерешителен умница и всепонимающий Митя, «сродственник» однодворца Овсяникова. Но он грамотен и пишет просьбы от имени шутомилевских крестьян, у которых сосед Беспандин четыре десятины запахал: «Моя, говорит, земля». На выселках живет Касьян — сектант, хранитель народной мудрости, один из «бегунов» или «странников», отгораживающийся от людской неправды. Касьян не видит в окружающей его действительности справедливости, он живет в безбрачье, сторонится даже обычных крестьянских занятий, отвергает собственность, деньги, полагая все это антихристовым, вражьим делом. Касьян с трепетной любовью относится ко

всякой живой твари на земле, косо встречает охотника с ружьем: «показать свету кровь — великий грех и страх», — и даже хвалится, что своими заговорами сумел отвести от охотника всю дичь. Это — человек светлой мечты о сказочном будущем, о стране, где «живет птица Гамаюн сладкогласная» «и всяк человек живет в довольствии и справедливости...».

Конечно, только по цензурным условиям Тургенев не смог осуществить один из своих самых смелых замыслов. В заготовках сюжетов для «Записок охотника» у него помечен рассказ «Землеед». Краткое содержание замысла «Землееда» имеется в письме Тургенева к П. В. Анненкову от 25 октября (6 ноября) 1872 года, посланном из Парижа: «...в этом рассказе я передаю совершившийся у нас факт, как крестьяне уморили своего помещика, который ежегодно урезывал у них землю и которого они прозвали за то землеедом, — заставили его скушать фунтов 8 отличнейшего черпозему».

Почти все встречи охотника с героями рассказов происходят ненароком, обыденно: в поюсках ночлега, мест, где хорошая тяга, водятся глухари, вальдшнепы, но всегда эти встречи — неожиданные открытия. В рассказе «Бежин луг» использован подлинно поэтический, даже символический прием: заблудиться, чтобы открыть... Рассказчик-охотник сбился с пути и за речкой, на лугу, набрел на мальчиков у костра в ночном. И открыл для себя богатый, полный фантастики и мудрости мир народных поверий, сказок, примет, удали, выразившийся во всей неподдельной искренности в юных трепетных душах, готовых откликнуться на все прекрасное, доброе.

Для понимания общего пафоса «Записок охотника» имеет принципиальное значение рассказ «Певцы». В нем Тургенев развивает мотив «кустика земляники», светлые мотивы «Бежина луга». Журнал «Современник» в своем отзыве о «Певцах» особо выделял то место, где описывается эффект, произведенный на слушателей пением Якова: пение было для крестьян «лучшим выражением того, что у них давно таилось на душе; но было поэзией их жизни, и в нем как в зеркале все они выразились». Некрасов называл рассказ «Певцы» «чудом». И действительно, в общем контексте «Записок охотника» «Певцы» занимают особое место, являясь как бы гимном естественной народной жизни, с ее трагическими противоречиями и контрастами. Тургенев так писал К. С. Аксакову: «...по моему мнению, трагическая сторона народной жизни — не одного нашего народа — каждого — ускользает от Вас, между тем как самые наши песни громко говорят о ней!» «Певцы» и являются художественным воплощением этой мысли: в песне Якова Турка было потрясающее душу ощущение не находящих выхода могучих сил народа. Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо» тоже покажет эти перепады народных настроений: то веселье, то грусть, то мучительные поиски ответа на поставленный в заглавии вопрос, то «пир на весь мир».

«Записки охотника» — эта своеобразная «энциклопедия народной жизни» — служили той же цели, которую поставил революционный демократ Чернышевский. В них была и тема мести угнетателям, насколько мог ее коснуться писатель при Николае I, в них был и апофеоз великого жизнелюбия и талантливости русского народа, была в них и великая правда о его недопустимом бедственном положении, с чем нельзя больше смириться. Эту-то правду писатель и считал «главным героем» своих «Записок охотника».

До Тургенева русская литература мало занималась провинциальным помещичьим бытом. Отдельными островками стоят «Недоросль» Фонвизина, «Староветские помещики», «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и «Мертвые души» Гоголя. Тургенев в своих повестях и рассказах продолжает гоголевские традиции, и в этой области писатель разоблачает крепостников как сословие духовно бедное, окруженное «мелочами жизни», запутавшееся во лжи и лицемерии.

Рафинированным, изощренным угнетателем крестьян в «Записках охотника» выведен помещик Пеночкин. Англоман, он завел у себя заграничные порядки, содержит отличного повара, у него камердинеры ходят в ливреях и в перчатках. Но Пеночкин прикрывается своей показной цивилизованностью: он держит всех крепостных в трепете.

В. И. Ленин не раз ссылался на этот тургеневский образ европеизированного русского помещика, который, несмотря на свой внешний лоск, был и оставался махровым крепостником. В Пеночкине выведен помещик новейшего образца, «западник», копирующий внешние формы европейского комфорта, склонный иногда на словах либеральничать и тем более отвратительный в своем цинизме.

В духе «физиологий» выведены Тургеневым и другие персонажи помещичьего мира: отставной генерал-майор Вячеслав Илларионович Хвалынский и Мардарий Аполлонович Стегунов. У генерал-майора очень пышное, словно что-то обещающее имя, отчество и фамилия, а на самом деле его жизнь предельно ничтожна: вся она свелась к мундиру, «форме», спеси, распеканию нижестоящих, чисто внешнему соблюдению приличий.

Сочетание имени, отчества и фамилии — Мардарий Аполлонович Стегунов — по-гоголевски хлестко и наводит на мысль, что этот человек — мастер своего «дела». Внешне он вроде бы не походил на Хвалынского, но внутреннее сходство явно: старорежимный старичок, хлебосол и балагур, умел блюсти свое добро: «Чьи это куры? Чьи это куры? Чьи это куры по саду ходят?» И тут же провинившийся наказывается.

Висмеяна Тургеневым и ложная значительность дворянской провинциальной образованности.

Не оправдавший надежд, тупой, карикатурный Андриуша Беловзоров возвращается в имение тетушки, чтобы прожить свой век в безделье («Татьяна Борисовна и ее племянник»). Каким же истинным артистом выглядит рядом с этим баричем, художником-неудачником крепостной Яков Ту-

рок. Господская безмятежная жизнь развивала праздность и апатию ума. Таков и меценат Беневоленский: человек «положительный, даже дюжинный... с коротенькими ножками и пухленькими ручками», который приятно улыбался, имел сердце добрейшее и «пылал бескорыстной страстью к искусству», ничего в нем не смысля. Такова и «старая девица», гостья Татьяны Борисовны, без умолку верещающая о немецкой философии, о переписке Беттины с Гете, ничего в них не понимая. Но она почитала себя «богатой натурой», сумела развить в себе благородную экзальтацию и затеять жаркую переписку, полную горячего любовного бреда, со случайным проезжим студентом, в которой приносила «всю себя» в жертву. Опошление высоких вкусов и понятий — это тоже своего рода роскошь, которую можно себе позволить в праздности. Тургенев первым заговорил об этой страшной беде, о подделке под духовность, проявившейся в самых новомодных формах в массе дворянства.

Но и в дворянской среде рождались протестующие личности, появлялись натуры цельные и стойкие, остающиеся самими собой до конца, несмотря на драматические обстоятельства жизни.

Дикий Барин из рассказа «Певцы» — загадочная, неясная фигура, но, несомненно, таящая в себе какие-то могучие стихийные силы. «В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что, раз поднявшись, они сорвутся раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего они коснутся...» Не случайно Тургенев именно Дикого Барина делает судьей в состязании певцов. Этот недюжинный человек, «выломившийся» из своей среды, по душе — художник во всех смыслах этого слова.

Все у Пантаеля Чертопханова — слова и поступки — «дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной». Чертопханов истинно благороден: он спасает от издевательств забитого Недопюскина, осаживает Ростислава Штоппеля, вздумавшего шпынять наследника-конкурента. Его безграничная привязанность к донскому коньку, романтично названному Малек-Аделем (по имени благородного героя, храброго воина из романа Софи Коттен), выдает всю меру его одиночества; он напоминает Герасима из «Муму». Чертопханов гибнет, как гибли на Руси многие открытые, честные люди.

Особая тема «Записок охотника» — духовные искания развитой, думающей части дворянского сословия. Эти люди вроде бы и должны были сказать России «всемогущее слово «вперед!» (Гоголь). Но в 40-х годах уже появились первые серьезные сомнения в способности русского вольнодумца, философа из дворян, найти правильные пути для практической деятельности. Тургенев внес важный вклад в развенчание претензий русских Гамлетов ответить на вопрос: «Быть или не быть?» Критическому рассмотрению подверглась та популярная среди студенческой молодежи конца 30-х — начала 40-х годов идеалистическая философия, на которую они опирались.

Герой рассказа «Гамлет Щигровского уезда» — рефлектирующий и самолюбивый неудачник. Он так же экзальтирован, как и «старая дева» в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник». Предмет страсти героя — Гегель. Он увлекся этой философией в студенческих кружках при Московском университете; а потом побывал и в Берлине, где пережил чувствительный роман. Позднее его поглотил русский провинциальный быт: он всего только мелкий чиновник, да и то теперь не у дел. Герой оказывается с рассказчиком на ночлеге в одной комнате; это странное существо таинственно возникает в вечерних сумерках и исчезает, как призрак, на утренней заре. Он сам предлагает насмешливое определение своего второго «я»: «Гамлет Щигровского уезда». Внешне «Гамлет» производит странное впечатление: то «надвинул колпак себе на нос», то «зорко выглядывал из-под круглой каймы своего колпака». Он назойливо предупредителен в разговоре, в спорах занимается самоистязанием, сам первый и ввязывается в беседу. На каждый довод или вопрос «почему?» он вставляет свое «нет». А потом выпаливает целую тираду, под статью гоголевскому Поприщину; в ней — смесь претензий и бессилия: «Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше; во-вторых, я три года провел за границей: в одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь, знаю Гете наизусть... Стало быть, я вашего поля ягода; я не степняк, как вы полагаете... Я тоже засажен рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего».

В приведенной тираде нашли отражение важные штрихи биографии «западников»: Стапкевича, Бакунина, Грановского, Неверова, а также и «славянофилов»: Ивана и Петра Киреевских, К. С. Аксакова. Известно, что философские искания 30-х — начала 40-х годов были связаны с Германией. Имена Гегеля и отчасти Гете звучат в данном случае вполне оправданно. Не выезжая из России, эти «штудии» немецкого любомудрия прошли также Белинский и Герцен. Однако результаты этих увлечений были далеко не однозначны у представителей противоборствующих лагерей. Важен сам масштаб духовного порыва: Гегель! С другой стороны, вспомним, что именно для этого поколения особо остро существовала проблема Гамлета в той активной интерпретации, которую давал этому шекспировскому образу Мочалов на московской сцене. Белинский в одной из вдохновеннейших статей — «Мочалов в роли Гамлета» — воспел это увлечение своего поколения. Для Белинского и Герцена понятия «гамлетизм» и «гегельянство» во многом совпадали. Гамлет олицетворял собой не символ безволия: он был как бы в «переходном состоянии», в поисках теории, которая побуждает действовать. Это было «прочтение» «Гамлета» в духе «неистового Виссариона». Белинский и Герцен, увидевшие в диалектике Гегеля «алгебру революции», в «алгебре гамлетизма» усматривали не одну только рефлексию и безнадежный распад духа. Гамлет для них — человек, принимающий решение действовать.

Какую же в этом смысле идейную нагрузку несет образ тургеневского «Гамлета Щигровского уезда»? По-видимому, ироническое определение «Щигровский» — здесь решающее; ибо в этом проявляется провинциальная пародийность образа, явное снижение после «московского», мочаловского Гамлета. От Гамлета остается только рефлексия, которую он сам подчеркивает как собственное наиболее характерное качество, надеясь, что и слушающий его с ним «одного поля ягода». Эта рефлексия стоит даже ниже угрызений совести обиженного, неотомстившего Петра Петровича Каратаева, который с неумной бесшабашностью в кофейной на Охотном ряду вспоминает и Мочалова, и Гамлета. «Щигровская» же рефлексия ниже и «непосредственности» Чертопханова. Щигровский Гамлет, теперь уж совсем не к делу, упоминает Гегеля, а если и есть тут какая-либо связь, то только в смысле «примирения с действительностью»: «все действительное разумно». Из формулы Гегеля выброшена вторая ее половина: «все разумное действительно». Этому-то «разумному» и надо было пролагать путь в жизни, то есть действовать. Щигровский Гамлет примитивно понял идею «примирения» как смирение перед существующим. Совсем опуститься в грязь обывательщины и стать «как все» ему мешает одно самолюбие, его-то он и оберегает как последнее прибежище своей духовности. А во всем остальном он уже сдал свои позиции: «Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек... Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой,— я и у него табачку попрошу понюхать». Все сложное, духовное перетерлось, рассыпалось у щигровского героя на умозрительные парадоксы.

В молодости он подавал какие-то надежды и сам о себе имел достаточно высокое мнение, особенно перед отъездом за границу и в первое время после возвращения. Но что-то исконно «щигровское» проявилось у него уже в Берлине: герой, как говорится, «держал ухо востро», но не в том смысле, что примкнул к радикальному, скажем «левогегельянскому», движению или зачитывался Гервегом, Веертом, Фрейлигратом и чуял приближение грядущих бурь в Германии; нет, он и в «столице философии», Берлине, «особнячком пробирался», да еще оказывается, что именно так и вообще «следует» пробраться нашему брату, «который все смекает себе, смекает, а под копец, смотришь,— ни аза не смекнул!» Вот тебе и «оригинал, оригинал!», как о нем все думали. Щигровский Гамлет самую рефлексию, «сомнение» обузил и опошлил. В нем можно увидеть многие черты, отдаленно подготавливающие Парадоксалиста из «Записок из подполья» Достоевского. Такой вывод закономерен. Ведь из каких-то верований он исходит и слова говорит совершенно в духе героя Достоевского: «особнячком жил, особнячком пробирался», «смекал» себе, а потом и «аза» из верований принять не захотел. Он говорит о себе, что он человек «с замочком». Амбициозный герой стал еще более амбициозным, попав из Берлина в Щигры,— такая эволюция тоже в духе будущего героя Достоевского.

А профанирующие слова насчет «Далай-Ламы» и «табачку понюхать» готовят признания Парадоксалиста: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Здесь уже налицо крайнее проявление эгоизма. Щигровский Гамлет так же, как и Парадоксалист, топчет свое прошлое, особенно «кружок», как пошлость, скуку под именем братства и дружбы, он даже глумится над университетской молодостью. Это и есть высвобождение «подполья»: герой живет себе на уме, никогда не пойдет спасать людей от какого-нибудь «мрака заблуждения», так как сам не знает горячих слов «убеждения». Ему полюбили стихи из Шиллера, заканчивающиеся словами, что страшен не лев и не тигр, а «человек в его безумии». Но, пожалуй, всего страшнее в данном случае не безумие, а самолюбие. Можно перебросить мостик от щигровского Гамлета и к Раскольникову Достоевского: герой рассказывает, как он вернулся на родину: «Добросовестность вдруг, извольте видеть, во мне проснулась: мне что-то стыдно стало болтать, болтать без умолку, болтать — вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевом Вражке¹, и всё о том же...» Да, он не стал цепляться за столицу, он похоронил себя в провинции. Но тем ярче проявляется его самолюбие и желание реванша. Щигровский Гамлет переходит к чисто раскольниковским рассуждениям: «Что значит уверенность в самом себе и самолюбие! И у меня оно было, самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось... Да тем-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать». Раскольников не клялся ни Мочаловым, ни Гегелем, но он придумал себе Наполеона и решил, что ему «почем» пойти «в одном направлении», были бы уверенность и самолюбие. И он сожалел, что свернул с полпути и оказался на «этой» стороне с «тварями дрожащими». На Руси, говорит Тургенев в одном из своих произведений, «угрюмого от заспанного не отличишь». Вьется около этих мыслей и щигровский Гамлет. Но он не прошел и полпути, не добрался даже «до серединки». Думается, что в этом столь уничижительном названии — «щигровский» — для героя рассказа все же оставался глубоко запряганный островок самолюбия; он думал про себя: а все-таки я Гамлет, то есть Наполеон, — это-то он и постарался внушить собеседнику в сумраке ночи...

Какова же общая философская настроенность «Записок охотника»? Кажется, здесь все герои порождены самой природой, ее нерушимыми гармоничными законами, а не порочным обществом. «Записки охотника» начинаются с «физиологической» констатации разницы между типами мужчи-

¹ Тут указаны адреса салонов «славянофлов» и «западников» в Москве: «на Арбате», то есть вблизи на Собачьей площадке, в доме Хомякова; «на Трубе», то есть на Трубной площади, по соседству с которой, на Рождественском бульваре, был салон Павловых; «на Сивцевом Вражке» — дома Герцена и Аксаковых.

ков соседних уездов, заканчивается же цикл своего рода типами русской природы, гимном во славу ее, символическим рассказом «Лес и степь».

Для Тургенева природа — главная стихия, она подчиняет себе человека и формирует его внутренний мир. Русский лес, в котором «лпечут статные осины», «могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы», да необозримая степь — это главные стихии, определяющие в «Записках охотника» национальные черты русского человека. Это совершенно соответствует общей тональности цикла. Подлинным спасением для людей оказывается природа. Если в первом очерке-прологе повествователь просил обратить внимание на мужиков, то заключительный рассказ является лирическим признанием автора в любви к природе, «für sich»¹, как он сам шутивно говорит, прощаясь с читателем.

Образ рассказчика в «Записках охотника», очень нужный и активный, выступает в нескольких обликах. То как охотник, сталкивающийся с интересными лицами, когда вовсе не важна его принадлежность к привилегированному сословию, — это вариант «естественности» встречи и разговора (таковы его отношения с Ермолаем). То он случайный зритель или невольный свидетель встречи, разговора («Свидание», «Контора»). То чувствуется сословная дистанция: он — барин, встречающийся с господами, вспоминает о прежних встречах с лицами, проливающих свет на происходящее («Ермолай и мельничиха»). То рассказчик как бы совершенно растворяется в повествовании («Певцы»). Но он всегда симпатичен, благороден, стоит ближе к крестьянам-праведникам, чем к господам. Он даже берет сторону угнетенных: уговорил Бирюка помиловать крестьянина, брезгливо относится к Пеночкину и ему подобным. Это, несомненно, — просвещенный «друг человечества» в духе сороковых годов, проповедующий социальное равенство, видящий пороки крепостнической системы, угнетающей униженных и оскорбленных. Он хочет бесконечно двигаться вперед в этом направлении к «низам», он дал «аннибалу» клятву бороться.

В повестях, которые создавались после «Записок охотника», писатель испытывает естественную потребность в большем самовыражении, а с другой стороны, — желание сказать об окружающей жизни голосами самих героев.

Для повести вообще характерна событийная следственно-причинная связь между героями, взаимные отношения, поступки, психологические переживания; все это и «составляет» сюжет произведения. Герои должны встречаться, действовать, разговаривать друг с другом. Сторонний наблюдатель здесь мало что значит, если он сам не вмешивается в действие на правах героя произведения.

Повести Тургенева 50-х годов свидетельствовали о неуклонном росте мастерства писателя. В них получил выражение и другой элемент его повествовательного стиля — элемент лирический, исповедальный, прояв-

¹ для себя (нем.).

ялющийся как скрытая психология автора, его глубокое философское раздумье над всем происходящим в повести.

Началом этой, условно говоря, «новой» манеры у Тургенева по справедливости считается повесть «Три встречи» (1852). Определенное углубление лирико-эмоционального тона в творчестве писателя тотчас подметили его ближайшие друзья. Боткин писал ему по этому поводу: «Ты же, собственно,— лирик, и только то удается тебе, к чему ты расположен субъективно. Не забудь потом, что русские читатели любят тебя не за объективность твою, но за тот романтизм чувства, за те высшие благородные стремления, которые поэтически проступают в твоих произведениях, словом, за идеальную сторону их». Несомненно, искренен в своем письме к автору был и Некрасов, снова вернувшийся к «Трем встречам» в 1856 году при их переиздании: «Я вот что подумал: ты — поэт более, чем все русские писатели после Пушкина, вместе взятые. И ты один из новых владеешь формой — другие дают читателю сырой материал, где надо уметь брать поэзию (...). Но прошу тебя, перечти «Три встречи»: уйди в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по-своему порывы юности, в эту тоску без тоски, и напиши что-нибудь этим тоном».

Человек у Тургенева «выпрямляется» в общении с природой: она заливает раны, нанесенные в сложных людских общениях. Такое духовное преображение рефлектирующего интеллигента 40-х годов в «лишнего человека» он изобразил в «Поездке в Полесье». Охотник встречается с мужиками, Кондратом и Егором, и особенно поражает его «смирный» Егор, во многом родственник Калинычу. Егор живет в благом мире и совете с природой. А природа вырастает до символического значения могучей целительной силы, которую только теперь герой по-настоящему заметил и почувствовал. Полесье упоминается еще в «Певцах» как неизведанный край, охватывающий чуть ли не половину Центральной России. Эта длинная полоса земли, почти вся покрытая лесом, начинается на границах Орловской губернии, тянется через всю Калужскую, Тульскую и Московскую губернии и оканчивается, как уверяет Тургенев, Марьиной Рошей под Москвой. В этом могучем мире добра герой обретает гармонию духа, которой ему так не хватало. Эти же мотивы получают дальнейшее развитие в других повестях и лаконично, в сжатой форме — в «Стихотворениях в прозе»: «Как хороши, как свежи были розы», «Воробей» и других.

«Три встречи» — это те же «Три портрета» в том смысле, что здесь даны три фазы развития чувства влюбленных, как бы «три портрета» их душевного состояния, особенно героини повести. Первая встреча влюбленных — русской красавицы и итальянца — произошла в Сорренто, лунной ночью; вторая — как бы предвещающая кризис, в русской деревне, в Михайловском; и третья — на бал-маскараде, уже после разрыва. Во всех случаях рассказчик — свидетель чужой страсти, который в конце концов убеждается, что стихия страсти приводит к трагедии. Эта тема более глубоко разра-

батывалась Тургеневым и в повестях 50-х годов: таких, как «Затишье», «Фауст», «Ася».

Русского Вертера воспел Тургенев в «Бригадире», где показал, через какие унижения и страдания пронес свою великую любовь к женщине недостойной и жестокой героини повести Василий Фомич Гуськов — «кавалер и бригадир» екатерининских времен. В повести выразительно передан грубоватый, а порой и жуткий колорит причудливых нравов XVIII века.

«Муму» — повесть о могучей потребности человека преодолеть чувство одиночества в мире. Эта тема раскрывается не абстрактно: она вырастает из условий крепостничества, зло и бессмысленно уродующих человеческую жизнь. В «Муму» продолжены мотивы протеста против гнета. Здесь и апофеоз народной силы, которая не нашла еще своего разумного применения.

Тургенев считал, что повесть дает богатую пищу для размышлений и выводов. Герой изображен как личность исключительной духовной красоты, наделенная физической мощью, добротой, нравственной чистотой. Герасима можно сравнить с эпическими героями. Образ получился столь привлекательным, что его сразу же принялись истолковывать критики самых различных общественных направлений.

Константин и Иван Аксаковы отмечали многозначительность образа Герасима, но они по-своему трактовали его обобщающий характер. Они видели в Герасиме олицетворение русской народной покорности, «его страшной силы и непостижимой кротости, его удаления к себе и в себя, его молчания на все вопросы, его нравственных, честных побуждений, он, разумеется, со временем заговорит, но теперь, конечно, может казаться и немым, и глухим...». Тургенев соглашался, что в Герасиме есть некоторое обобщение черт русского характера, и на первых порах не считал нужным отмежеваться от его идеализации славянофилами. Верно понял протестующий характер образа Герасима А. И. Герцен, писавший об этом Тургеневу в 1857 году из Лондона. А в статье «О романе из народной жизни в России» он отметил: «Тургенев... не побоялся заглянуть и в душную каморку дворового, где есть лишь одно утешение — водка. Он описал нам существование этого русского «дяди Тома» (главного героя романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома». — В. К.) с таким художественным мастерством, которое, устояв перед двойною цензурой, заставляет нас содрогаться от ярости при виде этого тяжкого, нечеловеческого страдания...»

Нигде до этой повести, да и позднее, Тургенев не изображал с такой силой давящий уклад дворовой жизни при крепостничестве, делающий рабов «и немыми, и глухими». Ведь «немой» оказывается и прачка Татьяна, которая с покорным «слушаюсь» узнает о решении барыни выдать ее замуж за пьяницу башмачника Капитона, не считаясь с ее привязанностью к Герасиму.

Герасим только кажется покорным дворовым, готовым исполнять все барские прихоти. С удивительной выдержкой он переносит обиды, но так

же решителен в действиях, когда расстается с тем, что для него было всего дороже. Он самовольно покидает службу у барыни и возвращается в свою одинокую избу. Есть в Герасиме черты былинного Миклулы Селяниновича, хотя внешние обстоятельства его трагедии могут показаться совсем незначительными. Однако внутренний, социальный смысл образа Герасима свидетельствует о том, что народ не только способен «безмолвствовать», но и начнет решительно действовать во всю мощь своей богатырской силы.

Приземленный, эгоистический вариант страсти изобразил Тургенев в «Дневнике лишнего человека». Это произведение находится в определенной тематической преемственности с «Гамлетом Щигровского уезда», где была как бы намечена предыстория Чулкатурина. Но как сузилась тема произведения, как беден внутренний мир героя: никаких философских интересов, только любовная блажь, в которой он терпит поражение. Формула «лишний человек», родившаяся именно в этой повести Тургенева, подводит своеобразный итог эволюции этих образов. Писатель придавал повести форму дневниковой исповеди героя, но по существу — перед нами произведение с развернутыми событиями и характерами. Что же касается «рассказа» от первого лица, то это лучший способ раскрыть повышенную рефлексию героя и заставить его анализировать каждый свой шаг. Право на самотолкование — единственное прибежище для исключительности героя, последний его шанс на героизм.

Онегин и Печорин — во многом «лишние люди» поневоле. Они в своей главной черте — критической настроенности ума — восходят к герою Грибоедовской комедии, к Чацкому. Но в других исторических условиях появились «лишние люди» обломовского толка, в лучшем случае, праздные мечтатели, которые свою пассивность, бездействие объясняли влиянием среды. Тургенев был первым, кто в образе «лишнего человека» выявил его отрицательные черты. Он воспроизвел в Чулкатурине человека, погруженного в самоанализ, рефлексию, но обреченного на духовную и физическую смерть. Он «лишний» не в России, а вообще «на сем свете». Чулкатурин — эта «умная пенужность» — утверждает в мысли, что во все продолжение жизни он «постоянно находил свое место занятым, может быть, оттого, что искал это место не там, где бы следовало». Он чувствовал себя «сверхштатным человеком» и не раз твердил: «Я — лишний, я — лишний». И фамилия у него какая-то уязвимая: недаром его соперник, князь Н*, переделал ее в «Штукатурин». В отношениях с женщинами он типичный неудачник, а вовсе не мастер разбивать сердца. Истинным «львом» оказывается князь, а Чулкатурин попадает в положение Голядкина-старшего из «Двойника» Достоевского. Таким человеком «с замочком» чувствует себя и сам Чулкатурин, у которого главное теперь — уязвленное самолюбие. У него есть жажда найти себя, но все же он — пустоцвет. Стоит «замочку» отпереться — и наружу вылезет «подполье».

Новая грань русской крепостнической действительности раскрыта Тургуневым в повести «Постоялый двор». Хорь и Калиныч находятся друг

с другом в идиллических отношениях, хотя они совсем разные люди. Трудно себе представить, чтобы «кулак» Хорь стал эксплуатировать «батрака» Калиныча. В «Постоялом дворе» Тургенев показывает, как циничный, предприимчивый мещанин Наум обманывает, разоряет крестьянина Акима, отбирает у него, не без помощи недалекой, но корыстолюбивой барыни, постоянный двор — все его достояние. В этой повести Тургенев одним из первых создал свой тип Разуваева — деревенского хищника, показал антагонизм, развивающийся в крестьянской среде, предвосхитив изображение этого процесса в лучших произведениях русской литературы конца XIX — начала XX века.

Повесть «Постоялый двор» вызвала разноречивые отклики среди друзей Тургенева. П. В. Анненков считал ее значительнее «Муму»: еще ни в одной повести не было столько «драмы». Ее основа — нестерпимые, нечеловеческие условия. Анненков усматривал в ней «новую» манеру автора, но при этом упрекал писателя за несоблюдение «истин математических»: то есть от его внимания ускользнула возможная драма между Акимом и его барыней Лизаветой Прохоровной Кунице, ибо она сначала разрешила ему иметь постоянный двор, а потом, даже не поставив Акима в известность, перепродала двор Науму. Дело тут, отчасти юридическое, и оно не могло решиться так просто. Это автор обошел стороной. И с психологической стороны драма упрощена: Аким и слова упрека госпоже не произнес. Тургенев оправдывался: он боялся запутать ход драмы. По именно в этой запутанности крепостнических отношений и заключалась вся трагедия: крестьянин мог приобретать недвижимое имущество только на имя своих господ, и они считались, да практически и были, полновластными хозяевами этого имущества.

В. П. Боткин был ближе к истине, указывая, что второстепенные герои изображены ярче, выпуклее, чем главные. Наум — главный герой — вышел схематичным. И. С. Аксаков, хваля смиренность Акима перед барыней, еще прибавлял один характерный штрих: «Аким после попытки пожара — это такое лицо, которое выше несказанно всякого европейца на его месте». Тургенев пытался отмежеваться от славянофильской оценки; но следует признать, что это произведение все же давало повод к такой трактовке.

В «Постоялом дворе» заметна некоторая идеализация Акима, хотя такие типы «правдоискателей» были нередки на Руси: «под ударами случившегося он стал молиться. Слезы брызнули градом». Если и думал он перед тем о мести, то только по отношению к Науму, а Лизавета Прохоровна «не приходила ему в голову». Аким явился к барыне, но не с упреками, а только проститься, отправляясь на богомолье: «Лизавета Прохоровна приняла его с некоторым смущением, но благосклонно допустила его к руке и спросила, куда он намерен идти. Он отвечал, что пойдет сперва в Киев, а оттуда, куда бог даст. С тех пор он очень редко показывался домой, хотя никогда не забывал принести барыне просвиру с вынутым задравцем...»

Писатели-демократы, которых трудно было удивить остротой темы, отмечали, что «Постоялый двор» по мысли — прекрасная вещь (Н. А. Некрасов). Некоторая сбивчивость ее до времени заслонялась.

С большим драматическим искусством Тургеневу удалось построить повесть «Степной король Лир». Заглавие, как видим, перекликается с «Гамлетом Щигровского уезда» и призвано напомнить, что центральный герой и сюжет имеют литературный «прототип».

Свою концепцию, что вообще все люди и герои мировой литературы делятся на два главных человеческих типа, Тургенев изложил в статье «Гамлет и Дон-Кихот», предпочитая рыцарей добра и доблестных дел Дон-Кихотов безвольным, рефлексирующим Гамлетам. В какой-то мере его собственные герои в рассказах и повестях делятся на эти две категории. К числу Дон-Кихотов можно отнести таких поборников добра, правды и справедливости, как Калиныч и, особенно, Каратаев, Чертопханов, Гуськов. Но подобные сравнения всегда несколько условны и ко многому обязывают автора, прямо выносящего в заглавие своего произведения указания на «прототип». Можно понять В. Т. Нарезного, автора первого русского авантюрного романа, пожелавшего назвать его «Российским Жилблазом...» (1814), отсылая тем самым читателя к «настоящему» «Жиль Блазу» Лесажа. Есть у Пушкина свой «Фауст», не похожий на «Фауста» Гете. Что же давала Тургеневу его «конкуренция» с «прототипами»? Обыгрывание образа Гамлета в повести о щигровском рефлектере имело очень глубокий смысл: «гамлетизм» — символ определенного настроения целой эпохи русской общественной мысли. От удачно выбранного заглавия тянутся нити к Мочалову, Белинскому. А в «Степном короле Лире»? Невольно напрашивающееся прямое сопоставление Харлова с Лиром, Анны с Гонерильей, а Евлампии с Корделией вряд ли входило в намерения самого Тургенева. А между тем, взятая без прямолинейной аналогии, сама по себе, история разорения добродушного, но слишком самоуверенного Харлова его дочерьми и пройдохой зятем глубоко трагична. Тургенев имел в виду извечность некоторых психологических коллизий. И в этом смысле писатель как бы утверждает «вседневность» Шекспира.

В «Степном короле Лире» углубляются драматические сюжеты, затронутые в «Постоялом дворе». Харлов не поджигает отнятый у него дом, а ломает его и умирает, пришибленный упавшим стропилом. Козни, которые строят против него дочери и зять, психологически раскрыты глубже и более мотивированно. Советы не рисковать и не просчитаться ему дает не боголюбивый, патриархальный мужичок, а трезвая помещица соседка. В повествовании нет и тени славянофильского духа, если не считать, что Евлампия, раскаявшись, становится сектанткой, «хлыстовской богородицей». В основе повести лежит не курьезный случай, не простой просчет, а крушение доверчивости. Это тоже «вседневные» шекспировские сюжеты жизни. Да, Харлов безгранично доверял дочерям. Он верил в силу своего отцовского влияния на их сердца, в силу своего положения хозяина. Но все пошло

прахом. Известным образом усложнены и образы его мучителей. Это не фурии, не демоны зла. Анна и Евлампия даже наделены привлекательными чертами, и сам рассказчик, поведав о злых делах Анны, признается, что ее внешность вызывала в нем симпатии. И последние слова Харлова, обращенные к Евлампии: «Тебя я не про...» — скорее означают не «проклинаю», а «прощаю».

Большой опыт, приобретенный Тургеневым при создании «Записок охотника» и ближайших по времени повестей, в полной мере претворился в его первых романах «Рудин» и «Дворянское гнездо». Но романы не должны заслонять достоинств этих замечательных, глубоких рассказов и повестей: они имеют самостоятельное непреходящее художественное значение.

В. К У Л Е Ш О В

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избушках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракут, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь¹ исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным

¹ «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов; орловское наречие отличается вообще множеством своеобразных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов.

человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда пикого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть *Пинну*; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо *однако* говорил *одначе* и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба — грибами, макароны — порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня верст пять будет, — прибавил он, — пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик... Он отсюда близехонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.

— А, Федя! Дома Хорь? — спросил его г-н Полутыкин.

— Нет, Хорь в город уехал, — отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. — Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на

нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» — заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, — подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, — да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город... Смотри же, Вася, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское череве обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» — торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбающуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатались. «А вот это моя контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, — хотите зайти?» — «Извольте». — «Она теперь упразднена, — заметил он, слезая, — а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Минаич, — проговорил г-н Полутыкин, — а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканамп. «Отведайте, — сказал мне Полутыкин, — это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, — заметил мой новый приятель. — В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я Полутыкина за ужином, — отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. — «Да зачем тебе селиться на болоте?» — «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». — «Пятьдесят рублей в год!» — «Извольте». — «Да без недоимок у меня, смотри!» — «Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател? — спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, пакину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись,

Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; дег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» — «Сейчас, батюшка, сейчас, — раздался голос со двора, — лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, обслуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.

Легкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч — добрый мужик, — сказал мне г. Полутыкин, — усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать ге может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство, — подсудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у

него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик — лысый, низкого роста, плечистый и плотный — сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

— Всё же лучше на свободе, — заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо, — проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди, — продолжал он вполголоса, как будто про себя, — кто без бороды живет, тот Хорю и на́больший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? борода — трава: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? — спросил я его.

— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме», — подумал я.

— Нет, — сказал я вслух, — тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! — вскричал он, поднимаясь с места, — сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... Я наконец задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.

— Самовар тебе готов, — сказал он мне с улыбкой, — пойдем чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ! — заметил я старику.

— Да, — промолвил он, откусывая крошечный кусок сахара, — на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вон один, пострел, не женится, — отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. — Васька, тот еще молод, тому погодить можно.

— А что мне жениться? — возразил Федя, — мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! Кольца серебряные посишь... Тебе бы все с дворовыми девками пюхаться... «Полпоте, бесстыдники!» — продолжал старик, передразнивая горличных. — Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба — работница, — важно заметил Хорь. — Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю небось... А ты, батюшка, не гневись: дитяtko, видишь, малое, разуму не успело набратъся.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь? — раздался за дверью знакомый голос, — и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошел на охоту часами четыремя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с баринoм и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же — к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до проницательной точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек — полтора рубля ассигнациями; в долг — три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с кунцом в кабаk и там уже расплачивается.

Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закунку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задмам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», — важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, наострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, — в город надо самим тащиться, — а приедем торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей — а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!

Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня спрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, — как же?..» — «А! ах, господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего

рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо — это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, — убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо — то ему и правится, что разумно — того ему и подавай, а откуда оно идет, — ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч — умел. «Этому шалопаю грамота далась, — заметил Хорь, — у него и пчелы отродясь не мерли». — «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». — «А другие?» — «Другие не знают». — «А что?» Старик не отвечал и переменял разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься, — пускай бабы ссорятся... Их что разнимать — то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» — и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полушкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», — говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» — возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а

вишь...» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапте дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». — «Он мне дает на лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню «Доля ты моя, доля!». Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато, в другое время, не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».

— Посмотри-ка,— возразил я ему,— как у Калиныча на пасеке чисто.

— Пчелы бы жить не стали, батюшка,— сказал он со вздохом.

«А что,— спросил он меня в другой раз,— у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Верст сто». — «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себя на здоровье тетеревов да старости меняй почаще».

На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров,— сказал я... — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», — заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет», — возразил мне Калиныч, — утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

ЕРМОЛАЙ И МЕЛЬНИЧИХА

Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»... Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда... Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам... Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синее. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают — не все вдруг — по породам: вот затихли яблочки, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятлы одни еще сонливо посвистывают... Вот и они умолкли. Еще раз прозвонел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.

Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дрови, другой сзади — для дичи; хлѳпки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистоимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья — и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванию Валетка, преудивительное создание. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, — рассуждал он, — притом пес — животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положение, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете... Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куций хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурасворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался нешто-

мимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслаждением всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.

Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека, ни на какую работу не годного, — «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дробь, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок — и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго — и все-таки, через несколько времени, возвращался домой одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чужаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе». — «А в Чаплино». — «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» — «А там у Софрона-мужичка переночевать». — «Да ночуй здесь». — «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полуую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с

«кукушкиным перелетом»...¹ Одного он не умел: дрессировать собаку; терпенья не доставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, — и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалившись на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой — и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры... Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.

У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусями стадами. Рыбы в Исте бездна, особенно голавлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами... Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастья (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» — раздался сиплый

¹ Охотникам до соловьев эти названия знакомы: ими обозначаются лучшие «колена» в соловьином пенье.

и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». — «Пойду скажу хозяину... Цыц, проклятые!.. Эх на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, говорит, хозяин не велит пускать». — «Отчего не велит?» — «Да боится; вы охотники: чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие». — «Да что за вздор!» — «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, зная, как-нибудь и подожгли». — «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» — «Как знаете...» Он ушел, стуча сапогами.

Ермолай посулил ему разных неприятностей. «Пойдемте в деревню», — произнес он наконец со вздохом. Но до деревни были версты две... «Ночуем здесь, — сказал я, — на дворе ночь теплая; мельник за деньги нам вышлет соломы». Ермолай беспрекословно согласился. Мы опять стали стучаться. «Да что вам надобно? — раздался снова голос работника, — сказано, нельзя». Мы растолковали ему, чего мы хотели. Он пошел посоветоваться с хозяином и вместе с ним вернулся. Калитка закричала. Появился мельник, человек высокого роста, с жирным лицом, бычачьим затылком, круглым и большим животом. Он согласился на мое предложение. Во ста шагах от мельницы находился маленький, со всех сторон открытый, навес. Нам принесли туда соломы, сена; работник па траве подле реки наставил самовар и, присев на корточки, начал усердно дуть в трубу... Уголья, вспыхивая, ярко освещали его молодое лицо. Мельник побежал будить жену, предложил мне сам наконец переночевать в избе; но я предпочел остаться на открытом воздухе. Мельничиха принесла нам молока, яиц, картофелю, хлеба. Скоро закипел самовар, и мы принялись пить чай. С реки поднимались пары, ветру не было; кругом кричали коростели; около мельничных колес раздавались слабые звуки: то капли падали с лопат, сочились вода сквозь засовы плотины. Мы разложили пеньбольшой огонек. Пока Ермолай жарил в золе картофель, я успел задремать... Легкий сдержанный шепот разбудил меня. Я поднял голову: перед огнем, на опрокинутой кадке, сидела мельничиха и разговаривала с моим охотником. Я уже прежде, по ее платью, телодвижениям и выговору, узнал в ней дворовую женщину — не бабу и не мещанку; но только теперь я рассмотрел хорошенько ее черты. Ей было на вид лет тридцать; худое и бледное лицо еще хранило следы красоты замечательной; особенно понравились мне глаза, большие и грустные. Она оперла локти па колени, положила лицо на руки. Ермолай сидел ко мне спиною и подкладывал щепки в огонь.

— В Желтухиной опять падеж, — говорила мельничиха, — у отца Ивана обе коровы свалились... Господи помилуй!

— А что ваши свиньи? — спросил, помолчав, Ермолай,

— Живут.

— Хоть бы поросеночка мне подарили.

Мельничиха помолчала, потом вздохнула,

— С кем вы это? — спросила она.

— С барином — с костомаровским.

Ермолай бросил несколько еловых веток на огонь; ветки тотчас дружно затрещали, густой белый дым повалил ему прямо в лицо.

— Чего твой муж нас в избу не пустил?

— Боится.

— Вишь, толстый брюхач... Голубушка, Арина Тимофеевна, вынеси мне стаканчик винца!

Мельничиха встала и исчезла во мраке. Ермолай запел вполголоса:

Как к любезной я ходил,
Все сапожки обносил...

Арина вернулась с небольшим графинчиком и стаканом. Ермолай привстал, перекрестился и выпил духом. «Люблю!» — прибавил он.

Мельничиха опять присела на кадку.

— А что, Арина Тимофеевна, чай, все хвораете?

— Хвораю.

— Что так?

— Кашель по ночам мучит.

— Барин-то, кажется, заснул, — промолвил Ермолай после небольшого молчания. — Ты к лекарю не ходи, Арина: хуже будет.

— Я и то не хожу.

— А ко мне зайди погостить,

Арина потушила голову.

— Я свою-то, жену-то, прогоню на тот случай, — продолжал Ермолай... — Право-ся.

— Вы бы лучше барина разбудили, Ермолай Петрович: видите, картофель испекся.

— А пусть дрыхнет, — равнодушно заметил мой верный слуга, — набегался, так и спит.

Я заворочался на сене. Ермолай встал и подошел ко мне.

— Картофель готов-с, извольте кушать.

Я вышел из-под навеса; мельничиха поднялась с кадки и хотела уйти. Я заговорил с нею.

— Давно вы эту мельницу сняли?

— Второй год пошел с Троицына дня,

— А твой муж откуда?

Арина не расслушала моего вопроса.

— Откелева твой муж? — повторил Ермолай, возвыся голос.

— Из Белева. Он белевский мещанин.

— А ты тоже из Белева?

— Нет, я господская... была господская,

— Чья?

— Зверкова господина. Теперь я вольная,

— Какого Зверкова?

— Александра Силыча.

— Не была ли ты у его жены горничной?

— А вы почему знаете? Была.

Я с удвоенным любопытством и участием посмотрел на Арину.

— Я твоего барина знаю, — продолжал я.

— Знаете? — отвечала она вполголоса — и потупилась.

Надобно сказать читателю, почему я с таким участием посмотрел на Арину. Во время моего пребывания в Петербурге я случайным образом познакомился с г-м Зверковым. Он занимал довольно важное место, слыл человеком знающим и дельным. У него была жена, пухлая, чувствительная, слезливая и злая — дюжинное и тяжелое создание; был и сынок, настоящий барчонок, избалованный и глупый. Наружность самого г. Зверкова мало располагала в его пользу: из широкого, почти четверугольного лица лукаво выглядывали мышиные глазки, торчал нос, большой и острый, с открытыми ноздрями; стриженные седые волосы поднимались щетиной над морщинистым лбом, тонкие губы беспрестанно шевелились и приторно улыбались. Г-н Зверков стоял обыкновенно, растопырив ножки и заложив толстые ручки в карманы. Раз как-то пришлось мне ехать с ним вдвоем в карете за город. Мы разговорились. Как человек опытный, дельный, г. Зверков начал наставлять меня на «путь истины».

— Позвольте мне вам заметить, — пропищал он наконец, — вы все, молодые люди, судите и толкуете обо всех вещах наобум; вы мало знаете собственное свое отечество; Россия вам, господа, незнакома, вот что!.. Вы всё только немецкие книги читаете. Вот, например, вы мне говорите теперя и то, и то насчет того, ну, то есть, насчет дворовых людей... Хорошо, я не спорю, все это хорошо; но вы их не знаете, не знаете, что это за народ. (Г-н Зверков громко высморкался и понюхал табаку.) Позвольте мне вам рассказать, например, один маленький анекдотец: вас это может заинтересовать. (Г-н Зверков откашлянулся.) Вы ведь знаете, что у меня за жена; кажется, женщину добрее ее найти трудно, согласитесь сами. Горничным ее девушкам не житье, — просто рай воочию совершается... Но моя жена положила себе за правило: замужних горничных не держать. Оно и точно не годится: пойдут

дети, то, се,— ну, где ж тут горничной присмотреть за барыней как следует, наблюдать за ее привычками: ей уж не до того, у ней уж не то на уме. Надо по человечеству судить. Вот-с проезжаем мы раз через нашу деревню, лет тому будет — как бы вам сказать, не солгать,— лет пятнадцать. Смотрим, у старосты девочка, дочь, прехорошенькая; такое даже, знаете, подобострастное что-то в ма-перах. Жена моя и говорит мне: «Кокó,— то есть, вы понимаете, она меня так называет,— возьмем эту девочку в Петербург; она мне нравится, Кокó...» Я говорю: «Возьмем, с удовольствием». Староста, разумеется, нам в ноги; он такого счастья, вы понимаете, и ожидать не мог... Ну, девочка, конечно, поплакала сдуру. Оно действительно жутко сначала: родительский дом... вообще... удивительного тут ничего нет. Однако она скоро к нам привыкла; сперва ее отдали в девичью; учили ее, конечно. Что ж вы думаете?.. Девочка оказывает удивительные успехи; жена моя просто к ней пристраивается, жалуется, наконец, помимо других, в горничные к своей особе... замечайте!.. И надобно было отдать ей справедливость: не было еще такой горничной у моей жены, решительно не было; услужлива, скромна, послушна — просто все, что требуется. Зато уж и жена ее даже, признаться, слишком баловала; одевала отлично, кормила с господского стола, чаем пила... ну, что только можно себе представить! Вот этак она лет десять у моей жены служила. Вдруг, в одно прекрасное утро, вообразите себе, входит Арина — ее Ариной звали — без доклада ко мне в кабинет — и бух мне в ноги... Я этого, скажу вам откровенно, терпеть не могу. Человек никогда не должен забывать свое достоинство, не правда ли? «Чего тебе?» — «Батюшка, Александр Силыч, милости прошу». — «Какой?» — «Позвольте выйти замуж». Я, признаюсь вам, изумился. «Да ты знаешь, дура, что у барыни другой горничной нету?» — «Я буду служить барыне по-прежнему». — «Вздор! вздор! барыня замужних горничных не держит». — «Маланья на мое место поступить может». — «Прощу не рассуждать!» — «Воля ваша...» Я, признаюсь, так и обомлел. Доложу вам, я такой человек: ничто меня так не оскорбляет, смею сказать, так сильно не оскорбляет, как неблагодарность... Ведь вам говорить печего — вы знаете, что у меня за жена: ангел во плоти, доброта неизъяснимая... Кажется, злодей — и тот бы ее пожалел. Я прогнал Арину. Думаю, авось опомнится; не хочется, знаете ли, верить злу, черной неблагодарности в человеке. Что ж вы думаете? Через полгода опять она изволит жаловать ко мне с тою же самою просьбой. Тут я, признаюсь, ее с сердцем прогнал и погрозил ей, и сказать жене обещался. Я был возмущен... Но представьте себе мое изумление: песколько времени спустя приходит ко мне жена, в слезах, взволнована так, что я даже испугался. «Что такое слу-

чилось?» — «Арина...» Вы понимаете... я стыжусь выговорить. «Быть не может!.. кто же?» — «Петрушка-лакей». Меня взорвало. Я такой человек... полумер не люблю!.. Петрушка... не виноват. Наказать его можно, но он, по-моему, не виноват. Арина.. ну, что ж, ну, ну, что ж тут еще говорить? Я, разумеется, тотчас же приказал ее остричь, одеть в затрапез и сослать в деревню. Жена моя лишилась отличной горничной, но делать было нечего: беспорядок в доме терпеть, однако же, нельзя. Большой член лучше отсечь разом... Ну, ну, теперь посудите сами, — ну, ведь вы знаете мою жену, ведь это, это, это... наконец, ангел!.. Ведь она привязалась к Арине, — и Арина это знала и не постыдилась... А? нет, скажите... а? Да что тут толковать! Во всяком случае, делать было нечего. Меня же, собственно меня, надолго огорчила, обидела неблагодарность этой девушки. Что ни говорите... сердца, чувства — в этих людях не ищите! Как волка ни корми, он все в лес смотрит... Вперед наука! Но я желал только доказать вам...

И г. Зверков, не докончив речи, отворотил голову и завернулся плотнее в свой плащ, мужественно подавляя невольное волнение.

Читатель теперь, вероятно, понимает, почему я с участием посмотрел на Арину.

— Давно ты замужем за мельником? — спросил я ее наконец.

— Два года.

— Что ж, разве тебе барин позволил?

— Меня откупили.

— Кто?

— Савелий Алексеевич.

— Кто такой?

— Муж мой. (Ермолай улыбнулся про себя.) А разве вам барин говорил обо мне? — прибавила Арина после небольшого молчания.

Я не знал, что отвечать на ее вопрос. «Арина!» — закричал издали мельник. Она встала и ушла.

— Хороший человек ее муж? — спросил я Ермолая.

— Ништо.

— А дети у них есть?

— Был один, да помер.

— Что ж, она понравилась мельнику, что ли?.. Много ли он за нее дал выкупу?

— А не знаю. Она грамоте разумеет; в их деле оно... того... хорошо бывает. Стало быть, понравилась.

— А ты с ней давно знаком?

— Давно. Я к ее господам прежде хаживал. Их усадьба от-селева недалече.

- И Петрушку-лакея знаешь?
- Петра Васильевича? Как же, знал.
- Где он теперь?
- А в солдаты поступил.

Мы помолчали.

— Что она, кажется, нездорова? — спросил я наконец Ермаля.

— Какое здоровье!.. А завтра, чай, тяга хороша будет. Вам теперь соснуть не худо.

Стадо диких уток со свистом промчалось над нами, и мы слышали, как оно спустилось на реку недалеко от нас. Уже совсем стемнело и начинало холодать; в роще звучно щелкал соловей. Мы зарылись в сено и заснули.

МАЛИНОВАЯ ВОДА

В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время, от двенадцати до трех часов, самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться и самая преданная собака начинает «чистить охотнику шпоры», то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык, а в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени, хоть на мгновение; долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня наконец подумать о сбережении последних наших сил и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, уже знакомой моим снисходительным читателям, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расщелины берега, превратившейся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в двадцати шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага; около родника зеленеет короткая, бархатная травка; солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной, серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один, довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу; другой, худенький и маленький, в мухояровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от

солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумихинского Степушку, Прошу позволения читателя представить ему этого человека.

В нескольких верстах от моей деревни находится большое село Шумихино, с каменной церковью, воздвигнутой во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окруженные разными пристройками, службами, мастерскими, конюшнями, грунтовыми и каретными сараями, банями и временными кухнями, флигелями для гостей и для управляющих, цветочными оранжереями, качелями для народа и другими, более или менее полезными, зданиями. В этих хорамах жили богатые помещики, и все у них шло своим порядком, как вдруг, в одно прекрасное утро, вся эта благодать сгорела дотла. Господа перебрались в другое гнездо; усадьба запустела. Обширное пепелище превратилось в огород, кое-где загроможденный грудами кирпичей, остатками прежних фундаментов. Из уцелевших бревен на скорую руку сколотили избенку, покрыли ее барочным тесом, купленным лет за десять для построения павильона на готический манер, и поселили в ней садовника Митрофана с женой Аксиньей и семью детьми. Митрофану приказали поставять на господский стол, за полтора верста, зелень и овощи; Аксинье поручили надзор за тирольской короной, купленной в Москве за большие деньги, но, к сожалению, лишеной всякой способности воспроизведения и потому со времени приобретения не дававшей молока; ей же на руки отдали хохлатого дымчатого селезня, единственную «господскую» птицу; детям, по причине малолетства, не определили никаких должностей, что, впрочем, нисколько не помешало им совершенно облениться. У этого садовника мне случилось раза два переночевать; мимоходом забирал я у него огурцы, которые, бог ведает почему, даже летом отличались величиной, дрянным водянистым вкусом и толстой желтой кожей. У него-то увидел я впервые Степушку. Кроме Митрофана с его семьей да старого глухого ктитора Герасима, проживавшего Христа ради в каморочке у кривой солдатки, ни одного дворового человека не осталось в Шумихине, потому что Степушку, с которым я намерен познакомить читателя, нельзя было считать ни за человека вообще, ни за дворового в особенности.

Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе, хоть какие-нибудь да связи; всякому дворовому выдается если не жалованье, то, по крайней мере, так называемое «отвесное»: Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем, никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было; о нем не говорили; он и по ревизии едва ли числился. Ходили темные слухи, что со-

стоял он когда-то у кого-то в камердинерах; но кто он, откуда он, чей сын, как попал в число шумихинских подданных, каким образом добыл мухояровый, с незапамятных времен носимый им кафтан, где живет, чем живет, — об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого не занимали эти вопросы. Дедушка Трофимыч, который знал родословную всех дворовых в восходящей линии до четвертого колена, и тот раз только сказал, что, дескать, помнится, Степану приходится родственницей турчанка, которую покойный барин, бригадир Алексей Романыч, из похода в обозе изволил привезти. Даже, бывало, в праздничные дни, дни всеобщего жалованья и угощения хлебом-солью, гречишными пирогами и зеленым вином, по старинному русскому обычаю, — даже и в эти дни Степушка не являлся к выставленным столам и бочкам, не кланялся, не подходил к барской руке, не выпивал духом стакана под господским взглядом и за господское здоровье, — стакана, наполненного жирною рукою приказчика; разве какая добрая душа, проходя мимо, уделит бедняге недоеденный кусок пирога. В светлое воскресенье с ним христосовались, но он не подворачивал замащенного рукава, не доставал из заднего кармана своего красного яичка, не подносил его, задыхаясь и моргая, молодым господам или даже самой барыне. Проживал он летом в клети, позади курятника, а зимой в предбаннике; в сильные морозы ночевал на сеновале. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. После пожара этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, «притулился» у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал ему: живи у меня — да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника: он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался без всякого шума; чихал и кашлял в руку, не без страха; вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей — и все для еды, для одной еды. И точно, не заботясь он с утра до вечера о своем пропитании, — умер бы мой Степушка с голоду. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь! То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, или грязный кочан капусты под себя крошит; то ведро с водой куда-то тащит и кряхтит; то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает; то у себя в чуланчике деревяшкой постукивает, гвоздик приколачивает, полочку для хлеба устроивает. И все это он делает молча, словно из-за угла: глядь, уж и спрятался. А то вдруг отлучится дня на два; его отсутствия, разумеется, никто не замечает... Смотришь, уж он опять тут, опять где-нибудь около забора под таганчик щепочки украдкой подкладывает. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бро-

вей, носик остренький, уши пребольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно две недели тому назад выбрита, и никогда ни меньше не бывает, ни больше. Вот этого-то Степушку я встретил на берегу Исты в обществе другого старика.

Я подошел к ним, поздоровался и присел с ними рядом. В товарище Степушки я узнал тоже знакомого: это был вольноотпущенный человек графа Петра Ильича ***, Михайло Савельев, по прозвищу Туман. Он проживал у болховского чахоточного мещанина, содержателя постоянного двора, где я довольно часто останавливался. Проезжающие по большой орловской дороге молодые чиновники и другие незанятые люди (купцам, погруженным в свои полосатые перины, не до того) до сих пор еще могут заметить в недалеком расстоянии от большого села Троицкого огромный деревянный дом в два этажа, совершенно заброшенный, с провалившейся крышей и наглухо забитыми окнами, выдвинутый на самую дорогу. В полдень, в ясную, солнечную погоду, ничего нельзя вообразить печальнее этой развалины. Здесь некогда жил граф Петр Ильич, известный хлебосол, богатый вельможа старого века. Бывало, вся губерния съезжалась у него, плясала и веселилась па славу, при оглушительном громе доморощенной музыки, трескотне бураков и римских свечей; и, вероятно, не одна старушка, проезжая теперь мимо запустелых боярских палат, вздохнет и вспомнит минувшие времена и минувшую молодость. Долго пировал граф, долго расхаживал, приветливо улыбаясь, в толпе подобострастных гостей; но имения его, к несчастью, не хватило на целую жизнь. Разорившись кругом, отправился он в Петербург искать себе места и умер в номере гостиницы, не дождавшись никакого решения. Туман служил у него дворецким и еще при жизни графа получил отпускную. Это был человек лет семидесяти, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, как улыбаются теперь одни люди екатерининского времени: добродушно и величаво; разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак он тоже не торопясь, словно дело делал.

— Ну, что, Михайло Савельич,— начал я,— наловил рыбы?

— А вот извольте в плетушку заглянуть: двух окуньков залучил да голавликов штук пять... Покажь, Степа.

Степушка протянул ко мне плетушку.

— Как ты поживаешь, Степан? — спросил я его.

— И... и... и... ни... ничего-о, батюшка, помаленьку,— отвечал Степан, запинаясь, словно пуды языком ворочал.

— А Митрофан здоров?

— Здоров, ка... как же, батюшка.

Бедняк отвернулся.

— Да плохо что-то клюет, — заговорил Туман, — жарко больно; рыба-то вся под кусты забила, спит... Надень-ко червяка, Степа. (Степушка достал червяка, положил на ладонь, хлопнул по нем раза два, надел на крючок, поплевал и подал Туману.) Спасибо, Степа... А вы, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — охотиться изволите?

— Как видишь.

— Так-с... А что это у вас песик аглицкий али фурлянский какой?

Старик любил при случае показать себя: дескать, и мы живали в свете!

— Не знаю, какой он породы, а хорош.

— Так-с... А с собаками изволите ездить?

— Своры две у меня есть.

Туман улыбнулся и покачал головой.

— Оно точно: иной до собак охотник, а иному их даром не нужно. Я так думаю, по простому моему разуму: собак больше для важности, так сказать, держать следует... И чтобы все уж и было в порядке: и лошади чтоб были в порядке, и псаря как следует, в порядке, и всё. Покойный граф — царство ему небесное! — охотником отродясь, признаться, не бывал, а собак держал и раза два в год выезжать изволил. Соберутся псаря на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят; их сиятельство выйти изволят, и коня их сиятельству подведут; их сиятельство сядут, а главный ловчий им ножки в стремяна вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапку подаст. Их сиятельство арапельником этак изволят шелкнуть, а псаря загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит и этак наблюдает, знаете... И сидит-то он, стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле, краснощекий такой, глазищами так и водит... Ну, и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден... Ах, сорвался, азиятец! — прибавил он вдруг, дернув удочкой.

— А что, говорят, граф таки пожил на своем веку? — спросил я.

Старик поплевал на червяка и закинул удочку.

— Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Ну, да уж и угощать был мастер. Призовет, бывало, меня: «Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется: прикажи достать, слышишь?» — «Слушаю, ваше сиятельство». Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладеколон первого сорта, табакерки,

картины этикие большущие, из самого Парижа выписывал. Задаст банкет,— господи, владыко живота моего! фэйвирки пойдут, катанья! Даже из пушек палят. Музыкантов одних сорок человек налицо состояло. Кампельмейстера из немцев держал, да зазнался больно немец; с господами за одним столом кушать захотел; так и велели их сиятельство прогнать его с богом: у меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно: господская власть. Плясать пустяся — до зари пляшут, и все больше лакосез-матрадура... Э... э... э... попался, брат! (Старик вытащил из воды небольшого окуня.) На-ко, Степа.— Барин был, как следует, барин,— продолжал старик, закинув опять удочку,— и душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя,— смотришь, уж и позабыл. Одно: матресок держал. Ох, уж эти матрески, прости господи! Оне-то его и разорили. И ведь все больше из низкого сословия выбирал. Кажись, чего бы им еще? Так нет, подавай им что ни на есть самого дорогого в целой Европии! И то сказать: почему не пожить в свое удовольствие,— дело господское... да разоряться-то не след. Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница,— царство ей небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил... и не одному ему забрила лоб. Да... А все-таки хорошее было времечко! — прибавил старик с глубоким вздохом, потупился и умолк.

— А барин-то, я вижу, у вас был строг? — начал я после небольшого молчания.

— Тогда это было во вкусе, батюшка,— возразил старик, качнув головой.

— Теперь уж этого не делается,— заметил я, не спуская с него глаз.

Он посмотрел на меня сбоку.

— Теперь, вестимо, лучше,— пробормотал он — и далеко закинул удочку.

Мы сидели в тени; но и в тени было душно. Тяжелый, знойный воздух словно замер; горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потомневшего неба; прямо перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где проросшее полынью, и хоть бы один колос пошевелинулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лезиво обмахивалась мокрым хвостом; изредка под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и тихо погружалась на дно, оставив за собою легкую зыбь. Кузнечики трещали в порыжелой траве; перепела кричали как бы нехотя; ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая

крылами и распутив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг, позади нас, в овраге раздался шум: кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидел мужика лет пятидесяти, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся.

— Э, Влас? — вскрикнул Туман, взглядевшись в него. — Здорово, брат. Откуда бог принес?

— Здорово, Михайла Савельич, — проговорил мужик, подходя к нам, — издалеча.

— Где пропадал? — спросил его Туман.

— А в Москву ходил, к барину.

— Зачем?

— Просить его ходил.

— О чем просить?

— Да чтоб оброку сбавил аль па барщину посадил, переселил, что ли... Сын у меня умер, — так мне одному теперь не справиться.

— Умер твой сын?

— Умер. Покойник, — прибавил мужик, помолчав, — у меня в Москве в извозчиках жил; за меня, признаться, и оброк взпосил.

— Да разве вы теперь на оброке?

— На оброке.

— Что ж твой барин?

— Что барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти: на то есть приказчик; ты, говорит, сперва приказчику обязан донести... да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя взнеси. Осерчал вовсе.

— Ну, что ж, ты и пошел назад?

— И пошел. Хотел было справиться, не оставил ли покойник какого по себе добра, да толку не добился. Я хозяину-то его говорю: «Я, мол, Филиппов отец»; а он мне говорит: «А я почему знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил; еще у меня в долгу». Ну, я и пошел.

Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла; но на маленькие и съезженные его глазки навертывалась слезинка, губы его подергивало.

— Что ж ты, теперь домой идешь?

— А то куда? Известно, домой. Жена, чай, теперь с голоду в кулак свистит.

— Да ты бы... того... — заговорил внезапно Степушка, смешался, замолчал и принялся копать в горшке.

— А к приказчику пойдешь? — продолжал Туман, не без удивления взглянув на Степу.

— Зачем я к нему пойду?.. За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес... Да мне с полугория: взять-то с меня нечего... Уж, брат, как ты там ни хитри,— шалишь: безответная моя голова! (Мужик рассмеялся.) Уж он там как ни мудри, Кинтильян-то Семеныч, а уж...

Влас опять засмеялся.

— Что ж? Это плохо, брат Влас,— с расстановкой произнес Туман.

— А чем плохо? Не... (У Власа голос прервался.) Эка жара стоит,— продолжал он, утирая лицо рукавом.

— Кто ваш барин? — спросил я.

— Граф ***, Валериан Петрович.

— Сын Петра Ильича?

— Петра Ильича сын,— отвечал Туман.— Петр Ильич, покойник, Власову-то деревню ему при жизни уделил.

— Что, он здоров?

— Здоров, слава богу,— возразил Влас.— Красный такой стал, лицо словно обложилось.

— Вот, батюшка,— продолжал Туман, обращаясь ко мне,— добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.

— А почему с тягла?

— Девяносто пять рублей с тягла,— пробормотал Влас.

— Ну вот, видите; а земли самая малость, только и есть что господский лес.

— Да и тот, говорят, продали,— заметил мужик.

— Ну, вот видите... Степа, дай-ка червяка... А, Степа? Что ты, заснул, что ли?

Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приутикнули. На другом берегу кто-то затынул песню, да такую унылую... Пригорюнился мой бедный Влас..

Через полчаса мы разошлись.

УЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ

Однажды осенью, на возвратном пути с отъезжего поля, я простудился и занемог. К счастью, лихорадка застигла меня в уездном городе, в гостинице; я послал за доктором. Через полчаса явился уездный лекарь, человек небольшого роста, худенький и черноволосый. Он прописал мне обычное потогонное, велел приставить горчичник, весьма ловко запустил к себе под обшлаг пятирублевую бумажку, причем, однако, сухо кашлянул и глянул в сторону, и уже совсем было собрался отправиться восвояси, да как-то разговорился и остался. Жар меня томил; я предвидел бессонную ночь и рад был поболтать с добрым человеком. Подали чай. Пустился мой доктор в разговоры. Малый он был неглупый, выражался бойко и довольно забавно. Странные дела случаются на свете: с иным человеком и долго живешь вместе и в дружественных отношениях находишься, а ни разу не заговоришь с ним откровенно, от души; с другим же едва познакомиться успеешь — глядь, либо ты ему, либо он тебе, словно на исповеди, всю подноготную и проболтал. Не знаю, чем я заслужил доверенность моего нового приятеля, — только он, ни с того, ни с сего, как говорится, «взял» да и рассказал мне довольно замечательный случай; а я вот и довожу теперь его рассказ до сведения благосклонного читателя. Я постараюсь выразаться словами лекаря.

— Вы не изволите знать, — начал он расслабленным и дрожащим голосом (таково действие беспримесного березовского табаку), — вы не изволите знать здешнего судью, Мылова, Павла Лукича?.. Не знаете... Ну, все равно. (Он откашлялся и протер глаза.) Вот, изволите видеть, дело было этак, как бы вам сказать — не солгать, в великий пост, в самую ростепель. Сижу я у него, у нашего судьи, и играю в преферанс. Судья у нас хороший человек и в преферанс играть охотник. Вдруг (мой лекарь часто употреблял слово: вдруг) говорят мне: человек ваш вас спрашивает. Я говорю: что ему надобно? Говорят, записку принес, — должно быть,

от больного. Подай, говорю, записку. Так и есть: от больного... Ну, хорошо,— это, понимаете, наш хлеб... Да вот в чем дело: пишет ко мне помещица, вдова; говорит, дескать, дочь умирает, приезжайте, ради самого господа бога нашего, и лошади, дескать, за вами присланы. Ну, это еще все ничего... Да живет-то она в двадцати верстах от города, а ночь на дворе, и дороги такие, что фа! Да и сама беднеющая, больше двух целковых ожидать тоже нельзя, и то еще сумнительно, а разве холстом придется попользоваться да крупичами какими-нибудь. Однако долг, вы понимаете, прежде всего: человек умирает. Передаю вдруг карты непременно члену Каллиошину и отправляюсь домой. Гляжу: стоит тележечка перед крыльцом; лошади крестьянские — пузатые-препузатые, шерсть на них — войлоко настоящее, и кучер, ради уваженья, без шапки сидит. Ну, думаю, видно, брат, господа-то твои не на золоте едят... Вы изволите смеяться, а я вам скажу: наш брат, бедный человек, все в соображение принимай... Коли кучер сидит князем, да шапки не ломает, да еще посмеивается из-под бороды, да кнутиком шевелит — смело бей на две депозитки! А тут, вижу, дело-то не тем пахнет. Однако, думаю, делать нечего: долг прежде всего. Захватываю самонужнейшие лекарства и отправляюсь. Поверите ли, едва дотащился. Дорога адская: ручьи, снег, грязь, водомоины, а там вдруг плотину прорвало — беда! Однако приезжаю. Домик маленький, соломой крыт. В окнах свет: знать, ждут. Вхожу. Навстречу мне старушка почтенная такая, в чепце. «Спасите, говорит, умирает». Я говорю: «Не извольте беспокоиться... Где больная?» — «Вот сюда пожалуйте». Смотрю: комнатка чистенькая, в углу лампада, на постеле девица лет двадцати, в беспамятстве. Жаром от нее так и пышет, дышит тяжело — горячка. Тут же другие две девицы, сестры, — перепуганы, в слезах. «Вот, говорят, вчера была совершенно здорова и кушала с аппетитом; поутру сегодня жаловалась на голову, а к вечеру вдруг вот в каком положении...» Я опять-таки говорю: «Не извольте беспокоиться», — докторская, знаете, обязанность, — и приступил. Кровь ей пустил, горчичники поставить велел, микстурку прописал. Между тем я гляжу на нее, гляжу, знаете, — ну, ей-богу, не видал еще такого лица... красавица, одним словом! Жалость меня так и разбирает. Черты такие приятные, глаза... Вот, слава богу, успела; пот выступил, словно опомнилась; кругом поглядела, улыбнулась, рукой по лицу провела... Сестры к ней нагнулись, спрашивают: «Что с тобою?» — «Ничего», — говорит, да и отвортилась... Гляжу — заснула. Ну, говорю, теперь следует больную в покое оставить. Вот мы все на цыпочках и вышли вон; горничная одна осталась на всякий случай. А в гостиной уж самовар на столе, и ямайский тут же стоит: в нашем деле без этого нельзя. Подали мне чай, просят

остаться ночевать... Я согласился: куда теперь ехать! Старушка все охает. «Чего вы? — говорю. — Будет жива, не извольте беспокоиться, а лучше отдохните-ка сами: второй час». — «Да вы меня прикажете разбудить, коли что случится?» — «Прикажу, прикажу». Старушка отправилась, и девицы также пошли к себе в комнату; мне постель в гостиной постлали. Вот я лег, — только не могу заснуть, — что за чудеса! Уж на что, кажется, намучился. Все моя больная у меня с ума нейдет. Наконец не вытерпел, вдруг встал; думаю, пойду посмотрю, что делает пациент? А спальня-то ее с гостиной рядом. Ну, встал, растворил тихонько дверь, а сердце так и бьется. Гляжу: горничная спит, рот раскрыла и храпит даже, бестия! а больная лицом ко мне лежит и руки разметала, бедняжка! Я подошел... Как она вдруг раскроет глаза и уставится на меня!.. «Кто это? кто это?» Я сконфузился. «Не пугайтесь, говорю, сударыня: я доктор, пришел посмотреть, как вы себя чувствуете». — «Вы доктор?» — «Доктор, доктор... Матушка ваша за мною в город послали; мы вам кровь пустили, сударыня; теперь извольте почитать, а дня этак через два мы вас, даст бог, на ноги поставим». — «Ах, да, да, доктор, не дайте мне умереть... пожалуйста, пожалуйста». — «Что вы это, бог с вами!» А у ней опять жар, думаю я про себя; пощупал пульс: точно, жар. Она посмотрела на меня — да как возьмет меня вдруг за руку. «Я вам скажу, почему мне не хочется умереть, я вам скажу, я вам скажу... теперь мы одни; только вы, пожалуйста, никому... послушайте...» Я нагнулся; придвинула она губы к самому моему уху, волосами щеку мою трогает, — признаюсь, у меня самого кругом пошла голова, — и начала шептать... Ничего не понимаю... Ах, да это она бредит... Шептала, шептала, да так проворно и словно не по-русски, кончила, вздрогнула, уронила голову на подушку и пальцем мне погрозилась. «Смотрите же, доктор, никому...» Кое-как я ее успокоил, дал ей напиток, разбудил горничную и вышел.

Тут лекарь опять с ожесточеньем понюхал табуку и на мгновение оцепенел.

— Однако, — продолжал он, — на другой день больной, в противность моим ожиданиям, не полегчало. Я подумал, подумал и вдруг решился остаться, хотя меня другие пациенты ожидали... А вы знаете, этим негигиенировать нельзя: практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии; а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. Притом же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и неимущие, но образованные, можно сказать, на редкость... Отец-то у них был человек ученый, сочинитель; умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное; книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно

около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме, как родного... Между тем распутица сделалась страшная: все сообщения, так сказать, прекратились совершенно; даже лекарство с трудом из города доставлялось... Больная не поправлялась... День за день, день за день... Но вот-с... тут-с... (Лекарь помолчал.) Право, не знаю, как бы вам изложить-с... (Он снова понюхал табаку, крикнул и хлебнул глоток чаю.) Скажу вам без обиняков, больная моя... как бы это того... ну, полюбила, что ли, меня... или нет, не то чтобы полюбила... а впрочем... право, как это, того-с... (Лекарь потупился и покраснел.)

— Нет,— продолжал он с живостью,— какое полюбила! Надо себе наконец цену знать. Девица она была образованная, умная, почитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры (лекарь с улыбкой взглянул на себя) также, кажется, нечем хвастаться. Но дураком господь бог тоже меня не уродил: я белое черным не назову; я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна — ее Александрой Андреевной звали — не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите... Впрочем,— прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством,— я, кажется, немного зарапортовался... Этак вы ничего не поймете... а вот, позвольте, я вам все по порядку расскажу.

Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным.

— Так, так-то-с. Моей больной все хуже становилось, хуже, хуже. Вы не медик, милостивый государь; вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность! Орбеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе больше не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, исподлобья глядят, шепчутся... э, скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь — нет, не оно! Не дашь времени лекарству как следует подействовать... то за то хвагнисься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу... ведь тут оно, думаешь, тут! Право слово, иногда наобум раскроешь: авось, думаешь, судьба... А человек меж тем умирает; а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен; я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь! Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек — не твоя вина: ты по правилам поступал. А то вот

что еще мучительно бывает: видишь доверие к тебе слепое, а сам чувствуешь, что не в состоянии помочь. Вот именно такое доверие все семейство Александры Андреевны ко мне возымело: и думать позабыли, что у них дочь в опасности. Я их тоже, с своей стороны, уверяю, что ничего, дескать, а у самого душа в пятки уходит. К довершению несчастья, такая подошла распутица, что за лекарством по целым дням, бывало, кучер ездит. А я из комнаты больной не выхожу, оторваться не могу, разные, знаете, смешные анекдотцы рассказываю, в карты с ней играю. Ночи просиживаю. Старушка меня со слезами благодарит; а я про себя думаю: «Не стою я твоей благодарности». Признаюсь вам откровенно — теперь не для чего скрываться — влюбился я в мою больную. И Александра Андреевна ко мне привязалась: никого, бывало, к себе в комнату, кроме меня, не пускает. Начнет со мной разговаривать, — расспрашивает меня, где я учился, как живу, кто мои родные, к кому я езжу? И чувствую я, что не след ей разговаривать; а запретить ей, решительно этак, знаете, запретить — не могу. Схвачу, бывало, себя за голову: «Что ты делаешь, разбойник?..» А то возьмет меня за руку и держит, глядит на меня, долго, долго глядит, отвернется, вздохнет и скажет: «Какой вы добрый!» Руки у ней такие горячие, глаза большие, темные. «Да, говорит, вы добрый, вы хороший человек, вы не то, что наши соседи... нет, вы не такой, вы не такой... Как это я до сих пор вас не знала!» — «Александра Андреевна, успокойтесь, говорю... я, поверьте, чувствую, я не знаю, чем заслужил... только вы успокойтесь, ради бога, успокойтесь... все хорошо будет, вы будете здоровы». А между тем, должен я вам сказать, — прибавил лекарь, нагнувшись вперед и подняв кверху брови, — что с соседями они мало водились оттого, что мелкие им не под стать приходились, а с богатыми гордость запрещала знаться. Я вам говорю: чрезвычайно образованное было семейство, — так мне, знаете, и лестно было. Из одних моих рук лекарство принимала... приподнимется, бедняжка, с моею помощью, примет и взглянет на меня... сердце у меня так и покатится. А между тем ей все хуже становилось, все хуже: умрет, думаю, непременно умрет. Поверите ли, хоть самому в гроб ложиться; а тут мать, сестры наблюдают, в глаза мне смотрят... и доверие проходит. «Что? Как?» — «Ничего-с, ничего-с!» А какое ничего-с, ум мешается. Вот-с, сижу я однажды ночью, один окая, возле больной. Девка тут тоже сидит и храпит во всю ивановскую... Ну, с несчастной девки взыскать нельзя: затормошилась и она. Александра-то Андреевна весьма нехорошо себя весь вечер чувствовала; жар ее замучил. До самой полуночи все металась; наконец словно заснула; по крайней мере, не шевелится, лежит. Лампада в углу перед образом горит. Я сижу, знаете, потупился, дремлю тоже. Вдруг, словно меня кто под бок толкнул, обернулся я... Господи, боже мой! Алек-

сандра Андреевна во все глаза на меня глядит... губы раскрыты, щеки так и горят. «Что с вами?» — «Доктор, ведь я умру?» — «Помилуй бог!» — «Нет, доктор, нет, пожалуйста, не говорите мне, что я буду жива... не говорите... если б вы знали... послушайте, ради бога не скрывайте от меня моего положения! — А сама так скоро дышит. — Если я буду знать наверное, что я умереть должна... я вам тогда всё скажу, всё!» — «Александра Андреевна, помилуйте!» — «Послушайте, ведь я не спала нисколько, я давно на вас гляжу... ради бога... я вам верю, вы человек добрый, вы честный человек, заклинаю вас всем, что есть святого на свете, — скажите мне правду! Если б вы знали, как это для меня важно... Доктор, ради бога скажите, я в опасности?» — «Что я вам скажу, Александра Андреевна, — помилуйте!» — «Ради бога, умоляю вас!» — «Не могу скрыть от вас, Александра Андреевна, — вы точно в опасности, но бог милостив...» — «Я умру, я умру...» И она словно обрадовалась, лицо такое веселое стало; я испугался. «Да не бойтесь, не бойтесь, меня смерть нисколько не страшает». Она вдруг приподнялась и оперлась на локоть. «Теперь... ну, теперь я могу вам сказать, что я благодарна вам от всей души, что вы добрый, хороший человек, что я вас люблю...» Я гляжу на нее, как шальной; жутко мне, знаете... «Слышите ли, я люблю вас...» — «Александра Андреевна, чем же я заслужил!» — «Нет, нет, вы меня не понимаете... ты меня не понимаешь...» И вдруг она протянула руки, схватила меня за голову и поцеловала... Поверите ли, я чуть-чуть не закричал... бросился на колени и голову в подушки спрятал. Она молчит; пальцы ее у меня на волосах дрожат; слышу: плачет. Я начал ее утешать, уверять... я уж, право, не знаю, что я такое ей говорил. «Девку, говорю, разбудите, Александра Андреевна... благодарю вас... верьте... успокойтесь». — «Да полно же, полно, — твердила она. — Бог с ними со всеми; ну, проснутся, ну, придут — все равно: ведь умру же я... Да и ты чего робеешь, чего боишься? Подними голову... Или вы, может быть, меня не любите, может быть, я обманулась... в таком случае извините меня». — «Александра Андреевна, что вы говорите?... я люблю вас, Александра Андреевна». Она взглянула мне прямо в глаза, раскрыла руки. «Так обними же меня...» Скажу вам откровенно: я не понимаю, как я в ту ночь с ума не сошел. Чувствую я, что больная моя себя губит; вижу, что не совсем она в памяти; понимаю также и то, что не почитай она себя при смерти, — не подумала бы она обо мне; а то ведь, как хотите, жутко умирать в двадцать пять лет, никого не любивши: ведь вот что ее мучило, вот отчего она, с отчаянья, хоть за меня ухватилась, — понимаете теперь? Ну не выпускает она меня из своих рук. «Пощадите меня, Александра Андреевна, да и себя пощадите, говорю». — «К чему, говорит, чего жалеть? Ведь должна же я умереть...» Это она

беспрестанно повторяла. «Вот если бы я знала, что я в живых останусь и опять в порядочные барышни попаду, мне бы стыдно было, точно стыдно... а то что?» — «Да кто вам сказал, что вы умрете?» — «Э, нет, полно, ты меня не обманешь, ты лгать не умеешь, посмотри на себя». — «Вы будете живы, Александра Андреевна, я вас вылечу; мы испросим у вашей матушки благословение... мы соединимся узами, мы будем счастливы». — «Нет, нет, я с вас слово взяла, я должна умереть... ты мне обещал... ты мне сказал...» Горько было мне, по многим причинам горько. И посудите, вот какие иногда приключаются вещицы: кажется, ничего, а больно. Вздумалось ей спросить меня, как мое имя, то есть не фамилия, а имя. Надо же несчастное такое, что меня Трифоном зовут. Да-с, да-с; Трифоном, Трифоном Иванычем. В доме-то меня все доктором звали. Я, делать нечего, говорю: «Трифон, сударыня». Она прищурилась, покачала головой и прошептала что-то по-французски, — ох, да недоброе что-то, — и засмеялась потом, нехорошо тоже. Вот этак-то я почти всю ночь провел с ней. Поутру вышел, словно угорелый; вошел к ней опять в комнату уже днем, после чаю. Боже мой, боже мой! Узнать ее нельзя: краше в гроб кладут. Честью вам клянусь, не понимаю теперь, не понимаю решительно, как я эту пытку выдержал. Три дня, три ночи еще проскрыпела моя больная... и какие ночи! Что она мне говорила!.. А в последнюю-то ночь, вообразите вы себе, — сижу я подле нее и уж об одном бога прошу: прибери, дескать, е поскорей, да и меня тут же... Вдруг старушка мать — шасть в комнату... Уж я ей накануне сказал, матери-то, что мало, дескать, надежды, плохо, и священника не худо бы. Больная, как увидела мать, и говорит: «Ну вот, хорошо, что пришла... посмотри-ка на нас, мы друг друга любим, мы друг другу слово дали». — «Что это она, доктор, что она?» Я помертвел. «Бредит-с, говорю, жар...» А она-то: «Полно, полно, ты мне сейчас совсем другое говорил, и кольцо от меня принял... что притворяешься? Мать моя добрая, она простит, она поймет, а я умираю — мне не к чему лгать; дай мне руку...» Я вскочил и вон выбежал. Старушка, разумеется, догадалась.

— Не стану я вас, однако, долее томить, да и мне самому, признаться, тяжело все это припоминать. Моя больная на другой же день скончалась. Царство ей небесное (прибавил лекарь скороговоркой и со вздохом)! Перед смертью попросила она своих выйти и меня наедине с ней оставить. «Простите меня, говорит, я, может быть, виновата перед вами... болезнь... но, поверьте, я никого не любила более вас... не забывайте же меня... берегите мое кольцо...»

Лекарь отвернулся; я взял его за руку.

— Эх! — сказал он. — Давайте-ка о чем-нибудь другом говорить, или не хотите ли в преферансик по маленькой? Нашему бра-

ту, знаете ли, не след таким возвышенным чувствованиям предаваться. Наш брат думай об одном: как бы дети не пищали да жена не бранилась. Ведь я с тех пор в законный, как говорится, брак вступить успел... Как же... Купеческую дочь взял: семь тысяч приданого. Зовут ее Акулиной; Трифону-то под стать. Баба, должен я вам сказать, злая, да благо спит целый день... А что ж преферанс?

Мы сели в преферанс по копейке. Трифон Иваныч выиграл у меня два рубля с полтиной — и ушел поздно, весьма довольный своей победой.

МОЙ СОСЕД РАДИЛОВ

...Осенью вальдшнепы часто держатся в старинных липовых садах. Таких садов у нас в Орловской губернии довольно много. Прадеды наши, при выборе места для жительства, непременно отбивали десятины две хорошей земли под фруктовый сад с липовыми аллеями. Лет через пятьдесят, много семьдесят, эти усадьбы, «дворянские гнезда», понемногу исчезали с лица земли, дома сгнивали или продавались на своз, каменные службы превращались в груды развалин, яблони вымирали и шли на дрова, заборы и плетни истреблялись. Одни липы по-прежнему росли себе на славу и теперь, окруженные распаханными полями, гласят нашему ветреному племени о «прежде почивших отцах и братиях». Прекрасное дерево — такая старая липа... Ее щадит даже безжалостный топор русского мужика. Лист на ней мелкий, могучие сучья широко раскинулись во все стороны, вечная тень под ними.

Однажды, скитаясь с Ермолаем по полям за куропатками, зашел я в стороне заброшенный сад и отправился туда. Только что я вошел в опушку, вальдшнеп со стуком поднялся из куста, — я выстрелил, и в то же мгновение, в нескольких шагах от меня, раздался крик: испуганное лицо молодой девушки выглянуло из-за деревьев и тотчас скрылось. Ермолай подбежал ко мне. «Что вы здесь стреляете: здесь живет помещик».

Не успел я ему ответить, не успела собака моя с благородной важностью донести до меня убитую птицу, как послышались проворные шаги, и человек высокого роста, с усами, вышел из чащи и с недовольным видом остановился передо мной. Я извинился, как мог, назвал себя и предложил ему птицу, застреленную в его владениях.

— Извольте, — сказал он мне с улыбкой, — я приму вашу дичь, но только с условием: вы у нас останетесь обедать.

Признаться, я не очень обрадовался его предложению, но отказать было невозможно.

— Я здешний помещик и ваш сосед, Радилов, может, слышали,— продолжал мой новый знакомый.— Сегодня воскресенье, и обед у меня, должно быть, будет порядочный, а то бы я вас не пригласил.

Я отвечал, что отвечают в таких случаях, и отправился вслед за ним. Недавно расчищенная дорожка скоро вывела нас из липовой рощи; мы вошли в огород. Между старыми яблонями и разросшимися кустами крыжовника пестрели круглые бледно-зеленые кочаны капусты; хмель винтами обвивал высокие тычинки; тесно торчали на грядах бурые прутья, перепутанные засохшим горохом; большие плоские тыквы словно валялись на земле; огурцы желтели из-под запыленных угловатых листьев; вдоль плетня качалась высокая крапива; в двух или трех местах кучами росли: татарская жимолость, бузина, шиповник — остатки прежних «клумб». Возле небольшой сажалки, наполненной красноватой и слизистой водой, виднелся колодезь, окруженный лужицами. Утки хлопотливо плескались и ковыляли в этих лужицах; собака, дрожа всем телом и жмурясь, грызла кость на поляне; пегая корова тут же лениво щипала траву, изредка закидывая хвост на худую спину. Дорожка повернула в сторону; из-за толстых раkit и берез глянул на нас старенький, серый домик с тесовой крышей и кривым крылечком. Радилов остановился.

— Впрочем,— сказал он, добродушно и прямо посмотрев мне в лицо,— я теперь раздумал; может быть, вам вовсе не хочется заходить ко мне: в таком случае...

Я не дал ему договорить и уверил его, что мне, напротив, очень приятно будет у него отобедать.

— Ну, как знаете.

Мы вошли в дом. Молодой малый, в длинном кафтане из синего толстого сукна, встретил нас на крыльце. Радилов тотчас приказал ему поднести водки Ермолаю; мой охотник почтительно поклонился спине великодушного дателя. Из передней, заклеенной разными пестрыми картинками, завешенной клетками, вошли мы в небольшую комнатку — кабинет Радилова. Я снял свои охотничьи доспехи, поставил ружье в угол; малый в длинном полове сюртуке хлопотливо обчистил меня.

— Ну, теперь пойдемте в гостиную,— ласково проговорил Радилов,— я вас познакомлю с моей матушкой.

Я пошел за ним. В гостиной, на среднем диване, сидела старушка небольшого роста, в коричневом платье и белом чепце, с добреньким и худеньким лицом, робким и печальным взглядом.

— Вот, матушка, рекомендую: сосед наш ***.

Старушка привстала и поклонилась мне, не выпуская из сухощавых рук толстого гарусного ридикюля в виде мешка.

— Давно вы пожаловали в нашу сторону? — спросила она слабым и тихим голосом, помаргивая глазами.

— Нет-с, недавно.

— Долго намерены здесь остаться?

— Думаю, до зимы.

Старушка замолчала.

— А вот это,— подхватил Радилов, указывая мне на человека высокого и худого, которого я при входе в гостиную не заметил,— это Федор Михеич... Ну-ка, Федя, покажи свое искусство гостю. Что ты забился в угол-то?

Федор Михеич тотчас поднялся со стула, достал с окна дрянненькую скрипку, взял смычок — не за конец, как следует, а за середину, прислонил скрипку к груди, закрыл глаза и пустился в пляс, напевая песенку и пиликаая по струнам. Ему на вид было лет семьдесят; длинный нанковый сюртук печально болтался на сухих и костлявых его членах. Он плясал; то с удалством потряхивал, то, словно замирая, поводил маленькой лысой головкой, вытягивал жилистую шею, топотал ногами на месте, иногда, с заметным трудом, сгибал колени. Его беззубый рот издавал дряхлый голос. Радилов, должно быть, догадался по выражению моего лица, что мне «искусство» Феде не доставляло большого удовольствия.

— Ну, хорошо, старина, полно,— проговорил он,— можешь пойти наградить себя.

Федор Михеич тотчас положил скрипку на окно, поклонился сперва мне, как гостю, потом старушке, потом Радилову и вышел вон.

— Тоже был помещик,— продолжал мой новый приятель,— и богатый, да разорился — и вот проживает теперь у меня... А в свое время считался первым по губернии хватом; двух жен от мужей увез, песельников держал, сам певал и плясал мастерски... Но не прикажете ли водки? Ведь уж обед на столе.

Молодая девушка, та самая, которую я мельком видел в саду, вошла в комнату.

— А вот и Оля! — заметил Радилов, слегка отвернув голову.— Прощу любить и жаловать... Ну, пойдёмте обедать.

Мы отправились в столовую, сели. Пока мы шли из гостиной и садились, Федор Михеич, у которого от «награды» глазки засияли и нос слегка покраснел, пел: «Гром победы раздавайся!» Ему поставили особый прибор в углу на маленьком столике без салфетки. Бедный старик не мог похвалиться опрятностью, и потому его постоянно держали в некотором отдалении от общества. Он перекрестился, вздохнул и начал есть, как акула. Обед был действительно недурен и, в качестве воскресного, не обошелся без трюфещущего желе и испанских ветров (пирожного). За столом Радилов,

который лет десять служил в армейском пехотном полку и в Турцию ходил, пустился в рассказы; я слушал его со вниманием и украдкой наблюдал за Ольгой. Она не очень была хороша собой; но решительное и спокойное выражение ее лица, ее широкий белый лоб, густые волосы и, в особенности, карие глаза, небольшие, но умные, ясные и живые, поразили бы и всякого другого на моем месте. Она как будто следила за каждым словом Радилова; не участие, — страстное внимание изображалось на ее лице. Радилов, по летам, мог бы быть ее отцом; он говорил ей «ты», но я тотчас догадался, что она не была его дочерью. В течение разговора он ушомянул о своей покойной жене — «ее сестра», — прибавил он, указав на Ольгу. Она быстро покраснела и опустила глаза. Радилов помолчал и переменял разговор. Старушка во весь обед не произнесла слова, сама почти ничего не ела и меня не потчевала. Ее черты дышали каким-то боязливым и безнадежным ожиданием, той старческой грустью, от которой так мучительно сжимается сердце зрителя. К концу обеда Федор Михеич начал было «славить» хозяев и гостя, но Радилов взглянул на меня и попросил его замолчать; старик провел рукой по губам, заморгал глазами, поклонился и присел опять, но уже на самый край стула. После обеда мы с Радиловым отправились в его кабинет.

В людях, которых сильно и постоянно занимает одна мысль или одна страсть, заметно что-то общее, какое-то внешнее сходство в обращении, как бы ни были, впрочем, различны их качества, способности, положение в свете и воспитание. Чем более я наблюдал за Радиловым, тем более мне казалось, что он принадлежал к числу таких людей. Он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, о войне, уездных сплетнях и близких выборах, говорил без принуждения, даже с участием, но вдруг вздыхал и опускался в кресла, как человек, утомленный тяжелой работой, проводил рукой по лицу. Вся душа его, добрая и теплая, казалось, была проникнута пассивностью, пресыщена одним чувством. Меня поражало уже то, что я не мог в нем открыть страсти ни к еде, ни к вину, ни к охоте, ни к курским соловьям, ни к голубям, страдающим падучей болезнью, ни к русской литературе, ни к ивоходцам, ни к венгеркам, ни к карточной и биллиардной игре, ни к танцевальным вечерам, ни к поездкам в губернские и столичные города, ни к бумажным фабрикам и свекло-сахарным заводам, ни к раскрашенным беседкам, ни к чаю, ни к доведенным до разврата пристяжным, ни даже к толстым кучерам, подпоясанным под самыми мышками, к тем великодушным кучерам, у которых, бог знает почему, от каждого движения шей глаза косятся и лезут вон... «Что ж это за помещик наконец!» — думал я. А между тем он вовсе не прикидывался человеком мрачным и своею судьбою недовольным; напротив, от него

так и веяло неразборчивым благоволением, радушьем и почти обидной готовностью сближенья с каждым встречным и поперечным. Правда, вы в то же самое время чувствовали, что подружиться, действительно сблизиться он ни с кем не мог, и не мог не оттого, что вообще не нуждался в других людях, а оттого, что вся жизнь его ушла на время внутрь. Вглядываясь в Радилова, я никак не мог себе представить его счастливым ни теперь, ни когда-нибудь. Красавцем он тоже не был; но в его взоре, в улыбке, во всем его существе таилось что-то чрезвычайно привлекательное, — именно таилось. Так, кажется, и хотелось бы узнать его получше, полюбить его. Конечно, в нем иногда высказывался помещик и степняк; но человек он все-таки был славный.

Мы начали было толковать с ним о повом уездном предводителе, как вдруг у двери раздался голос Ольги: «Чай готов». Мы пошли в гостиную. Федор Михеич по-прежнему сидел в своем уголку, между окошком и дверью, скромно подобрав ноги. Мать Радилова вязала чулок. Сквозь открытые окна из сада веяло осенней свежестью и запахом яблоков. Ольга хлопотливо разливала чай. Я с ббольшим вниманием смотрел на нее теперь, чем за обедом. Она говорила очень мало, как вообще все уездные девицы, но в ней, по крайней мере, я не замечал желанья сказать что-нибудь хорошее, вместе с мучительным чувством пустоты и бессилия; она не вздыхала, словно от избытка неизъяснимых ощущений, не закатывала глаза под лоб, не улыбалась мечтательно и неопределенно. Она глядела спокойно и равнодушно, как человек, который отдыхает от большого счастья или от большой тревоги. Ее походка, ее движенья были решительны и свободны. Она мне очень нравилась.

Мы с Радиловым опять разговорились. Я уже не помню, каким путем мы дошли до известного замечанья: как часто самые ничтожные вещи производят большее впечатление на людей, чем самые важные.

— Да, — промолвил Радилов, — это я испытал на себе. Я, вы знаете, был женат. Не долго... три года; моя жена умерла от родов. Я думал, что не переживу ее; я был огорчен страшно, убит, но плакать не мог — ходил словно шальной. Ее, как следует, одели, положили на стол — вот в этой комнате. Пришел священник; дьячки пришли, стали петь, молиться, курить ладаном; я клал земные поклоны и хоть бы слезинку выронил. Сердце у меня словно окаменело и голова тоже, — и весь я отяжелел. Так прошел первый день. Верите ли? Ночью я заснул даже. На другое утро вошел я к жене, — дело было летом, солнце освещало ее с ног до головы, да так ярко. Вдруг я увидел... (Здесь Радилов невольно вздрогнул.) Что вы думаете? Глаз у нее не совсем был закрыт, и по этому гла-

зу ходила муха... Я повалился, как сноп, и, как опомнился, стал плакать, плакать — унять себя не мог...

Радилов замолчал. Я посмотрел на него, потом на Ольгу... Век мне не забыть выражения ее лица. Старушка положила чулок на колени, достала из ридикюля платок и украдкой утерла слезу. Федор Михеич вдруг поднялся, схватил свою скрышку и хриплым и диким голосом затянул песенку. Он желал, вероятно, развеселить нас; но мы все вздрогнули от его первого звука, и Радилов попросил его успокоиться.

— Впрочем, — продолжал он, — что было, то было; прошлого не воротить, да и наконец... все к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Вблтер, — прибавил он поспешно.

— Да, — возразил я, — конечно. Притом всякое несчастье можно перенести, и нет такого скверного положения, из которого нельзя было бы выйти.

— Вы думаете? — заметил Радилов. — Что ж, может быть, вы правы. Я, помнится, в Турции лежал в госпитале, полумертвый: у меня была гнилая горячка. Ну, помещением мы похвалиться не могли, — разумеется, дело военное, — и то еще слава богу! Вдруг к нам еще приводят больных, — куда их положить? Лекарь туда, сюда, — нет места. Вот подошел он ко мне, спрашивает фельдшера: «Жив?» Тот отвечает: «Утром был жив». Лекарь нагнулся, слышит: дышу. Не вытерпел приятель. «Ведь экая натура-то дура, говорит, ведь вот умрет человек, ведь непременно умрет, а все скрипит, тянет, только место занимает да другим мешает». — «Ну, — подумал я про себя, — плохо тебе, Михайло Михайлыч...» А вот выздоровел и жив до сих пор, как изволите видеть. Стало быть, вы правы.

— Во всяком случае я прав, — отвечал я. — Если б вы даже и умерли, вы все-таки вышли бы из вашего скверного положения.

— Разумеется, разумеется, — прибавил он, внезапно и сильно ударив рукою по столу... — Стоит только решиться... Что толку в скверном положении?.. К чему медлить, тянуть...

Ольга быстро встала и вышла в сад.

— Ну-ка, Федя, плясовую! — воскликнул Радилов.

Федя вскочил, пошел по комнате той щеголеватой, особенной поступью, какою выступает известная «коза» около ручного медведя, и зашел: «Как у наших у ворот...»

У подъезда раздался стук беговых дрожек, и через несколько мгновений вошел в комнату старик высокого роста, плечистый и плотный, однодворец Овсяников... Но Овсяников такое замечательное и оригинальное лицо, что мы, с позволения читателя, поговорим о нем в другом отрывке. А теперь я от себя прибавлю только то, что на другой же день мы с Ермолаем чем свет отправились на

охоту, а с охоты домой, что через педелью я опять зашел к Радилову, но не застал ни его, ни Ольги дома, а через две педели узнал, что он внезапно исчез, бросил мать, уехал куда-то с своей золовкой. Вся губерния взволновалась и заговорила об этом происшествии, и я только тогда окончательно понял выражение Ольгина лица во время рассказа Радилова. Не одним состраданием дышало оно тогда: оно пылало также ревностью.

Перед моим отъездом из деревни я посетил старушку Радилову. Я нашел ее в гостиной; она играла с Федором Михеичем в дурачки.

— Имеете вы известие от вашего сына? — спросил я ее наконец.

Старушка заплакала. Я уже более не расспрашивал ее о Радилове.

ОДНОДВОРЕЦ ОВСЯНИКОВ

Представьте себе, любезные читатели, человека полного, высокого, лет семидесяти, с лицом, напоминающим несколько лицо Крылова, с ясным и умным взором под нависшей бровью, с важной осанкой, мерпой речью, медлительной походкой: вот вам Овсяников. Носил он просторный синий сюртук с длинными рукавами, застегнутый доверху, шелковый лиловый платок на шее, ярко вычищенные сапоги с кистями и вообще с виду походил на зажиточного купца. Руки у него были прекрасные, мягкие и белые, он часто в течение разговора брался за пуговицы своего сюртука. Овсяников своею важностью и неподвижностью, смышленостью и ленью, своим прямодушием и упорством напоминал мне русских бояр допетровских времен... Ферязь бы к нему пристала. Это был один из последних людей старого века. Все соседи его чрезвычайно уважали и почитали за честь знаться с ним. Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки перед ним издали ломали, гордились им. Говоря вообще, у нас до сих пор однодворца трудно отличить от мужика: хозяйство у него едва ли не хуже мужицкого, телята не выходят из гречихи, лошади чуть живы, упряжь веревочная. Овсяников был исключением из общего правила, хоть и не слыл за богача. Жил он один с своей женой в уютном, опрятном домике, прислугу держал небольшую, одевал людей своих по-русски и называл работниками. Они же у него и землю пахали. Он и себя не выдавал за дворянина, не прикидывался помещиком, никогда, как говорится, «не забывался», не по первому приглашению садился и при входе нового гостя непременно поднимался с места, но с таким достоинством, с такой величавой приветливостью, что гость невольно ему кланялся пониже. Овсяников придерживался старинных обычаев не из суеверия (душа в нем была довольно свободная), а по привычке. Он, например, не любил рессорных экипажей, потому что не находил их покойными, и разъезжал либо в беговых дрожках, либо в небольшой красивой тележ-

ке с кожаной подушкой, и сам правил своим добрым гнедым рысаком. (Он держал одних гнедых лошадей.) Кучер, молодой краснощекий парень, остриженный в скобку, в синеватом армяке и низкой бараньей шапке, подпоясанный ремнем, почтительно сидел с ним рядом. Овсяников всегда спал после обеда, ходил в баню по субботам, читал одни духовные книги (причем, с важностью надевал на нос круглые серебряные очки), вставал и ложился рано. Бороду, однако же, он брил и волосы носил по-немецки. Гостей он принимал весьма ласково и радушно, но не кланялся им в пояс, не суетился, не потчевал их всяким сушеньем и соленьем. «Жена! — говорил он медленно, не вставая с места и слегка повернув к ней голову. — Принеси господам чего-нибудь полакомиться». Он почитал за грех продавать хлеб — божий дар, и в 40-м году, во время всеобщего голода и страшной дороговизны, роздал окрестным помещикам и мужикам весь свой запас; они ему на следующий год с благодарностью внесли свой долг натурой. К Овсяникову часто прибегали соседи с просьбой рассудить, помирить их и почти всегда покорялись его приговору, слушались его совета. Многие, по его милости, окончательно размежевались.. Но после двух или трех сшибок с помещицами он объявил, что отказывается от всякого посредничества между особами женского пола. Терпеть он не мог поспешности, тревожной торопливости, бабьей болтовни и «суеты». Раз как-то у него дом загорелся. Работник впопыхах вбежал к нему с криком: «Пожар! пожар!» — «Ну, чего же ты кричишь? — спокойно сказал Овсяников. — Поддай мне шапку и костыль...» Он сам любил выезжать лошадей. Однажды рьяный битюк¹ помчал его под гору к оврагу. «Ну, полно, полно, жеребенок малолетний, — убьешься», — добродушно замечал ему Овсяников и через мгновение полетел в овраг вместе с беговыми дрожками, мальчиком, сидевшим сзади, и лошадыю. К счастью, на дне оврага грудями лежал песок. Никто не ушибся, один битюк вывихнул себе ногу. «Ну вот, видишь, — продолжал спокойным голосом Овсяников, поднимаясь с земли, — я тебе говорил». И жену он сыскал по себе. Татьяна Ильинична Овсяникова была женщина высокого роста, важная и молчаливая, вечно повязанная коричневым шелковым платком. От нее веяло холодом, хотя не только никто не жаловался на ее строгость, но, напротив, многие бедняки пазывали ее матушкой и благодетельницей. Правильные черты лица, большие темные глаза, тонкие губы и теперь еще свидетельствовали о некогда знаменитой ее красоте. Детей у Овсяникова не было.

¹ Битюками, или с битюка, называются особенной породы лошади, которые развелись в Воронежской губернии около известного «Хренового» (бывшего конного завода гр. Орловой).

Я с ним познакомился, как уже известно читателю, у Радилова и дня через два поехал к нему. Я застал его дома. Он сидел в больших кожаных креслах и читал четьи-минеи. Серая кошка мурлыкала у него на плече. Он меня принял, по своему обыкновенью, ласково и величаво. Мы пустились в разговор.

— А скажите-ка, Лука Петрович, правду,— сказал я между прочим,— ведь прежде, в ваше-то время, лучше было?

— Иное точно лучше было, скажу вам,— возразил Овсяников,— спокойнее мы жили; довольства больше было, точно... А все-таки теперь лучше; а вашим деткам еще лучше будет, бог даст.

— А я так ожидал, Лука Петрович, что вы мне старое время хвалить станете.

— Нет, старого времени мне особенно хвалить не из чего. Вот хоть бы, примером сказать, вы помещик теперь, такой же помещик, как ваш покойный дедушка, а уж власти вам такой не будет! Да и вы сами не такой человек. Нас и теперь другие господа притесняют; но без этого обойтись, видно, нельзя. Перемелется — авось мука будет. Нет, уж я теперь не увижу, чего в молодости насмотрелся.

— А чего бы, например?

— А хоть бы, например, опять-таки скажу про вашего дедушку. Властный был человек! Обижал нашего брата. Ведь вот вы, может, знаете,— да как вам своей земли не знать,— клин-то, что идет от Чаплыгина к Малинину?.. Он у вас под овсом теперь... Ну, ведь он наш,— весь как есть наш. Ваш дедушка у нас его отнял; выехал верхом, показал рукой, говорит: «Мое владенье»,— и завладел. Отец-то мой, покойник (царство ему небесное!), человек был справедливый, горячий был тоже человек, не вытерпел,— да и кому охота свое доброе терять? — и в суд просьбу подал. Да один подал, другие-то не пошли — побоялись. Вот вашему дедушке и допесли, что Петр Овсяников, мол, на вас жалуется: землю, вишь, отнять изволили... Дедушка ваш к нам тотчас и прислал своего ловчего Бауша с командой... Вот и взяли моего отца и в вашу вотчину повели. Я тогда был мальчишка маленький, босиком за ними побежал. Что ж?.. Привели его к вашему дому да под окнами и высекли. А ваш-то дедушка стоит на балконе да посматривает; а бабушка под окном сидит и тоже глядит. Отец мой кричит: «Матушка, Марья Васильевна, заступитесь, пощадите хоть вы!» А она только знай приподнимается да поглядывает. Вот и взяли с отца слово отступить от земли и благодарить еще велели, что живого отпустили. Так она и осталась за вами. Подите-ка, спросите у своих мужиков: как, мол, эта земля прозывается? Дубовщиной она прозывается, потому что дубьем отнята. Так вот от этого и нельзя нам, маленьким людям, очень-то жалеть о старых порядках.

Я не знал, что отвечать Овсяникову, и не смел взглянуть ему в лицо.

— А то другой сосед у нас в те поры завелся, Комов, Степан Никтополионыч. Замучил было отца совсем: не мытьем, так катаньем. Пьяный был человек и любил угощать, и как подопьет да скажет по-французски «се бон»¹, да облизнется — хоть святых вон носи! По всем соседям шлет просить пожаловать. Тройки так у него наготове и стояли; а не поедешь — тотчас сам нагрывает... И такой странный был человек! В «тверёзом» виде не лгал; а как выпьет — и начнет рассказывать, что у него в Питере три дома на Фонтанке: один красный с одной трубой, другой — желтый с двумя трубами, а третий — синий без труб, — и три сына (а он и женат-то не бывал): один в инфантерии, другой в кавалерии, третий сам по себе... И говорит, что в каждом доме живет у него по сыну, что к старшему ездят адмиралы, ко второму — генералы, а к младшему — всё англичане! Вот и поднимется и говорит: «За здоровье моего старшего сына, он у меня самый почтительный!» — и заплачет. И беда, коли кто отказываться стапет. «Застрелю! — говорит, — и хоронить не позволю!» А то вскочит и закричит: «Пляши, народ божий, на свою потеху и мое утешение!» Ну, ты и пляши, хоть умирай, а пляши. Девоч своих крепостных вовсе замучил. Бывало, всю ночь как есть, до утра хором поют, и какая вышне голосом забирает, той и награда. А станут уставать — голову на руки положит и загорюет: «Ох, сирота я сиротливая! Покидают меня, голубчика!» Конюха тотчас девочек и приободрят. Отец-то мой ему и полюбись: что прикажешь делать? Ведь чуть в гроб отца моего не вогнал, и точно вогнал бы, да сам, спасибо, умер: с голубятни в пьяном виде свалился... Так вот какие у нас соседусшки бывали!

— Как времена-то изменились! — заметил я.

— Да, да, — подтвердил Овсяников. — Ну, и то сказать: в старые-то годы дворяне живали пышнее. Уж нечего и говорить про вельмож: я в Москве на них насмотрелся. Говорят, они и там цервелись теперь.

— Вы были в Москве?

— Был, давно, очень давно. Мне вот теперь семьдесят третий год пошел, а в Москву я ездил на шестнадцатом году.

Овсяников вздохнул.

— Кого ж вы там видали?

— А многих вельмож видел, и всяк их видел; жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто; дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был

¹ «это хорошо» (от фр. c'est bon).

вельможа! Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд! Пока не знаешь его, не войдешь к нему — боишься точно, робеешь; а войдешь — словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь. Каждого человека до своей особы допускал и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся; и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет; и такой ласковый — противника утешит, коня его похвалит. Голубей-турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресла и прикажет голубков поднять; а кругом, на крышах, люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой; он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе живали... и сколько денег он передавал! А рассердится — словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что: смотришь — уж и улыбается. Пир задаст — Москву спойт!.. И ведь умница был какой! Ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил; силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет — наградит; а коли кто его поборет — задарит вовсе и в губы поцелует... А то, в бытность мою в Москве, затеял садку такую, какой на Руси не бывало: всех как есть охотников со всего царства к себе в гости пригласил и день пазначил, и три месяца сроку дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей — пу, войско паехало, как есть войско! Сперва попиrowали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалось тьма-тьмуца!.. И что вы думаете?.. Ведь вашего дедушки собака всех обскакала.

— Не Миловидка ли? — спросил я.

— Миловидка, Миловидка... Вот граф его и начал упрашивать: «Продай мне, дескать, твою собаку: возьми что хочешь». — «Нет, граф, говорит, я не купец: тряпицы ненужной не продам, а из чести хоть жену готов уступить, только не Миловидку... Скорее себя самого в полон отдам». И Алексей Григорьевич его похвалил: «Люблю», — говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете повез; а как умерла Миловидка, с музыкой в саду ее похоронил — псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил.

— Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, — заметил я.

— Да оно всегда так бывает: кто сам мелко плавает, тот и задирает.

— А что за человек был этот Бауш? — спросил я после некоторого молчания.

— Как же это вы про Миловидку слышали, а про Бауша нет?.. Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше Миловидки. Отчаянный был человек, и

что бы ваш дед ни приказал — мигом исполнит, хоть на нож ползет... И как порскал — так стон в лесу, бывало, и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет... И как только перестали собаки слышать его голос — кончено! Горячий след бросят, не погонят ни за какие благи. И-их, ваш дедушка рассердится! «Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника! Наизнанку антихриста выворочу! Пятки душегубцу сквозь горло протащу!» А кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает? И Бауш в таких случаях обыкновенно потребует виipa, выпьет, поднимется и загогочет опять на славу.

— Вы, кажется, также любите охоту, Лука Петрович?

— Любил бы... точно, — не теперь: теперь моя пора прошла — а в молодых годах... да знаете, неловко, по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно: и из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоседится к господам... да что за радость! Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую; то и дело шапку с него паземь бросают; арапником, будто по лошади, по нем задевают; а он все смеется да других смеши. Нет, скажу вам: чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь.

— Да, — продолжал Овсянников со вздохом, — много воды утекло с тех пор, как я на свете живу: времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные — все либо на службе побывали, либо на месте не сидят; а что покрупней — тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать: сердце радуется, на них глядя: обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно: всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дела-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют: их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочет, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева, Александра Владимыча, — чем не дворянин? Собой красавец, богат, в ниверситетах обучался, как жись, и за границей побывал, говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете?.. Ну, так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку, по приглашению посредника, Никифора Ильича. И говорит нам посредник, Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться; это срам, наш участок ото всех других отстал: приступимте к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится; поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий... И из чего буянит человек?.. У самого вершка земли пету: по поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет! меня вам не провести! пет, не на того наткнулись! Планы сюда! землемера мне подайте, хриstopродавца подайте сюда!» —

«Да какое наконец ваше требование?» — «Вот дурака пашли! эка! Вы думаете: я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю?.. Нет, вы планы сюда подайте,— вот что!» А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Та кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить?» — «Я, говорит, вашей репутации моей бурой кобыле не желаю». Насилу мадерой отпоили. Его успокоили, — другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимыч, сидит, мой голубчик, в углу, набалдашник на палке покусывает да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет, хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимыч, показывает вид, что говорить желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимыч говорить желает». И нельзя не похвалить дворян: все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимыч, и говорит: что мы, дескать, кажется, забыли, для чего мы собрались; что хотя размежевание, бесспорно, выгодно для владельцев, но, в сущности, оно введено для чего? — для того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности справлять; а то теперь он сам своей земли не знает и нередко за пять верст пахать едет, — и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимыч, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды — все едино: им хорошо — нам хорошо, им худо — нам худо... и что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков... И пошел, и пошел... Да ведь как говорил! за душу так и забирает... Дворяне-то все посы повесили; я сам, ей-ей, чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает... А чем кончилось? Сам четырех десятин мохового болота не уступил и продать не захотел. Говорит: «Я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу, с усовершенствованиями. И, говорит, уж это место выбрал: у меня на этот счет свои соображения...» И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимыча, Карасиков Антон, покуснулся королёвскому приказчику сто рублев ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимыч по сих пор себя правым почитает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает.

— А как он в своем именье распоряжается?

— Всё новые порядки вводит. Мужики не хвалят,— да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимыч.

— Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины?

— Я — другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что

мое за хозяйство?.. Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону — и то слава богу! Молодые господа прежних порядков не любят: я их хвалю... Пора за ум взяться. Только вот что горе: молодые господа больно мудрят. С мужиком, как с куклой, поступают: повертят, повертят, поломают да и бросят. И приказчик, крепостной человек, или управитель, из немецких уроженцев, опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал: вот, мол, как надо распоряжаться!.. Чем же это кончится? Неужто ж я так и умру и новых порядков не увижу?.. Что за притча? — Старое вымерло, а молодое не нарождается!

Я не знал, что отвечать Овсяникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса:

— А слышали про Василия Николаича Любозвонова?

— Нет, не слышал.

— Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума пе приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой, недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики — что за диво! — Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудренное, — пьян, не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, говорит, ребята! бог вам в помощь». Мужики ему в пояс, — только молча: заробели, знаете. И он словно сам робеет. Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы русские; я русское все люблю... русская, дескать, у меня душа и кровь тоже русская...» Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался... И вот чему удивляться надо: бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа, гуляки записные, точно; одевались почитай что кучерами и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали; а ведь этот-то, Василий-то Николаич, словно красная девушка: всё книги читает али пишет, а не то вслух канты произносит, — ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний-то приказчик на первых порах вовсе перетрусился: перед приездом Василия Николаича дворы крестьянские обегал, всем кланялся, — видно, чуяла кошка, чье мясо съела! И мужики надеялись, думали: «Шалишь, брат! Ужо тебя к ответу потянут, голубчика; вот ты ужо напляшешься, жила ты этакой!..» А вместо

того вышло — как вам доложить? Сам господь не разберет, что такое вышло! Позвал его к себе Василий Николаич и говорит, а сам краснеет, и так, знаете, дышит скоро: «Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь?» Да с тех пор его к своей особе и не требовал! В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул; а мужики к Василью Николаичу подступиться не смеют: боятся. И ведь вот опять что удивления достойно: и кланяется им барин, и смотрит приветливо, — а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарелся, что ли, — не понимаю.

Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен.

— Какое болен! Поперек себя толще, и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод... А впрочем, господь ведает! (И Овсяников глубоко вздохнул.)

— Ну, в сторону дворян, — начал я, — что вы мне об однодворцах скажете, Лука Петрович?

— Нет, уж вот от этого увольте, — поспешно проговорил он, — право... и сказал бы вам... да что! (Овсяников рукой махнул.) Станемте лучше чай кушать... Мужики, как есть мужики; а впрочем, правду сказать, как же и быть-то нам?

Он замолчал. Подали чай. Татьяна Ильинична встала с своего места и села поближе к нам. В течение вечера она несколько раз без шума вышла и так же тихо возвращалась. В комнате воцарилось молчание. Овсяников важно и медленно выпивал чашку за чашкой.

— Митя был сегодня у нас, — вполголоса заметила Татьяна Ильинична.

Овсяников нахмурился.

— Чего ему надобно?

— Приходил прощенья просить.

Овсяников покачал головою.

— Ну, подите вы, — продолжал он, обращаясь ко мне, — что прикажете делать с сродственниками? И отказаться от них невозможно... Вот и меня тоже бог наградил племянничком. Малый он с головой, бойкий малый, спору нет; учился хорошо, только проку мне от него не дожидаться. На службе казенной состоял — бросил службу: вишь, ему ходу не было... Да разве он дворянин? И дворян-то не сейчас в генералы жалуют. Вот теперь и живет без дела... Да это бы еще куда ни шло, — а то в ябедники пустился! Крестьянам просьбы сочиняет, доклады пишет, сотских научает, землемеров на чистую воду выводит, по питейным домам таскается, с бессрочными, с мещанами городскими да с дворниками на постоянных дворах знается. Долго ли тут до беды? Уж и становые и

исправники ему не раз грозились. Да он, благо, балагурить умеет: их же рассмешит, да им же потом и наварит кашу... Да полно, не сидит ли он у тебя в каморке? — прибавил он, обращаясь к жене. — Я ведь тебя знаю: ты ведь сердобольная такая, — покровительство ему оказываешь.

Татьяна Ильинична потупилась, улыбнулась и покраснела.

— Ну, так и есть, — продолжал Овсяников... — Ох ты, баловница! Ну, вели ему войти, — уж так и быть, ради дорогого гостя, прощу глупца... Ну, вели, вели...

Татьяна Ильинична подошла к двери и крикнула: «Митя!»

Митя, малый лет двадцати восьми, высокий, стройный и кудрявый, вошел в комнату и, увидев меня, остановился у порога. Одежда на нем была немецкая, но одни неестественной величины буфы на плечах служили явным доказательством тому, что кроил ее не только русский — российский портной.

— Ну, подойди, подойди, — заговорил старик, — чего стыдишься? Благодарю тетку: прощен.... Вот, батюшка, рекомендую, — продолжал он, показывая на Митю, — и родной племянник, а не слажу никак. Пришли последние времена! (Мы друг другу поклонились.) Ну, говори, что ты там такое напутал? За что на тебя жалуются, сказывай.

Мите, видимо, не хотелось объясняться и оправдываться при мне.

— После, дядюшка, — пробормотал он.

— Нет, не после, а теперь, — продолжал старик... — Тебе, я знаю, при господине помещике совестно: тем лучше — казись. Изволь, изволь-ка говорить... Мы послушаем.

— Мне нечего стыдиться, — с живостью начал Митя и тряхнул головой. — Извольте сами, дядюшка, рассудить. Приходят ко мне решетилдовские однодворцы и говорят: «Заступись, брат». — «Что такое?» — «А вот что: магазины хлебные у нас в исправности, то есть лучше быть не может; вдруг приезжает к нам чиновник: приказано-де осмотреть магазины. Осмотрел и говорит: «В беспорядке ваши магазины, упущены важные, начальство обязан донести». — «Да в чем упущенья?» — «А уж про это я знаю», — говорит... Мы было собрались и решили: чиновника как следует отблагодарить, — да старик Прохорыч помешал; говорит: этак их только разлакомишь. Что, в самом деле? или уж нет нам расправы пикакой?.. Мы старика-то и послушались, а чиновник-то осерчал и жалобу подал, донесение написал. Вот теперь и требуют нас к ответу». — «Да точно ли у вас магазины в исправности?» — спрашиваю я. «Видит бог, в исправности, и законное количество хлеба имеется...» — «Ну, говорю, так вам робеть нечего», — и написал им бумагу... И еще неизвестно, в чью пользу дело решится...

А что вам на меня по этому случаю пожаловались,— дело понятное: всякому своя рубашка к телу ближе.

— Всякому, да, видно, не тебе,— сказал старик вполголоса...— А что у тебя там за каверзы с шутоломовскими крестьянами?

— А вы почему знаете?

— Стало быть, знаю.

— И тут я прав,— опять-таки извольте рассудить. У шутоломовских крестьян сосед Беспандин четыре десятины земли запахал. Моя, говорит, земля. Шутоломовцы-то на оброке, помещик их за границу уехал — кому за них заступиться, сами посудите? А земля их бесспорная, крепостная, испокон веку. Вот и пришли ко мне, говорят: напиши просьбу. Я и написал. А Беспандин узнал и грозиться начал: «Я, говорит, этому Митьке задние лопатки из вертлюгов повыдергаю, а не то и совсем голову с плеч снесу...» Посмотрим, как-то он ее снесет: до сих пор цела.

— Ну, не хвастайся: недобровать ей, твоей голове,— промолвил старик,— человек-то ты сумасшедший вовсе!

— А что ж, дядюшка, не вы ли сами мне говорить изволили...

— Знаю, знаю, что ты мне скажешь,— перебил его Овсяников,— точно: по справедливости должен человек жить и ближнему помогать обязан есть. Бывает, что и себя жалеть не должен... Да ты разве все так поступаешь? Не водят тебя в кабак, что ли? не поят тебя, не клепаются, что ли: «Дмитрий Алексеич,— дескать,— батюшка, помоги, а благодарность мы уж тебе предъявим»,— да целковенький или сипенькую из-под полы в руку? А? не бывает этого? сказывай, не бывает?

— В этом я точно виноват,— отвечал, потупившись, Митя,— но с бедных я не беру и душой не кривлю.

— Теперь не берешь, а самому придется плохо — будешь брать. Душой не кривишь... эх, ты! Знать, за святых все заступаешься!.. А Борьку Переходова забыл?.. Кто за него хлопотал? кто покровительство ему оказывал? а?

— Переходов по своей вине пострадал, точно...

— Казенные деньги потратил... Шутка!

— Да вы, дядюшка, сообразите: бедность, семейство...

— Бедность, бедность... Человек он пьющий, азартный — вот что!

— Пить он с горя начал,— заметил Митя, понизив голос.

— С горя! Ну, помог бы ему, коли сердце в тебе такое ретивое, а не сидел бы с пьяным человеком в кабаках сам. Что он красно говорит,— вишь, невидаль какая!

— Человек-то он добрейший...

— У тебя все добрые...— А что,— продолжал Овсяников, обращаясь к жене,— послали ему... ну, там, ты знаешь...

Татьяна Ильинична кивнула головой.

— Где ты эти дни пропадал? — заговорил опять старик.

— В городе был.

— Небось все на биллиарде играл да чайничал, на гитаре бренчал, по присутственным местам шмыгал, в задних комнатках просьбы сочинял, с купецкими сынками щеголял? Так ведь?.. Сказывай!

— Оно, пожалуй, что так, — с улыбкой сказал Митя... — Ах, да! чуть было не забыл: Фунтиков, Антон Парфеныч, к себе вас в воскресенье просит откушать.

— Не поеду я к этому брюхачу. Рыбу даст сотенную, а масло положит тухлое. Бог с ним совсем!

— А то я Федосью Михайловну встретил.

— Какую это Федосью?

— А Гарпенченки помещика, вот что Микулино сукциону купил. Федосья-то из Микулина. В Москве на оброке жила в швеях и оброк платила исправно, сто восемьдесят два рубля с полтиной в год... И дело свое знает: в Москве заказы получала хорошие. А теперь Гарпенченко ее выписал, да вот и держит так, должности ей не определяет. Она бы и откупиться готова, и барину говорила, да он никакого решения не объявляет. Вы, дядюшка, с Гарпенчковой-то знакомы, — так не можете ли вы замолвить ему словечко?.. А Федосья выкуп за себя даст хороший.

— Не на твои ли деньги? ась? Ну, ну, хорошо, скажу ему, скажу. Только не знаю, — продолжал старик с недовольным лицом, — этот Гарпенченко, прости господи, жила: векселя скупает, деньги в рост отдает, именья с молотка приобретает... И кто его в нашу сторону запес? Ох, уж эти мне заезжие! Не скоро от него толку добьешься, — а впрочем, посмотрим.

— Похлопочите, дядюшка.

— Хорошо, похлопочу. Только ты смотри, смотри у меня! Ну, ну, не оправдывайся... Бог с тобой, бог с тобой!.. Только вперед смотри, а то, ей-богу, Митя, недоброваты тебе, — ей-богу, пропадешь. Не все же мне тебя на плечах выносить... я и сам человек не властный. Ну, ступай теперь с богом.

Митя вышел. Татьяна Ильинична отправилась за ним.

— Напой его чаем, баловница, — закричал ей вслед Овсяников... — Неглупый малый, — продолжал он, — и душа добрая, только я боюсь за него... А впрочем, извините, что так долго вас пустяками занимал.

Дверь из передней отворилась. Вошел низенький, седенький человек в бархатном сюртучке.

— А, Франц Иваныч! — вскрикнул Овсяников. — Здравствуй-те! как вас бог милует?

Позвольте, любезный читатель, познакомить вас и с этим господином.

Франц Иваныч Лежёнъ (Lejeune), мой сосед и орловский помещик, не совсем обыкновенным образом достиг почетного звания русского дворянина. Родился он в Орлеане, от французских родителей, и вместе с Наполеоном отправился на завоевание России, в качестве барабанщика. Сначала все шло как по маслу, и наш француз вошел в Москву с поднятой головой. Но на возвратном пути бедный м-г Lejeune, полузамерзший и без барабана, попался в руки смоленским мужичкам. Смоленские мужички заперли его на ночь в пустую сукновальню, а на другое утро привели к проруби, возле плотины, и начали просить барабанщика «de la grande armée»¹ уважить их, то есть нырнуть под лед. М-г Lejeune не мог согласиться на их предложение и, в свою очередь, начал убеждать смоленских мужичков, на французском диалекте, отпустить его в Орлеан. «Там, messieurs,— говорил он,— мать у меня живет, une tendre mère»². Но мужички, вероятно по незнанию географического положения города Орлеана, продолжали предлагать ему подводное путешествие вниз по течению извилистой речки Гнилотерки и уже стали поощрять его легкими толчками в шейные и спинные позвонки, как вдруг, к неописанной радости Лежёнъ, раздался звук колокольчика и на плотину взъехали огромные сани с пестрейшим ковром на преувеличенно-возвышенном задке, запряженные тройкой саврасых вятков. В санях сидел толстый и румяный помещик в волчьей шубе.

— Что вы там такое делаете? — спросил он мужиков.

— А французя топим, батюшка.

— А! — равнодушно возразил помещик и отвернулся.

— Monsieur! Monsieur! — закричал бедняк.

— А, а! — с укоризной заговорила волчья шуба. — С двенадцатью язык на Россию шел, Москву сжег, окаянный, крест с Ивана Великого стащил, а теперь — мусье, мусье! а теперь и хвост поджал! По делам вору и мука... Пошел, Филька-а!

Лошади тронулись.

— А, впрочем, стой! — прибавил помещик... — Эй ты, мусье, умеешь ты музыке?

— Sauvez moi, sauvez moi, mon bon monsieur!³ — твердил Лежёнъ.

— Ведь вишь народец! и по-русски-то ни один из них не знает! Мюзик, мюзик, савэ мюзик ву? савэ? Ну, говори же! Ком-пренэ? савэ мюзик ву? на фтортопьяно жуэ савэ?

¹ вввеликой армии (фр.).

² нежная мать (фр.).

³ Спасите меня, спасите меня, добрый сударь! (фр.)

Лежёнъ понялъ наконецъ, чего добивается помещикъ, и утвердительно закивалъ головой.

— *Oui, monsieur, oui, oui, je suis musicien; je joue de tous les instruments possibles! Oui, monsieur... Sauvez moi, monsieur!*¹

— Ну, счастливъ твой богъ,— возразилъ помещикъ...— Ребята, отпустите его; вотъ вамъ двугривенный на водку.

— Спасибо, батюшка, спасибо. Извольте, возьмите его.

Лежёню посадили в сани. Онъ задыхался отъ радости, плакалъ, дрожалъ, кланялся, благодарилъ помещика, кучера, мужиков. На немъ была одна зеленая фуфайка с розовыми лентами, а мороз трещалъ на славу. Помещикъ молча глянул на его посиневшие и оконеченные члены, завернулъ несчастного в свою шубу и привез его домой. Дворянъ сбежалась. Француза наскоро отогрели, накормили и одели. Помещикъ повелъ его къ своимъ дочерямъ.

— Вотъ, дети,— сказалъ онъ имъ,— учитель вамъ сыскапъ. Вы всё приставали ко мнѣ: выучи-де насъ музыкѣ и французскому диалекту: вотъ вамъ и французъ, и на фортопьянахъ играетъ... Ну, мусье,— продолжалъ онъ, указывая на дрянные фортепьянишки, купленные имъ за пять летъ у жида, который, впрочемъ, торговалъ одеколономъ,— покажи намъ свое искусство: жуэ!

Лежёнъ съ замирающимъ сердцемъ селъ на стулъ: онъ отроду и не касался фортепьяна.

— Жуэ же, жуэ же! — повторялъ помещикъ.

С отчаяшемъ ударилъ беднякъ по клавишамъ, словно по барабану, заигралъ какъ попало... «Я такъ и думалъ,— рассказывалъ онъ потомъ,— что мой спаситель схватитъ меня за воротъ и выброситъ вопъ изъ дому». Но, къ крайнему изумлению невольнаго импровизатора, помещикъ, погодя немного, одобрительно потрепалъ его по плечу. «Хорошо, хорошо,— промолвилъ онъ,— вижу, что знаешь; поди теперь отдохни».

Недели черезъ две отъ этого помещика Лежёнъ переехалъ къ другому, человеку богатому и образованному, полюбился ему за веселый и кроткий нравъ, женился на его воспитаннице, поступилъ на службу, вышелъ в дворяне, выдалъ свою дочь за орловскаго помещика Лобызаньева, отставнаго драгуна и стихотворца, и переселился самъ на жительство в Орелъ.

Вотъ этотъ-то самый Лежёнъ, или, какъ теперь его называютъ, Францъ Иванычъ, и вошелъ при мнѣ в комнату Овсяникова, съ которымъ онъ состоялъ в дружественныхъ отношеніяхъ...

Но, быть можетъ, читателю уже наскучило сидеть со мною у ордворца Овсяникова, и потому я красноречиво умолкаю.

¹ Да, сударь, да, да, я музыкантъ; я играю на всевозможныхъ инструментахъ. Да, сударь... Спасите меня, сударь! (*фр.*)

ЛЬГОВ

— Поедьте-ка в Льгов,— сказал мне однажды уже известный читателям Ермолай,— мы там уток настроляем вдоволь.

Хотя для настоящего охотника дикая утка не представляет ничего особенно пленительного, но за неимением пока другой дичи (дело было в начале сентября: вальдшнепы еще не прилетали, а бегать по полям за куропатками мне надоело), я послушался моего охотника и отправился в Льгов.

Льгов — большое степное село с весьма древней каменной одноглавой церковью и двумя мельницами на болотистой речке Росоте. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд, по краям и кое-где посередине заросший густым тростником, по-орловскому — майером. На этом-то пруде, в заводях или затишьях между тростниками, выводилось и держалось бесчисленное множество уток всех возможных пород: кряковых, полукряковых, шилохвостых, чирков, нырков и пр. Небольшие стаи то и дело перелетывали и носились над водою, а от выстрела поднимались такие тучи, что охотник невольно хватался одной рукой за шапку и протяжно говорил: «фу-у!» Мы пошли было с Ермолаем вдоль пруда, но, во-первых, у самого берега утка, птица осторожная, не держится; во-вторых, если даже какой-нибудь отсталый и неопытный чирок и подвергнулся нашим выстрелам и лишился жизни, то достать его из сплошного майера наши собаки не были в состоянии: несмотря на самое благородное самоотвержение, они не могли ни плавать, ни ступать по дну и только даром резали свои драгоценные носы об острые края тростников.

— Нет,— промолвил наконец Ермолай,— дело неладно: надо достать лодку... Пойдемте назад в Льгов.

Мы пошли. Не успели мы ступить несколько шагов, как нам навстречу из-за густой ракиты выбежала довольно дрянная легавая собака, и вслед за ней появился человек среднего роста, в синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета гри-де-лень или блё-д-амур¹, наскоро засунутых в дырявые

¹ розовато-серого (от *фр. gris de lin*)... голубовато-серого (от *фр. bleu d'amour*).

сапоги, с красным платком на шее и одноствольным ружьем за плечами. Пока наши собаки, с обычным, их породе свойственным, китайским церемониалом, снюхивались с новой для них личностью, которая, видимо, трусила, поджимала хвост, закидывала уши и быстро перевертывалась всем телом, не сгибая коленей и скаля зубы, незнакомец подошел к нам и чрезвычайно вежливо поклонился. Ему на вид было лет двадцать пять; его длинные русые волосы, сильно пропитанные квасом, торчали неподвижными косицами, — небольшие карие глазки приветливо моргали, — все лицо, повязанное черным платком, словно от зубной боли, сладостно улыбалось.

— Позвольте себя рекомендовать, — начал он мягким и вкрадчивым голосом, — я здешний охотник Владимир... Услышав о вашем прибытии и узнав, что вы изволили отправиться на берега нашего пруда, решился, если вам не будет противно, предложить вам свои услуги.

Охотник Владимир говорил, ни дать ни взять, как провинциальный молодой актер, занимающий роли первых любовников. Я согласился на его предложение и, не дойдя еще до Льгова, уже успел узнать его историю. Он был вольноотпущенный дворовый человек; в нежной юности обучался музыке, потом служил камердинером, знал грамоте, почитывал, сколько я мог заметить, кое-какие книжонки и, живя теперь, как многие живут на Руси, без гроша паличного, без постоянного запятая, питался только что не манной пекеспой. Выражался он необыкновенно изящно и, видимо, щеголял своими манерами; волокита тоже, должно быть, был страшный и, по всем вероятностям, успевал: русские девушки любят красноречие. Между прочим, он мне дал заметить, что посещает иногда соседних помещиков, и в город ездит в гости, и в преферанс играет, и с столичными людьми знает. Улыбался он мастерски и чрезвычайно разнообразно: особенно шла к нему скромная, сдержанная улыбка, которая играла на его губах, когда он внимал чужим речам. Он вас выслушивал, он соглашался с вами совершенно, но все-таки не терял чувства собственного достоинства и как будто хотел вам дать знать, что и он может, при случае, изъяснить свое мнение. Ермолай, как человек не слишком образованный и уже вовсе не «субтильный», начал было его «тыкать». Надо было видеть, с какой усмешкой Владимир говорил ему: «Вы-с...»

— Зачем вы повязаны платком? — спросил я его. — Зубы болят?

— Нет-с, — возразил он, — это более пагубное следствие осторожности. Был у меня приятель, хороший человек-с, но вовсе не охотник, как это бывает-с. Вот-с, в один день говорит он мне: «Любезный друг мой, возьми меня на охоту: я любопытствую узнать — в чем состоит эта забава». Я, разумеется, не захотел от-

казать товарищу; достал ему, с своей стороны, ружье-с и взял его на охоту-с. Вот-с мы как следует поохотились; наконец вздумалось нам отдохнуть-с. Я сел под деревом; он же, напротив того, с своей стороны, начал выкидывать ружьем артикул-с, причем целился в меня. Я попросил его перестать, но, по неопытности своей, он не послушался-с. Выстрел грянул, и я лишился подбородка и указательного перста правой руки.

Мы дошли до Льгова. И Владимир и Ермолай, оба решили, что без лодки охотиться было невозможно.

— У Сучка есть дощаник¹, — заметил Владимир, — да я не знаю, куда он его спрятал. Надобно сбежать к нему.

— К кому? — спросил я.

— А здесь человек живет, прозвище ему Сучок.

Владимир отправился к Сучку с Ермолаем. Я сказал им, что буду ждать их у церкви. Рассматривая могилы на кладбище, наткнулся я на почерневшую четырехугольную урну с следующими надписями: на одной стороне французскими буквами: «*Ci gît Théophile Henri, vicomte de Blangy*»²; на другой: «Под сим камнем погребено тело французского подданного, графа Бланжия; родился 1737, умре 1799 года, всего жития его было 62 года»; на третьей: «Мир его праху», а на четвертой:

Под камнем сим лежит французский эмигрант;
Породу знатную имел он и талант,
Супругу и семью оплакав избиянну,
Покинул родину, тиранами погранну;
Российския страны достигнув берегов,
Обрел на старости гостеприимный кров;
Учил детей, родителей покоил...
Всевышний судия его здесь успокоил...

Приход Ермолая, Владимира и человека с странным прозвищем Сучок прервал мои размышления.

Босоногий, оборванный и взъерошенный Сучок казался с виду отставным дворовым, лет шестидесяти.

— Есть у тебя лодка? — спросил я.

— Лодка есть, — отвечал он глухим и разбитым голосом, — да больно плоха.

— А что?

— Расклеилась; да из дырьев клепки повывалились.

— Велика беда! — подхватил Ермолай. — Паклей заткнуть можно.

— Известно, можно, — подтвердил Сучок.

— Да ты кто?

¹ Плоская лодка, сколоченная из старых барочных досок.

² Здесь покоится Теофиль Анри, граф Бланжи (фр.).

— Господский рыболов.

— Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой не-
исправности?

— Да в нашей реке и рыбы-то нету.

— Рыба не любит ржавчины болотной,— с важностью заме-
тил мой охотник.

— Ну,— сказал я Ермолаю,— поди достань пакли и справь
пам лодку, да поскорей.

Ермолай ушел.

— А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем? — сказал я
Владимиру.

— Бог милостив,— отвечал он.— Во всяком случае должно
предполагать, что пруд не глубоок.

— Да, он не глубоок,— заметил Сучок, который говорил как-то
странно, словно спросонья,— да на дне типа и трава, и весь он
травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины¹.

— Однако же, если трава так сильна,— заметил Владимир,—
так и грести нельзя будет.

— Да кто ж на дощаниках гребет? Надо пихаться. Я с вами
поеду; у меня там есть шестик,— а то и лопатой можно.

— Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не доста-
нешь,— сказал Владимир.

— Оно правда, что неловко.

Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел,
для приличия, несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал
стоять на месте, повеся голову и сложив, по старой привычке,
руки за спиной.

— Скажи, пожалуйста,— пачал я,— давно ты здесь рыбаком?

— Седьмой год пошел,— отвечал он, встрепенувшись.

— А прежде чем ты занимался?

— Прежде ездил кучером.

— Кто ж тебя из кучеров разжаловал?

— А повая барыня.

— Какая барыня?

— А что нас-то купила. Вы не изволите знать: Алена Тимо-
февна, толстая такая... немолодая.

— С чего ж она вздумала тебя в рыболовы произвести?

— А бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Там-
бова, велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва
к ручке, и она ничего: не серчает... А потом и стала по порядку
нас расспрашивать: чем занимался, в какой должности состоял?
Дошла очередь до меня; вот и спрашивает: «Ты чем был?» Гово-

¹ Глубокое место, яма в пруде или реке.

рю: «Кучером». — «Кучером? Ну, какой ты кучер, посмотри на себя: какой ты кучер? Не след тебе быть кучером, а будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй, слышишь?..» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке...» А как его содержать в порядке?

— Чьи же вы прежде были?

— А Сергея Сергеича Пехтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего шесть годов. У него-то вот я кучером и ездил... да не в городе — там у него другие были, а в деревне.

— И ты смолоду все был кучером?

— Какое все кучером! В кучера-то я попал при Сергее Сергеиче, а прежде поваром был, — но не городским тоже поваром, а так, в деревне.

— У кого ж ты был поваром?

— А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеичина дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеичу именье-то по наследствию досталось.

— У кого купил?

— А у Татьяны Васильевны.

— У какой Татьяны Васильевны?

— А вот, что в запрошлом году умерла, под Болховым... то бишь под Карачевым, в девках... И замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василья Семеныча. Она таки долгонько нами владела... годиков двадцать.

— Что ж, ты и у ней был поваром?

— Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал.

— Во что?

— В кофишенки.

— Это что за должность такая?

— А не знаю, батюшка. При буфете состоял и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила.

— Твое настоящее имя Кузьма?

— Кузьма.

— И ты все время был кофишенком?

— Нет, не все время: был и ахтером.

— Неужели?

— Как же, был... на кеятре играл. Барыня наша кеятр у себя завела.

— Какие же ты роли занимал?

— Чего изволите-с?

— Что ты делал на театре?

— А вы не знаете? Вот меня возьмут и нарядят; я так и хожу

наряженный, или стою, или сижу, как там придется. Говорят: вот что говори,— я и говорю. Раз слепого представлял... Под каждую веку мне по горошине положили... Как же!

— А потом чем был?

— А потом опять в повара поступил.

— За что же тебя опять в повара разжаловали?

— А брат у меня сбежал.

— Ну, а у отца твоей первой барыни чем ты был?

— А в разных должностях состоял: сперва в казачках находился, фалетором был, садовником, а то и доезжачим.

— Доезжачим?.. И с собаками ездил?

— Ездил и с собаками, да убили: с лошадию упал и лошадию зашиб. Старый-то барин у нас был престрогий; велел меня выпороть да в ученье отдать в Москву, к сапожнику.

— Как в ученье? Да ты, чай, не ребенком в доезжачие попал?

— Да лет, этак, мне было двадцать с лишком.

— Какое ж тут ученье в двадцать лет?

— Стало быть, ничего, можно, коли барин приказал. Да он, благо, скоро умер,— меня в деревню и вернули.

— Когда же ты поварскому-то мастерству обучился?

Сучок приподнял свое худенькое и желтенькое лицо и усмехнулся.

— Да разве этому учатся?.. Стряпают же бабы!

— Ну,— промолвил я,— видал ты, Кузьма, виды на своем веку! Что ж ты теперь в рыболовах делаешь, коль у вас рыбы нету?

— А я, батюшка, не жалуясь. И слава богу, что в рыболовы произвели. А то вот другого, такого же, как я, старика — Андрея Пупыря — в бумажную фабрику, в черпальную, барыня приказала поставить. Грешно, говорит, даром хлеб есть... А Пупырь-то еще на милость надеялся: у него двоюродный племянник в барской конторе сидит конторщиком: доложить обещался об нем барыне, напомнить. Вот те и напомнил!.. А Пупырь в моих глазах племяннику-то в ножки кланялся.

— Есть у тебя семейство? Был женат?

— Нет, батюшка, не был. Татьяна Васильевна покойница — царство ей небесное! — никому не позволяла жениться. Сохрани бог! Бывало, говорит: «Ведь живу же я так, в девках, что за бабство! чего им надо?»

— Чем же ты живешь теперь? Жалованье получаешь?

— Какое, батюшка, жалованье!.. Харчи выдаются — и то слава тебе, господи! много доволен. Продли бог века нашей госпоже! Ермолай вернулся.

— Справлена лодка,— произнес он сурово.— Ступай за шестом — ты!..

Сучок побежал за шестом. Во все время моего разговора с бедным стариком охотник Владимир поглядывал на него с презрительной улыбкой.

— Глупый человек-с,— промолвил он, когда тот ушел,— совершенно необразованный человек, мужик-с, больше ничего-с. Дворовым человеком его назвать нельзя-с... и все хвастал-с... Где ж ему быть актером-с, сами извольте рассудить-с! Напрасно изволили беспокоиться, изволили с ним разговаривать-с!

Через четверть часа мы уже сидели в дощанике Сучка. (Собака мы оставили в избе под надзором кучера Иегудиила.) Нам не очень было ловко, но охотники народ неразборчивый. У тупого, заднего конца стоял Сучок и «пихался»; мы с Владимиром сидели на перекладине лодки; Ермолай поместился спереди, у самого носа. Несмотря на паклю, вода скоро появилась у нас под ногами. К счастью, погода была тихая, и пруд словно заснул.

Мы плыли довольно медленно. Старик с трудом выдергивал из вязкой тицы свой длинный шест, весь перепутанный зелеными штиями подводных трав; сплошные, круглые листья болотных лилий тоже мешали ходу пашей лодки. Наконец мы добрались до тростников, и пошла потеха. Утки шумпо поднимались, «срывались» с пруда, испуганные нашим неожиданным появлением в их владениях, выстрелы дружно раздавались вслед за ними, и весело было видеть, как эти кургузые птицы кувыркались на воздухе, таяко шлепались об воду. Всех подстреленных уток мы, копечно, не достали: легко подрапешные ныряли; иные, убитые паповал, падали в такой густой майер, что даже рысьи глазки Ермолая не могли открыть их; по все-таки к обеду лодка наша через край наполнилась дичью.

Владимир, к великому утешению Ермолая, стрелял вовсе не отлично и после каждого неудачного выстрела удивлялся, осматривал и продувал ружье, недоумевал и, наконец, излагал нам причину, почему он промахнулся. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно, я — довольно плохо, по обыкновению. Сучок посматривал на нас глазами человека, смолоду состоявшего на барской службе, изредка кричал: «Вон, вон еще утица!» — и то и дело почесывал спину — не руками, а приведенными в движение плечами. Погода стояла прекрасная: белые круглые облака высоко и тихо неслись над нами, ясно отражаясь в воде; тростник шушукал кругом; пруд местами, как сталь, сверкал на солнце. Мы собирались вернуться в село, как вдруг с нами случилось довольно неприятное происшествие.

Мы уже давно могли заметить, что вода к нам понемногу все набиралась в дощаник. Владимиру было поручено выбрасывать ее вон посредством ковша, похищенного, на всякий случай, моим

предусмотрительным охотником у зазевавшейся бабы. Дело шло как следовало, пока Владимир не забывал своей обязанности. Но к концу охоты, словно на прощанье, утки стали подниматься такими стадами, что мы едва успевали заряжать ружья. В пылу перестрелки мы не обращали внимания на состояние нашего дощаника, — как вдруг, от сильного движения Ермолая (он старался достать убитую птицу и всем телом налег на край), наше ветхое судно наклонилось, зачерпнулось и торжественно пошло ко дну, к счастью, не на глубоком месте. Мы вскрикнули, но уже было поздно: через мгновение мы стояли в воде по горло, окруженные всплывшими телами мертвых уток. Тенерь я без хохота вспомнить не могу испуганных и бледных лиц моих товарищей (вероятно, и мое лицо не отличалось тогда румянцем); но в ту минуту, признаюсь, мне и в голову не приходило смеяться. Каждый из нас держал свое ружье над головой, и Сучок, должно быть, по привычке подражать господам, поднял шест свой кверху. Первый нарушил молчание Ермолай.

— Тьфу ты, пропасть! — пробормотал он, плюнув в воду, — какая оказия! А все ты, старый черт! — прибавил он с сердцем, обращаясь к Сучку. — Что это у тебя за лодка?

— Виноват, — пролепетал старик.

— Да и ты хорош, — продолжал мой охотник, повернув голову в направлении Владимира, — чего смотрел? чего не черпал? ты, ты, ты...

Но Владимиру было уже не до возражений: он дрожал, как лист, зуб на зуб не попадал, и совершенно бессмысленно улыбался. Куда девалось его красноречие, его чувство тонкого приличия и собственного достоинства!

Проклятый дощаник слабо колыхался под нашими ногами... В миг кораблекрушения вода нам показалась чрезвычайно холодной, но мы скоро обтерпелись. Когда первый страх прошел, я оглянулся; кругом, в десяти шагах от нас, росли тростники; вдали, над их верхушками, виднелся берег. «Плохо!» — подумал я.

— Как нам быть? — спросил я Ермолая.

— А вот посмотрим: не почевать же здесь, — ответил он. — На, ты, держи ружье, — сказал он Владимиру.

Владимир беспрекословно повиновался.

— Пойду сыщу брод, — продолжал Ермолай с уверенностью, как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод, — взял у Сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно.

— Да ты умеешь ли плавать? — спросил я его.

— Нет, не умею, — раздался его голос из-за тростника.

— Ну, так утонет, — равнодушно заметил Сучок, который и

прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь, совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение.

— И без всякой пользы пропадет-с,— жалобно прибавил Владимир.

Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно; потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами; иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, «колом», и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался.

Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся.

— Ну, что?

— Был на берегу; брод нашел... Пойдемте.

Мы хотели было тотчас же отправиться; но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед; Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около двухсот шагов, Ермолай шел смело и безостановочно (так хорошо заметил он дорогу), лишь изредка покрикивая: «Левей,— тут направо колдобина!» или: «Правей,— тут налево завязнешь...» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный Сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну, ну, ну!» — грозно кричал па него Ермолай,— и Сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли наконец берега.

Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сепном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табакком Сучка. (Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся.) Сучок нюхал с остервенением, до тошноты: плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку набок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки; лошади топали и ржали под навесом... Солнце садилось; широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи; золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна... На селе раздавались песни.

БЕЖИИ ДУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце — не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное — мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, — и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно взошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «пáрит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты —

несомненный признак постоянной погоды — высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! — подумал я, — да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», — и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, — думал я про себя, — тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далёко-далёко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парихинские кусты! — воскликнул я наконец, — точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попала какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, — одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях,

почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть — но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рошу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» — повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую изо всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазами и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоямя несколько больших, белых камней, — казалось, они сползли туда для тайного совещания, — и до того в пей было темно и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже несколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам — наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

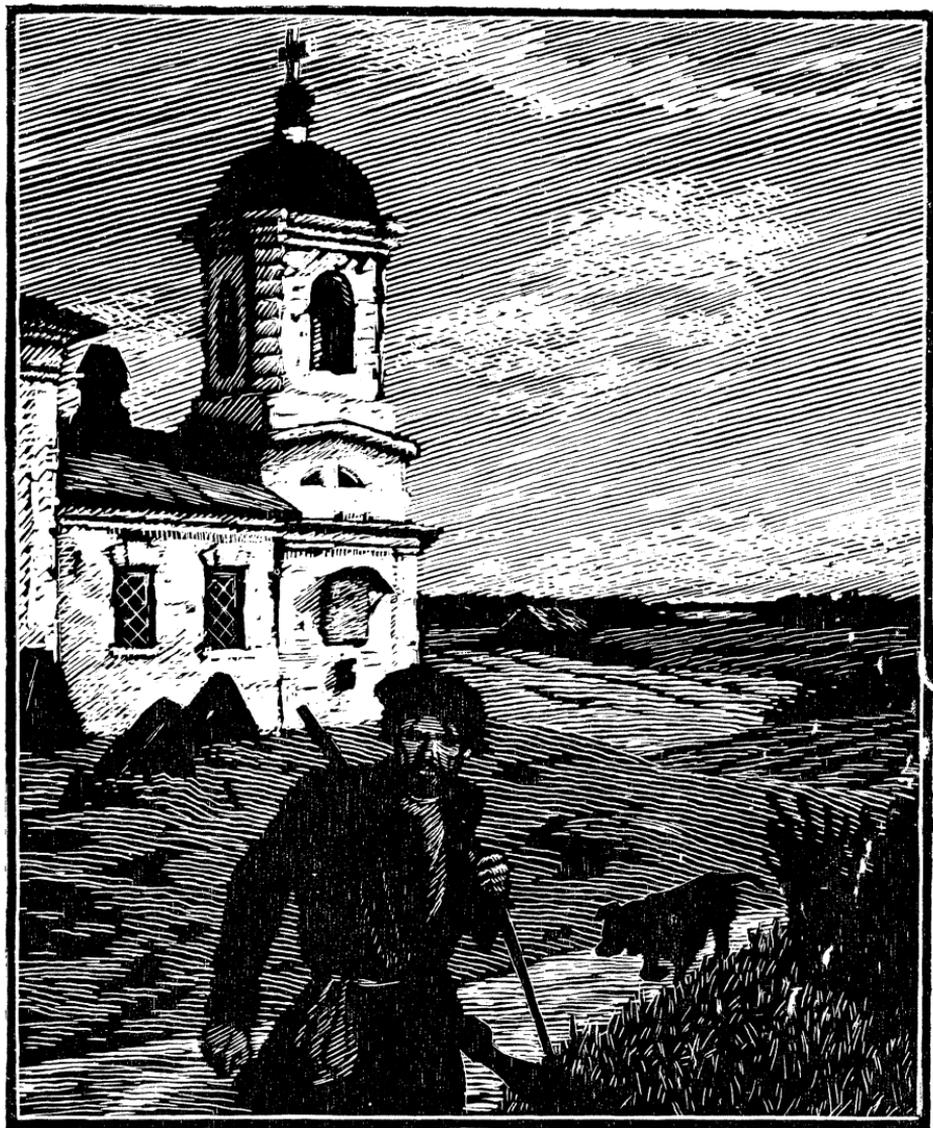
Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки

два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожидаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел вынуть из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на почь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ноги, скачет какой-нибудь рыжий космач, с релейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторопились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал смотреть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь, добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно



«Ермолай и мельничиха»
Худ. В. В. Домогацкий

разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах — запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сопливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалев о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Ильюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаша с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый впакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были вклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, по правильному, вся голова огромная, как говорится, с ливной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, — что и говорит! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубашки да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана,

тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестящие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке,— на его языке по крайней мере,— не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смиренно хонько прикрнувшись под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился свящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Пет, я его не видал, да его и видеть нельзя,— отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица,— а слышал... Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне¹.

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим².

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что

¹ «Рольней» или «черпальной» на бумажных фабриках называется строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом.

² «Лисовщики» гладят, скоблят бумагу.

с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребятам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то ¹ спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спускаться стал, и этак спускается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма ² зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь как! — промолвил Павел. — Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что, — спросил Федя, — картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатила.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намердись что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

¹ «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо.

² Сетка, которой бумагу черпают.

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил,— пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел — бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои,— нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра,— присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь,— а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, зная, господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человек, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор вот он все невеселый ходит.

— Эка! — проговорил Федя после недолгого молчанья,— да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спорить,— он же ее не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя.— И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, все слышал.

— Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, зная, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша.— Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки,— заметил Федя.

— Нет,— отвечал Костя,— здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стелющийся звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила! — шепнул Илья.

— Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не повельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слышали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намеднишь у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорвапной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли¹ водятся.

— Ну, что такое случилось? рассказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаля Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас всегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псаля он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмельён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псаля Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, — что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него тарращится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на

¹ По-орловскому: змея.

нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить,— говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная бегодня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесли уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего,— отвечал Павел, махнув рукой на лошадь,— так, что-то собаки зачужали. Я думал, волк,— прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много,— отвечал Павел,— да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью поглядывая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал,— заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство).— Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, гово-

рят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иванович, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

— Вишь какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил.

— Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет...

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, — ах ты, господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится.

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрепали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожая, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился, — заметил Павел. — Теперь будет лететь, покуда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша, — промолвил Костя, — не праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть, — проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное? ¹

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку ² увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша. — Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — это будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оценят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное.

¹ Так мужики называют у нас солнечное затмение.

² В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе.

Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куда! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчики засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцаая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...

Станный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду пад рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул. «Что это?»

— Это цапля кричит,— спокойно возразил Павел.

— Цапля,— повторил Костя...— А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером,— прибавил он, помолчав немного,— ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью¹ выходит,— там ведь есть бучило;² знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезненный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

¹ С у г и б е л ь — крутой поворот в овраге.

² Б у ч и л о — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом.

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры,— заметил Павлуша,— так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои,— возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... — Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие,— продолжал Павел,— которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) — Эх ее! — невольно произнес Костя,— словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой,— подхватил Ильюша,— он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, скутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами,— пффу!..

— И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел.— Не понимаю, право!

— Не бранись: смотри, услышит,— заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,— раздался вдруг детский голос Вани,— гляньте на божьи звездочки,— что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,— ласково заговорил Федя,— что, твоя сестра Аниютка здорова?

— Здорова,— отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи — что она к нам, отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.

— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

— Куда ты? — спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри, не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.

— Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-воп, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

— А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь па дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят, — продолжал Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул.

— От того самого.

— А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.

— Какого Васю? — спросил Федя.

— А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды гибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятами, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонец по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не

в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утоп; ляжет, братцы мои, да и затынет песенку,— помните, Вася-то все такую песенку певал,— вот ее-то она и затынет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится...

— А вот Павлуша идет,— молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята,— начал он, помолчав,— неладно дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты господи! ах ты господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел,— прибавил Федя...— А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная,— с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пушай! — произнес Павел решительно и сел опять,— своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к темному краю земли многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло,— в нем снова как будто раз-

ливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы... Сладкое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел поднялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обгаренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редящего тумана, — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, прорчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убили, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под рассохшихся и дребезжавших колес, — как вдруг внимание мое было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задержал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в нее невысокие, тоже распаханые холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять верст пустынного пространства; вдали небольшие березовые рощи своими округленно-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки тянулись по полям, пропадали в лощинках, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряженной одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнаженными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнался за лошадью: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника — дурная примета. Ему действительно удалось проскакать по дороге прежде, чем покойник успел добраться до нее; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг на-

пу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, нагнулся с облучка, посмотрел, махнул рукой и плюнул.

— Что там такое? — спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

— Да что такое?

— Ось сломалась... перегорела, — мрачно отвечал он и с таким негодованием поправил вдруг шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было набок, однако устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немым отчаянием поднимало сверху свою ступицу.

— Что теперь делать? — спросил я наконец.

— Вон кто виноват! — сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам, — уж я всегда это замечал, — продолжал он, — это примета верная — встретить покойника... Да.

И он опять беспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решила остаться неподвижной и только изредка и скромно помахивала хвостом. Я походил немного взад и вперед и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись с священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные ее черты, жестоко искаженные горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким, ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и все лицо опухло от плача; поравнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось ее жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колыхавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

— Это Мартына-плотника хоронят, — заговорил он, — что с Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабам узнал. Старая-то — его мать, а молодая — жена.

— Он болен был, что ли?

— Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший; зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слезы-то некупленные. Бабы слезы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

— Однако,— заметил я,— что ж нам делать?

Кучер мой сперва уперся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седёлку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув ее мимоходом в морду, подошел к колесу — подошел и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца (и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекошил заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый прием продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

— Ну, что? — проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

— Куда же ты? — спросил я его не без изумления.

— Извольте садиться,— спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

— Да как же мы поедем?

— Уж поедем-с.

— Да ось...

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась...

— Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберемся... шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки, Юдины-ми прозываются.

— И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом.

— Я лучше пешком пойду,— сказал я.

— Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал на него озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнем. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна, черная, с куцим хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда ее, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрометью бросилась под ворота. Я зашел в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев — никто не отвечал мне. Я кликнул еще раз: голодное мяуканье раздалось за другой дверью. Я толкнул ее ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелеными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было... В загородке теленок промышал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешел во вторую избу — и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещенного двора, на самом, как говорится, припеке, лежал, лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаденка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалога намета, пестрил небольшими светлыми пятнами ее косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворечнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошел к спящему, начал его будить...

Он поднял голову, увидел меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? что такое?» — забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми черными волосами, которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и страшен его взгляд.

— Что надо? — спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чем было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец, — я бы с удовольствием заплатил.

— А вы кто такие? Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.

— Охотники.

— Пташек небесных стреляете небось?.. зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нем не только не слышалось ничего дряхлого,— он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

— Осн у меня нет,— прибавил он после небольшого молчания,— эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

— А в деревне найти можно?

— Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте,— промолвил он вдруг и лег опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

— Послушай, старик,— заговорил я, коснувшись до его плеча,— сделай одолжение, помоги.

— Ступайте с богом! Я устал: в город ездил,— сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

— Да сделай же одолжение,— продолжал я,— я... я заплачу.

— Не надо мне твоей платы.

— Да пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свел, пожалуй, на ссечки¹. Тут у нас купцы рощу купили,— бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

— И прекрасно! — радостно воскликнул я.— Прекрасно!.. пойдём.

— Дубовую ось, хорошую,— продолжал он, не поднимаясь с места.

— А далеко до тех ссечек?

— Три версты.

— Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать.

— Да нет...

— Ну, пойдём,— сказал я,— пойдём, старик! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздраженном состоянии духа: он собрался было попить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и

¹ Срубленное место в лесу.

вкус ее был нехороший, а это, как говорят кучерá, первое дело... Однако при виде старика он ослабил, закивал головой и воскликнул:

— А, Касьянушка! здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человек! — отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил свое согласие и въехал на двор. Пока он с обдуманной хлопотливостью отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

— А разве и тебя переселили? — спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Эк! — проговорил мой кучер сквозь зубы. — Знаешь, Мартын-то, плотник... ты ведь рябовского Мартына знаешь?

— Знаю.

— Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.

Касьян вздрогнул.

— Умер? — проговорил он и потупился.

— Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.

Мой кучер видимо потешался, глумился над стариком.

— А это твоя телега, что ли? — прибавил он, указывая на нее плечом.

— Моя.

— Ну, телега... телега! — повторил он и, взяв ее за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном... — Телега!.. А на чем же вы на ссечки поедете?.. В эти оглобли нашу лошадь не впряжешь: наши лошади большие, а это что такое?

— А не знаю, — отвечал Касьян, — на чем вы поедете; разве вот на этом животике, — прибавил он со вздохом.

— На этом-то? — подхватил Ерофей и, подойдя к Касьяновой клячонке, презрительно ткнул ее третьим пальцем правой руки в шею. — Ишь, — прибавил он с укоризной, — заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить ее поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова, и я кое-как вместе с своей собакой уже уместился на ее покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке, — Ерофей подошел ко мне и с таинственным видом прошептал:

— И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он

такой, ведь он юридивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

— Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезет. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять... А что, Блоха,— прибавил он громко,— что, у вас хлебушком можно разжиться?

— Поищи, может, найдется,— отвечал Касьян, дернул вожжамы, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращенным в пруд. Я нашел в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, торговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошел ко мне.

— А что, пташек стрелять идешь? — заговорил он,— а?

— Да, если найду.

— Я пойду с тобой... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его черная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно все подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и все поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, странным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок¹ полетел, чиликая, у него из-под ног — он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крыльями и звонко распевая,— Касьян подхватил его песенку. Со мной он все не заговаривал...

¹ Молодой перепел.

Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем прежде; но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновением; они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми каймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревцах; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки куриной слепоты. Наполовину лиловые, наполовину желтые цветы Ивана-да-Марьи; кое-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колес обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженьями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками, — другой тени не было нигде. Легкий ветерок то прсыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разыграется, — все весело зашумит, закивает и задвигается кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников, — обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и все опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные, — и утомителен этот непрерывный, кислый и сухой звук. Он идет к неотступному жару полудня; он словно рожден им, словно вызван им из раскаленной земли.

Не наткнувшись ни на оди́н выводок, дошли мы наконец до новых ссечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву, и мелкий кустарник; на иных листья, еще зеленые, но уже мертвые, вяло свенивались с неподвижных веток; на других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, горами лежавших около ярковлажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным, горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...

Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего польню, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не

зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошел к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал после, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!».

Жара заставила нас наконец войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клен красиво раскинул свои легкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной березы. Я глядел на него. Листья слабо колебались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперед по его тщедушному телу, кое-как закутанному в темный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лег на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далеком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается *под* вами, что деревья не поднимаются от земли, но, словно корни огромных растений, спускаются, отвесно падают в те стеклянноподобные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти черную зелень. Где-нибудь далеко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака, и вот вдруг все это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем, — все заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетанье, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь — вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите: та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, певинную, как она сама, как облака по небу, и как будто вместе с ними медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и все вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...

— Барин, а барин! — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся; до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.

— Что тебе? — спросил я.

— Ну, для чего ты пташку убил? — начал он, глядя мне прямо в лицо.

— Как для чего?.. Коростель — это дичь: его есть можно.

— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей убил.

— Да ведь ты сам небось гусей или куриц, например, ешь?

— Та птица богом определенная для человека, а коростель — птица вольная, лесная. И не он один: много ее, всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой — и грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питье: хлеб — божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностию, изредка закрывая глаза.

— Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать? — спросил я.

— У рыбы кровь холодная, — возразил он с уверенностию, — рыба тварь немая. Она не боится, не веселится: рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней и кровь не живая... Кровь, — продолжал он, помолчав, — святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь, великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью: так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слышал ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьян, — начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица, — чем ты промыляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновение.

— Живу, как господь велит, — промолвил он наконец, — а чтобы, то есть, промылять — нет, ничем не промыляю. Неразумен я больно, с малъства; работаю пока мочно, — работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет, и руки глупы. Ну, весной соловьев ловлю.

— Соловьев ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную, и полевую, и прочую там тварь не надо трогать?

— Убивать ее не надо, точно; смерть и так свое возьмет. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и не долго жил и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не sluкавить. Смерть и не бежит, да и от нее не убежишь; да помогать ей не должно... А я соловушек не убиваю, — сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.

— Ты в Курск их ловить ходишь?

— Хожу я и в Курск и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в заресях, в поле ночую один, во глуши: тут кулички рассвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечеркам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зарям обыспаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поет, сладко... жалостно даже.

— И продаешь ты их?

— Отдаю добрым людям.

— А что ж ты еще делаешь?

— Как делаю?

— Чем ты занят?

Старик помолчал.

— Ничем я этак не занят... Работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.

— Ты грамотный?

— Разумею грамоте. Помог господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человек?

— Нетути, бессемейный.

— Что так?.. Перемерли, что ли?

— Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек — вот что! Богу угоден, то есть.

— И родни у тебя нет?

— Есть... да... так...

Старик замялся.

— Скажи, пожалуйста, — начал я, — мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?

— Кучер твой справедливый человек, — задумчиво отвечал мне Касьян, — а тоже не без греха. Лекаркой меня называют... Какая я лекарка!.. и кто может лечить? Это все от бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки — божии. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует — спасется, — прибавил он, понизив голос.

— Ты ничего Мартыну не давал? — спросил я.

— Поздно узнал, — отвечал старик. — Да что! Кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок, — словно что его отзывает... Да; упокой господь его душу!

— Давно вас переселили к нам? — спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

— Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, — царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.

— А вы где прежде жили?

— Мы с Красивой Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Верст сто.

— Что ж, там лучше было?

— Лучше... лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше; а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь — и, господи боже мой, что это? а?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече. Вот как далеко видно... Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь, точно, земля лучше; суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меля хлебушка-то всюду вдоволь народится.

— А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать?

— Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бёс-семейный, непосед. Да и что! много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, как пойдешь, — подхватил он, возвысив голос, — и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут, смотришь, трава какая растет; ну, заметишь — сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода; ну, напьешься — заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, этакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди рассказывают, до самых теплых морей, где живет птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошел... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Синбирск — славный град, и в самую Москву — золотые маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых крестьян, и в городах побывал честных... Ну, вот пошел бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, грешный... много других крестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет, — вот оно что...

Эти последние слова Касьян произнес скороговоркой, почти невнятно; потом он еще что-то сказал, чего я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «юродивца», данное ему Ерофеем. Он потупился, откашлянулся и как будто пришел в себя.

— Эко солнышко! — промолвил он вполголоса, — эка благодать, господи! эка теплынь в лесу!

Он повел плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:

А зовут меня Касьяном,
А по прозвищу Блоха...

«Э! — подумал я, — да он сочиняет...»

Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чашу леса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, наткнулась на нас, и стояла неподвижно в зеленой чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо поглядывая на меня своими черными глазами. Я едва успел разглядеть ее: она тотчас нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! подь сюда, не бойся, — кликнул старик ласково.

— Боюсь, — раздался тонкий голосок.

— Не бойся, не бойся, поди ко мне.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом, — ее детские пожки едва шумели по густой траве, — и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому ее росту, — но тринадцати или четырнадцати. Все ее тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и пронизывающий, и движенья те же... Касьян окинул ее глазами; она стояла к нему боком.

— Что, грибы собирала? — спросил он.

— Да, грибы, — отвечала она с робкой улыбкой.

— И много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на пего и опять улыбнулась.)

— И белые есть?

— Есть и белые.

— Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузов с руки и приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были

покрыты.) Э! — сказал Касьян, нагнувшись над кузовом, — да какие славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьян, что ли? — спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нет, так, сродственница, — проговорил Касьян с притворной небрежностью. — Ну, Аннушка, ступай, — прибавил он тотчас, — ступай с богом. Да смотри...

— Да зачем же ей пешком идти? — прервал я его. — Мы бы ее довели...

Аннушка загорелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за веревочку кузовка и тревожно поглядела на старика.

— Нет, дойдет, — возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом. — Что ей?.. Дойдет и так... Ступай.

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.

— Зачем ты ее так скоро отослал? — спросил я его. — Я бы у нее грибы купил...

— Да вы там, все равно, дома купите, когда захотите, — отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы».

— А она у тебя прехорошенькая.

— Нет... какое... так... — ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновения впал в прежнюю молчаливость.

Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, пезадача моя продолжалась, и я с одним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.

— Барип, а барин, — заговорил он, — ведь я виноват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвел.

— Как так?

— Да уж это я знаю. А вот и ученый пес у тебя, и хороший, а пичего не смог. Подумаешь, люди-то, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?

Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота.

В избе Аннушки не было; она уже успела прийти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув ее сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не припаял, но по-

том, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнес почти ни одного слова; он по-прежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа... И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашел, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выражавшимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страх желал заговорить со мной, но, в ожидании первого моего вопроса, ограничивался легким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращенными к лошадям. «Деревня! — бормотал он, — а еще деревня! Спросил хошь квасу — и квасу нет... Ах ты господи! А вода — просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни квасу — пичего. Ну ты, — прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной, — я тебя знаю, потворница этакая! Любишь себе потворствовать небось... (И он ударил ее кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот... Ну-ну, оглядывайси!..»

— Скажи, пожалуйста, Ерофей, — заговорил я, — что за человек этот Касьян?

Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

— Блоха-то? — заговорил он наконец, передернув вожжами. — Чудной человек: как есть юродивец, такого чудного человека и не скоро найдешь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже... от работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник, — в чем душа держится, — ну, а все-таки... Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил: они у него были троечные; ну, а потом, знать, наскучило — бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный, — уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый — не принуждал. Вот он так с тех пор все и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит, — а что заговорит, бог его знает. Разве это мапер? Это не мапер. Несообразный человек, как есть. Поет, однако, хорошо. Этак важно — ничего, ничего.

— А что, он лечит, точно?

— Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек. Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! глупый человек, как есть, — прибавил он, помолчав.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мечи.

— А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?

Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот.

— Хе!.. да, сродни. Она сирота; матери у ней нету, да и неизвестно, кто ее мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну, живет у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чаёт: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже... Э-э-э! — вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух. — Никак, гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси... А, кажется, на что мазал... Пойти водицы добыть: вот кстати и прудик.

И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведерку, пошел к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водою... Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгоряченную ось, и уже совсем за вечерело, когда мы возвратились домой.

БУРМИСТР

Верстах в пятнадцати от моего имения живет один мне знакомый человек, молодой помещик, гвардейский офицер в отставке, Аркадий Павлыч Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много, дом построен по плану французского архитектора, люди одеты по-английски, обеды задает он отличные, принимает гостей ласково, а все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный, воспитанье получил, как водится, отличное, служил, в высшем обществе потерял, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлыч, говоря собственными его словами, строг, но справедлив, о благе подданных своих печется и наказывает их — для их же блага. «С ними надобно обращаться, как с детьми, — говорит он в таком случае, — невежество, *mon cher; il faut prendre cela en considération*»¹. Сам же, в случае так называемой печальной необходимости, резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит, но более тычет рукою прямо, спокойно приговаривая: «Ведь я тебя просил, любезный мой» или: «Что с тобою, друг мой, опомнись», — причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Роста он небольшого, сложен щеголевато, собою весьма недурен, руки и ногти в большой опрятности содержит; с его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые, карие глаза. Одевается он отлично и со вкусом; выписывает французские книги, рисунки и газеты, но до чтения небольшой охотник: «Вечного жида» едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлыч считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии; дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит, осторожен, как кошка, и ни в какую историю замешан отроду не бывал, хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить

¹ дорогой мой; надо принять это во внимание (*фр.*).

и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает — скомпрометироваться боится; зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура, хотя вообще о философии отзывается дурно, называя ее туманной пищей германских умов, а иногда и просто чепухой. Музыка он тоже любит; за картами поет сквозь зубы, но с чувством; из Люции и Сомнамбулы тоже иное помнит, но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном; даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят, но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павлыча посматривают, правда, что-то исподлобья, — но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлыч говорит голосом мягким и приятным, с расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные, раздушенные усы; также употребляет много французских выражений, как-то: «*Mais c'est impayable!*»¹, «*Mais comment donc!*»² и пр. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю, и если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме; даже комфорт вас не радует, и всякий раз, вечером, когда появится перед вами завитый камердинер в голубой livree с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого баринотом от сохи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, — вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлуга...

Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павлычу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел меня отпустить без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца всмятку, масло, мед, сыр и пр. Два камердинера, в чистых белых перчатках, быстро и молча предупреждали наши малейшие желания. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павлыче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и во-

¹ Забавно! (фр.)

² Как же! (фр.)

обще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлыч налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился.

— Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из камердинеров.

Камердинер смешался, остановился как вкопанный и побледнел.

— Ведь я тебя спрашиваю, любезный мой? — спокойно продолжал Аркадий Павлыч, не спуская с него глаз.

Несчастный камердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлыч потупил голову и задумчиво посмотрел на него исподлобья.

— Pardon, mon cher, — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на камердинера. — Ну, ступай, — прибавил он после небольшого молчания, поднял брови и позвонил.

Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплавленными глазами.

— Насчет Федора... распорядиться, — проговорил Аркадий Павлыч вполголоса и с совершенным самообладанием.

— Слушаю-с, — отвечал толстый и вышел.

— Voilà, mon cher, les désagréments de la campagne¹, — весело заметил Аркадий Павлыч. — Да куда же вы? Оставайтесь, посидите еще немного.

— Нет, — отвечал я, — мне пора.

— Всё на охоту! Ох, уж эти мне охотники! Да вы куда теперь едете?

— За сорок верст отсюда, в Рябово.

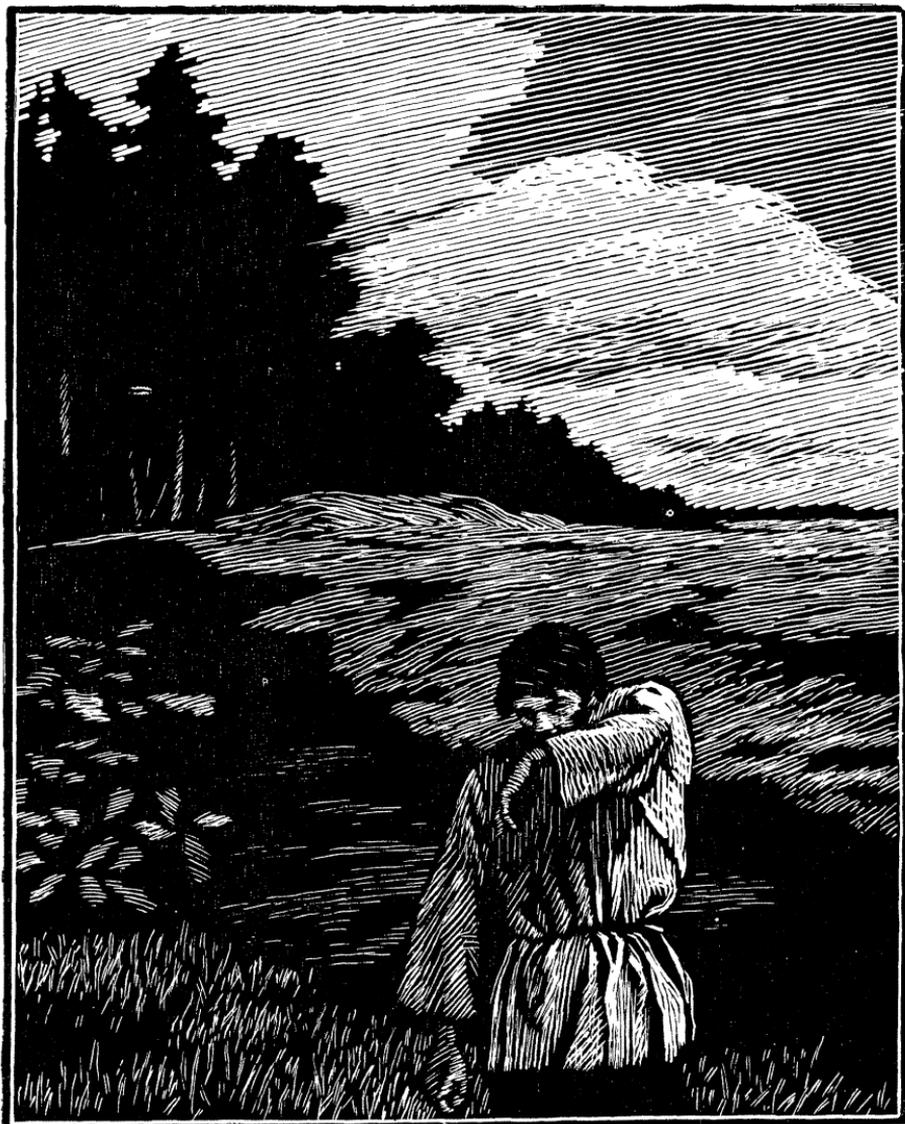
— В Рябово? Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки, а я таки давно в Шипиловке не бывал: все времени улучшить не мог. Вот как кстати пришлось: вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. Се sera charmant². Мы вместе поужинаем, — мы возьмем с собою повара, — вы у меня перепочуете. Прекрасно! прекрасно! — прибавил он, не дождавшись моего ответа. C'est arrangé...³ Эй, кто там? Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы и в Рябове в сепмом бы сарае ночевали... Едем, едем!

И Аркадий Павлыч запел какой-то французский романс.

¹ Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни (*фр.*).

² Это будет прелестно (*фр.*).

³ Все устроено... (*фр.*)



**«Малиновая вода»
Худ. В. В. Домогацкий**

— Ведь вы, может быть, не знаете,— продолжал он, покачиваясь на обеих ногах,— у меня там мужики на оброке. Конституция — что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, да земли мало! Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, *c'est leur affaire*¹. Бурмистр у меня там молодец, *une forte tête*², государственный человек! Вы увидите... Как, право, это хорошо пришлось!

Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпенье. Аркадий Павлыч любил, как он выражался, при случае побаловать себя и забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных несесесоров, что иному бережливому и владеющему собою немпу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлыч держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно; только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок.

Аркадий Павлыч, при виде падения доморощенного Карема, испугался не на шутку и тотчас велел спросить: целы ли у него руки? Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем, ехали мы довольно долго; я сидел в одной коляске с Аркадием Павлычем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начинал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку; как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог и потому скрепя сердце покорился своей участи.

Повар приехал несколькими минутами ранее нас и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить кого следовало, потому что при самом въезде в околицу встретил нас староста (сын бурмистра), дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки, в новом армяке нараспашку. «А где же Софрон?» — спросил его Аркадий Павлыч. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил: «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлыч», — потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Софрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлыч. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцей за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по

¹ это их дело (*фр.*).

² умная голова (*фр.*).

деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу; они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе; но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки (дело было летом) и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлыч милостиво им поклонился. Тревожное волнение видимо распространялось по селу. Бабы в клетчатых поневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак; хромой старик с бородой, начинавшеюся под самыми глазами, оторвал недопоевную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню; один бойкий петух с черной грудью, похожей на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Г-н Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлыч дал ей нацеловаться вволю и взшел на крыльцо. В сенях, в темном углу, стояла старостиха и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе — из сеней направо — уже возились две другие бабы; они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками сор. Аркадий Павлыч выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов.

Между тем Аркадий Павлыч расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу проворному камердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в сенях втихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом: вошел бурмистр.

Этот, по словам Аркадия Павлыча, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом,

маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды; иной весь свой век носил бородку жидкую, клином,— вдруг, смотришь, обложился кругом словно сияньем,— откуда волос берется! Бурмистр, должно быть, в Перове подгулял: и лицо-то у него отекло порядком, да и вином от него попахивало.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы вы наши,— заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут,— насилу-то изволили пожаловать!.. Ручку, батюшка, ручку,— прибавил он, уже загодя протягивая губы.

Аркадий Павлыч удовлетворил его желание.

— Ну, что, брат Софрон, какво у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом.

— Ах вы, отцы наши,— воскликнул Софрон,— да как же им худо идти, делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили по гроб дней. Слава тебе господи, Аркадий Павлыч, слава тебе господи! Благополучно обстоит все милостью вашей.

Тут Софрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства (притом же и хмель брал свое), в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего:

— Ах вы, отцы наши, милостивцы... и... уж что! Ей-богу, совсем дураком от радости стал... Ей-богу, смотрю да не верю... Ах вы, отцы наши!

Аркадий Павлыч глянул на меня, усмехнулся и спросил: «N'est-ce pas que c'est touchant?»¹

— Да, батюшка, Аркадий Павлыч,— продолжал неугомонный бурмистр,— как же вы это? Сокрушаете вы меня совсем, батюшка; известить меня не изволили о вашем приезде-то. Где же вы ночку-то проведете? Ведь тут нечистота, сор...

— Ничего, Софрон, ничего,— с улыбкой отвечал Аркадий Павлыч,— здесь хорошо.

— Да ведь, отцы вы наши,— для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо; а ведь вы... ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои!.. Простите меня, дурака, с ума спятил, ей-богу, одурел вовсе.

Между тем подали ужин; Аркадий Павлыч начал кушать. Сына своего старик прогнал — дескать, духоты напускаешь.

— Ну что, размежевался, старина? — спросил г-н Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь и мне подмигивал.

¹ Не правда ли, это трогательно? (фр.)

— Размежевались, батюшка, всё твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались... поломались, отец, точно. Требовали... требовали... и бог знает, чего требовали; да ведь дурачье, батюшка, народ глупый. А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили и Миколая Миколаича посредственника удоблетворили; всё по твоему приказу действовали, батюшка; как ты изволил приказать, так мы и действовали, и с ведома Егора Дмитрича всё действовали.

— Егор мне докладывал, — важно заметил Аркадий Павлыч.

— Как же, батюшка, Егор Дмитрич, как же.

— Ну, и стало быть, вы теперь довольны?

Софрон только того и ждал.

— Ах вы, отцы наши, милостивцы наши! — запел он опять... — Да помилуйте вы меня... да ведь мы за вас, отцы наши, денно и ночью господу богу молимся... Земли, конечно, маловато...

Пеночкин перебил его:

— Ну, хорошо, хорошо, Софрон, знаю, ты мне усердный слуга... А что, как умолот?

Софрон вздохнул.

— Ну, отцы вы наши, умолот-то не больно хорош. Да что, батюшка Аркадий Павлыч, позвольте вам доложить, дельцо какое вышло. (Тут он приблизился, разводя руками, к господину Пеночкину, нагнулся и прищурил один глаз.) Мертвое тело на нашей земле оказалось.

— Как так?

— И сам ума не приложу, батюшка, отцы вы наши: видно, враг попутал. Да, благо, подле чужой межи оказалось; а только, что греха таить, на нашей земле. Я его тотчас на чужой-то клин и приказал стащить, пока можно было, да караул приставил и своим заказал: молчать! — говорю. А становому на всякий случай объяснил: вот какие порядки, говорю; да чайком его, да благодарность... Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее; а ведь мертвое тело, что двести рублей — как калач.

Г-н Пеночкин много смеялся уловке своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой: «*Quel gail-lard*¹, а?»

Между тем на дворе совсем стемнело; Аркадий Павлыч велел со стола прибирать и сена принести. Камердинер постлал нам простыни, разложил подушки; мы легли. Софрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлыч, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил мне, что со времени управления Софрона за ши-

¹ Каков молодец? (*фр.*)

пиловскими крестьянами не водится ни гроша недоимки... Сторож заколотил в доску; ребенок, видно еще не успевший проникнуться чувством должного самоотверженья, запищал где-то в избе... Мы заснули.

На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлыч желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека — Софрона. Явился бурмистр. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Софронов сын, трехаршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и престранным выражением лица: точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, овины, сараи, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, конопляники; все было действительно в отличном порядке, одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Софрон заботился еще о приятном: все канавы обсадил раakitником, между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал, на ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком, к кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал: «Пастроено вселе Шипилофке втысеца восем Сод саракавом году. Сей скотный дфюр». — Аркадий Павлыч разнежился совершенно, пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состоянья, причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее, — да мало ли чего нет!.. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготавливать и пр. Софрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павлыча ни отцом, ни милостивцем и все напирал на то, что земли-де у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите, — говорил Аркадий Павлыч, — на мое имя, я не прочь». На эти слова Софрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы не мешало съездить в лес», — заметил г-н Пеночкин. Тотчас привели нам верховых лошадей; мы поехали в лес, или, как у нас говорится, в «заказ». В этом «заказе» нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлыч похвалил Софрона и потрепал его по плечу. Г-н Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне презабавный, по его словам, случай, как один шутник-помещик вразумил своего

лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает... Впрочем, в других отношениях и Софрон и Аркадий Павлыч — оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистр повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка, точно, действовала хорошо, но если бы Софрон знал, какая неприятность ожидала и его и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома.

Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика: один — старик лет шестидесяти, другой — малый лет двадцати, оба в замашных заплатах рубашках, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосейч усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если бы мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разинутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлыч нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги.

— Что вам надобно? о чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. (Мужики взглянули друг на друга и словечка не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорей дышать стали.)

— Ну, что же? — продолжал Аркадий Павлыч и тотчас же обратился к Софрону. — Из какой семьи?

— Из Тоболеевой семьи, — медленно отвечал бурмистр.

— Ну, что же вы? — заговорил опять г. Пеночкин. — Языков у вас нет, что ли? Сказывай ты, чего тебе надобно? — прибавил он, качнув головой на старика. — Да не бойся, дурак.

Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сирым голосом произнес: «Заступись, государь!» — и снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлыч с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги.

— Что такое? На кого ты жалуешься?

— Помилуй, государь! Дай вздохнуть... Замучены совсем. (Старик говорил с трудом.)

— Кто тебя замучил?

— Да Софрон Яковлич, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал.

— Как тебя зовут?

— Антипом, батюшка.

— А это кто?

— А сынок мой, батюшка.

Аркадий Павлыч помолчал опять и усами повел.

— Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы.

— Батюшка, разорил вконец. Двух сыновей, батюшка, без очереди в некруты отдал, а теперь и третьего отнимает. Вчера, батюшка, последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил — вон его милость. (Он указал на старосту.)

— Гм! — произнес Аркадий Павлыч.

— Не дай вконец разориться, кормилец.

Г-н Пеночкин нахмурился.

— Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистра вполголоса и с недовольным видом.

— Пьяный человек-с, — отвечал бурмистр, в первый раз употребляя «слово-ер», — неработающий. Из недоимки не выходит вот уж пятый год-с.

— Софрон Яковлич за меня недоимку внес, батюшка, — продолжал старик, — вот пятый годочек пошел, как внес, а как внес — в кабалу меня и забрал, батюшка, да вот и...

— А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил г. Пеночкин. (Старик понурил голову.) — Чай, пьянствовать любишь, по кабакам шататься? (Старик разинул было рот.) Знаю я вас, — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлыч, — ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отечай.

— И грубиян тоже, — ввернул бурмистр в господскую речь.

— Ну, уж это само собою разумеется. Это всегда так бывает; это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется.

— Батюшка, Аркадий Павлыч, — с отчаяньем заговорил старик, — помилуй, заступись, — какой я грубиян? Как перед господом богом говорю, неволю приходится. Невзлюбил меня Софрон Яковлич, за что невзлюбил — господь ему судья! Разоряет вконец, батюшка... Последнего вот сыночка... и того... (На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка.) Помилуй, государь, заступись.

— Да и не нас одних, — начал было молодой мужик...

Аркадий Павлыч вдруг вспыхнул:

— А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи... Это что такое? Молчать, говорят тебе! молчать!.. Ах, боже мой! да это просто бунт. Нет, брат, у меня бунтовать не советую... у меня... (Аркадий Павлыч шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии, отвернулся и положил руки в карманы.) *Je vous demande bien pardon, mon cher*¹, — сказал он с принужденной

¹ Прошу извинить меня, дорогой мой (фр.).

улыбкой, значительно понизив голос. — C'est le mauvais côté de la médaille...¹ Ну, хорошо, хорошо, — продолжал он, не глядя на мужиков, — я прикажу... хорошо, ступайте. (Мужики не поднимались.) Ну, да ведь я сказал вам... хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам.

Аркадий Павлыч обернулся к ним спиной. «Вечно неудовольствия», — проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Софрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвояси.

Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с Анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Софрона. Заговорил я с Анпадистом о шипиловских крестьянах, о г. Пеночкине, спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра.

— Софрона-то Яковлича?.. вона!

— А что он за человек?

— Собака, а не человек; такой собаки до самого Курска не найдешь.

— А что?

— Да ведь Шипиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то; ведь не он ей владеет: Софрон владеет.

— Неужто?

— Как своим добром владеет. Крестьяне ему кругом должны; работают на него словно батраки: кого с обозом посылает, кого куды... затормошил совсем.

— Земли у них, кажется, немного?

— Немного? Он у одних хлыновских восемьдесят десятин занимает да у наших сто двадцать; вот те и целых полтора ста десятин. Да он не одной землей промышляет: и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем... Умен, больно умен, и богат же, бестия! Да вот чем плох — дерется. Зверь — не человек; сказано: собака, пес, как есть пес.

— Да что ж они на него не жалуются?

— Экста! Барину-то что за нужда! Недоимок не бывает, так ему что? Да, поди ты, — прибавил он после небольшого молчания, — пожалуйся. Нет, он тебя... да, поди-ка... Нет уж, он тебя вот как, того...

Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел.

— Ну, — промолвил Анпадист, — заест он его теперь; заест человека совсем. Староста теперь его забьет. Экой бесталаный, по-

¹ Это обратная сторона медали... (фр.)

думаешь, бедняга! И за что терпит... На сходке с ним повздорил, с бурмистром-то, невтерпеж, знать, пришлось... Велико дело! Вот он его, Антипа-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес, собака, прости, господи, мое прегрешенье, знает, на кого налечь. Стариков-то, что побогаче да посемейнее, не трогает, лысый черт, а тут вот и расходился! Ведь он Антиповых-то сыновей без очереди в некруты отдал, мошенник беспардонный, пес, прости, господи, мое прегрешенье!

Мы отправились на охоту.

*Зальцбрунн, в Силезии,
июль, 1847 г.*

КОНТОРА

Дело было осенью. Уже несколько часов бродил я с ружьем по полям и, вероятно, прежде вечера не вернулся бы в постоянный двор на большой Курской дороге, где ожидала меня моя тройка, если б чрезвычайно мелкий и холодный дождь, который с самого утра, не хуже старой девки, неугомонно и безжалостно приставал ко мне, не заставил меня наконец искать где-нибудь поблизости хотя временного убежища. Пока я еще соображал, в какую сторону пойти, глазам моим внезапно представился низкий шалаш возле поля, засеянного горохом. Я подошел к шалашу, заглянул под соломенный намет и увидел старика до того дряхлого, что мне тотчас же вспомнился тот умирающий козел, которого Робинзон пашел в одной из пещер своего острова. Старик сидел на корточках, жмурил свои потемневшие маленькие глаза и торопливо, но осторожно, наподобие зайца (у бедняка не было ни одного зуба), жевал сухую и твердую горошину, беспрестанно перекатывая ее со стороны на сторону. Он до того погрузился в свое занятие, что не заметил моего прихода.

— Дедушка! а дедушка! — проговорил я.

Он перестал жевать, высоко поднял брови и с усилием открыл глаза.

— Чего? — прошамшил он сиплым голосом.

— Где тут деревня близко? — спросил я.

Старик опять пустился жевать. Он меня не расслушал. Я повторил свой вопрос громче прежнего.

— Деревня?.. да тебе что надо?

— А вот от дождя укрыться.

— Чего?

— От дождя укрыться.

— Да! (Он почесал свой загорелый затылок.) Ну, ты, тово, ступай, — заговорил он вдруг, беспорядочно размахивая руками, — во... вот, как мимо леска пойдешь, — вот как пойдешь — тут те и бу-

дет дорога; ты ее-то брось, дорогу-то, да все направо забирай, все забирай, все забирай, все забирай... Ну, там те и будет Ананьево. А то я в Ситовку пройдешь.

Я с трудом понимал старика. Усы ему мешали, да и язык плохо повиновался.

— Да ты откуда? — спросил я его.

— Чего?

— Откуда ты?

— Из Ананьева.

— Что ж ты тут делаешь?

— Чего?

— Что ты делаешь тут?

— А сторожем сажу.

— Да что ты стережешь?

— А горох.

Я не мог не рассмеяться.

— Да помилуй, сколько тебе лет?

— А бог знает.

— Чай, ты плохо видишь?

— Чего?

— Видишь плохо, чай?

— Плохо. Бывает так, что пичего не слышу.

— Так где ж тебе сторожем-то быть, помилуй?

— А про то старшие знают.

«Старшие!» — подумал я и не без сожаления поглядел на бедного старика. Он ощупался, достал из-за пазухи кусок черствого хлеба и принялся сосать, как дитя, с усилием втягивая и без того впалые щеки.

Я пошел в направлении леска, повернул направо, забирал, все забирал, как мне советовал старик, и добрался наконец до большого села с каменной церковью в новом вкусе, то есть с колоннами, и обширным господским домом, тоже с колоннами. Еще издали, сквозь частую сетку дождя, заметил я избу с тесовой крышей и двумя трубами, повыше других, по всей вероятности, жилище старосты, куда я и направил шаги свои, в надежде найти у него самовар, чай, сахар и не совершенно кислые сливки. В сопровождении моей продрогшей собаки взшел я на крылечко, в сени, отворил дверь, но, вместо обыкновенных принадлежностей избы, увидел несколько столов, заваленных бумагами, два красных шкафа, забрызганные чернильницы, оловянные песочницы в пуд весу, длиннейшие перья и прочее. На одном из столов сидел малый лет двадцати с пухлым и болезненным лицом, крошечными глазками, жирным лбом и бесконечными висками. Одет он был как следует, в серый нанковый кафтан с глянцем на воротнике и на желудке.

— Чего вам надобно? — спросил он меня, дернув кверху голову, как лошадь, которая не ожидала, что ее возьмут за морду.

— Здесь приказчик живет... или...

— Здесь главная господская контора, — перебил он меня. — Я вот дежурным сижу... Разве вы вывеску не видали? На то вывеска прибита.

— А где бы тут обсушиться? Самовар у кого-нибудь на деревне есть?

— Как не быть самоваров, — с важностью возразил малый в сером кафтане, — ступайте к отцу Тимофею, а не то в дворовую избу, а не то к Назару Тарасычу, а не то к Аграфене-птишнице.

— С кем ты это говоришь, болван ты этакой? спать не даешь, болван! — раздался голос из соседней комнаты.

— А вот господин какой-то зашел, спрашивает, где бы обсушиться.

— Какой там господин?

— А не знаю. С собакой и ружьем.

В соседней комнате заскрипела кровать. Дверь отворилась, и вошел человек лет пятидесяти, толстый, низкого роста, с бычачьей шеей, глазами навывкате, необыкновенно круглыми щеками и с лоском по всему лицу.

— Чего вам угодно? — спросил он меня.

— Обсушиться.

— Здесь не место.

— Я не знал, что здесь контора; а впрочем, я готов запла-
тить...

— Оно, пожалуй, можно и здесь, — возразил толстяк, — вот, не угодно ли сюда. (Он повел меня в другую комнату, только не в ту, из которой вышел.) Хорошо ли здесь вам будет?

— Хорошо... А нельзя ли чаю со сливками?

— Извольте, сейчас. Вы пока извольте раздеться и отдохнуть, а чай сею минутою будет готов.

— А чье это именье?

— Госпожи Лосняковой, Елены Николаевны.

Он вышел. Я оглянулся. Вдоль перегородки, отделявшей мою комнату от конторы, стоял огромный кожаный диван; два стула, тоже кожаных, с высочайшими спинками, торчали по обеим сторонам единственного окна, выходившего на улицу. На стенах, оклеенных зелеными обоями с розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными красками. На одной изображена была легавая собака с голубым ошейником и надписью: «Вот моя отрада»; у ног собаки текла река, а на противоположном берегу реки под сосною сидел заяц непомерной величины, с приподнятым ухом. На другой картине два старика ели арбуз; из-за ар-

буза виднелся в отдалении греческий портик с надписью: «Храм Удовлетворенья». На третьей картине представлена была полунагая женщина в лежачем положении en rassoиgsi¹, с красными коленями и очень толстыми пятками. Собака моя, нимало не медля, с сверхъестественными усилиями залезла под диван и, по-видимому, нашла там много пыли, потому что расчихалась страшно. Я подошел к окну. Через улицу от господского дома до конторы, в косвенном направлении, лежали доски: предосторожность весьма полезная, потому что кругом, благодаря нашей черноземной почве и продолжительному дождю, грязь была страшная. Около господской усадьбы, стоявшей к улице задом, происходило, что обыкновенно происходит около господских усадеб: девки в полинялых ситцевых платьях шныряли взад и вперед; дворовые люди брели по грязи, останавливались и задумчиво чесали свои спины; привязанная лошадь десятского лениво махала хвостом и, высоко задравши морду, глодала забор; курицы кудахтали; чахоточные индейки беспрестанно перекликивались. На крылечке темного и гнилого строения, вероятно бани, сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э — я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест...
и проч.

Толстяк вошел ко мне в комнату.

— Вот вам чай несут,— сказал он мне с приятной улыбкой.

Малый в сером кафтане, конторский дежурный, расположил на старом ломберном столе самовар, чайник, стакан с разбитым блюдечком, горшок сливок и связку болховских котёлок, твердых, как кремь. Толстяк вышел.

— Что это,— спросил я дежурного,— приказчик?

— Никак нет-с: был главным кассиром-с, а теперь в главные конторщики произведен.

— Да разве у вас нет приказчиков?

— Никак нет-с. Есть бурмистер, Михайла Викулов, а приказчика нету.

— Так управляющий есть?

— Как же, есть: немец, Линдамандол, Карло Карлыч — только он не распоряжается.

— Кто ж у вас распоряжается?

— Сама барыня.

— Вот как!.. Что ж, у вас в конторе много народу сидит?

Малый задумался.

¹ в уменьшенном виде (*фр.*).

— Шесть человек сидит.

— Кто да кто? — спросил я.

— А вот кто: сначала будет Василий Николаевич, главный кассир; а то Петр конторщик, Петров брат Иван конторщик, другой Иван конторщик; Коскенкин Наркизов, тоже конторщик, я вот,— да всех и не перечтешь.

— Чай, у вашей барыни дворни много?

— Нет, не то чтобы много...

— Однако сколько?

— Человек, пожалуй что, полтора ста набезит.

Мы оба помолчали.

— Ну что ж, ты хорошо пишешь? — начал я опять.

Малый улыбнулся во весь рот, кивнул головой, сходил в контору и принес исписанный листок.

— Вот мое писанье,— промолвил он, не переставая улыбаться.

Я посмотрел; на четвертушке сероватой бумаги красивым и крупным почерком был написан следующий

ПРИКАЗ

ОТ ГЛАВНОЙ ГОСПОДСКОЙ ДОМОВОЙ АНАНЬЕВСКОЙ
КОНТОРЫ БУРМИСТРУ МИХАЙЛЕ ВИКУЛОВУ, № 209

«Приказывается тебе немедленно по получении сего разыскать: кто в прошлую ночь, в пьяном виде и с неприличными песнями, прошел по Аглицкому саду и гувернантку мадам Энжени француженку разбудил и обеспокоил? и чего сторожа глядели, и кто сторожем в саду сидел и таковые беспорядки допустил? О всем вышепрописанном приказывается тебе в подробности разведать и немедленно конторе донести.

Главный конторщик *Николай Хвостов*».

К приказу была приложена огромная гербовая печать с надписью: «Печать главной господской ананьевской конторы», а внизу стояла приписка: «В точности исполнить. Елена Лоснякова».

— Это сама барыня приписала, что ли? — спросил я.

— Как же-с, сами: опе всегда сами. А то и приказ девствовать пе может.

— Ну, что ж, вы бурмистру пошлете этот приказ?

— Нет-с. Сам придет да прочтает. То есть ему прочтут; он ведь грамоте у нас не знает. (Дежурный опять помолчал.) А что-с,— прибавил он, ухмыляясь,— ведь хорошо написано-с?

— Хорошо.

— Сочинял-то, признаться, не я. На то Коскенкин мастер.

— Как?.. Разве у вас приказы сперва сочиняются?

- А то как же-с? Не прямо же набело писать.
- А сколько ты жалованья получаешь? — спросил я.
- Тридцать пять рублей и пять рублей на сапоги.
- И ты доволен?
- Известно, доволен. В контору-то у нас не всякий попадает.

Мне-то, признаться, сам бог велел: у меня дядюшка дворецким служит.

— И хорошо тебе?

— Хорошо-с. Правду сказать,— продолжал он со вздохом,— у купцов, например, то есть, нашему брату лучше. У купцов нашему брату очень хорошо. Вот к нам вчера приехал купец из Венева,— так мне его работник сказывал... Хорошо, неча сказать, хорошо.

— А что, разве купцы жалованья больше назначают?

— Сохрани бог! Да он тебя в шею прогонит, коли ты у него жалованья запросишь. Нет, ты у купца живи на веру да на страх. Он тебя и кормит, и поит, и одевает, и все. Угодишь ему — еще больше даст... Что твое жалованье! не надо его совсем... И живет-то купец по простоте, по-русскому, по-нашенскому: поедешь с ним в дорогу,— он пьет чай, и ты пей чай; что он кушает, то и ты кушай. Купец... как можно: купец не то, что барин. Купец не блажит; ну, осерчает — побьет, да и дело с концом. Не можит, не шпыняет... А с барином беда! Всё не по нем: и то нехорошо, и тем не угодил. Подашь ему стакан с водой или кушанье: «Ах, вода воняет! ах, кушанье воняет!» Вынесешь, за дверью постоишь да принесешь опять: «Ну вот, теперь хорошо, ну вот, теперь не воняет». А уж барыни, скажу вам, а уж барыни что!.. или вот еще барышни!..

— Федюшка! — раздался голос толстяка в конторе.

Дежурный проворно вышел. Я допил стакан чаю, лег на диван и заснул. Я спал часа два.

Проснувшись, я хотел было подняться, да лень одолела; я закрыл глаза, но не заснул опять. За перегородкой в конторе тихонько разговаривали. Я невольно стал прислушиваться.

— Так-с, так-с, Николай Еремеич,— говорил один голос,— так-с. Этого нельзя в расчет не принять-с; нельзя-с, точно... Гм! (Говорящий кашлянул.)

— Уж поверьте мне, Гаврила Антоныч,— возразил голос толстяка,— уж мне ли не знать здешних порядков, сами посудите.

— Кому же и знать, Николай Еремеич: вы здесь, можно сказать, первое лицо-с. Ну, так как же-с? — продолжал незнакомый мне голос.— Чем же мы порешим, Николай Еремеич? Позвольте полюбопытствовать.

— Да чем порешим, Гаврила Антоныч? От вас, так сказать, дело зависит: вы, кажется, не охотствуете.

— Помилуйте, Николай Еремеич, что вы-с? Наше дело торговое, купецкое; наше дело купить. Мы на том стоим, Николай Еремеич, можно сказать.

— Восемь рублей, — проговорил с расстановкою толстяк.
Послышался вздох.

— Николай Еремеич, больно много просить изволите.

— Нельзя, Гаврила Антоныч, иначе поступить; как перед господом богом говорю, нельзя.

Наступило молчание.

Я тихонько приподнялся и посмотрел сквозь трещину в перегородке. Толстяк сидел ко мне спиной. К нему лицом сидел купец, лет сорока, сухощавый и бледный, словно вымазанный постным маслом. Он беспрестанно шевелил у себя в бороде и очень проворно моргал глазами и губами подергивал.

— Удивительные, можно сказать, зеленя в нынешнем году-с, — заговорил он опять, — я все ехал да любовался. От самого Воронежа удивительные пошли, первый сорт-с, можно сказать.

— Точно, зеленя недурны, — отвечал главный конторщик, — да ведь вы знаете, Гаврила Антоныч, осень включет, а как весна захочет.

— Действительно так, Николай Еремеич: всё в божьей воле; совершенную истину изволили сказать... А никак ваш гость-то проснулся-с.

Толстяк обернулся... прислушался...

— Нет, спит. А впрочем, можно, того...

Он подошел к двери.

— Нет, спит, — повторил он и вернулся на место.

— Ну, так как же, Николай Еремеич? — начал опять купец. — Надо дельце-то покончить... Так уж и быть, Николай Еремеич, так уж и быть, — продолжал он, беспрерывно моргая, — две сереньких и беленькую вашей милости, а там (он кивнул головой на барский двор) шесть с полтиною. По рукам, что ли?

— Четыре сереньких, — отвечал приказчик.

— Ну, три!

— Четыре сереньких без беленькой.

— Три, Николай Еремеич.

— С половиной три и уж ни копейки меньше.

— Три, Николай Еремеич.

— И не говорите, Гаврила Антоныч.

— Экой несговорчивый какой, — пробормотал купец. — Этак я лучше сам с барыней покончу.

— Как хотите, — отвечал толстяк, — давно бы так. Что, в самом деле, вам беспокоиться?.. И гораздо лучше!

— Ну, полно, полно, Николай Еремеич. Уж сейчас и рассердился! Я ведь эфто так сказал.

— Нет, что ж в самом деле...

— Полно же, говорят... Говорят, пошутил. Ну, возьми свои три с половиной, что с тобой будешь делать.

— Четыре бы взять следовало, да я, дурак, поторопился, — проворчал толстяк.

— Так там, — в доме-то, шесть с половиною-с, Николай Еремеич, — за шесть с половиной хлеб отдается?

— Шесть с половиной, уж сказано.

— Ну, так по рукам, Николай Еремеич (купец ударил своими растопыренными пальцами по ладони конторщика). И с богом! (Купец встал.) Так я, батюшка Николай Еремеич, теперь пойду к барыне-с и об себе доложить велю-с, и так уж я и скажу: Николай Еремеич, дескать, за шесть с половиною-с порешили-с.

— Так и скажите, Гаврила Антоныч.

— А теперь извольте получить.

Купец вручил приказчику небольшую пачку бумаги, поклонился, тряхнул головой, взял свою шляпу двумя пальчиками, перевернул плечами, придал своему стану волнообразное движение и вышел, прилично поскрипывая сапожками. Николай Еремеич подошел к стене и, сколько я мог заметить, начал разбирать бумаги, врученные купцом. Из двери высунулась рыжая голова с густыми бакенбардами.

— Ну, что? — спросила голова, — все как следует?

— Все как следует.

— Сколько?

Толстяк с досадой махнул рукой и указал на мою комнату.

— А, хорошо! — возразила голова и скрылась.

Толстяк подошел к столу, сел, раскрыл книгу, достал счета и начал откидывать и прикидывать костяшки, действуя не указательным, но третьим пальцем правой руки: оно приличнее.

Вошел дежурный.

— Что тебе?

— Сидор приехал из Голоплёк.

— А! ну, позови его. Пстой, пстой... Поди сперва посмотри, что тот, чужой-то барин, спит все или проснулся.

Дежурный осторожно вошел ко мне в комнату. Я положил голову на ягдташ, заменявший мне подушку, и закрыл глаза.

— Спит, — прошептал дежурный, вернувшись в контору.

Толстяк проворчал сквозь зубы.

— Ну, позови Сидора, — промолвил он наконец.

Я снова приподнялся. Вошел мужик огромного роста, лет тридцати, здоровый, краснощекий, с русыми волосами и небольшой курчавой бородой. Он помолился на образ, поклонился главному конторщику, взял свою шляпу в обе руки и выпрямился.

— Здравствуй, Сидор,— проговорил толстяк, постукивая счетами.

— Здравствуйте, Николай Еремеич.

— Ну что, какова дорога?

— Хороша, Николай Еремеич. Грязновата маленько. (Мужик говорил нескоро и негромко.)

— Жена здорова?

— Что ей делается!

Мужик вздохнул и ногу выставил. Николай Еремеич заложил перо за ухо и высморкался.

— Что ж, зачем приехал? — продолжал он спрашивать, укладывая клетчатый платок в карман.

— Да слышь, Николай Еремеич, с нас плотников требуют.

— Ну что ж, нет их у вас, что ли?

— Как им не быть у нас, Николай Еремеич: дача лесная — известно. Да пора-то рабочая, Николай Еремеич.

— Рабочая пора! То-то, вы охотники на чужих работать, а на свою госпожу работать не любите... Все едино!

— Работа-то все едино, точно, Николай Еремеич... да что...

— Ну?

— Плата больно... того...

— Мало чего нет! Вишь, как вы избаловались. Поди ты!

— Да и то сказать, Николай Еремеич, работы-то всего на неделю будет, а продержат месяц. То материалу не хватит, а то и в сад пошлют дорожки чистить.

— Мало ли чего нет! Сама барыня приказать изволила, так тут нам с тобой рассуждать нечего.

Сидор замолчал и начал переступать с ноги на ногу.

Николай Еремеич скрутил голову набок и усердно застучал костяшками.

— Наши... мужики... Николай Еремеич... — заговорил наконец Сидор, запинаясь на каждом слове, — приказали вашей милости... вот тут... будет... (Он запустил свою ручищу за пазуху армяка и начал вытаскивать оттуда свернутое полотенце с красными разводами.)

— Что ты, что ты, дурак, с ума сошел, что ли? — поспешно перебил его толстяк. — Ступай, ступай ко мне в избу, — продолжал он, почти выталкивая изумленного мужика, — там спроси жену... она тебе чаю даст, я сейчас приду, ступай. Да небось говорят, ступай.

Сидор вышел вон.

— Экой... медведь! — пробормотал ему вслед главный конторщик, покачал головой и снова принялся за счеты.

Вдруг крики: «Купря! Купря! Купрю не сшибешь!» — раздались на улице и на крыльце, и немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький, изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, оделлоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек пять дворовых людей, и все кричали: «Купря! Купрю не сшибешь! В истопники Купрю произвели, в истопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой.

При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места; но, увидав в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать: в соседней, дескать, комнате охотник спит.

— Какой охотник? — спросили человека два в один голос.

— Помещик.

— А!

— Пускай шумят,— заговорил, растопыря руки, человек с плисовым воротником,— мне что за дело! Лишь бы меня не трогали. В истопники меня произвели...

— В истопники! в истопники! — радостно подхватила толпа.

— Барыня приказала,— продолжал он, пожав плечами,— а вы погодите... вас еще в свинопасы произведут. А что я портной и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на епаралов шил... этого у меня никто не отнимет. А вы чего храбритесь?.. чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю — я с голоду не умру, я не пропаду; дай мне пашпорт — я оброк хороший взнесу и господ удоблетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вот и все!

— Вот и соврал,— перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями,— ты и по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господу не видали, и себе гроша не заработал: насилу ноги домой приволок, да с тех пор все в одном кафтанишке живешь.

— А что будешь делать, Константин Наркизыч! — возразил Куприян,— влюбияся человек — и пропал, и погиб человек. Ты

сперва с мое поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня.

— И в кого нашел влюбиться! в урода сущего!

— Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч.

— Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел; в прошлом году, в Москве, своими глазами видел.

— В прошлом году она действительно попортилась маленько,— заметил Куприян.

— Нет, господа, что,— заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом, усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть, камердинер,— вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Нут-ка, начните, Куприян Афанасьич!

— Да, да! — подхватили другие.— Ай да Александра! подкузьмила Купрю, неча сказать... Пой, Купря!.. Молодца, Александра! (Дворовые люди часто, для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания.) Пой!

— Здесь не место петь,— с твердостью возразил Куприян,— здесь господская контора.

— Да тебе-то что за дело? Чай, в конторщики сам метишь! — с грубым смехом отвечал Константин.— Должно быть!

— Все в господской власти состоит,— заметил бедняк.

— Вишь, вишь, куда метит, вишь, каков? у! у! а!

И все расхохотались, иные запрыгали. Громче всех заливался один мальчишка лет пятнадцати, вероятно, сын аристократа между дворней: он носил жилет с бронзовыми пуговицами, галстух лилового цвета и брюшко уже успел отрастить.

— А послушай-ка, признайся, Купря,— самодовольно заговорил Николай Еремеич, видимо распотешенный и разнеженный,— ведь плохо в истопниках-то? Пустое, чай, дело вовсе?

— Да что, Николай Еремеич,— заговорил Куприян,— вот вы теперь главным у нас конторщиком, точно; спору в том, точно, нету; а ведь и вы под опалой находились и в мужицкой избе тоже жили.

— Ты смотри у меня, однако, не забывайся,— с запальчивостью перебил его толстяк,— с тобой, дураком, шутят; тебе бы, дураку, чувствовать следовало и благодарить, что с тобой, дураком, занимаются.

— К слову пришлось, Николай Еремеич, извините...

— То-то же к слову.

Дверь растворилась, и вбежал казачок.

— Николай Еремеич, барыня вас к себе требует.

— Кто у барыни? — спросил он казачка.

— Аксинья Никитишна и купец из Венёва.

— Сею минутою явлюся. А вы, братцы,— продолжал он убедительным голосом,— ступайте-ка лучше отсюда вон с новопожарованным истопником-то: неравно немец забежит, как раз нажалется.

Толстяк поправил у себя на голове волосы, кашлянул в руку, почти совершенно закрытую рукавом сюртука, застегнулся и отправился к барыне, широко расставляя на ходу ноги. Погода немного и вся ватага поплелась за ним вместе с Купрей. Остался один мой старый знакомый, дежурный. Он принялся было чинить перья, да сидя и заснул. Несколько мух тотчас воспользовались счастливым случаем и облепили ему рот. Комар сел ему на лоб, правильно расставил свои ножки и медленно погрузил в его мягкое тело все свое жало. Прежняя рыжая голова с бакенбардами снова показалась из-за двери, поглядела, поглядела и вошла в контору вместе с своим довольно некрасивым туловищем.

— Федюшка! а Федюшка! вечно спишь! — проговорила голова.

Дежурный открыл глаза и встал со стула.

— Николай Еремеич к барыне пошел?

— К барыне пошел, Василий Николаич.

«А! а! — подумал я,— вот он — главный кассир».

Главный кассир начал ходить по комнате. Впрочем, он более крался, чем ходил, и таки вообще смахивал на кошку. На плечах его болтался старый черный фрак, с очень узкими фалдами; одну руку он держал на груди, а другой беспрестанно брался за свой высокий и тесный галстух из конского волоса и с напряжением вертел головой. Сапоги носил он козловые, без скрыпу, и выступал очень мягко.

— Сегодня Ягушкин помещик вас спрашивал,— прибавил дежурный.

— Гм, спрашивал? Что ж он такое говорил?

— Говорил, что, дескать, к Тютюреву вечером заедет и вас будет ждать. Нужно, дескать, мне с Васильем Николаичем об одном деле переговорить, а о каком деле — не сказывал: уж Василий Николаич, говорит, знает.

— Гм! — возразил главный кассир и подошел к окну.

— Что, Николай Еремеев в конторе? — раздался в сенях громкий голос, и человек высокого роста, видимо рассерженный, с лицом неправильным, но выразительным и смелым, довольно опрятно одетый, шагнул через порог.

— Нет его здесь? — спросил он, быстро глянув кругом.

— Николай Еремеич у барыни,— отвечал кассир.— Что вам надобно, скажите мне, Павел Андреич: вы мне можете сказать... Вы чего хотите?

— Чего я хочу? Вы хотите знать, чего я хочу? (Кассир болезненно кивнул головой.) Прочитать я его хочу, брюхача негодного, наушника подлого... Я ему дам наушничать!

Павел бросился на стул.

— Что вы, что вы, Павел Андреич? Успокойтесь... Как вам не стыдно? Вы не забудьте, про кого вы говорите, Павел Андреич! — залепетал кассир.

— Про кого? А мне что за дело, что его в главные конторщики пожаловали! Вот, нечего сказать, нашли кого пожаловать! Вот уж точно, можно сказать, пустили козла в огород!

— Полноте, полноте, Павел Андреич, полноте! Бросьте это... что за пустяки такие?

— Ну, Лиса Патрикевна, пошла хвостом вилять!.. Я его дождусь, — с сердцем проговорил Павел и ударил рукой по столу. — А, да вот он и жалуется, — прибавил он, взглянув в окошко, — легок на помине. Милости просим! (Он встал.)

Николай Еремеев вошел в контору. Лицо его сияло удовольствием, но при виде Павла он несколько смутился.

— Здравствуйте, Николай Еремеевич, — значительно проговорил Павел, медленно подвигаясь к нему навстречу, — здравствуйте.

Главный конторщик не отвечал ничего. В дверях показалось лицо купца.

— Что ж вы мне не изволите отвечать? — продолжал Павел. — Впрочем, нет... нет, — прибавил он, — этак не дело; криком да бранью ничего не возьмешь. Нет, вы мне лучше добром скажите, Николай Еремеевич, за что вы меня преследуете? за что вы меня погубить хотите? Ну, говорите же, говорите.

— Здесь не место с вами объясняться, — не без волнения возразил главный конторщик, — да и не время. Только я, признаюсь, одному удивляюсь: с чего вы взяли, что я вас погубить желаю или преследую? Да и как наконец могу я вас преследовать? Вы не у меня в конторе состоите.

— Еще бы, — отвечал Павел, — этого бы только не доставало. Но зачем же вы притворяетесь, Николай Еремеевич?.. Ведь вы меня понимаете.

— Нет, не понимаю.

— Нет, понимаете.

— Нет, ей-богу, не понимаю.

— Еще божитесь! Да уж коли на то пошло, скажите: ну, не боитесь вы бога! Ну, за что вы бедной девке жить не даете? Что вам надобно от нее?

— Вы о ком говорите, Павел Андреич? — с притворным изумлением спросил толстяк.

— Эка! не знает небось? Я об Татьяне говорю. Побойтесь бога, — за что мстите? Стыдитесь: вы человек женатый, дети у вас с меня уже ростом, а я не что другое... я жениться хочу: я по чести поступаю.

— Чем же я тут виноват, Павел Андреич? Барыня вам жениться не позволяет: ее господская воля! Я-то тут что?

— Вы что? А вы с этой старой ведьмой, с ключницей, не стакнулись небось? Небось не наушничаете, а? Скажите, не взводите на беззащитную девку всякую небылицу? Небось не по вашей милости ее из прачек в судомойки произвели! И быют-то ее и в затрапезе держат не по вашей милости?.. Стыдитесь, стыдитесь, старый вы человек! Ведь вас паралич, того и гляди, разобьет... Богу отвечать придется.

— Ругайтесь, Павел Андреич, ругайтесь... Долго ли вам придется ругаться-то!

Павел вспыхнул.

— Что? грозить мне вздумал? — с сердцем заговорил он. — Ты думаешь, я тебя боюсь? Нет, брат, не на того наткнулся! Чего мне бояться?.. Я везде себе хлеб сыщу. Вот ты — другое дело! Тебе только здесь и жить, да наушничать, да воровать...

— Ведь вот как зазнался, — перебил его копторщик, который тоже начинал терять терпение, — фершел, просто фершел, лекаришка пустой; а послушай-ка его, — фу ты, какая важная особа!

— Да, фершел, а без этого фершела ваша мплость теперь бы на кладбище гнила... И дернула же меня нелегкая его вылечить, — прибавил он сквозь зубы.

— Ты меня вылечил?.. Нет, ты меня отравить хотел; ты меня сабуром опоил, — подхватил конторщик.

— Что ж, коли па тебя, кроме сабура, ничего действовать пе могло?

— Сабур врачебной управой запрещен, — продолжал Николай, — я еще на тебя пожалуюсь. Ты уморить меня хотел — вот что! Да господь не попустил.

— Полно вам, полно, господа... — пачал было кассир.

— Отстань! — крикнул конторщик. — Он меня отравить хотел! Понимаешь ты эфто?

— Очепь пужно мне... Слушай, Николай Еремеев, — заговорил Павел с отчаянием, — в последний раз тебя прошу... вынудил ты меня — невтерпеж мне становится. Оставь нас в покое, понимаешь? А то, ей-богу, несдобровать кому-нибудь из нас, я тебе говорю.

Толстяк расходился.

— Я тебя не боюсь, — закричал он, — слышишь ли ты, моло-

косос! Я и с отцом твоим справился, я и ему рога сломил,— тебе пример, смотри!

— Не напоминай мне про отца, Николай Еремеев, не напоминай!

— Вона! ты что мне за уставщик?

— Говорят тебе, не напоминай!

— А тебе говорят, не забывайся... Как ты там барыне, потвоему, ни нужен, а коли из нас двух ей придется выбирать,— не удержишься ты, голубчик! Бунтовать никому не позволяется, смотри! (Павел дрожал от бешенства.) А девке Татьяне поделом... Погоди, не то ей еще будет!

Павел кинулся вперед с поднятыми руками, и конторщик тяжело покатился на пол.

— В кандалы его, в кандалы,— застонал Николай Еремеев...

Конца этой сцены я не берусь описывать; я и так боюсь, не оскорбил ли я чувства читателя.

В тот же день я вернулся домой. Неделю спустя я узнал, что госпожа Лоснякова оставила и Павла и Николая у себя в услужении, а девушку Татьяну сослала: видно, не понадобилась.

Б И Р Ю К

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса; надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжей по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспреостанно пересекавшим глубокие продольные рытвины — следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону — та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

— Кто это? — спросил звучный голос.

— А ты кто сам?

— Я здешний лесник.

Я назвал себя.

— А, знаю! Вы домой едете?

— Домой. Да видишь, какая гроза...

— Да, гроза, — отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

— Не скоро пройдет,— продолжал лесник.

— Что делать!

— Я вас, пожалуй, в свою избу проведу,— отрывисто проговорил он.

— Сделай одолжение.

— Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжело шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин»,— промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяло. Я поднял голову и при свете молнии увидел небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!»— раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покрывалом, с фонарем в руке, показалась на пороге.

— Посвети барину,— сказал он ей,— а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом — сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

— Ты разве одна здесь? — спросил я девочку.

— Одна,— произнесла она едва внятно.

— Ты лесникова дочь?

— Лесникова,— прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

— Чай, не привыкли к лучине? — проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого роста, плечист и сложен на славу. Из-под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

— Меня зовут Фомой, — отвечал он, — а по прозвищу Бирюк¹.

— А, ты Бирюк?

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, — силен, дескать, и ловок как бес... И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет — не дается».

Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

— Так ты Бирюк, — повторил я, — я, брат, слышал про тебя. Говорят, ты никому спуска не даешь.

— Должность свою справляю, — отвечал он угрюмо, — даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

— Аль у тебя хозяйки нет? — спросил я его.

— Нет, — отвечал он и сильно махнул топором.

— Умерла, знать?

— Нет... да... умерла, — прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

— С прохожим мещанином сбежала, — произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. — На, дай ему, — проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. — Вот и его бросила, — продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

¹ Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый.

— Вы, чай, барин,— начал он,— нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба...

— Я не голоден.

— Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету... Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускающуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Улитой,— проговорила она, еще более понуриив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

— Гроза проходит,— заметил он после небольшого молчанья,— коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

— Это зачем? — спросил я.

— А в лесу шалят... У Кобыльего Верху¹ дерево рубят,— прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

— Будто отсюда слышно?

— Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темпо-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во... вот,— проговорил он вдруг и протянул руку,— вишь какую ночку выбрал». Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А этак я, пожалуй,— прибавил он вслух,— и прозеваю его». — «Я с тобой пойду... хочешь?» — «Ладно,— отвечал он и попятил лошадь назад,— мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь,— бормотал он сквозь зубы,— слышите? слышите?» — «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновенье — мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня

¹ «Верхом» называется в Орловской губернии овраг.

и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался.

— Повалил...— пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались наконец из оврага. «Подождите здесь»,— шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь фыркала... «Куда? стой!» — загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи... Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь,— твердил, задыхаясь, Бирюк,— не уйдешь...» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидел мужика, мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

— Отпусти его,— шепнул я на ухо Бирюку,— я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за холку левой рукой: правой он держал вора за пояс: «Ну, поворачивайся, ворона!» — промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите»,— пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать!» — сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади... Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

— Эк его, какой полил,— заметил лесник,— переждать придется. Не хотите ли прилечь?

— Спасибо.

— Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер,— продолжал он, указывая на мужика,— да вишь, засов...

— Оставь его тут, не трогай,— перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренне дал себе слово, во что бы то ни стало, освободить бедняка. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены... Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Куз-

нечик кричал в углу... дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

— Фома Кузьмич,— заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым,— а, Фома Кузьмич.

— Чего тебе?

— Отпусти.

Бирюк не отвечал.

— Отпусти... с голодухи... отпусти.

— Знаю я вас,— угрюмо возразил лесник,— ваша вся слобода такая — вор на воре.

— Отпусти,— твердил мужик,— приказчик... разорены, во как... отпусти!

— Разорены!.. Воровать никому не след.

— Отпусти, Фома Кузьмич... не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

— Отпусти,— повторил он с унылым отчаянием,— отпусти, ей-богу, отпусти! Я заплачу, во как, ей-богу. Ей-богу, с голодухи... детки пищат, сам знаешь. Круто, во как, приходится.

— А ты все-таки воровать не ходи.

— Лошаденку,— продолжал мужик,— лошаденку-то, хоть еето... один живот и есть... отпусти!

— Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня выщут. Вас баловать тоже не приходится.

— Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, пужда, как есть того... отпусти!

— Знаю я вас!

— Да отпусти!

— Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился... Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска. «Ну па, ешь, па, подавись, па,— начал он, прищурился и опустив углы губ,— на, душегубец окаянный: пей христианскую кровь, пей...»

Лесник обернулся.

— Тебе говорю, тебе, азиат, кровопийца, тебе!

— Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? — заговорил с изумлением лесник.— С ума сошел, что ли?

— Пьян!.. не на твои ли деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

— Ах ты... да я тебя!..

— А мне что? Все едино — пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби — один конец; что с голоду, что так — все едино. Пропадай всё: жена, дети — околевай всё... А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

— Бей, бей, — подхватил мужик свирепым голосом, — бей, на, на, бей... (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась на него.) Бей! бей!

— Молчать! — загремел лесник и шагнул два раза.

— Полно, полно, Фома, — закричал я, — оставь его... бог с ним.

— Не стану я молчать, — продолжал несчастный. — Все едино — околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибли на тебя нету... Да постой, недолго тебе царствовать! затынут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо... Я бросился на помощь мужику...

— Не троньте, барин! — крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку; но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

— Убирайся к черту с своей лошадью, — закричал он ему вслед, — да смотри, в другой раз у меня!..

Он вернулся в избу и стал копать в углу.

— Ну, Бирюк, — промолвил я наконец, — удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

— Э, полноте, барин, — перебил он меня с досадой, — не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, — прибавил он, — знать, дождика-то вам не переждать...

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

— Вишь, поллелся! — пробормотал он, — да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

ДВА ПОМЕЩИКА

Я уже имел честь представить вам, благосклонные читатели, некоторых моих господ соседей; позвольте же мне теперь, кстати (для нашего брата писателя всё кстати), познакомить вас еще с двумя помещиками, у которых я часто охотился, с людьми весьма почтенными, благонамеренными и пользующимися всеобщим уважением нескольких уездов.

Сперва опишу вам отставного генерал-майора Вячеслава Илларионовича Хвалынского. Представьте себе человека высокого и когда-то стройного, теперь же несколько обрюзглого, но вовсе не дряхлого, даже не устарелого, человека в зрелом возрасте, в самой, как говорится, поре. Правда, некогда правильные и теперь еще приятные черты лица его немного изменились, щеки повисли, частые морщины лучеобразно расположились около глаз, иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина; русые волосы, по крайней мере все те, которые остались в целости, превратились в лиловые благодаря составу, купленному на Роменской конной ярмарке у жида, выдававшего себя за армянина; но Вячеслав Илларионович выступает бойко, смеется звонко, позвякивает шпорами, крутит усы, наконец называет себя старым кавалеристом, между тем как известно, что настоящие старики сами никогда себя не называют стариками. Носит он обыкновенно сюртук, застегнутый доверху, высокий галстук с накрахмаленными воротничками и панталоны серые с искрой, военного покроя; шляпу же надевает прямо на лоб, оставляя весь затылок наружи. Человек он очень добрый, но с понятиями и привычками довольно странными. Например: он никак не может обращаться с дворянами небогатыми или нечиновными, как с равными себе людьми. Разговаривая с ними, он обыкновенно смотрит на них сбоку, сильно опираясь щекою в твердый и белый воротник, или вдруг возьмет да озарит их ясным и неподвижным взором, помолчит и двинет всею кожей под волосами на голове; даже слова иначе произносит и не

говорит, например: «Благодарю, Павел Васильич», или: «Пожалуйте сюда, Михайло Иваныч», а: «Боллдарю, Палл Асылыч», или: «Па-ажалте сюда, Михал Ваныч». С людьми же, стоящими на низших ступенях общества, он обходится еще страннее: вовсе на них не глядит и, прежде чем объяснит им свое желание или отдаст приказ, несколько раз сряду, с озабоченным и мечтательным видом, повторит: «Как тебя зовут?.. как тебя зовут?», ударяя необыкновенно резко на первом слове «как», а остальные произнося очень быстро, что придает всей поговорке довольно близкое сходство с криком самца-перепела. Хлопотун он и жила страшный, а хозяин плохой: взял к себе в управители отставного вахмистра, малоросса, необыкновенно глупого человека. Впрочем, в деле хозяйства никто у нас еще не перещеголял одного петербургского важного чиновника, который, усмотрев из донесений своего приказчика, что овины у него в имении часто подвергаются пожарам, отчего много хлеба пропадает, — отдал строжайший приказ: вперед до тех пор не сажать снопов в овин, пока огонь совершенно не погаснет. Тот же самый сановник вздумал было засеять все свои поля маком, вследствие весьма, по-видимому, простого расчета: мак, дескать, дороже ржи, следовательно, сеять мак выгоднее. Он же приказал своим крепостным бабам носить кокошники по высланному из Петербурга образцу; и действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники... только сверху кичек... Но возвратимся к Вячеславу Илларионовичу. Вячеслав Илларионович ужасный охотник до прекрасного пола и, как только увидит у себя в уездном городе на бульваре хорошенькую особу, немедленно пустится за нею вслед, но тотчас же и захромает, — вот что замечательное обстоятельство. В карты играть он любит, но только с людьми звания низшего; они-то ему: «Ваше превосходительство», а он-то их пушит и распекает, сколько душе его угодно. Когда ж ему случится играть с губернатором или с каким-нибудь чиновным лицом — удивительная происходит в нем перемена: и улыбается-то он, и головой кивает, и в глаза-то им глядит — медом так от него и несет... Даже проигрывает и не жалуется. Читает Вячеслав Илларионыч мало, при чтении беспрепятственно поводит усами и бровями, сперва усами, потом бровями, словно волну снизу вверх по лицу пускает. Особенно замечательно это волнообразное движение на лице Вячеслава Илларионыча, когда ему случается (при гостях, разумеется) пробегать столбцы «*Journal des Débats*». На выборах играет он роль довольно значительную, но от почетного звания предводителя по скупости отказывается. «Господа, — говорит он обыкновенно приступающим к нему дворянам, и говорит голосом, исполненным покровительства и самостоятельности, — много благодарен за честь; но я решился посвятить свой досуг уединению».

И, сказавши эти слова, поведет головой несколько раз направо и налево, а потом с достоинством наляжет подбородком и щеками на галстук. Состоял он в молодые годы адъютантом у какого-то значительного лица, которого иначе и не называет как по имени и по отчеству; говорят, будто бы он принимал на себя не одни адъютантские обязанности, будто бы, например, облачившись в полную парадную форму и даже застегнув крючки, парил своего начальника в бане — да не всякому слуху можно верить. Впрочем, и сам генерал Хвалынский о своем служебном поприще не любит говорить, что вообще довольно странно; на войне он тоже, кажется, не бывал. Живет генерал Хвалынский в небольшом домике, один; супружеского счастья он в своей жизни не испытал и потому до сих пор еще считается женихом, и даже выгодным женихом. Зато ключница у него, женщина лет тридцати пяти, черпоглазая, чернобровая, полная, свежая и с усами, по будничным дням ходит в накрахмаленных платьях, а по воскресеньям и кисейные рукава надевает. Хорош бывает Вячеслав Илларионович на больших званных обедах, даваемых помещиками в честь губернаторов и других властей: тут он, можно сказать, совершенно в своей тарелке. Сидит он обыкновенно в таких случаях если не по правую руку губернатора, то и не в далеком от него расстоянии; в начале обеда более придерживается чувства собственного достоинства и, закинувшись назад, но не оборачивая головы, сбоку пускает взор вниз по круглым затылком и стоячим воротникам гостей; зато к концу стола развеселяется, начинает улыбаться во все стороны (в направлении губернатора он с начала обеда улыбался), а иногда даже предлагает тост в честь прекрасного пола, украшения нашей планеты, по его словам. Также педурен генерал Хвалынский на всех торжественных и публичных актах, экзаменах, собраниях и выставках; под благословение тоже подходит мастер. На разъездах, переправах и в других тому подобных местах люди Вячеслава Илларионыча не шумят и не кричат; напротив, раздвигая народ или вызывая карету, говорят приятным горловым баритоном: «Позвольте, позвольте, дайте генералу Хвалынскому пройти», или: «Генерала Хвалынского экипаж...» Экипаж, правда, у Хвалынского формы довольно старинной; на лакеях ливрея довольно потертая (о том, что она серая с красными выпушками, кажется, едва ли нужно упомянуть); лошади тоже довольно пожилы и послужили на своем веку, но на щегольство Вячеслав Илларионыч притязаний не имеет и не считает даже званию своему приличным пускать пыль в глаза. Особенным даром слова Хвалынский не владеет или, может быть, не имеет случая выказать свое красноречие, потому что не только спора, но вообще возраженья не терпит и всяких длинных разговоров, особенно с

молодыми людьми, тщательно избегает. Оно действительно вернее; а то с нынешним народом беда: как раз из повиновения выйдет и уважение потеряет. Перед лицами высшими Хвалынский большей частью безмолвствует, а к лицам низшим, которых, по-видимому, презирает, но с которыми только и знает, держит речи отрывистые и резкие, беспрестанно употребляя выраженья, подобные следующим: «Это, однако, вы пустяки говорите»; или: «Я наконец вынужденным нахожусь, милосвй сдарь мой, вам поставить на вид»; или: «Наконец вы должпы, однако же, знать, с кем имеее дело», и пр. Особебно бояться его почтмейстеры, непрременные заседатели и станционные смотрители. Дома он у себя никого не принимает и живет, как слышно, скрягой. Со всем тем он прекрасный помещик. «Старый служака, человек бескорыстный, с правилами, vieux grognard»¹, — говорят про него соседи. Один прокурор губернский позволяет себе улыбаться, когда при нем упоминают об отличных и солидных качествах генерала Хвалынского, — да чего не делает зависть!..

А впрочем, перейдем теперь к другому помещику.

Мардарий Аполлоныч Стегунов ни в чем не походил на Хвалынского; он едва ли где-нибудь служил и никогда красавцем не почитался. Мардарий Аполлоныч старичок низенький, пухленький, лысый, с двойным подбородком, мягкими ручками и порядочным брюшком. Он большой хлебосол и балагур; живет, как говорится, в свое удовольствие; зиму и лето ходит в полосатом шлафроке на вате. В одном он только сошелся с генералом Хвалынским: он тоже холостяк. У него пятьсот душ. Мардарий Аполлоныч занимается своим имением довольно поверхностно; купил, чтобы не отстать от века, лет десять тому назад, у Бутенопа в Москве молотильную машину, запер ее в сарай, да и успокоился. Разве в хороший летний день велит заложить беговые дрожки и съездит в поле па хлеба посмотреть да васильков нарвать. Живет Мардарий Аполлоныч совершенно на старый лад. И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, салными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и утиральниками; в столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые фортопяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сильные часы, с почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из разных сочинений прошедшего столетия, шкапы с вонючими книгами, пауками и черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в сад... Словом, все как водится. Людей у Мардария

¹ старый ворчун (фр.).

Аполлоныча множество, и все одеты по-старинному: в длинные синие кафтаны с высокими воротниками, панталоны мутного колорита и коротенькие желтоватые жилетцы. Гостям они говорят: «Батюшка». Хозяйством у него заведывает бурмистр из мужиков, с бородой во весь тулуп; домом — старуха, повязанная коричневым платком, сморщенная и скупая. На конюшне у Мардария Аполлоныча стоит тридцать разнокалиберных лошадей; выезжает он в доделанной коляске в полтораста пуд. Гостей принимает он очень радушно и угощает на славу, то есть: благодаря одуряющим свойствам русской кухни, лишает их вплоть до самого вечера всякой возможности заняться чем-нибудь, кроме преферанса. Сам же никогда ничем не занимается и даже «Сонник» перестал читать. Но таких помещиков у нас на Руси еще довольно много; спрашивается: с какой стати я заговорил о нем и зачем?.. А вот позвольте вместо ответа рассказать вам одно из моих посещений у Мардария Аполлоныча.

Приехал я к нему летом, часов в семь вечера. У него только что отошла всенощная, и священник, молодой человек, по-видимому, весьма робкий и недавно вышедший из семинарии, сидел в гостинной возле двери, на самом краёшке стула. Мардарий Аполлоныч, по обыкновению, чрезвычайно ласково меня принял: он непритворно радовался каждому гостю, да и человек он был вообще предобрый. Священник встал и взялся за шляпу.

— Погоди, погоди, батюшка,— заговорил Мардарий Аполлоныч, не выпуская моей руки,— не уходи... Я велел тебе водки принести.

— Я не пью-с,— с замешательством пробормотал священник и покраснел до ушей.

— Что за пустяки! Как в вашем званье не пить! — отвечал Мардарий Аполлоныч.— Мишка! Юшка! водки батюшке!

Юшка, высокий и худощавый старик лет восьмидесяти, вошел с рюмкой водки на темном крашеном подносе, испещренном пятнами телесного цвета.

Священник начал отказываться.

— Пей, батюшка, не ломайся, нехорошо,— заметил помещик с укоризной.

Бедный молодой человек повиновался.

— Ну, теперь, батюшка, можешь идти.

Священник начал кланяться.

— Ну, хорошо, хорошо, ступай... Прекрасный человек,— продолжал Мардарий Аполлоныч, глядя ему вслед,— очень я им доволен; одно — молод еще. Всё проповеди держит, да вот вина не пьет. Но вы-то как, мой батюшка?.. Что вы, как вы? Пойдемте-ка на балкон — вишь, вечер какой славный.

Мы вышли на балкон, сели и начали разговаривать. Мардарий Аполлоныч взглянул вниз и вдруг пришел в ужасное волнение.

— Чьи это куры? чьи это куры? — закричал он. — Чьи это куры по саду ходят?.. Юшка! Юшка! поди узнай сейчас, чьи это куры по саду ходят?.. Чьи это куры? Сколько раз я запрещал, сколько раз говорил!

Юшка побежал.

— Что за беспорядки! — твердил Мардарий Аполлоныч, — это ужас!

Несчастные куры, как теперь помню, две крапчатые и одна белая с хохлом, преспокойно продолжали ходить под яблонями, изредка выражая свои чувства продолжительным крехтаньем, как вдруг Юшка, без шапки, с палкой в руке, и трое других совершеннолетних дворовых, все вместе дружно ринулись на них. Пошла потеха. Курицы кричали, хлопали крыльями, прыгали, оглушительно кудахтали; дворовые люди бегали, спотыкались, падали; барин с балкона кричал как иступленный: «Лови, лови! лови, лови! лови, лови, лови!.. Чьи это куры, чьи это куры?» Наконец одному дворовому человеку удалось поймать хохлатую курицу, придавив ее грудью к земле, и в то же самое время через плетень сада, с улицы, перескочила девочка лет одиннадцати, вся растрепанная и с хвостистой в руке.

— А, вот чьи куры! — с торжеством воскликнул помещик. — Ермила-кучера куры! Вон он свою Наталку загнать их выслал... Небось Параша не выслал, — присовокупил помещик вполголоса и значительно ухмыльнулся. — Эй, Юшка! брось куриц-то: поймай-ка мне Наталку.

Но прежде чем запыхавшийся Юшка успел добежать до перепуганной девчонки — откуда ни возьмись ключница, схватила ее за руку и несколько раз шлепнула бедняжку по спине...

— Вот так, э вот так, — подхватил помещик, — те, те, те! те, те, те!.. А кур-то отбери, Авдотья, — прибавил он громким голосом и с светлым лицом обратился ко мне: — Какова, батюшка, травля была, ась? Вспотел даже, посмотрите.

И Мардарий Аполлоныч расхохотался.

Мы остались на балконе. Вечер был действительно необыкновенно хорош.

Нам подали чай.

— Скажите-ка, — начал я, — Мардарий Аполлоныч, ваши это дворы выселены, вон там, на дороге, за оврагом?

— Мои... а что?

— Как же это вы, Мардарий Аполлоныч? Ведь это грешно. Избенки отведены мужикам скверные, тесные; деревца кругом не увидишь: сáжалки даже нету; колодезь один, да и тот никуда

не годится. Неужели вы другого места найти не могли?.. И, говорят, вы у них даже старые конопляники отняли?

— А что будешь делать с размежеваньем? — отвечал мне Мардарий Аполлоныч. — У меня это размежевание вот где сидит. (Он указал на свой затылок.) И никакой пользы я от этого размежевания не предвижу. А что я конопляники у них отнял и сáжалки, что ли, там у них не выкопал, — уж про это, батюшка, я сам знаю. Я человек простой — по-старому поступаю. По-моему: коли барин — так барин, а коли мужик — так мужик... Вот что.

На такой ясный и убедительный довод отвечать, разумеется, было нечего.

— Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опальные. Особенно там две семьи; еще батюшка покойный, дай бог ему царство небесное, их не жаловал, больно не жаловал. А у меня скажу вам, такая примета: коли отец вор, то и сын вор; уж там как хотите... О, кровь, кровь — великое дело! Я, признаться вам откровенно, из тех-то двух семей и без очереди в солдаты отдавал, и так рассовывал — кой-куды; да не переводятся, что будешь делать? Плодущи, проклятые.

Между тем воздух затих совершенно. Лишь изредка ветер пабегал струями и, в последний раз замирая около дома, донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов, раздававшихся в направлении конюшни. Мардарий Аполлоныч только что донес к губам налитое блюдечко и уже расширил было ноздри, без чего, как известно, ни один коренной русак не втягивает в себя чая, — по остановился, прислушался, кивнул головой, хлебнул и, ставя блюдечко на стол, произнес с добрейшей улыбкой и как бы невольно вторя ударам: «Чюки-чюки-чюк! Чюки-чюк! Чюки-чюк!»

— Это что такое? — спросил я с изумлением.

— А там, по моему приказу, шалунишку наказывают... Васю-буфетчика изволите знать?

— Какого Васю?

— Да вот что намерен за обедом нам служил. Еще с такими большими бакенбардами ходит.

Самое лютое негодование не устояло бы против ясного и кроткого взора Мардария Аполлоныча.

— Что вы, молодой человек, что вы? — заговорил он, качая головой. — Что я, злодей, что ли, что вы на меня так уставились? Любый да накажет: вы сами знаете.

Через четверть часа я простился с Мардарием Аполлонычем. Проезжая через деревню, увидел я буфетчика Васю. Он шел по улице и грыз орехи. Я велел кучеру остановить лошадей и подо звал его.

— Что, брат, тебя сегодня наказали? — спросил я его.

— А вы почему знаете? — отвечал Вася.

— Мне твой барин сказывал.

— Сам барин?

— За что же он тебя велел наказать?

— А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету — ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин... такого барина в целой губернии не сыщешь.

— Пошел! — сказал я кучеру. «Вот она, старая-то Русь!» — думал я на обратном пути.

ЛЕБЕДЯНЬ

Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно пересезгать с места на место, что для человека незанятого весьма приятно. Правда, иногда (особенно в дождливое время) не слишком весело скитаться по проселочным дорогам, брать «целиком», останавливать всякого встречного мужика вопросом: «Эй, любезный! как бы нам проехать в Мордовку?», а в Мордовке выпытывать у тупоумной бабы (работники-то все в поле): далеко ли до постоянных двориков на большой дороге, и как до них добраться, и, проехав верст десять, вместо постоянных двориков очутиться в помещицьем сильно разоренном сельце Худобубнове, к крайнему изумлению целого стада свиней, погруженных по уши в темно-бурую грязь на самой середине улицы и нисколько не ожидавших, что их беспокоят. Не весело также переправляться через животрепещущие мостики, спускаться в овраги, перебираться вброд через болотистые ручьи; не весело ехать, целые сутки ехать по зеленоватому морю больших дорог или, чего боже сохрани, загрязнуть на несколько часов перед пестрым верстовым столбом с цифрами: 22 на одной стороне и 23 на другой; не весело по неделям питаться яйцами, молоком и хваленым ржаным хлебом... Но все эти неудобства и неудачи выкупаются другого рода выгодами и удовольствиями. Впрочем, приступим к самому рассказу.

Вследствие всего вышесказанного мне не для чего толковать читателю, каким образом, лет пять тому назад, я попал в Лебедянь в самый развал ярмарки. Наш брат охотник может в одно прекрасное утро выехать из своего более или менее родового поместья с намереньем вернуться на другой же день вечером и понемногу, понемногу, не переставая стрелять по бекасам, достигнуть наконец благословенных берегов Печоры; притом всякий охотник до ружья и до собаки — страстный почитатель благороднейшего животного в мире: лошади. Итак, я прибыл в Лебедянь, остановился в гостинице, переделся и отправился на ярмарку. (Половой, длинный и

сухопарый малый лет двадцати, со сладким носовым тенором, уже успел мне сообщить, что их сиятельство, князь Н., ремонтер ***го полка, остановился у них в трактире, что много других господ наехало, что по вечерам цыгане поют и пана Твардовского дают на театре, что кони, дескать, в цене,— впрочем, хорошие приведены кони.)

На ярмарочной площади бесконечными рядами тянулись телеги, за телегами лошади всех возможных родов: рысистые, заводские, битюки, возовые, ямские и простые крестьянские. Иные, сытые и гладкие, подобранные по мастям, покрытые разноцветными попонами, коротко привязанные к высоким кряквам, боязливо косились назад, на слишком знакомые им кнуты своих владельцев-барышников; помещичьи кони, высланные степными дворянами за сто, за двести верст, под надзором какого-нибудь дряхлого кучера и двух или трех крепкоголовых конюхов, махали своими длинными шеями, топали ногами, грызли со скуки надолбы; саврасые вятки плотно прижимались друг к дружке; в величавой неподвижности, словно львы, стояли широкозадые рысаки с волнистыми хвостами и косматыми лапами, серые в яблоках, вороные, гнедые. Знатоки почтительно остапавливались перед ними. В улицах, образованных телегами, толпились люди всякого звания, возраста и вида: барышники, в синих кафтапах и высоких шапках, лукаво высматривали и выжидали покупателей; лупоглазые, кудрявые цыганы метались взад и вперед как угорелые, глядели лошадям в зубы, поднимали им ноги и хвосты, кричали, бранились, служили посредниками, метали жребий или увивались около какого-нибудь ремонтера в фуражке и военной шинели с бобром. Дюжий казак торчал верхом на тощем мерине с оленьей шеей и продавал его «со всим», то есть с седлом и уздечкой. Мужики, в изорванных под мышками тулупах, отчаянно продирались сквозь толпу, наваливались десятками на телегу, запряженную лошадью, которую следовало «спробовать», или, где-нибудь в стороне, при помощи увертливого цыгана, торговались до изнеможения, сто раз сряду хлопали друг друга по рукам, настаивая каждый на своей цене, между тем как предмет их спора, дрянная лошаденка, покрытая покоробленной рогожей, только что глазами помаргивала, как будто дело шло не о ней... И в самом деле, не все ли ей равно, кто ее бить будет! Широколобые помещики с крашеными усами и выражением достоинства на лице, в конфедератках и камлотовых чуйках, надетых на один рукав, снисходительно заговаривали с пузатыми купцами в пуховых шляпах и зеленых перчатках. Офицеры различных полков толкались тут же; необыкновенно длинный кирасир, немецкого происхождения, хладнокровно спрашивал у хромого барышника: сколько он желает получить за сию рыжую

лошадь? Белокурый гусарчик, лет девятнадцати, подбирает пристяжную к поджарому иноходцу; ямщик в низкой шляпе, обвитой павлиньим пером, в буром армяке и с кожаными рукавицами, засунутыми за узкий зелененький кушак, ищет коренника. Кучера заплетали лошадям своим хвосты, мочили гривы и давали почтительные советы господам. Окончившие сделку спешили в трактир или в кабак, смотря по состоянию... И все это возилось, кричало, копошилось, ссорилось и мирилось, бранилось и смеялось в грязи по колени. Мне хотелось купить тройку сносных лошадей для своей брички: мои начинали отказываться. Я нашел двух, а третью не успел подобрать. После обеда, которого списывать я не берусь (уже Эней знал, как неприятно припоминать минувшее горе), отправился я в так называемую кофейную, куда каждый вечер собирались ремонтеры, заводчики и другие приезжие. В бильярдной комнате, затопленной свинцовыми волнами табачного дыма, находилось человек двадцать. Тут были развязные молодые помещики в венгерках и серых панталонах, с длинными висками и намасленными усиками, благородно и смело взиравшие кругом; другие дворяне в казакинах, с необыкновенно короткими шеями и заплывшими глазками, тут же мучительно сопели; купчики сидели в стороне, как говорится, «на чуку»; офицеры свободно разговаривали друг с другом. На бильярде играл князь Н., молодой человек лет двадцати двух, с веселым и несколько презрительным лицом, в сюртуке нараспашку, красной шелковой рубахе и широких бархатных шароварах; играл он с отставным поручиком Виктором Хлопаковым.

Отставной поручик Виктор Хлопаков, маленький, смугленький и худенький человек лет тридцати, с черными волосиками, карими глазами и тупым вздернутым носом, прилежно посещает выборы и ярмарки. Он подпрыгивает на ходу, ухарски разводит округленными руками, шапку носит набекрень и заворачивает рукава своего военного сюртука, подбитого сизым коленкором. Господин Хлопаков обладает умением подделываться к богатым петербургским шалунам, курит, пьет и в карты играет с ними, говорит им «ты». За что они его жалуют, понять довольно мудро. Он не умеет, он даже не смешон: в шуты он тоже не годится. Правда, с ним обращаются дружески-небрежно, как с добрым, но пустым малым; якшаются с ним в течение двух-трех недель, а потом вдруг и не кланяются с ним, и он сам уж не кланяется. Особенность поручика Хлопакова состоит в том, что он в продолжение года, иногда двух, употребляет постоянно одно и то же выражение, кстати и некстати, выражение несколько не забавное, но которое, бог знает почему, всех смешит. Лет восемь тому назад он на каждом шагу говорил: «Мое вам почитание, покорнейше благодар-

ствую», и тогдашние его покровители всякий раз помирали со смеху и заставляли его повторять «мое почитание»; потом он стал употреблять довольно сложное выражение: «Нет, уж это вы того, кескеса,— это вышло выходит», и с тем же блистательным успехом; года два спустя придумал новую прибаутку: «Не ву горяче па, человек божий, обшит бараньей кожей» и т. д. И что же! эти, как видите, вовсе незатейливые словечки его кормят, поят и одевают. (Именье он свое давным-давно промотал и живет единственно на счет приятелей.) Заметьте, что решительно никаких других любезностей за ним не водится; правда, он выкуривает сто трубок Жукова в день, а играя на бильярде, поднимает правую ногу выше головы и, прицеливаясь, неистово ерзает кием по руке,— ну, да ведь до таких достоинств не всякий охотник. Пьет он тоже хорошо... да на Руси этим отличиться мудрено... Словом, успех его — совершенная для меня загадка... Одно разве: осторожен он, сору из избы не выносит, ни о ком дурного словечка не скажет...

«Ну,— подумал я при виде Хлопакова,— какая-то его нынешняя поговорка?»

Князь сделал белого.

— Тридцать и никого,— возопил чахоточный маркер с темным лицом и свинцом под глазами.

Князь с треском положил желтого в крайнюю лузу.

— Эх! — одобрительно крикнул всем животом толстенный купец, сидевший в уголку за шатким столиком на одной ножке, крикнул и оробел. Но, к счастью, никто его не заметил. Он отдохнул и погладил бородку.

— Тридцать шесть и очень мало! — закричал маркер в нос.

— Что, каково, брат? — спросил князь Хлопакова.

— Что ж? известно, рррракалиооон, как есть рррракалиооон!

Князь прыснул со смеху.

— Как, как? повтори!

— Рррракалиооон! — самодовольно повторил отставной поручик.

«Вот оно, слово-то!» — подумал я.

Князь положил красного в лузу.

— Эх! не так, князь, не так,— залепетал вдруг белокурый офицерик с покрасневшими глазками, крошечным носиком и младенчески заспанным лицом.— Не так играет... надо было... не так!

— Как же? — спросил его князь через плечо.

— Надо было... того... триплетом.

— В самом деле? — пробормотал князь сквозь зубы.

— А что, князь, сегодня вечером к цыганам? — поспешно подхватил сконфуженный молодой человек.— Стешка петь будет... Ильюшка...

Князь не отвечал ему.

— Рррракалиооон, братец,— проговорил Хлопак, лукаво прищурив левый глаз.

И князь расхохотался.

— Тридцать девять и никого,— провозгласил маркер.

— Никого... посмотри-ка, как я вот этого желтого...

Хлопак заерзал кием по руке, прицелился и скиксовал.

— Э, рракалиоон,— закричал он с досадой.

Князь опять рассмеялся.

— Как, как, как?

Но Хлопак своего слова повторить не захотел: надо же покочетничать.

— Стикс изволили дать,— заметил маркер.— Позвольте помелить... Сорок и очень мало!

— Да, господа,— заговорил князь, обращаясь ко всему собранию и не глядя, впрочем, ни на кого в особенности,— вы знаете, сегодня в театре Вержембицкую вызывать.

— Как же, как же, непременно! — воскликнуло наперерыв несколько господ, удивительно польщенных возможностью отвечать на княжескую речь.— Вержембицкую...

— Вержембицкая отличная актриса, гораздо лучше Сопняковой,— прошипал из угла плюгавенький человек с усиками и в очках. Несчастный! он втайне сильно вздыхал по Сопняковой, а князь не удостоил его даже взглядом.

— Че-о-эк, э, трубку! — произнес в галстух какой-то господин высокого роста, с правильным лицом и благороднейшей осанкой — но всем признакам шулер.

Человек побежал за трубкой и, вернувшись, доложил его сиятельству, что, дескать, ямщик Баклага их спрашивают-с.

— А! ну, вели ему подождать да водки ему поднеси.

— Слушаю-с.

Баклагой, как мне потом сказали, прозывался молодой, красивый и чрезвычайно избалованный ямщик; князь его любил, дарил ему лошадей, гонялся с ним, проводил с ним целые ночи... Этого самого князя, бывшего шалуна и мота, вы бы теперь не узнали... Как он раздушен, затянут, горд! Как занят службой, а главное — как рассудителен!

Однако табачный дым начинал выедать мне глаза. В последний раз выслушав восклицание Хлопакова и хохот князя, я отправился в свой номер, где на волосяном, узком и продавленном диване, с высокой выгнутой спинкой, мой человек уже постлал мне постель.

На другой день пошел я смотреть лошадей по дворам и начал с известного барышника Ситникова. Через калитку вошел я на

двор, посыпанный песочком. Перед настежь раскрытою дверью конюшни стоял сам хозяин, человек уже не молодой, высокий и толстый, в заячем тулупчике, с поднятым и подвернутым воротником. Увидав меня, он медленно двинулся ко мне навстречу, подержал обеими руками шапку над головой и нараспев произнес:

— А, наше вам почтение. Чай, лошадок угодно посмотреть?

— Да, пришел лошадок посмотреть.

— А каких именно, смею спросить?

— Покажите, что у вас есть.

— С нашим удовольствием.

Мы вошли в конюшню. Несколько белых шавок поднялось с сена и подбежало к нам, виляя хвостами; длиннородый старый козел с неудовольствием отошел в сторону; три конюха, в крепких, но засаленных тулупах, молча нам поклонились. Направо и налево, в искусственно возвышенных стойлах, стояло около тридцати лошадей, выхоленных и вычищенных на славу. По перекладинам перелетывали и ворковали голуби.

— Вам, то есть, для чего требуется лошадка: для езды или для завода? — спросил меня Ситников.

— И для езды и для завода.

— Понимаем-с, понимаем-с, понимаем-с, — с расстановкою произнес барышняк. — Петя, покажи господину Горностаю.

Мы вышли на двор.

— Да не прикажете ли лавочку из избы вынести?.. Не требуется?.. Как угодно.

Копыта загревели по доскам, щелкнул кнут, и Петя, малый лет сорока, рябой и смуглый, выскочил из конюшни вместе с серым, довольно статным жеребцом, дал ему подняться на дыбы, пробежал с ним раза два кругом двора и ловко осадил его на показном месте. Горностаю вытянулся, со свистом фыркнул, закинул хвост, повел мордой и покосился на нас.

«Ученая птица!» — подумал я.

— Дай волю, дай волю, — проговорил Ситников и уставился на меня.

— Как, по-вашему, будет-с? — спросил он наконец.

— Лошадь недурна, — передние ноги не совсем надежны.

— Ноги отличные! — с убеждением возразил Ситников: — а зад-то... извольте посмотреть... печь печью, хоть выспись.

— Бабки длинные.

— Что за длинные — помилосердуйте! Пробеги-ка, Петя, пробеги, да рысью, рысью, рысью... не давай скакать.

Петя опять пробежал по двору с Горностаем. Мы все помолчали.

— Ну, поставь его на место,— проговорил Ситников,— да Сокола нам подай.

Сокол, вороной, как жук, жеребец голландской породы, со свислым задом и поджарый, оказался немного получше Горностая. Он принадлежал к числу лошадей, о которых говорят охотники, что «они секут и рубят, и в полон берут», то есть на ходу вывертывают и выкидывают передними ногами направо и налево, а вперед мало подвигаются. Купцы средних лет подлюбливают таких лошадей: побегка их напоминает ухарскую походку бойкого полового; они хороши в одиночку, для гулянья после обеда: выступая фертом и скрутив шею, усердно везут они аляповатые дрожки, нагруженные насевшимся до онеменья кучером, придавленным кущом, страдающим изжогой, и рыхлой купчихой в голубом шелковом салопе и лиловом платочке на голове. Я отказался и от Сокола. Ситников показал мне еще несколько лошадей... Одна наконец, серый в яблоках жеребец воейковской породы, мне понравилась. Я не мог удержаться и с удовольствием потрепал ее по холке. Ситников тотчас прикинулся равнодушным.

— А что, он едет хорошо? — спросил я. (О рысак не говорят: бежит.)

— Едет, — спокойно ответил барышник.

— Нельзя ли посмотреть?..

— Отчего же, можно-с. Эй, Кузя, Догоняя в дрожки заложить.

Кузя, наездник, мастер своего дела, проехал раза три мимо паса по улице. Хорошо бежит лошадь, не сбивается, задом не подбрасывает, ногу выносит свободно, хвост отделяет и «держит», ред-комах.

— А что вы за него просите?

Ситников заломил цену небывалую. Мы начали торговаться тут же на улице, как вдруг из-за угла с громом вылетела мастерски подобранная ямская тройка и лихо остановилась перед воротами Ситникова дома. На охотничьей, щегольской тележке сидел князь Н.; возле него торчал Хлопаков. Баклага правил лошадьми... и как правил! сквозь сережку бы проехал, разбойник! Гнедые пристяжные, маленькие, живые, черноглазые, черноногие, так и горят, так и поджимаются; свистни только — пропали! Каракочная коренная стоит себе, закинув шею, словно лебедь, грудь вперед, ноги как стрелы, знай головой помахивает да гордо щурится... Хорошо! Хоть бы царю Ивану Васильевичу в светлый праздник прокатиться!

— Ваше сиятельство! милости просим! — закричал Ситников.

Князь соскочил с телеги. Хлопаков медленно слез с другой стороны.

— Здравствуй, брат... Есть лошади?

— Как не быть для вашего сиятельства! Пожалуйте, войдите... Петя, Павлина подай! да Похвального чтоб готовили. А с вами, батюшка, — продолжал он, обращаясь ко мне, — мы в другое время покончим... Фомка, лавку его сиятельству.

Из особенной, мною сперва не замеченной, конюшни вывели Павлина. Могучий темно-гнедой конь так и взвился всеми ногами на воздух. Ситников даже голову отвернул и зажмурился.

— У, рракалион! — провозгласил Хлопаков. — Жэм-сá.

Князь засмеялся.

Павлина остановили не без труда; он таки повозил конюха по двору; наконец его прижали к стене. Он храпел, вздрагивал и поджимался, а Ситников еще дразнил его, замахиваясь на него кнутом.

— Куда глядишь? вот я те! у! — говорил барышник с ласковой угрозой, сам невольно любуясь своим конем.

— Сколько? — спросил князь.

— Для вашего сиятельства пять тысяч.

— Три.

— Нельзя-с, ваше сиятельство, помилуйте...

— Говорят, три, рракалион, — подхватил Хлопаков.

Я не дождался конца сделки и ушел. У крайнего угла улицы заметил я на воротах сероватого домика приклеенный большой лист бумаги. Наверху был нарисован пером конь с хвостом в виде трубы и нескончаемой шеей, а под копытами коня стояли следующие слова, написанные старинным почерком.

«Здесь продаются разных мастей лошади, приведенные на Лебедянскую ярмарку с известного степного завода Анастасея Иваныча Чернобая, тамбовского помещика. Лошади сии отличных статей; выезжены в совершенстве и кроткого нрава. Господа покупатели благоволят спросить самого Анастасея Иваныча; буде же Анастасей Иваныч в отсутствии, то спросить кучера Назара Кубышкина. Господа покупатели, милости просим почтить старичка!»

Я остановился. Дай, думаю, посмотрю лошадей известного степного заводчика г-на Чернобая.

Я хотел было войти в калитку, но, против обыкновения, нашел ее запертой. Я постучался.

— Кто там?.. Покупатель? — пропищал женский голос.

— Покупатель.

— Сейчас, батюшка, сейчас.

Калитка растворилась. Я увидел бабу лет пятидесяти, просто-волосую, в сапогах и в тулупе нараспашку.

— Извольте, кормилец, войти, а я сейчас пойду Анастасею Иванычу доложу... Назар, а Назар!

— Чего? — прошамшил из конюшни голос семидесятилетнего старца.

— Лошадок приготовь; покупатель пришел.

Старуха побежала в дом.

— Покупатель, покупатель, — проворчал ей в ответ Назар. — Я им еще не всем хвосты подмыл.

«О, Аркадия!» — подумал я.

— Здравствуй, батюшка, милости просим, — медленно раздался за моей спиной сочный и приятный голос. Я оглянулся: передо мною, в синей долгополой шинели, стоял старик среднего роста, с белыми волосами, любезной улыбкой и прекрасными голубыми глазами.

— Лошадок тебе? Изволь, батюшка, изволь... Да не хочешь ли ко мне сперва чайку зайти напитокся?

Я отказался и поблагодарил.

— Ну, как тебе угодно. Ты меня, батюшка, извини: ведь я по старине. (Г-н Чернобай говорил не спеша и на ó.) У меня всё по простоте, знаешь... Назар, а Назар, — прибавил он протяжно и не возвышая голоса.

Назар, сморщенный старичишка, с ястребиным посиком и клиновидной бородкой, показался на пороге конюшни.

— Каких тебе, батюшка, лошадей требуется? — продолжал г-н Чернобай.

— Не слишком дорогих, езжалых, в кибитку.

— Изволь... и такие есть, изволь... Назар, Назар, покажи барину серенького меринка, знаешь, что с краю-то стоит, да гнедую с лысиной, а не то — другую гнедую, что от Красотки, знаешь?

Назар вернулся в конюшню.

— Да ты на недоуздах так их и выведи! — закричал ему вслед г-н Чернобай. — У меня, батюшка, — продолжал он, ясно и кротко глядя мне в лицо, — не то, что у барышников, чтоб им пусто было! У них там имбири разные пойдут, соль, барда¹, бог с ними совсем!.. А у меня, изволишь видеть, всё на ладони, без хитростей.

Вывели лошадей. Не понравились они мне.

— Ну, поставь их с богом на место, — проговорил Анастасей Иванович. — Других нам покажи.

Показали других. Я наконец выбрал одну, подешевле. Начали мы торговаться. Г-н Чернобай не горячился, говорил так рассудительно, с такою важностью призывал господа бога во свидетели, что я не мог не «почтить старичка»: дал задаток.

¹ От барды и соли лошадь скоро тучнеет.

— Ну, теперь,— промолвил Анастасей Иваныч,— позволь мне, по старому обычаю, тебе лошадку из полы в полу передать... Будешь за нее меня благодарить... Ведь свеженькая! словно орешек... нетронутая... степняч-ок! Во всякую упряжь ходит.

Он перекрестился, положил полу своей шинели себе на руку, взял недоуздок и передал мне лошадь.

— Владей с богом теперь... А чайку все не хочешь?

— Нет, покорно вас благодарю: мне домой пора.

— Как угодно... А мой кучерок теперь за тобой лошадку поведет?

— Да, теперь, если позволите.

— Изволь, голубчик, изволь... Василий, а Василий, ступай с баринoм; лошадку сведи и деньги получи. Ну, прощай, батюшка, с богом.

— Прощайте, Анастасей Иваныч.

Привели мне лошадь на дом. На другой же день она оказалась запаленной и хромой. Вздумал я было ее заложить: пятаится моя лошадь назад, а ударишь ее кнутом — зартачится, побрыкает, да и ляжет. Я тотчас отправился к г-ну Чернобаю. Спрашиваю:

— Дома?

— Дома.

— Что ж это вы,— говорю,— ведь вы мне запаленную лошадь продали.

— Запаленную?.. Сохрани бог!

— Да она еще и хромая, притом и с поровом.

— Хромая? Не знаю, видно, твой кучерок ее как-нибудь попортил... а я, как перед богом...

— Вы, по-настоящему, Анастасей Иваныч, ее назад взять должны.

— Нет, батюшка, не прогневайся: уж коли со двора долой — кончено. Прежде бы изволил смотреть.

Я понял, в чем дело, покорился своей участи, рассмеялся и ушел. К счастью, я за урок не слишком дорого заплатил.

Дня через два я уехал, а через неделю опять завернул в Лебедянь на возвратном пути. В кофейной я нашел почти те же лица и опять застал князя Н. за биллиардом. Но в судьбе господина Хлопакова уже успела произойти обычная перемена. Белокурый офицерик сменил его в милостях князя. Бедный отставной поручик попытался еще раз при мне пустить в ход свое словечко — авось, дескать, понравится по-прежнему,— но князь не только не улыбнулся, даже нахмурился и пожал плечом. Господин Хлопков потупился, съежился, пробрался в уголок и начал втихомолку набивать себе трубочку...

ТАТЬЯНА БОРИСОВНА И ЕЕ ПЛЕМЯННИК

Дайте мне руку, любезный читатель, и поедемте вместе со мной. Погода прекрасная; кротко синее майское небо; гладкие молодые листья ракич блестят, словно вымытые; широкая, ровная дорога вся покрыта той мелкой травой с красноватым стебельком, которую так охотно щиплют овцы; направо и налево, по длинным скатам пологих холмов, тихо зыблется зеленая рожь; жидкими пятнами скользят по ней тени небольших тучек. В отдаленье темнеют леса, сверкают пруды, желтеют деревни; жаворонки сотнями поднимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки торчат на глыбочках; грачи на дороге останавливаются, глядят на вас, приникают к земле, дают вам проехать и, подпрыгнув раза два, тяжело отлетают в сторону; на горе за оврагом мужик пашет; пегий жеребенок, с кудым хвостиком и взъерошенной гривкой, бежит на неверных ножках вслед за матерью: слышится его тонкое ржанье. Мы въезжаем в березовую рощу; крепкий, свежий запах приятно стесняет дыхание. Вот околица. Кучер слезает, лошади фыркают, пристяжные оглядываются, коренная помахивает хвостом и прислоняет голову к дуге... со скрыпом отворяется воротиче. Кучер садится... Трогай! перед нами деревня. Миновав дворов пять, мы сворачиваем вправо, спускаемся в лощинку, въезжаем на плотину. За небольшим прудом, из-за круглых вершин яблонь и сиреней, виднеется тесовая крыша, некогда красная, с двумя трубами; кучер берет вдоль забора налево и при визгливом и сиплом лае трех престарелых шавок въезжает в настезь раскрытые ворота, лихо мчится кругом по широкому двору мимо конюшни и сарая, молодецки кланяется старухе ключнице, шагнувшей боком через высокий порог в раскрытую дверь кладовой, и останавливается наконец перед крылечком темного домика с светлыми окнами... Мы у Татьяны Борисовны. Да вот и она сама отворяет форточку и кивает нам головой... Здравствуйте, матушка!

Татьяна Борисовна — женщина лет пятидесяти, с большими серыми глазами навывкате, несколько тупым носом, румяными щеками и двойным подбородком. Лицо ее дышит приветом и лаской. Она когда-то была замужем, но скоро овдовела. Татьяна Борисовна весьма замечательная женщина. Живет она безвыездно в своем маленьком поместье, с соседями мало знает, принимает и любит одних молодых людей. Родилась она от весьма бедных помещиков и не получила никакого воспитания, то есть не говорит по-французски; в Москве даже никогда не бывала — и, несмотря на все эти недостатки, так просто и хорошо себя держит, так свободно чувствует и мыслит, так мало заражена обыкновенными недугами мелкопоместной барыни, что поистине невозможно ей не удивляться... И в самом деле: женщина круглый год живет в деревне, в глуши — и не сплетничает, не пищит, не приседает, не волнуется, не давится, не дрожит от любопытства... чудеса! Ходит она обыкновенно в сером тафтяном платье и белом чепце с висячими лиловыми лентами; любит покушать, но без излишества; варенье, сушеные и соленые предоставляет ключнице. Чем же она занимается целый день? — спросите вы... Читает? — Нет, не читает; да и, правду сказать, книги не для нее печатаются... Если нет у ней гостя, сидит себе моя Татьяна Борисовна под окном и чулок вяжет — зимой; летом в сад ходит, цветы сажает и поливает, с котятками играет по целым часам, голубей кормит... Хозяйством она мало занимается. Но если заедет к ней гость, молодой какой-нибудь сосед, которого она жалуется, — Татьяна Борисовна вся оживится; усадит его, напоит чаем, слушает его рассказы, смеется, изредка его по щеке потреплет, но сама говорит мало; в беде, в горе утешит, добрый совет подаст. Сколько людей поверили ей свои домашние, задушевные тайны, плакали у ней на руках! Бывало, сядет она против гостя, обопрется тихонько на локоть и с таким участием смотрит ему в глаза, так дружелюбно улыбается, что гостю невольно в голову придет мысль: «Какая же ты славная женщина, Татьяна Борисовна! Дай-ка я тебе расскажу, что у меня на сердце». В ее небольших, уютных комнатках хорошо, тепло человеку; у ней всегда в доме прекрасная погода, если можно так выразиться. Удивительная женщина Татьяна Борисовна, а никто ей не удивляется: ее здравый смысл, твердость и свобода, горячее участие в чужих бедах и радостях, словом, все ее достоинства точно родились с ней, никаких трудов и хлопот ей не стоили... Ее иначе и вообразить невозможно; стало быть, и не за что ее благодарить. Особенно любит она глядеть на игры и шалости молодежи; сложит руки под грудь, закинёт голову, прищурит глаза и сидит, улыбаясь, да вдруг вздохнет и скажет: «Ах вы, детки мои, детки!..» Так, бывало, и хочется подойти к

ней, взять ее за руку и сказать: «Послушайте, Татьяна Борисовна, вы себе цены не знаете, ведь вы, при всей вашей простоте и неучености,— необыкновенное существо!» Одно имя ее звучит чем-то знакомым, приветным, охотно произносится, возбуждает дружелюбную улыбку. Сколько раз мне, например, случалось спросить у встречного мужика: как, братец, проехать, положим, в Грачовку? «А вы, батюшка, ступайте сперва на Вязовое, а оттоле на Татьяну Борисовну, а от Татьяны Борисовны всяк вам укажет». И при имени Татьяны Борисовны мужик как-то особенно головой тряхнет. Прислугу она держит небольшую, по состоянию. Домом, прачечной, кладовой и кухней заведывает у нее ключница Агафья, бывшая ее няня, добрейшее, слезливое и беззубое существо; две здоровые девки, с крепкими сизыми щеками, вроде антоновских яблок, состоят под ее начальством. Должность камердинера, дворецкого и буфетчика занимает семидесятилетний слуга Поликarp, чудак необыкновенный, человек начитанный, оставший скрипач и поклонник Виотти, личный враг Наполеона, или, как он говорит, Бонапартишки, и страстный охотник до соловьев. Он их всегда держит пять или шесть у себя в комнате; ранней весной по целым дням сидит возле клеток, выжидая первого «рокотанья», и, дождавшись, закрывает лицо руками и застывает: «Ох, жалко, жалко!» — и в три ручья зарыдает. К Поликарпу на подмогу приставлен его же внук, Вася, мальчик лет двенадцати, кудрявый и быстроглазый; Поликarp любит его без памяти и ворчит на него с утра до вечера. Он же занимается и его воспитанием. «Вася,— говорит,— скажи: Бонапартишка разбойник». — «А что дашь, тятя?» — «Что дам?.. ничего я тебе не дам... Ведь ты кто? Русский ты?» — «Я амчанин, тятя: в Амченске¹ родился». — «О, глупая голова! да Амченск-то где?» — «А я почем знаю?» — «В России Амченск, глупый». — «Так что ж что в России?» — «Как что? Бонапартишку-то его светлейшество покойный князь Михайло Илларионович Голенищев-Кутузов Смоленский, с божиею помощью, из российских пределов выгнать изволил. По этому случаю и песня сочинена: Бонапарту не до пляски, растерял свои подвязки... Понимаешь: отечество освободил твое». — «А мне что за дело?» — «Ах ты, глупый мальчик, глупый! Ведь если бы светлейший князь Михайло Илларионович не выгнал Бонапартишки, ведь тебя бы теперь какой-нибудь мусье палкой по маковке колотил. Подошел бы этак к тебе, сказал бы: коман ву порте ву?² — да и стук, стук». — «А я бы его в пузо кулаком». —

¹ В престо­наро­дье город Мценск называется Амченском, а жители амчанами. Амчане ребята бойкие; недаром у нас недругу сулят «амчанина на двор».

² Как вы поживаете? (от фр. comment vous portez-vous?)

«А он бы тебе: бонжур, бонжур, вене иси¹,— да за хохол, за хохол».— «А я бы его по ногам, по ногам, по цибулястым-то».— «Оно точно, ноги у них цибулястые... Ну, а как он бы руки тебе стал вязать?» — «А я бы не дался; Михея-кучера на помощь бы позвал».— «А что, Вася, ведь французу с Михеем не сладить?» — «Где сладить! Михей-то во как здоров!» — «Ну, и что ж бы вы его?» — «Мы бы его по спине, да по спине».— «А он бы пардон закричал: пардон, пардон, севуплей!»² — «А мы бы ему: нет тебе севуплея, француз ты этакой!..» — «Молодец, Вася!.. Ну, так кричи же: разбойник Бонапартишка!» — «А ты мне сахару дай!» — «Экой!..»

С помещицами Татьяна Борисовна мало водится; они неохотно к ней ездят, и она не умеет их занимать, засыпает под шумок их речей, вздрагивает, силится раскрыть глаза и снова засыпает. Татьяна Борисовна вообще не любит женщин. У одного из ее приятелей, хорошего и смирного молодого человека, была сестра, старая девица лет тридцати восьми с половиной, существо добрейшее, но исковерканное, натянутое и восторженное. Брат ей часто рассказывал о своей соседке. В одно прекрасное утро моя старая девица, не говоря худого слова, велела оседлать себе лошадь и отправилась к Татьяне Борисовне. В длинном своем платье, со шляпой на голове, зеленым вуалем и распущенными кудрями, вошла она в переднюю и, минуя оторопелого Васю, принявшего ее за русалку, вбежала в гостиную. Татьяна Борисовна испугалась, хотела было приподняться, да ноги подкосились. «Татьяна Борисовна,— заговорила умоляющим голосом гостья,— извините мою смелость; я сестра вашего приятеля Алексея Николаевича К***, и столько наслышалась от него об вас, что решилась познакомиться с вами».— «Много чести»,— пробормотала изумленная хозяйка. Гостья сбросила с себя шляпу, тряхнула кудрями, уселась подле Татьяны Борисовны, взяла ее за руку... «Итак, вот она,— начала она голосом задумчивым и тронутым,— вот это доброе, ясное, благородное, святое существо! Вот она, эта простая и вместе с тем глубокая женщина! Как я рада, как я рада! Как мы будем любить друг друга! Я отдохну наконец... Я ее себе именно такую воображала»,— прибавила она шепотом, упираясь глазами в глаза Татьяны Борисовны. «Не правда ли, вы не сердитесь на меня, добрая моя, хорошая моя?» — «Помилуйте, я очень рада... Не хотите ли вы чаю?» Гостья снисходительно улыбнулась. «Wie wahr,

¹ Здравствуйте, здравствуйте, идите сюда (от фр. bonjour, bonjour, venez ici).

² Простите, простите, пожалуйста! (от фр. pardon, pardon, s'il vous plaît!)

wie unreflektiert»¹, — прошептала она словно про себя. — Позвольте обнять вас, моя милая!»

Старая девица высидела у Татьяны Борисовны три часа, не умолкая ни на мгновение. Она старалась растолковать новой своей знакомой собственное ее значение. Тотчас после ухода неожиданной гостьи бедная помещица отправилась в баню, напилась липового чаю и легла в постель. Но на другой же день старая девица вернулась, просидела четыре часа и удалилась с обещаньем посещать Татьяну Борисовну ежедневно. Она, изволите видеть, вздумала окончательно развить, довоспитать такую, как она выражалась, богатую природу и, вероятно, уходила бы ее наконец совершенно, если бы, во-первых, недели через две не разочаровалась «вполне» насчет приятельницы своего брата, а во-вторых, если бы не влюбилась в молодого проезжего студента, с которым тотчас же вступила в деятельную и жаркую переписку; в посланиях своих она, как водится, благословляла его на святую и прекрасную жизнь, приносила «всю себя» в жертву, требовала одного имени сестры, вдавалась в описания природы, упоминала о Гёте, Шиллере, Беттине и немецкой философии — и довела наконец бедного юношу до мрачного отчаяния. Но молодость взяла свое: в одно прекрасное утро проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей «сестре и лучшему другу», что едва сгоряча не прибил своего камердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на возвышенную и бескорыстную любовь... Но с тех пор Татьяна Борисовна стала еще более прежнего избегать сближения с своими соседками.

Увы! ничто не прочно на земле. Все, что я вам рассказал о житье-бытье моей доброй помещицы, — дело прошедшее; тишина, господствовавшая в ее доме, нарушена навеки. У ней теперь, вот уж более года, живет племянник, художник из Петербурга. Вот как это случилось.

Лет восемь тому назад проживал у Татьяны Борисовны мальчик лет двенадцати, круглый сирота, сын ее покойного брата, Андрюша. У Андрюши были большие светлые, влажные глаза, маленький ротик, правильный нос и прекрасный возвышенный лоб. Он говорил тихим и сладким голосом, держал себя опрятно и чинно, ласкался и прислуживался к гостям, с сиротливой чувствительностью целовал ручку у тетушки. Бывало, не успеете вы показаться — глядь, уж он несет вам кресла. Шалостей за ним не водилось никаких: не стукнет, бывало; сидит себе в уголку за книжечкой, и так скромно и смиренно, даже к спинке стула не прислоняется. Гость войдет — мой Андрюша приподнимется, при-

¹ Как правдива, как непосредственна (нем.).

лично улыбнется и покраснеет; гость выйдет — он сядет опять, достанет из кармашика щеточку с зеркальцем и волосики себе причешет. С самых ранних лет почувствовал он охоту к рисованию. Попадался ли ему клочок бумаги, он тотчас выпрашивал у Агафьи-ключницы ножницы, тщательно выкраивал из бумажки правильный четверугольник, проводил кругом каемочку и принимался за работу: нарисует глаз с огромным зрачком, или греческий нос, или дом с трубой и дымом в виде винта, собаку «ep face», похожую на скамью, дерево с двумя голубками и подписет: «Рисовал Андрей Белозоров, такого-то числа, такого-то года, село Малые Брыки». С особенным усердием трудился он недели за две до имени Татьяны Борисовны: являлся первый с поздравлением и подносил свиток, повязанный розовой ленточкой. Татьяна Борисовна целовала племянника в лоб и распутывала узелок: свиток раскрывался и представлял любопытному взору зрителя круглый, бойко отгушеванный храм с колоннами и алтарем посередине; на алтаре пылало сердце и лежал венок, а сверху, на извилистой бандероле, четкими буквами стояло: «Тетушке и благодетельнице Татьяне Борисовне Богдановой от почтительного и любящего племянника, в знак глубочайшей привязанности». Татьяна Борисовна снова его целовала и дарила ему целковый. Большой, однако, привязанности она к нему не чувствовала: подобострастие Андрюши ей не совсем нравилось. Между тем Андрюша подрастал; Татьяна Борисовна начинала беспокоиться о его будущности. Неожиданный случай вывел ее из затруднения...

А именно: однажды, лет восемь тому назад, заехал к ней некто г. Беневоленский, Петр Михайлыч, коллежский советник и кавалер. Г-н Беневоленский некогда состоял на службе в ближайшем уездном городе и прилежно посещал Татьяну Борисовну; потом переехал в Петербург, вступил в министерство, достиг довольно важного места и в одну из частых своих поездок по казенной надобности вспомнил о своей старинной знакомой и завернул к ней, с намерением отдохнуть дня два от забот служебных «на лоне сельской тишины». Татьяна Борисовна приняла его с обыкновенным своим радушием, и г. Беневоленский... Но прежде чем мы приступим к продолжению рассказа, позвольте, любезный читатель, познакомить вас с этим новым лицом.

Г-н Беневоленский был человек толстоватый, среднего роста, мягкий на вид, с коротенькими ножками и пухленькими ручками; носил он просторный и чрезвычайно опрятный фрак, высокий и широкий галстук, белое, как снег, белье, золотую цепочку на шелковом жилете, перстень с камеем на указательном пальце и белокурый парик; говорил убедительно и кротко, выступал без шуму, приятно улыбался, приятно поводил глазами, приятно по-

грузжал подбородок в галстух: вообще приятный был человек. Сердцем его тоже господь наделил добрейшим: плакал он и восторгался легко; сверх того, пылал бескорыстной страстью к искусству, и уж подлинно бескорыстной, потому что именно в искусстве г. Беневоленский, коли правду сказать, решительно ничего не смыслил. Даже удивительно, откуда, в силу каких таинственных и непонятных законов взялась у него эта страсть? Кажется, человек он был положительный, даже дюжинный... Впрочем, у нас на Руси таких людей довольно много.

Любовь к художеству и художникам придает этим людям приторность неизъяснимую; знаться с ними, с ними разговаривать — мучительно: настоящие дубины, вымазанные медом. Они, например, никогда не называют Рафаэля — Рафаэлем, Корреджио — Корреджием: «Божественный Санцио, неподражаемый де Аллегрис», — говорят они, и говорят непременно на ó. Всякий доморощенный, самолюбивый, перехитренный и посредственный талант величают они гением, или, правильнее, «хэнием»; синее небо Италии, южный лимон, душистые пары берегов Бренты не сходят у них с языка. «Эх, Ваня, Ваня», или: «Эх, Саша, Саша, — с чувством говорят они друг другу, — на юг бы нам, на юг... ведь мы с тобою греки душою, древние греки!» Наблюдать их можно на выставках, перед иными произведениями ипых российских живописцев. (Должно заметить, что по большей части все эти господа патриоты страшные.) То отступят они шага на два и закинут голову, то снова придвинутся к картине; глазки их покрываются маслянистою влагой... «Фу ты, боже мой, — говорят они наконец разбитым от волнения голосом, — души-то, души-то что! эка, сердца-то, сердца! эка души-то напустил! тьма души!.. А задумано-то как! мастерски задумано!» А что у них самих в гостиных за картины! Что за художники ходят к ним по вечерам, пьют у них чай, слушают их разговоры! Какие они им подносят перспективные виды собственных комнат с щеткой на правом плане, грядкой сору на вылощенном полу, желтым самоваром на столе возле окна и самим хозяином, в халате и ермолке, с ярким бликом света на щеке! Что за длинноволосые питомцы муз, с лихорадочно-презрительной улыбкой, их посещают! Что за бледно-зеленые барышни взвизгивают у них за фортопьянами! Ибо у нас уже так на Руси заведено: одному искусству человек предаваться не может — подавай ему все. И потому нисколько не удивительно, что эти господа любители также оказывают сильное покровительство русской литературе, особенно драматической... «Джакобы Саназары» писаны для них: тысячи раз изображенная борьба непризнанного таланта с людьми, с целым миром потрясает их до дна души...

На другой же день после приезда г. Беневоленского Татьяна Борисовна, за чаем, велела племяннику показать гостю свои рисунки. «А он у вас рисует?» — не без удивления произнес г. Беневоленский и с участием обратился к Андриюше. «Как же, рисует, — сказала Татьяна Борисовна. — Такой охотник! ведь один, без учителя». — «Ах, покажите, покажите», — подхватил г. Беневоленский. Андриюша, краснея и улыбаясь, поднес гостю свою тетрадку. Г-н Беневоленский начал, с видом знатока, ее перелистывать. «Хорошо, молодой человек, — промолвил он наконец, — хорошо, очень хорошо». И он погладил Андриюшу по головке. Андриюша на лету поцеловал его руку. «Скажите, какой талант!.. Поздравляю вас, Татьяна Борисовна, поздравляю». — «Да что, Петр Михайлыч, здесь учителя не могу ему сыскать. Из города — дорог; у соседей, у Артамоновых, есть живописец и, говорят, отличный, да барыня ему запрещает чужим людям уроки давать. Говорит, вкус себе испортит». — «Гм, — произнес г. Беневоленский, задумался и поглядел исподлобья на Андриюшу. — Ну, мы об этом потолкуем», — прибавил он вдруг и потер себе руки. В тот же день он попросил у Татьяны Борисовны позволения поговорить с ней наедине. Они заперлись. Через полчаса кликнули Андриюшу. Андриюша вошел. Г-н Беневоленский стоял у окна с легкой краской на лице и сияющими глазами. Татьяна Борисовна сидела в углу и утирала слезы. «Ну, Андриюша, — заговорила она наконец, — благодари Петра Михайлыча; он берет тебя на свое попечение, увозит тебя в Петербург». Андриюша так и замер на месте. «Вы мне скажите откровенно, — начал г. Беневоленский голосом, исполненным достоинства и снисходительности, — желаете ли вы быть художником, молодой человек, чувствуете ли вы священное призвание к искусству?» — «Я желаю быть художником, Петр Михайлыч», — трепетно подтвердил Андриюша. «В таком случае я очень рад. Вам, конечно, — продолжал г. Беневоленский, — тяжело будет расстаться с вашей почтенной тетушкой; вы должны чувствовать к ней живейшую благодарность». — «Я обожаю мою тетушку», — прервал его Андриюша и заморгал глазами. «Конечно, конечно, это весьма понятно и делает вам много чести; но зато, вообразите, какую радость со временем... ваши успехи...» — «Обними меня, Андриюша», — пробормотала добрая помещица. Андриюша бросился ей на шею. «Ну, а теперь поблагодари своего благодетеля...» Андриюша обнял живот г. Беневоленского, поднялся на цыпочки и достал-таки его руку, которую благодетель, правда, принимал, но не слишком спешил принять... Надо ж потешить, удовлетворить ребенка, ну и себя можно побаловать. Дня через два г. Беневоленский уехал и увез своего нового питомца.

В течение первых трех лет разлуки Андрюша писал довольно часто, прилагал иногда к письмам рисунки. Г-н Беневоленский изредка прибавлял также несколько слов от себя, большей частью одобрительных; потом письма реже стали, реже, наконец совсем прекратились. Целый год безмолвствовал племянник; Татьяна Борисовна начинала уже беспокоиться, как вдруг получила записочку следующего содержания:

«Любезная тетушка!

Четвертого дня Петра Михайлыча, моего покровителя, не стало. Жестокий удар паралича лишил меня сей последней опоры. Конечно, мне уже теперь двадцатый год пошел; в течение семи лет я сделал значительные успехи; я сильно надеюсь на свой талант и могу посредством его жить; я не унываю, но все-таки, если можете, пришлите мне, на первый случай, 250 рублей ассигнациями. Целую ваши ручки и остаюсь» и т. д.

Татьяна Борисовна отправила к племяннику 250 рублей. Через два месяца он потребовал еще; она собрала последнее и выслала еще. Не прошло шести недель после вторичной присылки, он попросил в третий раз, будто на краски для портрета, заказанного ему княгиней Тертерешеновой. Татьяна Борисовна отказала. «В таком случае, — написал он ей, — я намерен приехать к вам в деревню для поправления моего здоровья». И действительно, в мае месяце того же года Андрюша вернулся в Малые Брыки.

Татьяна Борисовна сначала его не узнала. По письму его она ждала человека болезненного и худого, а увидела малого плечистого, толстого, с лицом широким и красным, с курчавыми и жирными волосами. Тоненький и бледненький Андрюша превратился в дюжего Андрея Иванова Беловзорова. Не одна наружность в нем изменилась. Щепетильную застенчивость, осторожность и опрятность прежних лет заменило небрежное молодечество, неряшество нестерпимое; он на ходу качался вправо и влево, бросался в кресла, обрушался на стол, разваливался, зевал во все горло; с теткой, с людьми обращался дерзко. Я, дескать, художник, вольный казак! Знай наших! Бывало, по целым дням кисти в руки не берет; найдет на него так называемое вдохновенье — ломается словно с похмелья, тяжело, неловко, шумно; грубой краской разгорятся щеки, глаза посоловеют; пустится толковать о своем таланте, о своих успехах, о том, как он развивается, идет вперед.. На деле же оказалось, что способностей его чуть-чуть хватало на сносные портретки. Невежда он был круглый, ничего не читал, да и на что художнику читать? Природа, свобода, поэзия — вот его стихи. Знай потряхивай кудрями да заливайся соловьем, да за-

тягивайся Жуковым взасос! Хороша русская удаль, да немногим она к лицу; а бездарные Полежаевы второй руки невыносимы. Зажился наш Андрей Иванович у тетушки: даровой хлеб, видно, по вкусу пришелся. На гостей нагонял он тоску смертельную. Сядет, бывало, за фортопьяны (у Татьяны Борисовны и фортопьяны водились) и начнет одним пальцем отыскивать «Тройку удалую»; аккорды берет, стучит по клавишам; по целым часам мучительно завывает романсы Варламова: «У-единенная сосна», или: «Нет, доктор, нет, не приходи», а у самого глаза заплыли жиром и щеки лоснятся, как барабан... А то вдруг грянет: «Уймитесь, волнения страсти»... Татьяна Борисовна так и вздрогнет.

— Удивительное дело,— заметила она мне однажды,— какие нынче всё песни сочиняют, отчаянные какие-то; в мое время иначе сочиняли: и печальные песни были, а всё приятно было слушать... Например:

Приди, приди ко мне на луг,
Где жду тебя напрасно;
Приди, приди ко мне на луг,
Где слезы лью всечасно...
Увы, придешь ко мне на луг,
Но будет поздно, милый друг!

Татьяна Борисовна лукаво улыбнулась.

«Я стра-ажду, я стра-ажду»,— завыл в соседней комнате племянник.

— Полно тебе, Андрюша.

«Душа изнывает в разлу-уке»,— продолжал неугомонный певец.

Татьяна Борисовна покачала головой.

— Ох, уж эти мне художники!..

С того времени прошел год. Беловзоров до сих пор живет у тетушки и все собирается в Петербург. Он в деревне стал поперек себя толще. Тетка — кто бы мог это подумать — в нем души не чаёт, а окрестные девицы в него влюбляются...

Много прежних знакомых перестало ездить к Татьяне Борисовне.

СМЕРТЬ

У меня есть сосед, молодой хозяин и молодой охотник. В одно прекрасное июльское утро заехал я к нему верхом с предложением отправиться вместе на тетеревов. Он согласился. «Только,— говорит,— поедemте по моим мелочам, к Зуше; я кстати посмотрю Чаплыгино; вы знаете, мой дубовый лес? у меня его рубят». — «Поедемте». Он велел оседлать лошадь, надел зеленый сюртучок с бронзовыми пуговицами, изображавшими кабаньи головы, вышитый гарусом ягдташ, серебряную флягу, накиннул на плечо новенькое французское ружье, не без удовольствия повертелся перед зеркалом и кликнул свою собаку Эсперанс, подаренную ему кузиной, старой девицей с отличным сердцем, но без волос. Мы отправились. Мой сосед взял с собою десятого Архипа, толстого и приземистого мужика с четверугольным лицом и допотопно развитыми скулами, да недавно нанятого управителя из остзейских губерний, юношу лет девятнадцати, худого, белокурого, подслеповатого, со свислыми плечами и длинной шеей, г. Готлиба фон-дер-Кока. Мой сосед сам недавно вступил во владение имением. Оно досталось ему в наследство от тетки, статской советницы Кардон-Катаевой, необыкновенно толстой женщины, которая, даже лежа в постеле, продолжительно и жалобно кричала. Мы въехали в «мелочá». «Вы меня здесь подождите на полянке», — промолвил Ардалион Михайлыч (мой сосед), обратившись к своим спутникам. Немец поклонился, слез с лошади, достал из кармана книжку, кажется, роман Иоганны Шопенгауэр, и присел под кустик; Архип остался на солнце и в течение часа не шевельнулся. Мы покружили по кустам и не нашли ни одного выводка. Ардалион Михайлыч объявил, что он намерен отправиться в лес. Мне самому в тот день что-то не верилось в успех охоты: я тоже поплелся вслед за ним. Мы вернулись на полянку. Немец заметил страницу, встал, положил книгу в карман и сел, не без труда, на свою куцую, бракованную кобылу, которая визжала и подбрыки-

вала от малейшего прикосновения; Архип встрепенулся, задергал разом обоими поводьями, заболтал ногами и сдвинул наконец с места свою ошеломленную и придавленную лошаденку. Мы поехали.

Лес Ардалиона Михайлыча с детства был мне знаком. Вместе с моим французским гувернером m-r Désiré Fleury, добрейшим человеком (который, впрочем, чуть было навсегда не испортил моего здоровья, заставляя меня по вечерам пить лекарство Леруа), часто хаживал я в Чаплыгино. Весь этот лес состоял из каких-нибудь двух- или трехсот огромных дубов и ясеней. Их статные, могучие стволы великолепно чернели на золотисто-прозрачной зелени орешников и рябин; поднимаясь выше, стройно рисовались на ясной лазури и там уже раскидывали шатром свои широкие узловатые сучья; ястреба, кобчики, пустельги со свистом носились над неподвижными верушками, пестрые дятлы крепко стучали по толстой коре; звучный напев черного дрозда внезапно раздавался в густой листве вслед за переливчатым криком иволги; внизу, в кустах, чирикали и пели малиновки, чижи и пеночки; зяблики проворно бегали по дорожкам; белаяк прокрадывался вдоль опушки, осторожно «костыляя»; красно-бурая белка резво прыгала от дерева к дереву и вдруг садилась, поднявши хвост над головой. В траве, около высоких муравейников, под легкой тенью вырезных красивых листьев папоротника, цвели фиалки и ландыши, росли сыроежки, волвянки, грузди, дубовики, красные мухоморы; на лужайках, между широкими кустами, алела земляника... А что за тень в лесу была! В самый жар, в полдень — ночь настоящая: тишина, запах, свежесть... Весело проводил я время в Чаплыгине, и оттого, признаюсь, не без грустного чувства въехал я теперь в слишком знакомый мне лес. Губительная, бесснежная зима 40-го года не пощадила старых моих друзей — дубов и ясеней; засохшие, обнаженные, кое-где покрытые чахоточной зеленью, печально высились они над молодой рощей, которая «смыла их, не замснив»...¹ Иные, еще обросшие листьями внизу, словно с упреком и отчаянием поднимают вверх свои безжизненные, обломанные ветви; у других из листвы, еще довольно густой, хотя не обильной, не избыточной по-прежнему, торчали толстые, сухие, мертвые сучья; с иных уже кора долой спадала; иные наконец вовсе повалились и гнили, словно трупы, на земле. Кто бы

¹ В 40-м году, при жесточайших морозах, до самого конца декабря не выпало снегу; зелена все вымерзла, и много прекрасных дубовых лесов погубила эта безжалостная зима. Заменить их трудно: производительная сила земли видимо скудеет; на «заказанных» (с образами обойденных) пустырях, вместо прежних благородных деревьев, сами собою вырастают березы да осины; а иначе разводить рощи у нас не умеют.

мог это предвидеть — тени, в Чаплыгине тени нигде нельзя было найти! Что, думал я, глядя на умирающие деревья: чай, стыдно и горько вам?.. Вспомнился мне Кольцов:

Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
Где ж теперь твоя
Мочь зеленая?..

— Как же это, Ардалион Михайлыч, — начал я, — отчего ж эти деревья на другой же год не срубили? Ведь за них теперь против прежнего десятой доли не дадут.

Он только плечами пожал.

— Спросили бы тетушку, — а купцы приходили, деньги приносили, приставали.

— Mein Gott! Mein Gott! — восклицал на каждом шагу фон-дер-Кок. — Што са шалость! што са шалость!

— Какая шалость? — с улыбкой заметил мой сосед.

— То ист как шалко, я скасать хотелл. (Известно, что все немцы, одолевшие наконец нашу букву «люди», удивительно на нее назирают.)

Особенно возбуждали его сожаление лежавшие на земле дубы — и действительно: иной бы мельник дорого за них заплатил. Зато десятский Архип сохранял спокойствие невозмутимое и не горевал нисколько; напротив, он даже не без удовольствия через них перескакивал и кнутиком по ним постегивал.

Мы пробирались на место рубки, как вдруг, вслед за шумом упавшего дерева, раздался крик и говор, и через несколько мгновений нам навстречу из чащи выскочил молодой мужик, бледный и растрепанный.

— Что такое? куда ты бежишь? — спросил его Ардалион Михайлыч.

Он тотчас остановился.

— Ах батюшка, Ардалион Михайлыч, беда!

— Что такое?

— Максима, батюшка, деревом пришибло.

— Каким это образом?.. Подрядчика Максима?

— Подрядчика, батюшка. Стали мы яшень рубить, а он стоит да смотрит... Стоял, стоял, да и пойди за водой к колодцу: слышь, пить захотелось. Как вдруг яшень затрещит да прямо на него. Мы кричим ему: беги, беги, беги... Ему бы в сторону броситься, а он возьми да прямо и побеги... заробел, звать. Яшень-то его верхними сучьями и накрыл. И отчего так скоро повалился, — господь его знает... Разве сердцевина гнила была.

— Ну, и убило Максима?

— Убило, батюшка.

— До смерти?

— Нет, батюшка, еще жив,— да что: ноги и руки ему перешибло. Я вот за Селиверстычем бежал, за лекарем.

Ардалион Михайлыч приказал десятскому скакать в деревню за Селиверстычем, а сам крупной рысью поехал вперед на ссечки... Я за ним.

Мы нашли бедного Максима на земле. Человек десять мужиков стояло около него. Мы слезли с лошадей. Он почти не стонал, изредка раскрывал и расширял глаза, словно с удивлением глядел кругом и покусывал посиневшие губы... Подбородок у него дрожал, волосы прилипли ко лбу, грудь поднималась неровно: он умирал. Легкая тень молодой липы тихо скользила по его лицу.

Мы нагнулись к нему. Он узнал Ардалиона Михайлыча.

— Батюшка,— заговорил он едва внятно,— за попом... послать... прикажите... Господь... меня наказал... ноги, руки, все перебито... сегодня... воскресенье... а я... а я... вот... ребят-то не распустил.

Он помолчал. Дыханье ему спирало.

— Да деньги мои... жене... жене дайте... за вычетом... вот Онисим знает... кому я... что должен...

— Мы за лекарем послали, Максим,— заговорил мой сосед,— может быть, ты еще и не умрешь.

Он раскрыл было глаза и с усилием поднял брови и веки.

— Нет, умру. Вот... вот подступает, вот она, вот... Простите мне, ребята, коли в чем...

— Бог тебя простит, Максим Андреич,— глухо заговорили мужики в один голос и шапки сняли,— прости ты нас.

Он вдруг отчаянно потряс головой, тоскливо выпятил грудь и опустил ее опять.

— Нельзя же ему, однако, тут умирать,— воскликнул Ардалион Михайлыч,— ребята, давайте-ка вон с телеги рогожку, сне семте его в больницу.

Человека два бросились к телеге.

— Я у Ефима... сычовского... — залепетал умирающий,— лошадь вчера купил... задаток дал... так лошадь-то моя... жене ее... тоже...

Стали его класть на рогожку... Он затрепетал весь, как застреленная птица, и выпрямился.

— Умер,— пробормотали мужики.

Мы молча сели на лошадей и отъехали.

Смерть бедного Максима заставила меня призадуматься. Удивительно умирает русский мужик! Состоянье его перед кончиной нельзя назвать ни равнодушием, ни тупостью; он умирает, словно обряд совершает: холодно и просто.

Несколько лет тому назад у другого моего соседа в деревне мужик в овине обгорел. (Он так бы и остался в овине, да заезжий мещанин его полуживого вытащил: окунулся в кадку с водой, да с разбега и вышиб дверь под пылавшим навесом.) Я зашел к нему в избу. Темно в избе, душно, дымно. Спрашиваю: где больной? «А вон, батюшка, на лежанке», — отвечает мне нараспев подгрюпившаяся баба. Подхожу — лежит мужик, тулупом покрылся, дышит тяжко. «Что, как ты себя чувствуешь?» Завозился больной на печи, подняться хочет, а весь в ранах, при смерти. «Лежи, лежи, лежи... Ну, что? как?» — «Вестимо, плохо», — говорит. «Больно тебе?» Молчит. «Не нужно ли чего?» Молчит. «Не прислать ли тебе чаю, что ли?» — «Не надо». Я отошел от него, присел на лавку. Сижу четверть часа, сижу полчаса — гробовое молчание в избе. В углу, за столом под образами, прячется девочка лет пяти, хлеб ест. Мать изредка грозитя на нее. В сенях ходят, стучат, разговаривают: братнина жена капусту рубит. «А, Аксинья!» — проговорил наконец больной. «Чего?» — «Квасу дай». Подала ему Аксинья квасу. Опять молчанье. Спрашиваю шепотом: «Причастили его?» — «Причастили». Ну, стало быть, и все в порядке: ждет смерти, да и только. Я не вытерпел и вышел...

А то, помнится, завернул я однажды в больницу села Красногорья, к знакомому мне фельдшеру Капитону, страстному охотнику.

Больница эта состояла из бывшего господского флигеля; устроила ее сама помещица, то есть велела прибить над дверью голубую доску с надписью белыми буквами: «Красногорская больница», и сама вручила Капитону красивый альбом для записывания имен больных. На первом листке этого альбома один из лизоблюдов и прислужников благодетельной помещицы начертал следующие стишки:

Dans ces beaux lieux, où règne l'allégresse,
Ce temple fut ouvert par la Beauté;
De vos seigneurs admirez la tendresse,
Bons habitants de Krasnogorié! ¹ —

а другой господин внизу приписал:

Et moi aussi j'aime la nature!

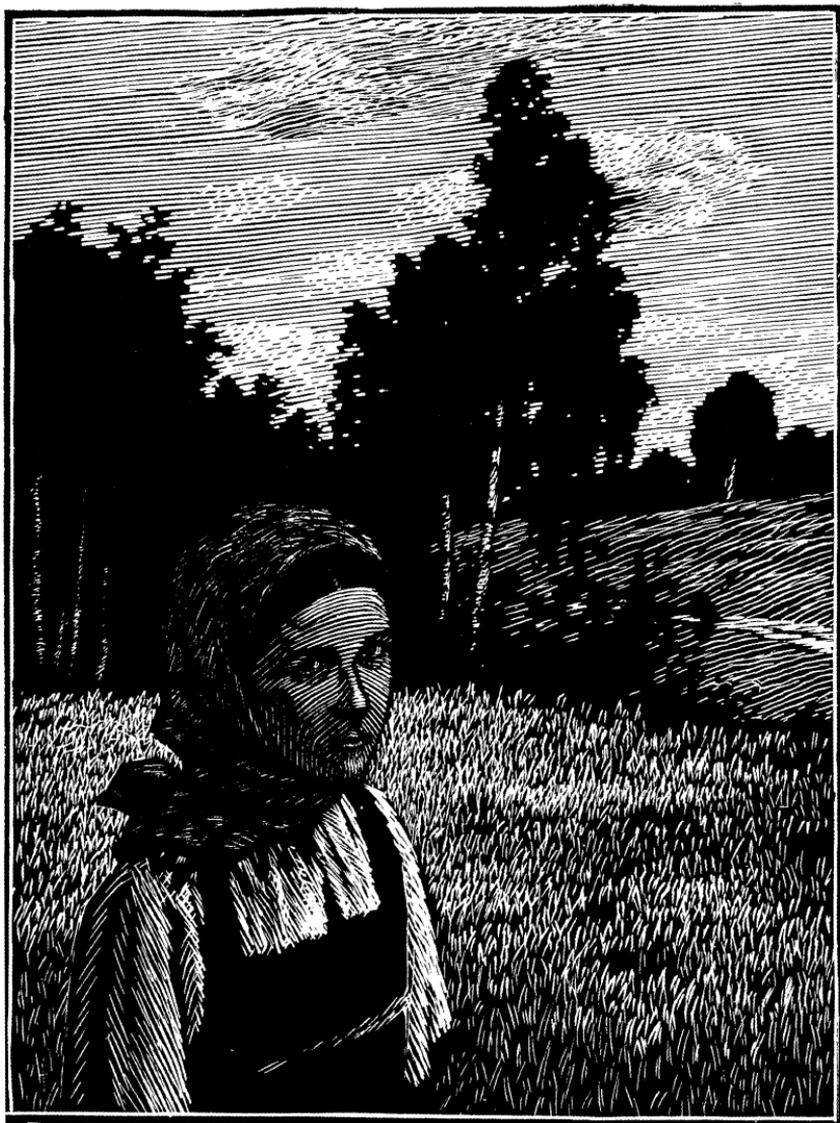
Jean Kobyljatnikoff ²

Фельдшер купил на свои деньги шесть кроватей и пустился, благословясь, лечить народ божий. Кроме его, при больнице со-

¹ В прекрасных местах, где царствует веселье, Сама красота воздвигла этот храм; Восхищайтесь щедростью ваших господ, Добрые обитатели Красногорья! (фр.)

² И я тоже люблю природу!

Иван Кобылятников (фр.)



«Касьян с Красивой Мечи»
Худ. В. В. Домогацкий

стояло два человека: подверженный сумасшествию резчик Павел и сухорукая баба Меликитриса, занимавшая должность кухарки. Они оба готовили лекарства, сушили и настаивали травы; они же укрощали горячечных больных. Сумасшедший резчик был на вид угрюм и скуп на слова; по ночам пел песню «о прекрасной Венере» и к каждому проезжему подходил с просьбой позволить ему жениться на какой-то девке Маланье, давно уже умершей. Сухорукая баба била его и заставляла стеречь индюшек. Вот, сию я однажды у фельдшера Капитона. Начали мы было разговаривать о последней нашей охоте, как вдруг на двор въехала телега, запряженная необыкновенно толстой сивой лошастью, какие бывают только у мельников. В телеге сидел плотный мужик в новом армяке, с разноцветной бородой. «А, Василий Дмитрич,— закричал из окна Капитон,— милости просим... Лыбовшипский мельник»,— шепнул он мне. Мужик, покряхтывая, слез с телеги, вошел в фельдшерovu комнату, поискал глазами образа и перекрестился. «Ну что, Василий Дмитрич, что новенького?.. Да вы, должно быть, нездоровы: лицо у вас нехорошо».— «Да, Капитон Тимофеич, неладно что-то».— «Что с вами?» — «Да вот что, Капитон Тимофеич. Недавно купил я в городе жернова; ну, привез их домой, да как стал их с телеги-то выкладывать, понатужился, знать, что ли, в череве-то у меня так екнуло, словно оборвалось что... да вот с тех пор все и нездоровится. Сегодня даже больно неладно».— «Гм,— промолвил Капитон и понюхал табаку,— значит, грыжа. А давно с вами это приключилось?» — «Да десятый денек пошел».— «Десятый? (Фельдшер потянул в себя сквозь зубы воздух и головой покачал.) Позволь-ка себя пощупать. Ну, Василий Дмитрич,— проговорил он наконец,— жаль мне тебя, сердечного, а ведь дело-то твое неладно; ты болен не на шутку; оставайся-ка здесь у меня; я с своей стороны все старание приложу, а впрочем, ни за что не ручаюсь».— «Будто так худо?» — пробормотал изумленный мельник. «Да, Василий Дмитрич, худо; пришли бы вы ко мне деньгами двумя пораньше — и ничего бы, как рукой бы снял; а теперь у вас воспаление, вон что; того и гляди, антопов огонь сделается».— «Да быть не может, Капитон Тимофеич».— «Уж я вам говорю».— «Да как же это! (Фельдшер плечами пожал.) И умирать мне из-за этакой дряни?» — «Этого я не говорю... а только оставайтесь здесь». Мужик подумал, подумал, посмотрел на пол, потом на нас взглянул, почесал в затылке да за шапку. «Куда же вы, Василий Дмитрич?» — «Куда? вестимо куда — домой, коли так плохо. Распорядиться следует, коли так».— «Да вы себе беды наделаете, Василий Дмитрич, помилуйте; я и так удивляюсь, как вы доехали? оставьтесь».— «Нет, брат Капитон Тимофеич, уж умирать, так дома умирать; а то что ж

я здесь умру, — у меня дома и господь знает что приключится». — «Еще неизвестно, Василий Дмитрич, как дело-то пойдет... Конечно, опасно, очень опасно, спору нет... да оттого-то и следует вам остаться». (Мужик головой покачал.) «Нет, Капитон Тимофеич, не останусь... а лекарствице разве пропишите». — «Лекарство одно не поможет». — «Не остаюсь, говорят». — «Ну, как хочешь... чур, потом не пенять!»

Фельдшер вырвал страничку из альбома и, прописав рецепт, посоветовал, что еще делать. Мужик взял бумажку, дал Капитону полтишник, вышел из комнаты и сел на телегу. «Ну, прощайте, Капитон Тимофеич, не поминайте лихом да сироток не забывайте, коли что...» — «Эй, останься, Василий!» Мужик только головой тряхнул, ударил вожжой по лошади и съехал со двора. Я вышел на улицу и поглядел ему вслед. Дорога была грязная и ухабистая; мельник ехал осторожно, не торопясь, ловко правил лошадью и со встречными расклаивался... На четвертый день он умер.

Вообще удивительно умирают русские люди. Много покойников приходит мне теперь на память. Вспоминаю я тебя, старинный мой приятель, недоучившийся студент Авенир Сорокоумов, прекрасный, благороднейший человек! Вижу снова твое часточное зеленоватое лицо, твои жидкие русые волосики, твою кроткую улыбку, твой восторженный взгляд, твои длинные члeпы; слышу твой слабый, ласковый голос. Жил ты у великороссийского помещика Гура Крупяникова, учил его детей Фофу и Зёсю русской грамоте, географии и истории, терпеливо спосил тяжелые шутки самого Гура, грубые любезности дворецкого, пошлые шалости злых мальчишек, не без горькой улыбки, но и без ропота исполнял прихотливые требования скучающей барыни; зато, бывало, как ты отдыхал, как ты блаженствовал вечером, после ужина, когда, отделавшись наконец от всех обязанностей и забот, ты садился перед окном, задумчиво закурил трубку или с жадностью перелистывал изуродованный и засаленный номер толстого журнала, занесенный из города землемером, таким же бездомным горемыкою, как ты! Как правились тебе тогда всякие стихи и всякие повести, как легко наворачивались слезы на твои глаза, с каким удовольствием ты смеялся, какую искреннюю любовь к людям, каким благородным сочувствием ко всему доброму и прекрасному проникалась твоя младенчески чистая душа! Должно сказать правду: не отличался ты излишним остроумием; природа не одарила тебя ни памятью, ни прилежанием; в университете считался ты одним из самых плохих студентов; на лекциях ты спал, на экзаменах — молчал торжественно; но у кого сияли радостью глаза, у кого захватывало дыхание от успеха, от удачи товарища? У Авенира... Кто слепо веровал в высокое призвание дру-

зей своих, кто превозносил их с гордостью, защищал их с ожесточением? Кто не знал ни зависти, ни самолюбия, кто бескорыстно жертвовал собою, кто охотно подчинялся людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?.. Все ты, все ты, наш добрый Авенир! Помню: с сокрушенным сердцем расставался ты с товарищами, уезжая на «кондицию»; злые предчувствия тебя мучили... И точно: в деревне плохо тебе пришлось; в деревне тебе некого было благоговейно выслушивать, некому удивляться, некого любить... И степняки, и образованные помещики обходились с тобою как с учителем: одни — грубо, другие — небрежно. Притом же ты и фигурой не брал; робел, краснел, потел, заикался... Даже здоровья твоего не поправил сельский воздух: истаял ты, как свечка, бедняк! Правда: комнатка твоя выходила в сад; черемухи, яблони, липы сыпали тебе на стол, на черпильницу, на книги свои легкие цветки; на стене висела голубая шелковая подушечка для часов, подаренная тебе в прощальный час добренькой чувствительной немочкой, гувернанткой с белокурыми кудрями и сипими глазками; иногда заезжал к тебе старый друг из Москвы и приводил тебя в восторг чужими или даже своими стихами; но одиночество, по невыносимое рабство учительского звания, невозможность освобождения, по бесконечные осени и зимы, по болезнь неотступная... Бедный, бедный Авенир!

Я посетил Сорокоумова незадолго до его смерти. Он уже почти ходить не мог. Помещик Гур Крупняников не выгонял его из дому, но жалованье перестал ему выдавать и другого учителя нанял Зёзе... Фофу отдали в кадетский корпус. Авенир сидел возле окна в старых вольтеровских креслах. Погода была чудная. Светлое осеннее небо весело сипело над темно-бурою грядой обнаженных лип; кое-где шевелились и лепетали на них последние, ярко-золотые листья. Прохваченная морозом земля потела и оттаивала на солнце; его косые румяные лучи били вскользь по бледной траве; в воздухе чудился легкий треск; ясно и внятно звучали в саду голоса работников. На Авенире был ветхий бухарский халат; зеленый шейный платок бросал мертвенный оттенок на его страшно исхудавшее лицо. Он весьма мне обрадовался, протянул руку, заговорил и закашлялся. Я дал ему успокоиться, подсел к нему... На коленях у Авенира лежала тетрадка стихотворений Кольцова, тщательно переписанных; он с улыбкой постучал по ней рукой. «Вот поэт», — пролепетал он, с усилием сдерживая кашель, и пустился было декламировать едва слышным голосом:

Аль у сокола
Крылья связаны?
Аль пути ему
Все заказаны?

Я остановил его: лекарь запретил ему разговаривать. Я знал, чем ему угодить. Сорокоумов никогда, как говорится, не «следил» за наукой, но любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы? Бывало, поймает товарища где-нибудь в углу и начнет его расспрашивать: слушает, удивляется, верит ему на слово и уж так потом за ним и повторяет. Особенно немецкая философия его сильно занимала. Я начал толковать ему о Гегеле (дела давно минувших дней, как видите). Авенир качал утвердительно головой, поднимал брови, улыбался, шептал: «Понимаю, понимаю!.. а! хорошо, хорошо!..» Детская любознательность умирающего, бесприютного и заброшенного бедняка, признаюсь, до слез меня трогала. Должно заметить, что Авенир, в противность всем чахоточным, нисколько не обманывал себя насчет своей болезни... и что ж? — он не вздыхал, не сокрушался, даже ни разу не намекнул на свое положение...

Собравшись с силами, заговорил он о Москве, о товарищах, о Пушкине, о театре, о русской литературе; вспоминал наши пирушки, жаркие прения нашего кружка, с сожалением произнес имена двух-трех умерших приятелей...

— Помнишь Дашу? — прибавил он наконец, — вот золотая была душа! вот было сердце! И как она меня любила!.. Что с ней теперь? Чай, иссохла, исчахла, бедняжка?

Я не посмел разочаровать больного — и в самом деле, зачем ему было знать, что Даша его теперь поперек себя толще, водится с купцами — братьями Кондачковыми, белится и румянится, пишит и бранится.

Однако, подумал я, глядя на его изнеможенное лицо, нельзя ли его вытащить отсюда? Может быть, еще есть возможность его вылечить... Но Авенир не дал мне закончить мое предложение.

— Нет, брат, спасибо, — промолвил он, — все равно где умереть. Я ведь до зимы не доживу... К чему понапрасну людей беспокоить? Я к здешнему дому привык. Правда, господа-то здешние...

— Злые, что ли? — подхватил я.

— Нет, не злые: деревяшки какие-то. А впрочем, я не могу на них пожаловаться. Соседи есть: у помещика Касаткина дочь, образованная, любезная, добрейшая девица... не гордая...

Сорокоумов опять раскашлялся.

— Все бы пичего, — продолжал он, отдохнувши, — кабы трубочку выкурить позволили... А уж я так не умру, выкурю трубочку! — прибавил он, лукаво подмигнув глазом. — Слава богу, пожил довольно; с хорошими людьми znalся...

— Да ты бы хоть к родным написал, — перебил я его.

— Что к родным писать? Помочь — они мне не помогут;

умру — узнают. Да что об этом говорить... Расскажи-ка мне лучше, что ты за границей видел?

Я начал рассказывать. Он так и впился в меня. К вечеру я уехал, а дней через десять получил следующее письмо от г. Круляникова:

«Сим честь имею известить вас, милостивый государь мой, что приятель ваш, у меня в доме проживавший студент, г. Авенир Сорокоумов, четвертого дня в два часа пополудни скончался и сегодня на мой счет в приходской моей церкви похоронен. Просил он меня переслать к вам приложенные при сем книги и тетради. Денег у него оказалось 22 рубля с полтиной, которые, вместе с прочими его вещами, доставятся по принадлежности родственникам. Скончался ваш друг в совершенной памяти и, можно сказать, с таковою же бесчувственностью, не изъясняя никаких знаков сожаления, даже когда мы целым семейством с ним прощались. Супруга моя Клеопатра Александровна вам кланяется. Смерть вашего приятеля не могла не подействовать на ее нервы; что же до меня касается, то я, слава богу, здоров и честь имею пребыть Вашим покорнейшим слугою.

Г. Круляников».

Много других еще примеров в голову приходит, — да всего не перескажешь. Ограничусь одним.

Старушка помещица при мне умирала. Священник стал читать над ней отходную, да вдруг заметил, что больная-то действительно отходит, и поскорее подал ей крест. Помещица с неудовольствием отодвинулась. «Куда спешишь, батюшка, — проговорила она коснеющим языком, — успеешь...» Она приложилась, засунула было руку под подушку и испустила последний вздох. Под подушкой лежал целковый: она хотела заплатить священнику за свою собственную отходную...

Да, удивительно умирают русские люди!

ПЕВЦЫ

Небольшое село Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий нрав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским пемцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуце реки, — через реку можно по крайней мере навести мост, — разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракиит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, — а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четверугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездой. Над дверью избушки пририта голубая дощечка: эта избушка — кабак, прозванный «Притынным»¹. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.

Николай Иваныч — некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужичина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, — уже более два-

¹ Притынным называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приятное место.

дцати лет проживает в Колотовке. Николай Иванович человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей — и то любимых им посетителей — на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным». знает всё, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проникательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз спусходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иванович человек со влиянием: он известного копокрада заставил возратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним — нет! Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иванович жепат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Няньницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Ивановича еще малы: первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотов-

ского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участия; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Кажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неимением ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязь из пруда... Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакап пива или квасу.

Признаться сказать, пи в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотинной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с упылым тернеиьем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет наконец этот невыносимый зпой. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках — негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность, и они сами потом кашляли и задыхались, — как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались пад сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

— Иди, иди же! — залепетал он, с усилием поднимая густые брови, — иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждуть тебя, а ты вот ползешь... Иди.

— Ну, иду, иду, — раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем

была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. — Иду, любезный, — продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведения, — зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

— Зачем я тебя зову? — сказал с укоризной человек во фризовой шинели. — Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь, зачем. А ждут тебя все люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили — кто кого одолеет, лучше споет то есть... понимаешь?

— Яшка петь будет? — с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. — И ты не врешь, Обалдуй?

— Я не вру, — с достоинством отвечал Обалдуй, — а ты брешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

— Ну, пойдем, простота, — возразил Моргач.

— Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, — залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

— Вишь, Езоп изнеженный, — презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы — все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волнении: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, — да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четверугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если бы оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то попошенный курток с медными гладкими пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Баринном. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки — рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно,

и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

— Ну, что ж! — возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. — Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

— Начинать, начинать, — одобрительно подхватил Николай Иваныч.

— Начнем, пожалуй, — хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, — я готов.

— И я готов, — с волнепием произнес Яков.

— Ну, начинайте, ребята, начинайте, — пропищал Моргач.

Но несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, — все словно ждал чего-то.

— Начпай! — угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осупул кушак и откашлялся.

— А кому начать? — спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

— Тебе, тебе, рядчик, — залепетал Обалдуй, — тебе, братец.

Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

— Жеребий кинуть, — с расстановкой произнес Дикий-Барин, — да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в кармапах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтапа новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затаканый картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик — свой.

— Тебе выбирать, — проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

— Ведь я же говорил, что тебе, — воскликнул Обалдуй, — я ведь говорил.

— Ну, пу, не «циркай»! ¹ — презрительно заметил Дикий-Барин. — Начинай, — продолжал он, качнув головой на рядчика.

— Какую же мне песню петь? — спросил рядчик, приходя в волнение.

— Какую хочешь, — отвечал Моргач. — Какую вздумается, ту и пой.

— Конечно, какую хочешь, — прибавил Николай Иванович, медленно складывая руки на груди. — В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

— Разумеется, по совести, — подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

— Дайте, братцы, откашляться маленько, — заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

— Ну, пу, не прохлаждайся — начинай! — решил Дикий-Барин и потушился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами...

Но прежде, чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуй. Постоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуйем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако,

¹ Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются.

средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало — прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, — так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач несколько не походил на Обалдую. К нему тоже шло название Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня — и, вероятно, для многих других — темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, по уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведением загладив свое преступление, понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более пронизательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки»¹. Они никогда не смотрят просто — всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить... смотришь — все удалось, все как по

¹ Орловцы называют глаза гляделкамп, так же как рот едалом.

маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», — уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, был по душе — художник во всех смыслах этого слова, а по званию — черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и — странное дело — его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина — псаря и драчуна: он был уж точно сам по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, — не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не znalся почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Бел он себя не то что скромно, — в нем вообще не было ничего скромного, — но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикый-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил — ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знал-

ся с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что, раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства,— смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным старанием, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, запосистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский *tenore di grazia, ténor léger*¹. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманием. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрививать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид!

¹ лирический тенор (ит. и фр.).

Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затонал, засеменял ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился, и уж такие начал отделывать завитушки, так зацелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас,— общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков как сумасшедший закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» — и с решительностью плюнул в сторону.

— Ну, брат, потешил! — кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий, — потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю — осьмуха твоя! Яшке до тебя далеко... Уж я тебе говорю: далеко... А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

— Да пусти же его; пусти, неотвязная... — с досадой заговорил Моргач, — дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал... Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

— Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, — сказал Обалдуй и подошел к стойке. — На твой счет, брат, — прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крикая, принял грустно-озабоченный вид.

— Хорошо поешь, брат, хорошо, — ласково заметил Николай Иваныч. — А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим... А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.

— Очинна хорошо, — заметила Николай Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

— Хорошо-га! — повторил вполголоса мой сосед.

— А, заворотень-полеха! ¹ — завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом.— Полеха! полеха! Га, баде паняй ², заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? — кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

— Да что ж это за несносное животное такое? — произнес он, скрыпнув зубами.

— Я ничего,— забормотал Обалдуй,— я ничего... я так...

— Ну, хорошо, молчать же! — возразил Дикий-Барин.— Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

— Что, брат, того... что-то... Гм... Не знаю, право, что-то того...

— Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл свое лицо — оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым — третий, и, понемногу разгораясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролежала», — пел он, и всем нам сладко стало и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже спа-

¹ Полехами называются обитатели Южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. Заворотнями же их зовут за подозрительный и тугой нрав.

² Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания: «га!» и «баде!». «Паняй» вместо погоняй.

чала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой воззается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о пей, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех пас, по, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волпами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бескопечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня... Я оглянулся — жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевельнулся... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно топком звуке — словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взглядом обвел всех кругом и увидал, что победа была его...

— Яша,— проговорил Дикый-Барин, положил ему руку на плечо и — смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты... твоя... ты выиграл», — произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыг-

нул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!», а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он позвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», — твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться — я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова... Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся, — все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь почную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновения. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревьям мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака пестя пестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: всё было пьяно — всё, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы ключьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана,

выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал вверх свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иванович, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» — кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесли едва слышный ответ:

— Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

— Иди сюда, черт леши-и-и-ий!

— Заче-е-е-ем? — ответил тот спустя долгое время.

— А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-и-т, — поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся звать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки...

«Антропка-а-а!» — все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ КАРАТАЕВ

Лет пять тому назад, осенью, на дороге из Москвы в Тулу, пришлось мне просидеть почти целый день в почтовом доме за недостатком лошадей. Я возвращался с охоты и имел неосторожность отправить свою тройку вперед. Смотритель, человек уже старый, угрюмый, с волосами, нависшими над самым носом, с маленькими заспанными глазами, на все мои жалобы и просьбы отвечал отрывистым ворчаньем, в сердцах хлопал дверью, как будто сам проклинал свою должность, и, выходя на крыльцо, бранил ямщиков, которые медленно брели по грязи с пудовыми дугами на руках или сидели на лавке, позевывая и почесываясь, и не обращали особенного внимания на гневные восклицания своего начальника. Я раза три уже принимался пить чай, несколько раз напрасно пытался заснуть, прочел все надписи на окнах и на стенах: скука меня томила страшная. С холодным и безнадежным отчаянием глядел я на приподнятые оглобли своего тарантаса, как вдруг зазвенел колокольчик и небольшая телега, запряженная тройкой измученных лошадей, остановилась перед крыльцом. Приезжий соскочил с телеги и с криком «живее лошадей!» вошел в комнату. Пока он, с обычным странным изумлением, выслушивал ответ смотрителя, что лошадей-де нету, я успел, со всем жадным любопытством скучающего человека, окинуть взором с ног до головы моего нового товарища. На вид ему было лет под тридцать. Оспа оставила неизгладимые следы на его лице, сухом и желтоватом, с неприятным медным отблеском; иссиня-черные длинные волосы лежали сзади кольцами на воротнике, спереди закручивались в ухарские виски; небольшие опухшие глазки глядели — не только; на верхней губе торчало несколько волосков. Одет он был забубенным помещиком, посетителем конных ярмарок, в пестрый, довольно засаленный архалук, полинявший шелковый галстук лилового цвета, жилет с медными пуговками и серые панталоны с огромными раструбами, из-под которых едва выглядывали кон-

чики нечищенных сапог. От пего сильно несло табаком и водкой; на красных и толстых его пальцах, почти закрытых рукавами арха-лука, виднелись серебряные и тульские кольца. Такие фигуры встречаются на Руси не дюжинами, а сотнями; знакомство с ними, надобно правду сказать, не доставляет никакого удовольствия; но, несмотря на предубеждение, с которым я глядел на приезжего, я не мог не заметить беспечно доброго и страстного выраженья его лица.

— Вот и они ждут здесь более часу-с,— промолвил смотритель, указывая на меня.

«Более часу!» — Злодей смеялся надо мной.

— Да им, может быть, не так нужно,— отвечал приезжий.

— Уж этого-с мы не можем знать-с,— угрюмо сказал смотритель.

— Так неужели пельзя никак? Нет лошадей решительно?

— Нельзя-с. Ни одной лошади не имеется.

— Ну, так велите же мне самовар поставить. Подождем, делать нечего.

Приезжий сел на лавку, бросил картуз на стол и провел рукой по волосам.

— А вы уж пили чай? — спросил он меня.

— Пил.

— А еще раз для компании не угодно?

Я согласился. Толстый рыжий самовар в четвертый раз появился на столе. Я достал бутылку рому. Я не ошибся, приняв моего собеседника за мелкопоместного дворянина. Звали его Петром Петровичем Каратаевым.

Мы разговорились. Не прошло и получаса с его приезда, как уж он с самой добродушной откровенностью рассказывал мне свою жизнь.

— Теперь я еду в Москву,— говорил он мне, допивая четвертый стакан,— в деревне мне уж теперь нечего делать.

— Отчего же нечего?

— Да так-таки — нечего. Хозяйство порасстроилось, мужиков поразорил, признаться; подошли годы плохие: неурожай, разные, знаете, несчастья... Да, впрочем,— прибавил он, уныло глянув в сторону,— какой я хозяин!

— Почему же?

— Да нет,— перебил он меня,— такие ли бывают хозяева! Вот видите ли,— продолжал он, скрутив голову набок и прилежно насасывая трубку,— вы, так, глядя на меня, можете подумать, что я и того... а ведь я, должен вам признаться, воспитанье получил средственное; достатков не было. Вы меня извините, я человек откровенный, да и наконец...

Он не договорил своей речи и махнул рукой. Я начал уверять его, что он ошибается, что я очень рад нашей встрече и проч., а потом заметил, что для управления имением, кажется, не нужно слишком сильного образования.

— Согласен,— отвечал он,— я с вами согласен. Да все же нужно такое, особенное расположение! Иной мужика дерет как липку, и ничего! а я... Позвольте узнать, вы сами из Питера или из Москвы?

— Я из Петербурга.

Он пустил поздырями долгую струю дыма.

— А я в Москву еду служить.

— Куда же вы намерены определиться?

— А не знаю; как там придется. Признаться вам, боюсь я службы: как раз под ответственность попадешь. Жил же в деревне; привык, знаете... да уж делать нечего... нужда! Ох, уж эта мне нужда!

— Зато вы будете жить в столице.

— В столице... ну, я не знаю, что там в столице хорошего. Посмотрим, может быть, оно и хорошо... А уж лучше деревни, кажется, и быть ничего не может.

— Да разве вам уже невозможно более жить в деревне?

Он вздохнул.

— Невозможно. Она уж теперь почитай что и не моя.

— А что?

— Да там добрый человек — сосед завелся... вексель...

Бедный Петр Петрович провел рукой по лицу, подумал и потрянул головою.

— Ну да уж что!.. Да признаться,— прибавил он после небольшого молчания,— мне не на кого пенять, сам виноват. Любил покуражиться!.. Люблю, черт возьми, покуражиться!

— Вы весело жили в деревне? — спросил я его.

— У меня, сударь,— отвечал он с расстановкой и глядя мне прямо в глаза,— было двенадцать смычков гончих, таких гончих, каких, скажу вам, немного. (Он это последнее слово произнес нараспев.) Русака как раз заматают, а уж на красного зверя — змеи, просто асиды. И борзыми похвастаться я мог. Теперь же дело прошлое, лгать не для чего. Охотился я и с ружьем. Была у меня собака Контеска; стойка необыкновенная, верхним чутьем все брала. Бывало, подойду к болоту, скажу: шарш! — как искать не станет, так хоть с дюжиной собак пройди — шалишь, ничего не найдешь! а как станет — просто рада умереть на месте!.. И в комнате такая вежливая. Дашь ей хлеб из левой руки да скажешь: жид ед,— ведь не возьмет, а дашь из правой да скажешь: барышня кушала,— тотчас возьмет и съест. Был у меня и щенок от нее,

отличный щенок, и в Москву везти хотел, да приятель выпросил вместе с ружьем; говорит: в Москве тебе, брат, будет не до того; там уж пойдет совсем, брат, другое. Я и отдал ему щенка, да уж и ружье; уж оно все там, знаете, осталось.

— Да вы и в Москве могли бы охотиться.

— Нет уж, к чему? не сумел удержаться, так и терпи теперь. А вот лучше позвольте узнать, что жизнь в Москве — дорога?

— Нет, не слишком.

— Не слишком?.. А скажите, пожалуйста, ведь цыгане в Москве живут?

— Какие цыгане?

— А вот что по ярмаркам ездят?

— Да, в Москве...

— Ну, это хорошо. Люблю цыган, черт возьми, люблю...

И глаза Петра Петровича сверкнули удалой веселостью. Но вдруг он завертелся на лавке, потом задумался, потушил голову и протянул ко мне пустой стакан.

— Дайте-ка мне вашего рому, — проговорил он.

— Да чай весь вышел.

— Ничего, так, без чаю... Эх!

Каратаев положил голову на руки и оперся локтями на стол. Я молча глядел на него и ожидал уже тех чувствительных восклицаний, пожалуй, даже тех слез, на которые так щедр подгулявший человек, но когда он поднял голову, меня, признаюсь, поразило глубоко грустное выражение его лица.

— Что с вами?

— Ничего-с... старину вспомнил. Такой анекдот-с... Рассказал бы вам, да мне совестно вас беспокоить...

— Помилуйте!

— Да, — продолжал он со вздохом, — бывают случаи... хотя, папример, и со мной. Вот, если хотите, я вам расскажу. Впрочем, не знаю...

— Рассказывайте, любезный Петр Петрович.

— Пожалуй, хоша оно того... Вот видите ли, — начал он, — по я, право, не знаю...

— Ну, полноте, любезный Петр Петрович.

— Ну, пожалуй. Так вот что со мной, так сказать, случилось. Жил я-с в деревне... Вдруг приглянись мне девушка, ах, да какая же девушка была... красавица, умница, а уж добрая какая! Звали ее Матреной-с. А девка она была простая, то есть, вы понимаете, крепостная, просто холопка-с. Да не моя девка, а чужая, — вот в чем беда. Ну, вот я ее полюбил, — такой, право, анекдот-с — ну, и она. Вот и стала Матрена меня просить: выкупи ее, дескать, от

госпожи; да и я сам уже об эфтом подумывал... А госпожа-то у ней была богатая, старушенция страшная; жила от меня верстах в пятнадцати. Ну, вот в один, как говорится, прекрасный день я и велел заложить себе дрожки тройкой,— в корню ходил у меня иноходец, азиятец необыкновенный, зато и назывался Лампурдос,— оделся получше и поехал к Матрениной барыне. Приезжаю: дом большой, с флигелями, с садом... У повертка Матрена меня ждала, хотела было заговорить со мной, да только руку поцеловала и отошла в сторону. Вот вхожу я в переднюю, спрашиваю: «Дома?..» А мне высокий такой лакей говорит: «Как об вас доложить прикажете?» Я говорю: «Доложи, братец, дескать, помещик Каратаев приехал о деле переговорить». Лакей ушел; я жду себе и думаю: что-то будет? чай, заломит, бестия, цену страшную, даром что богата. Рублей пятьсот, пожалуй, запросит. Вот наконец вернулся лакей, говорит: «Пожалуйте». Я вхожу за ним в гостиную. Сидит на креслах маленькая желтенькая старушонка и глазами моргает. «Что вам угодно?» Я сперва, знаете ли, почел за нужное объявить, что, дескать, рад знакомству. «Вы ошибаетесь, я не здешняя хозяйка, а ее родственница... Что вам угодно?» Я заметил ей тут же, что мне с хозяйкой-то и нужно переговорить. «Марья Ильинична не принимает сегодня: она нездорова... Что вам угодно?» Делать нечего, подумал я про себя, объясню ей мое обстоятельство. Старуха меня выслушала. «Матрена? какая Матрена?» — «Матрена Федорова, Куликова дочь». — «Федора Кулика дочь... да как вы ее знаете?» — «Случайным манером». — «А известно ей ваше намерение?» — «Известно». Старуха помолчала. «Да я ее, негодную!..» Я, признаюсь, удивился. «За что же, помилуйте!.. Я за нее готов внести сумму, только извольте назначить». Старая хрычовка так и зашипела. «Вот вздумали чем удивить: нужны нам очень ваши деньги!.. а вот я ее ужю, вот я ее... Дурь-то я из нее выбью». Раскашлялась старуха от злости. «Нехорошо ей у нас, что ли?.. Ах, она чертовка, прости, господи, мое согрешенье!» Я, признаюсь, вспыхнул. «За что же вы грозите бедной девке? чем она, то есть, виновата?» Старуха перекрестилась. «Ах ты, мой господи, Иисусе Христе! Да разве я в своих холопьях не вольна?» — «Да ведь она не ваша!» — «Ну, уж про это Марья Ильинична знает; не ваше, батюшка, дело; а вот я ужю Матрешке-то покажу, чья она холопка». Я, признаюсь, чуть не бросился на проклятую старуху, да вспомнил о Матрене, и руки опустились. Заробел так, что пересказать невозможно; начал упрашивать старуху: «Возьмите, дескать, что хотите». — «Да па что она вам?» — «Поправилась, матушка; войдите в мое положение... Позвольте поцеловать у вас ручку». И таки поцеловал у шельмы руку! «Ну,— прошамшила ведьма,— я скажу Марье Ильи-

ничне; как она прикажет; а вы заезжайте дня через два». Я уехал домой в большом беспокойстве. Начинал я догадываться, что дело неладно повел, напрасно дал свое расположение заметить, да хватился-то я поздно. Дня через два отправился я к барыне. Привели меня в кабинет. Цветов пропасть, убранство отличное, сама сидит в таких мудреных креслах и голову назад завалила на подушки; и родственница прежняя тут сидит, да еще какая-то барышня белобрысая, в зеленом платье, криворотая, компаньонка, должно быть. Старуха загнусила: «Прошу садиться». Я сел. Стала меня расспрашивать о том, сколько мне лет, да где я служил, да что намерен делать, и так все свысока, важно. Я отвечал подробно. Старуха взяла со стола платок, помахала, помахала на себя... «Мне, говорит, докладывала Катерина Карповна об вашем намерении, докладывала, говорит; но я себе, говорит, положила за правило: людей в услужение не отпускать. Оно и неприлично, да и не годится в порядочном доме: это непорядок. Я уже распорядилась, говорит, вам уже более беспокоиться, говорит нечего». — «Какое беспокойство, помилуйте... А может, вам Матрена Федорова нужна?» — «Нет, говорит, не нужна». — «Так отчего же вы мне ее уступить не хотите?» — «Оттого, что мне не угодно; не угодно, да и все тут. Я уж, говорит, распорядилась: она в степную деревню посылается». Меня как громом хлопнуло. Старуха сказала слова два по-французски зеленой барышне: та вышла. «Я, говорит, женщина правил строгих, да и здоровье мое слабое; беспокойства переносить не могу. Вы еще молодой человек, а я уж старая женщина и вправе вам давать советы. Не лучше ли вам пристроиться, жениться, поискать хорошей партии; богатые невесты редки, но девицу бедную, зато хорошей правственности, найти можно». Я, знаете, гляжу на старуху и ничего не понимаю, что она там такое мелет; слышу, что толкует о жевитьбе, а у меня степная деревня все в ушах звенит. Жениться!.. какой черт...

Тут рассказчик внезапно остановился и поглядел на меня.

— Ведь вы не жепаты?

— Нет.

— Ну, конечно, дело известное. Я не вытерпел: «Да помилуйте, матушка, что вы за ахипею порете? Какая тут женитьба? Я просто желаю узнать от вас, уступаете вы вашу девку Матрену или нет?» Старуха захохала. «Ах, он меня обеспокоил! ах, велите ему уйти! ах!..» Родственница к ней подскочила и раскричалась на меня. А старуха все стонет: «Чем это я заслужила?.. Стало быть, я уж в своем доме не госпожа? ах, ах!» Я схватил шляпу и как сумасшедший выбежал вон.

— Может быть,— продолжал рассказчик,— вы осудите меня за то, что я так сильно привязался к девушке из низкого сосло-

вия; я и не намерен себя, то есть, оправдывать... так уж оно пришлось!.. Верите ли, ни днем, ни ночью покоя мне не было... Мучусь! За что, думал я, погубил несчастную девку! Как только, бывало, вспомню, что она в зипуне гусей гоняет, да в черном теле, по барскому приказу, содержится, да староста, мужик в дегтярных сапогах, ее ругательски ругает — холодный пот так с меня и закапает. Ну, не вытерпел, проведаль, в какую деревню ее сослали, сел верхом и поехал туда. На другой день под вечер только приехал. Видно, от меня такого пассажира не ожидали и никакого на мой счет приказания не дали. Я прямо к старосте, будто сосед; захожу на двор, гляжу: Матрена сидит на крылечке и рукой подперлась. Она было вскрикнула, да я ей погрозил и показал на задворье, в поле. Вошел в избу; со старостой покалякал, наврал ему чертову тьму, улучил минутку и вышел к Матрене. Она, бедняжка, так у меня на шею и повисла. Побледнела, похудела, моя голубушка. Я, знаете ли, говорю ей: «Ничего, Матрена; ничего, не плачь», а у самого слезы так и бегут, и бегут... Ну, однако ж, наконец мне стыдно стало; говорю ей: «Матрена, слезами горю не пособить, а вот что: надобно действовать, как говорится, решительно; надобно тебе бежать со мной; вот как надобно действовать». Матрена так и обмерла... «Как можно! да я пропаду, да они меня заедят совсем!» — «Глухая ты, кто тебя сыщет?» — «Сыщут, непременно сыщут. Спасибо вам, Петр Петрович, век не забуду вашей ласки, по уж вы меня теперь предоставьте; уж, видно, такова моя судьба». — «Эх, Матрена, Матрена, а я тебя считал за девку с карахтером». И точно, карахтеру у ней было много... душа была, золотая душа! «Что ж тебе здесь оставаться! все равно; хуже не будет. Ну, вот сказывай: старостиных кулаков отведывала, а?» Матрена так и вспыхнула, и губы у ней задрожали. «Да из-за меня семье моей житья не будет». — «Ну ее, твою семью... Сошлют ее, что ли?» — «Сошлют; брата-то наверное сошлют». — «А отца?» — «Ну, отца не сошлют; он у нас один хороший портной и есть». — «Ну вот, видишь; а брат твой от этого не пропадет». Поверите ли, насилу уломал ее; вздумала еще толковать о том, что, дескать, вы за это отвечать будете... «Да уж это, говорю я, не твое дело...» Однако я таки ее увез... не в этот раз, а в другой: ночью, на телеге приехал — и увез.

— Увезли?

— Увез... Ну, вот она и поселилась у меня. Домик у меня был небольшой, прислуги мало. Люди мои, без обиняков скажу, меня уважали; не выдали бы ни за какие благополучия. Стал я поживать припеваючи. Матренушка отдохнула, поправилась; вот я к пей и привязался... Да и что за девка была! Откуда что бралось? И петь-то она умела, и плясать, и на гитаре играть... Соседям я ее

не показывал, чего доброго, разболтают! А был у меня приятель, друг закадычный, Горпостаев Пантелей, — вы не изволите знать? Тот в ней просто души не чаял: как у барыни, руки у ней целовал, право. И скажу вам, Горностаев не мне чета: человек он образованный, всего Пушкина прочел; станет, бывало, с Матреной да со мной разговаривать, так мы и уши развесим. Писать ее выучил, такой чудак! А уж как я одевал ее — просто лучше губернаторши; сшил ей шубку из малинового бархата с меховой опушкой... Уж как эта шубка на ней сидела! Шубку-то эту московская мадам шила по новому манеру, с перехватом. И уж какая чудная эта Матрена была! Бывало, задумается да и сидит по часам, на пол глядит, бровью не шевельнет; и я тоже сижу да на нее смотрю, да насмотреться не могу, словно никогда не видал... Она улыбнется, а у меня сердце так и дрогнет, словно кто пощекотит. А то вдруг примется смеяться, шутить, плясать; обнимет меня так жарко, так крепко, что голова кругом пойдет. С утра до вечера, бывало, только и думаю: чем бы мне ее порадовать? И верите ли, ведь только для того ее дарил, чтобы посмотреть, как она, душа моя, обрадуется, вся покраснеет от радости, как станет мой подарок примерять, как ко мне в обновке подойдет и поцелует. Неизвестно, каким образом отец ее Кулик пронюхал дело; пришел старик поглядеть на нас, да как заплачет... Да ведь с радости заплакал, а вы что подумали? Мы Кулика задарили. Она ему, голубушка, сама пятирублевую ассигнацию под конец выпесла, — а он ей как бухнет в ноги — такой чудной! Таким-то мы образом месяцев пять прожили; а я бы не прочь и весь век с ней так прожить, да судьба моя такая окайнная!

Петр Петрович остановился.

— Что ж такое случилось? — спросил я его с участием.

Он махнул рукой.

— Все к черту пошло. Я же ее и погубил. Матренушка у меня смерть любила кататься в сапках, и сама, бывало, правит; наденет свою шубку, шитые рукавицы торжковские да только покрикивает. Катались-то мы всегда вечером, чтобы, знаете, кого-нибудь не встретить. Вот как-то раз выбрался день такой, знаете, славный; морозно, ясно, ветра нету... мы и поехали. Матрена взяла вожжи. Вот я и смотрю, куда это она едет? Неужели в Кукуевку, в деревню своей барыни? Точно, в Кукуевку. Я ей и говорю: «Сумасшедшая, куда ты едешь?» Она глянула ко мне через плечо да усмехнулась. Дай, дескать, покуражиться. А! — подумал я, — была не была!.. Мимо господского дома прокатиться ведь хорошо? ведь хорошо — скажите сами? Вот мы и едем. Иноходец мой так и плывет, пристяжные совершенно, скажу вам, завихрились — вот уж и кукуевскую церковь видно; глядь, ползет по дороге старый зеленый

возок, и лакей на запятках торчит... Барыня, барыня едет! Я было струсил, а Матрена-то как ударит вожжами по лошадям да как помчится прямо на возок! Кучер, тот-то, вы понимаете, видит: летит навстречу Алхимерэс какой-то, хотел, знаете, посторониться, да круто взял, да в сугроб возок-то и опрокинул. Стекло разбилось — барыня кричит: «Ай, ай, ай! ай, ай, ай!» Компаньонка пищит: «Держи, держи!» А мы, давай бог ноги, мимо. Скачем мы, а я думаю: худо будет, напрасно я ей позволил ехать в Кукуевку. Что ж вы думаете? Ведь узнала барыня Матрену и меня узпала, старая, да жалобу на меня и подай: беглая, дескать, моя девка у дворянина Каратаева проживает; да тут же и благодарность, как следует, предъявила. Смотрю, едет ко мне исправник; а исправник-то был мне человек знакомый, Степан Сергеевич Кузовкин, хороший человек, то есть, в сущности человек не хороший. Вот, приезжает и говорит: так и так, Петр Петрович,— как же вы это так?.. Ответственность сильная, и законы на этот счет ясные. Я ему говорю: «Ну, об этом мы, разумеется, с вами побеседуем, а вот не хотите ли перекусить с дороги?» Перекусить-то он согласился, но говорит: «Правосудие требует, Петр Петрович, сами посудите». — «Оно, конечно, правосудие,— говорю я,— оно, конечно... а вот, я слышал, у вас лошадка есть вороненькая, так не хотите ли поменяться на моего Лампурдоса?.. А девки Матрены Федоровой у меня не имеется». — «Ну,— говорит он,— Петр Петрович, девка-то у вас, мы ведь не в Швейцарии живем... а на Лампурдоса поменяться лошадкой можно; можно, пожалуй, его и так взять». Однако на этот раз я его кое-как спровадил. Но старая барыня завозилась пуще прежнего; десяти тысяч, говорит, не пожалею. Видите ли, ей, глядя на меня, вдруг в голову пришло женить меня на своей зеленой компаньонке,— это я после узнал: оттого-то она так и разозлилась. Чего только эти барыни не придумают!.. Со скуки, должно быть. Плохо мне пришлось: и денег-то я не жалел, и Матрену-то прятал,— нет! Затормошили меня, завертели совсем. В долги влез, здоровья лишился... Вот лежу однажды ночью у себя на постеле и думаю: «Господи боже мой, за что терплю? Что ж мне делать, коли я ее разлюбил не могу?.. Ну, не могу, да и только!» Шашть ко мне в комнату Матрена. Я на это время спрятал ее было у себя на хуторе, верстах в двух от своего дома. Я испугался. «Что? аль и там тебя открыли?» — «Нет, Петр Петрович,— говорит она,— никто меня не беспокоит в Бубнове; да долго ли это продолжится? Сердце мое, говорит, надрывается, Петр Петрович; вас мне жаль, моего голубчика; век не забуду ласки вашей, Петр Петрович, а теперь пришла с вами проститься». — «Что ты, что ты, сумасшедшая?.. Как проститься? как проститься?» — «А так... пойду да себя и выдам». — «Да я тебя, сумасшедшую, на чердак за-

пру... Иль ты погубить меня вздумала? уморить меня желаешь, что ли?» Молчит себе девка да глядит на пол. «Ну, да говори же, говори!» — «Не хочу вам больше беспокойства причинять, Петр Петрович». Ну, поди, толкуй с ней... «Да ты знаешь ли, дура, ты знаешь ли, сума... сумасшедшая...»

И Петр Петрович горько зарыдал.

— Ведь что вы думаете? — продолжал он, ударив кулаком по столу и стараясь нахмурить брови, меж тем как слезы все еще бежали по его разгоряченным щекам, — ведь выдала себя девка, пошла да и выдала себя...

— Лошади готовы-с! — торжественно воскликнул смотритель, входя в комнату.

Мы оба встали.

— Что же сделалось с Матреной? — спросил я.

Каратаев махнул рукой.

Спустя год после моей встречи с Каратаевым случилось мне заехать в Москву. Раз как-то, перед обедом, зашел я в кофейную, находящуюся за Охотным рядом, — оригинальную, московскую кофейную. В бильярдной, сквозь волны дыма, мелькали раскрасневшиеся лица, усы, хохлы, старомодные венгерки и новейшие свято-славки. Худые старички в скромных сюртуках читали русские газеты. Прислуга резво мелькала с подносами, мягко ступая по зеленым коврикам. Купцы с мучительным напряжением пили чай. Вдруг из бильярдной вышел человек, несколько растрепанный и не совсем твердый на ногах. Он положил руки в карманы, опустил голову и бессмысленно посмотрел кругом.

— Ба, ба, ба! Петр Петрович!.. Как поживаете?

Петр Петрович чуть не бросился ко мне на шею и потащил меня, слегка качаясь, в маленькую особенную комнату.

— Вот здесь, — говорил он, заботливо усаживая меня в кресла, — здесь вам будет хорошо. Человек, пива! нет, то есть шампанского! Ну, признаюсь, не ожидал, не ожидал... Давно ли? надолго ли? Вот, привел бог, как говорится, того...

— Да, помните...

— Как не помнить, как не помнить, — торопливо перервал он меня, — дело прошлое... дело прошлое...

— Ну, что вы здесь подельваете, любезный Петр Петрович?

— Живу, как изволите видеть. Здесь житье хорошее, народ здесь радушный. Здесь я успокоился.

И он вздохнул и поднял глаза к небу.

— Служите?

— Нет-с, еще не служу, а думаю скоро определиться. Да что служба?.. Люди — вот главное. С какими я здесь людьми познакомился!..

Мальчик вошел с бутылкой шампанского на черном подносе.

— Вот и это хороший человек... Не правда ли, Вася, ты хороший человек? На твое здоровье!

Мальчик постоял, прилично тряхнул головкой, улыбнулся и вышел.

— Да, хорошие здесь люди, — продолжал Петр Петрович, — с чувством, с душой... Хотите, я вас познакомлю? Такие славные ребята... Они все вам будут ради. Я скажу... Бобров умер, вот горе.

— Какой Бобров?

— Сергей Бобров. Славный был человек; призрел было меня, невежу, степняка. И Горностаев Пантелей умер. Все умерли, все!

— Вы все время в Москве прожили? Не съездили в деревню?

— В деревню... мою деревню продали.

— Продали?

— Сукциона... Вот, напрасно вы не купили!

— Чём же вы жить будете, Петр Петрович?

— А не умру с голоду, бог даст! Денег не будет, друзья будут. Да что деньги? — прах! Золото — прах!

Он зажмурился, пошарил рукой в кармане и поднес ко мне на ладони два пятиалтынных и гривенник.

— Что это? ведь прах! (И деньги полетели на пол.) А вы лучше скажите мне, читали ли вы Полежаева?

— Читал.

— Видали ли Мочалова в Гамлете?

— Нет; не видал.

— Не видали, не видали... (И лицо Каратаева побледнело, глаза беспокойно забегали; он отвернулся; легкие судороги пробежали по его губам.) Ах, Мочалов, Мочалов! «Окончить жизнь — уснуть», — проговорил он глухим голосом.

Не более! и знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых... Такой конец достоин
Желаний жарких! Умереть... уснуть...

— Успуть, уснуть! — пробормотал он несколько раз.

— Скажите, пожалуйста, — начал было я; но он продолжал с жаром:

Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притесненья,
Обиды гордого, забытую любовь,

Презренных душ презрение к заслугам,
Когда бы мог нас подарить покоем
Один удар... О, помани
Мои грехи в твоей святой молитве!

И он уронил голову на стол. Он начинал заикаться и завираться.

— «И через месяц!» — произнес он с новой силой.

Один короткий, быстротечный месяц!
И башмаков еще не износила,
В которых шла, в слезах,
За бедным прахом моего отца!
О небо! Зверь без разума, без слова
Грустил бы долее...

Он поднес рюмку шампанского к губам, но не выпил вина и продолжал:

Из-за Гекубы?
Что он Гекубе, что она ему,
Что плачет он об ней?..
А я... презренный, малодушный раб,—
Я трус! Кто назовет меня негодным?
Кто скажет мне: ты лжешь?
А я обиду перенес бы... Да!
Я голубь мужеством: во мне нет желчи,
И мне обида не горька...

Каратаев уронил рюмку и схватил себя за голову. Мне показалось, что я его понял.

— Ну, да что,— проговорил он наконец,— кто старое помянет, тому глаз вон... Не правда ли? (И он засмеялся.) На ваше здоровье!

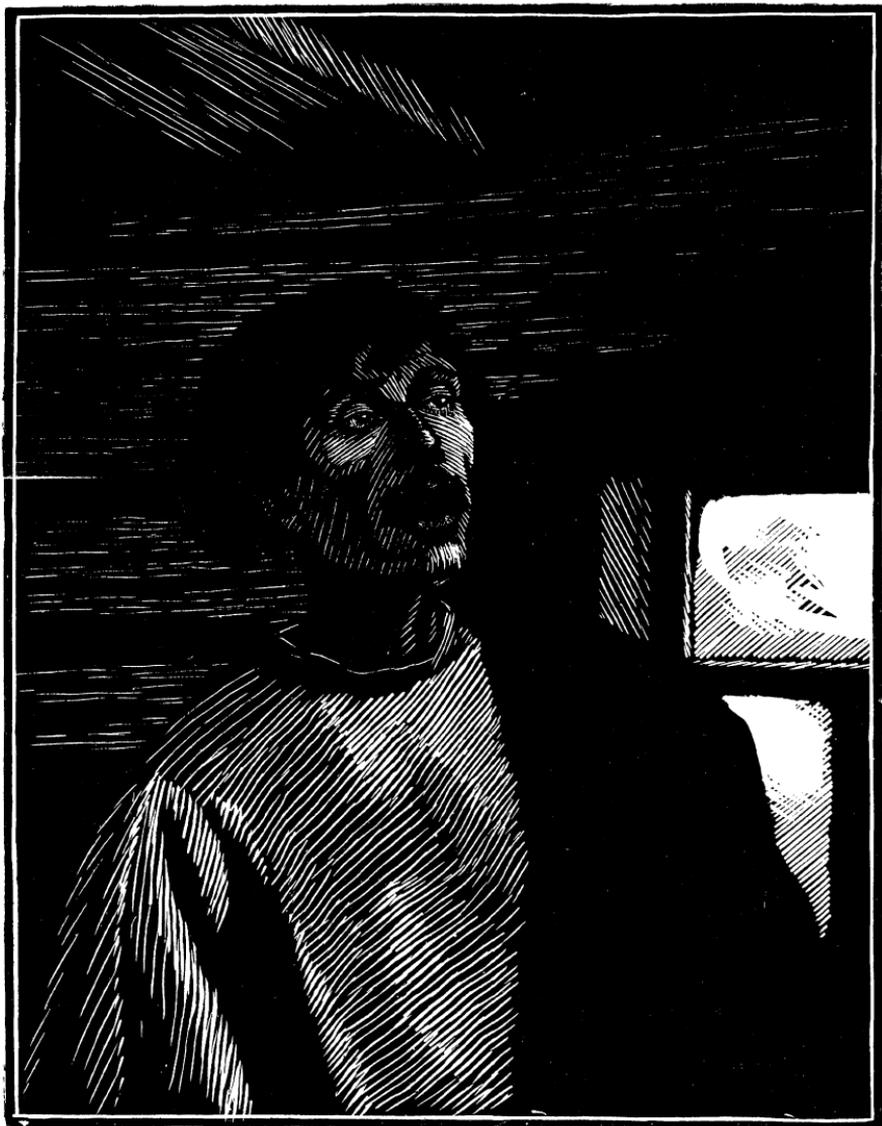
— Вы останетесь в Москве? — спросил я его.

— Умру в Москве!

— Каратаев! — раздалось в соседней комнате.— Каратаев, где ты! Поди сюда, любезный че-а-эк!

— Меня зовут,— проговорил он, тяжело поднимаясь с места.— Прощайте; зайдите ко мне, если можете, я живу в ***.

Но на другой же день, по непредвиденным обстоятельствам, я должен был выехать из Москвы и не выдался более с Петром Петровичем Каратаевым.



«Певцы»

Худ. В. В. Домогацкий

СВИДАНИЕ

Я сидел в березовой роще осенью, около половины сентября. С самого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам теплым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами расчищалось на мгновение, и тогда из-за раздвинутых туч показывалась лазурь, ясная и ласковая, как прекрасный глаз. Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый, смеющийся трепет весны, не мягкое шумушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, светило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, словно вдруг в ней все улыбнулось: тонкие стволы не слишком частых берез внезапно принимали нежный отблеск белого шелка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались червоным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папоротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пересекаясь перед глазами; то вдруг опять все кругом слегка синело: яркие краски мгновенно гасли, березы стояли все белые, без блеску, белые, как только что выпавший снег, до которого еще не коснулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, начинал сеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва на березах была еще почти вся зелена, хотя заметно побледнела; лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся золотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солнце, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дождем. Ни одной птицы не было слышно: все приютились и замолкли; лишь

изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый голосок синицы. Прежде чем я остановился в этом березовом леску, я с своей собакой прошел через высокую осиновую рощу. Я, признаюсь, не слишком люблю это дерево — осину — с ее бледно-лиловым стволом и серо-зеленой, металлической листвой, которую она вздымает как можно выше и дрожащим веером раскидывает на воздухе; не люблю я вечное качанье ее круглых неопрятных листьев, неловко прицепленных к длинным стебелькам. Она бывает хороша только в иные летние вечера, когда, возвышаясь отдельно среди низкого кустарника, приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца и блестит и дрожит, с корней до верхушки облитая одинаковым желтым багрянцем, — или когда, в ясный ветренный день, она вся шумно струится и лепечет на синем небе, и каждый лист ее, подхваченный стремленьем, как будто хочет сорваться, слететь и умчаться вдаль. Но вообще я не люблю этого дерева и потому, не остановясь в осиновой роще для отдыха, добрался до березового леска, угнезвился под одним деревцом, у которого сучья начинались низко над землей и, следовательно, могли защитить меня от дождя, и, полюбовавшись окрестным видом, заснул тем безмятежным и кротким сном, который знаком одним охотникам.

Не могу сказать, сколько я времени проспал, но когда я открыл глаза — вся внутренность леса была наполнена солнцем и во все направленья, сквозь радостно шумевшую листву, сквозило и как бы искрилось ярко-голубое небо; облака скрылись, разогнанные взыгравшим ветром; погода расчистилась, и в воздухе чувствовалась та особенная, сухая свежесть, которая, наполняя сердце каким-то бодрым ощущеньем, почти всегда предсказывает мирный и ясный вечер после ненастного дня. Я собрался было встать и снова попытаться счастья, как вдруг глаза мои остановились на неподвижном человеческом образе. Я взгляделся: то была молодая крестьянская девушка. Она сидела в двадцати шагах от меня, задумчиво потупив голову и уронив обе руки на колени; на одной из них, до половины раскрытой, лежал густой пучок полевых цветов и при каждом ее дыханье тихо скользил на клетчатую юбку. Чистая белая рубаша, застегнутая у горла и кистей, ложилась короткими мягкими складками около ее стана; крупные желтые бусы в два ряда спускались с шеи на грудь. Она была очень недурна собою. Густые белокурые волосы прекрасного пепельного цвета расходились двумя тщательно причесанными полукругами из-под узкой алой повязки, надвинутой почти на самый лоб, белый, как слонобая кость; остальная часть ее лица едва загорела тем золотистым загаром, который принимает одна тонкая кожа. Я не мог видеть ее глаз — она их не поднимала; но я ясно видел

ее тонкие, высокие брови, ее длинные ресницы: они были влажны, и на одной из ее щек блистал на солнце высохший след слезы, остановившейся у самых губ, слегка побледневших. Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил. Мне особенно нравилось выражение ее лица: так оно было просто и кротко, так грустно и так полно детского недоумения перед собственной грустью. Она, видимо, ждала кого-то; в лесу что-то слабо хрустнуло: она тотчас подняла голову и оглянулась; в прозрачной тени быстро блеснули передо мной ее глаза, большие, светлые и пугливые, как у лани. Несколько мгновений прислушивалась она, не сводя широко раскрытых глаз с места, где раздался слабый звук, вздохнула, повернула тихонько голову, еще ниже наклонилась и принялась медленно перебирать цветы. Веки ее покраснели, горько шевельнулись губы, и новая слеза прокатилась из-под густых ресниц, останавливаясь и лучисто сверкая на щеке. Так прошло довольно много времени; бедная девушка не шевелилась, — лишь изредка тоскливо поводила руками и слушала, все слушала... Снова что-то зашумело по лесу, — она встрепелась. Шум не переставал, становился явственней, приближался, слышались наконец решительные, проворные шаги. Она выпрямилась и как будто оробела; ее внимательный взор задрожал, зажегся ожиданием. Сквозь чащу быстро замелькала фигура мужчины. Она взгляделась, вспыхнула вдруг, радостно и счастливо улыбнулась, хотела было встать и тотчас опять поникла вся, побледнела, смутилась — и только тогда подняла трепещущий, почти молящий взгляд на пришедшего человека, когда тот остановился рядом с ней.

Я с любопытством посмотрел на него из своей засады. Признаюсь, он не произвел на меня приятного впечатления. Это был, по всем признакам, избалованный камердинер молодого, богатого барина. Его одежда изобличала притязание на вкус и щегольскую небрежность: на нем было коротенькое пальто бронзового цвета, вероятно, с барского плеча, застегнутое доверху, розовый галстучек с лиловыми кончиками и бархатный черный картуз с золотым галуном, надвинутый на самые брови. Круглые воротнички его белой рубашки немилосердно подпирали ему уши и резали щеки, а накрахмаленные рукавички закрывали всю руку вплоть до красных и кривых пальцев, украшенных серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы. Лицо его, румяное, свежее, нахальное, принадлежало к числу лиц, которые, сколько я мог заметить, почти всегда возмущают мужчин и, к сожалению, очень часто нравятся женщинам. Он, видимо, старался придать своим грубоватым чертам выражение презрительное и скучающее; беспрестанно щурил свои и без того крошечные молочно-серые глаз-

ни, морщился, опускал углы губ, принужденно зевал и с небрежной, хотя не совсем ловкой развязностью то поправлял рукою рыжеватые, ухарски закрученные виски, то щипал желтые волосики, торчавшие на толстой верхней губе, — словом, ломался нестерпимо. Начал он ломаться, как только увидел молодую крестьянку, его ожидавшую; медленно, развалистым шагом подошел он к ней, постоял, передернул плечами, засунул обе руки в карманы пальто и, едва удостоив бедную девушку беглым и равнодушным взглядом, опустил ее на землю.

— А что, — начал он, продолжая смотреть куда-то в сторону, качая ногою и зевая, — давно ты здесь?

Девушка не могла тотчас ему отвечать.

— Давно-с, Виктор Александрыч, — проговорила она наконец едва слышным голосом.

— А! (Он снял картуз, величественно провел рукою по густым, туго завитым волосам, начинавшимся почти у самых бровей, и, с достоинством посмотрев кругом, бережно прикрыл опять свою драгоценную голову.) А я было совсем и позабыл. Притом, вишь, дождик! (Он опять зевнул.) Дела пропасть: за всем не усмотришь, а тот еще брапится. Мы завтра едем...

— Завтра? — произнесла девушка и устремила на него испуганный взор.

— Завтра... Ну, ну, пу, пожалуйста, — подхватил он поспешно и с досадою, увидев, что она затрепетала вся и тихо наклонила голову, — пожалуйста, Акулина, не плачь. Ты знаешь, я этого терпеть не могу. (И он наморщил свой тупой нос.) А то я сейчас уйду... Что за глупости — хныкать!

— Ну, не буду, не буду, — торопливо произнесла Акулина, с усилием глотая слезы. — Так вы завтра едете? — прибавила она после небольшого молчанья. — Когда-то бог приведет опять увидеться с вами, Виктор Александрыч?

— Увидимся, увидимся. Не в будущем году — так после. Барин-то, кажется, в Петербурге на службу поступить желает, — продолжал он, выговаривая слова небрежно и несколько в нос, — а может быть, и за границу уедем.

— Вы меня забудете, Виктор Александрыч, — печально промолвила Акулина.

— Нет, отчего же? Я тебя не забуду: только ты будь умна, не дурачься, слушайся отца... А я тебя не забуду — не-ет. (И он спокойно потянулся и опять зевнул.)

— Не забывайте меня, Виктор Александрыч, — продолжала она умоляющим голосом. — Уж, кажется, я на что вас любила, все, кажется, для вас... Вы говорите, отца мне слушаться, Виктор Александрыч... Да как же мне отца-то слушаться...

— А что? (Он произнес эти слова как бы из желудка, лежа на спине и подложив руки под голову.)

— Да как же, Виктор Александрыч,— вы сами знаете...

Она умолкла. Виктор поиграл стальной цепочкой своих часов.

— Ты, Акулина, девка неглупая,— заговорил он наконец,— потому вздору не говори. Я твоего же добра желаю, понимаешь ты меня? Конечно, ты не глупа, не совсем мужичка, так сказать; и твоя мать тоже не всегда мужичкой была. Все же ты без образования,— стало быть, должна слушаться, когда тебе говорят.

— Да страшно, Виктор Александрыч.

— И-и, какой вздор, моя любезная: в чем нашла страх! Что это у тебя,— прибавил он, подвинувшись к ней,— цветы?

— Цветы,— уныло отвечала Акулина.— Это я полевой рябинки нарвала,— продолжала она, несколько оживившись,— это для телят хорошо. А это вот череда — против золотухи. Вот погляди-те-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина-душка... А вот это я для вас,— прибавила она, доставая из-под желтой рябишки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой,— хотите?

Виктор лениво протянул руку, взял, небрежно понюхал цветы и начал вертеть их в пальцах, с задумчивой важностью посматривая вверх. Акулина глядела на него... В ее грустном взоре было столько нежной преданности, благоговейной покорности и любви. Она и боялась-то его, и не смела плакать, и прощалась с ним, и любовалась им в последний раз; а он лежал, развалиясь, как султан, и с великодушным терпением и снисходительностью сносил ее обожанье. Я, признаюсь, с негодованьем рассматривал его красное лицо, на котором сквозь притворно презрительное равнодушие проглядывало удовлетворенное, пресыщенное самолюбие. Акулина была так хороша в это мгновение: вся душа ее доверчиво, страстно раскрывалась перед ним, тянулась и ластилась к нему, а он... он уронил васильки на траву, достал из бокового кармана пальто круглое стеклышко в бронзовой оправе и принялся втискивать его в глаз; но, как он ни старался удержать его нахмуренной бровью, приподнятой щекой и даже носом — стеклышко все вываливалось и падало ему в руку.

— Что это? — спросила наконец изумленная Акулина.

— Лорнет,— отвечал он с важностью.

— Для чего?

— А чтоб лучше видеть.

— Покажите-ка.

Виктор поморщился, но дал ей стеклышко.

— Не разбей, смотри.

— Небось, не разобью. (Она робко поднесла его к глазу.) Я ничего не вижу, — невинно проговорила она.

— Да ты глаз-то, глаз-то зажмурь, — возразил он голосом недовольного наставника. (Она зажмурила глаз, перед которым держала стеклышко.) Да не тот, не тот, глупая! Другой! — воскликнул Виктор и, не давши ей исправить свою ошибку, отнял у ней лорнет.

Акулина покраснела, чуть-чуть засмеялась и отвернулась.

— Видно, нам не годится, — промолвила она.

— Еще бы!

Бедняжка помолчала и глубоко вздохнула.

— Ах, Виктор Александрыч, как это будет нам быть без вас! — сказала она лорнет.

Виктор вытер лорнет полою и положил его обратно в карман.

— Да, да, — заговорил он наконец, — тебе сначала будет тяжело, точно. (Он снисходительно потрепал ее по плечу; она тихонько достала с своего плеча его руку и робко ее поцеловала.) Ну, да, да, ты точно девка добрая, — продолжал он, самодовольно улыбувшись, — но что же делать? Ты сама посуди! Нам с баринном нельзя же здесь оставаться; теперь скоро зима, а в деревне — зимой — ты сама знаешь — просто скверность. То ли дело в Петербурге! Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а общество, образование — просто удивленье!.. (Акулина слушала его с пожирающим вниманьем, слегка раскрыв губы, как ребенок.) Впрочем, — прибавил он, заворочавшись на земле, — к чему я тебе это все говорю? Ведь ты этого понять не можешь.

— Отчего же, Виктор Александрыч? Я поняла; я все поняла.

— Вишь какая!

Акулина потупилась.

— Прежде вы со мной не так говаривали, Виктор Александрыч, — проговорила она, не поднимая глаз.

— Прежде?.. прежде! Вишь ты!.. Прежде! — заметил он, как бы негодуя.

Они оба помолчали.

— Однако мне пора идти, — проговорил Виктор и уже оперся было на локоть...

— Подождите еще немножко, — умоляющим голосом произнесла Акулина.

— Чего ждать?.. Ведь уж я простился с тобой.

— Подождите, — повторила Акулина.

Виктор опять улегся и принялся посвистывать. Акулина все не спускала с него глаз. Я мог заметить, что она понемногу при-

ходила в волнение: ее губы подергивало, бледные ее щеки слабо заалелись...

— Виктор Александрыч,— заговорила она наконец прерывающимся голосом,— вам грешно, вам грешно, Виктор Александрыч, ей-богу!

— Что такое грешно? — спросил он, нахмутив брови, и слегка приподнял и повернул к ней голову.

— Грешно, Виктор Александрыч. Хоть бы доброе словечко мне сказали на прощанье; хоть бы словечко мне сказали, горемычной сиротинушке...

— Да что я тебе скажу?

— Я не знаю; вы это лучше знаете, Виктор Александрыч. Вот вы едете, и хоть бы словечко... Чем я заслужила?

— Какая же ты странная! Что ж я могу?

— Хоть бы словечко...

— Ну, зарядила одно и то же,— промолвил он с досадой и встал.

— Не сердитесь, Виктор Александрыч,— поспешно прибавила она, едва сдерживая слезы.

— Я не сержусь, а только ты глупа... Чего ты хочешь? Ведь я на тебе жениться не могу? ведь не могу? Ну, так чего ж ты хочешь? чего? (Он уткнулся лицом, как бы ожидая ответа, и растопырил пальцы.)

— Я ничего... ничего не хочу,— отвечала она, заикаясь и едва осмеливаясь простирать к нему трепещущие руки,— а так хоть бы словечко, на прощанье...

И слезы полились у ней ручьем.

— Ну, так и есть, пошла плакать,— хладнокровно промолвил Виктор, надвигая сзади картуз на глаза.

— Я ничего не хочу,— продолжала она, всхлипывая и закрыв лицо обеими руками,— но каково же мне теперь в семье, каково же мне? И что же со мной будет, что станет со мной, горемычной? За немилото выдадут сиротиночку... Бедная моя головушка!

— Припевай, припевай,— вполголоса пробормотал Виктор, переминаясь на месте.

— А он хоть бы словечко, хоть бы одно... Дескать, Акулина, дескать, я...

Внезапные, надрывающие грудь рыдания не дали ей докончить речи — она повалилась лицом на траву и горько, горько заплакала... Все ее тело судорожно волновалось, затылок так и поднимался у ней... Долго сдержанное горе хлынуло наконец потоком. Виктор постоял над нею, постоял, пожал плечами, повернулся и ушел большими шагами.

Прошло несколько мгновений... Она притихла, подняла голову, вскочила, оглянулась и всплеснула руками; хотела было бежать за ним, но ноги у ней подкосились — она упала на колени... Я не выдержал и бросился к ней; но едва успела она взглянуть в меня, как откуда взялись силы — она с слабым криком поднялась и исчезла за деревьями, оставив разбросанные цветы на земле.

Я постоял, поднял пучок васильков и вышел из рощи в поле. Солнце стояло низко на бледно-ясном небе, лучи его тоже как будто поблекли и похолодели: они не сияли, они разливались ровным, почти водянистым светом. До вечера оставалось не более получаса, а заря едва-едва зажигалась. Порывистый ветер быстро мчался мне навстречу через желтое, высушенное жнивье; торопливо вздымаясь перед ним, стремились мимо, через дорогу, вдоль опушки, маленькие, покоробленные листья; сторона рощи, обращенная степью в поле, вся дрожала и сверкала мелким сверканьем, четко, но не ярко; на красноватой траве, на былинках, на соломинках — всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутинок. Я остановился... Мне стало грустно; сквозь невеселую, хотя свежую улыбку увядающей природы, казалось, прокрадывался унылый страх недалекой зимы. Высоко надо мной, тяжело и резко рассекая воздух крылами, пролетел осторожный ворон, повернул голову, посмотрел на меня сбоку, взмыл и, отрывисто каркая, скрылся за лесом; большое стадо голубей резво пронеслось с гумна и, внезапно закружившись столбом, хлопотливо расселось по полю — признак осени! Кто-то проехал за обнаженным холмом, громко стуча пустой телегой...

Я вернулся домой; но образ бедной Акулины долго не выходил из моей головы, и васильки ее, давно увядшие, до сих пор хранятся у меня...

ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА

На одной из моих поездок получил я приглашение отобедать у богатого помещика и охотника, Александра Михайлыча Г***. Его село находилось верстах в пяти от небольшой деревеньки, где я на ту пору поселился. Я надел фрак, без которого не советую никому выезжать даже на охоту, и отправился к Александру Михайлычу. Обед был назначен к шести часам; я приехал в пять и застал уже великое множество дворян в мундирах, в партикулярных платьях и других, менее определительных одеждах. Хозяин встретил меня ласково, но тотчас же побежал в официантскую. Он ожидал важного сановника и чувствовал некоторое волнение, вовсе несообразное с его независимым положением в свете и богатством. Александр Михайлыч никогда женатым не был и не любил женщин; общество у него собиралось холостое. Он жил на большую ногу, увеличил и отделал дедовские хоромы великолепно, выписывал ежегодно из Москвы тысяч на пятнадцать вина и вообще пользовался величайшим уважением. Александр Михайлыч давным-давно вышел в отставку и никаких почестей не добивался... Что же заставляло его напрашиваться на посещение сановного гостя и волноваться с самого утра в день торжественного обеда? Это остается покрыто мраком неизвестности, как говаривал один мой знакомый стряпчий, когда его спрашивали: берет ли он взятки с доброхотных дателей?

Расставшись с хозяином, я начал расхаживать по комнатам. Почти все гости были мне совершенно незнакомы; человек двадцать уже сидело за карточными столами. В числе этих любителей преферанса было: два военных с благородными, но слегка изношенными лицами, несколько штатских особ, в тесных, высоких галстуках и с висячими, крашеными усами, какие только бывают у людей решительных, но благонамеренных (эти благонамеренные люди с важностью подбирали карты и, не поворачивая головы, вскидывали сбоку глазами на подходивших); пять или шесть

уездных чиновников с круглыми брюшками, пухлыми и потными ручками и скромно-неподвижными ножками (эти господа говорили мягким голосом, кротко улыбались на все стороны, держали свои игры у самой манишки и, козыряя, не стучали по столу, а, напротив, волнообразно роняли карты на зеленое сукно и, складывая взятки, производили легкий, весьма учтивый и приличный скрип). Прочие дворяне сидели на диванах, кучками жались к дверям и подле окон; один, уже немолодой, но женоподобный по шаржности помещик стоял в уголку, вздрагивал, краснел и с замешательством вертел у себя на желудке печаткою своих часов, хотя никто не обращал на него внимания; иные господа, в круглых фраках и клетчатых панталонах работы московского портного, вечного цехового мастера иностранца Фирса Ключина, рассуждали необыкновенно развязно и бойко, свободно поворачивая своими жирными и голыми затылками; молодой человек лет двадцати, подслеповатый и белокурый, с ног до головы одетый в черную одежду, видимо робел, но язвительно улыбался...

Однако я начинал несколько скучать, как вдруг ко мне присоединился некто Войницын, недоучившийся молодой человек, проживавший в доме Александра Михайлыча в качестве... мудро сказать, в каком именно качестве. Он стрелял отлично и умел дрессировать собак. Я его знал еще в Москве. Он принадлежал к числу молодых людей, которые, бывало, на всяком экзамене «играли столбняка», то есть не отвечали ни слова на вопросы профессора. Этих господ, для красоты слога, называли также бакенбардистами. (Дела давно минувших дней, как изволите видеть.) Вот как это делалось: вызывали, например, Войницына. Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами, — вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. «Извольте взять билет», — с приятностью говорил ему профессор. Войницын протягивал руку и трепетно прикасался пальцами кучки билетов. «Да не извольте выбирать», — замечал дребезжающим голосом какой-нибудь посторонний, но раздражительный старичок, профессор из другого факультета, внезапно возненавидевший несчастного бакенбардиста. Войницын покорялся своей участи, брал билет, показывал номер и шел садиться к окну, пока предшественник его отвечал на свой вопрос. У окна Войницын не спускал глаз с билета, разве только для того, чтобы по-прежнему медленно посмотреть кругом, а впрочем, не шевелился ни одним членом. Вот, однако, предшественник его кончил; говорят ему: «Хорошо, ступайте», или даже: «Хорошо-с, очень хорошо-с», смотря по его способностям. Вот вызывают Войницына;

Войницын встает и твердым шагом приближается к столу. «Прочтите билет»,— говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать»,— лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скреживая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. «Что же вы?» Войницын молчит. Постороннего старичка начинает дергать. «Да скажите же что-нибудь!» Молчит мой Войницын, словно замер. Стриженный его затылок круто и неподвижно торчит навстречу любопытным взорам всех товарищей. У постороннего старичка глаза готовы выскочить: он окончательно ненавидит Войницына. «Однако ж это странно,— замечает другой экзаменатор,— что же вы, как немой, стоите? ну, не знаете, что ли? Так так и скажите».— «Позвольте другой билет взять»,— глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте»,— махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете: теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так! Он возвращается на свое место, так же неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя восклицает: «Ну баня! экая задача!» И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история.

Вот этот-то Войницын присоседился ко мне. Мы с ним говорили о Москве, об охоте.

— Не хотите ли,— шепнул он мне вдруг,— я познакомлю вас с первым здешним остряком?

— Сделайте одолжение.

Войницын подвел меня к человеку маленького роста, с высоким хохлом и усами, в коричневом фраке и пестром галстуке. Его желчные, подвижные черты действительно дышали умом и злостью. Беглая, едкая улыбка беспрестанно кривила его губы; черные, прищуренные глазки дерзко выглядывали из-под неровных ресниц. Подле него стоял помещик, широкий, мягкий, сладкий — настоящий Сахар-Медович — и кривой. Он заранее смеялся островам маленького человека и словно таял от удовольствия. Войницын представил меня остряку, которого звали Петром Петровичем Лупихиным. Мы познакомились, обменялись первыми приветствиями.

— А позвольте представить вам моего лучшего приятеля,— заговорил вдруг Лупихин резким голосом, схватив сладкого помещика за руку.— Да не упирайтесь же, Кирила Селифаныч,— при-

бавил он, — вас не укусят. Вот-с, — продолжал он, между тем как смущенный Кирила Селифаныч так неловко раскланивался, как будто у него отваливался живот, — вот-с, рекомендую-с, превосходный дворянин. Пользовался отличным здоровьем до пятидесятилетнего возраста, да вдруг вздумал лечить себе глаза, вследствие чего и окривел. С тех пор лечит своих крестьян с таким же успехом... Ну, а они, разумеется, с таковою же преданностию...

— Ведь этакой, — пробормотал Кирила Селифаныч и засмеялся.

— Договаривайте, друг мой, эх, договаривайте, — подхватил Лупихин. — Ведь вас, чего доброго, в судьи могут избрать, и изберут, посмотрите. Ну, за вас, конечно, будут думать заседатели, положим; да ведь надобно ж на всякий случай хоть чужую-то мысль уметь выговорить. Неравно заедет губернатор — спросит: отчего судья заикается? Ну, положим, скажут: паралич приключился; так бросьте ему, скажет, кровь. А оно в вашем положении, согласитесь сами, неприлично.

Сладкий помещик так и покатился.

— Ведь вишь смеется, — продолжал Лупихин, злобно глядя на колыхающийся живот Кирилы Селифаныча. — И отчего ему не смеяться? — прибавил он, обращаясь ко мне, — сыт, здоров, детей нет, мужики не заложены — он же их лечит, — жена с придурью. (Кирила Селифаныч немножко отвернулся в сторону, будто не расслышал, и все продолжал хохотать.) Смеюсь же я, а у меня жена с землемером убежала. (Он оскалился.) А вы этого не знали? Как же! Так-таки взяла да и убежала и письмо мне оставила: любезный, дескать, Петр Петрович, извини; увлеченная страстью, удаляюсь с другом моего сердца... А землемер только тем и взял, что не стриг ногтей да панталоны носил в обтяжку. Вы удивляетесь? Вот, дескать, откровенный человек... И, боже мой! наш брат степняк так правду-матку и режет. Однако отойдемте-ка в сторону... Что нам подле будущего судьи стоять-то...

Он взял меня под руку, и мы отошли к окну.

— Я слышу здесь за остряка, — сказал он мне в течение разговора, — вы этому не верьте. Я просто озлобленный человек и ругаюсь вслух: оттого я так и развязен. И зачем мне церемониться, в самом деле? Я ничье мнение в грош не ставлю и ничего не добиваюсь; я зол — что ж такое? Злому человеку, по крайней мере, ума не нужно. А как оно освежительно, вы не поверите... Ну вот, например, ну вот посмотрите на нашего хозяина! Ну из чего он бегаёт, помилуйте, то и дело на часы смотрит, улыбается, потеет, важный вид принимает, нас с голоду морит? Эка невидаль — са-

новное лицо! Вот, вот, опять побежал — заковылял даже, посмотрите.

И Лупихин визгливо засмеялся.

— Одна беда, барынь нету,— продолжал он с глубоким вздохом,— холостой обед,— а то вот где нашему брату пожива. Посмотрите, посмотрите,— воскликнул он вдруг,— идет князь Козельский — вон этот высокий мужчина с бородой, в желтых перчатках. Сейчас видно, что за границей побывал... И всегда так поздно приезжает. Глуп, скажу я вам, один, как пара купеческих лошадей, а изволили бы вы поглядеть, как снисходительно он с нашим братом заговаривает, как великодушно изволит улыбаться на любезности наших голодных матушек и дочек!.. И сам иногда острит, даром что проездом здесь живет; зато как и острит! Ни дать ни взять тупым ножом бечевку пилит. Он меня терпеть не может... Пойду поклонюсь ему.

И Лупихин побежал навстречу князю.

— А вот мой личный враг идет,— промолвил он, вдруг вернувшись ко мне,— видите этого толстого человека с бурым лицом и щетиной на голове,— вон, что шапку сгреб в руку да по стенке пробирается и на все стороны озирается, как волк? Я ему продал за четыреста рублей лошадь, которая стоила тысячу, и это бессловесное существо имеет теперь полное право презирать меня; а между тем сам до того лишен способности соображенья, особенно утром, до чаю, или тотчас после обеда, что ему скажешь: здравствуйте, а он отвечает: чего-с? А вот генерал идет,— продолжал Лупихин,— штатский генерал в отставке, разоренный генерал. У него дочь из свекловичного сахара и завод в золотухе... Виноват, не так сказал... ну, да вы понимаете. А! и архитектор сюда попал! Немец, а с усами и дела своего не знает,— чудеса!.. А впрочем, на что ему и знать свое дело-то; лишь бы взятки брал да колонн, столбов то есть, побольше ставил для наших столбовых дворян!

Лупихин опять захохотал... Но вдруг тревожное волнение распространилось по всему дому. Сановник приехал. Хозяин так и хлынул в переднюю. За ним устремились несколько приверженных домочадцев и усердных гостей... Шумный разговор превратился в мягкий, приятный говор, подобный весеннему жужжанью пчел в родимых ульях. Одна неугомонная оса — Лупихин и великолепный трутень — Козельский не понизили голоса... И вот вошла наконец матка — вошел сановник. Сердца понеслись к нему навстречу, сидящие туловища приподнялись; даже помещик, дешево купивший у Лупихина лошадь, даже тот помещик уткнул себе подбородок в грудь. Сановник поддержал свое достоинство как нельзя лучше: покачивая головой назад, будто кланяясь, он

выговорил несколько одобрительных слов, из которых каждое начиналось буквою *а*, произнесенною протяжно и в нос, — с негодованием, доходившим до голода, посмотрел на бороду князя Козельского и подал разоренному штатскому генералу с заводом и дочерью указательный палец левой руки. Через несколько минут, в течение которых сановник успел заметить два раза, что он очень рад, что не опоздал к обеду, все общество отправилось в столовую, тузами вперед.

Нужно ли рассказывать читателю, как посадили сановника на первом месте между штатским генералом и губернским предводителем, человеком с свободным и достойным выражением лица, совершенно соответствовавшим его накрахмаленной манишке, необъятному жилету и круглой табакерке с французским табаком, — как хозяин хлопотал, бегал, суетился, потчевал гостей, мимоходом улыбался спине сановника и, стоя в углу, как школьник, наскоро перехватывал тарелочку супу или кусочек говядины, — как дворецкий подал рыбу в полтора аршина длины и с букетом во рту, — как слуги, в ливреях, суровые на вид, угрюмо приставали к каждому дворянину то с малагой, то с дрей-мадерой и как почти все дворяне, особенно пожилые, словно нехотя покоряясь чувству долга, вышивали рюмку за рюмкой, — как, наконец, захлопали бутылки шампанского и начали провозглашаться задрванные тосты: все это, вероятно, слишком известно читателю. Но особенно замечательным показался мне анекдот, рассказанный самим сановником среди всеобщего радостного молчанья. Кто-то, кажется, разоренный генерал, человек, ознакомленный с новейшей словесностью, упомянул о влиянии женщин вообще и на молодых людей в особенности. «Да, да, — подхватил сановник, — это правда; но молодых людей должно в строгом повиновении держать, а то они, пожалуй, от всякой юбки с ума сходят». (Детски веселая улыбка промчалась по лицам всех гостей; у одного помещика даже благодарность заиграла во взоре.) «Ибо молодые люди глупы». (Сановник, вероятно, ради важности, иногда изменял общепринятые ударения слов.) «Вот хоть бы у меня, сын Иван, — продолжал он, — двадцатый год всего дураку пошел, а он вдруг мне и говорит: «Позвольте, батюшка, жениться». Я ему говорю: «Дурак, послужи сперва...» Ну, отчаянье, слезы... но у меня... того...» (Слово «того» сановник произнес более животом, чем губами; помолчал и величаво взглянул на своего соседа, генерала, причем гораздо более поднял брови, чем бы следовало ожидать. Штатский генерал приятно наклонил голову несколько набок и чрезвычайно быстро заморгал глазом, обращенным к сановнику.) «И что ж, — заговорил сановник опять, — теперь он сам мне пишет, что спасибо, дескать, батюшка, что дурака научил... Так вот как надобно поступать».

Все гости, разумеется, вполне согласились с рассказчиком и как будто оживились от полученного удовольствия и наставления... После обеда все общество поднялось и двинулось в гостиную с большим, но все же приличным и словно на этот случай разрешенным шумом... Сели за карты.

Кое-как дождался я вечера и, поручив своему кучеру заложить мою коляску на другой день в пять часов утра, отправился на покой. Но мне предстояло еще в течение того же самого дня познакомиться с одним замечательным человеком.

Вследствие множества наехавших гостей никто не спал в одиночку. В небольшой, зеленоватой и сыроватой комнате, куда привел меня дворецкий Александра Михайлыча, уже находился другой гость, совершенно раздетый. Увидев меня, он проворно нырнул под одеяло, закрылся им до самого носа, повозился немного на рыхлом пуховике и притих, зорко выглядывая из-под круглой каймы своего бумажного колпака. Я подошел к другой кровати (их всего было две в комнате), разделся и лег в сырые простыни. Мой сосед заворочался на своей постели... Я пожелал ему доброй ночи.

Прошло полчаса. Несмотря на все мои старания, я никак не мог заснуть: бесконечной вереницей тянулись друг за другом ненужные и неясные мысли, упорно и однообразно, словно ведра водоподъемной машины.

— А вы, кажется, не спите? — проговорил мой сосед.

— Как видите, — отвечал я. — Да и вам не спится?

— Мне никогда не спится.

— Как же так?

— Да так. Я засыпаю сам не знаю отчего; лежу, лежу, да и засну.

— Зачем же вы ложитесь в постель, прежде чем вам спать захочется?

— А что ж прикажете делать?

Я не отвечал на вопрос моего соседа.

— Удивляюсь я, — продолжал он после небольшого молчания, — отчего здесь блох нету. Кажется, где бы им и быть?

— Вы словно о них сожалеете, — заметил я.

— Нет, не сожалею; но я во всем люблю последовательность.

«Вот как, — подумал я, — какие слова употребляет».

Сосед опять помолчал.

— Хотите со мной об заклад побиться? — заговорил он вдруг довольно громко.

— О чем?

Меня мой сосед начинал забавлять.

— Гм... о чем? А вот о чем: я уверен, что вы меня принимаете за дурака.

— Помилуйте,— пробормотал я с изумлением.

— За степняка, за невежу... Сознайтесь...

— Я вас не имею удовольствия знать,— возразил я.— Почему вы могли заключить...

— Почему! Да по одному звуку вашего голоса: вы так небрежно мне отвечаете... А я совсем не то, что вы думаете...

— Позвольте...

— Нет, *вы* позвольте. Во-первых, я говорю по-французски не хуже вас, а по-немецки даже лучше; во-вторых, я три года провел за границей: в одном Берлине прожил восемь месяцев. Я Гегеля изучил, милостивый государь, знаю Гете наизусть; сверх того, я долго был влюблен в дочь германского профессора и женился дома на чахоточной барышне, лысой, но весьма замечательной личности. Стало быть, я вашего поля ягода; я не степняк, как вы полагаете... Я тоже заеден рефлексией, и непосредственного нет во мне ничего.

Я поднял голову и с удвоенным вниманием посмотрел на чудака. При тусклом свете ночника я едва мог разглядеть его черты.

— Вот вы теперь смотрите на меня,— продолжал он, поправив свой колпак,— и, вероятно, самих себя спрашиваете: как же это я не заметил его сегодня? Я вам скажу, отчего вы меня не заметили,— оттого, что я не возвышаю голоса; оттого, что я прячусь за других, стою за дверьми, ни с кем не разговариваю; оттого, что дворецкий с подносом, проходя мимо меня, заранее возвышает свой локоть в уровень моей груди... А отчего все это происходит? От двух причин: во-первых, я беден, а во-вторых, я смирился... Скажите правду, ведь вы меня не заметили?

— Я действительно не имел удовольствия...

— Ну да, ну да,— перебил он меня,— я это знал.

Он приподнялся и скрестил руки; длинная тень его колпака перегнулась со стены на потолок.

— А признайтесь-ка,— прибавил он, вдруг взглянув на меня сбоку,— я должен вам казаться большим чудаком, как говорится, оригиналом, или, может быть, пожалуй, еще чем-нибудь похуже: может быть, вы думаете, что я прикидываюсь чудаком?

— Я вам опять-таки должен повторить, что я вас не знаю...

Он на мгновение потупился.

— Почему я с вами, вовсе мне незнакомым человеком, так неожиданно разговорился — господь, господь один ведает! (Он вздохнул.) Не вследствие же родства наших душ! И вы, и я, мы оба порядочные люди, то есть эгоисты: ни вам до меня, ни мне до

вас нет ни малейшего дела; не так ли? Но нам обоим не спится... Отчего ж не поболтать? Я же в ударе, а это со мной редко случается. Я, видите ли, робок, и робок не в ту силу, что я провинциал, нечиновный, бедняк, а в ту силу, что я страшно самолюбивый человек. Но иногда, под влиянием благодатных обстоятельств, случайностей, которых я, впрочем, ни определить, ни предвидеть не в состоянии, робость моя исчезает совершенно, как вот теперь, например. Теперь поставьте меня лицом к лицу хоть с самим Далай-Ламой, — я и у него табачку попрошу понюхать. Но, может быть, вам спать хочется?

— Напротив, — поспешно возразил я, — мне очень приятно с вами разговаривать.

— То есть я вас потешаю, хотите вы сказать... Тем лучше... Итак-с, доложу вам, меня здесь величают оригиналом, то есть величают те, которым случайным образом, между прочей дребеденью, придет и мое имя на язык. «Моей судьбою очень никто не озабочен». Они думают уязвить меня... О боже мой! если б они знали... да я именно и гибну оттого, что во мне решительно нет ничего оригинального, ничего, кроме таких выходов, как, например, мой теперешний разговор с вами; но ведь эти выходы гроша медного не стоят. Это самый дешевый и самый низменный род оригинальности.

Он повернулся ко мне лицом и взмахнул руками.

— Милостивый государь! — воскликнул он. — Я того мнения, что вообще одним оригиналам житье на земле; они одни имеют право жить. *Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre*¹, сказал кто-то. Видите ли, — прибавил он вполголоса, — как я чисто выговариваю французский язык. Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна и что понимаешь ты все, много знаешь, за веком следишь, — да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! Одним складочным местом общих мест на свете больше, — да какое кому от этого удовольствие? Нет, ты будь хоть глуп, да по-своему! Запах свой имей, свой собственный запах, вот что! И не думайте, чтобы требования мои насчет этого запаха были велики... Сохрани бог! Таких оригиналов пропасть: куда ни погляди — оригинал; всякий живой человек оригинал, да я-то в их число не попал!

— А между тем, — продолжал он после небольшого молчания, — в молодости моей какие возбуждал я ожидания! Какое высокое мнение я сам питал о своей особе перед отъездом за границу, да и в первое время после возвращения! Ну, за границей я держал ухо востро, все особнячком пробирался, как оно и следует

¹ Мой стакан невелик, но я пью из своего стакана (*фр.*).

нашему брату, который все смекает себе, смекает, а под конец, смотришь,— ни аза не смекнул!

— Оригинал, оригинал! — подхватил он, с укоризной качая головой... — Зовут меня оригиналом... А на деле-то оказывается, что нет на свете человека менее оригинального, чем ваш покорнейший слуга. Я, должно быть, и родился-то в подражание другому... Ей-богу! Живу я тоже словно в подражание разным мною изученным сочинителям, в поте лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконец, словно не по собственной охоте, словно исполняя какой-то не то долг, не то урок,— кто его разберет!

Он сорвал колпак с головы и бросил его на постель.

— Хотите, я вам расскажу жизнь мою,— спросил он меня отрывистым голосом,— или, лучше, несколько черт из моей жизни?

— Сделайте одолжение.

— Или нет, расскажу-ка я вам лучше, как я женился. Ведь женитьба дело важное, пробный камень всего человека; в ней, как в зеркале, отражается... Да это сравнение слишком избито... Позвольте, я понюхаю табачку.

Он достал из-под подушки табакерку, раскрыл ее и заговорил опять, размахивая раскрытой табакеркой.

— Вы, милостивый государь, войдите в мое положение... Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию... скажу более — науку?

Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:

— А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее узнал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел... Да помилуйте,— продолжал он, опять переменяв голос, словно оправдываясь и робея,— где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то,— да молчит она, моя голубушка. Пойми меня, дескать, так; а мне это не под силу: мне вы подайте вывод, заключение мне представьте... Заключение? — Вот тебе, говорят, и заключение: послушай-ка наших московских — не соловьи, что ли? — Да в том-то и беда, что они курскими соловьями свищут, а не по-людскому говорят... Вот я подумал, подумал — ведь наука-то, кажись, везде одна, и истина одна,— взял да и пустился, с богом, в чужую сторону, к нехристям... Что прикажете! — молодость, гордость обуяла. Не хотелось, знаете, до времени заплыть жиром,

хоть оно, говорят, и здорово. Да, впрочем, кому природа не дала мяса, не видать тому у себя на теле и жиру!

— Однако,— прибавил он, подумав немного,— я, кажется, обещал вам рассказать, каким образом я женился. Слушайте же. Во-первых, доложу вам, что жены моей уже более на свете не имеется, во-вторых... а во-вторых, я вижу, что мне придется рассказать вам мою молодость, а то вы ничего не поймете... Ведь вам не хочется спать?

— Нет, не хочется.

— И прекрасно. Вы послушайте-ка... вот в соседней комнате господин Кантагрюхин храпит как неблагогородно! Родился я от небогатых родителей — говорю родителей, потому что, по преданию, кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню; сказывают, недалекий был человек, с большим носом и веснушками, рыжий и в одну поздю табак нюхал; в спальне у матушки висел его портрет, в красном мундире с черным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня, бывало, сечь водили, и матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая: он бы еще тебя не так. Можете себе представить, как это меня поощряло. Ни брата у меня не было, ни сестры; то есть, по правде сказать, был какой-то братишка заваливший, с английской болезнью на затылке, да что-то скоро больно умер... И зачем, кажись, английской болезни забраться Курской губернии в Щигровский уезд? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка со всем стремительным рвением степной помещицы: занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло шестнадцать лет... Вы следите за ходом моего рассказа?

— Как же, продолжайте.

— Ну, хорошо. Вот, как стукнуло мне шестнадцать лет, матушка моя, пимало пе медля, взяла да прогнала моего французского гувернера, немца Филиповича из нежинских греков; свезла меня в Москву, записала в университет, да и отдала всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчему Колтуну-Бабуре, птице, не одному Щигровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий Колтун-Бабура, ограбил меня, как водится, дочиста... Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я — должно отдать справедливость моей родительнице — довольно хорошо подготовленный; но недостаток оригинальности уже и тогда во мне замечался. Детство мое нисколько не отличалось от детства других юношей: я так же глупо и вяло рос, словно под периной, так же рано начал твердить стихи наизусть и киснуть, под предлогом мечтательной склонности... к чему бишь? — да, к прекрасному... и прочая. В университете я не пошел другой

дорогой: я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие... Но вы, может быть, не знаете, что такое кружок? Помнится, Шиллер сказал где-то:

Gefährlich ist's den Leu zu wecken,
Und schrecklich ist des Tigers Zahn,
Doch das schrecklichste der Schrecken —
Das ist der Mensch in seinem Wahn!¹

Он, уверяю вас, он не то хотел сказать; он хотел сказать: Das ist ein «кружок»... in der Stadt Moskau!

— Да что ж вы находите ужасного в кружке? — спросил я.

Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос.

— Что я нахожу ужасного? — вскрикнул он. — А вот что: кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни; кружок... о, да стойте; я вам скажу, что такое кружок! Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждениями, причает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия; в кружке, благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе; в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с «затаенными» мыслями; в кружке молодые, семнадцатилетние малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой, — да и о чем говорят! В кружке процветает хитростное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников... О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек!

— Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить, — прервал я его.

Мой сосед молча посмотрел на меня.

— Может быть, господь меня знает, может быть. Да ведь нашему брату только одно удовольствие и осталось — преувеличивать. Вот-с таким-то образом прожил я четыре года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь, как скоро, как

¹ Опасно будить льва, И страшен зуб тигра, Но самое ужасное из всех ужасов — Это человек в его безумии! (нем.)

страшно скоро прошло это время; даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно с горы на салазках покатишься... Смотришь, уж и примчался к концу; вот уж и вечер; вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук — оденешься и поплетешься к приятелю и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами да толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах. Но и тут встречал я оригинальных, самобытных людей: иной, как себя ни ломал, как ни гнул себя в дугу, а все природа брала свое; один я, несчастный, лепил самого себя, словно мягкий воск, и жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления! Между тем мне стукнуло двадцать один год. Я вступил во владение своим наследством, или, правильнее, тою частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить, дал доверенность на управление всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василью Кудряшеву и уехал за границу, в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, три года. И что ж? И там, и за границей, я остался тем же неоригинальным существом. Во-первых, нечего и говорить, что собственно Европы, европейского быта я не узнал ни на волос; я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги на самом месте рождения их... вот в чем состояла вся разница. Жизнь вел я уединенную, словно монах какой; снюхивался с отставными поручиками, удрученными, подобно мне, жаждой знания, весьма, впрочем, тугими на понимание и не одаренными даром слова; якшался с тупоумными семействами из Пензы и других хлебородных губерний; таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало, разговаривал с ними как-то напряженно и никого из них у себя не видал, исключая двух или трех навязчивых молодчиков еврейского происхождения, которые то и дело забегали ко мне да занимали у меня деньги, — благо der Russe верит. Странная игра случая занесла меня наконец в дом одного из моих профессоров; а именно вот как: я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми да и пригласи меня к себе на вечер. У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие — бог с ними — носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен: с кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки всё на лбу держал; притом ученейший был человек... И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен, — да целых шесть месяцев этак все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало, — больше так на нее смотрел; но читал ей вслух раз-

ные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не то просто вверх. Притом она так отлично варила кофе!.. Кажется, чего бы еще? Одно меня смущало: в самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня отчего-то все под ложечкой сосало и тоскливая, холодная дрожь пробегала по желудку. Я наконец не выдержал такого счастья и убежал. Целых два года я провел еще после того за границей: был в Италии, постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял; внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила; по вечерам пописывал стишки, начинал дневник; словом, и тут вел себя, как все. А между тем, посмотрите, как легко быть оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живописи и ваянии... Сказать бы мне это просто вслух... нет, как можно! Бери чичерона, беги смотреть фрески...

Он опять потупился и опять скинул колпак.

— Вот вернулся я наконец на родину,— продолжал он усталым голосом,— приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мною перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтал о себе бог ведает что. Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением; дамы с участием выслушивали мои разглагольствования; но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счет сплетня (кто ее произвел на свет божий, не знаю: должно быть, какая-нибудь старая дева мужеского пола,— таких старых дев в Москве пропасть), родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчивые нити,— не тут-то было... Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком; мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот как выжидают конца крапивной лихорадки, и те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия, те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи... Да вот в чем беда: не оригинальный человек. Добросовестность вдруг, извольте видеть, во мне проснулась: мне что-то стыдно стало болтать, болтать без умолку, болтать — вчера на Арбате, сегодня на Трубе, завтра на Сивцевом-Вражке, и всё о том же... Да коли этого требуют? Посмотрите-ка на настоящих ратоборцев на этом поприще: им это нипочем; напротив, только этого им и нужно; иной двадцатый год работает языком, и все в одном направлении... Что значит уверенность в самом себе и самолюбие! И у меня оно было, самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось... Да тем-то и плохо, что я, опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить

либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось; притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства, а на купчихе с молодым, но уже дряблым телом, вроде желе, я жениться не хотел,— и удалился к себе в деревню. Кажется,— прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку,— я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее...

— Можете, можете,— возразил я.

— Тем более,— продолжал рассказчик,— что это все вздор, по крайней мере что до меня касается. Я в деревне скучал, как щенок взаперти, хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания. Но эти смутные ожидания, вы сами знаете, никогда не сбываются, а напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе не ожидаешь, как-то: падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочая, и прочая. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не большим, грабителем да сверх того отравлявшего мое существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей, велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным: шесть месяцев спустя женился я на второй дочери полковницы!..

Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу.

— И между тем,— продолжал он с жаром,— я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы, хотя я должен, между нами, сознаться, что, если бы я не имел несчастья ее лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами, ибо еще до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься!

— Иным грушам,— начал он опять после небольшого молчания,— нужно некоторое время полежать под землей в подвале, для того чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус; моя покойница, видно, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведенных мною с ней до свадьбы, не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слез. Люди они были небогатые; дом их, весьма старинный, деревян-

ный, но удобный, стоял на горе, между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад, перед террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами; на каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одичалого малинника, стояла беседка, прехитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную; а в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя: по углам изразцовые печи, кисленькое фортепьяно направо, заваленное рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени, на стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закатившимися глазами, на столе ваза с свежими розами... Видите, как я подробно описываю. В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была скверная баба, с постоянной хрипотой злости в горле, притеснительное и сварливое существо; из дочерей одна — Вера, ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень, другая — Софья, — я в Софью влюбился. У обеих сестер была еще другая комнатка, общая их спальня, с двумя невипными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резедой, с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо (между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и еще более энергическою подписью, в юности своей возбуждавший песоразмерные ожидания, а кончивший, как все мы — ничем), с бюстами Гете и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память. Но в эту комнату я ходил редко и неохотно: мне там отчего-то дыхание сдавливало. Притом — странное дело! Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером, на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще резко отделявшиеся от розового неба; в гостиной, за фортепьянами, сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу из Бетховена; злая старуха мирно похрапывала, сидя на диване; в столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем; самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался; с веселым треском ломались крендельки, ложечки звонко стучали по чашкам; канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихала и только изредка чирика-

ла, как будто о чем-то спрашивала; из прозрачного, легкого облачка мимоходом падали редкие капли... А я сидел, сидел, слушал, слушал, глядел, сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот, под влиянием такого-то вечера я однажды спросил у старухи руку ее дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я ее любил... Да и теперь — пора бы знать, а я, ей-богу, и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с теплым сердцем; но, бог знает отчего, от долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин, у ней на дне души (если только есть дно у души) таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем невозможно было излечить, да и назвать ее ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался только после брака. Уж я ли не бился над ней — ничто не помогало! У меня в детстве был чиж, которого кошка раз подержала в лапах; его спасли, вылечили, но не исправился мой бедный чиж; дулся, чах, перестал петь... Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забралась к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он наконец решился умереть. Не знаю, какал кошка подержала жену мою в своих лапах, только и она так же дулась и чахла, как мой несчастный чиж. Иногда ей самой, видимо, хотелось встрепенуться, взыграть на свежем воздухе, на солнышке да на воле; попробует — и свернется в клубочек. И ведь она меня любила: сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остается желать, — тьфу, черт возьми! — а у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем? Собрал справки: ничего не оказалось. Ну вот, теперь посудите сами: оригинальный человек пожал бы плечом, может быть, вздохнул бы раза два да и принялся бы жить по-своему; а я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того въелись все привычки старой девицы — Бетховен, ночные прогулки, резеда, переписка с друзьями, альбомы и прочее, — что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла; а между тем смешно же замужней женщине томиться безыменной тоской и петь по вечерам: «Не буди ты ее на заре».

Вот-с, таким-то образом-с мы блаженствовали три года; па четвертый Софья умерла от первых родов, и — странное дело — мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, землю — новым обитателем. Помню я, как ее хоронили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит; на каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине, пред царскими дверя-

ми, одели полинялым покровом, поставили кругом три подсвечника. Служба началась. Дряхлый дьячок, с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым кушаком, печально шамшил перед налоем; священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берез; со двора несло травяным запахом; красное пламя восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня; воробьи так и чирикали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетевшей ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немногочисленных мужиков, усердно молившихся за покойницу; тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я глядел на мертвое лицо моей жены... Боже мой! и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны: то же болезненное, робкое, немое выражение,— ей словно и в гробу неловко... Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо, а для себя же хорошо сделала, что умерла!

У рассказчика покраснели щеки и потускнели глаза.

— Отделавшись наконец,— заговорил он опять,— от тяжелого унынья, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе; но в больших комнатах казенного заведения у меня голова разбалчивалась, глаза тоже плохо действовали; другие кстати подошли причины... я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву, да, во-первых, денег не достало, а во-вторых... я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг и не вдруг. Духом-то я уже давно смирился, да голове моей все еще не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастью... С другой стороны, я уже давно замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моей ученостью, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то с кондачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже «слово-ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение первого года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть; но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать, но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того, дошло до моего све-

дения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора как о человеке выдохшемся и пустом. Но мое полудобровольное ослепление все еще продолжалось: не хотелось, знаете, самого себя «зашить»; наконец в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. Ко мне заехал исправник с намерением обратить мое внимание на провалившийся мост в моих владениях, который мне решительно не на что было починить. Заедая рюмку водки куском балыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность, впрочем, вошел в мое положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу, закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почетного звания губернского предводителя в то время добивался некто Орбассанов, пустой крикун да еще и взяточник в придачу. Притом же он не отличался ни богатством, ни знатностью. Я высказал свое мнение на его счет, и довольно даже небрежно: я, признаюсь, глядел на г. Орбассанова свысока. Исправник посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил: «Эх, Василий Васильич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать,— где нам?.. Знай сверчок свой шесток». — «Да помилуйте,— возразил я с досадой,— какая же разница между мною и г. Орбассановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза — и так и прыснул. «Ну, потешник,— проговорил он наконец сквозь слезы,— ведь экую штуку выкинул... а! каков?» — и до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка поталкивая меня локтем под бок и говоря мне уже «ты». Он уехал наконец. Этой капли только недоставало; чаша перелилась. Я прошелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, долго, долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих: я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек!

Рассказчик помолчал.

— В одной трагедии Вольтера,— уныло продолжал он,— какой-то барин радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния; я испытал, как сладко, в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения,— я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите: безденежье меня приковывало к ненавистой мне деревне; ни хозяйства, ни служба, ни литература — ничто ко мне не пристало; помещиков я чуждался, книги мне опротивели; для

водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «жызнъ», — я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться; уединиться совершенно я не умел и не мог... Я стал, что вы думаете? я стал таскаться по соседям. Словно опьяненный презрением к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе; мне не давали даже вмешиваться в общий разговор, и я сам, бывало, нарочно поддакивал из угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время оно, в Москве, с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели... Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии... Помилуйте, что за ирония в одиночку! Вот-с как я поступал несколько лет сряду и как поступаю еще до сих пор...

— Однако это ни на что не похоже, — проворчал из соседней комнаты заспанный голос г. Кантагрюхина, — какой там дурак вздумал ночью разговаривать?

Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем.

— Тс... тс... — прошептал он — и, словно извиняясь и кланяясь в направлении кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил: — Слушаю-с, слушаю-с, извините-с... Ему позволительно спать, ему следует спать, — продолжал он снова шепотом, — ему должно набраться новых сил, ну хоть бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. Притом же я, кажется, вам все сказал, что хотел; вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи.

Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушки.

— Позвольте, по крайней мере, узнать, — спросил я, — с кем я имел удовольствие...

Он проворно поднял голову.

— Нет, ради бога, — прервал он меня, — не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени... А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите... назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много, но может быть, вы с другими не сталкивались... Засим прощайте.

Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уж не было в комнате. Он уехал до зари.

ЧЕРТОПХАНОВ И НЕДОПЮСКИН

В жаркий летний день возвращался я однажды с охоты на телеге; Ермолай дремал, сидя возле меня, и клевал носом. Заснувшие собаки подпрыгивали, словно мертвые, у нас под ногами. Кучер то и дело стогнал кнутом оводов с лошадей. Белая пыль легким облаком неслась вслед за телегой. Мы въехали в кусты. Дорога стала ухабистее, колеса начали задевать за сучья. Ермолай встрепенулся и глянул кругом... «Э! — заговорил он, — да здесь должны быть тетерева. Слеземте-ка». Мы остановились и вошли в «площадь». Собака моя паткнулась на выводок. Я выстрелил и начал было заряжать ружье, как вдруг позади меня поднялся громкий треск, и, раздвигая кусты руками, подъехал ко мне верховой. «А па-азвольте узнать, — заговорил он надменным голосом, — по какому праву вы здесь а-ахотитесь, мюлсвый сдарь?» Незнакомец говорил необыкновенно быстро, отрывочно и в нос. Я посмотрел ему в лицо: отроду не видал я ничего подобного. Вообразите себе, любезные читатели, маленького человека, белокурого, с красным вздернутым носиком и длиннейшими рыжими усами. Остроконечная персидская шапка с малиновым суконным верхом закрывала ему лоб по самые брови. Одет он был в желтый, истасканный архалук с черными плисовыми патронами на груди и полинялыми серебряными галунами по всем швам; через плечо висел у него рог, за поясом торчал кинжал. Чахлая горбоносая рыжая лошадь металась под ним как угорелая; две быстрые собаки, худые и криволапые, тут же вертелись у ней под ногами. Лицо, взгляд, голос, каждое движенье, все существо незнакомца дышало сумасбродной отвагой и гордостью непомерной, небывалой; его бледно-голубые, стеклянные глаза разбегались и косились, как у пьяного; он закидывал голову назад, надувал щеки, фыркал и вздрагивал всем телом, словно из избытка достоинства, — ни дать ни взять, как индейский петух. Он повторил свой вопрос.

— Я не знал, что здесь запрещено стрелять, — отвечал я.

— Вы здесь, милостивый государь,— продолжал он,— на моей земле.

— Извольте, я уйду.

— А па-азвольте узнать,— возразил он,— я с дворянином имею честь объясняться?

Я назвал себя.

— В таком случае извольте охотиться. Я сам дворянин и очень рад услужить дворянину... А зовут меня Чер-топ-хановым, Пантелеем.

Он нагнулся, гикнул, вытянул лошадь по шее; лошадь замотала головой, взвилась на дыбы, бросилась в сторону и отдала одной собаке лапу. Собака пронзительно завизжала. Чертопханов закипел, зашипел, ударил лошадь кулаком по голове между ушами, быстрее молнии соскочил наземь, осмотрел лапу у собаки, поплевал на рану, пихнул ее ногою в бок, чтобы она не пищала, уцепился за холку и вдел ногу в стремя. Лошадь задрала морду, подняла хвост и бросилась боком в кусты; он за ней на одной ноге вприпрыжку, однако наконец-таки попал в седло; как исступленный завертел нагайкой, затрубил в рог и поскакал. Не успел я еще прийти в себя от неожиданного появления Чертопханова, как вдруг, почти без всякого шума, выехал из кустов толстенький человек лет сорока, на маленькой вороненькой лошаденке. Он оставил, снял с головы зеленый кожаный картуз и тоненьким и мягким голосом спросил меня, не видал ли я верхового на рыжей лошади? Я отвечал, что видел.

— В какую сторону они изволили поехать? — продолжал он тем же голосом и не надевая картуза.

— Туда-с.

— Покорнейше вас благодарю-с.

Он чмокнул губами, заболтал погами по бокам лошаденки и пошелся рысцей — трюхи, трюхи, — по указанному направлению. Я посмотрел ему вслед, пока его рогатый картуз не скрылся за ветвями. Этот новый незнакомец наружностью нисколько не походил на своего предшественника. Лицо его, пухлое и круглое, как шар, выражало застенчивость, добродушие и кроткое смирение; нос, тоже пухлый и круглый, испещренный синими жилками, изобличал сластолюбца. На голове его спереди не оставалось ни одного волосика, сзади торчали жиденькие русые косицы; глазки, словно осокой прорезанные, ласково мигали; сладко улыбались красные и сочные губки. На нем был сюртук с стоячим воротником и медными пуговицами, весьма поношенный, но чистый; суконные его панталончики высоко вздернулись; над желтыми оторочками сапогов виднелись жирненькие икры.

— Кто это? — спросил я Ермолая.

- Это? Недопюскин, Тихон Иванович. У Чертопханова живет.
- Что он, бедный человек?
- Небогатый; да ведь и у Чертопханова-то гроша нет медного.
- Так зачем же он у него поселился?
- А, вишь, подружились. Друг без дружки никуда... Вот уж

подлинно: куда конь с копытом, туда и рак с клешней...

Мы вышли из кустов; вдруг подле нас «затякали» две гончие, и матерой беляк покатил по овсам, уже довольно высоким. Вслед за ним выскочили из опушки собаки, гончие и борзые, а вслед за собаками вылетел сам Чертопханов. Он не кричал, не травил, не атукал: он задыхался, захлебывался; из разинутого рта изредка вырывались отрывистые, бессмысленные звуки; он мчался, выпуча глаза, и бешено сек нагайкой несчастную лошадь. Борзые «приспели»... беляк присел, круто повернул назад и ринулся, мимо Ермолая, в кусты... Борзые пронеслись. «Бе-е-ги, бе-е-ги! — с усилием, словно косноязычный, залепетал замиравший охотник, — родимый, береги!» Ермолай выстрелил... раненый беляк покатился кубарем по гладкой и сухой траве, подпрыгнул кверху и жалобно закричал в зубах расовавшегося пса. Гончие тотчас подвалились.

Турманом слетел Чертопханов с коня, выхватил кинжал, подбежал, растопыря ноги, к собакам, с яростными заклинаниями вырвал у них истерзанного зайца и, перекосясь всем лицом, погрузил ему в горло кинжал по самую рукоятку... погрузил и загоготал. Тихон Иванович показался в опушке. «Го-го-го-го-го-го-го!» — завопил вторично Чертопханов... «Го-го-го-го», — спокойно повторил его товарищ.

— А ведь, по-настоящему, летом охотиться не следует, — заметил я, указывая Чертопханову на измятый овес.

— Мое поле, — отвечал, едва дыша, Чертопханов.

Он отпазончил, второчил зайца и роздал собакам лапки.

— За мною заряд, любезный, по охотничьим правилам, — проговорил он, обращаясь к Ермолаю. — А вас, милостивый государь, — прибавил он тем же отрывистым и резким голосом, — благодарю.

Он сел на лошадь.

— Па-азвольте узнать... забыл... имя и фамилию?

Я опять назвал себя.

— Очень рад с вами познакомиться. Коли случится, милости просим ко мне... Да где же этот Фомка, Тихон Иванович? — с сердцем продолжал он, — без него беляка затравили.

— А под ним лошадь пала, — с улыбкой отвечал Тихон Иванович.

— Как пала? Орбассан пал? Пфу, пфить!.. Где он, где?

— Там, за лесом.

Чертопханов ударил лошадь нагайкой по морде и поскакал сломя голову. Тихон Иванович поклонился мне два раза — за себя и за товарища, и опять поплелся рысцей в кусты.

Эти два господина сильно возбудили мое любопытство... Что могло связать узами неразрывной дружбы два существа, столь разнородные? Я начал наводить справки. Вот что я узнал.

Чертопханов, Пантелей Еремеич, слыл во всем околотке человеком опасным и сумасбродным, гордецом и забиякой первой руки. Служил он весьма недолгое время в армии и вышел в отставку «по неприятности», тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица. Происходил он от старинного дома, некогда богатого; деды его жили пышно, по-степному, то есть принимали званых и незваных, кормили их на убой, отпускали по четверти овса чужим кучерам на тройку, держали музыкантов, песельников, гаеров и собак, в торжественные дни поили народ вином и брагой, по зимам ездили в Москву на своих, в тяжелых колымагах, а иногда по целым месяцам сидели без гроша и питались домашней живностью. Отцу Пантелея Еремеича досталось имение уже разоренное; он, в свою очередь, тоже сильно «пожурировал» и, умирая, оставил единственному своему наследнику, Пантелею, заложенное сельцо Бессоново, с тридцатью пятью душами мужеска и семидесятью шестью женска пола да четырнадцать десятин с осьминником неудобной земли в пустоши Колобродовой, на которые, впрочем, никаких крепостей в бумагах покойника не оказалось. Покойник, должно сознаться, престранн-ным образом разорился: «хозяйственный расчет» его сгубил. По его понятиям, дворянину не следовало зависеть от купцов, горожан и тому подобных «разбойников», как он выражался; он завел у себя всевозможные ремесла и мастерские. «И приличнее и дешевле,— говаривал он,— хозяйственный расчет!» С этой пагубной мыслью он до конца жизни не расстался; она-то его и разорила. Зато потешился! Ни в одной прихоти себе не отказывал. Между прочими выдумками соорудил он однажды, по собственным соображениям, такую огромную семейственную карету, что, несмотря на дружные усилия согнанных со всего села крестьянских лошадей вместе с их владельцами, она на первом же косогоре завалилась и рассыпалась. Еремей Лукич (Пантелеева отца звали Еремеем Лукичом) приказал памятник поставить на косогоре, а впрочем, нисколько не смутился. Вздумал он также построить церковь, разумеется, сам, без помощи архитектора. Сжег целый лес на кирпичи, заложил фундамент огромный, хоть бы под губернский собор, вывел стены, начал сводить купол: купол упал. Он опять — купол опять обрушился; он третий раз — купол рухнул в третий раз. Призадумался мой Еремей Лукич: дело, думает, не

ладно... колдовство проклятое замешалось... да вдруг и прикажи перепороть всех старых баб на деревне. Баб перепороли — а купол все-таки не свели. Избы крестьянам по новому плану перестраивать начал, и всё из хозяйственного расчета; по три двора вместе ставил треугольником, а на середине воздвигал шест с раскрашенной скворечницей и флагом. Каждый день, бывало, новую затею придумывал: то из лопуха суп варил, то лошадям хвосты стриг на картузы дворовым людям, то лен собирался крапивой заменить, свиней кормить грибами... Вычитал он однажды в «Московских ведомостях» статейку харьковского помещика Хрякá-Хрупёрского о пользе нравственности в крестьянском быту и на другой же день отдал приказ всем крестьянам немедленно выучить статью харьковского помещика наизусть. Крестьяне выучили статью; барин спросил их: понимают ли они, что там написано? Приказчик отвечал, что как, мол, не понять! Около того же времени повелел он всех подданных своих, для порядка и хозяйственного расчета, перенумеровать и каждому на воротнике нашить его номер. При встрече с барином всяк, бывало, так уж и кричит: такой-то номер идет! а барин отвечает ласково: ступай с богом!

Однако, несмотря на порядок и хозяйственный расчет, Еремей Лукич понемногу пришел в весьма затруднительное положение: начал сперва закладывать свои деревеньки, а там и к продаже приступил; последнее прадедовское гнездо, село с недостроенною церковью, продала уже казна, к счастью, не при жизни Еремея Лукича, — он бы не вынес этого удара, — а две недели после его кончины. Он успел умереть у себя в доме, на своей постели, окруженный своими людьми и под надзором своего лекаря; но бедному Пантелею досталось одно Бессоново.

Пантелей узнал о болезни отца уже на службе, в самом разгаре вышеупомянутой «неприятности». Ему только что пошел девятнадцатый год. С самого детства не покидал он родительского дома и под руководством своей матери, добрейшей, но совершенно тупоумной женщины, Василисы Васильевны, вырос баловнем и барчуком. Она одна занималась его воспитанием; Еремею Лукичу, погруженному в свои хозяйственные соображения, было не до того. Правда, он однажды собственноручно наказал своего сына за то, что он букву «рцы» выговаривал: «арцы», но в тот день Еремей Лукич скорбел глубоко и тайно: лучшая его собака убилась об дерево. Впрочем, хлопоты Василисы Васильевны насчет воспитания Пантюши ограничились одним мучительным усилием: в поте лица наняла она ему в гувернеры отставного солдата из эльзасцев, некоего Биркопфа, и до самой смерти трепетала как лист перед ним: ну, думала она, коли откажется — пропала я! куда я денусь? Где другого учителя найду? Уж и этого насилу-насилу у соседки

смашила! И Биркопф, как человек сметливый, тотчас воспользовался исключительностью своего положения: пил мертвую и спал с утра до вечера. По окончании «курса наук» Пантелей поступил на службу. Василисы Васильевны уже не было на свете. Она скончалась за полгода до этого важного события, от испуга: ей во сне привиделся белый человек верхом на медведе. Еремей Лукич вскоре последовал за своей половиной.

Пантелей, при первом известии о его нездоровье, прискакал сломя голову, однако не застал уже родителя в живых. Но каково было удивление почтительного сына, когда он совершенно неожиданно из богатого наследника превратился в бедняка! Немногие в состоянии вынести такой крутой перелом. Пантелей одичал, ожесточился. Из человека честного, щедрого и доброго, хотя взбалмошного и горячего, он превратился в гордеца и забияку, перестал знаться с соседями,— богатых он стыдился, бедных гнушался,— и неслыханно дерзко обращался со всеми, даже с установленными властями: я, мол, столбовой дворянин. Раз чуть-чуть не застрелил станového, вошедшего к нему в комнату с картузом на голове. Разумеется, власти, с своей стороны, ему тоже не спускали и при случае давали себя знать; но все-таки его побаивались, потому что горячка он был страшная и со второго слова предлагал резаться на ножах. От малейшего возражения глаза Чертопханова разбегались, голос прерывался... «А ва-ва-ва-ва-ва,— лепетал он,— пропадай моя голова!»... и хоть на стену! Да и сверх того, человек он был чистый, не замешанный ни в чем. Никто к нему, разумеется, не ездил... И при всем том душа в нем была добрая, даже великая по-своему: несправедливости, притеснения он вчуже не выносил; за мужиков своих стоял горой. «Как? — говорил он, неистово стуча по собственной голове,— моих трогать, моих? Да не будь я Чертопханов...»

Тихон Иваныч Недопюскин не мог, подобно Пантелею Еремичу, гордиться своим происхождением. Родитель его вышел из однопорцев и только сорокалетней службой добился дворянства. Г-н Недопюскин-отец принадлежал к числу людей, которых несчастье преследует с ожесточением неослабным, неутомимым, с ожесточением, похожим на личную ненависть. В течение целых шестидесяти лет, с самого рождения до самой кончины, бедняк боролся со всеми нуждами, недугами и бедствиями, свойственными маленьким людям; бился как рыба об лед, недоедал, недосыпал, кланялся, хлопотал, унывал и томился, дрожал над каждой копейкой, действительно «невинно» пострадал по службе и умер наконец не то на чердаке, не то в погребе, не успев заработать ни себе, ни детям куска насущного хлеба. Судьба замотала его, словно зайца

на угонках. Человек он был добрый и честный, а брал взятки — «по чину» — от гривенника до двух целковых включительно. Была у Недопюскина жена, худая и чахоточная; были и дети; к счастью, они все скоро перемерли, исключая Тихона да дочери Митродоры, по прозванию «купецкая щеголиха», вышедшей, после многих печальных и смешных приключений, за отставного стряпчего. Г-н Недопюскин-отец успел было еще при жизни поместить Тихона заштатным чиновником в канцелярию; но тотчас после смерти родителя Тихон вышел в отставку. Вечные тревоги, мучительная борьба с холодом и голодом, тоскливое уныние матери, хлопотливое отчаяние отца, грубые притеснения хозяев и лавочника — все это ежедневное, непрерывное горе развил в Тихоне робость неизъяснимую: при одном виде начальника он трепетал и замирал, как пойманная птичка. Он бросил службу. Равнодушная, а может быть и насмешливая, природа влагает в людей разные способности и наклонности, нисколько не соображаясь с их положением в обществе и средствами; с свойственною ей заботливостию и любовью вылепила она из Тихона, сына бедного чиновника, существо чувствительное, ленивое, мягкое, восприимчивое — существо, исключительно обращенное к наслаждению, одаренное чрезвычайно тонким обонянием и вкусом... вылепила, тщательно отделила и — предоставила своему произведению вырастать на кислой капусте и тухлой рыбе. И вот оно выросло, это произведение, начало, как говорится, «жить». Пошла потеха. Судьба, неотступно терзавшая Недопюскина-отца, принялась и за сына: видно, разлакомилась. Но с Тихоном она поступила иначе; она не мучила его — она им забавлялась. Она ни разу не доводила его до отчаяния, не заставляла испытать постыдных мук голода, но мыкала им по всей России, из Великого-Устюга в Царево-Кукшайск, из одной унижительной и смешной должности в другую: то жаловала его в «мажордомы» к сварливой и желчной барыне-благодетельнице, то помещала в нахлебники к богатому скряге-купцу, то определяла в начальники домашней капцелярии лупоглазого барина, стриженного на английский манер, то производила в полудворецкие, полушуты к псовому охотнику... Словом, судьба заставила бедного Тихона выпить по капле и до капли весь горький и ядовитый напиток подчиненного существования. Послужил он на своем веку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства... Сколько раз, наедине, в своей комнатке, отпущенный наконец «с богом» натешившейся властью ватагою гостей, клялся он, весь пылая стыдом, с холодными слезами отчаяния на глазах, на другой же день убежать тайком, попытать своего счастья в городе, сыскать себе хоть писарское местечко или уж за один раз умереть с голоду на улице. Да, во-первых, силы бог не дал; во-вторых, ро-

бость разбирала, а в-третьих, наконец, как себе место выхлопотать, кого просить? «Не дадут,— шептал, бывало, несчастный, уныло переворачиваясь на постели,— не дадут!» И на другой день снова принимался тянуть ляжку. Тем мучительнее было его положение, что та же заботливая природа не потрудилась наделить его хоть малой толикой тех способностей и дарований, без которых ремесло забавника почти невозможно. Он, например, не умел ни плясать до упаду в медвежьей шубе навыворот, ни балагурить и любезничать в непосредственном соседстве расхोлившихся арапников; выставленный нагишом на двадцатиградусный мороз, он иногда простужался, желудок его не варил ни вина, смешанного с чернилами и прочей дрянью, ни крошенных мухоморов и сыроежек с уксусом. Господь ведаёт, что бы случилось с Тихоном, если бы последний из его благодетелей, разбогатевший откупщик, не вздумал в веселый час приписать в своем завещании: а Зёзе (Тихону тож) Недопюскину предоставляю в вечное и потомственное владение благоприобретенную мною деревню Бесселендеевку со всеми угодьями. Песколько дней спустя благодетеля, за стерляжьей ухой, прихлопнул паралич. Поднялся гвалт, суд нагрязнул, опечатав имущество, как следует. Съехались родные; раскрыли завещание: прочли, потребовали Недопюскина. Явился Недопюскин. Большая часть собранья знала, какую должность Тихон Иванович занимал при благодетеле: оглушительные восклицания, насмешливые поздравления посылались ему навстречу. «Помещик, вот он, новый помещик!» — кричали прочие наследники. «Вот уж того,— подхватил один, известный шутник и остряк,— вот уж точно, можно сказать... вот уж действительно... того... что называется... того... наследник». — И все так и прыснули. Недопюскин долго не хотел верить своему счастью. Ему показали завещание — он покраснел, зажмурился, начал отмахиваться руками и зарыдал в три ручья. Хохот собранья превратился в густой и слитный рев. Деревня Бесселендеевка состояла всего из двадцати двух душ крестьян; ликто о ней не сожалел сильно, так почему же, при случае, не потешиться? Один только наследник из Петербурга, важный мужчина с греческим носом и благороднейшим выражением лица, Ростислав Адамыч Штоппель, не вытерпел, пододвинулся боком к Недопюскину и надменно глянул на него через плечо. «Вы, сколько я могу заметить, милостивый государь,— заговорил он презрительно-небрежно,— состояли у почтенного Феодора Феодорыча в должности потешного, так сказать, прислужника?» Господин из Петербурга выражался языком нестерпимо чистым, бойким и правильным. Расстроенный, взволнованный Недопюскин не расслышал слов незнакомого ему господина, но прочие тотчас все замолкли; остряк спиходительно улыбнулся. Г-н Штоппель потер себе руки и повторил свой вопрос. Недопюскин с изумлени-

ем поднял глаза и раскрыл рот. Ростислав Адамыч язвительно прищурился.

— Поздравляю вас, милостивый государь, поздравляю,— продолжал он,— правда, не всякий, можно сказать, согласился бы таким образом зарррработывать себе насущный хлеб; но *de gustibus non est disputandum*, то есть у всякого свой вкус... Не правда ли?

Кто-то в задних рядах быстро, но прилично взвизгнул от удивления и восторга.

— Скажите,— подхватил г. Штоппель, сильно поощренный улыбками всего собрания,— какому таланту в особенности вы обязаны своим счастьем? Нет, не стыдитесь, скажите; мы все здесь, так сказать, свои, *en famille*. Не правда ли, господа, мы здесь *en famille*?

Наследник, к которому Ростислав Адамыч случайно обратился с этим вопросом, к сожалению, не знал по-французски и потому ограничился одним одобрительным и легким кряхтением. Зато другой наследник, молодой человек с желтоватыми пятнами на лбу, поспешно подхватил: «Вуй, вуй, разумеется».

— Может быть,— снова заговорил г. Штоппель,— вы умеете ходить на руках, поднявши ноги, так сказать, кверху?

Недопускин с тоской поглядел кругом — все лица злобно усмехались, все глаза покрылись влагой удовольствия.

— Или, может быть, вы умеете петь, как петух?

Взрыв хохота раздался кругом и стих тотчас, заглушенный ожиданием.

— Или, может быть, вы на носу...

— Перестаньте! — перебил вдруг Ростислава Адамыча резкий и громкий голос.— Как вам не стыдно мучить бедного человека!

Все оглянулись. В дверях стоял Чертопханов. В качестве четвероюродного племянника покойного откупщика он тоже получил пригласительное письмо на родственный съезд. Во все время чтения он, как всегда, держался в гордом отдалении от прочих.

— Перестаньте,— повторил он, гордо закинув голову.

Г-н Штоппель быстро обернулся и, увидав человека бедно одетого, неказистого, вполголоса спросил у соседа (осторожность никогда не мешает):

— Кто это?

— Чертопханов, не важная птица,— отвечал ему тот на ухо.

Ростислав Адамыч принял надменный вид.

— А вы что за командир? — проговорил он в нос и прищурил глаза.— Вы что за птица, позвольте спросить?

Чертопханов вспыхнул, как порох от искры. Бешенство захватило ему дыханье.

— Дз-дз-дз-дз,— зашипел он, словно удавленный, и вдруг загремел: — Кто я? кто я? Я Пантелей Чертопханов, столбовой дворянин, мой прапращур царю служил, а ты кто?

Ростислав Адамыч побледнел и шагнул назад. Он не ожидал такого отпора.

— Я птица, я, я птица... О, о, о!..

Чертопханов ринулся вперед; Штоппель отскочил в большом волнении, гости бросились навстречу раздраженному помещику.

— Стреляться, стреляться, сейчас стреляться через платок! — кричал рассвирепевший Пантелей, — или проси извинения у меня, да и у него...

— Просите, просите извинения, — бормотали вокруг Штоппеля встревоженные последники, — он ведь такой сумасшедший, готов зарезать.

— Извините, извините, я не знал, — залепетал Штоппель, — я не знал...

— И у него проси! — возопил неугомонный Пантелей.

— Извините и вы, — прибавил Ростислав Адамыч, обращаясь к Недопоскину, который сам дрожал, как в лихорадке.

Чертопханов успокоился, подошел к Тихопу Иванычу, взял его за руку, дерзко глянул кругом и, не встречая ни одного взора, торжественно, среди глубокого молчания, вышел из комнаты вместе с новым владельцем благоприобретенной деревни Бесселендеевки.

С того самого дня они уже более не расставались. (Деревня Бесселендеевка отстояла всего на восемь верст от Бессопова.) Неограниченная благодарность Недопоскина скоро перешла в подобоострастное благоговение. Слабый, мягкий и не совсем чистый Тихоп склонялся во прах перед безбоязненным и бескорыстным Пантелеем. «Легкое ли дело! — думал он иногда про себя, — с губернатором говорит, прямо в глаза ему смотрит... вот те Христос, — так и смотрит!»

Он удивлялся ему до недоумения, до изнеможения душевных сил, почитал его человеком необыкновенным, умным, ученым. И то сказать, как ни было худо воспитание Чертопханова, все же, в сравнении с воспитанием Тихона, оно могло показаться блестящим. Чертопханов, правда, по-русски читал мало, по-французски понимал плохо, до того плохо, что однажды на вопрос гувернера из швейцарцев: «Vous parlez français, monsieur?»¹ — отвечал: «Жэ не разумею, — и, подумав немного, прибавил: — па»; но все-таки он помнил, что был на свете Вольтер, преострый сочинитель, что французы с англичанами много воевали и что Фридрих Великий, прусский король, на военном поприще тоже отличался. Из русских

¹ Вы говорите по-французски, сударь? (*фр.*)

писателей уважал он Державина, а любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Бекем...

Несколько дней спустя после первой моей встречи с обоими приятелями отправился я в село Бессоново к Пантелею Еремичу. Издали виднелся небольшой его домик; он торчал на голом месте, в полуверсте от деревни, как говорится, «на юру», словно ястреб на пашне. Вся усадьба Чертопханова состояла из четырех ветхих срубов разной величины, а именно: из флигеля, конюшни, сарая и бани. Каждый сруб сидел отдельно, сам по себе: ни забора кругом, ни ворот не замечалось. Кучер мой остановился в недоумении у полусгнившего и засоренного колодца. Возле сарая пескомко худых и взъерошенных борзых щенков терзали дохлую лошадь, вероятно Орбассана; один из них поднял было окровавленную морду, полаял торопливо и снова принялся глотать обнаженные ребра. Подле лошади стоял малый лет семнадцати, с пухлым и желтым лицом, одетый казачком и босоногий; он с важностью поглядывал на собак, порученных его надзору, и изредка постегивал арапником самых алчных.

— Дома барин? — спросил я.

— А господь его знает! — отвечал малый. — Постучитесь.

Я соскочил с дрожек и подошел к крыльцу флигеля.

Жилище господина Чертопханова являло вид весьма печальный: бревна почернели и высунулись вперед «брюхом», труба обвалилась, углы подопрели и покачнулись, небольшие тускло-сизые окошечки невыразимо кисло поглядывали из-под косматой, нахлобученной крыши: у иных старух-потаскушек бывают такие глаза. Я постучался; никто не откликнулся. Однако мне за дверью слышались резко произносимые слова:

— Аз, буки, веди; да ну же, дурак, — говорил сильный голос, — аз, буки, веди, глаголь... да нет! глаголь, добро, есть! есть!.. Ну же, дурак!

Я постучался в другой раз.

Тот же голос закричал:

— Войди, — кто там...

Я вошел в пустую маленькую переднюю и сквозь растворенную дверь увидел самого Чертопханова. В засаленном бухарском халате, широких шароварах и красной ермолке сидел он на стуле, одной рукой стискивал он молодому пуделю морду, а в другой держал кусок хлеба над самым его носом.

— А! — проговорил он с достоинством и не трогаясь с места, — очень рад вашему посещенью. Милости прошу садиться. А я вот с Вензором вожусь... Тихон Иваныч, — прибавил он, возвысив голос, — пожалуй-ка сюда. Гость приехал.

— Сейчас, сейчас,— отвечал из соседней комнаты Тихон Иваныч.— Маша, подай галстук.

Чертопханов снова обратился к Вензору и положил ему кусок хлеба на нос. Я посмотрел кругом. В комнате, кроме раздвижного покоробленного стола на тринадцати ножках неравной длины да четырех продавленных соломенных стульев, не было никакой мебели; давным-давно выбеленные стены, с синими пятнами в виде звезд, во многих местах облупились; между окнами висело разбитое и тусклое зеркальце в огромной раме под красное дерево. По углам стояли чубуки да ружья; с потолка спускались толстые и черные нити паутин.

— Аз, буки, веди, глаголь, добро,— медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул: — Есть! есть! есть!.. Экое глухое животное!.. есть!..

Но злополучный пудель только вздрагивал и не решался разинуть рот; он продолжал сидеть, поджавши болезненно хвост, и, скривив морду, уныло моргал и щурился, словно говорил про себя: известно, воля ваша!

— Да ешь, на! пиль! — повторял неугомонный помещик.

— Вы его запугали,— заметил я.

— Ну, так прочь его!

Он пихнул его ногой. Бедняк поднялся тихо, сронил хлеб долой с носа и пошел, словно на цыпочках, в переднюю, глубоко оскорбленный. И действительно: чужой человек в первый раз приехал, а с ним вот как поступают.

Дверь из другой комнаты осторожно скрипнула, и г. Недопюскин вошел, приятно раскланиваясь и улыбаясь.

Я встал и поклонился.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь,— залепетал он.

Мы уселись. Чертопханов вышел в соседнюю комнату.

— Давно вы пожаловали в наши палестины? — заговорил Недопюскин мягким голосом, осторожно кашлянув в руку и, для приличья, подержав пальцы перед губами.

— Другой месяц пошел.

— Вот как-с.

Мы помолчали.

— Приятная нонеча стоит погода,— продолжал Недопюскин и с благодарностию посмотрел на меня, как будто бы погода от меня зависела,— хлеба, можно сказать, удивительные.

Я наклонил голову в знак согласия. Мы опять помолчали.

— Пантелей Еремеич вчера двух русаков изволили затравить,— не без усилия заговорил Недопюскин, явно желавший оживить разговор,— да-с, пребольших-с русаков-с.

— Хорошие у господина Чертопханова собаки?

— Преудивительные-с! — с удовольствием возразил Недопюскин, — можно сказать, первые по губернии. (Он пододвинулся ко мне.) Да что-с! Пантелей Еремеич такой человек! Что только пожелает, вот что только вздумает — глядишь, уж и готово, все уж так и кипит-с. Пантелей Еремеич, скажу вам...

Чертопханов вошел в комнату. Недопюскин усмехнулся, умолк и показал мне на него глазами, как бы желая сказать: вот вы сами убедитесь. Мы пустились толковать об охоте.

— Хотите, я вам покажу свою свору? — спросил меня Чертопханов и, не дождавшись ответа, позвал Карпа.

Вошел дюжий парень в нанковом кафтане зеленого цвета с голубым воротником и ливрейными пуговицами.

— Прикажи Фомке, — отрывисто проговорил Чертопханов, — привести Аммалата и Сайгу, да в порядке, понимаешь?

Карп улыбнулся во весь рот, издал неопределенный звук и вышел. Явился Фомка, причесанный, затянутый, в сапогах и с собаками. Я, ради приличия, полюбовался глупыми животными (борзые все чрезвычайно глупы). Чертопханов поплевал Аммалату в самые ноздри, что, впрочем, по-видимому, не доставило этому псу ни малейшего удовольствия. Недопюскин также сзади поласкал Аммалата. Мы опять принялись болтать. Чертопханов понемногу смягчился совершенно, перестал петушиться и фыркать; выражение лица его изменилось. Он глянул на меня и на Недопюскина...

— Э! — воскликнул он вдруг, — что ей там сидеть одной? Маша! а Маша! поди-ка сюда.

Кто-то зашевелился в соседней комнате, но ответа не было.

— Ма-а-ша, — ласково повторил Чертопханов, — поди сюда. Ничего, не бойся.

Дверь тихонько растворилась, и я увидел женщину лет двадцати, высокую и стройную, с цыганским смуглым лицом, изжелта-карими глазами и черною как смоль косою; большие белые зубы так и сверкали из-под полных и красных губ. На ней было белое платье; голубая шаль, заколотая у самого горла золотой булавкой, прикрывала до половины ее тонкие, породистые руки. Она шагнула раза два с застенчивой неловкостью дикарки, остановилась и потупилась.

— Вот, рекомендую, — промолвил Пантелей Еремеич, — жена не жена, а почитай что жена.

Маша слегка вспыхнула и с замешательством улыбнулась. Я поклонился ей пониже. Очень она мне нравилась. Тоненький орлиный нос с открытыми полупрозрачными ноздрями, смелый очерк высоких бровей, бледные, чуть-чуть впалые щеки — все черты ее лица выражали своенравную страсть и беззаботную удаль.

Из-под закрученной косы вниз по широкой шее шли две прядки блестящих волосиков — признак крови и силы.

Она подошла к окну и села. Я не хотел увеличить ее смущенья и заговорил с Чертопхановым. Маша легонько повернула голову и начала исподлобья на меня поглядывать, украдкой, дико, быстро. Взор ее так и мелькал, словно змеиное жало. Недопюскин подсел к ней и шепнул ей что-то на ухо. Она опять улыбнулась. Улыбаясь, она слегка морщила нос и приподнимала верхнюю губу, что придавало ее лицу не то кошачье, не то львиное выражение...

«О, да ты «не тронь меня», — подумал я, в свою очередь украдкой поглядывая на ее гибкий стан, впалую грудь и угловатые, прворные движения.

— А что, Маша, — спросил Чертопханов, — надобно бы гостя чем-нибудь и попотчевать, а?

— У нас есть варенье, — отвечала она.

— Ну, подай сюда варенье, да уж и водку кстати. Да послушай, Маша, — закричал он ей вслед, — принеси тоже гитару.

— Для чего гитару? Я петь не стану.

— Отчего?

— Не хочется.

— Э, пустяки, захочется, коли...

— Что? — спросила Маша, быстро наморщив брови.

— Коли попросят, — договорил Чертопханов не без смущения.

— А!

Она вышла, скоро вернулась с вареньем и водкой и опять села у окна. На лбу ее еще виднелась морщинка; обе брови поднимались и опускались, как усики у осы... Заметили ли вы, читатель, какое злое лицо у осы? Ну, подумал я, быть грозе. Разговор не клеился. Недопюскин притих совершенно и напряженно улыбался; Чертопханов пыхтел, краснел и выпучивал глаза; я уже собирался уехать... Маша вдруг приподнялась, разом отворила окно, высунула голову и с сердцем закричала проходившей бабе: «Аксинья!» Баба вздрогнула, хотела было повернуться, да поскользнулась и тяжело шлепнулась наземь. Маша опрокинулась назад и звонко захохотала; Чертопханов тоже засмеялся, Недопюскин запищал от восторга. Мы все встрепенулись. Гроза разразилась одной молнией... воздух очистился.

Полчася спустя нас бы никто не узнал: мы болтали и шалили, как дети. Маша резвилась пуще всех, — Чертопханов так и пожирал ее глазами. Лицо у ней побледнело, ноздри расширились, взор запылал и потемнел в одно и то же время. Дикарка разыгралась. Недопюскин ковылял за ней на своих толстых и коротких ножках, как селезень за уткой. Даже Вензор выполз из-под прилавка в передней, постоял на пороге, поглядел на нас и вдруг принялся пры-

гать и лаять. Маша выпорхнула в другую комнату, принесла гитару, сбросила шаль с плеч долой, проворно села, подняла голову и запела цыганскую песню. Ее голос звенел и дрожал, как надтреснутый стеклянный колокольчик, вспыхивал и замирал... Любо и жутко становилось на сердце. «Ай жги, говори!..» Чертопханов пустился в пляс. Недопюскин затопал и засеменял ногами. Машу всю поводило, как бересту на огне; тонкие пальцы резво бегали по гитаре, смуглое горло медленно приподнималось под двойным янтарным ожерельем. То вдруг она умолкала, опускалась в изнеможенье, словно неохотно щипала струны, и Чертопханов останавливался, только плечиком подергивал да на месте переминался, а Недопюскин покачивал головой, как фарфоровый китаец; то снова заливалась она как безумная, выпрямливала стан и выставляла грудь, и Чертопханов опять приседал до земли, подскакивал под самый потолок, вертелся юлой, вскрикивал: «Жива!»...

— Живо, живо, живо, живо! — скороговоркой подхватывал Недопюскин.

Поздно вечером уехал я из Бессонова...

КОНЕЦ ЧЕРТОПХАНОВА

I

Года два спустя после моего посещения у Паптелея Еремеича начались его бедствия — именно бедствия. Неудовольствия, неудачи и даже несчастья случались с ним и до того времени, но он не обращал на них внимания и «царствовал» по-прежнему. Первое бедствие, поразившее его, было для него самое чувствительное: Маша рассталась с ним.

Что заставило ее покинуть его кров, с которым она, казалось, так хорошо свыклась, — сказать трудно. Чертопханов до конца дней своих держался того убеждения, что виною Машиной измены был некий молодой сосед, отставной уланский ротмистр, по прозвищу Яфф, который, по словам Пантелея Еремеича, только тем и брал, что беспрерывно крутил усы, чрезвычайно сильно помадился и значительно хмыкал; но, полагать надо, тут скорее воздействовала бродячая цыганская кровь, которая текла в жилах Маши. Как бы то ни было, только в один прекрасный летний вечер Маша, завязав кое-какие тряпки в небольшой узелок, отправилась вон из чертопхановского дома.

Она перед тем просидела дня три в уголку, скорчившись и прижавшись к стенке, как раненая лисица, — и хоть бы слово кому промолвила — все только глазами поводила, да задумывалась, да подрыгивала бровями, да слегка зубы скалила, да руками перебирала, словно куталась. Этакой «стих» и прежде на нее находил, но никогда долго не продолжался; Чертопханов это знал, — а потому и сам не беспокоился и ее не беспокоил. Но когда, вернувшись с исарного двора, где, по словам его доезжачего, последние две гончие «окочурились», он встретил служанку, которая трепетным голосом доложила ему, что Мария, мол, Акинфиевна велели им кланяться, велели сказать, что желают им всего хорошего, а уж больше к ним не вернуться, — Чертопханов, покру-

жившись раза два на месте и издав хрипкое рычание, тотчас бросился вслед за беглянкой — да кстати захватил с собой пистолет.

Он нагнал ее в двух верстах от своего дома, возле березовой рощицы, на большой дороге в уездный город. Солнце стояло низко над небосклоном — и все кругом внезапно побагровело: деревья, травы и земля.

— К Яффу! к Яффу! — простонал Чертопханов, как только завидел Машу, — к Яффу! — повторил он, подбегая к ней и чуть не спотыкаясь на каждом шаге.

Маша остановилась и обернулась к нему лицом. Она стояла спиной к свету — и казалась вся черная, словно из темного дерева вырезанная. Одни белки глаз выделялись серебряными миндалями, а сами глаза — зрачки — еще более потемнели.

Она бросила свой узелок в сторону и скрестила руки.

— К Яффу отправилась, негодница! — повторил Чертопханов и хотел было схватить ее за плечо, но, встреченный ее взглядом, опешил и замялся на месте.

— Не к господину Яффу я пошла, Пантелей Еремейч, — ответила Маша ровно и тихо, — а только с вами я уже больше жить не могу.

— Как не можешь жить? Это отчего? Я разве чем тебя обидел?

Маша покачала головою.

— Не обидели вы меня ничем, Пантелей Еремейч, а только стосковалась я у вас... За прошлое спасибо, а остаться не могу — нет!

Чертопханов изумился; он даже руками себя по ляжкам хлопнул и подпрыгнул.

— Как же это так? Жила, жила, кроме удовольствия и спокойствия ничего не видала — и вдруг: стосковалась! Сём-мод, брошу я его! Взяла, платок на голову накинула — да и пошла. Всякое уважение получала не хуже барыни...

— Этого мне хоть бы и не надо, — перебила Маша.

— Как не надо? Из цыганки-проходимицы в барыни попала — да не надо? Как не надо, хамово ты отродье? Разве этому можно поверить? Тут измена кроется, измена!

Он опять зашипел.

— Никакой измены у меня в мыслях нету и не было, — проговорила Маша своим певучим и четким голосом, — а я уж вам сказывала: тоска меня взяла.

— Маша! — воскликнул Чертопханов и ударил себя в грудь кулаком, — ну, перестань, полно, помучила... ну, довольно! Ей-богу же! подумай только, что Тиша скажет; ты бы хоть его пожалела!

— Тихону Ивановичу поклонитесь от меня и скажите ему...

Чертопханов взмахнул руками.

— Да нет, врешь же — не уйдешь! Не дождется тебя твой Яфф!

— Господин Яфф,— начала было Маша...

— Какой он *гас-па-дин* Яфф,— передразнил ее Чертопханов.— Он самый, как есть, выжига, пройдоха — и рожа у него, как у обезьяны!

Целых полчаса бился Чертопханов с Машей. Он то подходил к ней близко, то отскакивал, то замахивался на нее, то кланялся ей в пояс, плакал, бранился...

— Не могу,— твердила Маша,— грустно мне таково... Тоска замучит.— Понемногу ее лицо приняло такое равнодушное, почти сонливое выражение, что Чертопханов спросил ее, уж не опоили ли ее дурманом?

— Тоска,— проговорила она в десятый раз.

— А ну как я тебя убью? — крикнул он вдруг и выхватил пистолет из кармана.

Маша улыбнулась; ее лицо оживилось.

— Что ж? убейте, Пантелей Еремеич: в вашей воле; а вернуться я не вернусь.

— Не вернешься? — Чертопханов взвел курок.

— Не вернусь, голубчик. Ни в жизнь не вернусь. Слово мое крепко.

Чертопханов внезапно сунул ей пистолет в руку и присел на землю.

— Ну, так убей ты меня! Без тебя я жить не желаю. Опостылел я тебе — и все мне стало постыло.

Маша нагнулась, подняла свой узелок, положила пистолет на траву, дулом прочь от Чертопханова, и подо двинулась к нему.

— Эх, голубчик, чего ты убиваешься? Али наших сестер цыганок не ведаешь? Нрав наш таков, обычай. Коли завелась тоска-разлучница, отзывает душеньку во чужу-дальнюю сторонущку — где уж тут оставаться? Ты Машу свою помни — другой такой подруги тебе не найти,— и я тебя не забуду, сокола моего; а жизнь наша с тобой кончена!

— Я тебя любил, Маша,— пробормотал Чертопханов в пальцы, которыми он охватил лицо...

— И я вас любила, дружочек Пантелей Еремеич!

— Я тебя любил, я люблю тебя без ума, без памяти — и как подумаю я теперь, что ты этак, ни с того ни с сего, здорово живешь, меня покидаешь да по свету скитаться станешь — ну, и представляется мне, что не будь я голяк горемычный, не бросила ты бы меня!

На эти слова Маша только усмехнулась.

— А еще бессеребrenицей меня звал! — промолвила она и с размаху ударила Чертопханова по плечу.

Он вскочил на ноги.

— Ну, хоть денег у меня возьми — а то как же так без гроша? Но лучше всего: убей ты меня! Сказываю я тебе толком: убей ты меня зараз!

Маша опять головою покачала.

— Убить тебя? А в Сибирь-то, голубчик, за что ссылают?

Чертопханов дрогнул.

— Так ты только из-за этого, из-за страха каторги...

Он опять повалился на траву.

Маша молча постояла над ним.

— Жаль мне тебя, Пантелей Еремеич, — сказала она со вздохом, — человек ты хороший... а делать нечего: прощай!

Она повернулась прочь и шагнула раза два. Ночь уже наступила, и отовсюду наплывали тусклые тени. Чертопханов проворно поднялся и схватил Машу сзади за оба локтя.

— Так ты уходишь, змея? К Яффу!

— Прощай! — выразительно и резко повторила Маша, вырвалась и пошла.

Чертопханов посмотрел ей вслед, подбежал к месту, где лежал пистолет, схватил его, прицелился, выстрелил... Но прежде чем пожать пружинку курка, он дернул рукою кверху: пуля прожужжала над головою Маши. Она на ходу посмотрела на него через плечо — и отправилась дальше, вразвалочку, словно дразня его.

Он закрыл лицо — и бросился бежать...

Но он не отбежал еще пятидесяти шагов, как вдруг остановился, словно вкопанный. Знакомый, слишком знакомый голос долетел до него. Маша пела. «Век юный, прелестный», — пела она; каждый звук так и расстилался в вечернем воздухе — жалобно и знойно. Чертопханов приник ухом. Голос уходил да уходил; то замирал, то опять набегал чуть слышной, но все еще жгучей струйкой...

«Это мне она в пику, — подумал Чертопханов; по тут же проstonал: — Ох, нет! это она со мною прощается навеки», — и залился слезами.

На следующий день он явился в квартиру г-на Яффа, который, как истый светский человек, не жалуя деревенского одиночества, поселился в уездном городе, «поближе к барышням», как он выражался. Чертопханов не застал Яффа: он, по словам камердинера, накануне уехал в Москву.

— Так и есть! — яростно воскликнул Чертопханов, — у них стачка была; она с ним бежала... но стой!

Он ворвался в кабинет молодого ротмистра, несмотря на сопротивление камердинера. В кабинете над диваном висел портрет хозяина в уланском мундире, писанный масляными красками. «А, вот где ты, обезьяна бесхвостая!» — прогремел Чертопханов, вскочил на диван — и, ударив кулаком по натянутому холсту, пробил в нем большую дыру.

— Скажи твоему бездельнику барину, — обратился он к камердинеру, — что, за неимением его собственной гнусной рожи, дворянин Чертопханов изуродовал его писанную; и коли он желает от меня удовлетворенья, он знает, где найти дворянина Чертопханова! А то я сам его найду! На дне моря сыщу подлую обезьяну!

Сказав эти слова, Чертопханов соскочил с дивана и торжественно удалился.

Но ротмистр Яфф никакого удовлетворения от него не потребовал — он даже не встретился нигде с ним, — и Чертопханов не думал отыскивать своего врага, и никакой истории у них не вышло. Сама Маша скоро после того пропала без вести. Чертопханов запил было; однако «очувствовался». Но тут постигло его второе бедствие.

II

А именно: закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему: он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя; уездный врач уверял, что это с ним происходили «ударчики». В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она «затосковала», Недопюскин пролежал у себя в Бесселендеевке: он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши: он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. По крепости и робости своего права он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле да болезненного недоумения, ничего не выказал... но все в нем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу», — шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился — и продолжал чувствовать, что «пусто у него внутри». «Вот тут», — говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышке полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас

лишился памяти; он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга: «Что, мол, как это ты, Тиша, без моего разрешения оставляешь меня, не хуже Маши?» — ответил коснеющим языком: «А я П...а... сей Е...е...иич, се...да ад вас су...ша...ся». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать «водочки с балычком». Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю, «Пантелею Еремеичу Чертопханову»; но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо вскорости было продано с публичного торга — частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертопханов (а в нем, видно, отозвалась отцовская жилка!) вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы; но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени, — благо эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо́, с пухлыми ручками, взбитыми пучками, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым стапом, досталась ему, комиссионеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку, над могилой Тихона Ивановича и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ.

III

Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил, и на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеича наступило совершенное: не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умалилась. Напротив: чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее, и высокомернее, и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость осталась у него: удивительный верховой конь, серой масти, донской породы, прозванный им Малек-Аделем, действительно замечательное животное.

Достался ему этот конь следующим образом.

Проезжая однажды верхом по соседней деревне, Чертопханов услышал мужичий гам и крик толпы около кабака. Посреди этой толпы, на одном и том же месте, беспрестанно поднимались и опускались дюжие руки.

— Что там такое происходит? — спросил он свойственным ему начальственным тоном у старой бабы, стоявшей у порога своей избы.

Опершись о притолоку и как бы дремля, посматривала баба в направлении кабака. Белоголовый мальчишка в ситцевой рубашонке, с кипарисным крестиком на голой грудке, сидел, растопыря ножки и сжав кулачки, между ее лаптями: пыленок тут же долбил задеревенелую корку ржаного хлеба.

— А господь ведает, батюшка, — отвечала старуха, — и, наклонившись вперед, положила свою сморщенную темную руку на голову мальчишки, — слышно, наши ребята жида бьют.

— Как жида? какого жида?

— А господь его ведает, батюшка. Проявился у нас жид какой-то; и отколе его принесло — кто его знает? Вася, иди, сударик, к маме; кш, кш, поскудный!

Баба спугнула цыплевка, а Вася ухватился за ее поеву.

— Так вот его и бьют, сударь ты мой.

— Как бьют? за что?

— А не знаю, батюшка. Стало, за дело. Да и как не бить? Ведь он, батюшка, Христа распял!

Чертопханов гикнул, вытянул лошадь нагайкой по шее, помчался прямо на толпу — и, ворвавшись в нее, начал той же самой нагайкой без разбору лупить мужиков направо и налево, приговаривая прерывистым голосом:

— Само...управство! Само...у...правство! Закон должен наказывать, а не част...пы...е ли...ца! Закон! Закон!! За...ко...оп!!!

Двух минут не прошло, как уже вся толпа отхлынула в разные стороны — и на земле, перед дверью кабака, оказалось небольшое, худощавое, черномазое существо в панковом кафтане, расстрепанное и истерзанное... Бледное лицо, закатившиеся глаза, раскрытый рот... Что это? замирание ужаса или уже самая смерть?

— Это вы зачем жида убили? — громогласно воскликнул Чертопханов, грозно потрясая нагайкой.

Толпа слабо загудела в ответ. Иной мужик держался за плечо, другой за бок, третий за нос.

— Здоров драться-то! — послышалось в задних рядах.

— С нагайкой-то! этак-то всякий! — промолвил другой голос.

— Жида зачем убили? — спрашиваю я вас, азиаты оглашенные! — повторил Чертопханов.

Но тут лежавшее на земле существо проворно вскочило на ноги и, забежав за Чертопханова, судорожно ухватилось за край его седла.

Дружный хохот грянул среди толпы.

— Живуч! — слышалось опять в задних рядах. — Та же кошка!

— Васе высокоблагородие, заступитесь, спасите! — лепетал между тем несчастный жид, всею грудью прижимаясь к ноге Чертопханова, — а то они убьют, убьют меня, васе высокоблагородие!

— За что они тебя? — спросил Чертопханов.

— Да ей же богу не могу сказать! Тут вот у них скотинка помирать стала... так они и подозревают... а я же...

— Ну, это мы разберем после! — перебил Чертопханов, — а теперь ты держись за седло да ступай за мною. А вы! — прибавил он, обернувшись к толпе, — вы знаете меня? Я помещик Пантелей Чертопханов, живу в сельце Бессонове, — ну, и, значит, жалуйтесь на меня, когда заблагорассудится, да и на жида кстати!

— Зачем жаловаться? — проговорил с низким поклоном седебородый, степенный мужик, ни дать ни взять древний патриарх. (Жида он, впрочем, тузил не хуже других.) Мы, батюшка Пантелей Еремеич, твою милость знаем хорошо; много твоей милостью довольны, что поучил нас!

— Зачем жаловаться! — подхватили другие. — А с нехриста того мы свое возьмем! Он от нас не уйдет! Мы его, значит, как зайца в поле...

Чертопханов повел усами, фыркнул — и поехал шагом к себе в деревню, сопровождаемый жидом, которого он освободил таким же образом от его притеснителей, как некогда освободил Тихона Недопюскина.

IV

Несколько дней спустя единственный уцелевший у Чертопханова казачок доложил ему, что к нему прибыл какой-то верховой и желает поговорить с ним. Чертопханов вышел на крыльцо и увидел своего знакомого жидка, верхом на прекрасном донском коне, неподвижно и гордо стоявшем посреди двора. На жидке не было шапки: он держал ее под мышкой, ноги он вдел не в самые стремяна, а в ремни стремян; разорванные полы его кафтана висели с обеих сторон седла. Увидав Чертопханова, он зачмокал губами, и локтями задергал, и погами заболтал. Но Чертопханов не только не отвечал на его привет, а даже рассердился; так весь и вспыхнул вдруг: паршивый жид смеет сидеть на такой прекрасной лошади... какое неприличие!

— Эй ты, эфиопская рожа! — закричал он, — сейчас слезай, если не хочешь, чтобы тебя стащили в грязь!

Жид немедленно повиновался, свалился мешком с седла и, придерживая одной рукою повод, улыбаясь и кланяясь, подвинулся к Чертопханову.

— Чего тебе? — с достоинством спросил Пантелей Еремеич.

— Васе благородие, извольте посмотреть, каков конек? — промолвил жид, не переставая кланяться.

— Н... да... лошадь добрая. Ты откуда ее достал? Украл, должно быть?

— Как же можно, васе благородие! Я честный зид, я не украл, а для васево благородия достал, точно! И уз старался я, старался! Зато и конь! Такого коня по всему Дону другого найти никак невозможно. Посмотрите, васе благородие, что это за конь такой! Вот позалуйте, сюда! Тпру... тпру... повернись, стань же боком! А мы седло снимем. Каков! Васе благородие?

— Лошадь добрая, — повторил Чертопханов с притворным равнодушием, а у самого сердце так и заколотилось в груди. Очень уж он был страстный охотник до «конского мяса» и знал в нем толк.

— Да вы, васе благородие, его погладьте! По сейке его погладьте, хи-хи-хи! Вот так.

Чертопханов, словно нехотя, положил руку на шею коня, хлопнул по ней раза два, потом провел пальцами от холки по спине и, дойдя до известного местечка над почками, слегка, по-охотнички, подавил это местечко. Конь немедленно выгнул хребет и, оглянувшись искоса на Чертопханова своим надменным черным глазом, фукнул и переступил передними ногами.

Жид засмеялся и в ладоши слегка захолопал.

— Хозяина признает, васе благородие, хозяина!

— Ну, не ври, — с досадой перебил Чертопханов. — Купить мне у тебя этого коня... не на что, а подарков я еще не то что от жида, а от самого господа бога не принимал!

— И как же я смею вам что-нибудь дарить, помилосердуйте! — воскликнул жид. — Вы купите, васе благородие... а денезек — я подозду.

Чертопханов задумался.

— Ты что возьмешь? — промолвил он наконец сквозь зубы.

Жид пожал плечами.

— А что сам заплатил. Двести рублей.

Лошадь стояла вдвое — а пожалуй, что и втрое против этой суммы.

Чертопханов отвернулся в сторону и зевнул лихорадочно.

— А когда... деньги? — спросил он, насильственно нахмурился брови и не глядя на жида.

— А когда будет васему благородию угодно.

Чертопханов голову назад закинул, но глаз не поднял.

— Это не ответ. Ты говори толком, иродово племя! Одолжаться я у тебя стану, что ли?

— Ну, скажем так, — поспешно проговорил жид, — через шесть месяцев... согласны?

Чертопханов ничего не отвечал.

Жид старался заглянуть ему в глаза.

— Согласны? Прикажете на конюшню поставить?

— Седло мне не нужно, — произнес отрывисто Чертопханов. — Возьми седло — слышишь?

— Как же, как же, возьму, возьму, — залепетал обрадованный жид и взвалил седло себе на плечо.

— А деньги, — продолжал Чертопханов... — через шесть месяцев. И не двести, а двести пятьдесят. Молчать! Двести пятьдесят, говорю тебе! За мною.

Чертопханов все не мог решиться поднять глаза. Никогда так сильно в нем не страдала гордость. «Явно, что подарок, — думалось ему, — из благодарности, черт, подносит!» И обнял бы он этого жида, и побил бы его...

— Васе благородие, — начал жид, приободрившись и осклабясь, — надо бы, по русскому обычаю, из полы в полу...

— Вот еще что вздумал? Еврей... а русские обычаи! Эй! кто там? Возьми лошадь, сведи на конюшню. Да овса ему засыпь. Я сейчас сам приду, посмотрю. И знай: имя ему — Малек-Адель!

Чертопханов взобрался было на крыльцо, но круто повернул на каблуках и, подбежав к жида, крепко стиснул ему руку. Тот наклонился и губы уже протянул, но Чертопханов отскочил назад и, промолвив вполголоса: «Никому не сказывай!» — исчез за дверью.

V

С самого того дня главным делом, главной заботой, радостью в жизни Чертопханова стал Малек-Адель. Он полюбил его так, как не любил самой Маши, привязался к нему больше, чем к Недолюскину. Да и конь же был! Огонь, как есть огонь, просто порох — а степенство, как у боярина! Неутомимый, выносливый, куда хопь его поверни, безответный; а прокормить его ничего не стоит: коли нет ничего другого, землю под собой глодает. Шагом идет — как в

руках несет; рысью — что в зыбке качает, а поскачет, так и ветру за ним не угнаться! Никогда-то он не запыхается: потому — отдушин много. Ноги — стальные; чтобы он когда спотыкнулся — и в помине этого не бывало! Перескочить ров ли, тын ли — это ему ни о чем; а уж умница какая! На голос так и бежит, задравши голову; прикажешь ему стоять и сам уйдешь — он не ворохнется; только когда станешь возвращаться, чуть-чуть заржет: «Здесь, мол, я». И ничего-то он не боится: в самую тѣмь, в метель дорогу сыщет; а чужому ни за что не дастся: зубами загрызет! И собака не суйся к нему: сейчас передней ножкой ее по лбу — тюк! только она и жила. С амбицией конь: плеткой разве что для красоты над ним помахивай — а сохрани бог его тронуть! Да что тут долго толковать: сокровище, а не лошадь!

Примется Чертопханов расписывать своего Малек-Аделя — откуда речи берутся! А уж как он его холил и лелеял! Шерсть на нем отливала серебром — да не старым, а новым, что с темным глянцем; повести по ней ладонью — тот же бархат! Седло, чепрачок, уздечка — вся как есть сбруя до того была ладно пригнана, в порядке, вычищена — бери карандаш и рисуй! Чертопханов — чего больше? — сам, собственноручно, и челку заплетал своему любимцу, и гриву и хвост мыл пивом, и даже копыта не раз мазью смазывал...

Бывало, сядет он на Малек-Аделя и поедет — не по соседям, — он с ними по-прежнему не знался, — а через их поля, мимо усадеб... Полюбуйтесь, мол, издали, дураки! А то прослышит, что где-нибудь охота проявилась — в отъезжее поле богатый барин собрался, — он сейчас туда — и гарцует в отдалении, на горизонте, удивляя всех зрителей красотой и быстротою своего коня и близко никого к себе не подпуская. Раз какой-то охотник даже погнался за ним со всей свитой; видит, что уходит от него Чертопханов, и начал он ему кричать изо всей мочи, на всем скаку: «Эй, ты! Слушай! Бери что хочешь за свою лошадь! Тысячи не пожалею! Женеу отдам, детей! Бери последнее!»

Чертопханов вдруг осадил Малек-Аделя. Охотник подлетел к нему.

— Батюшка! — кричит, — говори: чего желаешь? Отец родной!

— Коли ты царь, — промолвил с расстановкой Чертопханов (а он отроду и не слыхивал о Шекспире), — подай мне все твое царство за моего коня — так и того не возьму! — Сказал, захохотал, поднял Малек-Аделя на дыбы, повернул им на воздухе, на одних задних ногах, словно волчком или юлою — и марш-марш! Так и засверкал по жнивью. А охотник (князь, говорят, был богатейший) шапку óземь — да как грянется лицом в шапку! С полчаса так пролежал.

И как было Чертопханову не дорожить своим конем? Не по его ли милости оказалось у него снова превосходство несомненное, последнее превосходство над всеми его соседями?

VI

Между тем время шло, срок платежа приближался, а у Чертопханова не только двухсот пятидесяти рублей, не было и пятидесяти. Что было делать, чем помочь? «Что ж? — решил он наконец, — коли не смиловится жид, не захочет еще подождать — отдам я ему дом и землю, а сам на коня, куда глаза глядят! С голоду умру — а Малек-Аделя не отдам!» Волновался он очень и даже задумывался; но тут судьба — в первый и в последний раз — сжалилась над ним, улыбнулась ему: какая-то дальняя тетка, самое имя которой было неизвестно Чертопханову, оставила ему по духовному завещанию сумму, огромную в его глазах, целых две тысячи рублей! И получил он эти деньги в самую, как говорится, пору: за день до прибытия жида. Чертопханов чуть не обезумел от радости — но и не подумал о водке: с самого того дня, как Малек-Адель поступил к нему, он капли в рот не брал. Он побежал в конюшню и облобызал своего друга с обеих сторон морды над ноздрями, там, где кожа так нежна бывает у лошадей. «Теперь уж не расстанемся!» — восклицал он, хлопая Малек-Аделя по шее, под расчесанной гривой. Вернувшись домой, он отсчитал и запечатал в пакет двести пятьдесят рублей. Потом помечтал, лежа на спине и покуривая трубочку, о том, как он распорядится с остальными деньгами, — а именно, каких он разбудет собак: настоящих костромских и непременно красно-пегих! Побеседовал даже с Перфишкой, которому обещал новый казакин с желтыми по всем швам басонами, и лег спать в блаженнейшем настроении духа.

Ему привиделся нехороший сон. Будто он выехал на охоту, только не на Малек-Аделе, а на каком-то странном животном вроде верблюда; навстречу ему бежит белая-белая, как снег, лиса... Он хочет взмахнуть арапником, хочет натравить на нее собак — а вместо арапника у него в руках мочалка, и лиса бежит перед ним и дразнит его языком. Он соскакивает с своего верблюда, спотыкается, падает... и падает прямо в руки жандарму, который зовет его к генерал-губернатору и в котором он узнает Яффа...

Чертопханов проснулся. В комнате было темно; вторые петухи только что пропели...

Где-то далеко-далеко проржала лошадь.

Чертопханов приподнял голову... Еще раз послышалось тонкое-тонкое ржание.

«Это Малек-Адель ржет! — подумалось ему... — Это его ржание! Но отчего же так далеко? Батюшки мои... Не может быть...»

Чертопханов вдруг весь похолодел, мгновенно спрыгнул с постели, ощупью отыскал сапоги, платье, оделся и, захватив из-под изголовья ключ от конюшни, выскочил на двор.

VII

Конюшня находилась на самом конце двора; одной стеной она выходила в поле. Чертопханов не сразу вложил ключ в замок — руки у него дрожали — и не тотчас повернул ключ... Он постоял неподвижно, притаив дыхание: хоть бы что шевельнулось за дверью! «Малешка! Малец!» — крикнул он вполголоса: тишина мертвая! Чертопханов невольно дернул ключом: дверь скрипнула и отворилась... Стало быть, не была заперта. Он шагнул через порог и снова кликнул своего коня, на этот раз полным именем: «Малек-Адель!» Но не отозвался верный товарищ, только мышь прошуршала по соломе. Тогда Чертопханов бросился в то из трех стойл конюшни, в котором помещался Малек-Адель. Он попал прямо в это стойло, хотя кругом такая стояла тьма, что хоть глаз выколи... Пусто! Голова закружилась у Чертопханова; словно колокол загудел у него под черепом. Он хотел сказать что-то, но только зашипел и, шаря руками вверху, внизу, по бокам, задыхаясь, с подгибавшимися коленками, перебрался из одного стойла в другое... в третье, почти доверху набитое сеном, толкнулся в одну стену, в другую, упал, перекатился через голову, приподнялся и вдруг опрометью выбежал через полураскрытую дверь на двор...

— Украли! Перфишка! Перфишка! Украли! — заревел он благим матом.

Казачок Перфишка кубарем, в одной рубашке, вылетел из чулана, в котором спал...

Словно пьяные столкнулись оба — и барин, и единственный его слуга — посреди двора; словно угорелые завертелись они друг перед другом. Ни барин не мог растолковать, в чем было дело, ни слуга не мог понять, чего требовалось от него. «Беда! беда!» — лепетал Чертопханов. «Беда! беда!» — повторял за ним казачок. «Фонарь! Поддай, зажги фонарь! Огня! Огня!» — вырвалось наконец из замиравшей груди Чертопханова. Перфишка бросился в дом.

Но зажечь фонарь, добыть огня было нелегко: серные спички в то время считались редкостью на Руси; в кухне давно погасли последние уголья — огниво и кремь не скоро нашлись и плохо действовали. С зубовным скрежетом вырвал их Чертопханов из

рук оторопелого Перфишки, стал высекать огонь сам: искры сыпались обильно, еще обильнее сыпались проклятия и даже стоны, — но трут либо не загорался, либо погасал, несмотря на дружные усилия четырех напряженных щек и губ! Наконец, минут через пять, не раньше, затеплился сальный огарок на дне разбитого фонаря, и Чертопханов, в сопровождении Перфишки, ринулся в конюшню, поднял фонарь над головою, оглянулся...

Все пусто!

Он выскочил на двор, обежал его во всех направлениях — нет коня нигде! Плетень, окружавший усадьбу Пантелея Еремеича, давно пришел в ветхость и во многих местах накренился и прикивал к земле... Рядом с конюшней он совсем повалился, на целый аршин в ширину. Перфишка указал на это место Чертопханову.

— Барин! посмотрите-ка сюда: этого сегодня не было. Вон и колья торчат из земли: знать, их кто вывернул.

Чертопханов подскочил с фонарем, повел им по земле...

— Копыта, копыта, следы подков, следы, свежие следы! — забормотал он скороговоркой. — Тут его перевели, тут, тут!

Он мгновенно перепрыгнул через плетень и с криком: «Малек-Адель! Малек-Адель!» — побежал прямо в поле.

Перфишка остался в недоуменье у плетня. Светлый кружок от фонаря скоро исчез в его глазах, поглощенный густым мраком беззвездной и безлунной ночи.

Все слабей и слабей раздавались отчаянные возгласы Чертопханова...

VIII

Заря уже занялась, когда он возвратился домой. Образа человеческого не было на нем, грязь покрывала все платье, лицо приняло дикий и страшный вид, угрюмо и тупо глядели глаза. Сиплым шепотом прогнал он от себя Перфишку и заперся в своей комнате. Он едва держался на ногах от усталости — но он не лег в постель, а присел на стул у двери и схватился за голову.

— Украли!.. украли!

Но каким образом умудрился вор украсть ночью, из запертой конюшни, Малек-Аделя? Малек-Аделя, который и днем никого чужого к себе не подпускал, — украсть его без шума, без стука? И как растолковать, что ни одна дворняжка не пролаяла? Правда, их было всего две, два молодых щенка, и те от холоду и голоду в землю зарывались — но все-таки!

«И что я стану теперь делать без Малек-Аделя? — думалось Чертопханову. — Последней радости я теперь лишился — настала

пора умирать. Другую лошадь купить, благо деньги завелись? Да где такую другую лошадь найти?»

— Пантелей Еремеич! Пантелей Еремеич! — послышался робкий возглас за дверью.

Чертопханов вскочил на ноги.

— Кто это? — закричал он не своим голосом.

— Это я, казачок ваш, Перфишка.

— Чего тебе? Аль нашелся, домой прибежал?

— Никак нет-с, Пантелей Еремеич; а тот жидовин, что его продал...

— Ну?

— Он приехал.

— Го-го-го-го-го! — захохотал Чертопханов — и разом распахнул дверь. — Тащи его сюда, тащи! тащи!

При виде внезапно появившейся всклокоченной, одичалой фигуры своего «благодетеля» жид, стоявший за спиною Перфишки, хотел было дать стрелка; но Чертопханов в два прыжка настиг его и, как тигр, вцепился ему в горло.

— А! за деньгами пришел! за деньгами! — захрипел он, словно не он душил, а его душили. — Ночью украл, а днем за деньгами пришел? А? А?

— Помилуйте, ва...се благо...родие, — застонал было жид.

— Сказывай, где моя лошадь? Куда ты ее дел? Кому сбыл? Сказывай, сказывай, сказывай же!

Жид уже и стонать не мог; на посиневшем его лице исчезло даже выражение испуга. Руки опустились и повисли; все его тело, яростно встряхиваемое Чертопхановым, качалось взад и вперед, как тростник.

— Деньги я тебе заплачу, я тебе заплачу, сполна, до последней копейки, — кричал Чертопханов, — а только я задушу тебя, как последнего пылелка, если ты сейчас не скажешь мне...

— Да вы уже задушили его, барин, — смиренно заметил казачок Перфишка.

Тут только опомнился Чертопханов.

Он выпустил шею жида; тот так и грохнулся на пол. Чертопханов подхватил его, усадил на скамью, влил ему в горло стакан водки — привел его в чувство. И, приведши его в чувство, вступил с ним в разговор.

Оказалось, что жид о краже Малек-Аделя не имел ни малейшего понятия. Да и с какой стати было ему красть лошадь, которую он же сам достал для «почтеннейшего Пантелея Еремеича»?

Тогда Чертопханов повел его в конюшню.

Вдвоем они осмотрели стойла, ясли, замок на двери, перерыли

сено, солому, перешли потом на двор; Чертопханов указал жиду следы копыт у плетня — и вдруг ударил себя по ляжкам.

— Стой! — воскликнул он. — Ты где лошадь купил?

— В Малоархангельском уезде, на Верхосенской ярмарке, — отвечал жид.

— У кого?

— У казака.

— Стой! Казак этот из молодых был или старый?

— Средних лет, степенный человек.

— А из себя каков? На вид каков? Небось плут продувной?

— Должно быть, плут, васа благородие.

— И что, как он тебе говорил, плут-то этот, — лошадью он владел давно?

— Помнится, говорил, что давно.

— Ну, так и некому было украсть, как именно ему! Ты посуди, слушай, стань сюда... как тебя зовут?

Жид встрепенулся и вскинул своими черными глазенками на Чертопханова.

— Как *меня* зовут?

— Ну, да: как твоя кличка?

— Мошель Лейба.

— Ну, посуди, Лейба, друг мой, — ты умный человек: кому, как не старому хозяину, дался бы Малек-Адель в руки! Ведь он и оседлал его, и ввездal, и попоу с него снял — вон она на сене лежит!.. Просто как дома распоряжался! Ведь всякого другого, не хозяина, Малек-Адель под ноги бы смял! Гвалт поднял бы такой, всю деревню бы переполошил! Согласен ты со мною?

— Согласен-то согласен, васа благородие...

— Ну и, значит, надо прежде всего отыскать казака того!

— Да как же отыскать его, васа благородие? Я его всего только разочек видел — и где же он теперь — и как его зовут? Ай, вай, вай! — прибавил жид, горестно потрясая пейсиками.

— Лейба! — закричал вдруг Чертопханов, — Лейба, посмотри на меня! Ведь я рассудка лишился, я сам не свой!.. Я руки на себя наложу, если ты мне не поможешь!

— Да как же я могу...

— Поедем со мною и станем вора того разыскивать!

— Да куда же мы поедем?

— По ярмаркам, по большим трахам, по малым трахам, по конокрадам, по городам, по деревням, по хуторам — всюду, всюду! А насчет денег ты не беспокойся: я, брат, наследство получил! Последнюю копейку просажу — а уж добуду своего друга! И не уйдет от нас казак, наш лиходеи! Куда он — туда и мы! Он под землю — и мы под землю! Он к дьяволу — а мы к самому сатане!

— Ну, зачем же к сатане, — заметил жид, — можно и без него.

— Лейба! — подхватил Чертопханов, — Лейба, ты хотя еврей и вера твоя поганая, а душа у тебя лучше иной христианской! Сжался ты надо мною! Одному мне ехать незачем, один я этого дела не обломаю. Я горячка — а ты голова, золотая голова! Племя ваше уж такое: без науки все постигло! Ты, может, сомневаешься: откуда, мол, у него деньги? Пойдем ко мне в комнату, я тебе и деньги все покажу. Возьми их, крест с шеи возьми — только отдай мне Малек-Аделя, отдай, отдай!

Чертопханов дрожал, как в лихорадке; пот градом катился с его лица и, мешаясь со слезами, терялся в его усах. Он пожимал руки Лейбе, он умолял, он чуть не целовал его... Он пришел в иступление. Жид попытался было возражать, уверять, что ему никак невозможно отлучиться, что у него дела... Куда! Чертопханов и слышать ничего не хотел. Нечего было делать: согласился бедный Лейба.

На другой день Чертопханов вместе с Лейбой выехал из Бессонова на крестьянской телеге. Жид являл вид несколько смущенный, держался одной рукой за грядку и подпрыгивал всем своим дряблым телом на тряском сиденье; другую руку он прижимал к пазухе, где у него лежала пачка ассигнаций, завернутых в газетную бумагу; Чертопханов сидел как истукан, только глазами поводил кругом и дышал полной грудью; за поясом у него торчал кинжал.

— Ну, злодей-разлучник, берегись теперь! — пробормотал он, выезжая на большую дорогу.

Дом он свой поручил казачку Перфишке и бабе-стряпухе, глухой и старой женщине, которую он призрел у себя из сострадания.

— Я к вам вернусь на Малек-Аделе, — крикнул он им на прощанье, — или уж вовсе не вернусь!

— Ты бы хоть замуж за меня пошла, что ли! — сострил Перфишка, толкнув стряпуху локтем в бок. — Все равно нам барина не дожидаться, а то ведь со скуки пропадешь!

IX

Минул год... целый год: никакой вести о Пантелее Еремеиче не доходило. Стряпуха умерла; сам Перфишка собирался уже бросить дом да отправиться в город, куда его сманивал двоюродный брат, живший подмастерьем у парикмахера, — как вдруг распространился слух, что барин возвращается! Приходский дьякон получил от самого Пантелея Еремеича письмо, в котором тот изве-

псал его о своем намерении прибыть в Бессоново и просил его предупредить прислугу — для устройства надлежащей встречи. Слова эти Перфишка понял так, что надо, мол, хоть пыль немножечко постереть — впрочем, большой веры в справедливость известия он не возымел; пришлось ему, однако, убедиться, что дьякон-то сказал правду, когда, несколько дней спустя, Пантелей Еремеич сам, собственной особой, появился на дворе усадьбы, верхом на Малек-Аделе.

Перфишка бросился к барину — и, придерживая стремя, хотел было помочь ему слезть с коня; но тот соскочил сам и, кинув вокруг торжествующий взгляд, громко воскликнул: «Я сказал, что отыщу Малек-Аделя, — и отыскал его, назло врагам и самой судьбе!» Перфишка подошел к нему к ручке, но Чертопханов не обратил внимания на усердие своего слуги. Ведя за собою Малек-Аделя в поводу, он направился большими шагами к конюшне. Перфишка попристальнее посмотрел на своего барина — и заробел: «Ох, как он похудел и постарел в течение года — и лицо какое стало строгое и суровое!» А кажется, следовало бы Пантелею Еремеичу радоваться, что, вот, мол, достиг-таки своего; да он и радовался, точно... и все-таки Перфишка заробел, даже жутко ему стало. Чертопханов поставил коня в прежнее его стойло, слегка хлопнул его по крупу и промолвил: «Ну, вот ты и дома опять! Смотри же!» В тот же день он нанял надежного сторожа из бестягольных бобылей, поместился снова в своих комнатах и зажил по-прежнему...

Не совсем, однако, по-прежнему... Но об этом впереди.

На другой день после своего возвращения Пантелей Еремеич призвал к себе Перфишку и, за неимением другого собеседника, принялся рассказывать ему — не теряя, конечно, чувства собственного достоинства и басом, — каким образом ему удалось отыскать Малек-Аделя. В течение рассказа Чертопханов сидел лицом к окну и курил трубку из длинного чубука; а Перфишка стоял на пороге двери, заложив руки за спину и, почтительно взирая на затылок своего господина, слушал повесть о том, как после многих тщетных попыток и разъездов Пантелей Еремеич наконец попал в Ромны на ярмарку, уже один, без жида Лейбы, который, по слабости характера, не вытерпел и бежал от него; как на пятый день, уже собираясь уехать, он в последний раз пошел по рядам телег и вдруг увидал, между тремя другими лошадьми, привязанного к хребтуку, — увидал Малек-Аделя! Как он тотчас его узнал и как Малек-Адель его узнал, стал ржать, и рваться, и копытом рыть землю.

— И не у казака он был, — продолжал Чертопханов, все не поворачивая головы и тем же басовым голосом, — а у цыгана-ба-

рышника; я, разумеется, тотчас вклепался в свою лошадь и пожелал насильно ее возвратить; но бестия цыган заорал как ошпаренный на всю площадь, стал божиться, что купил лошадь у другого цыгана, и свидетелей хотел представить... Я плюнул — и заплатил ему деньги: черт с ним совсем! Мне главное то дорого, что друга я своего отыскал и покой душевный получил. А то вот я в Карачевском уезде, по словам жида Лейбы, вклепался было в казака — за моего вора его принял, всю рожу ему избил; а казак-то оказался поповичем и бесчестия с меня содрал — сто двадцать рублей. Ну, деньги дело наживное, а главное: Малек-Адель опять у меня! Я теперь счастлив — и буду наслаждаться спокойствием. А для тебя, Порфирий, одна инструкция: как только ты, чего боже оборони, увидишь в окрестностях казака, так сию же секунду, ни слова не говоря, беги и неси мне ружье, а я уж буду знать, как мне поступить!

Так говорил Пантелей Еремеич Перфишке; так выражались его уста; но на сердце у него не было так спокойно, как он уверял.

Увы! в глубине души своей он не совсем был уверен, что приобретенный им конь был действительно Малек-Адель!

Х

Настало трудное время для Пантелея Еремеича. Именно спокойствием-то он наслаждался меньше всего. Правда, выпадали хорошие дни: возникшее в нем сомнение казалось ему чепухой; он отгонял нелепую мысль, как назойливую муху, и даже смеялся над самим собою; но выпадали также дни дурные: неотступная мысль снова принималась исподтишка точить и скрести его сердце, как подпольная мышь, — и он мучился едко и тайно. В течение памятного дня, когда он отыскал Малек-Аделя, Чертопханов чувствовал одну лишь блаженную радость... но на другое утро, когда он под низким навесом постоянного дворика стал седлать свою находку, близ которой провел всю ночь, что-то в первый раз его кольнуло... Он только головой мотнул — однако семя было заброшено. В течение обратного путешествия домой (оно продолжалось с неделю) сомнения в нем возбуждались редко: они стали сильнее и явственней, как только он вернулся в свое Бессопово, как только очутился в том месте, где жил прежний, несомненный Малек-Адель... Дорогой он ехал больше шагом, враскачку, глядел по сторонам, покуривал табак из коротенького чубучка и ни о чем не размышлял; разве возьмет да подумает про себя: «Чертопхановы чего захотят — уж добьются! шалишь!» — и ухмыльнется; ну, а с прибытием домой пошла статья другая. Все это он берег, конечно,

про себя; одно уж самолюбие не позволило бы ему выказать свою внутреннюю тревогу. Он бы «перервал пополам» всякого, кто бы хоть отдаленно намекнул на то, что новый Малек-Адель, кажись, не старый; он принимал поздравления с «благополучной паходкой» от немногих лиц, с которыми ему приходилось сталкиваться; но он не искал этих поздравлений, он пуще прежнего избегал столкновений с людьми — знак плохой! Он почти постоянно, если можно так выразиться, экзаменовал Малек-Аделя; уезжал на нем куда-нибудь подальше в поле и ставил его на пробу; или уходил украдкой в конюшню, запирал за собою дверь и, ставши перед самой головой коня, заглядывал ему в глаза, спрашивал шепотом: «Ты ли это? Ты ли? Ты ли?..» — а не то молча его рассматривал, да так пристально, по целым часам, то радуясь и бормоча: «Да! он! конечно, он!» — то недоумевая и даже смущаясь.

И не столько смущали Чертопханова физические несходства *этого* Малек-Аделя с *тем...* впрочем, их насчитывалось немного: у *того* хвост и грива словно были пожизже, и уши острее, и бабки короче, и глаза светлей — но это могло только так казаться; а смущали Чертопханова несходства, так сказать, нравственные. Привычки у *того* были другие, вся повадка была не та. Например: *тот* Малек-Адель всякий раз оглядывался и легонько ржал, как только Чертопханов входил в конюшню; а *этот* жевал себе сено как ни в чем не бывало или дремал, понунив голову. Оба не двигались с места, когда хозяин соскаивал с седла; но *тот*, когда его звали, тотчас шел на голос, а *этот* продолжал стоять, как пень. *Тот* скакал так же быстро, но прыгал выше и дальше; *этот* шагом шел вольнее, а рысью трясче и «хлябал» иногда подковами, то есть стучал задней о переднюю: за тем никогда такого сраму не водилось — сохрани бог! *Этот*, думалось Чертопханову, все ушами прыдет, глупо так, — а *тот* напротив: заложил одно ухо назад да так и держит — хозяина наблюдает! *Тот*, бывало, как увидит, что около него нечисто, — сейчас задней ногой стук в стенку стойла; а *этому* ничего — хоть по самое брюхо навали ему навозу. *Тот*, если, например, против ветра его поставить, — сейчас всеми легкими вздохнет и встряхнется, а *этот* знай пофыркивает; *того* сырость дождевая беспокоила — *этому* она нипочем... Грубее *этот*, грубее! И приятности пет как у *того*, и туг на поводу — что и говорить! Та была лошадь милая — а эта...

Вот что думалось иногда Чертопханову, и горечью отзывались в нем эти думы. Зато в другое время — пустит он своего коня во всю прыть по только что вспаханному полю или заставит его соскочить на самое дно размытого оврага и по самой круче выскочить опять, и замирает в нем сердце от восторга, громкое гикание вырывается из уст, и знает он, знает наверное, что это под ним

настоящий, несомненный Малек-Адель, ибо какая другая лошадь в состоянии сделать то, что делает эта?

Однако и тут не обходилось без греха и беды. Продолжительные поиски за Малек-Аделем стоили Чертопханову много денег; о костромских собаках он уже не помышлял и разъезжал по окрестностям в одиночку, по-прежнему. Вот в одно утро Чертопханов верстах в пяти от Бессонова наткнулся на ту самую княжескую охоту, перед которой он так молодецки гарцевал года полтора тому назад. И надо ж было случиться такому обстоятельству: как и в тот день, так и теперь — русак возьми да вскочи перед собаками из-под межи на косогоре! «Ату его, ату!» Вся охота так и понеслась, и Чертопханов понесся тоже, только не вместе с нею, а шагов от нее на двести в сторону, — точно так же, как и тогда. Громкая водомоина криво прорезала косогор и, поднимаясь все выше и выше, постепенно суживаясь, пересекала путь Чертопханову. Там, где ему приходилось перескочить ее — и где он полтора года тому назад действительно перескочил ее, — в ней все еще было шагов восемь ширины да сажени две глубины. В предчувствии торжества, столь чудным образом повторенного торжества, Чертопханов загоготал победоносно, потряс нагайкой — охотники сами скакали, а сами не спускали глаз с лихого наездника, — копь его летел стрелою — вот уже водомоина перед самым носом — ну, ну, разом, как тогда!..

Но Малек-Адель круто уперся, вильнул налево и поскакал *вдоль* обрыва, как ни дергал ему Чертопханов голову набок, к водомоине.

Струсил, значит, не понадеялся на себя!

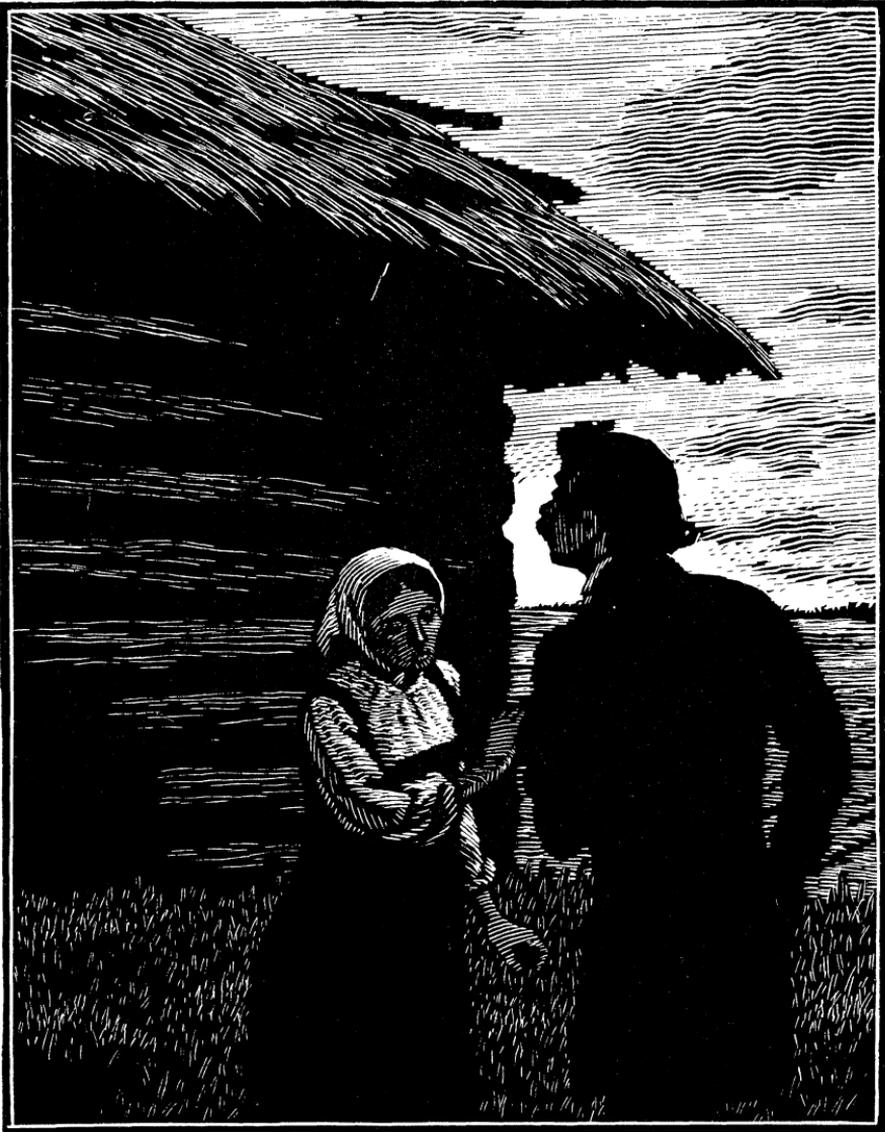
Тогда Чертопханов, весь пылая стыдом и гневом, чуть не плача, опустил поводья и погнал коня прямо вперед, в гору, прочь, прочь от тех охотников, чтобы только не слышать, как они издеваются над ним, чтобы только исчезнуть поскорее с их проклятых глаз!

С иссеченными боками, весь облитый мыльной пеной, прискакал домой Малек-Адель, и Чертопханов тотчас заперся у себя в комнате.

«Нет, это не он, это не друг мой! Тот бы шею сломил — а меня бы не выдал!»

XI

Окончательно «доехал», как говорится, Чертопханова следующий случай. Верхом на Малек-Аделе пробирался он однажды по задворкам поповской слободки, окружавшей церковь, в приходе которой состояло сельцо Бессоново. Нахлобучив на глаза папаху,



«Петр Петрович Каратаев»
Худ. В. В. Домогацкий

сгорбившись и уронив на луку седла обе руки, он медленно подвигался вперед; на душе у него было нерадостно и смутно. Вдруг его кто-то окликнул.

Он остановил коня, поднял голову и увидел своего корреспондента, дьякона. С бурым треугом на бурых, в косичку заплетенных волосах, облеченный в желтоватый нанковый кафтан, подпоясанный гораздо ниже талии голубеньким обрывочком, служитель алтаря вышел свое «одоньшко» проведать — и, улицезрев Пантелея Еремеича, почел долгом выразить ему свое почтение — да кстати хоть что-нибудь у него выпросить. Без такого рода задней мысли, как известно, духовные лица со светскими не заговаривают.

Но Чертопханову было не до дьякона; он едва отвечал на его поклон и, промывав что-то сквозь зубы, уже взмахнул нагайкой...

— А какой у вас конь богатейший! — поспешил прибавить дьякон, — вот уж точно можно чести приписать. Истинно: вы муж ума чудного, просто аки лев! — Отец дьякон славился красноречием, чем сильно досаждал отцу попу, которому дар слова присущ не был: даже водка не развязывала ему язык. — Одного живота, по навету злых людей, лишились, — продолжал дьякон, — и, нимало не унывая, а, напротив, более надеясь на божественный промысел, приобрели себе другого, нисколько не худшего, а почитай даже что и лучшего... потому...

— Что ты врешь? — сумрачно перебил Чертопханов, — какой такой другой конь? Это тот же самый; это Малек-Адель... Я его отыскал. Болтает зря...

— Э! э! э! э! — промолвил с расстановкой, как бы с оттяжкой, дьякон, играя перстами в бороде и озирая Чертопханова своими светлыми жадными глазами. — Как же так, господин? Коня-то вашего, дай бог памяти, в минувшем году недельки две после покрова украли, а теперь у нас ноябрь на исходе.

— Ну да, что же из этого?

Дьякон все продолжал играть перстами в бороде.

— Значит, с лишком год с тех пор протек, а конь ваш, как тогда был серый в яблоках, так и теперь; даже словно темнее стал. Как же так? Серые-то лошади в один год много белеют.

Чертопханов дрогнул... словно кто рогатиной толкнул его против сердца. И в самом деле: серая масть-то ведь меняется! Как ему такая простая мысль до сих пор в голову не пришла?

— Пучок анафемский! отвяжись! — гаркнул он вдруг, бешено сверкнув глазами, и мгновенно скрылся из виду у изумленного дьякона.

— Ну! все кончено!

Вот когда действительно все кончено, все лопнуло, последняя карта убита! Все разом рухнуло от одного этого слова «белеют!» Серые лошади белеют! Скачи, скачи, проклятый! Не укачешь от этого слова! Чертопханов примчался домой и опять заперся на ключ.

XII

Что эта дрянная кляча не Малек-Адель, что между ею и Малек-Аделем не существовало ни малейшего сходства, что всякий мало-мальски путный человек должен был с первого разу это увидеть, что он, Пантелей Чертопханов, самым пошлым образом обманулся — нет! что он нарочно, преднамеренно надул самого себя, напустил на себя этот туман,— во всем этом теперь уже не оставалось ни малейшего сомнения! Чертопханов ходил взад и вперед по комнате, одинаковым образом поворачиваясь на пятках у каждой стены, как зверь в клетке. Самолюбие его страдало невыносимо; но не одна боль уязвленного самолюбия терзала его: отчаяние овладело им, злоба душила его, жажда мести в нем загоралась. Но против кого? Кому отомстить? Жиду, Яффу, Маше, дьякону, вору казаку, всем соседям, всему свету, самому себе наконец? Ум в нем мешался. Последняя карта убита! (Это сравнение ему нравилось.) И он опять ничтожнейший, презреннейший из людей, общее посмешище, шут гороховый, зарезанный дурак, предмет насмешки — для дьякона!! Он воображал, он ясно представлял себе, как этот мерзкий пучок станет рассказывать про серую лошадь, про глупого барина... О, проклятие!! Напрасно Чертопханов старался унять расхолодившуюся желчь; напрасно он пытался уверить себя, что эта... лошадь хотя и не Малек-Адель, однако все же... добра и может много лет прослужить ему: он тут же с яростью отталкивал от себя прочь эту мысль, точно в ней заключалось новое оскорбление для того Малек-Аделя, перед которым он уж и без того считал себя виноватым... Еще бы! Этот одёр, эту клячу он, как слепой, как олух, приравнял ему, Малек-Аделю! А что насчет службы, которую эта кляча могла еще сослужить ему... да разве он когда-нибудь удостоит сесть на нее верхом? Ни за что! Никогда!! Татарину ее отдать, собакам на снесь — другого она не стбит... Да! Этак лучше всего!

Часа два с лишком бродил Чертопханов по своей комнате.

— Перфшпка! — скомандовал он вдруг. — Сию минуту ступай в кабак; полведра водки притащи! Слышишь? Полведра, да живо! Чтобы водка сию секунду тут у меня на столе стояла.

Водка не замедлила появиться на столе Пантелея Еремееча, и он начал пить.

Кто бы тогда посмотрел на Чертопханова, кто бы мог быть свидетелем того угрюмого озлобления, с которым он осушал стакан за стаканом, — тот наверное почувствовал бы невольный страх. Ночь наступила; сальная свечка тускло горела на столе. Чертопханов перестал скитаться из угла в угол; он сидел весь красный, с помутившимися глазами, которые он то опускал на пол, то упорно устремлял в темное окно; вставал, наливал себе водки, выпивал ее, опять садился, опять уставлял глаза в одну точку и не шевелился — только дыхание его учащалось и лицо все более краснело. Казалось, в нем созревало какое-то решение, которое его самого смущало, но к которому он постепенно привыкал; одна и та же мысль неотступно и безостановочно надвигалась все ближе и ближе, один и тот же образ рисовался все яснее и яснее впереди, а в сердце, под раскаляющим напором тяжелого хмеля, раздражение злобы уже сменялось чувством зверства, и злобная усмешка появлялась на губах...

— Ну, однако, пора! — промолвил он каким-то деловым, почти скучливым тоном, — будет прохладаться-то!

Он выпил последний стакан водки, достал над кроватью пистолет — тот самый пистолет, из которого выстрелил в Машу, зарядил его, положил на «всякий случай» несколько пистонов в карман — и отправился на конюшню.

Сторож побежал было к нему, когда он стал отворять дверь, но он крикнул на него: «Это я! Аль не видишь? Отправляйся!» Сторож отступил немного в сторону. «Спать отправляйся! — опять крикнул на него Чертопханов, — нечего тебе тут стеречь! Эку пивидаль, сокровище какое!» Он вошел в конюшню. Малек-Адель... ложный Малек-Адель лежал на подстилке. Чертопханов толкнул его ногою, примолвив: «Вставай, ворона!» Потом отвязал недоуздок от яслей, снял и сбросил на землю попоную — и, грубо повернув в стойле послушную лошадь, вывел ее вон на двор, а со двора в поле, к крайнему изумлению сторожа, который никак не мог понять, куда это барин отправляется ночью, с невзвучданною лошадью в поводу? Спросить его — он, разумеется, побоялся, а только проводил его глазами, пока он не исчез на повороте дороги, ведущей к соседнему лесу.

Чертопханов шел большими шагами, не останавливаясь и не оглядываясь; Малек-Адель — будем называть его этим именем до конца — покорно выступал за ним следом. Ночь была довольно

светлая; Чертопханов мог различить зубчатый очерк леса, черневшего впереди сплошным пятном. Охваченный ночным холодом, он бы, наверное, захмелел от выпитой им водки, если бы... если бы не другой, более сильный хмель, который обуял его всего. Голова его отяжелела, кровь раскатисто стучала в горло и в уши, но он шел твердо и знал, куда шел.

Он решился убить Малек-Аделя; целый день он только об этом думал... Теперь он решился!

Он шел на это дело не то чтобы спокойно, а самоуверенно, бесповоротно, как идет человек, повинующийся чувству долга. Ему эта «штука» казалась очень «простою»: уничтожив самозванца, он разом поквитается со «всеми» — и самого себя казнит за свою глупость, и перед настоящим своим другом оправдывается, и целому свету докажет (Чертопханов очень заботился о «целом свете»), что с ним шутить нельзя... А главное: самого себя он уничтожит вместе с самозванцем, ибо на что ему еще жить? Как это все укладывалось в его голове и почему это казалось ему так просто — объяснить не легко, хотя и не совсем невозможно: обиженный, одинокий, без близкой души человеческой, без гроша медного, да еще с кровью, зажженной вином, он находился в состоянии, близком к помешательству, а нет сомнения в том, что в самых нелепых выходах людей помешанных есть, на их глаза, своего рода логика и даже право. В праве своем Чертопханов был во всяком случае вполне уверен; он не колебался, он спешил исполнить приговор над виновным, не отдавая себе, впрочем, ясного отчета: кого он собственно обзывал этим именем?.. Правду говоря, он размышлял мало о том, что собирался сделать. «Надо, надо кончить, — вот что он твердил самому себе, тупо и строго, — кончить надо!»

А безвинный виновный трусил покорной рысцой за его спиной... Но в сердце Чертопханова не было жалости.

XV

Недалеко от опушки леса, куда он привел свою лошадь, тянулся небольшой овраг, до половины заросший дубовым кустарником. Чертопханов спустился туда... Малек-Адель спотыкнулся и чуть не упал на него.

— Аль задавить меня хочешь, проклятый! — вскрикнул Чертопханов и, словно защищаясь, выхватил пистолет из кармана. Уже не ожесточение испытывал он, а ту особенную одеревенелость чувства, которая, говорят, овладевает человеком перед совершением преступления. Но собственный голос испугал его — так дико прозвучал он под навесом темных ветвей, в гнилой и спертой сы-

рости лесного оврага! К тому же, в ответ на его восклицание, какая-то большая птица внезапно затрепыхалась в верхушке дерева над его головою... Чертопханов дрогнул. Точно он разбудил свидетеля своему делу — и где же? в этом глухом месте, где он не должен был встретить ни одного живого существа...

— Ступай, черт, на все четыре стороны! — проговорил он сквозь зубы и, выпустив повод Малек-Аделя, с размаху ударил его по плечу прикладом пистолета. Малек-Адель немедленно повернулся назад, выкарабкался вон из оврага... и побежал. Но недолго слышался стук его копыт. Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки.

В свою очередь, Чертопханов медленно выбрался из оврага, достиг опушки и поплелся по дороге домой. Он был недоволен собою; тяжесть, которую он чувствовал в голове, в сердце, распространилась по всем членам; он шел сердитый, темный, неудовлетворенный, голодный, словно кто обидел его, отнял у него добычу, пищу...

Самоубийце, которому помешали исполнить его намерение, знакомы подобные ощущения.

Вдруг что-то толкнуло его сзади, между плеч. Он оглянулся... Малек-Адель стоял посреди дороги. Он пришел следом за своим хозяином, он тронул его мордой... доложил о себе...

— А! — кричал Чертопханов, — ты сам, сам за смертью пришел! Так на же!

В мгновение ока он выхватил пистолет, взвел курок, приставил дуло ко лбу Малек-Аделя, выстрелил...

Бедная лошадь шарахнулась в сторону, взвилась на дыбы, отскочила шагов на десять и вдруг грузно рухнула и захрипела, судорожно валяясь по земле...

Чертопханов зажал себе уши обеими руками и побежал. Колени подгибались под ним. И хмель, и злоба, и тупая самоуверенность — все вылетело разом. Осталось одно чувство стыда и безобразия — да сознание, сознание несомненное, что на этот раз он и с собой покончил.

XVI

Недель шесть спустя казачок Перфишка почел долгом остановить проезжавшего мимо бессоновской усадьбы станового пристава.

— Чего тебе? — спросил блюститель порядка.

— Пожалуйте, ваше благородие, к нам в дом, — ответил казачок с низким поклоном, — Пантелей Еремеич, кажись, умирать собираются; так вот я и боюсь.

— Как? умирать? — переспросил становой.

— Точно так-с. Сперва они кажинный день водку кушали, а теперь вот в постель слегли, и уже очень они худы стали. Я так полагаю, они теперь и понимать-то ничего не понимают. Без языка совсем.

Становой слез с телеги.

— Что же ты, за священником, по крайней мере, сходил? Исповедался твой барин? Причастился?

— Никак нет-с.

Становой нахмурился.

— Как же ты это так, братец? Разве этак можно, а? Иль ты не знаешь, что за это... ответственность бывает большая, а?

— Да я их и третьёго дня и вчерась спрашивал,— подхватил оробевший казачок,— не прикажете ли, говорю, Пантелей Еремеич, за священником сбежать? «Молчи, говорит, дурак. Не в свое дело не суйся». А сегодня, как я стал докладывать,— только посмотрели на меня да усом повели.

— И много он пил водки? — спросил становой.

— Дюже много! Да вы уж сделайте милость, ваше благородие, пожалуйста к ним в комнату.

— Ну, веди! — проворчал становой и последовал за Перфишкой.

Удивительное зрелище его ожидало.

В задней комнате дома, сырой и темной, на убогой кровати, покрытой конскою попоной, с лохматой буркой вместо подушки, лежал Чертопханов, уже не бледный, а изжелта-зеленый, как бывают мертвецы, со ввалившимися глазами под глянцевыми веками, с заостренным, но все еще красноватым носом над взъерошенными усами. Лежал он одетый в неизменный свой архалук с патронами на груди и в черкесские синие шаровары. Папаха с малиновым верхом закрывала ему лоб до самых бровей. В одной руке Чертопханов держал охотничью нагайку, в другой — шитый кисет, последний подарок Маши. На столе возле кровати стоял пустой штоф; а в головах, припиленные булавками к стене, виднелись два акварельных рисунка: на одном, сколько можно было понять, был представлен толстый человек с гитарой в руках — вероятно, Недолюскин; другой изображал скачущего всадника... Лошадь походила на тех сказочных животных, которых рисуют дети на стенах и заборах; но старательно оттушеванные яблоки ее масти и патроны на груди всадника, острые носки его сапогов и громадные усы не оставляли места сомнению: этот рисунок долженствовал изобразить Пантелея Еремеича верхом на Малек-Аделе.

Изумленный становой не знал, что предпринять. Мертвая тишина царствовала в комнате. «Да уж он скончался», — подумал он и, возвысив голос, промолвил: — Пантелей Еремеич! А, Пантелей Еремеич!

Тогда произошло нечто необыкновенное. Глаза Чертопханова медленно раскрылись, потухшие зрачки двинулись сперва справа налево, потом слева направо, остановились на посетителе, увидели его... Что-то замерцало в их тусклой белизне, подобие взора в них проявилось; посиневшие губы постепенно расклеились, и послышался сиплый, уж точно гробовой голос:

— Столбовой дворянин Пантелей Чертопханов умирает; кто может ему препятствовать? Он никому не должен, ничего не требует... Оставьте его, люди! Идите!

Рука с нагайкой попыталась приподняться... Напрасно! Губы опять склеились, глаза закрылись — и по-прежнему лежал Чертопханов на своей жесткой кровати, вытянувшись как пласт и сдвинув подошвы.

— Дай знать, когда скончается, — шепнул, выходя из комнаты, становой Перфишке, — а за попом, я полагаю, сходить и теперь можно. Надо ж порядок соблюсти, особоровать его.

Перфишка в тот же день сходил за попом; а на следующее утро ему пришлось дать знать становому: Пантелей Еремеич скончался в ту же ночь.

Когда его хоронили, гроб его провожали два человека: казачок Перфишка да Мошель Лейба. Весть о кончине Чертопханова каким-то образом дошла до жида — и он не преминул отдать последний долг своему благодетелю.

ЖИВЫЕ МОЩИ

Край родной долготерпенья —
Край ты русского народа!

Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько в ненастное время удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белевский уезд. С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы не делали, чтобы от него избавиться! И резиновые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало... Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями — точно, на первых порах, как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листе влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас, как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта... А уж это последнее дело, как выражался Ермолай.

— Нет, Петр Петрович, — воскликнул он наконец. — Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам *чучье* заливаает; ружья осекаются... Тьфу! Задача!

— Что же делать? — спросил я.

— А вот что. Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, матушке вашей принадлежит; отсюда верст восемь. Переночуем там, а завтра...

— Сюда вернемся?

— Нет, не сюда... Мне за Алексеевкой места известны... многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повез меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом хуторке оказался флигелек, очень ветхий, но нежилой и потому чистый; я провел в нем довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранехонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; все кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня. Пока мне закладывали таратайку, я пошел побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелек своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошенными росой. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно — всею грудью... На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведает откуда занесенные, остроконечные стебли темно-зеленой конопля.

Я отправился по этой тропинке; дошел до пасеки. Рядом с нею стоял плетеный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены подмости, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошел было прочь...

— Барин, а барин! Петр Петрович! — послышался мне голос, слабый, медленный и силый, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Петр Петрович! Подойдите, пожалуйста! — повторил голос. Он доносился до меня из угла с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился — и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое?

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая — ни дать ни взять икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать — только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое, — но страшное, необычайное. И тем страш-

нее кажется мне это лицо, что по нем, по металлическим его щекам, я вижу — силится... силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, барин? — прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ.— Да и где узнать! Я Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей в Спасском водила... помните, я еще запевалой была?

— Лукерья! — воскликнул я.— Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин,— я. Я — Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломленный глядел на это темное, неподвижное лицо с устремленными на меня светлыми и мертвенными глазами. Возможно ли? Эта мумия — Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне, высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница Лукерья, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам тайне вздыхал, я — шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья,— проговорил я наконец,— что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастьем моим,— сядьте вон на кадушечку, поближе, а то вам меня не слышно будет... вишь я какая голосистая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидала вас! Как это вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завез. Но расскажи же ты мне...

— Про беду-то мою рассказать? Извольте, барин. Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василья Полякова — помните, такой из себя статный был, кудрявый, еще буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться. Очень мы с Василием слюбились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот раз ночью... уж и до зари далеко... а мне не спится: соловей в саду таково удивительно поет сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовет меня кто-то Васиным голосом, тихо так: «Луша!..» Я глядь в сторону, да, знать, спросонья оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз — да о землю хлоп! И, кажись, не сильно я расшиблась, потому — скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри — в утробе — порвалось... Дайте дух перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на нее. Изумляло меня собственно то, что она расмлаз свой вела почти весело, без

охов и вздохов, писколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая,— продолжала Лукерья,— стала я сохнуть, чахнуть; чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже — и полно ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; все бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется: все хуже да хуже. Матушка ваша по доброте своей и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали — и все ничего. Совсем я окостенела под конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну и переслали меня сюда — потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять усилилась улыбнуться.

— Это, однако же, ужасно, твое положение! — воскликнул я... и, не зная, что прибавить, спросил: — А что же Поляков Василий? — Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков? Потужил, потужил — да и жепился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас педалече. Аграфеной ее звали. Очень он меня любил, да ведь человек молодой — не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашел себе хорошую, добрую, и детки у них есть. Он тут у соседа в приказчиках живет: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава богу, хорошо.

— И так ты все лежишь да лежишь? — спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно стапет — меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да я ходьбы за мной немного. Есть-то почитай что не ем ничего, а вода — вон она в кружке-то: всегда стоит припасенная, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, пет — да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была... Вы ее не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет, — были, да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши, пахнут еще лучше садовых. Вот хоть бы ландыш... на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу — сперва очень том-

но было; а потом привыкла, обтерпелась — ничего; иным еще хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной — слепой или глухой! А я, слава богу, вижу прекрасно и все слышу, все. Крот под землею роется — я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветет или липа в саду — мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что бога гневить? — многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошел. Намедни отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: «Тебя, мол, исповедовать печего: разве ты в твоём состоянии согрешить можешь?» Но я ему ответила: «А мысленный грех, ба-тюшка?» — «Ну,— говорит, а сам смеется,— это грех не великий».

— Да я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна,— продолжала Лукерья,— потому я так себя приучила: не думать, а пуще того — не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты все одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помещать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты все спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не дает спать как следует. Нет... а так лежу я себе, лежу-полеживаю — и не думаю; чую, что жива, дышу — и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчелы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдет с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка — мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки воп там в углу гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно! Одна влетит, к гнездышку припадет, деток накормит — и вон. Глядишь — уж на смену ей другая. Иногда не влетит, только мимо раскрытой двери пронесется, а детки тотчас — ну пищать да клювы разевать... Я их и на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю,— поспешил я заметить.

— А то раз,— начала опять Лукерья,— вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близехонько и долго так сидел, все носом водил и усами дергал — настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец

встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся — да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому — темно; свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать всегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких, да хоть бы и были, как я буду держать ее, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принес календарь; да видит, что пользы нет, взял да унес опять. Однако хоть и темно, а все слушать есть что: сверчок затрептит али мышь где скрестись станет. Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю, — продолжала, отдохнув немного, Лукерья. — Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу богу наскучать? О чем я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест — значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту «Отче наш», «Богородицу», акафист «Всем скорбящим» — да и опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчанья и не шевелился на узенькой кадлушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежавшего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья, — начал я наконец. — Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряжусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую городскую больницу? Кто знает, быть может, тебя еще вылечат? Во всяком случае, ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин, — промолвила она озабоченным шепотом, — не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приезжал; осматривать меня захотел. Я его прошу: «Не тревожьте вы меня, Христа ради». Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги размивал, разгинал; говорит: «Это я для учености делаю; на то я служащий человек, ученый! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь». Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь — мудрено таково, — да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смиренная — не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят; странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть. Даже

лучше, ей-ей!.. Барин, не трогайте меня, не возите в больницу... Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал...

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай! Вы вот не поверите — а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только одна я — живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмет меня размышление — даже удивительно.

— О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что такое было — не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди — ничего бы этого не было, и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась — так же, как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас, — начала она снова, — очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я была в свое время веселая? Бой-девка!.. так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. Ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится.

— Как же ты поешь их... про себя?

— И про себя и голосом. Громко-то не могу, а всё — понять можно. Вот я вам сказывала — девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово — в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним последовал другой, третий. «Во лужях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу! — проговорила она вдруг, — силушки не хватает... Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики... Она взглянула на меня — и ее темные веки, опущенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение они заблестали в полутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился по-прежнему.

— Экая я! — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. — Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случилось... с самого того дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он со мной сидел да разговаривал — ну, ничего; а как ушел он — поплакала я таки в одиночку! Откуда бралось!.. Да ведь у нашей сестры слезы некупленные. Барин, — прибавила Лукерья, — чай, у вас платочек есть... Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить ее желание — и платок ей оставил. Она сперва отказывалась... на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица, мог открыть в этом лице — так, по крайней мере, мне казалось — следы его бывалой красоты.

— Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я, точно, редко, но всякий раз сны вижу, — хорошие сны! Никогда я больной себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я — потянуться хочу хорошенько — а я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу вам? — Ну, слушайте. — Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-презлющая — все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дѣчиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася прийти обещался — так вот я себе венок сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу — кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда — не успела! Все равно, надену я себе на голову этот месяц вместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, все поле кругом

осветила. Глядь — по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько — только не Вася, а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, — таким его не пишут, — а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом, — только пояс золотой, — и ручку мне протягивает. «Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хоромы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну! Собачка моя сейчас меня за ноги... по тут мы взвились! Он впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки, — и я за ним! И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то еще видела я сон, — начала она снова, — а быть может, это было мне видение — я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители — батюшка да матушка — и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И, сказавши это, родители мне опять поклонились — и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот еще какой мне был сон, — продолжала Лукерья. — Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана — как есть странница! И идти мне куда-то далеко-далеко на богомолье. И проходят мимо меня всё странники; идут они тихо, словно нехотя, всё в одну сторону; лица у всех унылые и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьется, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от нее сторонятся; а она вдруг верть — да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, желтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я ее: «Кто ты?» А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне чтобы испугаться, а я напротив — рада-радохонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья, но взять я тебя с собою не могу.

Прощай!» Господи! как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня, говорю, матушка, голубушка, возьми!» И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неясвенно... После, мол, петровок... С этим я проснулась... Такие-то у меня бывают сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху... задумалась...

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдет, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала мне скляночку с лекарством против бессоницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та скляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую скляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух ее терпенью.

— Эх, барин! — возразила она. — Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было точно великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели... А то вот еще мне сказывал один начетчик: была некая страна, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявился тут между теми жителями святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только прогнавши их, говорит им: «Теперь вы меня сожгите, потому что такое было мое обещание, чтобы мне огненною смертью за свой парод помереть». И агаряне ее взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился! Вот это подвиг! А я что!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь... али девять... Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам еще вот что доложу...

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула...

— Ты много говоришь, — заметил я ей, — это может тебе повредить.

— Правда, — прошептала она едва слышно, — разговорке нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела...

Я стал прощаться с нею, повторил ей мое обещание прислать ей лекарство, попросил ее еще раз хорошенько подумать и сказать мне — не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу, — с величайшим усилием, по умиленно произнесла она. — Дай бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить — крестьяне здешние бедные — хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас богу помолились... А мне ничего не нужно — всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить ее просьбу и подходил уже к дверям... она подозвала меня опять.

— Помните, барин, — сказала она, и чудное что-то мелькнуло в ее глазах и на губах, — какая у меня была коса? Помните — до самых колен! Я долго не решалась... Этакие волосы!.. Но где же их было расчесывать? В моем-то положении!.. Так уж я их и обрезала... Да... Ну, простите, барин! Больше не могу...

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что ее в деревне прозывали «Живые мощи», что, впрочем, от нее никакого не видать беспокойства; ни ропота от нее не слышать, ни жалоб. «Сама ничего не требует, а напротив — за все благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая, — так заключил десятский, — стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать ее — нет, мы ее не осуждаем. Пуцай ее!»

Несколько недель спустя я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней... и «после петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять верст с лишком и день был будничьий. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба.

СТУЧИТ!

— Что я вам доложу,— промолвил Ермолай, входя ко мне в пизбу,— а я только что пообедал и прилег на походную кровать, чтоб отдохнуть немного после довольно удачной, но утомительной охоты на тетеревов — дело было в десятых числах июля и жары стояли страшные,— что я вам доложу: у нас вся дробь вышла.

Я вскочил с кровати.

— Вышла дробь! Как же так! Ведь мы с собой из деревни почитай что фунтов тридцать взяли! целый мешок!

— Оно точно; и мешок был большой: на две недели бы хватило. Да кто его знает! Прореха, что ль, в нем произошла,— а только, как есть, нету дробин... так, зарядов на десять осталось.

— Что же мы станем теперь делать? Самые лучшие места впереди — на завтрашний день нам обещали шесть выводков...

— А пошлите меня в Тулу. Тут недалеко: всего сорск пять верст. Духом летаю и дробин привезу, коли прикажете, целый пуд.

— Да когда же ты поедешь?

— А хоть сейчас. Чего мешкать? Только вот что: надо будет лошадей напять.

— Как лошадей напять! А свои-то па что?

— На своих ехать нельзя. Коренник захромал... страсть!

— Это с каких пор?

— А вот намеднись,— кучер его ковать водил. Ну и заковал. Кузнец, должно, попался пеладный. Теперь даже на ногу ступить не может. Передняя нога. Так и несет ее... как собака.

— Что ж? расковали его, по крайней мере?

— Нет, не расковали; а непременно расковать его следует. Гвоздь-то ему, чай, в самое мясо вогнат.

Я велел позвать кучера. Оказалось, что Ермолай не солгал: коренник действительно не ступал на ногу. Я немедленно распорядился, чтобы его расковали и поставили на сырую глину.

— Что ж? Лошадей нанять в Тулу прикажете? — пристал ко мне Ермолай.

— Да разве можно в этом захолустье найти лошадей? — воскликнул я с невольной досадой...

Деревня, в которой мы находились, была заглазная, глухая; все ее обитатели казались голышами; мы с трудом отыскивали одну — не то что белую, а мало-мальски просторную избу.

— Можно, — ответил Ермолай с обычной своей невозмутимостью. — Вы про здешнюю деревню сказали верно; а только в этом самом месте проживал один крестьянин. Умнеющий! богатый! Девять лошадей имел. Сам-то он помер, и старший сын теперь всем орудует. Человек — из глурых глупый, ну, однако, отцовское добро протрясти еще не успел. Мы у него лошадьми раздобудемся. Прикажете, я его приведу. Братья у него, слышно, ребята шустрые... а все-таки он им голова.

— Почему же это так?

— А потому — старшой! Значит, младшие — покоряйся! — Тут Ермолай сильно и непечатно отозвался о младших братьях вообще. — Я его приведу. Он простой. С ним — да не стовориться?

Пока Ермолай ходил за «простым» человеком, мне пришлось в голову: не лучше ли мне самому съездить в Тулу? Во-первых, я, наученный опытом, плохо надеялся на Ермолая; я послал его однажды в город за покупками, он обещался исполнить все мои поручения в течение одного дня — и пропал целую неделю, пропил все деньги и вернулся пеший — а поехал на беговых дрожках. Во-вторых, у меня был в Туле барышник знакомый; я мог купить у него лошадь на место охромевшего коренника.

«Решенное дело! — подумал я. — Съезжу сам; а спать можно и в дороге — благо тарантас покойный».

— Привел! — воскликнул четверть часа спустя Ермолай, вваливаясь в избу. Вслед за ним вошел рослый мужик в белой рубашке, синих портах и лаптях, белобрый, подслеповатый, с рыжей бородкой клинушкой, длинным пухлым носом и разинутым ртом. Он, точно, смотрел «простецом».

— Вот извольте, — промолвил Ермолай, — лошади у него есть, и он согласен.

— То ись, значит, я... — заговорил мужик сиповатым голосом и с запинкой, встряхивая свои жидкие волосы и перебирая пальцами околыш шапки, которую держал в руках. — Я, значит...

— Как тебя зовут? — спросил я.

Мужик потупился и словно задумался.

— Как меня зовут-то?

— Да; как твое имя?

— А имя мне будет — Филофей.

— Ну вот что, братец Филофей; у тебя, я слышал, есть лошади. Приведи-ка сюда тройку, мы их заложим в мой тарантас, — он у меня легкий, — и свези ты меня в Тулу. Теперь ночь лунная, светло и ехать прохладно. Дорога у вас тут какова?

— Дорога? Дорога — ничего. До большака верст двадцать будет — всего. Одно есть местечко... неладное; а то ничего.

— Какое такое местечко неладное?

— А речку вброд переезжать надоть.

— Да разве вы сами в Тулу поедете? — осведомился Ермолай.

— Да, сам.

— Ну! — промолвил мой верный слуга и тряхнул головою. — И-и-у! — повторил он, силюнул и вышел вон.

Поездка в Тулу, очевидно, уже не представляла ему ничего привлекательного; она стала для него пустым и незанимательным делом.

— Ты дорогу хорошо знаешь? — обратился я к Филофею.

— Как нам дороги не знать! Только я, значит, воля ваша, не могу... потому как же этак вдруг...

Оказалось, что Ермолай, нанимая Филофея, заявил ему, чтобы он не сомневался, что ему, дураку, заплатят... и только! Филофей, хотя и дурак, — по словам Ермолая, — не удовлетворился одним этим заявлением. Он запросил с меня пятьдесят рублей ассигнациями — цену громадную; я предложил ему десять рублей — цену низкую. Принялись мы торговаться; Филофей сперва упорствовал, потом стал сдаваться, но туго. Вошедший на минутку Ермолай начал меня уверять, что «этот дурак» (вишь, полюбилось слово! — заметил вполголоса Филофей), «этот дурак совсем счету деньгам не знает», — и кстати напомнил мне, как лет двадцать тому назад постоянный двор, устроенный моей матушкой на бойком месте, на перекрестке двух больших дорог, пришел в совершенный упадок оттого, что старый дворовый, которого посадили туда хозяйничать, действительно не знал счета деньгам, а ценил их по количеству — то есть отдавал, например, серебряный четвертак за шесть медных пятак, причем, однако, сильно ругался.

— Эх ты, Филофей, прямой Филофей! — воскликнул наконец Ермолай и, уходя, в сердцах хлопнул дверью.

Филофей ничего ему не возразил, как бы сознавая, что называться Филофеем, точно, не совсем ловко и что за такое имя даже упрекать можно человека, хотя, собственно, виноват тут поп, которого при крещении не убоготворили как следует.

Наконец мы, однако, сошлись с ним па двадцати рублях. Он отправился за лошадьми и чрез час привел их целых пять на выбор. Лошади оказались порядочные, хотя гривы и хвосты у них были спутанные и животы — большие, растянутые, как барабан. С Филофеем пришло двое его братьев, нисколько на него не похожих. Маленькие, черноглазые, востроносые, опи, точно, производили впечатление ребят «шустрых», говорили много и скоро — «лопотали», как выразился Ермолай, — но старшему понравились.

Опи выкатили тарантас из-под навеса да часа полтора возились с ним и с лошадьми; то отпускали веревочные постропки, то прикручивали их туго-натуго! Обоим братьям непременно хотелось запретъ в корепъ «чалого», потому «ён с горы спущать мотит», — по Филофеем решил: кудластого! Так кудластого и заложили в корепъ.

Тарантас набили сеном, подсунули под сиденье хомут с хромого коренника — в случае, если б пришлось пригонять его в Туле на повокуплепную лошадь... Филофеем, успевший сбегать домой и возвратившийся оттуда в длинном белом отцовском балахоне, высоком гречневике и смазных салогах, взобрался торжественно па козла. Я сел, посмотрев на часы: четверть одиннадцатого. Ермолай даже не простился со мною, он принялся бить своего Валетку; Филофеем задергал вожжами, закричал тонким-тонким голосом: «Эх вы, махонькие!» — братья его подскочили с обеих сторон, подстегнули под брюхо пристяжных — и тарантас тронулся, свернул из ворот па улицу; кудластый хотел было махнуть к себе па двор, но Филофеем образумил его несколькими ударами кнута — и вот мы уже выскочили из деревни и покатали по довольно ровной дороге, между сплошными кустами густого орешника.

Ночь была тихая, славная, самая удобная для езды. Ветер па прошелестит в кустах, закачает ветки, то совсем замрет; па небе кое-где виднелись неподвижные серебристые облачка; месяц стоял высоко и ясно озарял окрестность. Я растянулся на сене и уже вздремнул было... да вспомнил о «неладном месте» и встре-пенулся.

— А что, Филофеем? До брода далеко?

— До броду-то? Верст восемь будет.

«Восемь верст, — подумалось мне. — Раньше часу не доедем. Соснуть пока можно».

— Ты, Филофеем, дорогу хорошо знаешь? — спросил я опять.

— Да как ее не знать-то, дорогу-то? Не впервой едем...

Он еще что-то прибавил, но я уже не расслушал его... Я спал.

Разбудило меня не собственное намерение проснуться ровно через час, как это часто случается, а какое-то странное, хоть и слабое, хлюпанье и бульканье под самым моим ухом. Я поднял голову...

Что за чудеса? Лежу я в тарантасе по-прежнему, а вокруг тарантаса — и на пол-аршина, не более, от его края — водная гладь, освещенная луною, дробится и дрожит мелкой, четкой рябью. Я — глядь вперед: на козлах, понутив голову, согнув спину, сидит, как истукан, Филофей, а еще подалее — над журчащею водою — кривая линия дуги и лошадиные головы и спины. И всё так неподвижно, так бесшумно — словно в заколдованном царстве, во сне, в сказочном сне... Что за притча? Я — глядь назад из-под балчука тарантаса... Да мы на самой середине реки... берег от нас шагов за тридцать!

— Филофей! — воскликнул я.

— Чего? — возразил он.

— Как чего? Помилуй! Где же это мы?

— В реке.

— Я вижу, что в реке. Да мы этак сейчас потонем. Так-то ты в брод переезжаешь? А? Да ты спишь, Филофей! Отвечай же! — Маленечко ошибся, — промолвил мой возница, — в сторону, зная, взяв грешным делом, а теперь подождать надоть.

— Как ждать *надоть*? Чего же мы будем ждать?

— А вот пуцай кудластый оглядится: куда он ворохнется, туда, значит, и ехать надоть.

Я приподнялся на сене. Голова коренника не шевелилась над водою. Только и можно было видеть при ясном свете месяца, как одно его ухо чуть-чуть двигалось то взад, то вперед.

— Да он тоже спит, твой кудластый!

— Нет, — отвечал Филофей, — он теперь воду нюхает.

И все опять замолкло, только по-прежнему слабо хлюпала вода. Я тоже оцепенел.

Лунный свет, да ночь, да река, да мы в ней...

— Это что такое шипит? — спросил я Филофея.

— Это? Утята в камыше... а не то змеи.

Вдруг голова коренника замоталась, уши наострились, он зафыркал, заворошился.

— Но-но-по-поо! — внезапно заорал во все горло Филофей, и приподнялся, и замахал кнутом. Тарантас тотчас сдерпуло с места, он рванулся вперед наперерез речной волне — и пошел, дрыгая и колыхаясь... Сперва мне показалось, что мы погружаемся, идем вглубь, однако после двух-трех толчков и нырков водная гладь как будто вдруг понизилась... Она понижалась все больше и больше, тарантас вырастал из нее, — вот уже показались колеса и

конские хвосты и вот, вздымая сильные и крупные брызги, алмазными — нет, не алмазными — сапфирными снопами разлетавшиеся в матовом блеске луны, — весело и дружно выхватили нас лошади па песчаный берег и пошли по дороге в гору, вперебивку переступая глянцевитыми мокрыми ногами.

«Что, — пришло мне в голову, — скажет теперь Филофей: а ведь я был прав! или что-нибудь в этом роде?» Но он ничего не сказал. Потому и я не почел за нужное упрекнуть его в неосторожности и, уложившись спать на сене, опять попытался заснуть.

Но я не мог заснуть, — не потому, что не устал от охоты, и не потому, что испытанная мною тревога разогнала мой сон, — а уж очень красивыми местами нам приходилось ехать. То были равдольные, пространные, поемные, травянистые луга, со множеством небольших лужаек, озёрец, ручейков, заводей, заросших по концам ивняком и лозами, прямо русские, русским людям любимые места, подобные тем, куда езживали богатыри наших древних былин стрелять белых лебедей и серых утиц. Желтоватой лентой вилась наезженная дорога, лошади бежали легко, и я не мог сомкнуть глаза — любовался! И все это так мягко и стройно плыло мимо, под дружелюбной луной. Филофея — и того проняло.

— Эти у нас луга Святоегорьевскими прозываются, — обратился он ко мне. — А за ними — так Великокняжеские пойдут; других таких лугов по всей Расеи нету... Уж на что красиво! — Корепник фыркнул и встряхнулся... — Господь с тобою!.. — промолвил Филофей степенно и вполголоса. — На что красиво! — повторил он и вздохнул, а потом протяжно крикнул. — Вот скоро сепокосы начнутся, и что тут этого самого сена нагребут — беда! А в заводях рыбы тоже много. Лещи такие! — прибавил он нараспев. — Одно слово: умирать не надо.

Он вдруг поднял руку.

— Эва! глянь-ка! над озером-то... аль чапля стоит? Неужели она и почью рыбу ловит? Эх-ма! сук это — не чапля. Вот маху-то дал! а все месяц обманывает.

Так мы ехали, ехали... Но вот уж и конец подошел лугам, показались лесочки, распаханные поля; деревушка в стороне мигнула двумя-тремя огоньками, — до большой дороги оставалось всего верст пять. Я заснул.

Снова я не сам собой проснулся. На этот раз меня разбудил голос Филофея.

— Барин... а барин!

Я приподнялся. Тарантас стоял на ровном месте по самой середине большой дороги; обернувшись с козел ко мне лицом, ши-

роко раскрыв глаза (я даже удивился, я не воображал, что они у него такие большие), Филофей значительно и таинственно шептал:

— Стучит!.. Стучит!

— Что ты говоришь?

— Я говорю: стучит! Нагнитесь-ка и послушайте. Слышите?

Я высунул голову из тарантаса, притаил дыхание — и действительно услышал где-то далеко-далеко за нами слабый прерывистый стук, как бы от катившихся колес.

— Слышите? — повторил Филофей.

— Ну да, — ответил я. — Едет какой-то экипаж.

— А не слышите... чу! Во... бубенцы... и свист тоже... Слышите. Да шапку-то снимите... слышней будет.

Я шапки не снял, но приник ухом.

— Ну, да... может быть. Да что ж из этого?

Филофей повернулся лицом к лошадям.

— Телега катит... налегке, колеса кованые, — промолвил он и подобрал вожжи. — Это, барин, недобрые люди едут; здесь ведь, под Тулой, шалят... много.

— Какой вздор! Почему ты полагаешь, что это непременно недобрые люди?

— Верно говорю. С бубенцами... да в пустой телеге... Кому быть?

— А что — до Тулы еще далеко?

— Да верст еще пятнадцать будет, и жилья тут никакого нету.

— Ну так ступай живее, нечего мешкать-то.

Филофей взмахнул кнутом, и тарантас опять покатился.

Хотя я не дал веры Филофею, однако заснуть уже не мог. А что, если в самом деле? Неприятное чувство шевельнулось во мне. Я сел в тарантасе — до тех пор я лежал — и стал глядеть по сторонам. Пока я спал, тонкий туман набежал — не на землю, на небо; он стоял высоко, тесня в нем повис беловатым пятном, как бы в дыме. Все потускнело и смешалось, хотя кпизу было виднее. Кругом — плоские, унылые места: поля, всё поля, кое-где кустики, овраги — и опять поля, и больше все пар, с редкой сорной травой. Пусто... мертво! Хоть бы перепел где крикнул.

Ехали мы с полчаса. Филофей то и дело помахивал кнутом и чмокал губами, но ни он, ни я, мы не говорили ни слова. Вот взобрались мы на пригорок... Филофей остановил тройку и тотчас же промолвил:

— Стучит... Стучит-ит, барин!

Я опять высунулся из тарантаса; но я был мог остаться под навесом балчука, до того теперь явственно, хотя еще издали, доносился до слуха моего стук тележных колес, людской посвист, бряцанье бубенчиков и даже топот конских ног; даже пенье и смех почудились мне. Ветер, правда, тянул оттуда, но не было сомненья в том, что незнакомые проезжие на целую версту, а может, и на две, стали к нам ближе.

Мы с Филофеем переглянулись — он только шляпу сдвинул с затылка на лоб и тотчас же, нагнувшись над вожжами, принялся стегать лошадей. Они пустились вскачь, но долго скакать не могли и опять побежали рысью. Филофей продолжал стегать их. Надо ж было уходить!

Я не мог себе дать отчета, почему в этот раз я, сначала не разделявший подозрений Филофея, вдруг получил убеждение, что следом за нами ехали точно недобрые люди... Ничего нового не услышал я: те же бубенцы, тот же стук ненагруженной телеги, то же посвистывание, тот же смутный гам... Но я теперь уже не сомневался. Филофей не мог ошибиться!

И вот опять прошло минут двадцать... В течение последних из этих двадцати минут сквозь стук и грохот собственного экипажа нам уже слышался другой стук и другой грохот...

— Остановись, Филофей,— сказал я,— все равно один конец!

Филофей трусливо тпрукнул. Лошади мгновенно стали, как бы обрадовавшись возможности отдохнуть.

Батюшки! бубенцы просто режут за самой нашей спиной, телега гремит с дребезгом, люди свистят, кричат и поют, лошади фыркают и бьют копытами землю...

Нагнали!

— Би-и-да,— с расстановкой, вполголоса, промолвил Филофей и, нерешительно чмокнув, стал понукать лошадей. Но в это самое мгновение что-то вдруг словно сорвалось, рявкнуло, ухнуло — и большущая развалистая телега, запряженная тройкой поджарых коней, круто, вихрем обогнула нас, заскакала вперед и тотчас пошла шагом, загораживая дорогу.

— Самая разбойничья повадка,— прошептал Филофей.

Признаться, у меня па сердце захолонуло... Принялся я глядеть с напряженьем в полумрак лунного, парами застланного света. В телеге перед нами не то сидело, не то лежало человек шесть в рубахах, в армяках нараспашку; у двоих на головах не было шапок; большие ноги в сапогах болтались, свесившись через грядку, руки поднимались, падали зря... тела тряслись... Явное дело: пьяный народ. Иные горланили — так, что ни попало; один свистал очень пронзительно и чисто, другой ругался; на облучке сидел ка-

кой-то великан в полушубке и правил. Ехали они шагом, как будто не обращая на нас внимания.

Что было делать? Мы поехали за ними тоже шагом... поневоле.

С четверть версты двигались мы таким манером. Ожидание мучительное... Спастись, защищаться... где уж тут! Их шестеро, а у меня хоть бы палка! Повернуть оглоблями назад? но они тотчас догонят. Вспомнился мне стих Жуковского (там, где он говорит об убийстве фельдмаршала Каменского):

Топор разбойника презренный...

А не то — горло сдавят грязной веревкой... да в канаву... хрипи там да бейся, как заяц в силке...

Эх, скверно!

А они по-прежнему едут шагом и не обращают на нас внимания.

— Филофей,— шепнул я,— попробуй-ка возьми правее, ступай будто мимо.

Филофей попробовал — взял вправо... но те тотчас тоже взяли вправо... проехать стало невозможно.

Филофей попытался еще: взял налево... Но и тут ему не дали миновать телегу... Даже засмеялись. Значит, не пропускают.

— Как есть разбойники,— шепнул мне Филофей через плечо.

— Да чего же они ждут? — спросил я тоже шепотом.

— А вон там впереди, в ложбине, над ручьем, мостик... Они нас там! Они всегда этак... возле мостов. Наше дело, барин, чисто! — прибавил он со вздохом, — вряд ли живых отпустят; потому им главное: концы в воду. Одного мне жаль, барин: пропала моя троечка, — и братьям-то она не достанется.

Подивился бы я тут, как это Филофей в подобную минуту может еще о своих лошадях заботиться, да, признаюсь, мне самому было не до него... «Неужто же убьют? — твердил я мысленно. — За что? Ведь я им все отдам, что у меня есть».

А мостик все приближался, все становился видней да видней.

Вдруг раздалось резкое гиканье, тройка перед нами словно взвилась, понеслась и, доскакав до мостика, разом остановилась как вкопанная немного сбоку дороги. Сердце во мне так и упало.

— Ох, брат Филофей,— промолвил я,— едем мы с тобою на смерть. Прости меня, коли я тебя загубил.

— Какая твоя вина, барин! Своей судьбы не минуешь! Ну, кудластый, лошадушка моя верная, — обратился Филофей к кореннику, — ступай, брат, вперед! Сослужи последнюю службу! Все едино... Господи! бо-слови!

И он пустил свою тройку рысцей.

Стали мы приближаться к мостику, к той неподвижной, грозной телеге... На ней, как нарочно, все затихло. Ни гугу! Так затихает щука, ястреб, всякий хищный зверь, когда приближается добыча. Вот поравнялись мы с телегой... вдруг великан в полушубке прыг с нее долой — и прямо к нам!

Ничего-то он не сказал Филофею, но тот сам тотчас натянул вожжи... Тарантас остановился.

Великан положил обе руки на дверцы и, наклонив вперед свою мохнатую голову и ослабаясь, произнес тихим, ровным голосом и фабричным говорком следующее:

— Господин почтенный, едем мы с честного пирка, со свадебки; нашего молодца, значит, женили; как есть, уложили; ребята у нас всё молодые, головы удалые — выпито было много, а опохмелиться нечем; то не будет ли ваша такая милость, не пожалуете ли нам дешьжонок самую чуточку, — так, чтобы по косушке на брата? Выпили бы мы за ваше здоровье, помянули бы ваше степенство; а не будет вашей к нам милости — ну, просим не осерчать!

«Что это такое? — подумалось мне... — Насмешка?.. Глумление?»

Великан продолжал стоять, понурив голову. В самый этот миг месяц выбрался из тумана и осветил ему лицо. Оно ухмылялось, это лицо — и глазами и губами. А угрозы на нем не видать... только словно все оно насторожилось... и зубы такие белые да большие...

— Я с удовольствием... возьмите... — поспешно проговорил я и, достав кошелек из кармана, вынул оттуда два целковых; в то время серебряные деньги еще водились на Руси. — Вот, коли этого довольно.

— Много благодарны! — гаркнул по-солдатски великан, и толстые его пальцы мигом выхватили у меня — не весь кошелек, а только те два рубля. — Много благодарны! — Он встряхнул волосами, подбежал к телеге.

— Ребята! — крикнул он, — два целковых жалует нам господин проезжий! — Те все вдруг как загогочут... Великан взвалился на облучок...

— Счастливо оставаться!

И только мы их и видели! Лошади подхватили, телега загремела в гору, — вот еще раз мелькнула она на темной черте, отделявшей землю от неба, завалилась и пропала.

Вот уж и стука, и крика, и бубенцов не слышать...

Стала тишина мертвая.

Мы с Филофеем не вдруг опомнились.

— Ах ты, шут этакой! — промолвил он наконец и, сняв шляпу, начал креститься. — Право, шут, — прибавил он и обернулся ко мне, весь радостный. — А хороший должен быть человек — право. Но-но-но, махонькие! поворачивайтесь! Целы будете! Все целы будем! Ведь это он проехать не давал; он лошадьми-то правил. Экой шут парень! Но-но-но-ноо! с бо-гáм!

Я молчал — но и у меня хорошо стало на душе. «Целы будем! — повторил я про себя и разлегся на сене. — Дешево отделались!»

Мне даже несколько совестно стало, зачем это я стих Жуковского вспомнил.

Вдруг пришла мне в голову мысль:

— Филофей!

— Чего?

— Ты женат?

— Женат.

— И дети есть?

— Есть и дети.

— Как же ты об них не вспомнил? О лошадях пожалел — а о жене, о детях?

— Да чего их жалеть-то? Ведь вора́м в руки они бы не попались. А в уме я их все время держал — и теперь держу... во как. — Филофей помолчал. — Может... из-за них господь бог нас с тобой помиловал.

— Да коли то не были разбойники?

— А почему знать? В чужую душу разве влезешь? Чужая душа — известно — потемки. А с богом-то завсегда лучше. Не... я свою семью завсегда... Но-но-но, махонькие, с бо-гáм!

Уже почти рассвело, когда мы стали подъезжать к Туле. Я лежал в забытии полусна...

— Барин, — сказал мне вдруг Филофей, — посмотрите-ка: воп они стоят у кабака... ихняя телега-то.

Я поднял голову... точно, они: и телега их, и лошади. На пороге питейного заведения внезапно показался знакомый великан в полушубке.

— Господин! — воскликнул он, помахивая шапкой, — ваши денежки пропиваем! А что, кучер, — прибавил он, качнув головой па Филофея, — чай, заробел эта-ась?

— Превеселый человек, — заметил Филофей, отъехавши сажень на двадцать от кабака.

Прибыли мы наконец в Тулу; купил я дрови, да кстати чаю, да вина, и даже лошадь у барышника взял. В полдень мы отпрявили обратно. Проезжая тем местом, где в первый раз мы услы-

хали за собою стук телеги, Филофей, который, подвыпив в Туле, оказался весьма разговорчивым человеком, — он мне даже сказки рассказывал, — проезжая тем местом, Филофей вдруг засмеялся.

— А помнишь, барин, как я тебе все говорил: стучит... стучит, мол, стучит!

Он несколько раз повел рукою наотмашь... Очень уж ему это слово казалось забавным.

В тот же вечер мы вернулись в его деревню.

Я сообщил бывший с нами случай Ермолаю. Будучи трезвым, он не высказал никакого сочувствия и только хмыкнул — одобрительно или укоризненно, — этого, я полагаю, он сам не ведал. Но дня два спустя он с удовольствием известил меня, что в ту самую почь, когда мы с Филофеем ездили в Тулу, — и на той же самой дороге — какого-то купца ограбили и убили. Я сперва не поверил этому известию; но потом пришлось поверить; справедливость его мне подтвердил проскакавший на следствие становой. Уж не с этой ли «свадьбы» возвращались наши удальцы и не этого ли «молодца» они, по выражению шутника-великана, уложили? Я в деревне Филофея оставался еще дней пять. Бывало, как только встречу его, всякий раз говорю ему: «А? стучит?»

— Веселый человек, — ответит он мне всякий раз и сам засмеется.

ЛЕС И СТЕПЬ

...И понемногу начало пазад
Его тянуть: в деревню, в темный сад,
Где липы так огромны, так теписты,
И ландыши так девственно душисты,
Где круглые ракиты над водой
С плотины наклонились чередой,
Где тучный дуб растет над тучной пивой,
Где пахнет конопелью да крапивой...
Туда, туда, в раздольные поля,
Где бархатом чернеется земля,
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,
Струится тихо мягкими волнами
И падает тяжелый желтый луч
Из-за прозрачных, белых, круглых туч;
Там хорошо

(Из поэмы, преданной сожжению)

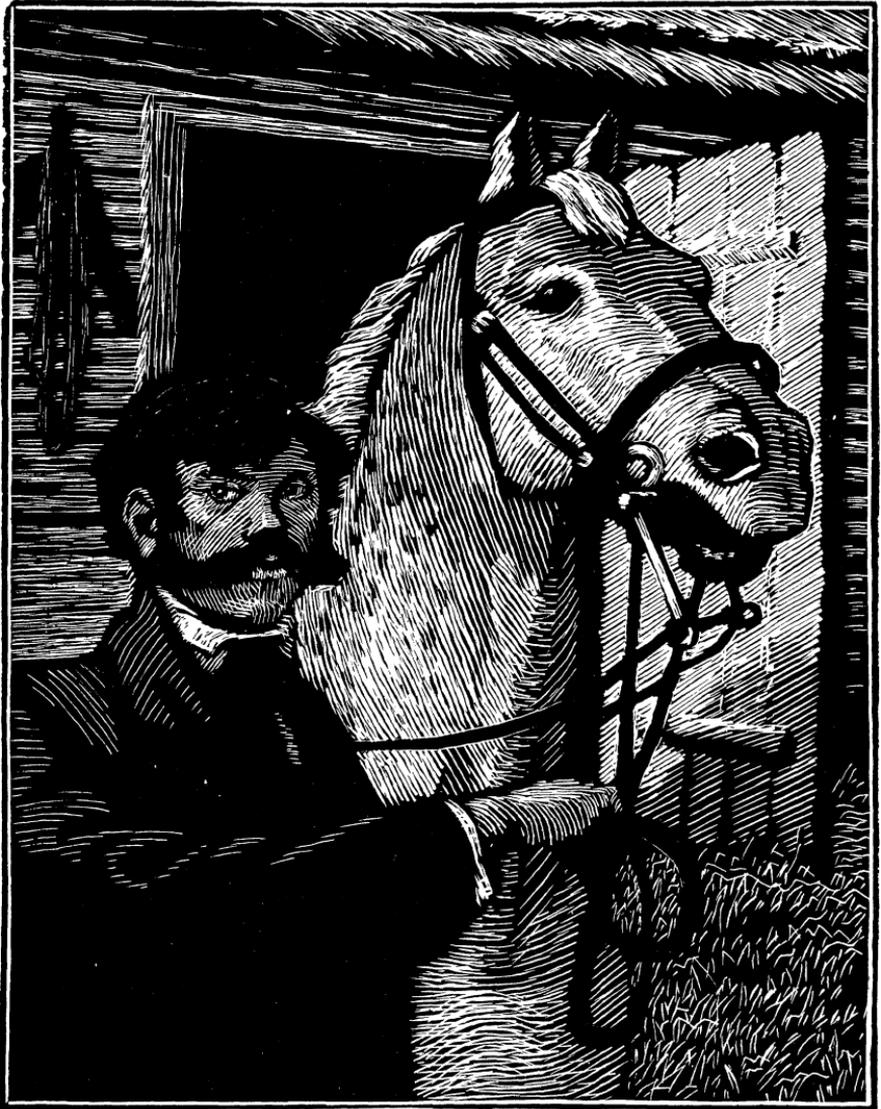
Читателю, может быть, уже наскучили мои записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, папример, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На темно-сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегаёт легкой волной; слышится сдержанный, пейсный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнем, в саду,

мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете — едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немпожко, вы закрываете лицо воротником шинели; вам дремлется. Лошади звучно шлепают погами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... Край неба алеет; в березах просыпаются, пеловко перелетывают галки; воробьи чирикают около темных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснее небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнем горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул — и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенется, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая с белой церковью, вон березовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, копи, живее! Крупной рысью вперед!.. Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьется верст на десять, тускло синие сквозь туман; за ней водянисто-зеленые луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком вьются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отраднo бродить на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст — вас так и обдаст накопившимся теплым запахом почвы; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кое-где разве вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот закричала телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли — звучный лязг косы раздастся за вами. Солнце все выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух.



«Конец Чертопанова»
Худ. В. В. Домогацкий

— Где бы, брат, тут напиться? — спрашиваете вы у косаря.

— А вон, в овраге, колодезь.

Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким, бархатным мхом. Вы бросаетесь на землю, вы напились, но вам лень пошевелиться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сеной сарай... скорее!.. Вы добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляничкой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; сияет небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы ночуете. Закинув ружье за плечи, быстро идете вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край неба смутно яснее... Что это? пожар?.. Нет, это восходит луна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки

цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, всяческие ветки берез едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красивой липы. Вы едете по зеленой, испещренной тенями дорожке; большие желтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки выются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идет к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес гложет... Незъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурю листву кое-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помянется вслед...

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдаль над желтыми полями. Сквозь обнаженные, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кое-где на липах висят последние золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идешь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мертвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображенье реет и носится, как птица, и все так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьется, страстно бросится вперед, то безвозвратно потонет в воспоминаниях. Вся жизнь развертывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всею своею душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает — ни солнца нет, ни ветра, ни шуму...

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще бе-

леет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья,— когда по реке радостно мчатся сильные волны, мерно вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо все кругом! Все проснулось, и все молчит. Вы проходите мимо дерева — оно не шелохнется: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете ее за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом вас — всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнется — клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редующий, словно задымившийся пар, золотисто-желтый луч ворвется вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрется в рощу — и вот опять все заволжлось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то взвиваются и исчезают в глубокой, нежно сияющей вышине...

Но вот вы собрались в отъезжее поле, в степь. Верст десять пробирались вы по проселочным дорогам — вот, наконец, большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоянных дворишков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля, вдоль зеленых конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетется усталым шагом; грузная помещичья карета, запряженная шестериком рослых и разбитых лошадей, плывет вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за веревочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы — какой вид! Круглые, низкие холмы,

распаханные и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги выются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырех местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом со своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, дерева почти не видать. Вот она, наконец, — безграничная, необозримая степь!

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако пора кончить. Кстати заговорил я о весне: весной легко расставаться, весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ТРИ ПОРТРЕТА

«Соседство» составляет одну из важнейших неприятностей деревенской жизни. Я знал одного вологодского помещика, который, при всяком удобном случае, повторял следующие слова: «Слава богу, у меня нет соседей», — и, признаюсь, не мог не завидовать этому счастливому смертному. Моя деревенька находится в одной из многолюднейших губерний России. Я окружен великим множеством соседушек, начиная с благонамеренных и почтенных помещиков, облеченных в просторные фраки и просторнейшие жилеты, и кончая записными гуляками, носящими венгерки с длинными рукавами и так называемым «фимским» узлом на спине. В числе всех этих дворян случайным образом открыл я, однако ж, одного весьма любезного малого: он прежде служил в военной службе, потом вышел в отставку и поселился на веки веков в деревне. По его рассказам, он служил два года в П—м полку; но я решительно не понимаю, как мог этот человек нести какую-нибудь обязанность не только в течение двух лет, но даже в продолжение двух дней. Он был рожден «для жизни мирной, для деревенской тишины», то есть для ленивого, беспечного прозябания, которое, замечу в скобках, не лишено великих и неистощимых прелестей. Он пользовался весьма порядочным состоянием: не заботясь слишком о хозяйстве, проживал около десяти тысяч рублей в год, достал себе прекрасный повара (мой приятель любил хорошо покушать); также выписывал себе из Москвы новейшие французские книги и журналы. По-русски же читал он одни лишь донесения своего приказчика, и то с большим трудом. Он с утра (если не уезжал на охоту) до обеда и за обедом не покидал халата; перебирал какие-нибудь хозяйственные рисунки, не то отправлялся на конюшню или в молотильный сарай и пересмеивался с бабами, которые при нем взмахивали цепями, как говорится, спрехвалá. После обеда мой друг одевался перед зеркалом весьма тщательно и ехал к какому-нибудь соседу, одаренному двумя или тре-

мя хорошенькими дочками; беспечно и миролюбиво волочился за одной из них, играл с ними в жмурки, возвращался домой довольно поздно и тотчас же засыпал богатырским сном. Он скучать не мог, потому что никогда не предавался полному бездействию; а на выбор занятий не был прихотлив и, как ребенок, тешился малейшей безделицей. С другой стороны — особенной привязанности к жизни он не чувствовал и, бывало, когда приходилось *перескакать* волка или лисицу, — пускал свою лошадь во всю прыть по таким рывинам, что я до сих пор понять не могу, как он себе сто раз не сломал шеи. Он принадлежал к числу тех людей, которые возбуждают в вас мысль, что они сами себе не знают цены, что под их наружным равнодушием скрываются сильные и великие страсти; но он бы рассмеялся вам в нос, если б мог догадаться, что вы питаете о нем подобное мнение; да и, признаться сказать, я сам думаю, что если и водилось за моим приятелем в молодости какое-нибудь хотя не ясное, но сильное стремление к тому, что весьма мило названо «чем-то высшим», то это стремление давным-давно в нем угомонилось и *зачичкало*. Он был довольно толст и наслаждался превосходным здоровьем. В наш век нельзя не любить людей, мало помышляющих о самих себе, потому что они чрезвычайно редки... а мой приятель едва ли не забыл о своей особе. Впрочем, я, кажется, уже слишком много говорю о нем, — и моя болтовня тем более неуместна, что не он служит предметом моего рассказа. Его звали Петром Федоровичем Лучиновым.

В один осенний день съехалось нас человек пять записных охотников у Петра Федоровича. Целое утро мы провели в поле, застрелили двух волков и множество зайцев и вернулись домой в том восхитительно приятном расположении духа, которое овладевает всяким порядочным человеком после удачной охоты. Смеркалось. Ветер разыгрывался в темных полях и шумно колебал обнаженные вершины берез и лип, окружавших дом Лучинова. Мы приехали, слезли с коней... на крыльце я остановился и оглянулся: по серому небу таяко ползли длинные тучи; темно-бурый кустарник крутился на ветре и жалобно шумел; желтая трава бессильно и печально пригибалась к земле; стаи дроздов перелетывали по рябинам, осыпанным ярко-пунцовыми гроздьями; в тонких и ломких сучьях берез с свистом попрыгивали синицы; на деревне слышались лай собак. Мне стало грустно... зато я с истинной отрадой вошел в столовую. Ставни были заперты; на круглом столе, покрытом скатертью ослепительной белизны, среди хрустальных графинов, наполненных красным вином, горело восемь свечей в серебряных подсвечниках; в камине весело пылал огонь — и старый, весьма благообразный дворецкий, с огромной лысиной, одетый по-английски, стоял в почтительной неподвижности перед другим

столом, на котором уже красовалась большая суповая чаша, обвита легким и пахучим паром. В сенцах мы прошли мимо другого почтенного человека, занятого морожением шампанского — «по строгим правилам искусства». Обед был, как водится в подобных случаях, чрезвычайно приятный; мы хохотали, рассказывали происшествия, случившиеся на охоте, и с восторгом упоминали о двух знаменитых «угонках». Покушавши довольно плотно, расположились мы в широких креслах около камина; на столе появилась объемистая серебряная чаша, и через несколько мгновений беглое пламя запылавшего рома возвестило нам о приятном намерении хозяина «сотворить жженку». Петр Федорович был человек не без вкуса; он, например, знал, что ничего не действует так убийственно на фантазию, как ровный, холодный и педантический свет ламп,— потому велел оставить в комнате всего две свечи. Странные полутени трепетали по стенам, произведенные прихотливою игрою огня в камине и пламенем жженки... Тихая, чрезвычайно приятная отрада заменила в наших сердцах несколько буйную веселость, господствовавшую за обедом.

Разговоры имеют свои судьбы — как книги (по латинской половице), как всё на свете. Наш разговор в этот вечер был как-то особенно разнообразен и жив. От частных восходил он к довольно важным общим вопросам, легко и непринужденно возвращаясь к ежедневностям жизни... Поболтавши довольно много, мы вдруг все замолчали. В то время, говорят, пролетает тихий ангел.

Не знаю, отчего мои товарищи затихли, но я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трех запыленных портретах в черных деревянных рамках. Краски истерлись и кое-где покоробились, но лица можно было еще разобрать. На среднем портрете изображена была женщина молодых лет, в белом платье с кружевными каемками, в высокой прическе восьмидесятых годов. Направо от нее, на совершенно черном фоне виднелось круглое и толстое лицо доброго русского помещика лет двадцати пяти, с низким и широким лбом, тупым носом и простодушной улыбкой. Французская напудренная прическа весьма не согласовалась с выражением его славянского лица. Живописец изобразил его в кафтане алого цвета с большими стразовыми пуговицами; в руке держал он какой-то небывалый цветок. На третьем портрете, писанном другою, более искусною рукою, был представлен человек лет тридцати, в зеленом мундире екатерининского времени, с красными отворотами, в белом камзоле, в тошном батистовом галстухе. Одной рукой опирался он на трость с золотым набалдашником, другую заложил за камзол. Его смуглое, худощавое лицо дышало дерзкою надменностью. Тонкие длинные брови почти срастались

над черными как смоль глазами; на бледных, едва заметных губах играла недобрая улыбка.

— Что вы это загляделись на эти лица? — спросил меня Петр Федорович.

— Так! — отвечал я, посмотрев на него.

— Хотите ли выслушать целый рассказ об этих трех особах?

— Сделайте одолжение, — отвечали мы в один голос.

Петр Федорович встал, взял свечку, поднес ее к портретам и голосом человека, показывающего диких зверей: «Господа! — провозгласил он, — эта дама — приемыш моего родного прадедушки, Ольга Ивановна NN, прозванная Лучиновой, умершая лет сорок тому назад, в девицах. Этот господин, — показывая на портрет мужчины в мундире, — гвардии сержант, Василий Иванович Лучинов же, скончавшийся волею божиею в тысяща семьсот девяностом году; а этот господин, с которым я не имею чести состоять в родстве, некто Павел Афанасьевич Рогачев, нигде, сколько мне известно, не служивший. Извольте обратить внимание на дыру, находящуюся у него на груди, на самом месте сердца. Эта дыра, как вы видите, правильная, трехгранная, вероятно, не могла произойти случайно... Теперь, — продолжал он обыкновенным своим голосом, — извольте усесться, вооружитесь терпением и слушайте».

— Господа! — начал он, — я происхожу от довольно старинного рода. Я моим происхождением не горжусь, потому что мои предки были все страшные мотыги. Впрочем, этот упрек не относится к моему прадеду, Ивану Андреевичу Лучинову, — напротив: он слыл за человека чрезвычайно бережливого и даже скупого — по крайней мере, в последние годы своей жизни. Он провел свою молодость в Петербурге и был свидетелем царствования Елизаветы. В Петербурге он женился и прижил с своей женой, а моей прабабушкой, четырех человек детей — трех сыновей, Василия, Ивана и Павла (моего родного деда), и одну дочь, Наталью. Сверх того, Иван Андреевич принял к себе в семейство дочь одного отдаленного родственника, круглую безымянную сироту — Ольгу Ивановну, о которой я уже вам говорил. Подданные моего дедушки, вероятно, знали о его существовании, потому что высылали к нему (когда не случалось особого несчастья) весьма незначительный оброк — но никогда в лицо его не видали. Сельцо Лучиновка, лишенное лицезрения своего господина, процветало, — как вдруг, в одно прекрасное утро, тяжелая колымага въехала в деревню и остановилась перед избой старосты. Мужики, встревоженные таким небывалым происшествием, сбежались и увидели своего барина, барыню и всех их чад, исключая старшего, Василия, оставшегося в Петербурге. С того достопамятного дня и до самой своей кончины Иван Андреевич не выезжал из Лучиновки. Он выстроил

себе дом, тот самый, в котором я теперь имею удовольствие беседовать с вами; построил также церковь и начал жить помещиком. Иван Андреевич был человек огромного роста, худой, молчаливый и весьма медлительный во всех своих движениях; никогда не носил халата, и никто, исключая его камердинера, не видал его ненагудренным. Иван Андреевич обыкновенно ходил, заложив руки за спину, медленно поворачивая голову при каждом шаге. Всякий день прогуливался он по длинной липовой аллее, которую сам собственноручно посадил, — и перед смертью имел удовольствие пользоваться тенью этих лип. Иван Андреевич был чрезвычайно скуп на слова; доказательством его молчаливости служит то замечательное обстоятельство, что он в течение двадцати лет не сказал ни одного слова своей супруге, Анне Павловне. Вообще его отношения к Анне Павловне были весьма странного рода. Она заведовала всем домашним хозяйством, за обедом сидела всегда возле своего мужа — он нещадно наказал бы человека, который осмелился бы сказать ей одно непочтительное слово, — а между тем сам с ней никогда не говорил, не прикасался к ее руке. Анна Павловна была робкая, бледная, убитая женщина; каждый день молилась в церкви на коленях и никогда не улыбалась. Толковали, что они прежде, то есть до приезда в деревню, жили в большом ладу; поговаривали также, что Анна Павловна нарушила свои супружеские обязанности, что муж узнал о ее проступке... Как бы то ни было, но Иван Андреевич, даже умирая, не примирился с ней. Во время последней его болезни она не отлучалась от него; но он, казалось, ее не замечал. В одну ночь Анна Павловна сидела в спальне Ивана Андреевича; его мучила бессонница; лампада горела перед образом; слуга моего дедушки, Юдич, о котором я вам впоследствии скажу два слова, вышел. Анна Павловна встала, перешла через комнату и, рыдая, бросилась на колени перед постелью мужа, хотела что-то сказать — протянула руки... Иван Андреевич посмотрел на нее — и слабым голосом, но твердо закричал: «Человек!» Слуга вошел, Анна Павловна поспешно встала и, шатаясь, возвратилась на свое место.

Дети Ивана Андреевича чрезвычайно его боялись. Они выросли в деревне и были свидетелями странного обхождения Ивана Андреевича с своей женою. Они все страстно любили Анну Павловну, но не смели высказать свою любовь. Она сама как будто их чуждалась... Вы помните, господа, моего деда: он до самой смерти всегда ходил на цыпочках и говорил шепотом... что значит привычка! Мой дед и брат его, Иван Иванович, были люди простые, добрые, смиренные и грустные; моя grand'tante¹ Наталья вышла, как

¹ двоюродная бабушка (фр.).

вам известно, замуж за грубого и глупого человека и до смерти питала к нему безмолвную, подобострастную, овечью любовь. Но не таков был брат их Василий. Я вам, кажется, сказывал, что Иван Андреевич оставил его в Петербурге. Ему было тогда лет двенадцать. Отец поручил его попечениям одного отдаленного родственника, человека уже не молодого, холостого, страшного вольтерьянца.

Василий вырос, поступил на службу. Он был не велик ростом, но хорошо сложен и чрезвычайно ловок; прекрасно говорил по-французски и славился своим умением драться на шпагах. Его считали одним из блистательных молодых людей начала царствования Екатерины. Отец мой мне часто говаривал, что он знал не одну старушку, которая без сердечного умиления вспомнить не могла о Василье Ивановиче Лучинове. Вообразите себе человека, одаренного необыкновенной силой воли, страстного и расчетливого, терпеливого и смелого, скрытного до чрезвычайности и — по словам всех его современников — очаровательно, обаятельно любезного. В нем не было ни совести, ни доброты, ни честности, хотя никто же не мог назвать его положительно злым человеком. Он был самолюбив — но умел таить свое самолюбие и страстно любил независимость. Когда, бывало, Василий Иванович, улыбаясь, ласково прищурит черные глаза, когда захочет пленить кого-нибудь, говорят, невозможно ему было противиться — и даже люди, уверенные в сухости и холодности его души, не раз поддавались чарующему могуществу его влияния. Он усердно служил самому себе и других заставлял трудиться для своих же выгод, и всегда во всем успевал, потому что никогда не терял головы, не гнушался лести как средства и умел льстить.

Лет десять спустя после поселения Ивана Андреевича в деревне приехал он на четыре месяца в Лучиновку блестящим гвардейским офицером — и в течение этого времени успел вскружить голову даже угрюмому старику, отцу своему. Странно! Иван Андреевич с наслаждением слушал рассказы своего сына о некоторых его *победах*. Братья его немели перед ним и удивлялись ему, как существу высшему. Да и сама Анна Павловна едва ли не полюбила его более всех других детей, так искренно ей преданных...

Василий Иванович приехал в деревню, во-первых, для того, чтобы повидаться с родными, но, во-вторых, и для того, чтобы достать как можно более денег от отца. Он жил пышно и открыто в Петербурге и наделал множество долгов. Нелегко ему было сладить со скупостью родителя, и хоть Иван Андреевич дал ему в один его проезд, вероятно, гораздо более денег, чем всем другим своим сыновьям в продолжение двадцати лет, прожитых ими в родительском доме, но Василий держался известного русского пра-

вила: «Брать так брать!» У Ивана Андреевича был слуга, по прозванию Юдич, такой же высокий, худой и молчаливый человек, как сам его барин. Говорят, этот Юдич был отчасти причиною страшного обращения Ивана Андреевича с Анпой Павловпой: говорят, он открыл преступную связь моей прабабушки с одним из лучших приятелей моего прадеда. Вероятно, Юдич глубоко раскаялся в своей неуместной ревности, потому что трудно вообразить себе более доброго человека. Память его до сих пор священна всем моим дворовым людям. Юдич пользовался неограниченную доверенностью моего прадеда. В то время помещики имели деньги, но не отдавали их на сбережение в заемные учреждения, а сами хранили их в сундуках, в подполицах и т. д. Иван Андреевич держал все свои деньги в большом кованом сундуке, паходившемся у него под изголовьем. Ключ от этого сундука был отдан Юдичу. Каждый вечер, ложась спать, Иван Андреевич при себе приказывал отпирать этот сундук, постукивал палкой поочередно по всем туго набитым мешкам, а по субботам сам с Юдичем развязывал мешки и тщательно пересчитывал деньги. Василий проведал о всех этих проделках и возгорел желанием потревожить заветный сундучок. В течение пяти-шести дней он *умягчил* Юдича, то есть довел бедного старика до того, что тот в молодом барине, как говорится, души не чаял. Подготовив его надлежащим образом, Василий прикинулся озабоченным и мрачным, долго не хотел отвечать на расспросы Юдича и наконец сказал ему, что он проигрался и что паложит на себя руки, если не достанет где-нибудь денег. Юдич зарыдал, бросился перед ним на колени, просил вспомнить бога, не губить себя. Василий, не говоря ни слова, заперся в своей комнате. Через несколько времени услышал он, что кто-то осторожно к нему стучится; он отпер дверь и увидел на пороге Юдича, бледного, трепещущего, с ключом в руке. Василий тотчас все понял. Сперва он долго отказывался. Юдич со слезами твердил: «Извольте, барин! возьмите...» Василий наконец согласился. Дело было в понедельник. Василью пришла в голову мысль заменить вынутые деньги битыми черепками. Он рассчитывал на то, что Иван Андреевич, постукивая по мешкам палкой, не обратит особенного внимания на едва заметное различие звука, а до субботы он надеялся достать и вложить обратно деньги в сундук. Придуманно — сделано. Отец действительно ничего не заметил. Но к субботе Василий денег не достал: он надеялся на взятые деньги обыграть одного богатого соседа — и, напротив, сам все проиграл. Между тем настала суббота; дошла очередь и до мешков, набитых черепками. Представьте себе, господа, удивление и негодование Ивана Андреевича!

— Это что значит? — загремел он.

Юдич молчал.

— Ты украл эти деньги?

— Никак нет-с.

— Так кто-нибудь ключ у тебя брал?

— Я никому не отдавал ключа.

— Никому? А когда никому — так ты вор. Сознавайся!

— Я не вор, Ивап Андреевич.

— Откуда ж взялись эти черепки, черт возьми! Так-то ты меня обманываешь? В последний раз говорю тебе — сознавайся!

Юдич потупил голову и сложил руки за спиной.

— Эй, люди! — закричал Ивап Андреевич испуганным голосом. — Палок!

— Как? меня... наказывать? — прошептал Юдич.

— Вот тебе па! да чем ты лучше других? Ты вор! Ну, Юдич! не ожидал я от тебя такого мошенничества!

— Я посидел на вашей службе, Ивап Андреевич, — проговорил с усилием Юдич.

— А мне что за дело до твоих седых волос? Черт бы тебя побрал с твоей службой!

Люди вошли.

— Возьмите-ка его, да хорошенько!

У Ивана Андреевича побледили и затряслась губы. Он ходил по комнате, как дикий зверь в тесной клетке.

Люди не смели исполнить его приказания.

— Что же вы стоите, хамовы дети? Иль мне самому за него припяться, что ли?

Юдич пошел было к двери...

— Стойте! — закричал Ивап Андреевич. — Юдич, в последний раз говорю тебе, прошу тебя, Юдич, сознайся.

— Не могу! — простонал Юдич.

— Так берите же его, старого подлипалу!.. Насмерть его! В мою голову! — загремел бешеный старик. Истязание началось...

Дверь вдруг растворилась, и вошел Василий. Он был едва ли еще не бледнее отца, руки его дрожали, верхняя губа приподнялась и обнажила ряд белых и ровных зубов.

— Я виноват, — сказал он глухим, по твердым голосом. — Я взял эти деньги.

Люди остановились.

— Ты! как? ты, Васька! без согласия Юдича?

— Нет! — сказал Юдич, — с моего согласия. Я сам отдал ключ Василью Ивановичу. Батюшка, Василий Иванович! зачем вы изволили беспокоиться?

— Так вот кто вор! — закричал Ивап Андреевич. — Спасибо, Василий, спасибо! А тебя, Юдич, я все-таки не помилую. Зачем

ты мне тотчас же во всем не сознался? Эй, вы! что вы стали? или уже и вы моей власти не признаете? А с тобой я справлюсь, голубчик! — прибавил он, обращаясь к Василию.

Люди опять было взялись за Юдича.

— Не трогайте его! — прошептал Василий сквозь зубы. Слуги его не послушались. — Назад! — закричал он и бросился на них... Они отшатнулись.

— А! бунтовать! — простонал Ивап Андреевич и, подняв палку, пошел на сына.

Василий отскочил, схватился за рукоять шпаги и обнажил ее до половины. Все затрепетало. Анна Павловна, привлеченная шумом, испуганная, бледная, показалась в дверях.

Страшно изменилось лицо Ивана Андреевича. Он зашатался, уронил палку и тяжело опустился на кресло, закрыв лицо обеими руками. Никто не шевелился, все стояли как вкопанные, не исключая и Василия. Судорожно стискивал он стальную рукоять шпаги, глаза его сверкали унылым, злобным блеском...

— Подите все... все воп,— проговорил тихим голосом Ивап Андреевич, не отнимая рук от лица.

Вся толпа вышла. Василий остановился на пороге, потом вдруг тряхнул головой, обнял Юдича, поцеловал руку матери... и через два часа его уже не было в деревне. Он уехал в Петербург.

Вечером того же дня Юдич сидел на крыльчке дворовой избы. Люди окружали его, сожалели о нем и горько упрекали барина.

— Полпоте, дети,— сказал он им наконец,— полпоте... что вы его браните? он и сам, чай, батюшка пан, своей удали не рад...

Вследствие этого происшествия Василий уже более не видался с своим родителем. Иван Андреевич умер без него, и умер, вероятно, с такой тоской на сердце, какую не дай бог испытать кому-либо из нас. Василий Иванович между тем выезжал, веселился по-своему и сорил деньгами. Как он добывал эти деньги, не могу наверно сказать. Достал он себе слугу-француза, ловкого и смышленного малого, некоего Бурсье. Этот человек страстно к нему привязался и помогал ему во всех его многочисленных проделках. Я не намерен рассказывать вам в подробности все проказы моего grand'oncle;¹ он отличался такой неограниченной смелостью, такой змеиной изворотливостью, таким непостижимым хладнокровием, таким ловким и тонким умом, что, признаюсь, я понимаю неограниченную власть этого безправственного человека над самыми благородными душами...

Вскоре после смерти отца Василий Иванович, несмотря на свою изворотливость, был вызван на дуэль одним оскорбленным

¹ двоюродного дедушки (фр.).

мужем. Он дрался, тяжело ранил своего соперника и припужден был выехать из столицы; ему приказали безвыездно жить в своем поместье. Василию Ивановичу было тридцать лет. Вы легко можете себе представить, господа, с какими чувствами этот человек, привыкший к столичной, блестящей жизни, ехал на родину. Говорят, он на дороге часто выходил из кибитки, бросался лицом в снег и плакал. Никто в Лучиновке не узнавал прежнего веселого, любезного Василия Ивановича. Он ни с кем не говорил, с утра до вечера ездил на охоту, с видимым нетерпением спосил робкие ласки своей матери и безжалостно насмехался над братьями, над их женами (они уже оба успели жениться)...

Я вам до сих пор, кажется, ничего не сказал об Ольге Ивановне. Грудным ребенком привезли ее в Лучиновку; она чуть-чуть не умерла на дороге. Ольга Ивановна была воспитана, как говорится, в страхе божием и родительском... надобно сознаться, что Иван Андреевич и Анна Павловна — оба обращались с ней, как с дочерью. Но в ней таилась слабая искра того огня, который так ярко пылал в душе Василья Ивановича. Между тем как настоящие дети Ивана Андреевича не дерзали помышлять о причинах странного, безмолвного раздора между их родителями, — Ольгу с ранних лет тревожило и мучило положение Анны Павловны. Подобно Василью, она любила независимость; всякое притеснение ее возмущало. Она всеми силами души привязалась к своей благодетельнице; старика Лучинова она ненавидела и не раз, сидя за столом, устремляла на него такие мрачные взгляды, что даже человеку, подававшему кушанье, становилось жутко. Иван Андреевич не замечал всех этих взглядов, потому что вообще не обращал никакого внимания на свое семейство.

Сперва Анна Павловна старалась встребить в ней эту ненависть, но некоторые смелые вопросы Ольги заставили ее замолчать совершенно. Дети Ивана Андреевича обожали Ольгу, и старуха ее любила тоже, хотя довольно холодной любовью.

Продолжительное горе подавило в этой бедной женщине всякую веселость, всякое сильное чувство; ничего так ясно не доказывает очаровательной любезности Василья, как то, что он даже мать свою заставил горячо полюбить себя. Излияния детской нежности не были в духе того времени, а потому не удивительно, что Ольга не смела обнаруживать свою приверженность, хотя всегда с особенной почтительностью целовала руку Анны Павловны вечером, при прощании. Читать и писать она едва умела. Двадцать лет спустя русские девицы начали почитать романы вроде Похождения маркиза Глаголя, Фанфана и Лолоты, Алексея, или Хижины в лесу; начали учиться на клавинодах и петь песни вроде следующей, некогда весьма известной:

по в семидесятых годах (Ольга Ивановна родилась в 1757 году) наши деревенские красавицы не имели понятия обо всех этих усовершенствованиях. Трудно нам теперь себе представить русскую барышню того века; правда, мы можем, по нашим бабушкам, судить о степени образованности дворянок времен Екатерины; но как прикажете отличить то, что постепенно к ним привилось в течение их долгой жизни, от того, чем они были во дни молодости?

Ольга Ивановна несколько говорила по-французски — но с сильным русским произношением: в ее время об эмигрантах не было еще и помина. Словом, при всех ее хороших качествах, она все-таки была порядочным *дичком* — и, пожалуй, в простоте сердца своего из собственных рук не раз наказывала какую-нибудь злополучную горничную...

За несколько времени до приезда Василия Ивановича Ольгу Ивановну сговорили за соседа — Павла Афанасьевича Рогачева, добрейшего и честнейшего человека. Природа позабыла наделить его желчью. Собственные люди не слушались его, уходили иногда все, от первого до последнего, и оставляли бедного Рогачева без обеда... но ничто не могло возмутить тишину его души. Он с детских лет отличался толстою и неповоротливостию, пигде не служил, любил ходить в церковь и петь на клиросе. Посмотрите, господа, на это доброе, круглое лицо; взглянитесь в эту тихую, светлую улыбку... не правда ли, вам самим становится отрадно? Отец его в кои-то веки ездил в Лучиновку и по праздникам привозил с собой Павлушу, которого маленькие Лучиновы всячески терзали. Павлуша вырос, начал сам ездить к Ивану Андреевичу, влюбился в Ольгу Ивановну и предложил ей руку и сердце — не лично ей, а ее благодетелям. Благодетели согласились. У Ольги Ивановны даже не подумали спросить: правится ли ей Рогачев? В то время, по словам моей бабушки, «таких роскошей не водилось». Впрочем, Ольга скоро привыкла к своему жениху; нельзя было не привязаться к этому кроткому, снисходительному созданию. Воспитания Рогачев не получил никакого; по-французски умел только сказать: «бонжур» — и втайне почитал даже это слово неприличным. Да еще какой-то шутник выучил его следующей, будто бы французской песне: «Сонечка, Сонечка! Ке вуле ву де муа — я вас обожаю — ме же не пё па...» Эту песенку он всегда напевал вполголоса, когда чувствовал себя в духе. Отец его был тоже человек доброты неопишанной; вечно ходил в длинном напковом сюртуке и, что бы ему ни говорили, — на все с улыбкой поддакивал. Со времени помолвки Павла Афанасьевича оба Рогачевы — отец и сын — хлопотали страшно; переделывали свой дом, пристраивали разные

«галдарей», дружелюбно разговаривали с работниками, потчевали их водкою. К зиме не успели окончить все постройки — отложили свадьбу до лета; летом умер Иван Андреевич — отложили свадьбу до будущей весны; зимой приехал Василий Иванович. Ему представили Рогачева; он принял его холодно и небрежно и в последствии времени до того запугал его своим надменным обхождением, что бедный Рогачев трепетал как лист при одном его появлении, молчал и принужденно улыбался. Василий раз чуть-чуть не уходя его совершенно, предложив ему пари, что он, Рогачев, не в состоянии перестать улыбаться. Бедный Павел Афанасьевич едва не заплакал от замешательства, но — действительно! — улыбка, глупейшая, напряженная улыбка не хотела сойти с его вспотевшего лица! А Василий медленно поигрывал концами своего шейного платка и поглядывал на него уж чересчур презрительно. Отец Павла Афанасьевича узнал также о прибытии Василия и спустя несколько дней — для «большой важности» — отправился в Лучиновку с намерением «поздравить любезного гостя с прибытием в родные палестины». Афанасий Лукич славился во всем околотке своим красноречием, то есть умением, не запинаясь, произнести довольно длинную и хитро сплетенную речь, с легкой примесью книжных словечек. Увы! на этот раз он не поддержал своей славы: смутился гораздо более сына своего, Павла Афанасьевича; пробормотал что-то весьма невнятное и хотя отроду не пивал водки, но тут «для контеансу»¹, выпив рюмочку (он застал Василия за завтраком), хотел было по крайней мере крикнуть с некоторою самостоятельностью — и не произвел ни малейшего звука. Уезжая домой, Павел Афанасьевич шепнул своему родителю: «Что-с, батюшка?» Афанасий Лукич с досадой отвечал ему, также шепотом: «И не говори!»

Рогачевы начали реже ездить в Лучиновку. Впрочем, Василий застрашал не их одних; в братьях своих, в их женах, даже в самой Анне Павловне возбуждал он тоскливую, невольную неловкость... они стали всячески избегать его; Василий не мог этого не заметить, но, по-видимому, не имел намерения переменить свое обращение с ними, как вдруг в начале весны он явился опять тем любезным, милым человеком, каким его прежде знали...

Первым проявлением этой внезапной перемены был неожиданный приезд Василия к Рогачевым. Афанасий Лукич в особенности порядком струсил при виде коляски Лучинова, но испуг его исчез весьма скоро. Никогда Василий не был любезнее и веселее. Он взял молодого Рогачева под руку, пошел с ним осматривать постройки, толковал с плотниками, давал им советы, делал сам

¹ для храбрости (от фр. *contenance*).

нарубки топором, велел себе показать заводских лошадей Афанасья Лукича, сам гонял их на корде — и вообще своей радушной любезностью довел добрых степняков до того, что они оба неоднократно его обняли. Дома Василий тоже в несколько дней по-прежнему вскружил всем головы: затеял разные смешные игры, достал музыкантов, назвал соседей и соседок, рассказывал старушкам самым потешным образом городские сплетни, слегка волочился за молодыми, придумывал небывалые увеселения, фейерверки и т. д., словом, оживил всё и всех. Печальный, мрачный дом Лучиновых превратился вдруг в какое-то шумное, блестящее, очарованное жилище, о котором заговорил весь околоток. Эта внезапная перемена удивила многих, всех обрадовала; начали носиться разные слухи; знающие люди говорили, что Василья Ивановича до тех пор сокрушала какая-то скрытая забота, что ему представилась возможность возвратиться в столицу... но до истинной причины перерождения Василья Ивановича не добрался никто.

Ольга Ивановна, господа, была очень недурна собой. Впрочем, ее красота состояла более в необыкновенной нежности и свежести тела, в спокойной прелести движений, чем в строгой правильности очертаний. Природа одарила ее некоторой самобытностью; ее воспитанье — она выросла сиротой — развило в ней осторожность и твердость. Ольга не принадлежала к числу тихих и вялых барышень; но одно лишь чувство в ней созрело вполне: ненависть к благодетелю. Впрочем, и другие, более женские страсти могли вспыхнуть в душе Ольги Ивановны с необычайной, болезненной силой... но в ней не было ни того гордого холода, ни той сжатой крепости души, ни той самолюбивой сосредоточенности, без которых всякая страсть исчезает весьма быстро. Первые порывы таких полудеятельных, полустрадательных душ бывают иногда необыкновенно стремительны; но они изменяют самим себе весьма скоро, особенно когда дело дойдет до безжалостного применения принятых правил; они боятся последовательности... И между тем, господа, признаюсь вам откровенно: на меня женщины такого рода производят сильнейшее впечатление... (При этих словах рассказчик опорожнил стакан воды. «Пустяки, пустяки! — подумал я, глядя на его круглый подбородок, — на тебя, любезный друг, ничто в свете не производит «сильнейшего впечатления»...»)

Петр Федорович продолжал:

— Господа, я верю в кровь, в породу. В Ольге Ивановне было более крови, чем, например, в нареченной ее сестрице — Наталье. В чем же проявлялась эта «кровь», спросите вы меня? Да во всем: в очерках рук, губ, в звуке голоса, во взгляде, в походке, в прическе, — в складках платья, наконец. Во всех этих безделках таилось что-то особенное, хотя я должен признаться, что та... как бы

выразиться?.. та distinction¹, которая доставалась на долю Ольге Ивановне, не привлекла бы внимания Василья, если б он встретился с нею в Петербурге. В деревне же, в глуши, она не только возбудила его вниманье, но и даже вообще была единственной причиной той перемены, о которой я говорил выше.

Судите сами: Василий Иванович любил наслаждаться жизнью; он не мог не скучать в деревне; братья его были добрые ребята, но весьма ограниченные люди: он ничего не имел с ними общего; сестра его Наталья в течение трех лет прижила с своим супругом четырех человек детей: между ней и Васильем была целая бездна... Анна Павловна ходила в церковь, молилась, постилась и готовилась к смерти. Оставалась одна Ольга, свежая, робкая, миленькая девочка... Василий ее сперва не заметил... да и кто обращает вниманье на воспитанницу, на сироту, на приемыша?.. Однажды, в самом начале весны, шел он по саду и тросточкой сбивал головки цикорий, этих глупеньких желтых цветков, которые в таком множестве первые появляются на едва зеленеющих лугах. Он гулял по саду, перед домом, поднял голову — и увидел Ольгу Ивановну. Она сидела боком у окна и задумчиво гладила полосатого котенка, который, мурлыча и жмурясь, угнезвился на ее коленях и с большим удовольствием подставлял свой носик весеннему, уже довольно яркому солнцу. На Ольге Ивановне было белое утреннее платье с короткими рукавами; ее голые, бледно-розовые, не вполне развитые плечи и руки дышали свежестью и здоровьем; небольшой чепчик осторожно сжимал ее густые, мягкие, шелковистые локоны; лицо слегка пылало: она недавно проснулась. Ее тонкая и гибкая шея так мило подавалась вперед; так пленительно небрежно, так стыдливо отдыхал ее незатянутый стан, что Василий Иванович (большой знаток!) невольно остановился и загляделся. Ему вдруг пришло в голову, что не следует оставлять Ольгу Ивановну в ее первобытном невежестве; что из нее может со временем выйти прсмилая и прелюбезная женщина. Он подкрался к окну, поднялся на цыпочки и на белой и гладкой руке Ольги Ивановны, немного пониже локтя, папечатлел безмолвный поцелуй. Ольга вскрикнула и вскочила, котенок поднял хвост и прыгнул в сад, Василий Иванович с улыбкой удержал ее за руку... Ольга покраснела вся до ушей; он начал шутить над ее испугом... звал ее гулять с собой; но вдруг Ольга Ивановна заметила небрежность своего наряда — и «быстрее быстрой лани» улизнула в другую комнату.

В тот же самый день Василий отправился к Рогачевым. Он вдруг повеселел и просветлел духом. Василий не полюбил Ольгу,

¹ тонкость обращения (*фр.*).

нет! — словом «любовь» шутить не надобно... Он нашел себе занятие, поставил себе задачу и радовался радостью деятельного человека. Он и не вспомнил о том, что она — воспитанница его матери, невеста другого; он ни на один миг не обманывал себя; он очень хорошо знал, что ей не быть его женой... Может быть, его извиняла страсть — правда, не возвышенная, не благородная, но все-таки довольно сильная и мучительная страсть. Разумеется, он влюбился не как ребенок; он не предавался неопределенным восторгам; он очень знал, чего он хотел и к чему он стремился.

Василий Иванович вполне владел способностью в самое короткое время приучить к себе другого, даже предубежденного или робкого, человека. Ольга скоро перестала его дичиться. Василий Иванович ввел ее в новый мир. Он выписал для нее клавикорды, давал ей музыкальные уроки (он сам порядочно играл на флейте), читал ей книги, долго разговаривал с ней... Голова закружилась у бедной степнячки. Василий совершенно покорила ее. Он умел говорить с ней о том, что до того времени ей было чуждым, и говорить языком, ей понятным. Ольга понемногу решалась высказывать ему свои чувства; он помогал ей, подсказывал ей слова, которых она не находила, не запугивал ее; то удерживал, то поощрял ее порывы... Василий занимался ее воспитанием не из бескорыстного желания разбудить и развить ее способности; он просто хотел ее несколько к себе приблизить и знал притом, что неопытную, робкую, но самолюбивую девушку легче завлечь умом, чем сердцем. Если б Ольга была даже существом необыкновенным, Василий никак бы не мог этого заметить, потому что он обращался с ней, как с ребенком; но вы уже знаете, господа, что в Ольге особенно замечательного ничего не было. Василий старался по возможности действовать на ее воображение, и часто вечером она уходила от него с таким вихрем новых образов, слов и мыслей в голове, что не в состоянии была заснуть до зари и, тоскливо вздыхая, беспрестанно прикладывала горящие щеки к холодным подушкам или вставала, подходила к окну и пугливо и жадно глядела в темную даль. Василий наполнял каждое мгновение ее жизни, ни о ком другом она думать не могла. Рогачева она скоро даже перестала замечать. Василий, как человек ловкий и хитрый, в его присутствии не говорил с Ольгой; но либо смешил его самого до слез, либо затевал какую-нибудь шумную игру, прогулку верхом, каташь ночью по реке с факелами и музыкой — словом, не давал опомниться Павлу Афанасьевичу. Однако, несмотря на всю ловкость Василья Ивановича, Рогачев смутно почувствовал, что он, жених и будущий муж Ольги, как будто стал для нее чужим человеком... но, по бесконечной своей доброте, боялся огорчить ее упреком, хотя действительно любил ее и дорожил ее привязанностью.

Наедине с ней он не знал, что заговорить, и только старался всячески прислуживаться. Прошло два месяца. В Ольге исчезла наконец всякая самостоятельность, всякая воля; слабый и молчаливый Рогачев не мог служить ей опорой; она даже не хотела противиться обаянию и с замирающим сердцем безусловно отдалась Василью...

Ольга Ивановна, вероятно, узнала тогда радости любви; но ненадолго. Хотя Василий — за неимением другого занятия — не только не бросил ее, но даже привязался к ней и заботливо ее лелеял, но сама Ольга до того потерялась, что даже в любви не находила блаженства, и все-таки не могла оторваться от Василья. Она стала всего бояться, не смела думать; не разговаривала ни о чем; перестала читать; тоска ее грызла. Иногда удавалось Василью увлечь ее за собою и заставить позабыть всех и всё; но на другой же день он находил ее бледной, безмолвной, с похолодевшими руками, с бессмысленной улыбкой на губах... Настало довольно трудное время для Василия; по никакие трудности запугать его не могли. Он весь сосредоточился, как опытный игрок. Он нисколько не мог полагаться на Ольгу Ивановну; она беспрестанно себе изменяла, бледнела, краснела и плакала... ее новая роль не пришлась ей по силам. Василий работал за двух; в его буйном и шумном веселье только опытный наблюдатель мог бы заметить лихорадочную напряженность; он играл братьями, сестрами, Рогачевыми, соседями, соседками — как пешками; вечно был настороже, не терял ни одного взгляда, ни одного движенья, хотя казался беззаботнейшим человеком; каждое утро вступал в сражение и каждый вечер торжествовал победу. Он нисколько не тяготился такой страшной деятельностью; спал четыре часа в сутки, ел очень мало и был здоров, свеж и весел. Между тем день свадьбы приближался; Василий успел убедить самого Павла Афанасьевича в необходимости отсрочки; потом услал его в Москву за покупками, а сам переписывался с петербургскими приятелями. Он хлопотал не столько из сожаленья к Ольге Ивановне, сколько из охоты и любви к хлопотам и тревогам... Притом Ольга Ивановна начала ему надоедать, и он уже не раз, после неистового взрыва страсти, поглядывал на нее, как, бывало, на Рогачева. Лучинов всегда оставался загадкой для всех; в самой холодности его неумолимой души вы чувствовали присутствие странного, почти южного пламени; и в самом бешеном разгаре страсти от этого человека веяло холодом. При других он по-прежнему поддерживал Ольгу Ивановну; но наедине он играл с ней, как кошка с мышью, или пугал ее софизмами, или тяжело и ядовито скучал, или, наконец, опять бросался к ее ногам, увлекал ее, как вихрь щепку... и не притворялся тогда влюбленным... но действительно сам замирал...

Однажды довольно поздно вечером Василий сидел один у себя

в комнате и внимательно перечитывал последние, полученные им из Петербурга, письма,— как вдруг дверь тихонько закрипела и вошла Палашка, горничная Ольги Ивановны.

— Что тебе надобно? — спросил ее Василий довольно сурово.

— Барышня изволит вас просить к себе.

— Теперь не могу. Ступай... Ну, что ж ты стоишь? — продолжал он, увидя, что Палашка не выходила.

— Барышня приказала сказать, что очень, дескать, нужно-с.

— Да что там такое?

— Сами изволите увидеть-с...

Василий встал, с досадой бросил письма в ящик и отправился к Ольге Ивановне. Она сидела одна, в углу — бледная и неподвижная.

— Что вам угодно? — спросил он ее не совсем приветно.

Ольга посмотрела на него и, содрогаясь, закрыла глаза.

— Что с вами? что с тобой, Ольга?

Он взял ее за руку... Рука Ольги Ивановны была холодна как лед... Она хотела заговорить... и голос ее замер. Бедной женщине не оставалось никакого сомнения насчет своего положения.

Василий несколько смутился. Комната Ольги Ивановны находилась в двух шагах от спальни Анны Павловны. Василий осторожно подсел к Ольге, целовал и грел ее руки, шепотом ее уговаривал. Она слушала его и молча слегка вздрагивала. В дверях стояла Палашка и тихонько утирала слезы. В соседней комнате тяжело и мерно стучал маятник и слышалось дыхание спящего. Оцепенение Ольги Ивановны разрешилось наконец слезами и глухими рыданиями. Слезы — что гроза: после них человек всегда тише. Когда Ольга Ивановна успокоилась несколько и лишь изредка судорожно всхлипывала, как ребенок, Василий стал перед ней на колени и ласками, нежными обещаниями успокоил ее совершенно, дал ей напиток, уложил ее и ушел. Всю ночь он не раздевался, написал два-три письма, сжег две-три бумаги, достал золотой медальон с портретом женщины чернобровый и черноглазой, с лицом сладострастным и смелым, долго рассматривал ее черты и в раздумье ходил по комнате. На другое утро, за чаем, он с необыкновенным неудовольствием увидел покрасневшие, распухшие глаза и бледное, встревоженное лицо бедной Ольги. После завтрака предложил он ей прогуляться с ним по саду. Ольга пошла за Васильем, как послушная овечка. Когда же, часа через два, она вернулась из сада — на ней лица не было; она сказала Анне Павловне, что ей нездоровится, и слегла в постель. Во время прогулки Василий, с достоподобным раскаянием, объявил ей, что он тайно обвенчан, — он был такой же холостяк, как я. Ольга Ивановна не упала в обморок — падают в обморок только на сцене;

но вдруг окаменела, хотя сама не только не надеялась выйти за Василья Ивановича, но даже как-то боялась об этом думать. Василий начал ей доказывать необходимость разлуки с ним и бракосочетания с Рогачевым. Ольга Ивановна глядела на него с немым ужасом. Василий говорил холодно, дельно, основательно; винил себя, каялся — но кончил все свои рассуждения следующими словами: «Прошедшего не вернешь; надобно действовать». Ольга потерялась совершенно; ей было страшно, стыдно; унылое, тяжкое отчаяние овладело ею; она желала смерти — и с тоской ожидала решения Василья.

— Надобно во всем сознаться матушке, — сказал он ей наконец.

Ольга помертвела; ноги у ней подкосились.

— Не бойся, не бойся, — твердил Василий, — положишься на меня, я тебя не оставлю... я все улажу... надейся на меня.

Бедная женщина посмотрела на него с любовью... да, с любовью и глубокой, хотя уже безнадежной, преданностью.

— Я все, все устрою, — сказал ей на прощанье Василий... и в последний раз поцеловал ее похолодевшие руки.

На другое же утро Ольга Ивановна только что встала с постели — дверь ее растворилась... и Анна Павловна появилась на пороге. Ее поддерживал Василий. Молча добралась она до кресел и села молча. Василий стал возле нее. Он казался спокойным; брови его сдвинулись, и губы слегка раскрылись. Анна Павловна, бледная, негодующая, разгневанная, собиралась говорить, но голос изменял ей. Ольга Ивановна с ужасом окинула взором свою благодетельницу, своего любовника: страшно замерло в ней сердце... она с криком упала посреди комнаты на колени и закрыла себе лицо руками... «Так правда... правда? — прошептала Анна Павловна и наклонилась к ней... — Отвечайте же!» — продолжала она, с жестокостью схватив Ольгу за руку.

— Матушка! — раздался медный голос Василия. — Вы обещали мне не оскорблять ее.

— Я хочу... признавайся же... признавайся... правда ли? правда?

— Матушка... вспомните... — проговорил медленно Василий.

Это одно слово сильно потрясло Анну Павловну. Она прислопилась к спинке кресел и зарыдала.

Ольга Ивановна тихонько подняла голову и хотела было броситься к ногам старухи, но Василий удержал ее, поднял и посадил на другие кресла. Анна Павловна продолжала плакать и шептать несвязные слова...

— Послушайте, матушка, — заговорил Василий, — не убивайте себя! Беде помочь еще можно... Если Рогачев...

Ольга Ивановна вздрогнула и выпрямилась.

— Если Рогачев,— продолжал Василий, значительно взглянув на Ольгу Ивановну,— вообразил, что может безнаказанно опозорить честное семейство...

Ольге Ивановне стало страшно.

— В моем доме,— простонала Анна Павловна.

— Успокойтесь, матушка. Он воспользовался ее неопытностью, ее молодостью, он... Вы что-то хотите сказать? — прибавил он, увидя, что Ольга порывается к нему...

Ольга Ивановна упала в кресло.

— Я сейчас еду к Рогачеву. Я заставлю его жениться сегодня же. Будьте уверены, я не позволю ему насмеяться над нами...

— Но... Василий Иванович... вы...— прошептала Ольга.

Он долго и холодно посмотрел на нее. Она замолчала снова.

— Матушка, дайте мне слово не беспокоить ее до моего приезда. Посмотрите — она едва жива. Да и вам надобно отдохнуть. Надейтесь на меня; я отвечаю за все; во всяком случае, подождите моего возвращения. Повторяю вам — не убивайте ни ее, ни себя — и положитесь на меня.

Он приблизился к дверям и остановился.

— Матушка,— сказал он,— пойдите со мной, оставьте ее одну, прошу вас.

Анна Павловна встала, подошла к иконе, положила земной поклон и тихо последовала за сыном. Ольга Ивановна молча и неподвижно проводила ее глазами. Василий проворно вернулся, схватил ее за руку, шепнул ей на ухо: «Надейтесь на меня и не выдайте нас,— и тотчас удалился...— Бурсье,— закричал он, спускаясь быстро вниз по лестнице,— Бурсье!..»

Через четверть часа он уже сидел в коляске с своим слугой.

В этот день старика Рогачева не было дома. Он поехал в уездный город закупать мухояру на кафтаны своим челядинцам. Павел Афанасьевич сидел у себя в кабинете и рассматривал коллекцию полинявших бабочек. Приподняв брови и вытянув губы, он осторожно переворачивал булавкой хрупкие крылышки «ночного сфинкса», как вдруг почувствовал у себя на плече небольшую, но тяжелую руку. Он оглянулся — перед ним стоял Василий.

— Здравствуйте, Василий Иванович,— проговорил он не без некоторого изумления.

Василий посмотрел на него и сел перед ним на стул.

Павел Афанасьевич улыбнулся было... да взглянул на Василья, опустил, раскрыл рот и сложил руки.

— А скажите-ка, Павел Афанасьевич,— заговорил вдруг Василий,— скоро ли вы намерены сыграть свадьбку?

— Я?.. скоро... конечно... я, с моей стороны... впрочем, как вы и ваша сестрица... я, с моей стороны, готов хоть завтра.

— Прекрасно, прекрасно. Вы человек весьма нетерпеливый, Павел Афанасьевич.

— Как это-с?

— Слушайте,— прибавил Василий Иванович, вставая,— я все знаю; вы меня понимаете, и я вам приказываю без отлагательства, завтра же жениться на Ольге.

— Позвольте, позвольте, однако ж,— возразил Рогачев, не поднимаясь с места,— вы мне приказываете? Я сам искал руки Ольги Ивановны, и мне нечего приказывать... признаюсь, Василий Иванович, я вас что-то не понимаю.

— Не понимаешь?

— Нет, право, не понимаю-с.

— Даешь ты мне слово жениться на ней завтра же?

— Да помилуйте, Василий Иванович... не сами ли вы неоднократно откладывали нашу свадьбу? Без вас она бы уже давно состоялась. И теперь я и не думаю отказываться. Что же значат ваши угрозы, ваши настоятельные требования?

Павел Афанасьевич отер пот с лица.

— Даешь ли ты мне слово? говори: да или нет? — повторил с расстановкой Василий.

— Извольте... даю-с, но...

— Хорошо. Помни же... А она во всем призналась.

— Кто призналась?

— Ольга Ивановна.

— Да в чем призналась?

— Да что вы передо мной-то притворяетесь, Павел Афанасьевич? Я ведь вам не чужой.

— В чем я притворяюсь? Я вас не понимаю, не понимаю, решительно не понимаю. В чем могла Ольга Ивановна признаться?

— В чем? Вы мне надоели! Известно в чем.

— Убей меня бог...

— Нет, я тебя убью — если ты на ней не женишься... понимаешь?

— Как!.. — Павел Афанасьевич вскочил и остановился перед Василием. — Ольга Ивановна... вы говорите...

— Ловок, братец, ты ловок, признаюсь,— Василий с улыбкой потрепал его по плечу, — даром что на вид смирен...

— Боже мой, боже!.. Вы меня с ума сводите... Что вы хотите сказать, объяснитесь, ради бога!

Василий нагнулся к нему и шепнул ему что-то на ухо.

Рогачев вскрикнул:

— Как?.. я?

Василий топнул ногой.

— Ольга Ивановна? Ольга?..

— Да... ваша невеста...

— Моя невеста... Василий Иванович... она... она... да я ж ее и знать не хочу! — закричал Павел Афанасьевич. — Бог с ней совсем! за кого вы меня принимаете? Обмануть меня — меня обмануть... Ольга Ивановна, не грешно вам, не совестно вам... (Слезы брызнули у него из глаз.) Спасибо вам, Василий Иванович, спасибо... А я ее и знать теперь не хочу! не хочу! не хочу! и не говорите... Ах, мои батюшки — вот до чего я дожил! Хорошо же, хорошо!

— Полно вам ребячиться, — заметил хладнокровно Василий Иванович. — Помните, вы мне дали слово: завтра свадьба.

— Нет, этому не бывать! Полноте, Василий Иванович, опять-таки скажу вам — за кого вы меня принимаете? много чести: покорно благодарим-с. Извините-с.

— Как угодно! — возразил Василий. — Доставайте шпагу.

— Как шпагу... зачем шпагу?

— Зачем? А вот зачем.

Василий вынул свою французскую тонкую, гибкую шпагу и слегка согнул ее об пол.

— Вы хотите... со мной... драться?..

— Именно.

— Но, Василий Иванович, помилуйте, войдите в мое положение. Как же я могу, посудите сами, после того, что вы мне сказали... я честный человек, Василий Иванович, я дворянин.

— Вы дворянин, вы честный человек — так извольте же со мной драться.

— Василий Иванович!

— Вы, кажется, робеете, господин Рогачев?

— Я вовсе не робею, Василий Иванович. Вы думали запугать меня, Василий Иванович. Вот, дескать, я его пугну, он и струсит, он на все тотчас и согласится... Нет, Василий Иванович, я такой же дворянин, как и вы, хотя воспитания столичного не получил действительно, и запугать вам меня не удастся, извините.

— Очень хорошо, — возразил Василий, — где же ваша шпага?

— Ерощка! — закричал Павел Афанасьевич.

Вошел человек.

— Достаь мне шпагу — там, ты знаешь, на чердаке... поскорей...

Ерощка вышел. Павел Афанасьевич вдруг чрезвычайно побледнел, торопливо снял шляфрок, надел кафтан рыжего цвета с стразовыми большими пуговицами... намотал на шею галстух... Василий глядел на него и перебирал пальцами правой руки.

— Так что ж? драться нам, Павел Афанасьевич?

— Драться так драться, — возразил Рогачев и торопливо застегнул камзол.

— Эй, Павел Афанасьевич, послушайся моего совета: женись... что тебе... А я, поверь мне...

— Нет, Василий Иванович, — перебил его Рогачев. — Вы меня, я знаю, либо убьете, либо изувечите; но чести своей я терять не намерен, умирать так умирать.

Ерошка вошел и трепетно подал Рогачеву старенькую шпажонку в кожаных, истресканных ножнах. В то время все дворяне носили шпаги при пудре; но степные помещики пудрились раза два в год. Ерошка отошел к дверям и заплакал. Павел Афанасьевич вытолкал его вон из комнаты.

— Однако, Василий Иванович, — заметил он с некоторым смущением, — я не могу сейчас с вами драться: позвольте отложить нашу дуэль до завтра; батюшки нет дома; да и дела мои, на всякий случай, не худо привести в порядок.

— Вы, я вижу, опять начинаете робеть, милостивый государь.

— Нет, нет, Василий Иванович; но посудите сами...

— Послушайте, — закричал Лучинов, — вы меня выводите из терпенья... Или дайте мне слово тотчас жениться, или деритесь... или я вас приблю палкой, как труса, понимаете?

— Пойдемте в сад, — отвечал сквозь зубы Рогачев.

Но вдруг дверь растворилась, и старая няня Ефимовна, вся растрепанная, ворвалась в комнату, упала перед Рогачевым на колени, схватила его за ноги...

— Батюшка ты мой! — завопила она, — дитяtko ты мое... что ты такое затеял? не погуби нас, горемычных, батюшка! Ведь он тебя убьет, голубчик ты мой! Да прикажи нам только, прикажи, мы его, озорника этакoго, шапками закидаем... Павел Афанасьевич, дитяtko ты мое, побойся бога!

В дверях показалось множество бледных и встревоженных лиц... показалась даже рыжая борода старосты...

— Пусти меня, Ефимовна, пусти! — пробормотал Рогачев.

— Не пущу, родимый, не пущу. Что ты это, батюшка, что ты? Да что скажет Афанасий-то Лукич-то? Да он нас всех с бела света сгонит... А вы что стоите? Возьмите-ка незваного гостя под ручки, да и выпроводите его вон из дому, чтобы духа его не было...

— Рогачев! — грозно вскрикнул Василий Иванович.

— Ты с ума сошла, Ефимовна, ты меня позоришь, помилуй... — проговорил Павел Афанасьевич. — Ступай, ступай себе с богом, и вы пошли вон, слышите?..

Василий Иванович быстро подошел к растворенному окошку, достал небольшой серебряный свисток — слегка свистнул... Бурсые отозвался невдалеке. Лучинов тотчас обратился к Павлу Афанасьевичу:

— Чем же эта комедия кончится?

— Василий Иванович, я приеду к вам завтра — что мне делать с этой сумасшедшей бабой...

— Э! да я вижу, с вами нечего долго толковать, — сказал Василий и поднял было трость...

Павел Афанасьевич рванулся, оттолкнул Ефимовну, схватил шпагу и бросился через другие двери в сад.

Василий ринулся вслед за ним. Они вбежали оба в деревянную беседку, хитро раскрашенную на китайский манер, заперлись и обнажили шпаги. Рогачев когда-то брал уроки в фехтовании, но теперь едва сумел выпасть как следует. Лезвия скрестились. Василий видимо играл шпагой Рогачева. Павел Афанасьевич задыхался, бледнел и с смятением глядел в лицо Лучинову. Между тем в саду раздавались крики; толпа народа бежала к беседке. Вдруг Рогачеву послышался раздирающий старческий вопль... он узнал голос отца. Афанасий Лукич, без шапки, с растрепанными волосами, бежал впереди всех, отчаянно махая руками...

Сильным и неожиданным поворотом клинка, вышиб Василий шпагу из руки Павла Афанасьевича.

— Женись, брат, — сказал он ему, — полно тебе дурачиться.

— Не женюсь, — прошептал Рогачев, закрыл глаза и весь затрясся.

Афанасий Лукич начал ломиться в дверь беседки.

— Не хочешь? — закричал Василий.

Рогачев покачал отрицательно головой.

— Ну, так черт же с тобой!

Бедный Павел Афанасьевич упал мертвый: шпага Лучинова воткнулась ему в сердце... Дверь затрещала, старик Рогачев ворвался в беседку, но Василий уже успел выскочить в окно...

Два часа спустя вошел он в комнату Ольги Ивановны... Она с ужасом бросилась к нему навстречу... Он молча поклонился ей, вынул шпагу и проколол, на месте сердца, портрет Павла Афанасьевича. Ольга вскрикнула и в беспамятстве упала на пол... Василий отправился к Анне Павловне. Он застал ее в образной. «Матушка, — проговорил он, — мы отомщены». Бедная старуха вздрогнула и продолжала молиться.

Через неделю Василий уехал в Петербург — и через два года вернулся в деревню, разбитый параличом, без языка. Он уже не застал в живых ни Анны Павловны, ни Ольги — и умер скоро сам на руках у Юдича, который кормил его, как ребенка, и один умел понимать его несвязный лепет.

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Сельцо Овечьи Воды. 20 марта 18... года.

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, всё пустяки — да; но в таком случае и сама вечность — пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак — уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено, — выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить — не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных — мне не под силу; описания окружающего меня быта — даже меня занять не могут; а ничего не делать — скучно; читать — лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя была дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, — и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами:

«Как хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили, но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил моего порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта.

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; все блестит, дымится, каплет; воробьи, как сумасшедшие, кричат около отпотевших темных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа!

природа! Я так тебя люблю, а из твоих педр вышел беспособным даже к жизни. Вон прыгает самец воробей с растопыренными крыльями; он кричит — и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

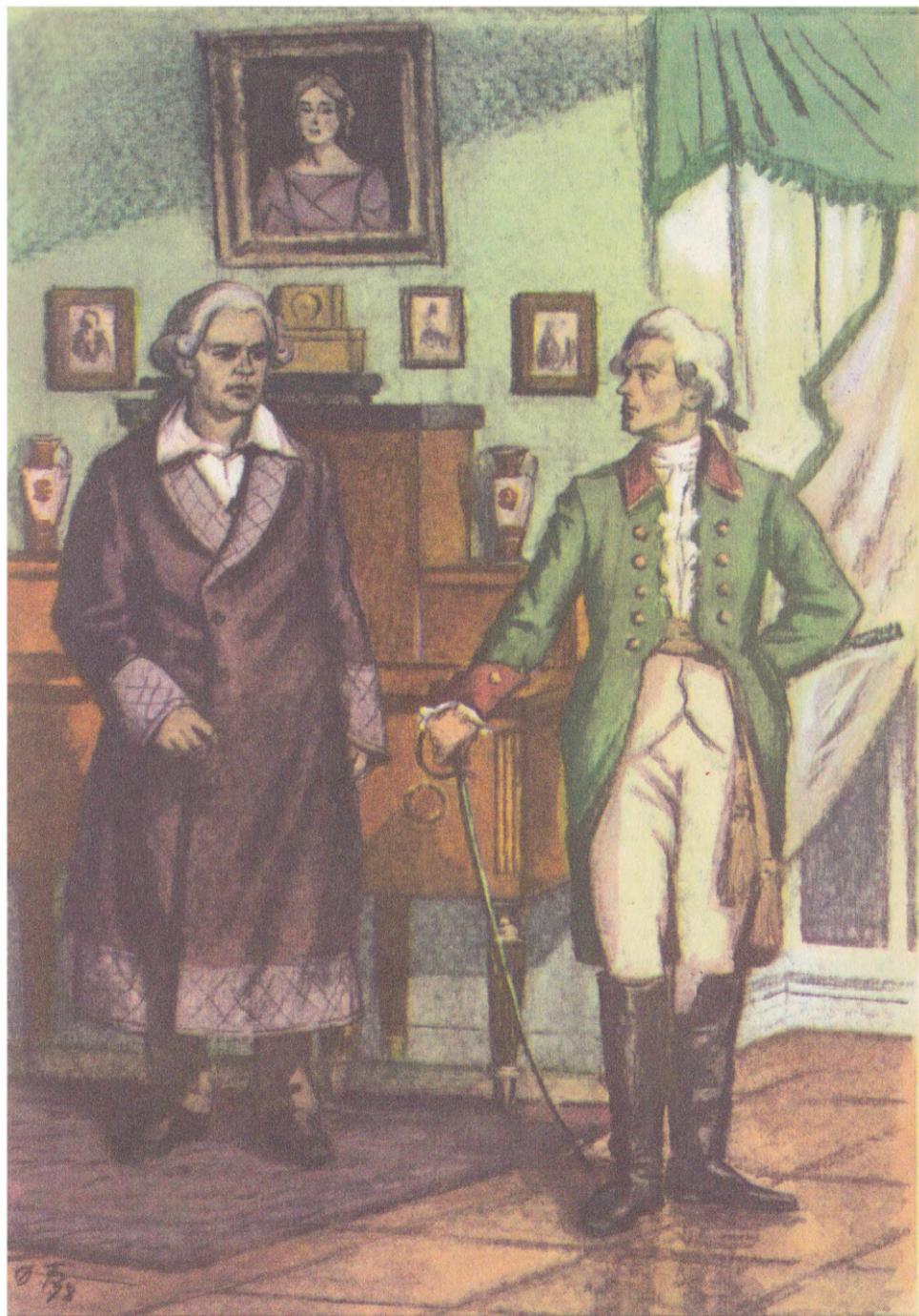
Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть — вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги, — сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и некокрушимые смазные сапоги, — а Рикман за перегородкой поет:

Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
S'ist ja schön im fremden Lande —
Herz, mein Herz, — was willst du mehr?¹

После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда двенадцать лет. Отец мой умер ночью, от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети; но, помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпенье. Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?..» — «Ступайте, ступайте, Алексей Михайлыч кончается...» Я, как сумасшедший, из постели воп — в спальню. Гляжу: отец лежит с закинутой назад головой, весь красный, и мучительно хрипит. В дверях толнятся люди с перепуганными лицами; в передней кто-то сильным голосом спрашивает: «Послали за доктором?» На дворе лошадь выводят из копыши, ворота скрипят, сальная свеч-

¹ Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно. Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь? (нем.)



«Три портрета»
Худ. Д. Б. Боровский

ка горит в комнате на полу; маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша...» Он лежал неподвижно и как-то странно щурился. Я взглянул ему в лицо — невыносимый ужас захватил мне дыхание; я запищал от страха, как грубо схваченная птичка, — меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника; слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке; я исходил слезами, я глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то; а матушка моя между тем медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечам и животу. Ни одной мысли у меня не было в голове; я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня.

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: все наше имение было продано с молотка за долги — так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрузился о продаже нашего гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весепний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцим хвостом и кривыми лапками — Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новгородчины; там, наконец, я в первый раз увидал между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в светлое воскресенье, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Неужели ж этому всему двадцать лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей

собственной жизни: она, как звук, становится ему внятною спустя несколько времени.

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, — я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное тыканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотистой траве нашего луга...

Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта.

Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно нектати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторяется. Чувствительные излияния — словно солодковый корень: сперва пососешь — как будто педурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь.

Итак, мы переехали в Москву...

Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания — скажите на милость, кому не известно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь, тем более что пишу для собственного удовольствия; а коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер.

Что я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает, — согласен. Но ведь я умираю, ей-богу умираю, а перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?

Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка, Терентьевна, не дает мне покоя: «Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку...» Я знаю, зачем она ко мне пристает: ей самой хочется чаю. Что ж! пожалуй! Отчего не позволить бедной старухе извлечь напоследях всю возможную пользу из своего барина?.. Пока еще время не ушло.

23 марта.

Опять зима. Снег валит хлопьями.

Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний — именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние... нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись... конечно; но бесполезность — не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний — да и только. Сверхштатный человек — вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с неожиданным и незванным гостем. Недаром про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремизилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи... Дело прошлое! Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место запятым, может быть, оттого, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все большие; притом, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями — и выражением этих чувств и мыслей — находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреодолимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду — мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался — я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувствовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога.

Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть, как все», — и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее, — словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну, теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни с самим собою — кто знает? кто скажет?

Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припег еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади... Он помолчал, тряхнул затылком, стегнул ее взятяжку раз десяток кнутом через худую спину под раздутый живот — и не без усмешки промолвил: «Ведь вишь, в самом деле, приплелась! На кой черт?»

И я вот так же приплелся... Да, благо, станция недалеко.

Лишний... Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считаю нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимыми доказательствами в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения; лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова: лишний. Повторяю: я не намерев вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и замечательное обстоятельство, а именно: странное обращение со мной моих приятелей (у меня тоже были приятели) всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось словно неловко; они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щек, торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А! здравствуй, Чулкатурип!» (меня судьба одолжила таким прозвищем) или: «А, вот и Чулкатурин», тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения; я вообще неглуп; мне даже

иногда в голову приходят мысли, довольно забавные, не совсем обыкновенные; но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным кажется, как это люди говорят, и так просто, свободно... Экая пруть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык; но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, вполголоса: «А вот мы лучше немножко помолчим», и успокоюсь. На молчание-то мы все горазды; особенно наши женщины этим взяли: иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу.

Несколько лет тому пазад, благодаря стечению весьма ничтожных, но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев шесть в уездном городе О... Город этот весь выстроен на косогоре, и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около восьмисот, бедности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи, на главной улице, под предлогом мостовой, изредка белют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги; по самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют; тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста, для порядка, по приказу начальства, держится воз желтого сена и ходит одна казенная курица. Словом, в городе О... житье хоть куда. В первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте; я сам болен, а все большое терпеть не могу... Я и от счастья бы не прочь, я даже старался подойти к нему и справа и слева... И потому не удивительно, что и я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О... по служебным делам...

Терентьевна решительно поклялась уморить меня. Вот образчик нашего разговора:

Т е р е н т ь е в н а. О-ох, батюшка! что вы это все пишете? вам нездорово писать-то.

Я. Да скучно, Терентьевна!

О н а. А вы напейтесь чайку да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маненько.

Я. Да я не хочу спать.

Она. Ах, батюшка! что вы это? Господь с вами! Лягте-ка, лягте: оно лучше.

Я. Я и без того умру, Терентьевна!

Она. Сохрани господь и помилуй... Что ж, прикажете чайку?

Я. Я недели не проживу, Терентьевна!

Она. И-и, батюшка! что вы это?.. Так я пойду самоварчик поставлю.

О дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человек!

24 марта. Трескучий мороз.

В самый день моего прибытия в город О... вышеупомянутые служебные дела заставили меня сходить к некоему Ожогину, Кириллу Матвеевичу, одному из главных чиновников уезда; но познакомился я с ним, или, как говорится, сблизился, спустя две недели. Дом его находился на главной улице и отличался от всех других величиной, крашеной крышей и двумя львами на воротах, из той породы львов, необыкновенно похожих на неудавшихся собак, родина которым Москва. По одним уже этим львам можно было заключить, что Ожогин человек с достатком. И действительно: у него было душ четыреста крестьян; он принимал у себя все лучшее общество города О... и слыл хлебосолом. К нему ездил и городничий на широких рыжих дрожках парой, необыкновенно крупный, словно из залежалого материала скроенный человек; ездил прочие чиновники: стряпчий, желтенькое и злбненькое существо; остряк землемер — пемецкого происхождения, с татарским лицом; офицер путей сообщения — нежная душа, певец, но сплетник; бывший уездный предводитель — господин с крашеными волосами, взбитой манишкой, папталонами в обтяжку и тем благороднейшим выражением лица, которое так свойственно людям, побывавшим под судом; ездил также два помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком: «Да полноте, Сергей Сергеич; куда вам? Ведь вы слово: пробка — пишете с буки. Да, господа,— продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим,— Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка». И все присутствующие смеялись, хотя, вероятно, ни один из них не отличался особенным искусством в правописании; а несчастный Сергей Сергеич умолкал и с замирающей улыбкой преклонял голову. Но я забываю, что мое время рассчитано, и вдаюсь в слишком подробные описания. Итак, без дальних околичностей: Ожогин был женат, у него была дочь, Елизавета Кирилловна, и я в эту дочь влюбился.

Сам Ожогин был человек дюжинный, не дурной и не хороший; жена его сбивалась на застарелого цыпленка; но дочь их вышла не в своих родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткого нрава. Ее серые, светлые глаза глядели добродушно и прямо из-под ребячески приподнятых бровей; она почти постоянно улыбалась и смеялась тоже довольно часто. Свежий голос ее звучал очень приятно; двигалась она вольно, быстро — и весело краснела. Одевалась она не слишком изящно; к ней шли одни простые платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мне с кем-нибудь было с первого раза легко — что, впрочем, почти никогда не случалось, — это, признаюсь, сильно говорило в пользу нового знакомого. С женщинами же я вовсе не умел обращаться и в присутствии их либо хмурился и принимал свирепый вид, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. С Елизаветой Кирилловной, напротив, я с первого же раза почувствовал себя дома. Вот каким образом это случилось. Прихожу я однажды перед обедом к Ожогину, спрашиваю: «Дома?» Говорят: «Дома, одеваются; пожалуйста в залу». Я в залу; смотрю, у окна стоит, ко мне спиной, девица в белом платье и держит в руках клетку. Меня, по обыкновению, слегка покорибило; однако я ничего, только кашлянул для приличия. Девица быстро обернулась, так быстро, что локоны ее ударили ей в лицо, увидела меня, поклонилась и с улыбкой показала мне ящичек, до половины наполненный зернами. «Вы позволите?» Я, разумеется, как водится в таких случаях, сперва поклонил голову и в то же время быстро согнул и выпрямил колени (словно кто ударил меня сзади в поджилки), что, как известно, служит признаком отличного воспитания и приятной развязности в обхождении, а потом улыбнулся, поднял руку и раза два осторожно и мягко провел ею по воздуху. Девица тотчас отвернулась от меня, вынула из клетки дощечку, начала сильно скрести по ней пожом и вдруг, не переменяя положения, произнесла следующие слова: «Это папенькин снегирь... Вы любите снегирей?» — «Я предпочитаю чижей», — отвечал я не без некоторого усилия. «А! Я тоже люблю чижей; но посмотрите на него, какой он хорошенький. Посмотрите, он не боится. (Меня удивляло то, что я не боялся.) Подойдите. Его зовут Попка». Я подошел, нагнулся. «Не правда ли, какой он милый?» Она обернулась ко мне лицом; но мы так близко стояли друг к другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими светлыми глазками. Я посмотрел на нее: все ее молодое, розовое лицо так дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмеялся от удовольствия. Дверь растворилась: вошел господин Ожогин. Я тотчас подошел к нему, заговорил с ним очень непринужденно, сам не знаю как остался обедать, высидел

весь вечер; а на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслеповатый человек, уже улыбался мне, как другу дома, стаскивая с меня шинель.

Найти приют, свить себе хотя временное гнездо, знать отраду ежедневных отношений и привычек — этого счастья я, лишний, без семейных воспоминаний человек, до тех пор не испытал. Если б во мне хоть что-нибудь напоминало цветок и если б это сравнение не было так избито, я бы решился сказать, что я с того дня расцвел душою. Все во мне и вокруг меня так мгновенно переменялось! Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самых мелочей, словно темная, заброшенная комната, в которую внесли свечку. Я ложился спать и вставал, одевался, завтракал, трубку курил — иначе, чем прежде; я даже на ходу подпрыгивал — право, словно крылья вдруг выросли у меня за плечами. Я, помнится, ни минуты не находился в неизвестности пачет чувства, внушенного мне Елизаветой Кирилловной: я с первого дня влюбился в нее страстно и с первого же дня знал, что влюбился. В течение трех недель я каждый день ее видел. Эти три недели были счастливейшим временем в моей жизни; но воспоминание о них мне тягостно. Я не могу думать о них одних: мне невольно представляется то, что последовало за ними, и ядовитая горечь медлительно охватит только что разнежившееся сердце.

Когда человеку очень хорошо, мозг его, как известно, весьма мало действует. Спокойное и радостное чувство, чувство удовлетворения, проникает все его существо; он поглощен им; сознание личности в нем исчезает — он блаженствует, как говорят дурно воспитанные поэты. Но когда наконец минует это «очарование», человеку иногда становится досадно и жаль, что он посреди счастья так мало наблюдал за самим собою, что он размышлением, воспоминанием не удвоивал, не продолжал своих наслаждений... как будто «блаженствующему» человеку есть когда, да и стоит размышлять о своих чувствах! Счастливый человек — что муха на солнце. Оттого-то и мне, когда я вспоминаю об этих трех неделях, почти невозможно удержать в уме точное, определенное впечатление, тем более что в течение всего этого времени ничего особенно замечательного не произошло между нами... Эти двадцать дней являются мне чем-то теплым, молодым и пахучим, какой-то светлой полосой в моей тусклой и серенькой жизни. Память моя становится вдруг неумолимо верна и ясна только с того мгновения, когда на меня, говоря словами тех же дурно воспитанных сочинителей, обрушились удары судьбы.

Да, эти три недели... Впрочем, они не то чтобы не оставили во мне никаких образов. Иногда, когда мне случается долго думать о том времени, иные воспоминания внезапно выплывают из

мрака прошедшего — вот как звезды неожиданно выступают на вечернем небе навстречу внимательно устремленным глазам. Особенно памятной осталась мне одна прогулка в роще за городом. Нас было четверо: старуха Ожогина, Лиза, я и некто Бизьмёнков, мелкий чиновник города О..., белокуренький, добренький и смиренный человек. Мне еще о нем придется поговорить. Сам г. Ожогин остался дома: у него от слишком продолжительного сна голова разболелась. День был чудесный, теплый и тихий. Должно заметить, что увеселительные сады и общественные гулянья не в духе русского человека. В губернских городах, в так пазываемых публичных садах, вы ни в какое время года не встретите живой души; разве какая-нибудь старуха, кряхтя, присядет на пропеченную солнцем зеленую скамейку, в соседстве большого деревца, да и то коли поблизости нет засаленной лавочки у подворотни. Но если в соседстве города паходится жидешкая березовая рощица, купцы, а иногда и чиповники, по воскресным и праздничным дням, охотно туда ездят с самоварами, пирогами, арбузами, становятся всю эту благодать на пыльную траву возле самой дороги, садятся кругом и кушают и чайпичают в поте лица до самого вечера. Именно такого рода рощица существовала тогда в двух верстах от города О... Мы приехали туда после обеда, напились как следует чаю и потом все четверо отправились походить по роще. Бизьмёнков взял под руку старуху Ожогину, я — Лизу. День уже склонялся к вечеру. Я находился тогда в самом разгаре первой любви (не более двух недель прошло со времени нашего знакомства), в том состоянии страстного и внимательного обожания, когда вся ваша душа невинно и невольно следит за каждым движением любимого существа, когда вы не можете насытиться его присутствием, наслушаться его голоса, когда вы улыбаетесь и смотрите выздоровевшим ребенком, и несколько опытный человек на сто шагов с первого взгляда должен узнать, что с вами происходит. Мне до того дня еще ни разу не случилось держать Лизу под руку. Мы шли с ней рядом, тихо выступая по зеленой траве. Легкий ветерок словно порхал вокруг пас, между белыми стволами берез, изредка бросая мне в лицо ленту ее шляпки. Я отступно следил за ее взором, пока она наконец весело не обращалась ко мне, и мы оба улыбались друг другу. Птицы одобрительно чирикали над нами, голубое небо ласково сквозило сквозь мелкую листву. Голова моя кружилась от избытка удовольствия. Спешу заметить: Лиза нисколько не была в меня влюблена. Я ей нравился; она вообще никого не дичилась, но не мне было суждено возмутить ее детское спокойствие. Она шла под руку со мной, как бы с братом. Ей было тогда семнадцать лет... И, между тем в тот самый вечер, при мне, началось в ней то впутренное,

тихое брожение, которое предшествует превращению ребенка в женщину... Я был свидетелем этой перемены всего существа, этого невинного недоумения, этой тревожной задумчивости; я первый подметил эту внезапную мягкость взора, эту звенящую неверность голоса — и, о глупец! о лишний человек! в течение целой недели я не устыдился предполагать, что я, я был причиной этой перемены.

Вот каким образом это случилось.

Мы гуляли довольно долго, до самого вечера, и мало разговаривали. Я молчал, как все неопытные любовники, а ей, вероятно, нечего было мне сказать; но она словно о чем-то размышляла и как-то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный лист. Иногда она принималась идти вперед, так решительно... а потом вдруг останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругом с приподнятыми бровями и рассеянной усмешкой. Накануне мы с ней вместе прочли «Кавказского пленника». С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонясь грудью к столу! Я было заговорил о вчерашнем чтении; она покраснела, спросила меня, дал ли я перед отъездом снегирию конопляного семени, громко запела какую-то песенку и вдруг замолчала. Роща с одной стороны кончалась довольно высоким и крутым обрывом; внизу текла извилистая речка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь как волны, то широко растилаясь скатертью, бесконечные луга, кой-где перерезанные оврагами. Мы с Лизой первые вышли на край роши; Бизъмёнков остался позади с старухой. Мы вышли, остановились, и оба невольно прищурили глаза: прямо против нас, среди раскаленного тумана, садилось багровое, огромное солнце. Полнеба разгоралось и рдело; красные лучи били вскользь по лугам, бросая алый отблеск даже на тенистую сторону оврагов, ложились огнистым свинцом по речке, там, где она не пряталась под нависшие кусты, и словно упирались в грудь обрыву и роще. Мы стояли, облитые горячим сиянием. Я не в состоянии передать всю страстную торжественность этой картины. Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком; не знаю, насколько это сравнение справедливо, но действительно было что-то призывное в этом пылающем золоте вечернего воздуха, в багряном блеске неба и земли. Я вскрикнул от восторга и тотчас обратился к Лизе. Она глядела прямо на солнце. Помнится, пожар зари отражался маленькими огненными пятнышками в ее глазах. Она была поражена, глубоко тронута. Она ничего не отвечала на мое восклицание, долго не шевелилась, потупила голову... Я протянул к ней руку; она отвернулась от меня и вдруг залилась слезами. Я глядел на нее с тайным, почти радостным недоумением... Голос Бизъмёнкова раздался в двух шагах от нас. Лиза быстро отерла слезы и

с нерешительной улыбкой посмотрела на меня. Старуха вышла из рощи, опираясь на руку своего белокурого вожатая; оба в свою очередь полюбовались видом. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнул, когда ей в ответ прозвучал, как надтреснувшее стекло, разбитый голосок ее дочери. Между тем солнце закатилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назад. Я опять взял Лизу под руку. В роще было еще светло, и я ясно мог различить ее черты. Она была смущена и не поднимала глаз. Румянец, разлитый по всему ее лицу, не исчезал: словно она все еще стояла в лучах заходящего солнца... Рука ее чуть касалась моей. Я долго не мог начать речи: так сильно билось во мне сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета; кучер шагом ехал к нам навстречу по рыхлому песку дороги.

— Лизавета Кирилловна, — промолвил я наконец, — отчего вы плакали?

— Не знаю, — возразила она после небольшого молчания, посмотрела на меня своими кроткими, еще влажными от слез глазами — взгляд их показался мне измененным — и опять умолкла.

— Вы, я вижу, любите природу... — продолжал я.

Я совсем не то хотел сказать, да и эту последнюю фразу язык мой едва пролепетал до конца. Она покачала головой. Я более не мог произнести слова... я ждал чего-то... не признавая — где! я ждал доверчивого взгляда, вопроса... Но Лиза глядела на землю и молчала. Я повторил еще раз вполголоса: «Отчего?» — и не получил ответа. Ей, я это видел, становилось неловко, почти стыдно.

Спустя четверть часа мы уже сидели в карете и подъезжали к городу. Дружной рысью бежали лошади; мы быстро мчались сквозь темнеющий, влажный воздух. Я вдруг разговорился, беспрестанно обращался то к Бизьмёнкову, то к Ожогиной, не глядел на Лизу, но мог заметить, что из угла кареты взор ее не раз останавливался на мне. Дома она встрепенулась, однако не захотела читать со мной и скоро отправилась спать. Перелом, тот перелом, о котором я говорил, в ней совершился. Она перестала быть девочкой, она тоже начала ждать... как я... чего-то. Она недолго ждала.

Но я в ту же почь вернулся к себе на квартиру в совершенном очаровании. Смутное — не то предчувствие, не то подозрение, которое возникло было во мне, исчезло: внезапную принужденность в обхождении Лизы со мною я приписывал девической стыдливости, робости... Разве я не читал тысячу раз во многих сочинениях, что первое появление любви всегда волнует и пугает девицу? Я чувствовал себя весьма счастливым и уже строил в уме различные планы...

Если б кто-нибудь сказал мне тогда на ухо: «Врешь, любезный! Тебе совсем не то предстоит, братец: тебе предстоит умереть одиноко, в дрянном домишке, под несносное ворчанье старой бабы, которая ждет не дождется твоей смерти, чтобы продать за бесценок твои сапоги...»

Да, поневоле скажешь с одним русским философом: «Как знать, чего не знаешь?» До завтра.

25 марта. Белый зимний день.

Я перечел то, что вчера написал, и чуть-чуть не изорвал всей тетради. Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю. Впрочем, так как остальные мои воспоминания о том времени не представляют ничего отрадного, кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран, то почему же и не побаловать себя? Но надобно и честь знать. И потому продолжаю без всякой сладости.

В течение целой недели, после прогулки за городом, положение мое, в сущности, несколько не улучшилось, хотя перемена в Лизе становилась заметнее с каждым днем. Я, как уже сказано, толковал эту перемену в самую для меня выгодную сторону... Печастие людей одиноких и робких — от самолюбия робких — состоит именно в том, что они, имея глаза и даже растарачив их, ничего не видят или видят все в ложном свете, словно сквозь окрашенные очки. Их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу. В начале нашего знакомства Лиза обращалась со мной доверчиво и вольно, как ребенок; может быть, даже в ее расположении ко мне было нечто более простой, детской привязанности... Но когда совершился в ней тот странный, почти внезапный перелом, она, после небольшого недоумения, почувствовала себя стесненной в моем присутствии; она невольно отворачивалась от меня и в то же время грустила и задумывалась... Она ждала... чего? сама не знала... а я... я, как уже сказано, радовался этой перемене... Я, ей-богу, чуть-чуть не замирал, как говорится, от восторга. Впрочем, я готов согласиться, что и другой на моем месте мог бы обмануться... У кого нет самолюбия? Нечего и говорить, что это все мне стало ясным только в последствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибочные, и без того несильные, крылья.

Недоразумение, возникшее между мной и Лизой, продолжалось целую неделю, — и в этом нет ничего удивительного: мне случилось быть свидетелем недоразумений, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказал, что одна истина действительна? Ложь

так же живуча, как и истина, если не более. Точно, помнится, во мне даже в течение этой недели изредка шевелился червь... но наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, так же не способен понять то, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами. Да и притом: разве любовь — естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь; а для болезни закон не писан. Положим, у меня сердце иногда неприятно сжималось; да ведь все во мне было перевернуто кверху дном. Как тут прикажете узнать, что ладно и что пеладно, какая причина, какое значение каждого отдельного ощущения?

Но как бы то ни было, все эти недоразумения, предчувствия и падежды разрешились следующим образом.

Однажды — дело было утром, часу в двенадцатом — не успел я войти в переднюю г. Ожогина, как незнакомый, звонкий голос раздался в зале, дверь распахнулась, и, в сопровождении хозяина, показался на пороге стройный и высокий мужчина лет двадцати пяти, быстро пакинул на себя военную шинель, лежавшую на прилавке, ласково простился с Кириллом Матвеевичем, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки — и исчез, звеня шпорами.

— Кто это? — спросил я Ожогина.

— Князь Н*, — отвечал мне тот с озабоченным лицом, — из Петербурга прислан: рекрутов принимать. Да где ж это люди? — продолжал он с досадой, — шинели ему никто не подал.

Мы вошли в залу.

— Давно он приехал? — спросил я.

— Говорит, вчера вечером. Я ему предложил комнату у себя, да он отказался. Впрочем, он, кажется, очень милый малый.

— Долго он у вас пробыл?

— С час. Он просил меня представить его Олимпиаде Никитичне.

— И вы представили его?

— Как же.

— А с Лизаветой Кирилловной он...

— Он и с ней познакомился — как же.

Я помолчал.

— Надолго он сюда приехал, вы не знаете?

— Да я думаю, ему здесь недели две придется пробыть с лишком.

И Кирилла Матвеевич побежал одеваться.

Я прошелся несколько раз по зале. Не помню, чтобы приезд князя Н* произвел во мне тогда же какое-нибудь особенное впечатление, кроме того неприятного чувства, которое обыкновенно овладевает нами при появлении нового лица в нашем домашнем

кружку. Может быть, к этому чувству примешивалось еще нечто вроде зависти робкого и темного москвича к блестящему петербургскому офицеру. «Князь,— думал я,— столичная штучка: на нас свысока смотреть будет...» Не более минуты видел я его, но успел заметить, что он был хорош собой, ловок и развязен. Походив некоторое время по зале, я наконец остановился перед зеркалом, достал из кармана гребешок, придал моим волосам живописную небрежность и, как это иногда случается, внезапно углубился в созерцание моего собственного лица. Помнится, мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе; мягковатые и неопределенные очертания этого члена не доставляли мне особенного удовольствия — как вдруг, в темной глубине наклоненного стекла, отражавшего почти всю комнату, отворилась дверь и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержал на лице прежнее выражение. Лиза протянула голову, внимательно посмотрела на меня и, подняв брови, закусив губы и притаив дыхание, как человек, который рад, что его не заметили, осторожно подалась назад и тихонько потянула за собою дверь. Дверь слабо скрипнула. Лиза вздрогнула и замерла на месте... Я все не шевелился... Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомневаться: выражение Лизина лица при виде моей особы, это выражение, в котором не замечалось ничего, кроме желания благополучно убраться назад, избегнуть неприятного свидания, быстрый отблеск удовольствия, который я успел уловить в ее глазах, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамеченной, — все это говорило слишком ясно: эта девушка меня не любит. Я долго, долго не мог отвести взора от неподвижной, немой двери, снова белым пятном появившейся в глубине зеркала; хотел было улыбнуться своей собственной вытянутой фигуре — опустил голову, вернулся домой и бросился на диван. Мне было необыкновенно тяжело, так тяжело, что я не мог плакать... да и о чем было плакать?.. «Неужели? — твердил я беспрестанно, лежа, как убитый, на спине и сложив руки на груди, — неужели?..» Как вам правится это «неужели»?

26 марта. Оттепель.

Когда я на другой день, после долгих колебаний и внутренне замирая, вошел в знакомую гостиную Ожоговых, я уже был не тем человеком, каким они меня знали в течение трех недель. Все мои прежние замашки, от которых я было начал отвыкать под влиянием нового для меня чувства, внезапно появились опять и завладели мною, как хозяева, вернувшиеся в свой дом. Люди, подобные мне, вообще руководствуются не столько положительными

фактами, сколько собственными впечатлениями: я, не далее как вчера мечтавший о «восторгах взаимной любви», сегодня уже немало не сомневался в своем «несчастии» и совершенно отчаивался, хотя я сам не был в состоянии сыскать какой-нибудь разумный предлог своему отчаянию. Не мог же я ревновать к князю Н*, и какие бы за ним ни водились достоинства, одного его появления не было достаточно, чтобы разом искоренить то расположение Лизы ко мне... Да полно, существовало ли это расположение? Я припоминал прошедшее. «А прогулка в лесу? — спрашивал я самого себя. — А выражение ее лица в зеркале? Но, — продолжал я, — прогулка в лесу, кажется... Фу ты, боже мой! что я за ничтожное существо!» — восклицал я вслух наконец. Вот какого рода недосказанный, недодуманный мысли, тысячу раз возвращаясь, однообразным вихрем кружились в голове моей. Повторяю, я вернулся к Ожогипым тем же мнительным, подозрительным, патянутым человеком, каким был с детства...

Я застал все семейство в гостиной; Бизъмёпков тут же сидел, в уголку. Все казались в духе; особенно Ожогип так и сиял и с первого же слова сообщил мне, что князь Н* пробыл у них вчера целый вечер. Лиза спокойно приветствовала меня. «Ну, — сказал я сам себе, — теперь я понимаю, отчего вы в духе». Признаюсь, вторичное посещение князя меня озадачило. Я этого не ожидал. Вообще наш брат ожидает всего на свете, кроме того, что в естественном порядке вещей должно случиться. Я надулся и припал вид оскорбленного, но великодушного человека; хотел наказать Лизу своею немилостью, из чего, впрочем, должно заключить, что я все-таки еще не совершенно отчаивался. Говорят, в иных случаях, когда вас действительно любят, даже полезно помучить обожаемое существо; но в моем положении это было невыразимо глупо: Лиза самым невинным образом не обратила на меня внимания. Одна старуха Ожогипа заметила мою торжественную молчаливость и заботливо осведомилась о моем здоровье. Я, разумеется, с горькою улыбкой отвечал ей, что я, слава богу, совершенно здоров. Ожогип продолжал распространяться насчет своего гостя; но, заметив, что я неохотно отвечал ему, он обращался более к Бизъмёпкову, который слушал его с большим вниманием, как вдруг вошел человек и доложил о князе Н*. Хозяин вскочил и побежал ему навстречу; Лиза, на которую я тотчас устремил орлиный взор, покраснела от удовольствия и зашевелилась на стуле. Князь вошел, раздушенный, веселый, ласковый...

Так как я не сочиняю повести для благосклонного читателя, а просто пишу для собственного удовольствия, то мне, стало быть, не для чего прибегать к обычным уловкам господ литераторов. Скажу сейчас же, без дальнего отлагательства, что Лиза с первого

же дня страстно влюбилась в князя, и князь ее полюбил — отчасти от нечего делать, отчасти от привычки кружить женщинам голову, но также оттого, что Лиза точно была очень милое существо. В том, что они полюбили друг друга, не было ничего удивительного. Он, вероятно, никак не ожидал найти подобную жемчужину в такой скверной раковине (я говорю о богомерзком городе О...), а она до тех пор и во сне не видала ничего хотя несколько похожего на этого блестящего, умного, пленительного аристократа.

После первых приветствий Ожогин представил меня князю, который обошелся со мной очень вежливо. Он вообще был очень вежлив со всеми и, несмотря на несоразмерное расстояние, находящееся между ним и нашим темным уездным кружком, умел не только никого не стеснять, но даже показать вид, как будто он был нам равный и только случайным образом жил в С.-Петербурге.

Этот первый вечер... О, этот первый вечер! В счастливые дни нашего детства учителя рассказывали нам и поставляли в пример черту мужественного терпения того молодого лакедемонца, который, украв лисицу и спрятав ее под свою хламиду, ни разу не пикнув, позволил ей съесть все свои потроха и таким образом предпочел самую смерть позору... Я не могу пайти лучшего сравнения для выражения моих несказанных страданий в течение того вечера, когда я в первый раз увидел князя подле Лизы. Моя постоянно напряженная улыбка, мучительная наблюдательность, мое глупое молчание, тоскливое и напрасное желание уйти — все это, вероятно, было весьма замечательно в своем роде. Не одна лисица рылась в моих внутренних частях: ревность, зависть, чувство своего ничтожества, бессильная злость меня терзали. Я не мог не сознаться, что князь был действительно весьма любезный молодой человек... Я пожирал его глазами; я, право, кажется, забывал мигать, глядя на него. Он разговаривал не с одной Лизой, но, конечно, говорил только для нее одной. Я, должно быть, сильно надоедал ему... Он, вероятно, скоро догадался, что имел дело с уstraпненным любовником, но из сожаления ко мне, а также из глубокого сознания моей совершенной безопасности обращался со мной необыкновенно мягко. Можете себе представить, как это меня оскорбляло! В течение вечера я, помнится, попытался заглядить свою вину; я (не смейтесь надо мной, кто бы вы ни были, кому попадутся эти строки на глаза, тем более что это было моей последней мечтой)... я, ей-богу, посреди моих разнообразных терзаний вдруг вообразил, что Лиза хочет наказать меня за мою надменную холодность в начале моего посещения, что она сердится на меня и только с досады кокетничает с князем... Я уллучил время и, с смирен-

ной, но ласковой улыбкой подойдя к ней, пробормотал: «Довольно, простите меня... впрочем, я это не оттого, чтобы я боялся», — и вдруг, не дожидаясь ее ответа, придал лицу своему необыкновенно живое и развязное выражение, криво усмехнулся, протянул руку над головой в направлении потолка (я, помнится, желал поправить шейный платок) и даже собирался повернуться на одной ножке, как бы желая сказать: «Все кончено, я в духе, будемте все в духе», однако не повернулся, боясь упасть по причине какой-то неестественной ооченелости в коленях... Лиза решительно не поняла меня, с удивлением посмотрела мне в лицо, торопливо улыбнулась, как бы желая поскорее отделаться, и снова подошла к князю. Как я ни был слеп и глух, но не мог внутренне не со-зпаться, что она вовсе не сердилась и не досадовала на меня в эту минуту: она просто и не думала обо мне. Удар был решительный: последние мои надежды с треском рухнули, как ледяная глыба, прохваченная весенним солнцем, внезапно рассыпается на мелкие куски. Я был разбит наголову с первого же натиска и, как пруссаки под Иепой, в один день, разом все потерял. Нет, она не сердилась на меня!..

Увы, напротив! Ее самое — я это видел — подмывало, как волной. Словно молодое деревцо, уже до половины отставшее от берега, она с жадностью наклонялась над потоком, готовая отдать ему навсегда и первый расцвет своей веспы, и всю жизнь свою. Кому довелось быть свидетелем подобного увлечения, тот пережил горькие минуты, если он сам любил и не был любимым. Я вечно буду помнить это пожирающее внимание, эту нежную веселость, это невинное самозабвение, этот взгляд, еще детский и уже женский, эту счастливую, словно расцветающую улыбку, не покидавшую полураскрытых губ и зардевшихся щек... Все, что Лиза смутно предчувствовала во время нашей прогулки в роще, сбилось теперь, — и опа, отдаваясь вся любви, в то же время вся утихала и светлела, как молодое вино, которое перестает бродить, потому что его время настало...

Я имел терпение высидеть этот первый вечер и последующие вечера... все до конца! Я ни на что не мог надеяться. Лиза и князь с каждым днем более и более привязывались друг к другу... Но я решительно потерял чувство собственного достоинства и не мог оторваться от зрелища своего несчастья. Помнится, однажды я попытался было не пойти, с утра дал себе честное слово остаться дома... и в восемь часов вечера (я обыкновенно выходил в семь), как сумасшедший, вскочил, надел шапку и, задыхаясь, прибежал в гостиную Кирилла Матвеича. Положение мое было необыкновенно нелено: я упорно молчал, иногда по целым дням не произносил звука. Я, как уже сказано, никогда не отличался красноречием;

но теперь все, что было во мне ума, словно улетучивалось в присутствии князя, и я оставался гол как сокол. Притом я наедине до того заставлял работать мой несчастный мозг, медленно передумывая все замеченное или подмеченное мною в течение вчерашнего дня, что, когда я возвращался к Ожогиным, у меня едва доставало силы опять наблюдать. Меня щадили как больного: я это видел. Я каждое утро принимал новое, окончательное решение, большую часть мучительно высиженное в течение бессонной ночи: я то собирался объяснить с Лизой, дать ей дружеский совет... но когда мне случалось быть с ней наедине, язык мой вдруг переставал действовать, словно застывал, и мы оба с тоской ожидали прибытия третьего лица; то хотел бежать, разумеется навсегда, оставив моему предмету письмо, исполненное упреков, и уже однажды начал было это письмо, но чувство справедливости во мне еще не совсем исчезло: я понял, что не вправе никого ни в чем упрекать, и бросил в огонь свою цидулу; то я вдруг великодушно приносил всего себя в жертву, благословлял Лизу на счастливую любовь и из угла кротко и дружелюбно улыбался князю. Но жестокосердые любовники не только не благодарили меня за мою жертву, даже не замечали ее и, по-видимому, не нуждались ни в моих благословениях, ни в моих улыбках... Тогда я, с досады, внезапно переходил в совершенно противоположные настроения духа. Я давал себе слово, закутавшись плащом наподобие испанца, из-за угла резать счастливое соперника и с зверской радостью воображал себе отчаяние Лизы... Но, во-первых, в городе О... подобных углов было очень немного, а во-вторых — бревенчатый забор, фонарь, будочник в отдалении... нет! у такого угла как-то приличнее торговать бубликами, чем проливать кровь человеческую. Я должен признаться, что между прочими средствами к избавлению, как я весьма неопределенно выражался, беседуя с самим собою, я вздумал было обратиться к самому Ожогину... направить внимание этого дворянина на опасное положение его дочери, на печальные последствия ее легкомыслия... Я даже однажды заговорил с ним об этом щекотливом предмете, но так хитро и туманно повел речь, что он слушал, слушал меня — и вдруг, словно спросонья, сильно и быстро потер ладонью по всему лицу, не щадя носа, фыркнул и отошел от меня в сторону. Нечего и говорить, что я, приняв это решение, уверял себя, что действую из самых бескорыстных видов, желаю общего блага, исполняю долг друга дома... Но смею думать, что если б даже Кирилла Матвейч не пресек моих излияний, у меня все-таки недоставало бы храбрости докончить свой монолог. Я иногда принимался с важностью древнего мудреца взвешивать достоинства князя; иногда утешал себя надеждою, что это только так, что Лиза опомнится, что ее

любовь — ненастоящая любовь... о нет! Словом, я не знаю мысли, пад которой не повозился бы я тогда. Одно только средство, признаюсь, откровенно, никогда мне не приходило в голову, а именно: я ни разу не подумал лишиться себя жизни. Отчего это мне не пришло в голову, не знаю... Может быть, я уже тогда предчувствовал, что мне и без того жить недолго.

Понятно, что при таких невыгодных данных поведение мое, обхождение с людьми более чем когда-нибудь отличалось неестественностью и напряжением. Даже старуха Ожогина — это тупорожденное существо — начинала дичиться меня и, бывало, не знала, с какой стороны ко мне подойти. Бизьмёнков, всегда вежливый и готовый к услугам, избегал меня. Мне уже тогда казалось, что я в нем имел собрата, что и он любил Лизу. Но он никогда не отвечал на мои намеки и вообще неохотно со мной разговаривал. Князь обращался с ним весьма дружелюбно; князь, можно сказать, уважал его. Ни Бизьмёнков, ни я — мы не мешали князю и Лизе; но он не чуждался их, как я, не глядел ни волком, ни жертвой — и охотно присоединялся к ним, когда они этого желали. Правда, он в этих случаях не отличался особенно шутливостью; но в его веселости и прежде было что-то тихое.

Таким образом прошло около двух недель. Князь не только был собой хорош и умен: он играл на фортепьяно, пел, довольно порядочно рисовал, умел рассказывать. Его анекдоты, почерпнутые из высших кругов столичной жизни, всегда производили сильное впечатление на слушателей, тем более сильное, что он как будто не придавал им особенного значения...

Следствием этой, если хотите, простой уловки князя было то, что он в течение своего непродолжительного пребывания в городе О... решительно очаровал все тамошнее общество. Очаровать нашего брата-степняка всегда очень легко человеку из высшего круга. Частые посещения князя у Ожогиных (он проводил у них все вечера), конечно, возбуждали зависть других господ дворян и чиновников; но князь, как человек светский и умный, не обошел ни одного из них, побывал у всех, всем барыням и барышням сказал хотя по одному ласковому слову, позволял кормить себя вычурно тяжелыми кушаньями и поить дрянными винами с великолепными названиями — словом, вел себя отлично, осторожно и ловко. Князь Н* вообще был человек веселого нрава, общежительный, любезный по склонности, да тут еще, кстати, по расчету: как же ему было не успеть совершенно и во всем?

Со времени его приезда все в доме находили, что время летело с быстротой необыкновенной, все шло прекрасно; старик Ожогин хотя и притворялся, что ничего не замечает, но, вероятно, тайком потирал себе руки при мысли иметь такого зятя; сам князь

вел все дело очень тихо и пристойно, как вдруг одно неожиданное происшествие...

До завтра. Сегодня я устал. Эти воспоминания раздражают меня даже на краю гроба. Терентьевна сегодня нашла, что мой носик уже заострился; а это, говорят, плохой знак.

27 марта. Оттепель продолжается.

Дела находились в вышеизложенном положении; князь и Лиза любили друг друга, старики Ожогины ждали, что-то будет; Бизьмёнков тут же присутствовал — о нем нечего было сказать другого; я бился как рыба о лед и наблюдал что было мочи, — помнится, я в то время поставил себе задачей по крайней мере не дать Лизе погибнуть в сетях оболъстителя и вследствие этого начал обращать особенное внимание на горничных и на роковое «заднее» крыльцо, хотя я, с другой стороны, иногда по целым ночам мечтал о том, с каким трогательным великодушием я со временем протяну руку обманутой жертве и скажу ей: «Коварный изменил тебе; но я твой верный друг... Забудем прошедшее и будем счастливы!» — как вдруг по всему городу распространилась радостная весть: уездный предводитель намерен был дать большой бал, в честь почетного посетителя, в собственном своем имени Горностаевке, Губнякове тож. Все чины и власти города О... получили приглашение, начиная с городничего и кончая аптекарем, необыкновенно чирым немцем с жестокими притязаниями на уменье говорить чисто по-русски, вследствие чего он беспрестанно и вовсе некстати употреблял сильные выражения, как, например: «Я, черт меня завзем побери, сиводнэ маладец завзем...» Поднялись, как водится, страшные приготовления. Один косметик-лавочник продал шестнадцать темно-синих банок помады с надписью «à la jésminъ»¹, с ером на конце. Барышни сооружали себе тугие платья с мучительным перехватом и мысом на желудке; матушки воздвигали на своих собственных головах какие-то грозные украшения, под предлогом чепцов; захопотававшиеся отцы лежали, как говорится, без задних ног... Желанный день настал наконец. Я был в числе приглашенных. От города до Горностаевки считалось девять верст. Кирилла Матвейч предложил мне место в своей карете; но я отказался... Так наказанные дети, желая хорошенько отомстить своим родителям, за столом отказываются от любимых кушаний. Притом я чувствовал, что мое присутствие стеснило бы Лизу. Бизьмёнков замепил меня. Князь поехал в своей коляске, я — на дрянных дрожках, нанятых мною за большие деньги для

¹ «жасминная» (фр.).

этого торжественного случая. Я не стану описывать этот бал. Все в нем было как водится: музыканты с необыкновенно фальшивыми трубами на хорах, ошеломленные помещики с застарелыми семействами, лиловое мороженое, слизистый оршад, люди в стоптанных сапогах и вязаных бумажных перчатках, провинциальные львы с судорожно искаженными лицами и т. д., и т. д. ... И весь этот маленький мир вертелся вокруг своего солнца — вокруг князя. Потерянный в толпе, не замеченный даже сорокавосемилетними девицами с красными прыщами на лбу и голубыми цветами на темени, я беспрепятственно глядел то на князя, то на Лизу. Она была очень мило одета и очень хороша собой в тот вечер. Они только два раза танцевали друг с другом (правда, он с ней танцевал мазурку!), но по крайней мере *мне* казалось, что между ними существовало какое-то тайное, непрерывное сообщение. Он, и не глядя на нее, не говоря с ней, все как будто обращался к ней, и к ней одной; он был хорош, и блестящ, и мил с другими — для ней одной. Она, видимо, сознавала себя царицей бала — и любимой: ее лицо в одно и то же время сияло детской радостью, невинной гордостью и внезапно озарялось другим, более глубоким чувством. От ней веяло счастьем. Я все это замечал... Не в первый раз мне приходилось наблюдать за ними... Сперва это меня сильно огорчило, потом как будто тронуло, а наконец взбесило. Я внезапно почувствовал себя необыкновенно злым и, помнится, необыкновенно обрадовался этому новому ощущению и даже возымел некоторое к себе уважение. «Покажем им, что мы еще не погибли», — сказал я самому себе. Когда загрели первые призывные звуки мазурки, я спокойно оглянулся, холодно и развязно подошел к одной длиннлицей барышне с красным и глянцевитым носом, неловко раскрытым, словно расстегнутым ртом и жилистой шеей, напоминавшей ручку контрабаса, — подошел к ней и, сухо щелкнув каблуками, пригласил ее. На ней было розовое, словно недавно и еще не совсем выздоровевшее платье; над головой у ней дрожала какая-то полинявшая, унылая муха на претолстой медной пружине, и вообще эта девица была, если можно так выразиться, вся насквозь наспиртована какой-то кислой скукой и застарелой неудачей. С самого начала вечера она не тронулась с места: никто не думал пригласить ее. Один шестнадцатилетний белокурый юноша хотел было, за неимением другой дамы, обратиться к этой девице и уже сделал шаг в направлении к ней, да подумал, поглядел и проворно спрятался в толпу. Можете себе представить, с каким радостным изумлением она согласилась на мое предложение! Я торжественно повел ее через всю залу, отыскал два стула и сел с ней в кругу мазурки, в десятых парах, почти напротив князя, которому, разумеется, предоставили первое место. Князь, как уже

сказано, танцевал с Лизой. Ни меня, ни моей дамы не беспокоили приглашениями; стало быть, времени для разговора у нас было достаточно. Правду сказать, моя дама не отличалась способностью произносить слова в связной речи: она употребляла свой рот более для исполнения какой-то странной и дотоле мною невиданной улыбки вниз; причем глаза она поднимала вверх, словно невидимая сила растягивала ей лицо; но я и не пуждался в ее красноречии. Благо, я чувствовал себя злым и моя дама не внушала мне робости. Я пустился критиковать все и всех на свете, особенно напирая на столичных молодчиков и петербургских мирлифлеров, и до того наконец расхотелся, что моя дама понемногу перестала улыбаться и, вместо того чтоб поднимать глаза кверху, начала вдруг — от изумления, должно быть, — коситься, и притом так странно, словно она в первый раз заметила, что у ней есть нос на лице; а мой сосед, один из тех львов, о которых говорено было выше, не раз окинул меня взглядом, даже оборотился ко мне с выражением актера на сцене, просыпающегося в незнакомой стороне, как бы желая сказать: «И ты туда же?» Впрочем, распевая, как говорится, соловьем, я все продолжал наблюдать за князем и Лизой. Их беспрестанно приглашали; но я менее страдал, когда они оба танцевали, и даже тогда, когда они сидели рядом и, разговаривая друг с другом, улыбались той кроткой улыбкой, которая не хочет сойти с лица счастливых любовников, — даже тогда я не столько томился; но когда Лиза порхала по зале с каким-нибудь ухарским фертом, а князь, с ее голубым газовым шарфом на коленях, словно любясь своей победой, задумчиво следил за ней глазами, — тогда, о, тогда я испытывал невыносимые мучения и с досады отпускал такие злостные замечания, что зрочки моей дамы с обеих сторон совершенно упирались в нос! Между тем мазурка склонялась к концу... Начали делать фигуру, называемую *la confidente*¹. В этой фигуре дама садится на середине круга, выбирает другую даму в доверенные и шепчет ей на ухо имя господина, с которым она желает танцевать; кавалер подводит ей поодиночке танцоров, а доверенная дама им отказывает, пока наконец появится заранее назначенный счастливчик. Лиза села в середине круга и выбрала хозяйскую дочь, девицу из числа тех, о которых говорят, что они «бог с ними». Князь пустился отыскивать избранника. Напрасно представив около десяти молодых людей (хозяйская дочь отказала им всем с приятнейшей улыбкой), он наконец обратился ко мне. Нечто необыкновенное произошло во мне в это мгновение: я словно мигнул всем телом и хотел было отказаться, однако встал и пошел. Князь подвел меня

¹ доверенная (*фр.*).

к Лизе... Она даже не посмотрела на меня; хозяйская дочь отрицательно покачала головой, князь обернулся ко мне и, вероятно, возбужденный гусиным выражением моего лица, глубоко мне поклонился. Этот насмешливый поклон, этот отказ, переданный мне торжествующим соперником, его небрежная улыбка, равнодушное невнимание Лизы — все это меня взорвало... Я пододвинулся к князю и с бешенством прошептал: «Вы, кажется, изволите смеяться надо мной?»

Князь поглядел на меня с презрительным удивлением, снова взял меня за руку и, показывая вид, что провожает меня до моего места, холодно ответил мне: «Я?»

— Да, вы! — продолжал я шепотом, повинувшись, однако, ему, то есть идя за ним к своему месту, — вы; но я не намерен позволять какому-нибудь пустому петербургскому выскочке...

Князь усмехнулся спокойно, почти снисходительно, стиснул мне руку, прошептал: «Я вас понимаю; но здесь не место: мы поговорим», — отвернулся от меня, подошел к Бизьмёнкову и подвел его к Лизе. Бледненький чиновничек оказался избранныком. Лиза встала ему навстречу.

Садясь возле своей дамы с унылой мухой на голове, я чувствовал себя почти героем. Сердце во мне билось сильно, грудь благородно поднималась под накрахмаленной манишкой, я дышал глубоко и скоро — и вдруг так великолепно посмотрел на соседнего льва, что тот невольно дрыгнул обращенной ко мне ножкой. Отделав этого человека, я обвел глазами весь круг танцующих... Мне показалось, что два-три господина не без недоумения глядели на меня; но вообще наш разговор с князем не был замечен... Соперник мой уже сидел на своем стуле, совершенно спокойный и с прежней улыбкой на лице. Бизьмёнков довел Лизу до ее места. Она дружелюбно ему поклонилась и тотчас обратилась к князю, как мне показалось, с некоторой тревогой; но он засмеялся ей в ответ, грациозно махнул рукой и, должно быть, сказал ей что-то очень приятное, потому что она вся зарделась от удовольствия, опустила глаза и потом с ласковым упреком устремила их опять на него.

Геройское расположение, внезапно развившееся во мне, не исчезло до конца мазурки; но я более уже не острил и не «критиковал», а только изредка мрачно и строго взглядывал на свою даму, которая, видимо, начинала бояться меня и уже совершенно заикалась и беспрерывно моргала, когда я ее отвел под природное укрепление ее матери, очень толстой женщины с рыжим током на голове... Вручив запуганную девицу по принадлежности, я отошел к окну, скрестил руки и начал ждать, что-то будет. Я ждал довольно долго. Князь все время был окружен хозяином, именно

окружен, как Англия окружена морем, не говоря уже о прочих членах семейства уездного предводителя и остальных гостях; да и притом он не мог, не возбудив всеобщего изумления, подойти к такому незначительному человеку, как я, заговорить с ним. Эта моя незначительность, помнится, даже радовала меня тогда. «Шалишь! — думал я, глядя, как он вежливо обращался то к одному, то к другому почетному лицу, добивавшемуся чести быть им замеченным хотя на «миг», как говорят поэты, — шалишь, голубчик... подойдешь ко мне ужю — ведь я тебя оскорбил». Наконец князь, как-то ловко отделавшись от толпы своих обожателей, прошел мимо меня, взглянул — не то на окно, не то на мои волосы, отвернулся было и вдруг остановился, словно что-то вспомнил.

— Ах да! — сказал он, обращаясь ко мне с улыбкой, — кста-ти, у меня есть до вас дельце.

Два помещика, из самых неотвязчивых, упорно следившие за князем, вероятно, подумали, что «дельце» служебное, и почтительно отступили назад. Князь взял меня под руку и отвел в сторону. Сердце у меня стучало в груди.

— Вы, кажется, — начал он, растянув слово *вы* и глядя мне в подбородок с презрительным выражением, которое, странным образом, как нельзя лучше шло к его свежему и красивому лицу, — вы мне сказали дерзость?

— Я сказал, что думал, — возразил я, повысив голос.

— Тсс... тише, — заметил он, — порядочные люди не кричат. Вам, может быть, угодно драться со мной?

— Это ваше дело, — отвечал я, выпрямившись.

— Я буду принужден вызвать вас, — заговорил он небрежно, — если вы не откажетесь от ваших выражений...

— Я ни от чего не намерен отказываться, — возразил я с гордостью.

— В самом деле? — заметил он не без насмешливой улыбки. — В таком случае, — продолжал он, помолчав, — я буду иметь честь прислать к вам завтра своего секунданта.

— Очень хорошо-с, — проговорил я голосом как можно более равнодушным.

Князь слегка поклонился.

— Я не могу запретить вам находить меня пустым человеком, — прибавил он, надменно прищурился, — но князя Н* не могут быть выскочками. До свидания, господин... господин Штукатурин.

Он быстро обернулся ко мне спиной и снова подошел к хозяину, уже начинавшему волноваться.

Господин Штукатурин!.. Меня зовут Чулкатуриным... Я ничего не нашелся сказать ему в ответ на это последнее оскорбление

и только с бешенством посмотрел ему вслед. «До завтра», — прошептал я, стиснув зубы, и тотчас отыскал одного мне знакомого офицера, уланского ротмистра Колобердяева, отчаянного гуляку и славного малого, рассказал ему в немногих словах мою ссору с князем и попросил его быть моим секундантом. Он, разумеется, немедленно согласился, и я отправился домой.

Я не мог заснуть всю ночь — от волнения, не от трусости. Я не трус. Я даже весьма мало думал о предстоящей мне возможности лишиться жизни, этого, как уверяют немцы, высшего блага на земле. Я думал об одной Лизе, о моих погибших надеждах, о том, что мне следовало сделать. «Должен ли я постараться убить князя? — спрашивал я самого себя и, разумеется, хотел убить его, не из мести, а из желания добра Лизе. — Но она не перенесет этого удара, — продолжал я. — Нет, уж пусть лучше он меня убьет!» Признаюсь, мне тоже приятно было думать, что я, темный уездный человек, принудил такую важную особу драться со мной.

Утро застало меня в этих размышлениях; а вслед за утром появился Колобердяев.

— Ну, — спросил он меня, со стуком входя в мою спальню, — где же княжеский секундант?

— Да помилуйте, — отвечал я с досадой, — теперь всего семь часов утра; князь еще, чай, спит теперь.

— В таком случае, — возразил неугомонный ротмистр, — прикажите мне дать чаю. У меня со вчерашнего вечера голова болит... Я и не раздевался. Впрочем, — прибавил он, зевнув, — я вообще редко раздеваюсь.

Ему дали чаю. Он выпил шесть стаканов с ромом, выкурил четыре трубки, рассказал мне, что он накануне за бесенок купил лошадь, от которой кучера отказались, и что намерен ее выездить, подвязав ей переднюю ногу, — и заснул, не раздеваясь, на диване, с трубкой во рту. Я встал и привел в порядок свои бумаги. Одну приглашительную записку Лизы, единственную записку, полученную мною от нее, я положил было себе на грудь, но подумал и бросил ее в ящик. Колобердяев слабо похрапывал, свесив голову с кожаной подушки... Я, помнится, долго рассматривал его взъерошенное, удалое, беззаботное и доброе лицо. В десять часов мой слуга доложил о приезде Бизъмёнкова. Князь его выбрал в секунданты!

Мы вдвоем разбудили разоспавшегося ротмистра. Он приподнялся, поглядел на нас осоловелыми глазами, хриплым голосом попросил водки, оправился и, раскланявшись с Бизъмёнковым, вышел с ним в другую комнату для совещания. Совещание господ секундантов продлилось недолго. Четверть часа спустя они оба вошли ко мне в спальню; Колобердяев объявил мне, что «мы будем драться сегодня же, в три часа, на пистолетах». Я молча на-

клонил голову в знак согласия. Бизьмёнков тотчас же простился с нами и уехал. Он был несколько бледен и внутренне взволнован, как человек, не привыкший к подобного рода проделкам, но, впрочем, очень вежлив и холоден. Мне было как будто совестно перед ним, и я не смел взглянуть ему в глаза. Колобердяев начал опять рассказывать о своей лошади. Этот разговор был мне очень по нутру. Я боялся, как бы он не упомянул о Лизе. Но мой добрый ротмистр не был сплетником, да и, сверх того, презирал всех женщин, называя их, бог знает почему, салатом. В два часа мы закусили, а в три уже находились на месте действия — в той самой березовой роще, где я некогда гулял с Лизой, в двух шагах от того обрыва.

Мы приехали первые. Но князь с Бизьмёнковым недолго заставили ждать себя. Князь был, без преувеличения, свеж, как розан: карие глаза его чрезвычайно приветно глядели из-под козырька его фуражки. Он курил соломенную сигарку и, увидев Колобердяева, ласково пожал ему руку. Даже мне он очень мило поклонился. Я, напротив, сам чувствовал себя бледным, и руки мои, к страшной моей досаде, слегка дрожали... горло сохло... Я никогда еще до сих пор не дрался на дуэли. «О боже! — думал я, — лишь бы этот насмешливый господин не принял моего волнения за робость!» Я внутренне посылал свои нервы ко всем чертям; но взглянув наконец прямо в лицо князю и уловив на губах его почти незаметную усмешку, вдруг опять разозлился и тотчас успокоился. Между тем секунданты наши устроили барьер, отмерили шаги, зарядили пистолеты. Колобердяев больше действовал; Бизьмёнков больше наблюдал за ним. День был великолепный — не хуже дня незабвенной прогулки. Густая синева неба по-прежнему сквозила сквозь раззолоченную зелень листьев. Их лепет, казалось, дразнил меня. Князь продолжал курить свою сигарку, прислонясь плечом к стволу молодой липы...

— Извольте стать, господа: готово, — произнес наконец Колобердяев, вручая нам пистолеты.

Князь отошел несколько шагов, остановился и, повернув голову назад, через плечо спросил меня: «А вы все не отказываетесь от своих слов?» Я хотел отвечать ему; но голос изменил мне, и я удовольствовался презрительным движением руки. Князь усмехнулся опять и стал на свое место. Мы начали сходитьсь. Я поднял пистолет, прицелился было в грудь моего врага — в это мгновение он точно был моим врагом, — но вдруг поднял дуло, словно кто толкнул меня под локоть, и выстрелил. Князь пошатнулся, поднес левую руку к левому виску — струйка крови потекла по его щеке из-под белой замшевой перчатки. Бизьмёнков бросился к нему.

— Ничего,— сказал он, снимая простреленную фуражку,— коли в голову и не упал, значит царапина.

Он спокойно достал из кармана батистовый платок и приложил его к смоченным кровью кудрям. Я глядел на него, словно остолбенелый, и не двигался с места.

— Извольте идти к барьеру! — строго заметил мне Колобердяев.

Я повиновался.

— Поединок продолжается? — прибавил он, обращаясь к Бизьмёнкову.

Бизьмёнков ничего не отвечал ему; но князь, не отнимая платка от раны и не давая себе даже удовольствия помучить меня у барьера, с улыбкой возразил: «Поединок кончен»,— и выстрелил на воздух. Я чуть было не заплакал от досады и бешенства. Этот человек своим великодушием окончательно втоптал меня в грязь, зарезал меня. Я хотел было противиться, хотел было потребовать, чтобы он выстрелил в меня; но он подошел ко мне и протянул мне руку.

— Ведь все позабыто меж нами, не правда ли? — промолвил он ласковым голосом.

Я взглянул на его побледневшее лицо, на этот окровавленный платок и, совершенно потерявшись, пристыженный и уничтоженный, стиснул ему руку...

— Господа! — прибавил он, обращаясь к секундантам,— я надеюсь, что все останется в тайне?

— Разумеется! — воскликнул Колобердяев,— но, князь, позвольте...

И он сам повязал ему голову.

Князь, уходя, еще раз поклонился мне; но Бизьмёнков даже не взглянул на меня. Убитый,— нравственно убитый,— возвратился я с Колобердяевым домой.

— Да что с вами? — спрашивал меня ротмистр.— Успокойтесь: рана неопасная. Он завтра же может танцевать, коли хочет. Или вам жаль, что вы его не убили? В таком случае напрасно: он славный малый.

— Зачем он пощадил меня? — пробормотал я наконец.

— Вот тебе на! — спокойно возразил ротмистр...— Ох, уж эти мне сочинители!

Я не знаю, почему ему вздумалось назвать меня сочинителем.

Я решительно отказываюсь от описания моих терзаний в течение вечера, последовавшего за этим несчастным поединком. Мое самолюбие страдало неизъяснимо. Не совесть меня мучила: сознание моей глупости меня уничтожало. «Я, я сам нанес себе последний, окончательный удар! — твердил я, ходя большими шагами

по комнате.— Князь, раненный мною и простивший меня... да, Лиза теперь его. Теперь уже ничего ее не может спасти, удержать на краю пропасти». Я очень хорошо знал, что наш поединок не мог остаться в тайне, несмотря на слова князя; во всяком случае для Лизы он не мог остаться тайной. «Князь не так глуп,— шептал я с бешенством,— чтобы не воспользоваться...» А между тем я ошибался: о поединке и о настоящей его причине узнал весь город,— на другой же день, конечно; но проболтался не князь,— напротив; когда он, с повязанной головой и с наперед сочиненным предлогом явился перед Лизой, она уже все знала... Бизьмёнков ли выдал меня, другими ли путями дошло до ней это известие, не могу сказать. Да и, наконец, разве в небольшом городе возможно что-нибудь скрыть? Можете себе представить, как Лиза его приняла, как все семейство Ожоговых его приняло! Что же до меня касается, то я внезапно стал предметом общего негодования, омерзения, извергом, сумасбродным ревнивцем и людоедом. Мои немногие знакомые от меня отказались, как от прокаженного. Городские власти немедленно обратились к князю с предложением примерно и строго наказать меня; одни настоятельные и неотступные просьбы самого князя отвратили бедствие, грозившее моей голове. Этому человеку суждено было всячески меня уничтожить. Он своим великодушием прихлопнул меня как гробовую крышей. Нечего и говорить, что дом Ожоговых тотчас же закрылся для меня. Кирилла Матвееч возвратил мне даже простой карандаш, позабытый у него мною. По-настоящему ему-то именно и не следовало на меня сердиться. Моя, как выражались в городе, «сумасбродная» ревность определила, уяснила, так сказать, отношения князя к Лизе. На него и сами старики Ожоговы, и прочие обыватели стали глядеть почти как на жениха. В сущности, это ему не совсем должно было быть приятно; но Лиза ему очень нравилась; притом он еще тогда не достиг своих целей... Со всею ловкостью умного и светского человека приспособился он к новому своему положению, тотчас вошел, как говорится, в дух своей новой роли...

Но я!.. Я на свой счет, на счет своей будущности, махнул тогда рукой. Когда страдания доходят до того, что заставляют всю нашу внутренность трещать и крихтеть, как перегруженную телегу, им бы следовало перестать быть смешными... но нет! смех не только сопровождает слезы до конца, до истощения, до невозможности проливать их более — где! он еще звенит и раздается там, где язык немеет и замирает сама жалоба... И потому, во-первых, так как я не намерен даже самому себе казаться смешным, а во-вторых, так как я устал ужасно, то и откладываю продолжение и, если бог даст, окончание своего рассказа до следующего дня...

Вчера я не был в силах продолжать мой дневник: я, как Поприщин, большею частью лежал на постели и беседовал с Терентьевной. Вот еще женщина! Шестьдесят лет тому назад она потеряла своего первого жениха от чумы, всех детей своих пережила, сама непростительно стара, пьет чай, сколько душе угодно, сыта, одета тепло; а о чем, вы думаете, она вчера целый день мне говорила? Другой, уже вовсе оципанной старухе я велел дать на жилет (она носит нагрудники в виде жилета) воротник ветхой ливреи, до половины съеденный молюш... так вот отчего не ей? «А кажется, я няня ваша... О-ох, батюшка вы мой, грешно вам... А уж я-то вас, кажись, на что холила!..» и т. д. Безжалостная старуха совершенно заездила меня своими упреками... Но возвратимся к рассказу.

Итак, я страдал, как собака, которой заднюю часть тела переехали колесом. Я только тогда, только после изгнания моего из дома Ожогиных, окончательно узнал, сколько удовольствия может человек почерпнуть из созерцания своего собственного несчастья. О люди! точно, жалкий род!.. Ну, однако, в сторону философические замечания... Я проводил дни в совершенном одиночестве и только самыми окольными и даже низменными путями мог узнавать, что происходило в семействе Ожогиных, что делал князь: мой слуга познакомился с двоюродной теткой жены его кучера. Это знакомство доставило мне некоторое облегчение, и мой слуга скоро, по моим намекам и подарочкам, мог догадаться, о чем следовало ему разговаривать с своим барином, когда он стаскивал с него сапоги по вечерам. Иногда мне случалось встретить на улице кого-нибудь из семейства Ожогиных, Бизьмёнкова, князя... С князем и Бизьмёнковым я раскланивался, но не вступал в разговор. Лизу я видел всего три раза: раз — с ее маменькой, в модном магазине, раз — в открытой коляске, с отцом, матерью и князем, раз — в церкви. Разумеется, я не дерзал подойти к ней и глядел на нее только издали. В магазине она была очень озабочена, но весела... Она заказывала себе что-то и хлопотливо примеряла ленты. Матушка глядела на нее, скрестив на желудке руки, приподняв нос и улыбаясь той глупой и преданной улыбкой, которая позволительна одним любящим матерям. В коляске с князем Лиза была... Я никогда не забуду этой встречи! Старики Ожогины сидели на задних местах коляски, князь с Лизой впереди. Она была бледнее обыкновенного; на щеках ее чуть виднелись две розовые полоски. Она была до половины обращена к князю; опираясь на свою выпрямленную правую руку (в левой она держала зонтик) и томно склонив головку, она глядела прямо ему в лицо своими

выразительными глазами. В это мгновение она отдавалась ему вся, безвозвратно доверялась ему. Я не успел хорошенько заметить его лица — коляска слишком быстро промчалась мимо, — но мне показалось, что и он был глубоко тронут.

В третий раз я ее видел в церкви. Не более десяти дней прошло с того дня, когда я встретил ее в коляске с князем, не более трех недель со дня моей дуэли. Дело, по которому князь прибыл в О... уже было окончено; но он все еще медлил своим отъездом: он отозвался в Петербург больным. В городе каждый день ожидали формального предложения с его стороны Кирилле Матвеечу. Я сам ждал только этого последнего удара, чтобы удалиться навсегда. Мне город О... опротивел. Я не мог сидеть дома и с утра до вечера таскался по окрестностям. В один серый, ненастный день, возвращаясь с прогулки, прерванной дождем, зашел я в церковь. Вечернее служение только что начиналось, народу было очень немного; я оглянулся и вдруг возле одного окна увидел знакомый профиль. Я его сперва не узнал: это бледное лицо, этот погасший взор, эти впалые щеки — неужели это та же Лиза, которую я видел две недели тому назад? Завернутая в плащ, без шляпы на голове, освещенная сбоку холодным лучом, падавшим из широкого белого окна, она неподвижно глядела на иконостас и, казалось, силилась молиться, силилась выйти из какого-то унылого оцепенения. Краснощекий, толстый казачок, с желтыми патронами на груди, стоял за нею, сложа руки на спину, и с сонливым недоумением посматривал на свою барышню. Я вздрогнул весь, хотел было подойти к ней, но остановился. Мучительное предчувствие стеснило мне грудь. До самого конца вечерни Лиза не шевельнулась. Народ весь вышел, дьячок стал подметать церковь, она все не трогалась с места. Казачок подошел к ней, сказал ей что-то, коснулся ее платья; она оглянулась, провела рукой по лицу и ушла. Я издали проводил ее до дому и вернулся к себе.

«Она погибла!» — воскликнул я, входя в свою комнату.

Как честный человек, я до сих пор не знаю, какого рода были мои ощущения тогда; я, помнится, скрестив руки, бросился на диван и уставил глаза на пол; но, я не знаю, я посреди своей тоски как будто был чем-то доволен... Я бы ни за что в этом не сознался, если б я не писал для самого себя... Меня точно терзали мучительные, страшные предчувствия... и кто знает, я, может быть, был бы весьма озадачен, если б они не сбылись. «Таково сердце человеческое!» — воскликнул бы теперь выразительным голосом какой-нибудь русский учитель средних лет, подняв кверху жирный указательный палец, украшенный перстнем из корналинки; но что нам за дело до мнения русского учителя с выразительным голосом и корналинкой на пальце?

Как бы то ни было, мои предчувствия оказались справедливыми. Внезапно по городу разнеслась весть, что князь уехал будто вследствие полученного приказа из Петербурга; что он уехал, не сделавши никакого предложения ни Кирилле Матвейчу, ни супруге его, и что Лизе остается до конца дней своих оплакивать его вероломство. Отъезд князя был совершенно неожиданный, потому что еще накануне кучер его, по уверениям моего слуги, нисколько не подозревал намерения своего барина. Новость эта меня бросила в жар; я тотчас оделся, и побежал было к Ожогиным, но, обдумавши дело, почел приличным подождать до следующего дня. Впрочем, я ничего не потерял, оставшись дома. В тот же вечер забежал ко мне некто Пандопипопуло, проезжий грек, случайным образом застрявший в городе О..., сплетник первой величины, больше всех других закипевший негодованием против меня за мою дуэль с князем. Он не дал даже времени слуге моему доложить о себе, так и ворвался в мою комнату, крепко стиснул мою руку, тысячу раз извинился передо мной, назвал меня образцом великодушия и смелости, расписал князя самыми черными красками, не пощадил стариков Ожогиных, которых, по его мнению, судьба наказала поделом; мимоходом задел и Лизу и убежал, поцеловавши меня в плечо. Между прочим, я узнал от него, что князь en vrai grand seigneur¹, накануне отъезда, на деликатный намек Кириллы Матвейча холодно отвечал, что не намерен никого обманывать и не думает жениться, встал, раскланялся и был таков...

На другой день я отправился к Ожогиным. Подслеповатый лакей, при моем появлении, вскочил с прилавка с быстротою молнии, я велел доложить о себе; лакей побежал и тотчас вернулся: пожалуйста, дескать, приказали просить. Я вошел в кабинет Кириллы Матвейча... До завтра.

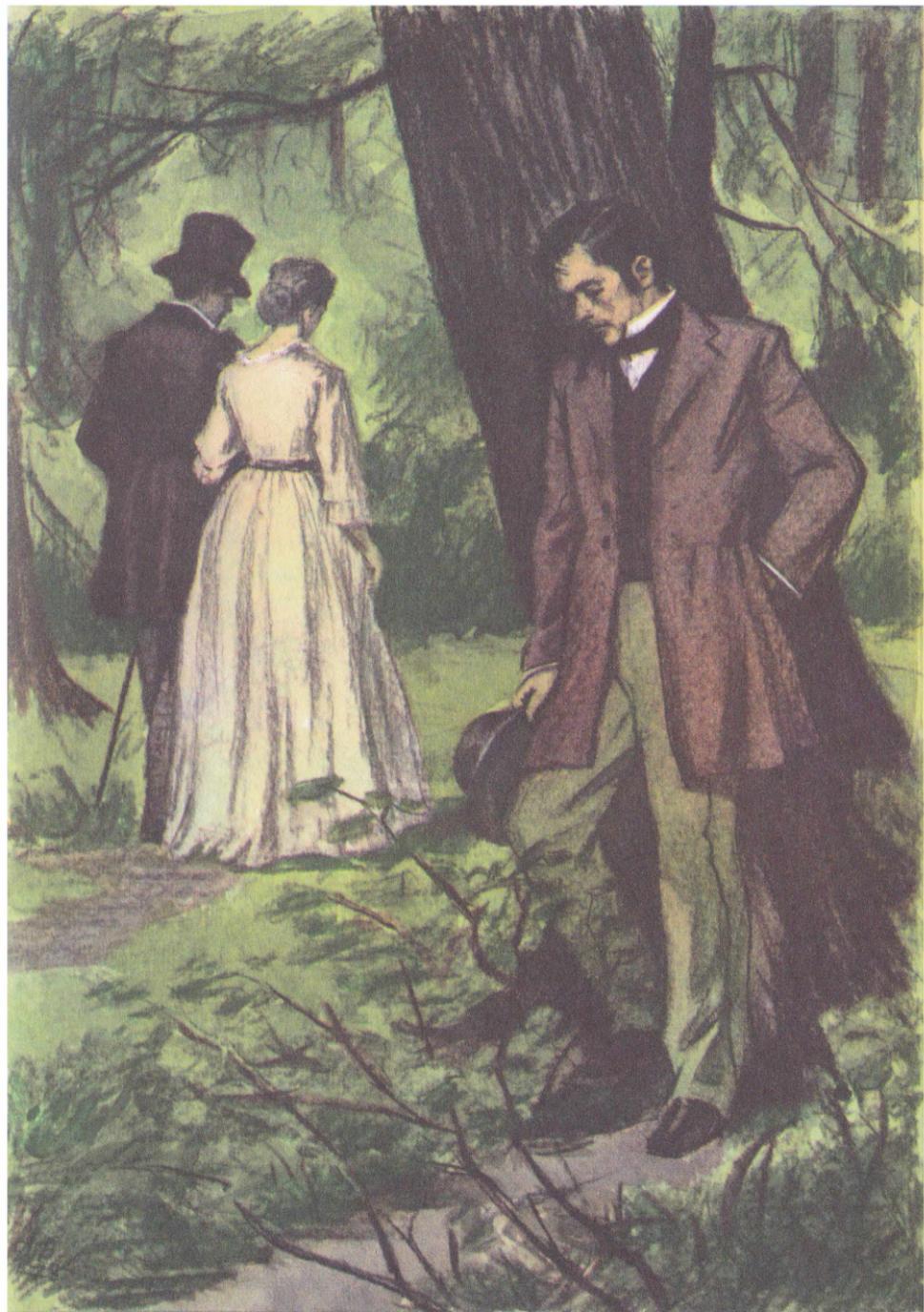
30 марта. Мороз.

Итак, я вошел в кабинет Кириллы Матвейча. Я бы дорого заплатил тому, кто бы мог показать мне теперь мое собственное лицо в ту минуту, когда этот почтенный чиновник, торопливо запахнув свой бухарский халат, подошел ко мне с протянутыми руками. От меня, должно быть, так и веяло скромным торжеством, снисходительным участием и беспредельным великодушием... Я чувствовал себя чем-то вроде Сципиона Африканского. Ожогин был, видимо, смущен и опечален, избегал моего взора, семенил на месте. Я также заметил, что он говорил как-то неестественно громко и вообще выражался весьма неопределенно; неопределен-

¹ настоящий вельможа (*фр.*).

но, но с жаром попросил у меня извинения, неопределенно упомянул об уехавшем госте, присовокупил несколько общих и неопределенных замечаний об обманчивости и непостоянстве земных благ и вдруг, почувствовав у себя на глазах слезу, поспешил понюхать табуку, вероятно для того, чтобы обмануть меня насчет причины, заставившей его прослезиться... Он употреблял русский зеленый табак, а известно, что это растение даже старцев заставляет проливать слезы, сквозь которые человеческий глаз глядит тупо и бессмысленно в течение нескольких мгновений. Я, разумеется, обошелся весьма бережно с стариком, спросил о здоровье его супруги и дочери и тотчас искусно направил разговор на любопытный вопрос о плодотворном хозяйстве. Я был одет по обыкновению; по исполнявшее меня чувство мягкого приличия и кроткой снисходительности доставляло мне ощущение праздничное и свежее, словно на мне был белый жилет и белый галстук. Одно меня волновало: мысль о свидании с Лизой... Ожогин наконец сам предложил повести меня к своей жене. Эта добрая, но глупая женщина, увидав меня, сперва сконфузилась страшно; но мозг ее не был способен сохранить долго одно и то же впечатление, и потому она скоро успокоилась. Наконец я увидел Лизу... Она вошла в комнату...

Я ожидал, что найду в ней пристыженную, раскаивающуюся грешницу, и уже наперед придал лицу своему самое ласковое, ободряющее выражение... К чему лгать? Я действительно любил ее и жаждал счастья простить ее, протянуть ей руку; но, к несказанному моему удивлению, она, в ответ на мой значительный поклон, холодно рассмеялась, небрежно заметила: «А? это вы?» — и тотчас отвернулась от меня. Правда, смех ее мне показался принужденным и во всяком случае плохо шел к ее страшно похудевшему лицу... по все-таки я не ожидал такого приема... Я с изумлением смотрел на нее... какая перемена произошла в ней! Между прежним ребенком и этой женщиной не было ничего общего. Она как будто выросла, выпрямилась; все черты ее лица, особенно губы, словно определились... взгляд стал глубже, тверже и темнее. Я высидел у Ожогина до обеда; она вставала, выходила из комнаты и возвращалась, спокойно отвечала на вопросы и с намерением не обращала на меня внимания. Она, я это видел, — она хотела дать мне почувствовать, что я не стою даже ее гнева, хотя чуть-чуть не убил ее любовника. Я наконец потерял терпение: ядовитый намек сорвался с губ моих... Она вздрогнула, быстро взглянула на меня, встала и, подойдя к окну, промолвила слегка дрожащим голосом: «Вы все можете говорить, что вам угодно, но знайте, что я этого человека люблю, и всегда любить буду, и несколько не считаю его виноватым предо мною, напротив...» Голос



«Дневник лишнего человека»
Худ. Д. Б. Боровский

ее зазвепел, она остановилась... хотела было переломить себя, но не могла, залилась слезами и вышла вон из комнаты... Старики Ожогины смутились... Я пожал им обоим руки, вздохнул, вознес взоры горé и удалился.

Я слишком слаб, времени у меня остается слишком мало, я не в состоянии с прежнею подробностью описывать тот новый ряд мучительных соображений, твердых намерений и прочих плодов так называемой внутренней борьбы, которые возникли во мне после возобновления моего знакомства с Ожогиными. Я не сомневался в том, что Лиза все еще любит и долго будет любить князя... но, как человек присмиранный обстоятельствами и сам присмирившийся, я даже и не мечтал о ее любви: я желал только ее дружбы, желал добиться ее доверенности, ее уважения, которое, по уверению опытных людей, почитается надежнейшей опорой счастья в браке... К сожалению, я упустил из виду одно довольно важное обстоятельство, а именно то, что Лиза со дня дуэли меня возненавидела. Я узнал это слишком поздно. Я начал по-прежнему посещать дом Ожогиных. Кирилла Матвеевич более чем когда-нибудь ласкал и холил меня. Я даже имею причины думать, что он в то время с удовольствием отдал бы свою дочь за меня, хотя и незавидный был я жених: общественное мнение преследовало его и Лизу, а меня, напротив, превозносило до небес. Обращение Лизы со мной не изменялось: она большею частью молчала, повинувалась, когда ее просили кушать, не показывала никаких внешних знаков горя, но, со всем тем, таяла как свечка. Кирилле Матвеевичу надобно отдать эту справедливость: он щадил ее всячески; старуха Ожогина только хохлилась, глядя на свое бедное дитяtko. Одного человека Лиза не чуждалась, хотя и с ним не много говорила, а именно Бизъмёнкoвa. Старики Ожогины круто, даже грубо обращались с ним: они не могли простить ему его секундантства; но он продолжал ходить к ним, будто не замечая их немилости. Со мной он был очень холоден и — странное дело! — я словно его боялся. Это продолжалось около двух недель. Наконец я, после одной бессонной ночи, решился объясниться с Лизой, разоблачить перед ней мое сердце, сказать ей, что, несмотря на прошедшее, несмотря на всевозможные толки и сплетни, я почту себя слишком счастливым, если она удостоит меня своей руки, возвратит мне свое доверие. Я, право, не шутя воображал, что оказываю, как выражаются хрестоматии, несказанный пример великодушия и что она от одного изумления согласится. Во всяком случае, я хотел объясниться с ней и выйти наконец из неизвестности.

За домом Ожогиных находился довольно большой сад, оканчивавшийся липовой рощицей, заброшенной и заросшей. Посре-

дине этой рощи возвышалась старинная беседка в китайском вкусе; бревенчатый забор отделял сад от глухого проулка. Лиза иногда по целым часам гуляла одна в этом саду. Кирилла Матвееч это знал и запретил ее беспокоить, следить за ней: пусть, дескать, горе в ней умается. Когда ее не находили в доме, стоило только позвонить перед обедом в колокольчик на крыльце, и она тотчас появлялась, с тем же упорным молчанием на губах и во взгляде, с каким-нибудь измятым листком в руке. Вот однажды, заметив, что ее не было в доме, я показал вид, что собираюсь уйти, простился с Кириллом Матвеечем, надел шляпу и вышел из передней па двор, а со двора на улицу, но тотчас же с необыкновенной быстротою шмыгнул назад в ворота и мимо кухни пробрался в сад. К счастью, никто меня не заметил. Не думая долго, я скорыми шагами вошел в рощу. Передо мной, на тропинке, стояла Лиза. Сердце во мне забилось сильно. Я остановился, вздохнул глубоко и уже хотел было подойти к ней, как вдруг она, не оборачиваясь, подняла руку и стала прислушиваться... Из-за деревьев, в направлении проулка, ясно раздались два удара, словно кто стучал в забор. Лиза хлопнула в ладоши, послышался слабый скрип калитки, и из чащи вышел Бизьмёнков. Я проворно спрятался за дерево. Лиза молча обратилась к нему... Он молча взял ее под руку, и оба тихо пошли по дорожке. Я с изумлением глядел за ними. Они остановились, посмотрели кругом, исчезли было за кустами, появились снова и вошли наконец в беседку. Эта беседка была круглое, крошечное строеньице, с одной дверью и одним маленьким окном; посередине виднелся старый стол па одной ножке, поросший мелким зеленым мохом; два дощатых полинялых диванчика стояли по бокам, в некотором отдалении от сырых и потемневших стен. Здесь в необыкновенно жаркие дни, и то раз в год, и то в прежние времена, пивали чай. Дверь не затворялась вовсе, рама давно вывалилась из окна и, зацепившись одним углом, висела печально, как перешибенное птичье крыло. Я подкрался к беседке и осторожно взглянул сквозь скважину окна. Лиза сидела на одном из диванчиков, потупив голову; ее правая рука лежала у ней на коленях, левую держал Бизьмёнков в обеих своих руках. Он с участием глядел на нее.

— Как вы себя сегодня чувствуете? — спросил он ее вполголоса.

— Все так же, — возразила она, — ни хуже, ни лучше. Пустота, страшная пустота! — прибавила она, уныло подняв глаза.

Бизьмёнков ничего не отвечал ей.

— Как вы думаете, — продолжала она, — напишет мне он еще раз?

— Не думаю, Лизавета Кирилловна!

Она молчала.

— И в самом деле, о чем ему писать? Он сказал мне все в первом своем письме. Я не могла быть его женой; но я была счастлива... недолго... я была счастлива.

Бизьмёнков потупился.

— Ах,— продолжала она с живостью,— если б вы знали, как этот Чулкатурин мне противен... Мне все кажется, что я вижу на руках этого человека... его кровь. (Меня покорило за моей скважиной.) Впрочем,— прибавила она задумчиво,— кто знает, может быть, без этого поединка... Ах, когда я увидела его раненого, я тотчас же почувствовала, что я вся была его.

— Чулкатурин вас любит,— заметил Бизьмёнков.

— Так что мне в том? разве мне нужна чья-нибудь любовь?..— Она остановилась и медленно прибавила: — кроме вашей. Да, мой друг, ваша любовь мне необходима: без вас я бы погибла. Вы помогли мне перенести страшные минуты...

Она умолкла... Бизьмёнков начал с отеческой нежностью гладить ее по руке.

— Что делать, что делать, Лизавета Кирилловна! — повторил он несколько раз сряду.

— Да и теперь,— промолвила она глухо,— я бы, кажется, умерла без вас. Вы одни меня поддерживаете; притом вы мне его напоминаете... Ведь вы всё знали. Помните, как он был хорош в тот день... Но извините меня: вам, должно быть, тяжело...

— Говорите, говорите! Что вы! Бог с вами! — прервал ее Бизьмёнков.

Она стиснула ему руку.

— Вы очень добры, Бизьмёнков,— продолжала она,— вы добры, как ангел. Что делать! я чувствую, что я до гроба его любить буду. Я простила ему, я благодарна ему. Дай бог ему счастья! дай бог ему жену по сердцу! — И глаза ее наполнились слезами.— Лишь бы он не позабыл меня, лишь бы он хоть изредка вспоминал о своей Лизе... Выйдемте,— прибавила она после небольшого молчания.

Бизьмёнков поднес ее руку к своим губам.

— Я знаю,— заговорила она с жаром,— все меня теперь обвиняют, все бросают в меня камнями. Пусть! Я бы все-таки не променяла своего несчастья на их счастье... нет! нет!.. Он недолго меня любил, но он любил меня! Он никогда меня не обманывал: он не говорил мне, что я буду его женой; я сама никогда не думала об этом. Один бедный папаша надеялся. И теперь я еще не совсем несчастна: мне остается воспоминание, и, как бы ни были страшны последствия... Мне душно здесь... здесь я в последний раз с ним виделась... Пойдемте на воздух.

Они встали. Я едва успел отскочить в сторону и спрятаться за толстую липу. Они вышли из беседки и, сколько я мог судить по шуму шагов, ушли в рощу. Не знаю, сколько я времени простоял, не двигаясь с места, погруженный в какое-то бессмысленное педоумение, как вдруг снова послышались шаги. Я встрепнулся и осторожно выглянул из моей засады. Бизьмёнков и Лиза возвращались по той же дорожке. Оба были очень взволнованы, особенно Бизьмёнков. Он, казалось, плакал. Лиза остановилась, поглядела на него и явственно произнесла следующие слова: «Я согласна, Бизьмёнков. Я бы не согласилась, если бы вы только хотели спасти меня, вывести меня из страшного положения; но вы меня любите, вы всё знаете — и любите меня; я никогда не найду более надежного, верного друга. Я буду вашей женой».

Бизьмёнков поцеловал ей руку; она печально ему улыбнулась и пошла домой. Бизьмёнков бросился в чащу, а я отправился восвояси. Так как Бизьмёнков, вероятно, сказал Лизе именно то, что я намерен был ей сказать, и так как она отвечала ему именно то, что я бы желал услышать от нее, то мне нечего было более беспокоиться. Через две недели она вышла за него замуж. Старички Ожогины рады были всякому жениху.

Ну, скажите теперь, не лишний ли я человек? Не разыграл ли я во всей этой истории роль лишнего человека? Роль князя... о ней нечего и говорить; роль Бизьмёнкова также понятна... Но я? я-то к чему тут примешался?.. что за глупое пятое колесо в телеге!.. Ах, горько, горько мне!.. Да вот, как бурлаки говорят: «Еще разик, еще раз», — еще денек, другой, и мне уже ни горько не будет, ни сладко.

31 марта.

Плохо. Я пишу эти строки в постели. Со вчерашнего вечера погода вдруг переменялась. Сегодня жарко, почти летний день. Все тает, валится, течет. В воздухе пахнет разрытой землей: тяжелый, сильный, душный запах. Пар подымается отовсюду. Солнце так и бьет, так и разит. Плохо мне. Я чувствую, что разлагаюсь.

Я хотел написать свой дневник, и вместо того что я сделал? рассказал один случай из моей жизни. Я разболтался, уснувшие воспоминания пробудились и увлекли меня. Я писал не торопясь, подробно, словно мне еще предстояли годы; а теперь вот и некогда продолжать. Смерть, смерть идет. Мне уже слышится ее грозное *crescendo*...¹ Пора... Пора!..

¹ нарастание (*ит.*).

Да и что за беда! Не все ли равно, что бы я ни рассказал? В виду смерти исчезают последние земные суетности. Я чувствую, что утихаю; я становлюсь проще, яснее. Поздно я хватился за ум!.. Странное дело! я утхаю — точно, и вместе с тем... жутко мне. Да, мне жутко. До половины наклоненный над безмолвной, зияющей бездной, я содрогаюсь, отворачиваюсь, с жадным вниманием осматриваю все кругом. Всякий предмет мне вдвойне дорог. Я не нагляжусь на мою бедную, невеселую комнату, прощаюсь с каждым пятнышком на моих стенах! Насыщайтесь в последний раз, глаза мои! Жизнь удаляется; она ровно и тихо бежит от меня прочь, как берег от взоров мореходца. Старое, желтое лицо моей няни, повязанное темным платком, шипящий самовар на столе, горшок ерани перед окном и ты, мой бедный пес Трезор, перо, которым я пишу эти строки, собственная рука моя, я вижу вас теперь... вот вы, вот... Неужели же... может быть, сегодня... я никогда более не увижу вас? Тяжело живому существу расставаться с жизнью! Что ты ластишься ко мне, бедная собака? что прилоняешься грудью к постели, судорожно поджимая свой хвост и не сводя с меня своих добрых, грустных глаз? Или тебе жаль меня? или ты уже чуешь, что хозяина твоего скоро не станет? Ах, если б я мог так же пройти мыслью по всем моим воспоминаниям, как прохожу глазами по всем предметам моей комнаты! Я знаю, что эти воспоминания невеселы и незначительны, да других у меня нет. Пустота, страшная пустота! как говорила Лиза.

О боже мой, боже мой! Я вот умираю... Сердце, способное и готовое любить, скоро перестанет биться... И неужели же оно затихнет навсегда, не изведав ни разу счастья, не расширив ни разу под сладостным бременем радости? Увы! это невозможно, невозможно, я знаю... Если б по крайней мере теперь, перед смертью — ведь смерть все-таки святое дело, ведь она возвышает всякое существо, — если б какой-нибудь милый, грустный, дружеский голос пропел надо мною прощальную песнь, песнь о собственном моем горе, я бы, может быть, помирился с ним. Но умереть глухо, глушо...

Я, кажется, начинаю бредить.

Прощай, жизнь, прощай, мой сад, и вы, мои липы! Когда придет лето, смотрите не забудьте сверху донизу покрыться цветами... И пусть хорошо будет людям лежать в вашей пахучей тени, на свежей траве, под лепечущий говор ваших листьев, слегка возмущенных ветром. Прощайте, прощайте! Прощай всё и навсегда!

Прощай, Лиза! Я написал эти два слова — и чуть-чуть не смеялся. Это восклицание мне кажется книжным. Я как будто сочиняю чувствительную повесть или оканчиваю отчаянное письмо...

Завтра первое апреля. Неужели я умру завтра? Это было бы как-то даже неприлично. А впрочем, оно ко мне идет...

Уж как же доктор лотошил сегодня!..

1 апреля.

Кончено... Жизнь кончена. Я точно умру сегодня. На дворе жарко... почти душно... или уже грудь моя отказывается дышать? Моя маленькая комедия разыграна. Занавес падает.

Уничтожаясь, я перестаю быть лишним...

Ах, как это солнце ярко! Эти могучие лучи дышат вечностью...

Прощай, Терентьевна!.. Сегодня поутру она, сидя у окна, всплакнула... может быть, обо мне... а может быть, и о том, что ей самой скоро придется умереть. Я взял с нее слово не «пришибить» Трезора.

Мне тяжело писать... бросаю перо... Пора! Смерть уже не приближается с возрастающим громом, как карета ночью по мостовой: она здесь, она порхает вокруг меня, как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка...

Я умираю... Живите, живые!

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять!

Примечание издателя. Под этой последней строкой находится профиль головы с большим хохлом и усами, с глазом en face и лучеобразными ресницами; а под головой кто-то написал следующие слова:

Сѣю рукопись. Читалъ
И Содѣржаніе Онной НѣОдобрилъ
Пѣтръ Зудотѣшинъ
М М М М
Милостивый Государь
Пѣтръ Зудотѣшинъ.
Милостивый Государь мой.

Но так как почерк этих строк несколько не походил на почерк, которым написана остальная часть тетради, то издатель и почитает себя вправе заключить, что вышеупомянутые строки прибавлены были впоследствии другим лицом, тем более что до сведения его (издателя) дошло, что г-н Чулкатурин действительно умер в ночь с 1 на 2 апреля 18.. года, в родовом своем поместье Овечьи Воды.

ТРИ ВСТРЕЧИ

Passa que'colli e vieni allegramente;
Non ti curar di tanta compagnia —
Vieni, pensando a me segretamente —
Ch'io t'accompagni per tutta la via ¹.

I

Никуда я, бывало, не ездил так часто на охоту в течение лета, как в село Глинное, лежащее в двадцати верстах от моей деревни. Около этого села находятся самые, может быть, лучшие места для дичи в целом нашем уезде. Выходив все окрестные кусты и поля, я непременно к концу дня заворачивал в соседнее, почти единственное в околотке болото и уже оттуда возвращался к радушному моему хозяину, глинскому старосте, у которого я постоянно останавливался. От болота до Глинного не более двух верст; дорога идет все ложиной, и только на половине пути приходится перебраться через небольшой холм. На вершине этого холма лежит усадьба, состоящая из одного необитаемого господского домика и сада. Мне почти всегда случалось проходить мимо нее в самый разгар вечерней зари, и, помнится, всякий раз этот дом, со своими наглухо заколоченными окнами, представлялся мне слепым стариком, вышедшим погреться на солнце. Сидит он, сердечный, близ дороги; солнечный блеск давно сменился для него вечной мглою; но он чувствует его по крайней мере на приподнятом и вытянутом лице, на согретых щеках. Казалось, давно никто не жил в самом доме; но в крошечном флигельке, на дворе, помещался дряхлый вольноотпущенный человек, высокий, сутуловатый и седой, с выразительными и неподвижными чертами лица. Он, бывало, все посиживал на лавочке под единственным окошком флигеля, с горестной задумчивостью поглядывая вдаль, а увидав меня, приподнимался немного и кланялся с той медлитель-

¹ Перейди через эти холмы и приходи весело ко мне; не заботься о слишком большом обществе. Приди один и во всё время дороги думай обо мне, так чтоб я была твоим товарищем на всем пути.

ной важностью, которой отличаются старые дворовые, принадлежащие к поколению не отцов наших, а дедов. Я заговаривал с ним, но он не был словоохотлив: я только узнал от него, что усадьба, в которой он жил, принадлежала внучке его старого барина, вдове, у которой была младшая сестра; что обе они живут в городах да за морем, а домой и не показываются; что ему самому поскорей хочется дожить свой век, потому что «жуешь, жуешь хлеб, инда и тоска возьмет: так давно жуешь». Старика этого звали Лукьянычем.

Однажды я как-то долго замешкался в поле; дичи попалось порядочно, да и день вышел такой для охоты хороший — с самого утра тихий, серый, словно весь проникнутый вечером. Я забрел далеко, и уже не только совершенно стемнело, но луна взошла, а ночь, как говорится, давно *стала* на небе, когда я достиг знакомой усадьбы. Мне пришлось идти вдоль сада... Кругом была такая тишина...

Я перешел через широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и прислонился к низкому плетню. Неподвижно лежал передо мною небольшой сад, весь озаренный и как бы успокоенный серебристыми лучами луны, — весь благоуханный и влажный; разбитый по-старинному, он состоял из одной продолговатой поляны. Прямые дорожки сходились на самой ее середине в круглую клумбу, густо заросшую астрами; высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась эта кайма сажени на две, и сквозь отверстие виднелась часть низенького дома с двумя, к удивлению моему, освещенными окнами. Молодые яблони кое-где возвышались над поляной; сквозь их жидкие ветви кротко синело ночное небо, лился дремотный свет луны; перед каждой яблоней лежала на белеющей траве ее слабая, пестрая тень. С одной стороны сада липы смутно зеленели, сблитые неподвижным, бледно-ярким светом; с другой — они стояли все черные и непрозрачные; странный, сдержанный шорох возникал по временам в их сплошной листве; они как будто звали на пропадавшие под ними дорожки, как будто манили под свою глухую сень. Все небо было испещрено звездами; таинственно струилось с вышины их голубое, мягкое мерцанье; они, казалось, с тихим вниманьем глядели на далекую землю. Малые, тонкие облака, изредка налетая на луну, превращали на мгновение ее спокойное сияние в неясный, но светлый туман... Все дремало. Воздух, весь теплый, весь пахучий, даже не колыхался; он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная падением ветки... Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мленье... Я нагнул через плетень: передо мной красный полевой мак поднимал из заглохшей травы свой прямой стебелек; большая круглая

капля ночной росы блестела темным блеском на дне раскрытого цветка. Все дремало, все нежилось вокруг; все как будто глядело вверх, вытянувшись, не шевелясь и выжидая... Чего ждала эта теплая, эта не заснувшая ночь?

Звука ждала она; живого голоса ждала эта чуткая тишина — но все молчало. Соловьи давно перестали петь... а внезапное гудение мимолетного жука, легкое чмоканье мелкой рыбы в сажалке за липами на конце сада, сонливый свист встрепенувшейся птички, далекий крик в поле, — до того далекий, что ухо не могло различить, человек ли то прокричал, или зверь, или птица, — короткий, быстрый топот по дороге — все эти слабые звуки, эти шесты только усугубляли тишину... Сердце во мне томилось неизъяснимым чувством, похожим не то на ожидание, не то на воспоминание счастья; я не смел шевельнуться, я стоял неподвижно пред этим неподвижным садом, облитым и лунным светом, и росой, и, не знаю сам почему, неотступно глядел на те два окна, тускло красневшие в мягкой полутени, как вдруг раздался в доме аккорд, — раздался и прокатился волною... Раздражительно звонкий воздух отгрянул эхом... я невольно вздрогнул.

Вслед за аккордом раздался женский голос... Я жадно стал вслушиваться — и... могу ли выразить мое изумление?... два года тому назад, в Италии, в Сорренто, слышал я ту же самую песню, тот же самый голос... Да, да...

Vieni, pensando a me segretamente...

Это они, я узнал их, это те звуки... Вот как это было. Я возвращался домой после долгой прогулки на берегу моря. Я быстро шел по улице; уже давно настала ночь, — великолепная ночь, южная, не тихая и грустно задумчивая, как у нас, нет! вся светлая, роскошная и прекрасная, как счастливая женщина в цвете лет; луна светила невероятно ярко; большие лучистые звезды так и шевелились на темно-синем небе; резко отделялись черные тени от освещенной до желтизны земли. С обеих сторон улицы тянулись каменные ограды садов; апельсиновые деревья поднимали над ними свои кривые ветки, золотые шары тяжелых плодов то чуть виднелись, спрятанные между перепутанными листьями, то ярко рдели, пышно выставившись на луну. На многих деревьях нежно белели цветы; воздух весь был напоен благовонием, томительно сильным, острым и почти тяжелым, хотя невыразимо сладким. Я шел и, признаться, успев уже привыкнуть ко всем этим чудесам, думал только о том, как бы поскорей добраться до моей гостиницы, как вдруг из одного небольшого павильона, падающего над самой стеной ограды, вдоль которой я спешил, раздался женский голос. Он пел какую-то песню, мне не знакомую,

и в звуках его было что-то до того призывное, он до того казался сам проникнут страстным и радостным ожиданием, выраженным словами песни, что я тотчас певольно остановился и поднял голову. В павильоне было два окна; но в обоих жалюзи были спущены, и сквозь узкие их трещинки едва струился матовый свет. Повторив два раза — *viene, viene*, голос замер; послышался легкий звон струн, как бы от гитары, упавшей на ковер, платье зашелестело, пол слегка скрипнул. Полоски света в одном окне исчезли... кто-то изнутри подошел и прислонился к нему. Я сделал два шага назад. Вдруг жалюзи стукнуло и распахнулось; стройная женщина, вся в белом, быстро выстала из окна свою прелестную голову и, протянув ко мне руки, проговорила: «*Sei tu?*»¹ Я потерялся, не знал, что сказать, но в то же мгновение незнакомка с легким криком откинулась назад, жалюзи захлопнулось, и огонь в павильоне еще более померк, как будто вынесенный в другую комнату. Я остался неподвижен и долго не мог опомниться. Лицо женщины, так внезапно появившейся передо мною, было поразительно прекрасно. Оно слишком быстро мелькнуло перед моими глазами для того, чтобы я мог тотчас же запомнить каждую отдельную черту; но общее впечатление было несказанно сильно и глубоко... Я тогда же почувствовал, что этого лица я ввек не забуду. Месяц ударял прямо в стену павильона, в то окно, откуда она мне показалась, и, боже мой! как великолепно блеснули в его сиянии ее большие темные глаза! какой тяжелой волпой упали ее полураспущенные черные волосы на приподнятое круглое плечо! Сколько было стыдливой неги в мягком склонении ее стана, сколько ласки в ее голосе, когда она окликнула меня — в этом торопливом, но все еще звонком шепоте! Простояв довольно долго на одном и том же месте, я наконец отошел немного в сторону, в тень противоположной ограды, и стал оттуда с каким-то глупым недоумением и ожиданием поглядывать на павильон. Я слушал... слушал с напряженным вниманием... Мне то будто чудилось чье-то тихое дыхание за потемневшим окном, то слышался какой-то шорох и тихий смех. Наконец раздалась в отдалении шаги... они приблизились; мужчина такого же почти роста, как я, показался на конце улицы, быстро подошел к калитке подле самого павильона, которой я прежде не заметил, стукнул, не оглядываясь, два раза железным ее кольцом, подождал, стукнул опять и запел вполголоса: «*Ecco ridente...*»² Калитка отворилась... он без шума скользнул в нее. Я встрепенулся, покачал головой, расставил руки и, сурово надвинув шляпу на брови, с неудоволь-

¹ «Это ты?» (ит.)

² «Вот веселый...» (ит.)

ствием отправился домой. На другой день я совершенно напрасно и в самый жар проходил часа два по улице мимо павильона и в тот же вечер уехал из Сорренто, не посетив даже Тассова дома.

Пусть же теперь вообразят читатели то изумление, которое внезапно овладело мной, когда я в степи, в одной из самых глухих сторон России, услышал тот же самый голос, ту же песню... Как и тогда, теперь была ночь; как и тогда, голос раздался вдруг из освещенной незнакомой комнатки; как и тогда, я был один. Сердце во мне сильно билось. «Не сон ли это?» — думал я. И вот раздалось снова последнее *viene!*... Неужели растворится окно? неужели в нем покажется женщина? Окно растворилось. В окне показалась женщина. Я ее тотчас узнал, хотя между нами было шагов пятьдесят расстояния, хотя легкое облачко заволакивало луну. Это была она, моя соррентская незнакомка. Но она не протянула вперед, по-прежнему, свои обнаженные руки: она тихо их скрестила и, опершись ими на окно, стала молча и неподвижно глядеть куда-то в сад. Да, это была она, это были ее пезабвенные черты, ее глаза, которым я не видал подобных. Широкое белое платье облекало и теперь ее члепы. Она казалась несколько полнее, чем в Сорренто. Все в ней дышало уверенностью и отдыхом любви, торжеством красоты, успокоенной счастьем. Она долго не шевелилась, потом оглянулась назад, в компату, и, внезапно выпрямившись, три раза громким и звенящим голосом воскликнула: «Addio!»¹ Далеко, далеко разнеслись прекрасные звуки, и долго дрожали они, слабая и замирая пад липами сада, и в поле за мною, и повсюду. Все вокруг меня на несколько мгновений наполнилось голосом этой женщины, все звело ей в ответ,— звело ею. Она закрыла окно, и через несколько мгновений огонь погас в доме.

Как только я пришел в себя,— а это, признаюсь, случилось не скоро,— я тотчас отправился вдоль сада к усадьбе, подошел к запертым воротам и посмотрел через забор. На дворе не замечалось ничего необыкновенного; в одном углу, под навесом, стояла коляска. Передняя ее половинка, вся забрызганная сухой грязью, резко белела при луне. Ставни в доме были закрыты по-прежнему. Я забыл сказать, что я перед тем днем около недели не заезжал в Глинное. Более получаса расхаживал я в недоумении перед забором, так что обратил на себя, наконец, внимание старой дворовой собаки, которая, однако, не стала на меня лаять, а только необыкновенно иронически посмотрела на меня из подворотни своими прищуренными и подслеповатыми глазками. Я понял ее намек и удалился. Но не успел я отойти полверсты, как вдруг услышал за

¹ «Прощай!» (ит.)

собою конский топот... Через несколько мгновений всадник, на вороной лошади, крупной рысью промчался мимо и, быстро повернувшись ко мне лицом, причем я только мог заметить орлиный нос и прекрасные усы под надвинутой фуражкой, съехал с дороги направо и тотчас же исчез за лесом. «Так вот он», — подумал я, и сердце во мне как-то странно шевельнулось. Мне показалось, что я узнал его; его фигура действительно напоминала фигуру мужчины, вошедшего при мне в калитку сада в Сорренто. Через полчаса я уже был в Глинном, у моего хозяина, разбудил его и тотчас же начал его расспрашивать о том, кто такой приехал в соседнюю усадьбу. Он мне с усилием отвечал, что приехали помещицы.

— Да какие помещицы? — возразил я с терпением.

— Известно какие — барыни, — отвечал он очень вяло.

— Да какие барыни?

— Известно, какие бывают барыни.

— Русские?

— А то какие же? известно русские.

— Не иностранки?

— Ась?

— Давно ли они приехали?

— А известно, недавно.

— Да надолго ли они приехали?

— А это неизвестно.

— Богаты они?

— А это нам неизвестно. Может, и богаты.

— С ними никакого барина не приезжало?

— Барина?

— Да, барина.

Староста вздохнул.

— О, ох, господи! — проговорил он, зевая. — Н-нет, барина... нет... барина, кажись, нет. Неизвестно! — прибавил он вдруг.

— А какие тут еще соседи живут?

— Какие, известно какие — всякие.

— Всякие? А как их зовут?

— Кого, помещиц-то? аль соседей?

— Помещиц.

Староста опять вздохнул.

— Как их зовут? — пробормотал он. — А бог их знает, как их зовут! Старшую-то, кажись, Анной Федоровной, а другую-то... Нет, ту не знаю, как зовут.

— Ну, фамилья их какая по крайней мере?

— Фамилья?

— Да, фамилья, прозвище.

— Прозвище... Да. А ей-богу же, не знаю.

— Они молодые?

— Ну, нет. Этого нет.

— А как?

— Да младшей-то лет сорок с лишком будет.

— Ты все врешь.

Староста помолчал.

— Что ж — вам лучше знать. А нам неизвестно.

— Ну, зарядил одно слово! — вскрикнул я с досадой.

Зная по опыту, что из русского человека, когда он примется отвечать таким образом, нет никакой возможности извлечь что-нибудь толковое (притом же мой хозяин только что было завалился спать и перед каждым ответом слегка покачивался вперед, с младенческим изумлением расширяя глаза и с трудом расклеивая губы, смазанные медом первого сладкого сна), я махнул рукой и, отказавшись от ужина, пошел в сарай.

Я долго не мог заснуть. «Кто она такая? — беспрестанно спрашивал я самого себя. — Русская? Если русская, отчего она говорит по-итальянски?.. Староста толкует, что она немолодая... Да он врет... И кто этот счастливец?.. Решительно ничего понять нельзя... Но какое странное приключение! Возможно ли этак два раза сряду... Однако я узнаю непременно, кто она и зачем сюда приехала...» Волнуемый такими беспорядочными, отрывчатыми мыслями, я заснул поздно и видел странные сны... То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый жар полудня — и вдруг, я вижу, передо мной, по раскаленному желтому песку, бежит большое пятно тени... я поднимаю голову — она, моя красавица, мчится по воздуху, вся белая, с длинными белыми крыльями, и манит меня к себе. Я бросаюсь вслед за нею; но она плывет легко и быстро, а я не могу подняться от земли и напрасно протираю жадные руки... «Addio! — говорит она мне, улетаая. — Зачем нет у тебя крыльев... Addio...» И вот со всех сторон раздается: Addio! Каждая песчинка кричит и пищит мне: Addio... нестерпимой, острой трелью звенит это i... я отмахиваюсь от него, как от комара, — я ищу ее глазами... а уж она стала облачком и тихо поднимается к солнцу; солнце дрожит, колыхается, смеется, протирает к ней навстречу золотые длинные нити, и вот уж опутали ее эти нити, и тает она в них, а я кричу во все горло, как иступленный: «Это не солнце, это не солнце, это итальянский паук; кто ему дал паспорт в Россию? я его выведу на свежую воду: я видел, как он крадет апельсины в чужих садах...» То мне чудилось, что я иду по узкой горной тропинке... Я спешу: мне надо дойти поскорей куда-то, меня ждет какое-то неслыханное счастье; вдруг громадная скала воздвигается передо мною. Я ищу прохода: иду

направо, иду налево — нет прохода! И вот за скалой внезапно раздается голос: *Passa, passa quei colli...* Он зовет меня, этот голос, он повторяет свой грустный призыв. Я мечусь в тоске, ищу хотя малейшей расселины... увы! отвесная стена, гранит повсюду... *Passa quei colli* — жалобно повторяет голос. Сердце во мне ноет, я бросаюсь грудью на гладкий камень, я в иступлении царапаю его ногтями... Темный проход открывается вдруг передо мною... Замирая от радости, устремляюсь я вперед... «Шалишь! — кричит мне кто-то, — не пройдешь...» Я гляжу: Лукьяныч стоит передо мною, и грозит, и машет руками... Я торопливо роюсь в карманах: хочу подкупить его; но в карманах ничего нет... «Лукьяныч, — говорю я ему, — Лукьяныч, пропусти меня, я тебя после награжу». — «Вы ошибаетесь, синьор, — отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение, — я не дворовый человек; узнайте во мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею — и не мог найти ее, и не потерплю, чтобы вы нашли свою...» *Passa quei colli...* — раздается опять почти рыдающий голос. «Посторонитесь, синьор!» — восклицаю я с яростью и готов уже ринуться... по длинное копьё рыцаря поражает меня в самое сердце... я падаю замертво, я лежу на спине... я не могу пошевелиться... и вот вижу — она входит в лампадой в руке, красиво подымает ее выше головы, озирается во мраке и, осторожно подкрavшись, наклоняется надо мною... «Так вот он, этот шут! — говорит она с презрительным смехом. — Это он-то хотел узнать, кто я», и жгучее масло ее лампы капает мне прямо на раненое сердце... «Психея!» — восклицаю я с усилием и просыпаюсь...

Всю ночь я спал плохо и до света был уже на ногах. Наскоро одевшись и вооружившись, отправился я прямо к усадьбе. Нетерпение мое было так велико, что заря только что разгоралась, когда я подошел к знакомым воротам. Кругом пели жаворонки, галки покpикивали на березах; но в доме все еще спало утренним, мертвенным сном. Собака даже храпела за забором. С тоской ожидания, раздраженного почти до злобы, похаживал я по росистой траве и беспрестанно поглядывал на низенький и неказистый домик, заключавший в стенах своих то загадочное существо... Вдруг калитка слабо визгнула, отворилась, и появился на пороге Лукьяныч, в каком-то полосатом казакине. Его взъерошенное, вытянутое лицо показалось мне еще угрюмее, чем когда-либо. Не без изумленья посмотрев на меня, он уже было хотел опять затворить калитку.

— Любезный, любезный! — воскликнул я торопливо.

— Что вам надо в такую раннюю пору? — возразил он медленно и глухо.

— Скажи, пожалуйста, к вам, говорят, ваша барыня приехала?

Лукьяныч помолчал.

— Приехала...

— Одна?

— С сестрой.

— Не было у них вчера гостей?

— Не было.

И он потянул к себе калитку.

— Постой, постой, любезный... Сделай одолжение...

Лукьяныч кашлянул и поежился от холода.

— Да что вам такое надо?

— Скажи, пожалуйста, сколько твоей барыне лет?

Лукьяныч подозрительно взглянул на меня.

— Сколько барыне лет? Не знаю. Лет за сорок будет.

— За сорок! А сестре ее сколько будет?

— А той под сорок.

— Неужто! И хороша она собой?

— Кто, сестра-то?

— Да, сестра.

Лукьяныч усмехнулся.

— Не знаю, как кому покажется. По-моему, нехороша.

— А что?

— Так, неказиста больно. Мозглявата маленько.

— Вот как! И, кроме их, никто к вам не приехал?

— Никто. Кому приезжать!

— Да это быть не может!.. Я...

— Э, барин! с вами, знать, всего не переговоришь,— возразил старик с досадой.— Вишь, холод какой! Прощенья просим.

— Постой, постой... вот тебе...— И я протянул ему наперед приготовленный четвертак, но рука моя толкнулась в быстро захлопнутую калитку. Серебряная монета упала на землю, прокатилась и легла у моих ног.

«А, старый плут,— подумал я,— Дон-Кихот Ламанчский! тебе, видно, приказали молчать... Да погоди, меня ты не проведешь...»

Я дал себе слово во что бы то ни было добиться толку. Около получаса ходил я взад и вперед, не зная, на что решиться. Наконец я положил сперва разузнать в деревне, кто именно приехал в усадьбу и чья она, потом опять-таки вернуться и, как говорится, не отстать, пока не разъяснится дело. Выйдет же незнакомка из дома, увижу же я ее наконец днем, вблизи, как живую женщину, не как виденье. До деревни было с версту, и я тотчас отправился туда, легко и бодро выступая: странная отвага кипее-

ла и разыгрывалась в крови моей; крепительная свежесть утра раздражала меня после беспокойной ночи. В деревне я от двух отправлявшихся на работу мужиков узнал все, что мог только узнать от них; а именно: я узнал, что ту усадьбу вместе с деревней, в которую я зашел, звали Михайловским, что она принадлежала вдове, майорше Анне Федоровне Шлыковой, что у ней была сестра, незамужняя девица Пелагея Федоровна Бадаева, что обе они в летах, богаты, дома почти не живут, всё в разъездах, никого при себе, кроме двух дворовых девушек и повара, не держат, что Анна Федоровна на днях вернулась из Москвы с одной только своей сестрой... Это последнее обстоятельство меня сильно смутило: нельзя ж было предполагать, что и мужику приказано было молчать о моей незнакомке. Допустить же, что Анна Федоровна Шлыкова, вдова сорока пяти лет, и та молодая, прелестная женщина, виденная мною вчера, одно и то же лицо — было совершенно невозможно. Пелагея Федоровна, по описаниям, также не отличалась красотой, да и сверх того, при одной мысли, что женщину, виденную мною в Сорренто, могли звать Пелагеей, да еще Бадаевой, я пожимал плечами и злобно смеялся. И, однако ж, я ее видел вчера, в этом доме... видел, своими глазами видел, думал я. Раздосадованный, взбешенный, но еще более непреклонный в своем намерении, я было хотел тотчас же вернуться к усадьбе... но взглянул на часы: еще шести часов не было. Я решился подождать. В усадьбе, вероятно, все еще спали... а с теперешних пор бродить около дома значило бы только напрасно возбуждать подозрение; притом передо мной расстилались кусты, за ними виднелся осиновый лес... Я должен отдать себе ту справедливость, что, несмотря на волновавшие меня мысли, благородная страсть к охоте не совсем еще замолкла во мне; «Авось,— подумал я,— наткнусь на выводок,— время и пройдет». Я вошел в кусты. Но, правду сказать, ходил я весьма небрежно и уже вовсе несообразно с правилами искусства: не следил постоянно глазами за собакой, не фыркал над густым кустом в надежде, что оттуда с громом и треском вылетит красnobровый черныш, и беспрестанно взглядывал на часы, что уже совсем никуда не годится. Вот наконец наступил девятый час. «Пора!» — воскликнул я вслух и уже повернул было назад к усадьбе, как вдруг огромный черныш действительно затрепыхался из густой травы, в двух шагах от меня; я выстрелил по великолепной птице, ранил ее в подкрылок; она чуть не свалилась, но справилась, потянула, дробя крыльями и ныряя, к лесу, попыталась было подняться выше первых осинок опушки, но ослабела и кубарем покатила в чащу. Бросить такую добычу было бы совершенно непростительно; я проворно пустился вслед за нею, вошел в лес, сделал знак Дианке и через не-

сколько мгновений услышал бессильное хлоптанье и хлопанье: то бился несчастный черныш под лапами чуткой собаки. Я поднял его, положил в ягдташ, оглянулся — и, как пригвожденный, остался на месте...

Лес, в который я вошел, был очень част и глух, так что я с трудом добрался до места, где упала птица; но в недалеком расстоянии от меня извивалась тележная дорога, и по этой дороге ехали верхом, шагом и рядом, моя красавица и тот мужчина, который обогнал меня накануне; я его узнал по усам. Они ехали тихо, молча, держа друг друга за руку; их лошади чуть выступали, лениво покачиваясь с боку на бок и красиво вытянув длинные шеи. Опомнившись от первого испуга... именно испуга: другого названия я не могу дать чувству, внезапно меня охватившему... я так и впился в нее глазами. Как она была хороша! как очаровательно неся мне навстречу, среди изумрудной зелени, ее стройный образ! Мягкие тени, нежные отблески тихо скользили по ней — по ее длинному серому платью, по тонкой, слегка наклоненной шее, по бледно-розовому лицу, по лоснистым черным волосам, пышно выбегавшим из-под низенькой шляпы. Но как передать то выражение полного, страстного, до безмолвия страстного блаженства, которым дышали ее черты! Голова ее как будто склонилась под его бременем; золотые влажные искорки просвечивались в ее темных глазах, до половины закрытых ресницами; они никуда не глядели, эти счастливые глаза, и тонкие брови опустились над ними. Неопределенная, младенческая улыбка — улыбка глубокой радости блуждала на ее губах; казалось, избыток счастья утомлял и как бы надломлял ее слегка, вот как распутившийся цветок иногда надламывает свой стебель; обе руки ее бессильно лежали: одна — в руке ехавшего с ней мужчины, другая — на холке лошади. Я успел рассмотреть ее — по и его тож... Это был красивый, статный мужчина, с нерусским лицом. Он глядел на нее смело и весело и, сколько я мог заметить, не без тайной гордости любовался ею. Он любовался ею, злодей, и был очень собой доволен и не довольно тронут, не довольно умилен, именно умилен... Да и в самом деле, какой человек заслуживает такую преданность, какая самая прекрасная душа достойна доставить другой душе такое счастье... Признаться сказать, завидовал я ему!.. Между тем оба они поравнялись со мною... Собака моя вдруг выскочила на дорогу и залаяла... Незнакомка вздрогнула, быстро оглянулась и, увидав меня, сильно ударила хлыстом по шее лошади. Лошадь фыркнула, взвилась на дыбы, вынесла разом вперед обе ноги и помчалась галопом... Мужчина тотчас же пришпорил своего вороного коня, и когда я через несколько мгновений вышел по дороге на опушку, они уже оба скакали в золотистой дали, через

поле, красиво и мерно колыхаясь на седлах... и скакали не в направлении усадьбы...

Я глядел... Они скоро исчезли за холмом, в последний раз ярко озарившись солнцем на темной черте небосклона. Я постоял, постоял, тихими шагами вернулся в лес и сел, закрыв глаза рукою, на дорожке. Я заметил, что при встрече с незнакомыми стоит только закрыть глаза — и черты их тотчас же возникнут перед вами; всякий может поверить справедливости моего замечания на улице. Чем знакомее лица, тем труднее являются они, тем неяснее их впечатление; их помнишь, а не видишь... а своего собственного лица никак и не представишь... Малейшая отдельная черта известна, а целого образа не составляется. Итак, я сел, закрыл глаза — и тотчас увидал и незнакомку, и ее товарища, и лошадей их, и все... особенно резко и отчетливо стояло передо мною улыбающееся лицо мужчины. Я стал вглядываться в него... оно смешалось и растаяло в какой-то багровой мгле, а вслед за ним и его образ тоже попесся прочь и утонул и уже более не хотел возвратиться. Я приподнялся. «Ну, что ж! — подумал я, — по крайней мере я их видел, ясно видел обоих... Остается узнать их имена». Стараться узнать их имена! Какое неуместное, мелкое любопытство! Но, клянусь, не любопытство во мне разгоралось: мне, право, просто казалось невозможным не добиться наконец, кто ж они по крайней мере такие, после того как случай так странно и так упорно сводил меня с ними. Впрочем, нетерпеливого, прежнего недоумения во мне уже не было: оно сменилось каким-то смутным, печальным чувством, которого я немного стыдился... Я завидовал...

Я не спешил пазад к усадьбе. Мне, признаться, становилось совестно допытываться чужой тайны. Притом появлепье любящей четы днем, при солнечном свете, хотя все-таки неожиданное и, повторяю, странное — не то чтобы успокоило, а как-то расхолодило меня. Я уже не находил во всем этом происшествии ничего сверхъестественного, чудесного... ничего похожего на несбыточный сон...

Я начал опять охотиться, с ббльшим вниманием, чем прежде; но все-таки настоящих восторгов не было. Выводок мне попался и задержал меня часа полтора... Молодые тетеревята долго не откликались на мой свист, — вероятно, оттого, что я свистел не довольно «объективно». Солнце взошло уже очень высоко (часы показывали двенадцать), когда я направил шаги свои к усадьбе. Я шел не торопясь. Вот глянул наконец с холма низенький домик... сердце во мне опять задрожало. Я приблизился... и не без тайного удовольствия увидел Лукьяныча. Он по-прежнему неподвижно сидел на лавочке перед флигелем. Ворота были заперты... и ставни тоже.

— Здравствуй, дядя! — крикнул я еще издали. — Аль погреться вышел?

Лукьяныч повернул ко мне свое худое лицо и молча приподнял фуражку.

Я подошел к нему.

— Здравствуй, дядя, здравствуй, — повторил я, желая его задобрить. — Что ж ты, — прибавил я, нечаянно увидев на земле мой повенский четвертак, — не видал, что ли, его?

И я указал ему на серебряный кружок, до половины высунувшийся из-под короткой травки.

— Нет, видел.

— Так что ж ты его не поднял?

— Да так: не мои деньги, так и не поднял.

— Экой ты, братец! — возразил я не без замешательства и, подняв четвертак, протянул ему его опять, — возьми, возьми на чай.

— Много благодарны, — отвечал мне Лукьяныч, спокойно улыбувшись. — Не нужно; поживем и так. Много благодарны.

— Да я тебе готов с удовольствием дать еще больше! — возразил я с смущением.

— За что же? Не извольте беспокоиться — много благодарны за расположение, а хлеба с нас и в краюхе будет. И той, пожалуй, не доешь — какой час выдет.

И он встал и протянул руку к калитке.

— Постой, постой, старик, — заговорил я почти с отчаянием. — Какой ты, право, сегодня неразговорчивый... Скажи мне по крайней мере, твоя барыня — встала она, что ли?

— Они встали.

— И... дома она?

— Нет, их дома нет-с.

— В гости выехала, что ли?

— Никак нет-с: в Москву уехала.

— Как в Москву? Да она сегодня воутру здесь была?

— Здесь.

— И ночевала здесь?

— Здесь ночевали-с.

— И недавно сюда приехала?

— Недавно.

— Так как же, братец?

— А вот, этак с час будет времени, изволили обратно отправиться в Москву.

— В Москву!

Я с остолбенением глядел на Лукьяныча: этого, признаюсь, я не ожидал...

И Лукьяныч глядел на меня... Старчески лукавая улыбка стягивала его сухие губы и чуть светилась в печальных глазах.

— И с сестрой уехала? — проговорил я наконец.

— С сестрицей.

— Так что никого теперь в доме нет?

— Никого...

«Этот старик меня обманывает, — сверкнуло у меня в голове. — Недаром он так лукаво ухмыляется». — Послушай, Лукьяныч, — проговорил я вслух, — хочешь ты мне сделать одно одолжение?..

— Что такое вам угодно? — медленно проговорил он, видимо начиная тяготиться моими расспросами.

— В доме, ты говоришь, никого нет; можешь ты показать мне его? Я бы очень был тебе благодарен.

— То есть вы хотите комнаты посмотреть?

— Да, комнаты.

Лукьяныч помолчал.

— Извольте, — произнес он наконец. — Пожалуйте...

И он, нагнувшись, шагнул через порог калитки. Я отправился вслед за ним. Перейдя через небольшой дворик, мы взобрались на шаткие ступеньки крыльца. Старик толкнул дверь; в ней и замка не было: веревочка с узлом торчала из ключевой скважины... Мы вошли в дом. Он весь состоял из пяти-шести низеньких комнат, и, сколько я мог различить при слабом свете, скупо струившемся сквозь трещины ставен, мебель в этих комнатах была весьма простая и дряхлая. В одной из них (именно в той, которая выходила в сад) стояло маленькое и старенькое фортепьяно... Я поднял его погнутую крышку и ударил по клавишам: кислый, шипящий звук раздался и болезненно замер, как бы жалуясь на мою дерзость. Ни по чем пельзя было заметить, что из этого дома недавно выехали люди; в нем и пахло чем-то мертвенным и душным — псжилым; разве кое-где валявшаяся бумажка своей белизной давала знать, что попала сюда недавно. Я поднял одну такую бумажку; она оказалась клочком письма; на одной стороне бойким женским почерком были начертаны слова: «se taire?»¹, на другой я разобрал слово: «bonheur...»² На круглом столике подле окна стоял букет полузавядших цветов в стакане и лежала зелененькая смятая ленточка... Я взял эту ленточку на память. Лукьяныч отворил узкую дверь, заклеенную обоями.

— Вот, — сказал он, протянув руку, — это вот спальня, а там, за пенью, еще девичья, а то других покоев нет...

Мы пошли назад по коридору.

¹ «молчать?» (фр.)

² «счастье...» (фр.)

— А там что за комната? — спросил я, указав на широкую белую дверь с замком.

— Это? — отвечал мне Лукьяныч глухим голосом. — Это так.

— Как так?

— Да так... Кладовая... — И он пошел было в переднюю.

— Кладовая? Нельзя ли ее посмотреть?..

— Да что вам за охота, барин, право! — возразил Лукьяныч с неудовольствием. — Что вам смотреть? Сундуки, посуда старая... кладовая, и больше ничего...

— Все-таки покажи мне ее, пожалуйста, старик, — сказал я, хоть внутренне стыдился своей неприличной настойчивости. — Я вот, видишь ли, я желал бы... я хочу у себя в деревне точно такой дом...

Мне стало совестно: я не мог закончить начатой речи.

Лукьяныч стоял, наклонив на грудь седую голову, и как-то странно посматривал на меня исподлобья.

— Покажи, — проговорил я.

— Ну, извольте, — возразил он наконец, достал ключ и неохотно отпер дверь.

Я заглянул в кладовую. В пей действительно не было ничего замечательного. На стенах висели старые портреты, с мрачными, почти черными лицами и злыми глазами. На полу валялся всякий хлам.

— Ну, насмотрелись? — угрюмо спросил меня Лукьяныч.

— Да; спасибо! — торопливо возразил я.

Он захлопнул дверь. Я вышел в переднюю, а из передней на двор.

Лукьяныч проводил меня, пробормотал: «Прощенья про-им-с», — и пошел в свой флигелек.

— А какая это у вас госпожа вчера гостила? — крикнул я ему вслед. — Я ее сегодня встретил в роще!

Я надеялся озадачить его моим внезапным вопросом, вызвать необдуманный ответ. Но старик только глухо засмеялся и, уходя к себе, хлопнул дверью.

Я отправился назад в Глинное. Мне было неловко, как пристыженному мальчику.

«Нет, — сказал я самому себе, — видно, мне не добиться разрешения этой загадки. Бог с ней! Не стану больше думать обо всем этом».

Через час я уже ехал домой, рассерженный и раздраженный.

Прошла неделя. Как ни старался я отгонять от себя прочь воспоминание о незнакомке, о ее спутнике, о моих встречах с ними, оно то и дело возвращалось и приставало ко мне со всей докучливой пастойчивостью послеобеденной мухи... Лукьяныч, с сво-

ими таинственными взглядами и сдержанными речами, с своей холодно-печальной улыбкой, тоже беспрестанно приходил мне на память. Самый дом, когда я вспоминал о нем, самый тот дом, казалось, хитро и тупо поглядывал на меня сквозь свои полузакрытые ставни и как будто поддразнивал меня, как будто говорил мне: а все же ты ничего не узнаешь! Я наконец не выдержал и в один прекрасный день поехал в Глинное, а из Глинного отправился пешком... куда? читатель легко догадается.

Я должен сознаться, что, подходя к таинственной усадьбе, я чувствовал довольно сильное волнение. В наружности дома не произошло никакой перемены: те же закрытые окна, тот же унылый и осиротелый вид; только на лавочке, перед флигелем, вместо старика Лукьяныча сидел какой-то молодой дворовый парень лет двадцати, в длинном нанковом кафтане и красной рубахе. Он сидел, положив на ладонь кудрявую голову, и дремал, изредка покачиваясь и вздрагивая.

— Здравствуй, брат! — промолвил я громко.

Он тотчас вскочил и выпучил на меня свои оторопелые глаза.

— Здравствуй, брат! — повторил я, — а где старик?

— Какой старик? — медленно проговорил малый.

— Лукьяныч.

— А, Лукьяныч! — Он глянул в сторону. — Вам Лукьяныча надо?

— Да, Лукьяныча. Что он, дома?

— Н-нет, — произнес малый с расстановкой, — он того... как бы вам... того... сказать...

— Пездоров он, что ли?

— Нет.

— Так что же?

— Да его совсем нет.

— Как нет?

— Так. С ним такое... недоброе приключилось.

— Он умер? — спросил я с изумлением.

— Удавился.

— Удавился! — с испугом воскликнул я и всплеснул руками.

Мы оба молча посмотрели в глаза друг другу.

— Давно ли? — проговорил я наконец.

— Да вот пятый день сегодня. Вчера его хоронили.

— Да отчего он это удавился?

— Господь его знает. Человек он был вольный, на жалованье; нужды ни в чем не знал, господа его как родного ласкали. Ведь у нас господа — дай бог им здоровья! Просто ума не приложишь, что с ним такое поделалось. Знать, лукавый попутал.

— Да как это он сделал?

— Да так. Взял да удавился.

— И ничего прежде в нем не замечали?

— Как вам сказать... Особенного этакого, чтобы... ничего. Он всегда скучный такой был, сумнительный человек. Закряхтит, за-кряхтит, бывало. Скучно, дескать, мне. Ну, да ведь уж лета его какие были. В последнее время он точно что-то задумываться на-чал. Придет, бывало, к нам на деревню; я-то ему племянником довожусь: «Что, брат Вася, скажет, приди-ка, брат, переночуй-ка у меня!» — «А что, дяденька?» — «Да так, страшно что-то; скучно одному». Ну и пойдешь к нему. Бывало, выдет на двор, посмотрит, посмотрит этак на дом, закачает, закачает головой, да как вздохнет... Перед самой той ночью, как ему то есть жизнь покон-чить, он тоже пришел к нам, позвал меня. Ну, я и пошел. Вот при-шли мы к нему во флигелек, посидел он маленько на лавочке, встал, да и вышел. Я жду, — что, мол, долго он не идет, вышел на двор, крикнул: «Дяденька! а, дядя?» Не откликается дяденька. Я думаю: куда, мол, он это пошел, не в дом ли? да и пошел в дом. Уж смер-каться начинало. Вот прохожу я мимо кладовой, слышу, скребет там что-то за дверь; я взял да дверь и отворил; глядь, а он там си-дит, прикорнул под окном. «Что, мол, говорю, дяденька, вы тут де-лаете?» А он как обернется да как гикнет на меня, а глаза-то у него такие быстрые, быстрые, так и горят, как у kota. «Что тебе? Разве не видишь — бреюсь?» И голос такой хриплый. У меня вдруг волосы так дыбом и поднялись, и, сам не знаю отчего, так мне страшно стало... знать, о ту пору бесы-то его уж обступили. «Впоть-мах-то», — говорю я, а у самого так колени и дрожат. «Ну, гово-рит, хорошо, ступай». Я пошел, и он из кладовой вышел и дверь на замок запер. Вот пришли мы опять во флигелек, страх с меня тотчас и соскочил. «Что, мол, говорю я, дяденька, ты в кладовой делал?» Он так и всполохнулся. «А ты молчи, говорит, молчи!» — да и полез на лежанку. «Ну, — думаю я, — лучше не стану я с ним заговаривать: вишь, он сегодня что-то того, нездоров, должно быть». Вот я взял да и лег тоже на лежанку. А ночник горит в углу. Вот лежу я, и так, знаете, дремается мне... Вдруг, слышу, дверь тихонько скрип... да и отворилась... так, немножко. А дя-денька-то к двери спиной лежал, да и на ухо он всегда, вы, мо-жет, припомните, туг бывал. А тут как вскочит вдруг... «Кто меня зовет, а? кто? за мной пришел, за мной!» — да без шапки на двор... Я подумал: «Что с ним это?» — да, грешный человек, тут же и за-снул. На другое утро просыпаюсь... нет Лукьяныча. Вышел из комнатки, стал его кликать — нету нигде. Спрашиваю у сторожа: «Не видал, мол, не выходил дяденька?» — «Нет, говорит, не ви-дал». — «Что, брат, говорю, пет его что-то...» — «Ой!» Мы так оба и струхнули. «Пойдем, говорю, Федосеич, пойдем, говорю, посмот-

рим, нет ли его в доме». — «Пойдем, говорит, Василий Тимофеич», а сам бел, как глина. Пошли мы в дом... стал я проходить мимо кладовой, да как глянул, а замок-то висит на пробое открытый, я толк в дверь, а дверь-то изнутри заперта... Федосеич тотчас обежал кругом, посмотрел в окно. «Василий Тимофеич! кричит, ноги висят, ноги!» Я к окну. А ноги-то это его, Лукьянычевы ноги. Так посереде комнаты и повесился... Ну, послали за судом... Сняли его с веревки: двенадцатью узлами завязана была веревка.

— Ну, что же суд?

— Да что суд? Ничего. Подумали, подумали, какая может быть причина? Нет никакой причины. Так и решили, что, должно полагать, не в своем был уме. У него ж в последнее время голова болела, часто все головой жаловался...

Я еще около получаса потолковал с малым и ушел наконец в совершенном смущении. Признаюсь, я не мог без тайного, суеверного страха смотреть на этот дряхлый дом... Через месяц я уехал из деревни; и понемногу все эти ужасы, эти таинственные встречи вышли у меня из головы.

II

Прошло три года. Большую часть этого времени я провел в Петербурге да за границей, и если когда я и заезжал к себе в деревню, то не более как на несколько дней, так что мне ни разу не пришлось побывать ни в Глинном, ни в Михайловском. Ни красавицу мою я не видал нигде, ни того мужчину. Однажды, на исходе третьего года, в Москве, мне случилось встретиться с г-жою Шлыковой и ее сестрицей, Пелагеей Бадаевой, — с той самой Пелагеей, которую я, грешный человек, до тех пор считал вымышленным лицом, — на вечере у одной моей знакомой. Обе дамы были уже не молодых лет и довольно приятной наружности; разговор их отличался умом и веселостью: они много путешествовали, и путешествовали с пользой; в обращении их замечалась непринужденная веселость. Но между моей незнакомкой и ими не было решительно ничего общего. Меня представили им. Мы с г-жою Шлыковой разговорились (сестрицу ее занимал какой-то заезжий геолог). Я объявил ей, что имею удовольствие быть ее соседом по ...му уезду.

— А! у меня там точно есть небольшое имение, — заметила она, — возле Глинного.

— Как же, как же, — возразил я, — я знаю ваше Михайловское. Вы там бываете?

— Я? редко.

— Три года тому назад были?

— Пойдите! кажется, была. Да, была, точно.

— С сестрицей вашей или одни?

Она взглянула на меня.

— С сестрой. Мы там с неделю провели. По делам, знаете.

Впрочем, мы никого не видали.

— Гм... Там, кажется, соседей очень мало.

— Да, мало. Я же до них не охотница.

— Скажите,— начал я,— ведь у вас там, кажется, в том же году случилось несчастье. Лукьяныч...

Глаза г-жи Шлыковой тотчас наполнились слезами.

— А вы его знали? — промолвила она с живостью.— Такое несчастье! Такой был прекрасный, добрый старик... и, представьте, ведь без всякой причины...

— Да, да,— пробормотал я,— такое несчастье...

Сестра г-жи Шлыковой подошла к нам. Ей, вероятно, уж начинали надоедать ученые рассуждения геолога о формации берегов Волги.

— Вообрази, Pauline,— начала моя собеседница,— monsieur знал Лукьяныча.

— В самом деле? Бедный старик!

— Я не раз охотился около Михайловского в то время, когда вы там были, три года тому назад,— заметил я.

— Я? — возразила Пелагея с некоторым недоумением.

— Ну, да, конечно! — поспешно подхватила ее сестрица,— разве ты не помнишь?

И она пристально поглядела ей в глаза.

— Ах да, да... точно! — отвечала вдруг Пелагея.

«Эхе-хе,— подумал я,— навряд ты была в Михайловском, голубушка».

— Не споете ли нам что-нибудь, Пелагея Федоровна,— заговорил внезапно один высокий молодой человек, с белокурым коком и мутно-сладкими глазками.

— Я, право, не знаю,— проговорила девица Бадаева.

— А вы поете? — воскликнул я с живостью и быстро поднялся с места,— ради бога... Ах, ради бога, спойте нам что-нибудь.

— Но что мне спеть вам?

— Не знаете ли вы,— начал я, всячески стараясь придать себе вид равнодушный и развязный,— одну итальянскую песенку... она так начинается: *Passa que'colli?*

— Знаю,— отвечала Пелагея совершенно невинно.— Что ж, ее вам спеть? Извольте.

И она села за фортепьяно. Я, как Гамлет, вперил взоры свои в г-жу Шлыкову. Мне показалось, что при первом звуке она слегка вздрогнула; впрочем, она спокойно досидела до конца. Девица

Бадаева пела недурно. Песенка кончилась — раздались обычные рукоплескания. Стали просить ее спеть еще что-нибудь; но обе сестры перемигнулись и через несколько минут уехали. Когда они выходили из комнаты, мне послышалось слово: *importun*¹.

«Поделом!» — подумал я — и уже больше с ними не встречался.

Прошел еще год. Я переехал на жительство в Петербург. Настала зима; начались маскарады. Однажды, выходя в одиннадцатом часу вечера из одного приятельского дома, я почувствовал себя в таком мрачном расположении духа, что решил отпра- виться в маскарад, в Дворянское собрание. Долго бродил я вдоль колонн и мимо зеркал с скромно-фатальным выражением на лице — с тем выражением, которое, сколько я мог заметить, в подобных случаях появляется у самых порядочных людей — почему, одип господь ведает; долго бродил я, изредка отшучиваясь от пискли- вых домино с подозрительными кружевами и песвежими перчат- ками и еще реже заговаривая сам с ними; долго предавал я свои уши завываньям труб и визгу скрипок; наконец, наскучавшись вдо- воль и добившись головной боли, хотел я уже ехать домой... и... и остался. Я увидел женщину в черном домино, прислонившуюся к колонне, — увидел ее, остановился, подошел к ней — и... поверят ли мне мои читатели?.. тотчас узнал в ней мою незнакомку. По- чему узнал я ее: по взгляду ли, который она рассеянно бросила на меня сквозь продолговатые отверстия маски, по дивному ли очертанию ее плеч и рук, по особенной ли женственной величаво- сти всего ее образа, или, наконец, по какому-то тайному голосу, который внезапно заговорил во мне, — не могу сказать... но только я узнал ее. С дрожью на сердце прошел я несколько раз мимо нее. Она не шевелилась; в ее позе было что-то до того безнадежно го- рестное, что, глядя на нее, я невольно вспомнил два стиха испан- ского романса:

Я печальная картина,
Прислоненная к стене².

Я зашел за колонну, о которую она опиралась, и, наклонив голову к самому ее уху, тихо произнес:

— *Passa que'colli...*

Она вся затрепетала и быстро обернулась ко мне. Глаза наши так близко встретились, что я мог заметить, как испуг расширил ее зрачки. С недоумением, слабо протянув одну руку, смотрела она на меня.

¹ павязчивый (*фр.*).

² *Soy un cuadro de tristeza,
Arrimado a la pared.*

— Шестого мая 184* года, в Сорренто, в десять часов вечера, в улице della Croce¹,— проговорил я медленным голосом, не спуская с нее глаз,— потом в России, в ...й губернии, в сельце Михайловском, двадцать второго июля 184* года...

Я сказал все это по-французски. Она подалась немного назад, окинула меня с ног до головы изумленным взором и, прошептав: «Venez»²,— проворпо пошла вон из залы. Я отправился вслед за пей.

Мы шли молча. Я не в силах передать, что я чувствовал, идя с ней рядом. Прекрасное сповидение, которое бы вдруг стало действительностью... статуя Галатей, сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глазах замирающего Пигмалиона... Я не верил себе, я едва мог дышать.

Мы прошли несколько комнат... Наконец в одной из них она остановилась перед небольшим диваном у окна и села. Я сел подле нее.

Она медленно обернула ко мне свою голову и внимательно посмотрела на меня.

— Вы... вы от него? — проговорила она.

Голос ее был слаб и неверен...

Ее вопрос меня несколько смутил.

— Нет... не от него,— отвечал я, запинаясь.

— Вы его знаете?

— Знаю,— возразил я с таинственной важностью. Мне хотелось поддержать свою роль.— Знаю.

Она недоверчиво посмотрела на меня, хотела что-то сказать и потупилась.

— Вы его ждали в Сорренто,— продолжал я,— вы виделись с ним в Михайловском, вы ездили с ним верхом...

— Как вы могли...— начала было она.

— Уж я знаю... я все знаю...

— Ваше лицо мне как будто знакомо,— продолжала она,— но нет...

— Нет, я вам незнаком.

— Так что же вы хотите?

— Да уж я знаю,— твердил я.

Я очень хорошо понимал, что мне следовало воспользоваться отличным началом, идти далее, что мои повторения «я все знаю, уж я знаю» становились смешными,— но мое волнение было так велико, эта неожиданная встреча до того меня смутила, я так потерялся, что решительно не умел сказать ничего другого. Притом

¹ Креста (ит.).

² «Пойдемте» (фр.).

же я действительно больше ничего и не знал. Я чувствовал, что я глупею, чувствовал, что я из таинственного, всеведущего существа, каким я сперва ей должен был показаться, быстро превращаюсь в какого-то ухмыляющегося дурачка... но делать было нечего.

— Да, я все знаю, — пробормотал я еще раз.

Она взглянула на меня, проворно встала и хотела удалиться. Но это было бы слишком жестоко. Я ее схватил за руку.

— Ради бога, — начал я, — сядьте, выслушайте меня...

Она подумала и села.

— Я вам сейчас говорил, — продолжал я с жаром, — что я все знаю, — это вздор. Я ничего не знаю, решительно ничего; я не знаю ни кто вы, ни кто он, и если я мог вас удивить тем, что я сказал вам сейчас у колонны, то припишите это одному случаю, странному, непонятному случаю, который, как будто на смех, два раза и почти одинаковым образом сталкивал меня с вами, делал меня невольным свидетелем того, что, может быть, вы бы желали сохранить в тайне...

И я тут же, нисколько не обинуясь и без малейшей утайки, рассказал ей все: встречи мои с ней в Сорренто, в России, мои тщетные расспросы в Михайловском, даже разговор мой в Москве с Шлыковой и ее сестрой.

— Теперь вы все знаете, — продолжал я, окончив свой рассказ. — Я не стану описывать вам, какое глубокое, какое потрясающее впечатление вы произвели на меня: видеть вас и не быть очарованным вами — невозможно. С другой стороны, мне тоже не для чего говорить вам, какого рода было это впечатление. Вспомните, при каких условиях я оба раза видел вас... Поверьте, я не охотник предаваться безумным надеждам, но поймите также и то неизъяснимое волнение, которое овладело мною сегодня, и извините меня, извините пеловкую хитрость, к которой я решился прибегнуть, чтоб обратить ваше внимание, хотя на мгновение...

Она выслушала мои сбивчивые объяснения, не поднимая головы.

— Что же вы хотите от меня? — сказала она наконец.

— Я?.. Я ничего не хочу... Я и так уже счастлив... Я слишком уважаю чужие тайны.

— Будто? Однако вы до сих пор, кажется... Впрочем, — продолжала она, — я не хочу упрекать вас. Всякий на вашем месте сделал бы то же. Притом случай действительно так настойчиво сближал нас... это как будто дает вам некоторое право на мою откровенность. Слушайте: я не принадлежу к числу тех женщин, непонятых и несчастных, которые ездят по маскарадам для того, чтобы болтать с первым встречным о своих страданиях, которым нужны сердца, исполненные сочувствия... Мне ничьего сочувствия

не нужно, мое собственное сердце умерло, и я приехала сюда для того только, чтобы окончательно похоронить его.

Она поднесла платок к своим губам.

— Я надеюсь,— продолжала она с некоторым усилием,— что вы не принимаете моих слез за обыкновенные маскарадные излияния. Вы должны понять, что мне не до того...

И точно, в ее голосе было что-то страшное, при всей вкрадчивой мягкости его звуков.

— Я русская,— сказала она по-русски — до тех пор она вырождалась на французском языке,— хотя мало жила в России... Имя вам мое знать не нужно. Анна Федоровна моя старинная приятельница; я точно ездила в Михайловское под именем ее сестры... Тогда мне нельзя было с ним видаться явно... И без того начинали ходить слухи... тогда еще существовали препятствия — он не был свободен... Эти препятствия исчезли... но тот, чье имя должно было сделаться моим, тот, с которым вы меня видели, меня бросил.

Она сделала движение рукой и помолчала...

— Вы точно его не знаете? не встречались с ним?

— Ни разу.

— Он почти все это время провел за границей. Впрочем, он теперь здесь... Вот и вся моя история,— прибавила она,— вы видите, в ней нет ничего таинственного, ничего особенного.

— А Сорренто? — робко прервал я.

— Я с ним познакомилась в Сорренто,— медленно возразила она и задумалась.

Мы оба умолкли. Странное смущение овладело мною. Я сидел подле нее, подле той женщины, чей образ так часто носился в мечтах моих, так мучительно волновал и раздражал меня,— я сидел подле нее и чувствовал холод и тяжесть на сердце. Я знал, что ничего не выйдет из этой встречи, что между ею и мною была бездна, что мы, расставшись, разойдемся навсегда. Протянув голову и уронив обе руки на колени, сидела она равнодушно и небрежно. Знаю я эту небрежность неизлечимого горя, знаю равнодушные безвозвратного несчастья! Маски четами проходили мимо нас; звуки «однообразного и безумного» вальса то глухо отдавались в отдаленье, то приносились резкими взрывами; тяжело и печально волновала меня веселая бальная музыка. «Неужели,— думал я,— эта женщина — та самая, которая явилась мне некогда в окне того далекого деревенского домика во всем блеске торжествующей красоты?..» И между тем время, казалось, не коснулось ее. Нижняя часть ее лица, не скрытая кружевами маски, была почти младенчески нежна; но от нее веяло холодом, как от статуи... Возвратилась Галатей на свой пьедестал, и уже не сойти с него более.

Вдруг она выпрямилась, заглянула в другую комнату и встала.

— Дайте мне руку, — сказала она мне, — пойдете скорей, скорей.

Мы вернулись в залу. Она шла так быстро, что я едва за ней поспевал. У одной колонны она остановилась.

— Подождете здесь, — прошептала она.

— Вы кого-нибудь ищете, — начал было я...

Но она не обращала на меня внимания: пристальный взор ее вперился в толпу. Темно и грозно глядели из-под черного бархата ее черные большие глаза.

Я обернулся в направлении ее взора и все понял. По коридору, образуемому рядом колонн и стеной, шел он, тот мужчина, которого я встретил с нею в лесу. Я узнал его тотчас; он почти не изменился. Так же красиво вился его русский ус, такой же спокойной и самоуверенной веселостью светились его карие глаза. Он шел не торопясь и, слегка наклонив свой тонкий стан, рассказывал что-то женщине в домино, которую вел под руку. Поравнявшись с нами, он внезапно поднял голову, посмотрел сперва на меня, потом на ту, с которой я стоял, и, вероятно, узнал ее, узнал ее глаза, потому что брови его слегка дрогнули, — он прищурился, и чуть заметная, но нестерпимо дерзкая усмешка шевельнула его губы. Он нагнулся к своей спутнице, шепнул ей на ухо два слова, та тотчас оглянулась, голубенькие ее глазки торопливо окинули нас обоих, и, тихо засмеявшись, погрозила она ему своей маленькой ручкой. Он слегка приподнял одно плечо, она кокетливо к нему прижалась...

Я обернулся к моей незнакомке. Она смотрела вслед уходящей чете и вдруг, выдернув у меня руку, бросилась к дверям. Я было устремился вслед за ней, но она, обернувшись, так на меня взглянула, что я глубоко ей поклонился и остался на месте. Я понял, что преследовать ее было бы грубо и глупо.

— Скажи, пожалуйста, братец, — говорил я четверть часа спустя одному из моих приятелей — живому адрес-календарю Петербурга, — что это за высокий красивый господин с усами?

— Это?.. это какой-то иностранец, довольно загадочное существо, очень редко появляющееся на нашем горизонте. А что?

— Так!..

Я вернулся домой. С тех пор я уже нигде не встречал моей незнакомки. Зная имя человека, которого она любила, я бы, вероятно, мог добиться наконец, кто она была такая, но я сам не желал этого. Я сказал выше, что эта женщина появилась мне как свидение — и как сновидение прошла она мимо и исчезла навсегда.

МУМУ

В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолюю и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленною дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж; она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел; но и вечер ее был чернее ночи.

Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых — дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал и, налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо о Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехаршинным цепом, и, как рычаг, опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик, и не будь его несчастье, всякая девка охотно пошла бы за него замуж... Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником.

Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле... Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое делается, — сучал и недо-

умевал, как недоумевает молодой, здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги — и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом, а куда мчат — бог весть! Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжелых крестьянских работ; в полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и, далеко швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек, и Герасим привык наконец к городскому житью. Дела у него было немного; вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома да чужих не пускать и по ночам караулить. И надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность: на дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни сору; застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой отданная под его начальство разбитая кляча-водовозка, он только двинет плечом — и не только телегу, самое лошадей спихнет с места; дрова ли примется он колоть, топор так и звенит у него, как стекло, и летят во все стороны осколки и поленья; а что насчет чужих, так после того как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его; даже днем проходившие, вовсе уже не мошеники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, — они его побаивались, — а коротких: он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, по права свои тоже знал, и уже никто не смел садиться на его место в застолье. Вообще Герасим был права строгого и серьезного, любил во всем порядок; даже петухи при нем не смели драться, — а то беда! Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз десять на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барыни водились тоже гуси; но гусь, известно, птица важная и рассудительная; Герасим чувствовал к ним уважение, ходил за ними и кормил их; он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку; он устроил ее себе сам, по своему вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах, — истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на нее — не погнулась бы; под кроватью нахо-



«Три встречи»

Худ. Д. Б. Боровский

дился дюжий сундук; в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика — стул на трех ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавший своим видом калач, только черпый; ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили.

Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие.

Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную; в доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи, — был даже один шорник, он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей, был домашний лекарь для господи, был, наконец, один башмачник, по имени Капитон Климов, пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и не оцепенным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить, без дела, в каком-то захолустье, и если пил, как он сам выражался с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности Капитона, которого накануне только что отыскивали где-то на улице.

— А что, Гаврила, — заговорила вдруг она, — не женить ли нам его, как ты думаешь? Может, он остепенится.

— Отчего же не женить-с! Можно-с, — ответил Гаврила, — и очень даже будет хорошо-с.

— Да; только кто за него пойдет?

— Конечно-с. А впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен; из десятка его не выкинешь.

— Кажется, ему Татьяна нравится?

Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы.

— Да!.. пусть посватает Татьяну, — решила барыня, с удовольствием понюхивая табачок, — слышишь?

— Слушаю-с, — произнес Гаврила и удалился.

Возвратясь в свою комнату (она находилась во флигеле и была почти вся загромождена коваными сундуками), Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть Капитона. Капитон явился... Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем не-

лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось Капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого.

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки (впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати осьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой — предвещанием несчастной жизни... Татьяна не могла похвалиться своей участью. С ранней молодости ее держали в черном теле; работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала; одевали ее плохо, жалованье она получала самое маленькое; родни у ней все равно что не было: один какой-то старый ключник, оставленный за пегодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли, — вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смиренного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно; думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробежать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядывать на нее начал, наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему; кротким ли выражением лица, робостью ли движений — бог его знает! Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту... кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть; она обернулась и так и вскрикнула: за ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка, с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он пасильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя: куда, бывало, она ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей, метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника; пасмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались: он шуток не любил; да и ее при нем оставляли в покое.

Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом кастелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять и до того ее довела, что та, бедная, не знала куда глаза деть и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, паложил ее на голову кастелянши и с такой утрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли. Герасим снова взялся за ложку и продолжал хлебать щи. «Вишь, глухой черт, леший!» — пробормотали все вполголоса, а кастелянша встала да ушла в девичью. А то в другой раз, заметив, что Капитон, тот самый Капитон, о котором сейчас шла речь, как-то слишком любезно раскалякался с Татьяной, Герасим позвал его к себе пальцем, отвел в каретный сарай да, ухватив за конец стоявшее в углу дышло, слегка, но многозначительно погрозил ему им. С тех пор уж никто не заговаривал с Татьяной. И все это ему сходило с рук. Правда, кастелянша, как только прибежала в девичью, тотчас упала в обморок и вообще так искусно действовала, что в тот же день довела до сведения барыни грубый поступок Герасима; но причудливая старуха только рассмеялась несколько раз, к крайнему оскорблению кастелянши, заставила ее повторить, как, дескать, он припагнул тебя своей тяжелой ручкой, и на другой день выслала Герасиму целковый. Она его жаловала как верного и сильного сторожа. Герасим порядком ее побаивался, но все-таки надеялся на ее милость и собирался уже отправиться к ней с просьбой, не позволит ли она ему жепиться на Татьяне. Он только ждал нового кафтана, обещанного ему дворецким, чтоб в приличном виде явиться перед барыней, как вдруг этой самой барыне пришла в голову мысль выдать Татьяну за Капитона.

Читатель теперь легко сам поймет причину смущения, овладевшего дворецким Гаврилой после разговора с госпожой. «Госпожа, — думал он, посиживая у окна, — конечно, жалует Герасима (Гавриле хорошо это было известно, и оттого он сам ему потакал), все же он существо бессловесное; не доложить же госпоже, что вот Герасим, мол, за Татьяной ухаживает. Да и наконец оно и справедливо, какой он муж? А с другой стороны, стоит этому, прости господи, лешему узнать, что Татьяну выдают за Капитона, ведь он все в доме переломает, ей-ей. Ведь с ним не столкуешь; ведь его, черта этакого, согрешил я, грешный, никаким способом не уломаешь... право!..»

Появление Капитона прервало нить Гаврилиных размышлений. Легкомысленный башмачник вошел, закинул руки назад и, развязно прислонясь к выдающемуся углу стены подле двери, по-

ставил правую ножку крестообразно перед левой и встряхнул головой. «Вот, мол, я. Чего вам потребно?»

Гаврила посмотрел на Капитона и застучал пальцами по косяку окна. Капитон только прищурил немного свои оловянные глазки, но не опустил их, даже усмехнулся слегка и провел рукой по своим белесоватым волосам, которые так и ерошились во все стороны. Ну да, я, мол, я. Чего глядишь?

— Хорош,— проговорил Гаврила и помолчал.— Хорош, нечего сказать!

Капитон только плечиками передернул. «А ты небось лучше?» — подумал он про себя.

— Ну, посмотри на себя, ну, посмотри,— продолжал с укоризной Гаврила,— ну, на кого ты похож?

Капитон окинул спокойным взором свой истасканный и оборванный сюртук, свои заплатанные панталоны, с особенным вниманием осмотрел он свои дырявые сапоги, особенно тот, о носок которого так щеголевато опиралась его правая ножка, и снова уставился на дворецкого.

— А что-с?

— Что-с? — повторил Гаврила.— Что-с? Еще ты говоришь: что-с? На черта ты похож, согрешил я, грешный, вот на кого ты похож.

Капитон проворно замигал глазками.

«Ругайтесь, мол, ругайтесь, Гаврила Андреич»,— подумал он опять про себя.

— Ведь вот ты опять пьян был,— начал Гаврила,— ведь опять? А? ну, отвечай же.

— По слабости здоровья спиртным напиткам подвергался действительно,— возразил Капитон.

— По слабости здоровья!.. Мало тебя наказывают — вот что; а в Питере еще был в ученье... Многому ты выучился в ученье! Только хлеб даром ешь.

— В этом случае, Гаврила Андреич, один мне судья: сам господь бог — и больше никого. Тот один знает, каков я человек на сем свете суть и точно ли даром хлеб ем. А что касается в соображении до пьянства — то и в этом случае виноват не я, а более один товарищ; сам же меня он сманул, да и сполитиковал, ушел то есть, а я...

— А ты остался, гусь, на улице. Ах ты, забубенный человек! Ну да дело не в том,— продолжал дворецкий,— а вот что. Барыне...— тут он помолчал,— барыне угодно, чтоб ты женился. Слышишь? Оне полагают, что ты остепениться, женившись. Понимаешь?

— Как не понимать-с.

— Ну, да. По-моему, лучше бы тебя хорошенько в руки взять. Ну, да это уж их дело. Что ж? ты согласен?

Капитон осклабился.

— Женитьба дело хорошее для человека, Гаврила Андреич; и я, с своей стороны, с очень моим приятным удовольствием.

— Ну, да,— возразил Гаврила и подумал про себя: «Нечего сказать, аккуратно говорит человек». — Только вот что,— продолжал он вслух,— невесту-то тебе приискали неладную.

— А какую, позвольте полюбопытствовать?..

— Татьяну.

— Татьяну?

И Капитон вытаращил глаза и отделился от стены.

— Ну, чего ж ты всполохнулся?.. Разве она тебе не по праву?

— Какое не по праву, Гаврила Андреич! Девка она ничего, работница, смиренная девка... Да ведь вы сами знаете, Гаврила Андреич, ведь тот-то леший, кикимора-то степная, ведь он за ней...

— Знаю, брат, все знаю,— с досадой прервал его дворецкий,— да ведь...

— Да помилуйте, Гаврила Андреич! ведь он меня убьет, ей-богу, убьет, как муху какую-нибудь прихлопнет; ведь у него рука, ведь вы изволите сами посмотреть, что у него за рука; ведь у него просто Минина и Пожарского рука. Ведь он, глухой, бьет и не слышит, как бьет! Словно во сне кулачищами-то махает. И унять его нет никакой возможности; почему? потому, вы сами знаете, Гаврила Андреич, он глух и вдобавку глуп, как пятка. Ведь это какой-то зверь, идол, Гаврила Андреич,— хуже идола... осина какая-то; за что же я теперь от него страдать должен? Конечно, мне уже теперь все нипочем: обдержался, обтерпелся человек, обмаслился, как коломенский горшок,— все же я, однако, человек, а не какой-нибудь, в самом деле, ничтожный горшок.

— Знаю, знаю, не расписывай...

— Господи боже мой! — с жаром продолжал башмачник,— когда же конец? когда, господи! Горемыка я, горемыка неисходная! Судьба-то, судьба-то моя, подумаешь! В младых летах был я бит через немца-хозяина, в лучший сустав моей жизни бит от своего же брата, наконец в зрелые годы вот до чего дослужился...

— Эх ты, мочальная душа,— проговорил Гаврила.— Чего распространяешься, право!

— Как чего, Гаврила Андреич! Не побоев я боюсь, Гаврила Андреич. Пакажи меня господип в стенах да подай мне при людях приветствие, и все я в числе человек, а тут ведь от кого придется...

— Ну, пошел вон,— нетерпеливо перебил его Гаврила.

Капитон отвернулся и пошел вон.

— А положим, его бы не было,— крикнул ему вслед дворецкий,— ты-то сам согласен?

— Изъявляю,— возразил Капитон и удалился.

Красноречие не покидало его даже в крайних случаях.

Дворецкий несколько раз прошелся по комнате.

— Ну, позовите теперь Татьяну,— промолвил он наконец.

Через несколько мгновений Татьяна вошла чуть слышно и остановилась у порога.

— Что прикажете, Гаврила Андреич? — проговорила она тихим голосом.

Дворецкий пристально посмотрел на нее.

— Ну,— промолвил он,— Танюша, хочешь замуж идти? Барыня тебе жепиха сыскала.

— Слушаю, Гаврила Андреич. А кого опи мне в жепихи назначают? — прибавила она с перешительностью.

— Капитона, башмачника.

— Слушаю-с.

— Он легкомысленный человек — это точно. Но госпожа в этом случае на тебя надеется.

— Слушаю-с.

— Одна беда... ведь этот глухарь-то, Гараська, он ведь за тобой ухаживает. И чем ты этого медведя к себе приворожила? А ведь он убьет тебя, пожалуй, медведь этакой...

— Убьет, Гаврила Андреич, беспременно убьет.

— Убьет... Ну, это мы увидим. Как это ты говоришь: убьет! Разве он имеет право тебя убивать, посуди сама.

— А не знаю, Гаврила Андреич, имеет ли, нет ли.

— Экая! ведь ты ему этак ничего не обещала...

— Чего изволите-с?

Дворецкий помолчал и подумал:

«Безответная ты душа!» — Ну, хорошо,— прибавил он,— мы еще поговорим с тобой, а теперь ступай, Танюша; я вижу, ты точно смиренница.

Татьяна повернулась, оперлась легонько о притолоку и ушла.

«А может быть, барыня-то завтра и забудет об этой свадьбе,— подумал дворецкий,— я-то из чего расстроился? Озорника-то мы этого скрутим; коли что — в полицию знать дадим...» — Устинья Федоровна! — крикнул он громким голосом своей жене,— поставьте-ка самоварчик, моя почтенная...

Татьяна почти весь тот день не выходила из прачечной. Сперва она всплакнула, потом утерла слезы и принялась по-прежнему за работу. Капитон до самой поздней ночи просидел в заведении с каким-то приятелем мрачного вида и подробно ему рассказал, как он в Питере проживал у одного барина, который всем бы взял,

да за порядками был наблюдателен и притом одной ошибкой маленечко произволялся: хмелем гораздо забирал, а что до женского пола, просто во все качества доходил... Мрачный товарищ только поддакивал; но когда Капитон объявил наконец, что он, по одному случаю, должен завтра же руку на себя наложить, мрачный товарищ заметил, что пора спать. И они разошлись грубо и молча.

Между тем ожидания дворецкого не сбылись. Барыню так заняла мысль о Капитоновой свадьбе, что она даже ночью только об этом разговаривала с одной из своих компаньенок, которая держалась у ней в доме единственно на случай бессонницы и, как ночной извозчик, спала днем. Когда Гаврила вошел к ней после чаю с докладом, первым ее вопросом было: а что наша свадьба, идет? Оп, разумеется, отвечал, что идет как нельзя лучше и что Капитон сегодня же к ней явится с поклоном. Барыне что-то нездоровилось; она недолго занималась делами. Дворецкий возвратился к себе в комнату и созвал совет. Дело точно требовало особенного обсуждения. Татьяна не прекословила, конечно; но Капитон объявлял во всеуслышание, что у него одна голова, а не две и не три... Герасим сурово и быстро на всех поглядывал, не отходил от девичьего крыльца и, казалось, догадывался, что затевается что-то для него недоброе. Собравшиеся (в числе их присутствовал старый буфетчик, по прозвищу дядя Хвост, к которому все с почтением обращались за советом, хотя только и слышали от него, что: вот оно как, да: да, да, да) начали с того, что, на всякий случай для безопасности, заперли Капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и припиались думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе; но боже сохрани! выйдет шум, барыня обеспокоится — беда! Как быть? Думали, думали и выдумали наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц... Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагружившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили; притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика: дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю... Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него...

Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва, по обыкновению, с ласковым мычаньем закивал головой; потом взгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу... Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза... Он схватил ее за руку, помчал через весь двор

и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к Капитону. Татьяна так и обмерла... Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку... Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча — пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заувывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенной перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее, а на Татьяну и на Капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем; только с реки он приехал без воды: он как-то на дороге разбил бочку; а на ночь, в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась как былинка на ветру и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками.

Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого Капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню, вместе с своею женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что, куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют да вальки на небо кладут, он все не пропадет; но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог; какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова: «С богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красивый бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна, с великим равнодушием переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском Броду, махнул рукой и отправился вдоль реки.

Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худень-

ким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбежал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разостлав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три, глаза у ней прорезались недавно; один глаз даже казался немножко больше другого; она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясаясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел да как засмеется вдруг... Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул наконец сам возле нее каким-то радостным и тихим сном.

Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. (Собака оказалась сучкой.) Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы, с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, перегибая хвостиком. Он и кличку ей дал — немые знают, что мычанье их обращает на себя внимание других, — он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти... и ему было неприятно, когда другие ее гладили: боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней — бог весть! Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду, — нет! тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром: либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох... Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще, кроме ее, на дворе ста-

рый пес желтого цвета, с бурыми крапинами, по имени Волчок, по того никогда, даже ночью, не спускали с цепи, да и он сам, по дряхлости своей, вовсе не требовал свободы — лежал себе, свернувшись, в своей конуре и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как бы сам чувствуя всю его бесполезность. В господский дом Муму не ходила и, когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, наострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево, при малейшем стуке за дверями...

Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство... а именно: в один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила; приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали: в доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала; на картах ей вышло четыре валаета: исполнение желаний (она всегда гадала по утрам), — и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. С сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе, под розовым кусточком, лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее.

— Боже мой! — воскликнула она вдруг, — что это за собака?

Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, беденькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника.

— Н...я...е знаю-с, — пробормотала она, — кажется, немого.

— Боже мой! — прервала барыня, — да она премиленькая собачка! Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор?.. Велите ее привести.

Приживалка тотчас порхнула в переднюю.

— Человек, человек! — закричала она, — приведите поскорей Муму! Она в палисаднике.

— А ее Муму зовут, — промолвила барыня, — очень хорошее имя.

— Ах, очепь-с! — возразила приживалка. — Скорей, Степан!

Степан, дюжий паренёк, состоявший в должности лакея, бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевортывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых пог ее хозяина; но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню; наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоех, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к степе.

— Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне,— говорила госпожа,— подойди, глупенькая... не бойся...

— Подойди, подойди, Муму, к барыне,— твердили приживалки,— подойди.

Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.

— Принесите ей что-нибудь поесть,— сказала барыня.— Какая она глупая! к барыне не идет. Чего боится?

— Оне не привыкли еще,— произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок.

Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока и все дрожала и озиралась по-прежнему.

— Ах, какая же ты! — промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку...

Произошло мгновенное молчание. Муму слабо визгнула, как бы жалуясь и извиняясь... Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.

— Ах! — закричали разом все приживалки,— не укусила ли она вас, сохрани бог! (Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.) Ах, ах!

— Отнести ее вон,— проговорила изменившимся голосом старуха.— Скверная собачонка! какая она злая!

И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это? ведь я вас не зову»,— и ушла.

Приживалки отчаянно замахали руками на Степана; тот подхватил Муму и выбросил ее поскорей за дверь, прямо к ногам Герасима, — а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи. Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека!

До самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила кастеляншу все белье переплюхвать — словом, волновалась и «горячилась» очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного.

— Скажи, пожалуйста, — начала она, как только тот, не без пекоторого внутреннего лепетания, переступил порог ее кабинета, — что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? мне спать не дала!

— Собака-с... какая-с... может быть, немного собака-с, — произнес он не совсем твердым голосом.

— Не знаю, пемого ли, другого ли кого, только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак! Желаю знать. Ведь есть у нас дворная собака?

— Как же-с, есть-с. Волчок-с.

— Ну, чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме — вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собак у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащила, грызет — а у меня там розы посажены...

Барыня помолчала.

— Чтоб ее сегодня же здесь не было... слышишь?

— Слушаю-с.

— Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.

Гаврила вышел.

Проходя через гостипую, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на коврике спал Степан, в положении убитого воина на батальной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полужевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло пяти минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной, в сопровождении неразлучной Муму. (Ба-

рыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом.) Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму, по обыкновению, осталась его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в Охотный ряд. Там он скоро отыскал покупателя, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи, и тотчас вернулся; но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка, через забор перескочил на двор; в калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима.

Впрочем, его беспокойство было напрасно: Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дому, он тотчас хватился Муму; он еще не помнил, чтоб она когда-нибудь не дождалась его возвращения, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему... бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу — туда-сюда... Пропала! Он обратился к людям, с самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол-аршина от земли, рисовал ее руками... Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали, другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой.

Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде его можно было предполагать, что он успел обежать пол-Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек семь дворовых, отвернулся и промышал еще раз: «Муму!» — Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова... а любопытный фрейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что немой-де всю ночь охал.

Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврила отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо, и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго, вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим и вдруг почувствовал, как будто его дергают за полу; он весь затре-

петал, однако не поднял головы, даже зажмурился; но вот опять его дернули, сильнее прежнего; он вскочил... перед ним, с обрывком на шее, вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди; он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях; она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду... Он постоял, подумал, осторожно слез с сеника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни; люди-то ему объяснили знаками, как его Муму на нее окрысилась, — и он решился принять свои меры. Сперва он накормил Муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы лучше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка к ней наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже (невинная хитрость!) прежнюю унылость на лице. Бедному глухому в голову не могло прийти, что Муму себя визгом своим выдаст: действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него взаперти, но, из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. «Ну, мол, бог с ним! Авось до барыни не дойдет!» Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день: вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольно ли они крепки, и сам же их потом вколотил, — словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его радение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице; когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, а не на сеновале и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором, со стороны переулка, раздался шорох. Муму наострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким и пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного «нервического волнения»: эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил; сердце у ней забилось и замерло. «Девки, девки! — простонала она. — Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю! — проговорила она, тоскливо разводя руками. — Опять, опять эта собака!..

Ох, пошлите за доктором. Они меня убить хотят... Собака, опять собака! Ох!» — и она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоновом. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно братья за пульс, спал четырнадцать часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно потчевал барыню лавровишневыми каплями, — этот лекарь тотчас прибежал, покурив жжеными перьями и, когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносите рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти. Между тем несчастная Муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот, вот... опять...» — пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом.

Герасим обернулся, увидел замелькавшие огни и тени в окнах и, почуввав сердцем беду, схватил Муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек лომилась в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попыхах, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок: сила лавровишенья и подействовала — через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно; а Герасим лежал, весь бледный, на своей кровати и сильно жмал пасть Муму.

На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврила ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку.

— Любовь Любимовна, — начала она тихим и слабым голосом; она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдальцей; нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко, — Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение; подите, душа моя, к Гавриле Андреичу, поговори-

те с ним: неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить,— прибавила она с выражением глубокого чувства,— подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреичу.

Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор; по спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима: впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было; около него шли лакеи и повара, из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так руками разводил; позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик; у двери стояли два других, с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул:

— Отвори.

Послышался сдавленный лай; но ответа не было.

— Говорят, отвори! — повторил он.

— Да, Гаврила Андреич,— заметил снизу Степан,— ведь он глухой — не слышит.

Все рассмеялись.

— Как же быть? — возразил сверху Гаврила.

— А у него там дыра в двери,— отвечал Степан,— так вы палкой-то пошевелите.

Гаврила нагнулся.

— Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то.

— А вы армяк пропихните внутрь.

Тут опять раздался глухой лай.

— Вишь, вишь, сама сказывается,— заметили в толпе и опять рассмеялись.

Гаврила почесал у себя за ухом.

— Нет, брат,— продолжал он наконец,— армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь.

— А что ж, извольте!

И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстии палкой, приговаривая: «Выходи, выходи!» Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась — вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы, Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно.

— Ну, ну, ну, ну,— кричал Гаврила со двора,— смотри у меня, смотри!

Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока; в своей крас-

пой крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними, Гаврила сделал шаг вперед.

— Смотри, брат,— промолвил он,— у меня не озорничай.

И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки: подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет.

Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого.

— Да, да,— возразил тот, кивая головой,— да, непременно.

Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму.

— Да ты обманешь,— замахал ему в ответ Гаврила.

Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь.

Все молча переглянулись.

— Что ж это такое значит? — начал Гаврила.— Он заперся?

— Оставьте его, Гаврила Андреич,— промолвил Степан,— он сделает, коли обещал. Уж он такой... Уж коли он обещает, это правое. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да.

— Да,— повторили все и тряхнули головами.— Это так. Да.

Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал: «Да».

— Ну, пожалуй, посмотрим,— возразил Гаврила,— а караул все-таки не снимать. Эй ты, Ерощка! — прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку, в желтом нанковом казакине, который считался садовником,— что тебе делать? Возьми палку да сиди тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!

Ерощка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форејтора к хожалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, палила на него одеколону, понюхала, потеряла себе виски, накушала чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять.

Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан; он вел Муму на веревочке. Ерощка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами, молча. Он даже не обернулся; шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерощ-

ку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой, и стал дожидаться его выхода.

В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Щерсть на ней так и лоснилась: видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее; две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз: одна упала на крутой лобик собачки, другая — во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним.

Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился, как бы в раздумье, и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому Броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристроивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского Брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам (он уже заметил их прежде), и вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался саженой на сто. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромя, в шалаш.

А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась позади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы. Повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладывке — дно было залито водой, — и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем как лодку волной помаленьку отнесило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее... Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки... Герасим ничего не слышал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды; для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас, и когда

он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, малепькие волны, по-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади к берегу разбегались какие-то широкие круги.

Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел.

— Ну, да,— заметил Степан,— он ее утопит. Уж можно быть спокойным. Коли он что обещал...

В течение дня никто не видел Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер; собрались к ужину все, кроме его.

— Экой чудной этот Герасим! — пропищала толстая прачка,— можно ли эдак из-за собаки прокляжаться!.. Право!

— Да Герасим был здесь,— воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши.

— Как? когда?

— Да вот часа два тому назад. Как же. Я с ним в воротах повстречался; он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну, и толкнул меня; должно быть, он так только отсторонить меня хотел: дескать, не приставай,— да такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес, важно так, что ой-ой-ой! — И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. — Да,— прибавил он,— рука у него, благодатная рука, нечего сказать.

Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать.

А между тем в ту самую пору по Т...у шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан, с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кой-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву; деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в двадцати пяти верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел; широко распахнулась его грудь; глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях... Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла; с одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня,— с другой стороны уже вздымался сипий, седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, взапуски перекликивались коростели... Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ноч-

ного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей, чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу — ветер с родины, — ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде; видел перед собой белеющую дорогу — дорогу домой, прямую как стрела; видел в небе несчетные звезды, светившие его пути, и как лев выступал сильно и бодро, так что когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже тридцать пять верст...

Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старосте. Староста сначала было удивился; но сенокос только что начипался: Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки — и пошел косить оп по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы...

А в Москве, на другой день после побега Герасима, хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку, и, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!» — пока дядя Хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну-у!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась; сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла; а наследникам ее было не до Герасима: они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку.

И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе; здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них, и ни одной собаки у себя не держит. «Впрочем, — толкуют мужики, — его же счастье, что ему не надобеть бабья; а собака — на что ему собака? к нему па двор вора бселом не затащишь!» Такова ходит молва о богатырской силе него,

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

На большой Б...й дороге, в одинаковом почти расстоянии от двух уездных городов, чрез которые она проходит, еще недавно стоял обширный постоялый двор, очень хорошо известный троечлым извозчикам, обозным мужикам, купеческим приказчикам, мещанам-торговцам и вообще всем многочисленным и разнородным проезжим, которые во всякое время года накатывают наши дороги. Бывало, все заворачивали на тот двор; разве только какая-нибудь помещичья карета, запряженная шестериком доморощенных лошадей, торжественно проплывала мимо, что не мешало, однако, ни кучеру, ни лакею на запятках с каким-то особенным чувством и вниманием посмотреть на слишком им знакомое крылечко; или какой-нибудь голяк в дрянной тележке и с тремя пятаками в мешке за пазухой, поравнявшись с богатым двором, понукал свою усталую лошаденку, поспешая на ночлег в лежавшие под большим выселки, к мужичку-хозяину, у которого, кроме сена и хлеба, не найдешь ничего, да зато лишней копейки не заплатишь. Кроме своего выгодного местоположения, постоялый двор, о котором мы начали речь, брал многим: отличной водой в двух глубоких колодцах со скрипучими колесами и железными бадьями на цепях; просторным двором со сплошными тесовыми навесами на толстых столбах; обильным запасом хорошего овса в подвале; теплой избой с огромнейшей русской печью, к которой наподобие богатырских плечей прилегали длинные борова, и, наконец, двумя довольно чистыми комнатками, с красно-лиловыми, снизу несколько оборванными бумажками на стенах, деревянным крашенным диваном, такими же стульями и двумя горшками гераниума на окнах, которые, впрочем, никогда не стпирались и тускнели многолетней пылью. Другие еще удобства представлял этот постоялый двор: кузница была от него близко, тут же почти находилась мельница; наконец, и поесть в нем можно было хорошо по милости толстой и румяной бабы стряпухи, которая кушанья варила вкусно и жирно

и не скупилась на припасы; до ближайшего кабака считалось всего с полверсты; хозяин держал табак нюхательный, хотя и смешанный с золой, однако чрезвычайно забористый и приятно разъедающий нос, — словом, много было причин, почему в том дворе не переводились всякого рода постояльцы. Полюбился он проезжим — вот главное; без этого, известно, никакое дело в ход не пойдет; а полюбился он более потому, как толковали в околотке, что сам хозяин был очень счастлив и во всех своих предприятиях удачлив, хоть он и мало заслуживал свое счастье, да, видно, кому повезет — так уж повезет.

Хозяин этот был мещанин, звали его Наумом Ивановым. Роста он был среднего, толст, сутуловат и плечист; голову имел большую, круглую, волосы волнистые и уже седые, хотя ему на вид не было более сорока лет; лицо полное и свежее, низкий, но белый и ровный лоб и маленькие, светлые, голубые глаза, которыми он очень странно глядел: исподлобья и в то же время нагло, что довольно редко встречается. Голову он всегда держал попуру и с трудом ее поворачивал, может быть, оттого, что шея у него была очень коротка; ходил бегло и не взмахивал, а разводил на ходу сжатыми руками. Когда он улыбался, — а улыбался он часто, но без смеха, словно про себя, — его крупные губы неприятно раздвигались и выказывали ряд сплошных и блестящих зубов. Говорил он отрывисто и с каким-то угрюмым звуком в голосе. Бороду он брил, но не ходил по-немецки. Одежда его состояла из длинного, весьма поношенного кафтана, широких шаровар и башмаков на босу ногу. Он часто отлучался из дому по своим делам, а у него их было много — он барышничал лошадьми, нанимал землю, держал огороды, скупал сады и вообще занимался разными торговыми оборотами, — но отлучки его никогда долго не продолжались; как коршун, с которым он, особенно по выражению глаз своих, имел много сходного, возвращался он в свое гнездо. Он умел держать это гнездо в порядке; всюду попевал, все выслушивал и приказывал, выдавал, отпускал и рассчитывался сам, и никому не спускал ни копейки, однако и лишнего не брал.

Постояльцы с ним не заговаривали, да и он сам не любил тратить попусту слова. «Мне ваши деньги нужны, а вам моя харчь, — толковал он, словно отрывая каждое слово, — не детей нам с вами крестить; проезжий поел, покормил, не засиживайся. А устал, так спи, не болтай». Работников держал он рослых и здоровых, но смирных и покладливых; они его очень боялись. Он в рот не брал хмельного, а им выдавал в великие праздники по гривеннику на водку; в другие дни они не смели пить. Люди, подобные Науму, скоро богатеют... но до блестящего положения, в котором он нахо-

дился — а его считали в сорока или пятидесяти тысячах, — Наум Иванов дошел не прямым путем...

Лет за двадцать до того времени, к которому мы отнесли начало нашего рассказа, уже существовал на том же месте большой дороги постоялый двор. Правда, на нем не было темно-красной тесовой крыши, которая придавала дому Наума Иванова вид дворянской усадьбы; и строением был он победней, и на дворе навесы имел соломенные, а вместо бревенчатых стен — плетеные; не отличался он также треугольным греческим фронтоном на точеных столбиках; но все же он был постоялый двор хоть куда — поместительный, прочный, теплый — и проезжие охотно его посещали. Хозяин его в то время был не Наум Иванов, а некто Аким Семенов, крестьянин соседней помещицы, Лизаветы Прохоровны Кунце — штаб-офицерши. Этот Аким был смысленный и тороватый мужик, который в молодых еще летах, отправившись в извоз с двумя плохими лошадками, воротился через год с тремя порядочными, да с тех пор почти всю жизнь пространствовал по большим дорогам, ходил в Казань и Одессу, в Оренбург и в Варшаву, и за границу, в «Липецк»¹, и ходил уж под конец с двумя тройками крупных и сильных жеребцов, запряженных в две громадные телеги. Надоело ему, что ли, его бездомовное, скитальческое житье, захотелось ли ему завестись семейством (в одну из его отлучек умерла у него жена; дети, которые были, тоже померли), только он решился, наконец, бросить свое прежнее ремесло и завести постоялый двор. С позволения своей барыни основался он на большой дороге, купил на ее имя полдесятины земли и построил на ней постоялый двор. Дело пошло на лад. Денег у него на обзаведение было слишком довольно; опытность, приобретенная им в течение долговременных странствований по всем концам России, послужила ему в великую пользу; он знал, чем угодить проезжим, особенно прежней своей братье, троечным извозчикам, из которых со многими он был знаком лично и которыми особенно дорожат содержатели постоялых дворов: так много едят и потребляют эти люди на себя и на своих могучих лошадей. Акимов двор стал известен на сотни верст вокруг... К нему даже охотнее заезжали, чем к сменившему его впоследствии Науму, хотя Аким далеко не мог сравняться с Наумом в умение хозяйничать. У Акима все было больше на старинную ногу, тепло, но не совсем чисто; и овес у него попадался легкий или подмоченный, и кушанье-то варилось с грехом пополам; у него иногда и такую снедь подавали на стол, что лучше бы ей совсем в печи оставаться, и не то чтоб он на харчи скупился, а так — баба недосмотрит. Зато он и с цены готов был сбавить, и в долг, по-

¹ в Лейпциг.

жалуй, не отказывался поверить, словом — хороший был человек, ласковый хозяин. На разговоры, на угощение он тоже был податлив; за самоваром иной час так разболтается, что уши развешишь, особенно как станет рассказывать про Питер, про степи черкасские или вот еще про заморскую сторону; ну, и выпить, разумеется, с хорошим человеком любил, только не до безобразия, а больше для общества — так о нем отзывались проезжие. Весьма благоволили к нему купцы и вообще все те люди, которых называют старозаветными, те люди, которые, не подпоясавшись, в дорогу не поедут, и в комнату не войдут, не перекрестившись, и не заговорят с человеком, не поздоровавшись с ним наперед. Уже одна наружность Акима располагала в его пользу: он был роста высокого, несколько худ, но очень строен, даже в зрелых летах; лицо имел длинное, благообразное и правильное, высокий и открытый лоб, нос прямой и тонкий и небольшие губы. Взгляд его карих навывкате глаз так и сиял приветливой кротостью, жидкие и мягкие волосы завивались в кольца около шеи; на макушке оставалось их немного. Звук Акимова голоса был очень приятен, хотя слаб; в молодости он отлично певал, но продолжительные путешествия на открытом воздухе, зимой, расстроили его грудь. Зато говорил он очень плавно и сладко. Когда он смеялся, у него около глаз располагались лучеобразные морщинки, чрезвычайно милые на вид, — только у добрых людей можно заметить такие морщинки. Движенья Акима были большею частью медленны и не лишены некоторой уверенности и важной учтивости, как у человека бывшего и много видевшего на своем веку.

Точно, всем бы хорош был Аким, или, как его называли в барском доме, куда он хаживал часто и уже непременно по воскресеньям, после обедни, — Аким Семенович, — всем бы был он хорош, кабы не водилась за ним одна слабость, которая уже многих людей на земле погубила, а под конец сгубила и его самого, — слабость к женскому полу. Влюбчивость Акима доходила до крайности; сердце его никак не умело противиться женскому взгляду, он таял от него, как первый осенний снег от солнца... и порядочно уже пришлось ему поплатиться за свою излишнюю чувствительность.

В течение первого года после поселения своего на большой дороге Аким так был занят постройкой двора, обзаведением хозяйства и всеми хлопотами, которые неразлучны с каждым новосельем, что ему решительно некогда было думать о женщинах, а если и приходили ему на ум какие-нибудь грешные мысли, так он их тотчас прогонял чтением разных священных книг, к которым питал великое уважение (грамоте он выучился еще с первой своей поездки), пением вполголоса псалмов или другим каким богобоязненным занятием. Притом же ему уже пошел тогда сорок шестой

год — а в эти лета всякие страсти заметно утихают и стынут, и для женитьбы прошла пора. Аким сам начинал думать, что с него эта блажь, как он выражался, соскочила... да, видно, своей судьбы не минуешь.

Акимова помещица, Лизавета Прохоровна Кунце — штаб-офицерша, оставшаяся вдовой после супруга немецкого происхождения, была сама уроженка города Митавы, где она провела первые годы своего детства и где у ней оставалось очень многочисленное и бедное семейство, о котором она, впрочем, заботилась мало, особенно с тех пор, как один из ее братьев, армейский пехотный офицер, нечаянно заехал к ней в дом и на второй же день до того разбуянился, что чуть не прибил самой хозяйки, назвав ее притом: «Du, Lumpenmamselle»¹, между тем как накануне сам величал ее ломаным русским языком: «Сестрица и благодетель». Лизавета Прохоровна почти безвыездно жила в своем хорошеньком, трудами супруга, бывшего архитектора, благоприобретенном имении; сама им управляла, и очень недурно управляла. Лизавета Прохоровна не упускала ни малейшей своей выгоды, из всего извлекала пользу для себя; и в этом, да еще в необыкновенном умении тратить вместо гроша копейку сказалась ее немецкая природа; во всем другом она очень обрусела. Дворни у ней водилось значительное количество; особенно держала она много девок, которые, впрочем, ели хлеб не даром: с утра до вечера спины их не разгибались пад работой. Она любила выезжать в карете, с ливрейными лакеями на запятках; любила, чтоб ей сплетничали и паушничали, и сама отлично сплетничала; любила взыскать человека своей милостью и вдруг поразить его опалой — словом, Лизавета Прохоровна вела себя уж точно как барыня. Акима она жаловала, оброк весьма значительный он платил ей исправно, — милостиво с ним заговаривала и даже, шутя, приглашала его к себе в гости... Но именно в господском доме ожидала Акима беда.

В числе горничных Лизаветы Прохоровны находилась одна девушка лет двадцати, сирота, по имени Дуняша. Она была недурна собой, стройна и ловка; черты ее, хотя неправильные, могли понравиться: свежий цвет кожи, густые белокурые волосы, живые серые глазки, маленький, круглый нос, румяные губы и особенно какое-то развязное, полунасмешливое, полувывызывающее выражение лица — все это было довольно мило в своем роде. Притом она, несмотря на свое сиротство, держала себя строго, почти надменно: она происходила от столбовых дворовых; ее покойный отец Арефий лет тридцать был ключником, а дед Степан служил камердинером у одного давно умершего барина, гвардии сержанта и князя. Оде-

¹ «Ты, шлюха» (нем.).

валась она опрятно и щеголяла своими руками, которые действительно были чрезвычайно красивы. Дуняша показывала большое пренебрежение ко всем своим поклонникам, с самоуверенной улыбочкой выслушивала их любезности и если и отвечала им, то большей частью одними восклицаниями, вроде: да! как же! стану я! вот еще!.. Эти восклицания у ней почти не сходили с языка. Дуняша провела около трех лет в Москве в ученье, где она приобрела те особенного рода ужимки и замашки, которыми отличаются горничные, побывавшие в столицах. О ней отзывались как о девушке с самолюбием (великая похвала в устах дворовых людей), которая хотя и видала виды, однако себя не уронила. Шила она тоже недурно, но за всем тем Лизавета Прохоровна к ней не слишком благоволила по милости главной горничной Кирилловны, женщины уже немолодой, проницательной и хитрой. Кирилловна пользовалась большим влиянием на свою госпожу и очень искусно умела устранять соперниц.

В эту-то Дуняшу и влюбись Аким! Да так, как прежде никогда не влюблялся. Он сначала увидал ее в церкви: она только что возвратилась из Москвы... потом встречался с ней несколько раз в барском доме, наконец, провел с ней целый вечер у приказчика, куда его пригласили на чай вместе с другими почетными людьми. Дворовые им не брезгали, хоть он и не принадлежал к их сословию и носил бороду; но он был человек образованный, грамотный, а главное, с деньгами; притом и одевался он не по-мужицки, носил длинный кафтан из черного сукна, выростковые сапоги и платочек на шее. Правда, иные дворовые и толковали промеж себя, что, дескать, все-таки видно, что он не наш, но в глаза ему чуть не льстили. В тот вечер у приказчика Дуняша окончательно покорила влюбчивое сердце Акима, хотя уже решительно не отвечала ни одного слова на все его заискивающие речи и лишь изредка сбоку поглядывала на него, как бы удивляясь, зачем этот мужик тут. Все это только больше распяляло Акима. Он ушел к себе домой, думал, думал и решил добиться ее руки... Так-то она его к себе «присушила»! Но как описать гнев и негодование Дуняши, когда, дшей через пять, Кирилловна, ласково зазвав ее к себе в комнату, объявила ей, что Аким (а видно, он умел, как за дело взяться), что этот бородач и мужик Аким, с которым и сидеть-то рядом она почитала обидой, за нее сватается!

Дуняша сперва вспыхнула вся, потом принужденно захохотала, потом заплакала, но Кирилловна так искусно повела атаку, так ясно дала ей почувствовать собственное ее положение в доме, так ловко намекнула на приличный вид, богатство и слепую преданность Акима, наконец, так значительно упомянула о желании самой барыни, что Дуняша вышла из комнаты уже с раздумьем на

лице и, встретившись с Акимом, только пристально посмотрела ему в глаза, но не отвернулась. Несказанно щедрые подарки этого влюбленного человека рассеяли ее последние недоуменья... Лизавета Прохоровна, которой Аким на радости поднес сотню персиков на большом серебряном блюде, согласилась на его брак с Дуняшей, и этот брак состоялся. Аким не пожалел издержек — и невеста, которая накануне сидела на девичнике как убитая, а в самое утро свадьбы все плакала, пока ее Кирилловна наряжала к венцу, скоро утешилась... Ей барыня дала надеть в церковь свою шаль, а Аким в тот же день подарил ей такую же, чуть ли не лучше.

Итак, Аким женился; перевез свою молодую к себе во двор... Начали они жить. Дуняша оказалась плохой хозяйкой, плохой поднорой мужу. Она ни во что не входила, грустила, скучала, разве какой-нибудь проезжий офицер обращал на нее внимание и любезничал с ней, сидя за широким самоваром; часто отлучалась, то в город за покупками, то в барский двор, до которого от постоянного двора считалось версты четыре. В барском доме она отдыхала; там ее окружали свои; девушки завидовали ее нарядам; Кирилловна потчевала ее чаем; сама Лизавета Прохоровна с ней разговаривала... Но и эти посещения не обходились без горьких ощущений для Дуняши... Ей, например, как дворничихе, уже не приходилось носить шляпки, и она принуждена была повязывать свою голову платком... как купчиха, говорила ей лукавая Кирилловна, как какая-нибудь мещанка, думала Дуняша про себя.

Не раз пришли Акиму на память слова единственного его родственника, старика дяди, мужика, заматерелого, бессемейного бобыля:

— Ну, брат Акимушка,— сказал он ему, встретившись с ним на улице,— слышал я, ты сватаешься?..

— Ну да; а что?

— Эх, Аким, Аким! Ты нам, мужикам, не брат теперь, что и говорить,— да и она тебе не сестра.

— Да чем же она мне не сестра?

— А хоть бы вот чем,— возразил тот и указал Акиму на его бороду, которую он в удобность своей невесте начал подстригать — сбрить-то ее совсем он не согласился... Аким потушился; а старик отвернулся, запахнул полы своего разорванного на плечах тулупа и пошел прочь, встряхивая головой.

Да, не раз задумывался, кряхтел и вздыхал Аким... Но любовь его к хорошенькой жене не уменьшалась; он гордился ею — особенно, когда сравнивал ее, не говорим уже с другими бабами или с своей прежней женой, на которой его женили шестнадцать лет,— но с другими дворовыми девушками: «Вот, мол, мы какую пташку заполевали!..» Малейшая ее ласка доставляла ему великое

удовольствие... Авось, думал он, попривыкнет, обживется... При том она вела себя очень хорошо, и никто не мог сказать про нее худого слова.

Так прошло несколько лет. Дуняша действительно кончила тем, что привыкла к своему житью. Аким чем больше старел, тем больше к ней привязывался и доверял ей; товарки ее, которые вышли замуж не за мужиков, терпели нужду кровную, либо бедствовали, либо попали в недобрые руки... А Аким богател да богатея. Все ему удавалось — счастье ему везло; одно только его ео-крушало: детей ему бог не давал. Дуняше уже перешло за двадцать пять лет; уже все ее стали величать Авдотьей Арефьевной. Настоящей хозяйкой она все-таки не сделалась — но дом свой полюбила, распорядилась припасами, присматривала за работницей... Правда, она все это делала кое-как, не наблюдала, как бы следовало, за чистотой и порядком; зато в главной комнате постоялого двора, рядом с портретом Акима, висел ее портрет, писанный масляными красками и заказанный ею самою доморощенному живописцу, сыну приходского дьякона. Она была представлена в белом платье, желтой шали, с шестью нитками крупного жемчуга на шее, длинными серьгами в ушах и кольцами на каждом пальце. Узнать ее было можно — хотя живописец изобразил ее чересчур дебелий и румяной и глаза ей написал, вместо серых, черные и даже несколько косые... Аким ему вовсе не удался: он вышел у него как-то темно — *à la Rembrandt*, — так что иной проезжий подойдет, бывало, посмотрит и только помычит немного. Одеваться Авдотья стала довольно небрежно; накинёт большой платок на плечи — а платье под ним как-нибудь сидит: лень ее обуяла, та вздыхающая, вялая, сонливая лень, к которой слишком склонен русский человек, особенно когда существование его обеспечено...

Со всем тем дела Акима и жены его шли очень хорошо — они жили ладно и слыли за примерных супругов. Но как белка, которая чистит себе нос в то самое мгновение, когда стрелок в нее целится, человек не предчувствует своего несчастья — и вдруг подламывается, как на льду...

В один осенний вечер на постоялом дворе у Акима остановился купец с красным товаром. Разными окольными дорогами пробирался он с двумя нагруженными кибитками из Москвы в Харьков; это был один из тех разносчиков, которых помещики и в особенности помещичьи жены и дочери ожидают ипогда с таким великим нетерпением. С этим разносчиком, человеком уже пожилым, ехало двое товарищей, или, говоря правильнее, двое работников — один бледный, худой и горбатый, другой молодой, видный, красивый малый лет двадцати. Они спросили себе поужинать, потом сели за чай; разносчик попросил хозяев выкушать с ними по

чашке — хозяева не отказались. Между двумя стариками (Акиму стукнуло пятьдесят шесть лет) скоро завязался разговор; разносчик расспрашивал о соседних помещиках — а никто лучше Акима не мог сообщить ему все нужные сведения на их счет; горбатый работник беспрестанно ходил смотреть телеги и наконец убрался спать; Авдотье пришлось беседовать с другим работником... Она сидела подле него и говорила мало, больше слушала, что тот ей рассказывал; но, видно, речи его ей нравились: ее лицо оживилось, краска заиграла на щеках, и смеялась она довольно часто и охотно. Молодой работник сидел почти не шевелясь и наклонив к столу свою кудрявую голову; говорил тихо, не возвышая голоса и не торопясь; зато глаза его, небольшие, но дерзко-светлые и голубые, так и впились в Авдотью; она сперва отворачивалась от них, потом сама стала глядеть ему в лицо. Лицо этого молодого парня было свежо и гладко, как крымское яблоко; он часто ухмылялся и поигрывал белыми пальцами по подбородку, уже покрытому редким и темным пухом. Выражался он по-купечески, но очень свободно и с какой-то небрежной самоуверенностью — и все смотрел на нее тем же пристальным и наглым взглядом... Вдруг он пододвинулся к ней немного поближе и, нимало не изменившись в лице, сказал ей:

— Авдотья Арефьевна, лучше вас на свете никого нет; я, кажется, помереть готов для вас.

Авдотья громко засмеялась.

— Чему ты? — спросил ее Аким.

— Да вот — они такое все смешное рассказывают, — проговорила она без особенного, впрочем, смущения.

Старый разносчик осклабился.

— Хе-хе, да-с; у меня Наум такой уж балагур-с. Но вы его не слушайте-с.

— Да! как же! стану я их слушать, — возразила она и покачала головой.

— Хе-хе, конечно-с, — заметил старик. — Ну, однако, — прибавил он нараспев, — прощенья просим-с, много довольны-с, а пора и на боковую-с... — И он встал.

— Много довольны-с и мы-с, — промолвил Аким и тоже встал, — за угощенье то есть; впрочем, спокойной ночи желаем-с. Авдотьюшка, вставай.

Авдотья поднялась, словно нехотя, за ней поднялся и Наум... и все разошлись.

Хозяева отправились в отдельную каморку, служившую им вместо спальни. Аким захрапел тотчас. Авдотья долго не могла заснуть... Сперва она лежала тихо, оборотясь лицом к стене, потом начала метаться на горячем пуховике, то сбрасывала, то натя-

гивала одеяло... потом задремала тонкой дремотой. Вдруг раздался со двора громкий мужской голос: он пел какую-то протяжную, по не заунывную песню, слов которой нельзя было разобрать. Авдотья раскрыла глаза, облокотилась и стала слушать... Песня все продолжалась... Звонко переливалась она в осеннем воздухе.

Аким поднял голову.

— Кто это поет? — спросил он.

— Не знаю, — отвечала она.

— Хорошо поет, — прибавил он, помолчав немного. — Хорошо. Экой голосина сильный. Вот и я в свое время певал, — продолжал он, — и хорошо певал, да голос испортился. А этот хорош. Знать, молодец тот поет, Наумом, что ли, его зовут. — И он повернулся на другой бок — вздохнул и заснул опять.

Долго еще не умолкал голос... Авдотья все слушала да слушала; наконец, он вдруг словно оборвался, еще раз вскрикнул лихо и медленно замер. Авдотья перекрестилась, положила голову на подушку... Прошло полчаса... Она приподнялась и стала тихонько спускаться с постели...

— Куда ты, жена? — спросил ее сквозь сон Аким.

Она остановилась.

— Лампадку поправить, — проговорила она, — не спится что-то.

— А ты помолился, — пролепетал Аким, засыпая.

Авдотья подошла к лампадке, стала поправлять ее и нечаянно погасила; вернулась и легла. Все утихло.

На другое утро, рано, купец отправился в путь со своими товарищами. Авдотья спала. Аким проводил их с полверсты: ему надобно было зайти на мельницу. Вернувшись домой, он застал уже свою жену одетую и не одну: с ней был вчерашний молодой парень, Наум. Они стояли подле стола у окна и разговаривали. Увидав Акима, Авдотья молча пошла вон из комнаты, а Наум сказал, что вернулся за хозяйскими рукавицами, которые тот будто позабыл на лавке, и тоже ушел.

Мы теперь же скажем читателям то, о чем они, вероятно, и без нас догадались: Авдотья страстно полюбила Наума. Как это могло случиться так скоро, объяснить трудно; тем более трудно, что до того времени она вела себя безукоризненно, несмотря на множество случаев и искушений изменить супружеской верности. Впоследствии, когда связь ее с Наумом стала гласною, многие в околотке толковали, что он в первый же вечер подсыпал ей в чашку чая приворотного зелья (у нас еще твердо верят в действительность подобного средства) и что это очень легко можно было заметить по Авдотье, которая будто скоро потом начала худеть и скучать.

Как бы то ни было, по только Наума стали довольно часто ви-

дать на Акимовом дворе. Сперва проехал он опять с тем же купцом, а месяца через три появился уже один, с собственным товаром; потом пронесся слух, что он поселился в одном из близлежащих уездных городов, и с той поры уже не проходило недели, чтобы не показалась на большой дороге его крепкая крашеная тележка, запряженная парой круглых лошадок, которыми он правил сам. Между Акимом и им не существовало особой дружбы, да и неприязни между ними не замечалось; Аким не обращал на него большого внимания и знал только о нем как о смышленном малом, который бойко пошел в ход. Настоящих чувств Авдотьи он не подозревал и продолжал доверять ей по-прежнему.

Так прошло еще два года.

Вот однажды, в летний день, перед обедом, часу во втором, Лизавета Прохоровна, которая в течение именно этих двух годов как-то вдруг сморщилась и пожелтела, несмотря на всевозможные притирания, румяна и белила, — Лизавета Прохоровна, с собачкой и складным зонтиком, вышла погулять в свой немецкий чистенький садик. Слегка шумя накрахмаленным платьем, шла она маленькими шагами по песчаной дорожке, между двумя рядами вытянутых в струнку георгин, как вдруг ее нагнала старинная паша знакомая Кирилловна и почтительно доложила, что какой-то Б...й купец желает ее видеть по весьма важному делу. Кирилловна по-прежнему пользовалась господскою милостью (в сущности, она управляла имением г-жи Кунце) и с некоторого времени получила позволение носить белый чепец, что придавало еще более резкости тонким чертам ее смуглого лица.

— Купец? — спросила барыня. — Что ему нужно?

— Не знаю-с, что им надоть, — возразила Кирилловна вкрадчивым голосом, — а только, кажется, они желают у вас что-то купить-с.

Лизавета Прохоровна вернулась в гостиную, села на обыкновенное свое место, кресло с куполом, по которому красиво извивалась плющ, и велела кликнуть Б...ого купца.

Вошел Наум, поклонился и остановился у двери.

— Я слышала, вы у меня что-то купить хотите? — начала Лизавета Прохоровна и сама про себя подумала: «Какой красивый мужчина этот купец».

— Точно так-с.

— Что же именно?

— Не изволите ли продавать постоянный ваш двор?

— Какой двор?

— Да вот, что на большой дороге, отсюда недалеко.

— Да этот двор не мой. Это Акимов двор.

— Как не ваш? На вашей землице сидит-с.

— Положим — земля моя... на мое имя куплена; да двор-то его.

— Так-с. Так вот не изволите ли вы его продать нам-с?

— Как же я его продам?

— Так-с. А мы бы цену хорошую положили-с.

Лизавета Прохоровна помолчала.

— Право, это странно,— пачала она опять,— как это вы говорите. А что бы вы дали? — прибавила она.— То есть это я не для себя спрашиваю, а для Акима.

— Да со всем строением-с и угодьями-с, ну, да, конечно, и с землей, какая при том дворе находится, две тысячи рублей бы дали-с.

— Две тысячи рублей! Это мало,— возразила Лизавета Прохоровна.

— Настоящая цена-с.

— Да вы с Акимом говорили?

— Зачем нам с ними говорить-с? Двор ваш, так вот мы с вами и изволим разговаривать-с.

— Да я ж вам объявила... Право, это удивительно, как это вы меня не понимаете!

— Отчего же не понять-с; понимаем-с.

Лизавета Прохоровна посмотрела на Наума, Наум посмотрел на Лизавету Прохоровну.

— Так как же-с,— начал он,— какое будет с вашей стороны, то есть, предложение?

— С моей стороны...— Лизавета Прохоровна зашевелилась на кресле.— Во-первых, я вам говорю, что двух тысяч мало, а во-вторых...

— Сотенку накинem-с, извольте.

Лизавета Прохоровна встала.

— Я вижу, вы совсем не то говорите, я вам уже сказала, что я этот двор не могу продавать и не продам. Не могу... то есть не хочу...

Наум улыбнулся и помолчал.

— Ну, как угодно-с...— промолвил он, слегка пожав плечом,— просим прощенья-с.— И он поклонился и взялся за ручку двери.

Лизавета Прохоровна обернулась к нему.

— Впрочем...— проговорила она с едва заметной запинкой,— вы еще не уезжайте.— Она позвонила: из кабинета явилась Кирилловна.— Кирилловна, вели напоить г-на купца чаем. Я вас еще увижу,— прибавила она, слегка кивнув головой.

Наум еще раз поклонился и вышел вместе с Кирилловной.

Лизавета Прохоровна раза два прошлась по комнате и опять позвонила. На этот раз вошел казачок. Она приказала ему по-



«Муму»

Худ. Д. Б. Боровский

звать Кирилловну. Через несколько мгновений вошла Кирилловна, чуть поскрипывая своими новыми козловыми башмаками.

— Слышала ты,— начала Лизавета Прохоровна с принужденным смехом,— что мне купец этот предлагает? Такой, право, чудак!

— Нет-с, не слыхала... Что такое-с? — И Кирилловна слегка прищурила свои черные калмыцкие глазки.

— Он у меня Акимов двор хочет купить.

— Так что же-с?

— Да ведь как же... А что же Аким? Я его Акиму отдала.

— И, помилуйте, барыня, что вы это изволите говорить? Разве этот двор не ваш? Не ваши мы, что ли? И все, что мы имеем,— разве не ваше же, не господское?

— Что ты это говоришь, Кирилловна, помилуй? — Лизавета Прохоровна достала батистовый платок и первически высморкалась.— Аким этот двор на свои деньги купил.

— На свои деньги? А откуда он эти деньги взял? Не по вашей ли милости? Да он и так столько времени землею пользовался... Ведь все по вашей же милости. А вы думаете, сударыня, что у него так и не останется больше денег? Да он богаче вас, ей-богу-с.

— Все это так, конечно; но все же это я не могу... Как же это я этот двор продам?

— Отчего же не продать-с? — продолжала Кирилловна.— Благо, покупщик нашелся. Позвольте узнать-с, сколько опи вам предлагают?

— Две тысячи рублей с лишком,— тихо проговорила Лизавета Прохоровна.

— Он, сударыня, больше даст, коли две тысячи с первого слова предлагает. А с Акимом вы потом сделаетесь; оброку скинете, что ли. Он еще благодарен будет.

— Конечно, надо будет оброк уменьшить. Но нет, Кирилловна, как же я продам...— И Лизавета Прохоровна заходила взад и вперед по комнате...— Нет, это невозможно, это не годится... нет, пожалуйста, ты мне больше этого не говори... а то я рассержусь...

Но несмотря на запрещения взволнованной Лизаветы Прохоровны, Кирилловна продолжала говорить и через полчаса возвратилась к Науму, которого оставила в буфете за самоваром.

— Что вы мне скажете-с, моя почтеннейшая? — проговорил Наум, щеголевато опрокинув допитую чашку на блюдечко.

— А то скажу,— возразила Кирилловна,— что идите к барыне, она вас зовет.

— Слушаю-с,— отвечал Наум, встал и вслед за Кирилловной отправился в гостиную.

Дверь за ними затворилась... Когда наконец та дверь опять открылась и Наум, кланяясь, вышел из нее спиной, дело было уже

слажено; Акимов двор принадлежал ему: он приобрел его за две тысячи восемьсот рублей ассигнациями. Купчую положили совершить как можно скорее и до времени не разглашать ее; Лизавета Прохоровна получила сто рублей задатку, да двести рублей пошло Кирилловне на магарыч. «Недорого купил,— думал Наум, взлезая на тележку,— спасибо, случай вышел».

В то самое время, когда в барском доме происходила рассказанная нами сделка, Аким сидел у себя один под окном на лавке и с недовольным видом поглаживал свою бороду... Мы сказали выше, что он не подозревал расположения своей жены к Науму, хотя добрые люди не раз ему намекали, что пора, мол, тебе за ум взяться; конечно, он сам иногда мог заметить, что хозяйка его с некоторого времени как будто норовистой стала, да ведь известно: женский пол ломлив и прихотлив. Даже когда ему действительно казалось, что у него в доме неладно что-то, он только рукой махал; не хотелось ему, как говорится, поднимать струшню; добродушие в нем не убавлялось с годами, да и лень брала свое. Но в тот день он был очень не в духе; накануне он совершенно нечаянно подслушал на улице разговор между своей работницей и другой соседней бабой...

Баба спрашивала работницу, отчего она к ней на праздник вечерком не зашла. «Я, дескать, тебя поджидала».

— Да я было и пошла,— возразила работница,— да, грешным делом, на хозяйку насовалась... чтоб ей пусто было!

— Насовалась...— повторила баба каким-то растянутым голосом и подперла рукою щеку.— А где же это ты на нее насовалась, мать моя?

— А за конопляниками, за поповскими. Хозяйка-то, знать, к своему-то, к Науму, в конопляники вышла, а мне-то в темноте не видать, от месяца, что ли, господь его знает, прямо так на них и наскочила.

— Наскочила,— опять повторила баба.— Ну, и что же она, мать моя, с ним — стоит?

— Стоит — ничего. Он стоит, и она стоит. Увидала меня, говорит: куда ты это бегаешь? пошла-ка-сь домой. Я и пошла.

— Пошла.— Баба помолчала.— Ну, прощай, Фетиньюшка,— промолвила она и поплелась своей дорогой.

Разговор этот неприятно подействовал на Акима. Любовь его к Авдотье уже охладела, но все-таки слова работницы ему не понравились. А она сказала правду: действительно, в тот вечер Авдотья выходила к Науму, который ожидал ее в сплошной тени, падавшей на дорогу от недвижимого и высокого конопляника. Роса смочила сверху донизу каждый его стебель; сильный до одури запах бил кругом. Месяц только что встал, большой и багровый в

черпватом и тусклом тумане. Наум еще издали услышал торопливые шаги Авдотьи и направился к ней навстречу. Она подошла к нему, вся бледная от бегу; луна светила ей в лицо.

— Ну, что, принесла? — спросил он ее.

— Принести-то принесла, — отвечала она нерешительным голосом, — да что, Наум Иванович...

— Давай, коли принесла, — перебил он ее и протянул руку...

Она достала из-под косынки какой-то сверток. Наум тотчас взял его и положил к себе за пазуху.

— Наум Иванович, — произнесла Авдотья медленно и не спуская с него глаз... — Ох, Наум Иванович, погублю я для тебя свою душеньку...

В это мгновение подошла к ним работница.

Итак, Аким сидел на лавочке и с неудовольствием поглаживал свою бороду. Авдотья то и дело входила в комнату и опять выходила воп. Он только провожал ее глазами. Наконец, она вошла еще раз и, захватив в каморке душегрейку, перешагнула уже порог — он не вытерпел и заговорил, как будто про себя:

— Удивляюсь я, — начал он, — чего это бабы всегда суетятся? Посидеть этак чтобы на месте, этого от них и не требуй. Это не их дело. А вот куда-нибудь сбежать утром ли, вечером ли, это они любят. Да.

Авдотья выслушала мужнину речь до конца, не переменяя своего положения; только при слове «вечером» чуть повела головой и словно задумалась.

— Уж ты, Семеныч, — промолвила она наконец с досадой, — известно, как начнешь разговаривать, уж тут...

Она махнула рукой и ушла, хлопнув дверью. Авдотья действительно не слишком высоко ценила Акимово красноречие и, бывало, по вечерам, когда он принимался рассуждать с проезжими или пускался в рассказы, зевала тихомолком или уходила. Аким посмотрел на запертую дверь... «Как начнешь разговаривать, — повторил он вполголоса... — то-то и есть, что я мало разговаривал с тобой... И кто же? свой же брат, да еще...» И он встал, подумал, да и постучал себе кулаком по затылку...

Несколько дней прошло после этого дня довольно странным образом. Аким все поглядывал на жену свою, как будто собирался ей что-то сказать; и она, с своей стороны, на него подозрительно поглядывала; притом они оба принужденно молчали; впрочем, это молчание обыкновенно прерывалось брюзгливым замечанием Акима насчет какого-нибудь упущения в хозяйстве или насчет женщины вообще; Авдотья большей частью не отвечала ему ни слова. Однако, при всей добродушной слабости Акима, между им и Авдотьей непременно дошло бы до решительного объяснения,

если б не случилось, наконец, происшествия, после которого всякие объяснения были бесполезны.

А именно, в одно утро Аким с женой только что собирались пополдничать (проезжих в постоялом дворе, за летними работами, ни одного не было), как вдруг тележка бойко застучала по дороге и круто остановилась перед крыльцом. Аким глянул в окошко, нахмурился и потупился: из тележки, не торопясь, вылезал Наум. Авдотья его не увидела, но когда раздался в сенях его голос, ложка слабо дрогнула в ее руке. Он приказывал работнику лошадь поставить на двор. Наконец дверь распахнулась, и он вошел в комнату.

— Здорово,— промолвил он и снял шапку.

— Здорово,— повторил сквозь зубы Аким.— Откуда бог принес?

— По соседству,— возразил тот и сел на лавку.— Я от барыни.

— От барыни,— проговорил Аким, все не поднимаясь с места.— По делам, что ль?

— Да, по делам. Авдотья Арефьевна, наше вам почтение.

— Здравствуйте, Наум Иваныч,— ответила она.

Все помолчали.

— Что это у вас, похлебка, знать, какая,— начал Наум...

— Да, похлебка,— возразил Аким и вдруг побледнел,— да не про тебя.

Наум с удивлением глянул на Акима.

— Как не про меня?

— Да так вот что не про тебя.— У Акима глаза заблестели, и он ударил рукой по столу.— У меня в доме ничего про тебя нету, слышишь?

— Что ты, Семеныч, что ты? Что с тобой?

— Со мной ничего, а ты мне надоел, Наум Иваныч, вот что.— Старик встал и весь затрясся.— Больно часто стал ко мне таскаться, вот что.

Наум тоже встал.

— Да ты, брат, чай, рехнулся,— произнес он с усмешкой.— Авдотья Арефьевна, что это с ним?

— Я тебе говорю,— закричал дребезжащим голосом Аким,— пошел вон, слышишь... какая тебе тут Авдотья Арефьевна... я тебе говорю, слышишь, проваливай!

— Что ты такое мне говоришь? — спросил значительно Наум.

— Пошел вон отсюда; вот что я тебе говорю. Вот бог, а вот порог... понимаешь? а то худо будет!

Наум шагнул вперед.

— Батюшки, не деритесь, голубчики мои,— залепетала Авдотья, которая до того мгновенья сидела неподвижно за столом.

Наум глянул на нее.

— Не беспокойтесь, Авдотья Арефьевна, зачем драться! Экета, брат,— продолжал он, обращаясь к Акиму,— как ты раскричался. Право. Экой прыткой! Слыханное ли дело, из чужого дома выгонять,— прибавил с медленной расстановкой Наум,— да еще хозяина.

— Как из чужого дома,— пробормотал Аким.— Какого хозяина?

— А хоть бы меня.

И Наум прищурился и оскалил свои белые зубы.

— Как тебя? Разве не я хозяин?

— Экой ты бестолковый, братец. Говорят тебе — я хозяин.

Аким вытаращил глаза.

— Что ты такое врешь, словно белены объелся,— заговорил он наконец.— Какой ты тут, к черту, хозяин?

— Да что с тобой толковать,— вскрикнул с нетерпением Наум.— Видишь ты эту бумагу,— продолжал он, выхватив из кармана сложенный вчетверо гербовый лист,— видишь? Это купчая, понимаешь, купчая и на землю твою и на двор; я их купил у помещицы, у Лизаветы Прохоровны купил; вчера купчую в Б...е совершили — хозяин здесь, стало быть, я, а не ты. Сегодня же собери свои пожитки,— прибавил он, кладя обратно бумагу в карман,— а завтра чтоб и духу твоего здесь не было, слышишь?

Аким стоял, как громом пришибленный.

— Разбойник,— простонал он, наконец,— разбойник... Эй, Федька, Митька, жена, жена, хватайте его, хватайте — держите его!

Он совсем потерялся.

— Смотри, смотри,— с угрозой произнес Наум,— смотри, старик, не дури...

— Да бей же его, бей его, жена! — твердил слезливым голосом Аким, напрасно и бессильно порываясь с места.— Душегубец, разбойник... Мало тебе ее... и дом ты мой у меня отнять хочешь и все... Да нет, стой же... этого быть не может... Я пойду сам, я сам скажу... Как... за что же продавать... Постой... постой...

И он без шапки бросился на улицу.

— Куда, Аким Семеныч, куда бежишь, батюшка? — заговорила работница Фетинья, столкнувшись с ним в дверях.

— К барыне! пусти! К барыне...— завопил Аким и, увидав Наумову телегу, которую не успели еще везти во двор, вскочил в нее, схватил вожжи и, ударив изо всей силы по лошади, пустился вскачь к господскому двору.

— Матушка, Лизавета Прохоровна,— твердил он про себя в продолжение всей дороги,— за что же такая немилость? Кажется, усердствовал!

И между тем он все сек да сек лошадь. Встречавшиеся с ним сторонились и долго смотрели ему вслед.

В четверть часа доехал Аким до усадьбы Лизаветы Прохоровны; подскочил к крыльцу, соскочил с телеги и прямо ввалился в переднюю.

— Чего тебе? — пробормотал испуганный лакей, сладко дремавший на конике.

— Барыню, мне нужно барыню видеть, — громко проговорил Аким.

Лакей изумился.

— Аль что случилось? — начал он...

— Ничего не случилось, а мне барыню нужно видеть.

— Что, что? — промолвил более и более изумленный лакей и медленно выпрямился.

Аким опомнился... Словно холодной водой его облили.

— Доложите, Петр Евграфыч, барыне, — сказал он с низким поклоном, — что Аким, мол, желает их видеть...

— Хорошо... пойду... доложу... А ты, знать, пьян, подожди, — проворчал лакей и удалился.

Аким потупился и как будто смутился... Решимость быстро исчезла в нем с самого того мгновенья, как только он вступил в прихожую.

Лизавета Прохоровна тоже смутилась, когда доложили ей о приходе Акима. Она тотчас велела позвать Кирилловну к себе в кабинет.

— Я не могу его принять, — торопливо заговорила она, лишь только та показалась, — никак не могу. Что я ему скажу? Я ведь говорила тебе, что он непременно придет и будет жаловаться, — прибавила она с досадой и волнением, — я говорила...

— Для чего же вам его принимать-с, — спокойно возразила Кирилловна, — это и не пужно-с. Зачем вы будете беспокоиться, помилуйте.

— Да как же быть?

— Если позволите, я с ним поговорю.

Лизавета Прохоровна подняла голову.

— Сделай одолжение, Кирилловна. Поговори с ним. Ты скажи ему... там — ну, что я нашла нужным... а впрочем, что я его вознагражу... ну, там, ты уж знаешь. Пожалуйста, Кирилловна.

— Не извольте, сударыня, беспокоиться, — возразила Кирилловна и ушла, поскрипывая башмаками.

Четверть часа не протекло, как скрип их послышался снова, и Кирилловна вошла в кабинет с тем же спокойным выражением на лице, с той же лукавой смышленостью в глазах.

— Ну, что, — спросила ее барыня, — что Аким?

— Ничего-с. Говорит-с, что все в воле милости вашей, были бы вы здоровы и благополучны, а с его век станет.

— И он не жаловался?

— Никак нет-с. Чего ему жаловаться?

— Зачем же он приходил? — промолвила Лизавета Прохорова на не без некоторого недоумения.

— А приходил он просить-с, пока до награждения, не будет ли милости вашей оброк ему простить, на предбудущий год то есть...

— Разумеется, простить, простить, — с живостью подхватила Лизавета Прохорова, — разумеется. С удовольствием. И вообще скажи ему, что я его вознагражу. Ну, спасибо тебе, Кирилловна. А он, я вижу, добрый мужик. Постой, — прибавила она, — дай ему вот это от меня. — И она достала из рабочего столика трехрублевую ассигнацию. — Вот, возьми, отдай ему.

— Слушаю-с, — возразила Кирилловна и, спокойно возвратившись в свою комнату, спокойно заперла ассигнацию в кованный сундучок, стоявший у ее изголовья; она сохраняла в нем все свои различные денежки, а их было немало.

Кирилловна донесением своим успокоила госпожу, но разговор между ею и Акимом происходил в действительности не совсем так, как она его передала; а именно:

Она велела его позвать к себе в девичью. Он сперва было не пошел к ней, объявив притом, что желает видеть не Кирилловну, а самое Лизавету Прохоровну, однако наконец послушался и отправился через заднее крыльцо к Кирилловне. Он застал ее одну. Войдя в комнату, он тотчас же остановился и прислонился подле двери к стене, хотел было заговорить... и не мог.

Кирилловна пристально посмотрела на него.

— Вы, Аким Семеныч, — начала она, — желаете барыню видеть?

Он только головой кивнул.

— Этого нельзя, Аким Семеныч. Да и к чему? Сделанного не переделаешь, а только вы их обеспокоите. Оне вас теперь не могут принять, Аким Семеныч.

— Не могут, — повторил он и помолчал. — Так как же, — проговорил он медленно, — стало быть, так дому и пропадать?

— Послушайте, Аким Семеныч. Вы, я знаю, всегда были благоразумный человек. На это господская воля. А переменить этого нельзя. Уж этого не переменишь. Что мы тут будем с вами рассуждать, ведь это ни к чему не поведет. Не правда ли?

Аким заложил руки за спину.

— А вы лучше подумайте, — продолжала Кирилловна, — не попросить ли вам госпожу, чтоб оброку вам поспустить, что ли...

— Стало быть, дому так и пропадать, — повторил Аким прежним голосом.

— Аким Семеныч, я же вам говорю: нельзя. Вы сами это знаете лучше меня.

— Да. По крайней мере, за сколько он пошел, двор-то?

— Не знаю я этого, Аким Семеныч; не могу вам сказать... Да что вы так стоите, — прибавила она, — присядьте.

— Постоим-с и так. Наше дело мужицкое, благодарим покорно.

— Какой же вы мужик, Аким Семеныч? Вы тот же купец, вас и с дворовым сравнить нельзя, что вы это? Не убивайтесь понапрасну. Не хотите ли чаю?

— Нет, спасибо, не требуется. Так за вами домик остался, — прибавил он, отделяясь от стены. — Спасибо и на этом. Прощенья просим, сударушка.

И он обернулся и вышел вон. Кирилловна одернула свой фартук и отправилась к барыне.

— А знать, я и впрямь купцом стал, — сказал самому себе Аким, остановившись в раздумье перед воротами. — Хорош купец! — Он махнул рукой и горько усмехнулся. — Что ж! Пойти домой!

И, совершенно забыв о Наумовой лошади, на которой приехал, поплелся он пешком по дороге к постоялому двору. Он еще не успел отойти первой версты, как вдруг услышал рядом с собой стук тележки.

— Аким, Аким Семеныч, — звал его кто-то.

Он поднял глаза и увидел знакомого своего, приходского дьячка Ефрема, прозванного Кротом, маленького, сгорбленного человечка с вострым носиком и слепыми глазками. Он сидел в дрянной тележке, на клочке соломы, прислонясь грудью к облучку.

— Домой, что ль, идешь? — спросил он Акима.

Аким остановился.

— Домой.

— Хочешь, подвезу?

— А пожалуй, подвези.

Ефрем посторонился, и Аким влез к нему в телегу. Ефрем, который был, казалось, навеселе, принялся стегать свою лошадедку концами веревочных вожжей; она побежала усталой рысью, беспрестанно вздергивая незаузданной мордой.

Они проехали с версту, не сказав друг другу ни слова. Аким сидел, наклонив голову, а Ефрем так только бурчал что-то себе под нос, то понукая, то сдерживая лошадь.

— Куда ж это ты без шапки ходил, Семеныч? — внезапно спросил он Акима и, не дожидаясь ответа, продолжал вполголоса: — В заведеньице оставил, вот что. Питух ты; я тебя знаю и за то люблю, что питух; ты не бийца, не буян, не напрасливый; домо-

строитель ты, но питух, и такой питух — давно бы тебя пора под начало за это, ей-богу; потому это дело скверное... Ура! — закричал он вдруг во все горло, — ура! ура!

— Стойте, стойте, — раздался вблизи женский голос, — стойте!

Аким оглянулся. К телеге через поле бежала женщина, до того бледная и растрепанная, что он ее сперва не узнал.

— Стойте, стойте, — простонала она опять, задыхаясь и махая руками.

Аким вздрогнул: это была его жена.

Он ухватил вожжи.

— А зачем останавливаться, — забормотал Ефрем, — для бабы-то останавливаться? Ну-у!

Но Аким круто осадил лошадь.

В это мгновение Авдотья добежала до дороги и так и повалилась прямо лицом в пыль.

— Батюшка, Аким Семеныч, — завопила она, — ведь и меня он выгнал!

Аким посмотрел на нее и не пошевелился, только еще крепче натянул вожжи.

— Ура! — снова воскликнул Ефрем.

— Так выгнал он тебя? — проговорил Аким.

— Выгнал, батюшка, голубчик мой, — ответила, всхлипывая, Авдотья. — Выгнал, батюшка. Говорит, дом теперь мой, так ступай, мол, вон.

— Важно, вот оно как хорошо... важно! — заметил Ефрем.

— А ты, чай, оставаться собиралась? — горько промолвил Аким, продолжая сидеть на телеге.

— Какое оставаться! Да, батюшка, — подхватила Авдотья, которая приподнялась было на колени и снова ударилась оземь, — ведь ты не знаешь, ведь я... Убей меня, Аким Семеныч, убей меня тут же, на месте...

— За что тебя бить, Арефьевна! — уныло возразил Аким, — сама ты себя победила! чего уж тут?

— Да ведь ты что думаешь, Аким Семеныч... Ведь денежки... твои денежки... Ведь нет их, твоих денежек-то... Ведь я их, окаянная, из подполицы достала, все их тому-то, злодею-то, Науму отдала, окаянная... И зачем ты мне сказал, куда ты деньги прячешь, окаянная я... Ведь он на твои денежки и дворик-то купил... злодей этакой...

Рыдания заглушали ее голос.

Аким схватился обеими руками за голову.

— Как! — закричал он, наконец, — так и деньги все... и деньги, и двор, и ты это... А! из подполицы достала... достала... Да я убью тебя, змея подколодная...

И он соскочил с телеги...

— Семеныч, Семеныч, не бей, не дерись,— пролепетал Ефрем, у которого от такого неожиданного происшествия хмель начинал проходить.

— Нет, батюшка, убей меня, батюшка, убей меня, окаянную: бей, не слушай его,— кричала Авдотья, судорожно валяясь у Акимовых ног.

Он постоял, посмотрел на нее, отошел несколько шагов и присел на траву возле дороги.

Наступило небольшое молчание. Авдотья повернула голову в его сторону.

— Семеныч, а Семеныч,— заговорил Ефрем, приподнявшись в телеге,— полно тебе... Ведь уж того... беде-то не поможешь. Тыфу ты, какая оказия,— продолжал он словно про себя,— экая баба проклятая... Иди к нему, ты,— прибавил он, наклонившись через грядку к Авдотье,— вишь он ошалел.

Авдотья встала, приблизилась к Акиму и снова упала ему в ноги.

— Батюшка,— начала она слабым голосом...

Аким поднялся и пошел обратно к телеге. Она ухватилась за полу его кафтана.

— Пошла прочь! — крикнул он свирепо и оттолкнул ее.

— Куда же ты? — спросил его Ефрем, увидав, что он опять к нему садится.

— А ты хотел меня ко двору подвезти,— промолвил Аким,— так довези меня уж до своего двора... Моего-то вишь не стало. Купили вишь его у меня.

— А ну, изволь, поедем ко мне. А ее-то как?

Аким ничего не отвечал.

— А меня-то, меня-то,— подхватила с плачем Авдотья,— меня-то на кого ты оставляешь... куда же я-то пойду?

— А к нему ступай,— возразил, не оборачиваясь, Аким,— к кому ты деньги мои отнесла... Пошел, Ефрем!

Ефрем ударил по лошади, телега покатилась, Авдотья заголосила...

Ефрем жил в версте от Акимова двора, в маленьком домике, на поповской слободке, расположенной около одинокой пятиглавой церкви, недавно выстроенной наследниками богатого купца, в силу духовного завещания. Ефрем во всю дорогу ничего не говорил Акиму и только изредка потряхивал головой и произносил слова вроде: «ах ты!» да: «эх ты!» Аким сидел неподвижно, немного отворотясь от Ефрема. Наконец они приехали. Ефрем соскочил первый с телеги. Ему навстречу выбежала девочка лет шести, в низкую подпоясанной рубашонке, и закричала:

— Тятя! тятя!

— А где твоя мать? — спросил ее Ефрем.

— Спит в закутке.

— Ну, пушай спит. Аким Семеныч, что же вы, пожалуйте в комнатку.

(Надо заметить, что Ефрем «тыкал» его только спяна; Акиму и не такие лица говорили: вы.)

Аким вошел в дьячкову избу.

— Вот сюда, па лавочку, пожалуйте, — говорил Ефрем. — Подите вы, постреляята, — крикнул он на трех других ребятишек, которые вместе с двумя исхудалыми и запачканными пеплом кошками появились вдруг из разных углов компаты. — Подите вон! Брысь! Вот сюда, Аким Семеныч, сюда, — продолжал он, усаживая гостя, — да не прикажете ли чего?

— Что я тебе скажу, Ефрем, — произнес, наконец, Аким, — нельзя ли вина?

Ефрем встрепенулся.

— Вина? Мигом. Дома-то его у меня нету, вина-то, а вот я сейчас сбегая к отцу Феодору. У него завсегда... Мигом сбегая...

И он схватил свою ушастую шапку.

— Да побольше принеси, я заплачу, — крикнул ему вслед Аким. — На это денег-то у меня еще станет.

— Мигом! — повторил еще раз Ефрем, исчезая за дверью. Он действительно вернулся очень скоро с двумя штофами под мышкой, из которых один уже был раскупорен, поставил их на стол, достал два зеленые стаканчика, краюху хлеба и соли.

— Вот это люблю, — твердил он, садясь перед Акимом. — Чего горевать? — Он налил и ему и себе... и пустился болтать... Поступок Авдотьи его озадачил. — Удивительное, право, дело, — говорил он, — каким это образом произошло? Стало быть, он приворожил ее к себе... ась? Вот что значит жену-то как нужно строго соблюдать! В ежовых рукавицах держать ее следует. А все-таки вам домой захватить не худо; ведь там, чай, у вас добра много осталось.

И много еще подобных речей произнес Ефрем; он, когда пил, не любил молчать.

Через час вот что происходило в Ефремовом доме. Аким, который в течение всей попойки ни слова не отвечал на расспросы и замечания своего болтливового хозяина и только выпивал стакан за стаканом, спал на печи, весь красный, спал тяжелым и мучительным сном; ребятишки на него дивились, а Ефрем... Увы, Ефрем тоже спал, но только в очень тесном и холодном чулане, куда заперла его жена, женщина весьма мужественного и сильного телосложения. Он было отправился к ней, в закутку, и начал ей не то грозить, не то рассказывать что-то, но до того несооб-

разно и непонятно выражался, что она тотчас же смекнула, в чем дело, взяла его за воротник и отвела куда следует. Впрочем, он спал в чулане очень хорошо и даже покойно. Привычка!

Кирилловна не совсем верно передала Лизавете Прохоровне разговор свой с Акимом... То же можно сказать и об Авдотье. Наум ее не выгнал, хотя она и сказала Акиму, что он ее выгнал; он не имел права ее выгонять... Он был обязан дать старым хозяевам время выбраться. Между им и Авдотьей происходили объяснения совсем другого рода.

Когда Аким с криком, что он поедет к барыне, выскочил на улицу, Авдотья обратилась к Науму, поглядела на него во все глаза и всплеснула руками.

— Господи! — начала она, — Наум Иваныч, что это такое? Вы наш двор купили?

— А что-с? — возразил тот. — Купил-с.

Авдотья помолчала и вдруг всполохнулась.

— Так вам вот на что деньги нужны были?

— Точно так извольте говорить-с. Эге, да, кажется, ваш муженек на моей лошади поехал, — прибавил он, услышав стук колес. — Каков молодец!

— Да ведь это грабеж после этого, — возопила Авдотья, — ведь это наши деньги, мужнины деньги, и двор наш...

— Пет-с, Авдотья Арефьевна, — перебил ее Наум, — двор был не ваш-с, к чему это говорить; двор был на господской земле, так и он господский, а деньги точно ваши были; только вы были, можно сказать, так добры и мне их пожертвовали-с; и я вам остаюсь благодарным и даже, при случае, вам их отдам, коли уж такой случай выдет-с; а только мне голяком оставаться не приходится, сами извольте рассудить.

Наум сказал все это очень спокойно и даже с небольшой улыбкой.

— Батюшки мои! — закричала Авдотья, — да что же это такое? Что это? Да как я после этого мужу на глаза покажусь? Злодей ты, — прибавила она, с ненавистью глядя на молодое, свежее лицо Наума, — ведь я душу свою для тебя загубила, ведь я для тебя воровкой стала, ведь ты нас по миру пустил, злодей ты этакой! Ведь мне после этого только и осталось, что бсел себе на шею надеть, злодей, обманщик, погубитель ты мой...

И она зарыдала в три ручья...

— Не извольте беспокоиться, Авдотья Арефьевна, — промолвил Наум, — а скажу вам одно: своя рубашка к телу ближе; впрочем, на то и щука в море, Авдотья Арефьевна, чтобы карась не дремал.

— Куда же мы пойдём теперь, куда денемся? — с плачем лепетала Авдотья.

— А этого я не могу сказать-с.

— Да я зарежу тебя, злодей; зарежу, зарежу...

— Нет, этого вы не сделаете, Авдотья Арефьевна; к чему это говорить, а только, я вижу, мне теперь лучше отсюда уйти маленько, а то вы уж очень беспокоитесь... Прощенья просим-с; а завтра бесприменно завернем... А работников своих уж вы позволите мне прислать к вам сегодня,— прибавил он, между тем как Авдотья продолжала твердить сквозь слезы, что она и его и себя зарежет.

— Да вот они, кстати, и идут,— заметил он, глянув в окно.— А то, пожалуй, какая-нибудь беда, боже сохрани, приключится... Этак-то спокойнее будет. Вы уж, сделайте милость, пожиточки свои соберите сегодня-с, а они у вас покараулят и помогут вам, пожалуй. Просим прощенья-с.

Он поклонился, вышел и позвал к себе работников...

Авдотья упала на лавку, потом легла грудью на стол и начала ломать себе руки, потом вдруг вскочила и побежала вслед за мужем... Мы рассказали их свидание.

Когда Аким уехал от нее прочь вместе с Ефремом, оставив ее одну в поле, она сперва долго плакала, не сходя с места. Наплакавшись досыта, она отправилась к господской усадьбе. Горько было ей войти в дом, еще горше показаться в девичьей. Все девушки бросились к ней навстречу с участием и сожалением. При виде их Авдотья не могла удержать слез своих; они так и брызнули из ее опухших и покрасневших глаз. Вся обессиленная, села она на первый попавшийся стул. Побежали за Кирилловной. Кирилловна пришла, обошлась с ней весьма ласково, но до барыни ее не допустила так же, как не допустила Акима. Авдотья сама не очень настаивала на свиданье с Лизаветой Прохоровной; она пришла в господский дом единственно потому, что решительно не знала, куда голову приклонить.

Кирилловна велела подать самовар. Авдотья долго отказывалась пить чай, по уступила, наконец, просьбам и убеждениям всех девушек и за первой чашкой выпила еще четыре. Когда Кирилловна увидела, что ее гостья несколько успокоилась и только изредка вздрагивала и слабо всхлипывала, она спросила ее, куда они намерены переселиться и что хотят сделать с своими вещами. Авдотья от этого вопроса опять заплакала, стала уверять, что ей, кроме смерти, ничего уже не нужно; но Кирилловна, как женщина с головой, ее тотчас остановила и присоветовала, не теряя попусту времени, с сегодняшнего же дня приступить к перевозке вещей в бывшую Акимову избу на деревне, где жил его дядя, тот самый

старик, который отговаривал его жениться; объявила, что с позволения барыни им дадут на подъем и в подмогу людей и лошадей: «А что до вас касается, моя душенька,— прибавила Кирилловна, сложив в кислую улыбочку свои кошачьи губы,— у нас всегда место для вас найдется, и нам очень будет приятно, если вы у нас погостите до тех пор, пока опять справитесь и обзаведетесь домком. Главное — унывать не нужно. Господь дал, господь взял и опять даст; всё в его воле. Лизавета Прохоровна, конечно, по своим соображениям должна была продать ваш двор, но она вас не забудет и вознаградит: так она приказала сказать Акиму Семенычу... Где он теперь?»

Авдотья отвечала, что он, встретившись с ней, очень ее обидел и уехал к дьячку Ефрему.

— К этому! — значительно возразила Кирилловна.— Ну, я понимаю, что ему теперь трудно, пожалуй, его сегодня не отыщешь. Как быть? Нужно распорядиться. Малашка,— прибавила она, обращаясь к одной из горничных,— попроси-ка сюда Никанора Ильича: мы с ним потолкуем.

Никанор Ильич, человек наружности весьма мизерной, нечто вроде приказчика, тотчас явился, подобострастно выслушал все, что ему сказала Кирилловна, проговорил: «Будет исполнено» вышел и распорядился. Авдотье выдали три подводы с тремя крестьянами; к ним по собственной охоте присоединился четвертый, который сам объявил про себя, что он будет «потолковой их», и она отправилась вместе с ними на постоянный двор, где нашла своих прежних работников и работницу Фетинью в большом смущенье и ужасе...

Наумовы новобранцы, три очень дюжих парня, как пришли с утра, так уж никуда не уходили и караулили двор очень усердно, по обещанию Наума, до того усердно, что у одной новой телеги вдруг не оказалось шин...

Горько, горько было укладываться бедной Авдотье. Несмотря на помощь толкового человека, который, впрочем, только и умел что ходить с палочкой в руке, глядеть на других и сплевывать в сторону, она не успела выбраться в тот же день и осталась ночевать в постоялом дворе, упросив наперед Фетинью не выходить из ее комнаты; впрочем, она задремала только на заре лихорадочной дремотой, и слезы текли по ее щекам даже во сне.

Между тем Ефрем проснулся раньше обыкновенного в своем чулане и начал стучаться и проситься вон. Жена сперва не хотела выпустить его, объявив ему чрез дверь, что он еще не выспался; но он подстрекнул ее любопытство обещанием рассказать ей необыкновенное происшествие с Акимом; она вынула щеколду. Ефрем сообщил ей все, что знал, и кончил вопросом: что, мол, проснулся он или нет?

— А господь его знает,— отвечала жена,— поди посмотри сам; с печи еще не слезал.— Вишь, вы оба вчера как напильсь; поглядел бы хоть ты на себя — лицо на лицо не похоже, так, чумичка какая-то, а что в волосах сена набилось!

— Ничего, что набилось,— возразил Ефрем и, проведя рукой по голове, вошел в комнату. Аким уже не спал; он сидел со свешенными ногами на печи; очень странно и взъерошенно было также его лицо. Оно казалось тем более измятым, что Аким не имел привычки много пить.

— Ну, что, Аким Семеныч, как выспались,— начал Ефрем... Аким посмотрел на него мутным взором.

— Что, брат Ефрем,— заговорил он сипло,— нельзя ли опять — того?

Ефрем быстро взглянул на Акима... Он почувствовал в это мгновение некоторое внутреннее содрогание; подобного рода ощущение испытывает стоящий под опушкой охотник при внезапном твюкации гончей в лесу, из которого уже, казалось, весь зверь выбежал.

— Как — еще? — спросил он, наконец.

— Да; еще.

«Жена увидит,— подумал Ефрем,— не пустит, пожалуй».

— Ничего, можно,— промолвил он громко,— потерпите.

Он вышел и, благодаря искусно принятым мерам, успел незаметным образом пронести под полой большую бутылку...

Аким взял эту бутылку... Но Ефрем не стал пить с ним вместе, по-вчерашнему,— он боялся жены и, объявив Акиму, что поедет посмотреть, что такое у него делается и как укладывают его пожитки, и не грабят ли его,— тотчас отправился к постоялому двору на своей некормленной лошадке верхом — причем, однако, себя не забыл, если принять в соображение его оттопырившуюся пазуху.

Аким скоро после его ухода уже спал опять как убитый на печи... Он даже тогда не проснулся, по крайней мере не подал вида, что проснулся, когда вернувшийся часа через четыре Ефрем начал его толкать, и будить, и лепетать над ним какие-то чрезвычайно сбивчивые слова о том, что уже все поехало и переехало, и образа, мол, сняты, уже и поехали, и все уже кончено — и что его все ищут, но что он, Ефрем, распорядился и запретил... и т. д. Впрочем, лепетал он недолго. Жена его опять отвела в чулан, а сама, в большом негодовании на мужа своего и на гостя, по милости которого муж «запил», легла в комнате на полатах... Но когда, проснувшись, по обычаю своему, ранехонько, глянула она на печь, уже Акима на ней не было... Еще вторые петухи не пропели и ночь еще стояла такая темная, что само небо чуть-чуть серело прямо

над головой, а по краям совершенно утопало во мраке — как уже Аким выходил из ворот дьячковского дома. Лицо его было бледно, но он зорко глядел кругом и походка его не изобличала пьяного... Он шел в направлении прежнего своего жилища — постоянного двора, уже поступившего окончательно во владение нового хозяина, Наума.

Наум тоже не спал в то время, когда Аким покидал украдкой дом Ефрема. Он не спал; подостлав под себя тулупчик, лежал он одетый, на лавке. Не совесть его мучила — нет! он с удивительным хладнокровием присутствовал с утра при укладке и перевозке всего Акимова скарба и не раз сам заговаривал с Авдотьей, которая до того упала духом, что даже не упрекала его... Совесть его была покойна, но его занимали разные предположения и расчеты. Он не знал, посчастливится ли ему на новом поприще: до тех пор он никогда еще не содержал постоянного двора, — да и вообще не имел своего угла; ему и не спалось. «Хорошо начато дельце, — думал он, — что дальше будет...» Отправивши перед вечером последнюю телегу с Акимовым добром (Авдотья с плачем пошла за нею), он осмотрел весь двор, все закуты, погреба, сарай, лазил на чердак, неоднократно приказывал своим работникам караулить крепко-накрепко и, оставшись один после ужина, все не мог заснуть. Так случилось, что в тот день ни один из проезжих не остался почевать; это его очень обрадовало. «Собаку нужно завтра купить непременно, какую-нибудь позлей, у мельника; вишь они свою увели», — говорил он самому себе, ворочаясь с боку на бок, и вдруг проворно поднял голову... Ему показалось, что кто-то прошел под окном... Он прислушался... Ничего. Только кузнечик по временам осторожно трещал за печкой, да мышь где-то скреблась, да слышалось его собственное дыхание. Все было тихо в пустой комнате, тускло освещенной желтыми лучами маленькой стеклянной лампадки, которую он успел повесить и зажечь перед образом в углу... Он опустил голову; вот ему опять послышалось, как будто скрипнули ворота... потом слегка затрещал плетень... Он не выдержал, вскочил, отворил дверь в другую комнату и вполголоса кликнул: «Федор, а Федор!» Никто не отозвался ему... Он вышел в сени и чуть не упал, споткнувшись на Федора, развалившегося на полу. Мыча сквозь сон, зашевелился работник; Наум растолкал его.

— Что там, что надо? — начал было Федор...

— Чего орешь, молчи, — произнес шепотом Наум. — Эка спите, проклятые! Ничего не слышал?

— Ничего, — отвечал тот. — А что?

— А где другие спят?

— Другие спят, где приказано... Да разве что...

— Молчи — ступай за мной.

Наум тихонько отпер дверь из сеней на двор... На дворе было очень темно... Навесы с их столбами только потому и можно было различить, что они еще гуще чернели среди черной мглы...

— Не засветить ли фонарик? — проговорил вполголоса Федор.

Но Наум махнул рукой и притаил дыхание... Сперва он ничего не услышал, кроме тех ночных звуков, которые почти всегда услышишь в обитаемом месте: лошадь жевала овес, свинья слабо хрюкнула раз сквозь сон, где-то похрапывал человек; но вдруг дошел до его ушей какой-то подозрительный шум, поднявшийся на самом конце двора, подле забора...

Казалось, кто-то там ворочался и как будто дышал или дул... Наум глянул через плечо на Федора и, осторожно сойдя с крылечка, пошел на шум... Раза два останавливался он, прислушивался и продолжал снова красться... Вдруг он вздрогнул... В десяти шагах от него, в густой темноте, ярко зарделась огненная точка: то был раскаленный уголь, и возле самого угля показалась на миг передняя часть чьего-то лица с вытянутыми губами... Быстро и молча, как кошка на мышь, ринулся Наум на огонь... Торопливо поднявшись с земли, бросилось ему навстречу какое-то длинное тело и чуть не сбilo его с ног, чуть не выскользнуло из его рук, но он вцепился в него изо всех сил... «Федор, Андрей, Петрушка! — кричал он что было мочи, — скорей сюда, сюда, вора поймал, зажигателя...» Человек, которого он схватил, сильно барахтался и бился... но не выпускал его Наум... Федор тотчас подскочил к нему на подмогу.

— Фонарь, скорей фонарь! беги за фонарем, буди других, скорей! — крикнул ему Наум, — а я с пим пока один справлюсь — я сижу на нем... Скорей! да захвати кушак связать его.

Федор побежал в избу... Человек, которого держал Наум, вдруг перестал биться...

— Так, видно, тебе мало и жены, и денег, и двора — меня тоже погубить хочешь, — заговорил он глухо...

Наум узнал Акимов голос.

— Так это ты, голубчик, — промолвил он, — хорошо же, погоди!

— Пусти, — проговорил Аким. — Али тебе не довольно?

— А вот я тебе завтра перед судом покажу, как мне довольно... — И Наум еще плотнее обнял Акима.

Прибежали работники с двумя фонарями и веревками... «Вяжите его!» — резко скомандовал Наум... Работники ухватили Акима, подняли его, скрутили ему руки назад... Один из них начал было ругаться, но, узнавши старого хозяина постоянного двора, замолчал и только переглянулся с другими.

— Вишь, вишь, — твердил в это время Наум, поводя фонарем

над землей,— вот и уголь в горшке — смотрите-ка, в горшке целую головешку притащил,— надо будет узнать, где он горшок этот взял... вот он и сучьев наломал...— И Наум тщательно затоптал огонь ногой.— Обыщи-ка его, Федор! — прибавил он,— нет ли у него там еще чего?

Федор обшарил и оцупал Акима, который стоял неподвижно и повесил, как мертвый, голову на грудь.

— Есть вот нож,— проговорил Федор, доставая из-за Акимовой пазухи старый кухонный нож.

— Эге, любезный, так ты вот куда метил,— воскликнул Наум.— Ребята, вы свидетели... вот он зарезать меня хотел, двор поджечь... Заприте-ка его до утра в подвале, оттуда он не выскочит... Караулить я сам всю ночь буду, а завтра, чуть свет, мы его к исправнику... А вы свидетели, слышите?

Акима втолкнули в подвал, захлопнули за ним дверь... Наум приставил к ней двух работников и сам не лег спать.

Между тем Ефремова жена, убедившись, что ее непрошенный гость удалился,— припаялась было за стряпню, хотя на дворе еще чуть брезжило... В тот день был праздник. Она присела к печке — достать огоньку, и увидала, что кто-то уже прежде выгребал оттуда жар; хватилась потом ножа — не нашла ножа; наконец, из четырех своих горшков недосчиталась одного. Ефремова жена слыла бабой неглупой — и педаром. Она постояла в раздумье, постояла и пошла в чулан к мужу. Нелегко было добудиться его и еще труднее растолковать ему, зачем его будили... На все, что ни говорила дьячиха, Ефрем отвечал все одно и то же:

— Ушел — пу, бог с ним... я-то что? Унес нож и горшок — ну, бог с ним — а я-то что?

Однако наконец он встал и, внимательно выслушав жепу, решил, что дело это нехорошее и что этого так оставить нельзя.

— Да,— твердила дьячиха,— это нехорошо; этак он, пожалуй, бед паделает, с отчаянья-то... Я уже вчёр видела, что он не спал, так лежал на печи; тебе бы, Ефрем Александрыч, не худо бы проведать, что ли...

— Я вам, Ульяна Федоровна, что доложу,— начал Ефрем,— я на постоянный двор теперича поеду сам; и вы уж будьте ласковы, матушка, дайте мне опохмелиться винца стакачик.

Ульяна призадумалась.

— Ну,— решила она наконец,— дам я тебе вина, Ефрем Александрыч; только ты, смотри, не балуй.

— Будьте спокойны, Ульяна Федоровна.

И, подкрепив себя стаканчиком, Ефрем отправился на постоянный двор.

Еще только рассветало, когда он подъехал к двору, а уже у

ворот стояла запряженная телега и один из работников Наума сидел на облучке, держа в руках вожжи.

— Куда это? — спросил его Ефрем.

— В город, — нехотя отвечал работник.

— Зачем это?

Работник только передернул плечами и не отвечал. Ефрем соскочил с своей лошади и вошел в дом. В сенях ему попался Наум, совсем одетый и в шапке.

— Поздравляем с новосельем нового хозяина, — проговорил Ефрем, который знал его лично. — Куда так рано?

— Да, есть с чем поздравлять, — сурово возразил Наум. — В первый же день, да чуть не сгорел.

Ефрем дрогнул.

— Как так?

— Да так, нашелся добрый человек, поджечь хотел. Благо, на деле поймал; теперь в город везу.

— Уж не Аким ли?.. — медленно спросил Ефрем.

— А ты почему знаешь? Аким. Пришел ночью с головешкой в горшке — и уж на двор пробрался и огонь подложил... Все мои ребята свидетели. Хочешь посмотреть? Пам же его, кстати, пора везти.

— Батюшка, Наум Ивашыч, — заговорил Ефрем, — отпустите его, не погубите вы старика до конца. Не берите этого греха на душу, Наум Ивашыч. Вы подумайте — человек в отчаянии — потерялся, значит...

— Полно врать, — перебил его Наум. — Как же! выпущу я его! Да он завтра же меня подожжет опять...

— Не подожжет, Наум Ивашыч, поверьте. Поверьте, вам самим этак будет покойнее — ведь тут расспросы пойдут, суд — ведь вы сами знаете.

— Так что ж, что суд? Мне суда бояться нечего.

— Батюшка, Наум Ивашыч, как суда не бояться...

— Э, полно; ты, я вижу, пьян с утра, а еще сегодня праздник.

Ефрем вдруг совершенно неожиданно заплакал.

— Я пьян, да правду говорю, — пробормотал он. — А вы для праздничка Христова его простите.

— Ну, пойдём, нюня.

И Наум пошел к крыльцу.

— Для Авдотьи Арефьевны его простите, — говорил Ефрем, следуя за ним.

Наум подошел к подвалу, широко отворил дверь. Ефрем с любознательным любопытством вытянул шею из-за Наумовой спины и с трудом различил в углу неглубокого подвала — Акима. Бывший богатый дворник, уважаемый в околоте человек, сидел с связанными руками на соломе, как преступник... Услышав шум, он под-

нял голову... Казалось, он страшно исхудал за эти последние два дня, особенно за эту ночь, — впалые глаза едва виднелись под высоким, как воск пожелтевшим лбом, пересохшие губы потемнели... Все лицо его изменилось и приняло странное выражение: жестокое и запуганное.

— Вставай и выходи, — проговорил Наум.

Аким встал и шагнул через порог.

— Аким Семеныч, — завопил Ефрем, — погубил ты свою головушку, голубчик!..

Аким глянул на него молча.

— Знал бы я, для чего ты вина спрашивал, — не дал бы я тебе; право, не дал бы; кажется, сам бы все выпил! Эх, Наум Иванович, — прибавил Ефрем, ухватив Наума за руку, — помилуйте его, отпустите.

— Эка штука, — с усмешкой возразил Наум. — Ну, выходи же, — прибавил он, снова обратившись к Акиму... — Чего ждешь?

— Наум Иванов... — начал Аким.

— Чего?

— Наум Иванов, — повторил Аким, — послушай: я виноват; сам с тебя расправы захотел; а нас с тобой бог рассудить должен. Ты у меня все отнял, сам знаешь, все до последнего. Теперь ты меня погубить можешь, а только я тебе вот что скажу: коли ты меня отпустишь теперь — ну! так и быть! владей всем! я согласен и желаю тебе всякой удачи. А я тебе как перед богом говорю: отпустишь — пенять не будешь. Бог с тобой!

Аким закрыл глаза и умолк.

— Как же, как же, — возразил Наум, — можно тебе поверить!

— А ей-богу, можно, — заговорил Ефрем, — право, можно. Я за него, за Акима Семеныча, головой готов поручиться — ну, правс!

— Вздор! — воскликнул Наум. — Едем!

Аким посмотрел на него.

— Как знаешь, Наум Иванов. Твоя воля. Много ты только на душу себе берешь. Что ж, коли тебе так уж не терпится — едем...

Наум в свою очередь зорко поглядел на Акима. «А в самом деле, — подумал он про себя, — отпустить его к черту! А то меня так, пожалуй, люди поедом поедят. От Авдотьи проходу не будет...» Пока Наум рассуждал сам с собою — никто не произнес ни слова. Работник на телеге, которому сквозь ворота все было видно, только потряхивал головой и похлопывал по лошади вожжами. Другие два работника стояли на крыльчке и тоже молчали.

— Ну, слушай, старик, — начал Наум, — когда я тебя отпущу и вот этим молодцам (он указал головой на работников) не велю болтать, что же, мы с тобой квиты будем — понимаешь меня, — квиты... ась?

— Говорят тебе, владей всем.

— Ты меня в долгу считать у себя не будешь?

— Ни ты у меня в долгу не будешь, ни я у тебя.

Наум опять помолчал.

— А побожись!

— Вот как бог свят, — возразил Аким.

— Ведь вот я знаю наперед, что раскаиваться буду, — промолвил Наум, — да уж так, куда ни шло! Давай сюда руки.

Аким повернулся к нему спиной; Наум начал его развязывать.

— Смотри же, старик, — прибавил он, стаскивая с его кистей веревку, — помни, я тебя пощадил, смотри!

— Голубчик вы мой, Наум Иванович, — пролепетал тронутый Ефрем, — господь вас помилует!

Аким выправил опухшие и похолоделые руки и пошел было к воротам...

Наум вдруг, как говорится, ожидал — знать, ему жаль стало, что выпустил Акима...

— Ты побожился, смотри, — крикнул он ему вслед.

Аким оборотился — и, обведя глазами кругом двора, промолвил печально:

— Владей всем, павеки нерушимо... прощай.

И он тихо вышел на улицу в сопровождении Ефрема. Наум махнул рукой, велел отпрячь телегу и вернулся в дом.

— Куда же ты, Аким Семеныч, разве не ко мне? — воскликнул Ефрем, увидав, что Аким своротил с большой дороги направо.

— Нет, Ефремушка, спасибо, — ответил Аким. — Пойду посмотреть, что жена делает.

— После посмотришь... А теперь надо бы на радости — того...

— Нет, спасибо, Ефрем... Довольно и так. Прощай. — И Аким пошел не оглядываясь.

— Эка! Довольно и так! — произнес озадаченный дьячок, — а я еще за него божился! Вот уж не ожидал я этого, — прибавил он с досадой, — после того как я за него божился. Тьфу!

Он вспомнил, что забыл взять нож свой и горшок, и вернулся на постоялый двор... Наум велел выдать ему его вещи, но даже не подумал угостить его. Совершенно раздосадованный и совершенно трезвый, явился он к себе домой.

— Ну что, — спросила его жена, — нашел?

— Что нашел? — возразил Ефрем, — вестимо, нашел: вот твоя посуда.

— Аким? — с особенным ударением спросила жена.

Ефрем кивнул головой.

— Аким. Но каков же он гусь! Я же за него божился, без

меня бы ему в остроге пропадать, а он хоть бы чарочку мне поднес. Ульяна Федоровна, уважьте хоть вы меня, дайте стаканчик.

Но Ульяна Федоровна не уважила его и прогнала его с глаз долой.

Между тем Аким шел тихими шагами по дороге к деревне Лизаветы Прохоровны. Он еще не мог хорошенько опомниться; вся внутренность в нем дрожала, как у человека, который только что избежал явной смерти. Он словно не верил своей свободе. С тупым изумлением глядел он на поля, на небо, на жаворопков, трепетавших в теплом воздухе. Накануне, у Ефрема, он с самого обеда не спал, хоть и лежал неподвижно на печи; сперва он хотел вином заглушить в себе нестерпимую боль обиды, тоску досады, бешеной и бессильной... но вино не могло одолеть его до конца; сердце в нем расходилось, и он начал придумывать, как бы отплатить своему злодею... Он думал об одном Науме, Лизавета Прохоровна не приходила ему в голову, от Авдотьи он мысленно отворачивался. К вечеру жажда мести разгорелась в нем до исступления, и он, добродушный и слабый человек, с лихорадочным нетерпением дождался ночи и, как волк на добычу, с огнем в руках побежал истреблять свой бывший дом... Но вот его схватили... заперли... Настала ночь. Чего он не передумал в эту жестокую ночь! Трудно передать словами все, что происходит в человеке в подобные мгновения, все терзания, которые он испытывает; оно тем более трудно, что эти терзания и в самом-то человеке бессловесны и немы... К утру, перед приходом Наума с Ефремом, Акиму стало как будто легко... «Все пропало! — подумал он, — все на ветер пошло!» — и махнул рукой на все... Если б он был рожден с душой недоброй, в это мгновение он мог бы сделаться злодеем; но зло не было свойственным Акиму. Под ударом неожиданного и незаслуженного несчастья, в чаду отчаянья решил он на преступное дело; оно потрясло его до основания и, не удавшись, оставило в нем одну глубокую усталость... Чувствуя свою вину, оторвался он сердцем от всего житейского и печал горько, но усердно молиться. Сперва молился шепотом, наконец он, может быть случайно, громко произнес: «Господи!» — и слезы брызнули из его глаз... Долго плакал он и утих, наконец... Мысли его, вероятно бы, изменились, если б ему пришлось поплатиться за свою вчерашнюю попытку... Но вот он вдруг получил свободу... и он шел на свидание с женою полуживой, весь разбитый, но спокойный.

Дом Лизаветы Прохоровны стоял в полутора верстах от ее деревни, палево от проселка, по которому шел Аким. У поворота, ведущего к господской усадьбе, он остановился было... и прошел мимо. Он решил сперва зайти в свою бывшую избу к старику дяде.

Небольшая и довольно уже ветхая Акимова изба находилась

почти на самом конце деревни; Аким прошел всю улицу, не встретив ни души. Весь народ был у обедни. Только одна больная старуха подняла окошечко, чтоб посмотреть ему вслед, да девочка, выбежавшая с пустым ведром к колодцу, зазевалась на него и тоже проводила его глазами. Первый человек, ему попавшийся навстречу, был именно тот дядя, которого он искал. Старик с самого утра просидел на завалинке под окошком, понюхивая табачок и греясь на солнце; ему не совсем здоровилось, от того он и в церковь не ходил; он только что собрался было навестить другого, тоже хворого старика соседа, как вдруг увидал Акима... Он остановился, допустил его до себя и, заглянув ему в лицо, промолвил:

— Здорово, Акимушка!

— Здорово,— отвечал Аким и, минуя старика, вошел в ворота своей избы... На дворе стояли его лошади, корова, телега; тут же ходили его куры... Он молча вошел в избу. Старик последовал за ним. Аким присел на лавку и оперся в нее кулаками. Старик жалостливо поглядывал на него, стоя у дверей.

— А где хозяйка? — спросил Аким.

— А в барском доме,— проворно возразил старик.— Опа там. Здесь твою скотинку поставили, да сундуки, какие были, а она там. Аль сходить за ней?

Аким помолчал.

— Сходи,— проговорил он наконец.

— Эх, дядя, дядя,— промолвил он со вздохом, пока тот доставал с гвоздя шапку,— помнишь, ты мне что накануне свадьбы сказал?

— На все воля божия, Акимушка.

— Помнишь, ты мне сказал, что, дескать, я вам, мужикам, не свой брат, а теперь вот какие времена подошли... Сам гол как сокол стал.

— Про дурных людей не напасешься,— отвечал старик,— а его, бессовестного, кабы кто мог проучить хорошенько, барин, например, какой или другая власть, а то чего ему бояться? Волк, так волчью хватку и знает.— И старик надел шапку и отправился.

Авдотья только что возвратилась из церкви, когда ей сказали, что мужнин дядя ее спрашивает. До того времени она очень редко его видала; он к ним на постоянный двор не хаживал и вообще слыш за чудака: до страсти любил табак и все больше помалчивал.

Она вышла к нему.

— Чего тебе, Петрович, аль что случилось?

— Ничего не случилось, Авдотья Арефьевна; муж тебя спрашивает.

— Разве он вернулся?

— Вернулся.

— Да где ж он?

— А на деревне, в избе сидит.

Авдотья оробела.

— Что, Петрович,— спросила она, глядя ему прямо в глаза,— сердчает он?

— Не видать, чтобы сердчал.

Авдотья потупилась.

— Ну, пойдем,— промолвила она, надела большой платок, и оба отправились. Молча шли они до самой деревни. Когда же стали они приближаться к избе, Авдотью страх разобрал такой, что колени у ней задрожали.

— Батюшка, Петрович,— проговорила она,— войди ты первый... Скажи ему, что я, мол, пришла.

Петрович вошел в избу и нашел Акима, сидящего в глубоком раздумье, на том же самом месте, на котором он его оставил.

— Что,— промолвил Аким, подняв голову,— али не пришла?

— Пришла,— возразил старик.— У ворот стоит...

— Ну, пошли ее сюда.

Старик вышел, махнул Авдотье рукой, сказал ей: «Ступай», а сам опять присел на завалинке. Авдотья с трепетом отперла дверь, переступила порог и остановилась.

Аким посмотрел на нее.

— Ну, Арефьевна,— начал он,— что мы теперь с тобою будем делать?

— Виновата,— прошептала она.

— Эх, Арефьевна, все мы грешные люди. Что тут толковать-то!

— Это он, злодей, погубил нас обоих,— заговорила Авдотья звенящим голосом, и слезы потекли по ее лицу.— Ты, Аким Семечыч, этого так не оставляй, получи с него деньги-то. Ты меня не жалея. Я под присягой готова показать, что деньги ему займы дала. Лизавета Прохоровна вольна была двор наш продать, он-то за что нас грабит... Получи с него деньги.

— Мне с него не придется получать деньги,— угрюмо возразил Аким.— Мы с ним рассчитались.

Авдотья изумилась:

— Как так?

— Да так. Знаешь ли ты,— продолжал Аким, и глаза его загорелись,— знаешь ли ты, где я провел ночь? Не знаешь? У Наума в подвале, по рукам, по ногам связанный, как баран, вот где я провел ночь. Я у него двор хотел поджечь, да он меня поймал, Наум-то; ловок он больно! А сегодня меня собирался в город везти, да уж так помиловал; стало быть, мне с него денег не приходится получать. Да и как я получу с него деньги... А когда, скажет он, я у

тебя занимал деньги? Что ж мне, сказать: жена их у меня под полом отрыла, да и снесла тебе? Врет, он скажет, твоя жена. Али тебе, Арефьевна, огласки мало? Молчи уж лучше, говорят тебе, молчи.

— Виновата, Семеныч, виновата, — шепнула снова перепуганная Авдотья.

— Не в том дело, — возразил Аким, помолчав немного, — а что мы будем делать с тобой? Дома у нас теперь не стало... Денег тоже...

— Как-нибудь перебьемся, Аким Семеныч; Лизавету Прохоровну попросим, она нам поможет, мне Кирилловна обещала.

— Нет, Арефьевна, уж ты сама ее проси с твоей Кирилловной сообща; вы ведь одного поля ягодки. Я вот что тебе скажу: ты здесь оставайся, с богом; я здесь не останусь. Благо, у нас детей нет, а я один авось не пропаду. Одна голова не бедна.

— Что же ты, Семеныч, аль опять в извоз пойдешь?

Аким горько засмеялся.

— Хорош я извозчик, неча сказать! Вот нашла молодца. Нет, Арефьевна, ведь это дело не то, что, примерно сказать, жениться; на это дело старик не годится. Я только здесь не хочу остаться, вот что; не хочу, чтобы на меня пальцами тыкали... понимаешь? Я пойду грехи свои отмаливать, Арефьевна, вот куда я пойду.

— Какие же твои грехи, Семеныч? — робко произнесла Авдотья.

— Уж про них, жена, я сам знаю.

— Да на кого же ты меня оставишь, Семеныч? Как я без мужа жить-то буду?

— На кого я тебя оставлю? Эх, Арефьевна, как ты это говоришь, право. Очень тебе нужен такой муж, как я, да еще старый, да еще разоренный. Как же! Обходилась прежде, обойдешься и вперед. А добро, какое еще у нас осталось, возьми себе, ну его!..

— Как знаешь, Семеныч, — печально возразила Авдотья, — ты лучше это знаешь.

— То-то. Только ты не думай, чтоб я сердчал на тебя, Арефьевна. Нет, чего сердчать, когда уж того... Прежде надо было спохватиться. Сам я виноват — и наказан. (Аким вздохнул.) Люби кататься, люби и саночки возить. Лета мои старые, пора о душеньке своей подумать. Меня сам господь вразумил. Вишь я, старый дурак, с молодой женой хотел в свое удовольствие пожить... Нет, брат-старик, ты сперва помолись, да лбом оземь постучи, да потерпи, да попостись... А теперь ступай, мать моя. Устал я очень, сосну маленько.

И Аким протянулся, кряхтя, на лавке.

Авдотья хотела было что-то сказать, постояла, поглядела, отвернулась и ушла... Она не ожидала, что так дешево отделается.

— Что, не побил? — спросил ее Петрович, сидя, весь сгорбленный, на завалинке, когда она с ним поравнялась. Авдотья молча прошла мимо. — Вишь, не побил, — произнес про себя старик, усмехнулся, взъерошил бороду и понюхал табак.

Аким исполнил свое намерение. Он устроил наскоро свои делишки и, несколько дней спустя после переданного нами разговора, зашел, одетый по-дорожному, проститься с своей женой, которая поселилась на время во флигельке господского дома. Прощание их продолжалось недолго... Тут же случившаяся Кирилловна присоветовала Акиму явиться к барыне; он явился к ней. Лизавета Прохоровна приняла его с некоторым смущением, но благосклонно допустила его к руке и спросила, куда он намерен идти. Он отвечал, что пойдет сперва в Киев, а оттуда куда бог даст. Она похвалила его и отпустила. С тех пор он очень редко показывался домой, хотя никогда не забывал принести барыне просвиру с вынутым заздравным... Зато везде, куда только стекаются богомольные русские люди, можно было увидеть его исхудавшее и постаревшее, но все еще благообразное и стройное лицо: и у раки св. Сергия, и у Белых берегов, и в Оптиной пустыне, и в отдаленном Валааме; везде бывал он...

В нынешнем году он проходил мимо вас в рядах несметного народа, идущего крестным ходом за иконой богородицы в Коренную; на следующий год вы заставали его сидящим, с котомкой за плечами, вместе с другими странниками, на паперти Николая-чудотворца во Мценске... В Москву он являлся почти каждую весну...

Из края в край скитался он своим тихим, неторопливым, но безостановочным шагом — говорят, он побывал в самом Иерусалиме... Он казался совершенно спокойным и счастливым, и много говорили о его набожности и смиренномудрии те люди, которым удавалось с ним беседовать.

А Наумово хозяйство шло между тем как нельзя лучше. Живое и толково принял он за дело и, как говорится, круто пошел в гору. Все в околотке знали, какими средствами достал он себе постоянный двор, знали также, что Авдотья отдала ему мужнины деньги; никто не любил Наума за его холодный и резкий нрав... С укоризной рассказывали про него, будто он однажды самому Акиму, попросившему у него под окном милостыню, отвечал, что бог, мол, подаст, и ничего не вынес ему; но все соглашались, что счастливей его человека не было; хлеб у него родился лучше, чем у соседа; пчелы роились больше; куры даже чаще неслись, скот никогда не болел, лошади не хромали... Авдотья долго не могла

слышать его имени (она приняла предложение Лизаветы Прохоровны и снова поступила к ней на службу в качестве главной швеи); но под конец ее отвращение несколько уменьшилось; говорят, нужда заставила ее прибегнуть к нему, и он дал ей рублей сто... Не будем слишком строго судить ее: бедность хоть кого скрутит, а внезапный переворот в ее жизни очень ее состарил и смирил: трудно поверить, как скоро она подурнела, как опустилась и упала духом...

— Чем же все кончилось? — спросит читатель.

А вот чем. Наум, удачно хозяйничавши лет пятнадцать, выгодно сбыв свой двор другому мещанину... Он бы никогда не расстался с своим двором, если б не случилось следующего, по-видимому, незначительного обстоятельства: два утра сряду собака его, сидя под окнами, протяжно и жалобно выла; он во второй раз вышел на улицу, внимательно посмотрел на воющую собаку, покачал головой, отправился в город и в тот же день сошелся в цене с мещанином, который уже давно приторговывался к его двору... Через неделю он уехал куда-то далеко — из губернии вон; новый хозяин переселился на его место, и что же? В тот же самый вечер двор сгорел дотла, ни одна клеть не уцелела, и Наумов наследник остался нищим. Читатель легко себе представит, какие поднялись толки в соседстве по случаю этого пожара... Видно, он свою «задачу» с собой унес, — твердили все... О нем ходят слухи, будто он занялся хлебной торговлей и разбогател сильно. Но надолго ли? Не такие столбы валялись, и злomu делу рано или поздно приходит злой конец. О Лизавете Прохоровне много сказать нечего: она жива до сих пор и, как это часто бывает с людьми такого рода, ни в чем не изменилась, даже не слишком постарела, только как будто суше стала; притом скупость в ней чрезвычайно усилилась, хотя трудно понять, для кого это она все бережет, не имея детей и не будучи ни к кому привязана. В разговоре она часто упоминает об Акиме и уверяет, что с тех пор, как узнала все его качества, она русского мужика очень стала уважать. Кирилловна от нее откупилась за порядочные деньги и вышла замуж, по любви, за какого-то молодого, белокурого официанта, от которого терпит муку горькую; Авдотья живет по-прежнему на женской половине у Лизаветы Прохоровны, но опустилась еще несколькими ступенями ниже, одевается очень бедно, почти грязно, и от столичных замашек модной горничной, от привычек зажиточной дворничихи не осталось уже в ней и следа... Ее никто не замечает, и она сама рада, что ее не замечают; старик Петрович умер, а Аким всё еще странствует — и бог один знает, сколько ему еще придется странствовать!

ПОЕЗДКА В ПОЛЕСЬЕ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Вид огромного, весь небосклон обнимающего бора, вид «Полесья» напоминает вид моря. И впечатления им возбуждаются те же; та же первобытная, нетронутая сила расстилается широко и державно перед лицом зрителя. Из недра вековых лесов, с бессмертного лона вод поднимается тот же голос: «Мне нет до тебя дела,— говорит природа человеку,— я царствую, а ты хлопочи о том, как бы не умереть». Но лес однообразнее и печальнее моря, особенно сосновый лес, постоянно одинаковый и почти бесшумный. Море грозит и ласкает, оно играет всеми красками, говорит всеми голосами; оно отражает небо, от которого тоже веет вечностью, но вечностью как будто нам нечуждой... Неизменный, мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо — и при виде его еще глубже и неотразимее проникает в сердце людское сознание нашей ничтожности. Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды; не одни дерзостные надежды и мечтанья молодости смиряются и гаснут в нем, охваченные ледяным дыханием стихии; нет — вся душа его никнет и замирает; он чувствует, что последний из его братьев может исчезнуть с лица земли — и ни одна игла не дрогнет на этих ветвях; он чувствует свое одиночество, свою слабость, свою случайность — и с торопливым, тайным испугом обращается он к мелким заботам и трудам жизни; ему легче в этом мире, им самим созданным, здесь он дома, здесь он смеет еще верить в свое значение и в свою силу.

Вот какие мысли приходили мне на ум несколько лет тому назад, когда, стоя на крыльце постоянного дворика, построенного на берегу болотистой речки Ресеты, увидел я впервые Полесье. Длинными сплошными уступами разбегались передо мною синеющие

громады хвойного леса; кой-где лишь пестрели зелеными пятнами небольшие березовые рощи; весь кругозор был охвачен бором; нигде не белела церковь, не светлели поля — всё деревья да деревья, всё зубчатые верхушки — и тонкий, тусклый туман, вечный туман Полесья висел вдали над ними. Не ленью, этой неподвижностью жизни, нет — отсутствием жизни, чем-то мертвым, хотя и величавым, веяло мне со всех краев небосклона; помню, большие белые тучи плыли мимо, тихо и высоко, и жаркий летний день лежал недвижно на безмолвной земле. Красноватая вода речки скользила без плеска между густыми тростниками; на дне ее смутно виднелись круглые бугры иглистого моха, а берега то исчезали в болотной тине, то резко белели рассыпчатым и мелким песком. Мимо самого дворика шла уездная, торная дорога.

На этой дороге, прямо против крыльца, стояла телега, нагруженная коробами и ящиками. Владелец ее, худощавый мещанин с ястребиным носом и мышинными глазками, сгорбленный и хромой, впрягал в нее свою, тоже хромую, лошаденку; это был пряничник, который пробирался на Карачевскую ярмарку. Вдруг показалось на дороге несколько людей; за ними потянулись другие... наконец, повалила целая гурьба; у всех были палки в руках и котомки за плечами. По их походке, усталой и развалистой, по загорелым лицам видно было, что они шли издалеча: это юхновцы, копачи, возвращались с заработков. Старик лет семидесяти, весь белый, казалось, предводительствовал ими; он изредка оборачивался и спокойным голосом понукал отсталых. «Но, но, но, ребяташки,— говорил он,— но-о». Все они шли молча, в какой-то важной тишине. Один лишь только, низкого роста и на вид сердитый, в тулупе нараспашку, в бараньей шапке, надвинутой на самые глаза, поравнявшись с пряничником, вдруг спросил его:

— Почему пряник, шут?

— Каков будет пряник, любезный человек,— возразил тонким голосом озадаченный торговец.— Есть и в копейку — а то и грош дать надо. А есть ли грош в мошне-то?

— Да от него, чай, в брюхе просолодит,— возразил тулуп и отошел от телеги.

— Поспешите, ребяташки, поспешите! — послышался голос старика, — до ночлега далеко.

— Необразованный народ,— проговорил, искоса взглянув на меня, пряничник, как только вся толпа провалила мимо,— разве это кушанье про них?

И, наскоро снарядивши свою лошадку, спустился он к речке, на которой виднелся маленький бревенчатый паром. Мужик, в белом войлочном «шлыке» (обыкновенной полешской шапке), вышел из низкой землянки ему навстречу и переправил его на про-

тивоположный берег. Тележка поползла по изрытой и выбитой дороге, изредка взвизгивая одним колесом.

Я покормил лошадей — и тоже переправился. Протащившись версты с две болотистым лугом, взобрался я, наконец, по узкой гати в просеку леса. Тарантас неровно запрыгал по круглым бревешкам; я вылез и пошел пешком. Лошади выступали дружным шагом, фыркая и отмахиваясь головами от комаров и мошек. Полесье приняло нас в свои недра. С окраины, ближе к лугу, росли березы, осины, липы, клены и дубы; потом они стали реже попадаться, сплошной стеной надвинулся густой ельник; далее покраснели голые стволы сосенника, а там опять потянулся смешанный лес, заросший снизу кустами орешника, черемухи, рябины и крупными сочными травами. Солнечные лучи ярко освещали верхушки деревьев и, рассыпаясь по ветвям, лишь кое-где достигали до земли побледневшими полосами и пятнами. Птиц почти не было слышно — они не любят больших лесов; только по временам раздавался заунывный, троекратный возглас удода да сердитый крик ореховки или сойки; молчаливый, всегда одинокий сиворонок перелетал через просеку, сверкая золотистой лазурью своих красивых перьев. Иногда деревья редели, расступались, впереди светлело, тарантас выезжал на расчищенную песчаную поляну; жидкая рожь росла на ней грядами, бесшумно качая свои бледные колосики; в стороне темнела ветхая часовенка с покривившимся крестом над колодцем, невидимый ручеек мирно болтал переливчатymi и гулкими звуками, как будто втекаая в пустую бутылку; а там вдруг дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза, и лес стоял кругом до того старый, высокий и дремучий, что даже воздух казался спертым. Местами просека была вся залита водой; по обеим сторонам расстилалось лесное болото, все зеленое и темное, все покрытое тростниками и мелким ольшاپиком; утки взлетывали попарно — и странно было видеть этих водяных птиц, быстро мелькающих между соснами. «Га, га, га, га», — неожиданно поднимался протяжный крик; то пастух гнал стадо через мелколесье; бурая корова с острыми короткими рогами шумно продиралась сквозь кусты и останавливалась как вкопанная на краю просеки, уставив свои большие темные глаза на бежавшую передо мной собаку; ветерок припосил тонкий и крепкий запах жженого дерева; белый дымок расползлся вдали круглыми струйками по бледно-сипему лесному воздуху: знать, мужичок промышлял уголь на стеклянный завод или на фабрику. Чем дальше мы подвигались, тем глуше и тише становилось вокруг. В бору всегда тихо: только идет там высоко над головою какой-то долгий ропот и сдержанный гул по верхушкам... Едешь, едешь, не перестает эта вечная лесная молвь, и начинает сердце ныть понемногу, и хочется

человеку выйти поскорей на простор, на свет, хочется ему вздохнуть полной грудью — и давит его эта пахучая сырость и гниль...

Верст пятнадцать ехали мы шагом, изредка рысдой. Мне хотелось засветло попасть в село Святое, лежащее в самой середине леса. Раза два встретились мне мужички с надранным лыком или с длинными бревнами на телегах.

— Далеко ли до Святого? — спросил я одного из них.

— Нет, недалеко.

— А сколько?

— Да версты три будет.

Прошло часа полтора. Мы всё ехали да ехали. Вот опять заскрыпела нагруженная телега. Мужик шел сбоку.

— Сколько, брат, осталось до Святого?

— Чего?

— Сколько до Святого?

— Восемь верст.

Солнце уже садилось, когда я, наконец, выбрался из леса и увидел перед собою небольшое село. Дворов двадцать лепилось вокруг старой, деревянной, одноглавой церкви с зеленым куполом и крошечными окнами, ярко рдевшими на вечерней заре. Это было Святое. Я въехал в околицу. Возвращающееся стадо нагнало мой тарантас и с мычаньем, хрюканьем и бляньем пробежало мимо. Молодые девки, хлопотливые бабы встречали своих животных; белоголовые мальчишки гнались с веселыми криками за непокорными поросятами; пыль мчалась вдоль улицы легкими клубами и, поднимаясь выше, алела.

Я остановился у старосты, хитрого и умного «полехи», из тех полей, про которых говорят, что они на два аршина под землю видят. На другой день рано отправился я в тележке, запряженной парой толстопузых крестьянских лошадей, с старостипым сыном и другим крестьянином, по имени Егором, на охоту за глухарями и рябчиками. Лес синел сплошным кольцом по всему краю неба — десятии двести, не больше, считалось распаханного поля вокруг Святого; но до хороших мест приходилось ехать верст семь. Старостипа сына звали Кондратом. Это был малый молодой, русский и краснощекий, с добрым и смиренным выражением лица, услужливый и болтливый. Он правил лошадьми. Егор сидел со мною рядом. Мне хочется сказать о нем слова два.

Он считался лучшим охотником во всем уезде. Все места, верст на пятьдесят кругом, он исходил вдоль и поперек. Он редко выстреливал по птице, за скудостью пороха и дроби; но с него уже того было довольно, что он рябчика подманил, подметил точок дупелиный. Егор слыл за человека правдивого и за «молчальника». Он не любил говорить и никогда не преувеличивал числа найден-

ной им дичи — черта, редкая в охотнике. Роста он был среднего, сухощав, лицо имел вытянутое и бледное, большие, честные глаза. Все черты его, особенно губы, правильные и постоянно неподвижные, дышали спокойствием невозмутимым. Он улыбался слегка и как-то внутрь, когда произносил слова, — очень мила была эта тихая улыбка. Он не пил вина и работал прилежно, но ему не везло: жена его все хворала, дети умирали; он «забеднял» и никак не мог справиться. И то сказать, страсть к охоте не мужицкое дело, и кто «с ружьем балует» — хозяин плохой. От постоянного ли пребывания в лесу, лицом к лицу с печальной и строгой природой того нелюдимого края, вследствие ли особенного склада и строя души, но только во всех движениях Егора замечалась какая-то скромная важность, именно важность, а не задумчивость — важность статного оленя. Он на своем веку убил семь медведей, подкараулив их на «овсах». В последнего он только на четвертую ночь решился выстрелить: медведь все не становился к нему бок, а пуля у него была одна. Егор убил его накануне моего приезда. Когда Кондрат привел меня к нему, я застал его на задворке; присевши на корточки перед громадным зверем, он вырезывал из него сало коротким и тупым ножом.

— Какого же ты молодца повалил! — заметил я.

Егор поднял голову и посмотрел сперва на меня, а потом на пришедшую со мной собаку.

— Коли охотиться приехали, в Мошном глухари есть — три выводка, да рябцев пять, — промолвил он и снова принялся за свою работу.

С этим-то Егором да с Кондратом я и поехал на другой день на охоту. Живо перекатили мы поляну, окружавшую Святое, а выехавши в лес, опять потащились шагом.

— Вон витютень сидит, — заговорил вдруг, оборотившись ко мне, Кондрат, — хорошо бы сшибить!

Егор посмотрел в сторону, куда Кондрат указывал, и ничего не сказал. До витютня шагов было сто с лишком, а его и на сорок шагов не убьешь: такова у него крепость в перьях.

Еще несколько замечаний сделал словоохотливый Кондрат; но лесная тишь недаром охватила и его: он умолк. Лишь изредка перекидываясь словами, да поглядывая вперед, да прислушиваясь к пыхтению и храпу лошадей, добрались мы, наконец, до «Мошного». Этим именем назывался крупный сосновый лес, изредка поросший ельником. Мы слезли; Кондрат вдвинул телегу в кусты, чтобы комары лошадей не кусали. Егор осмотрел курок ружья и перекрестился: он ничего без креста не начинал.

Лес, в который мы вступили, был чрезвычайно стар. Не знаю, бродили ли по нем татары, но русские вору или литовские люди



«Постоялый двор»
Худ. Д. Б. Боровский

смутного времени уже наверное могли скрываться в его захоlustях. В почтительном расстоянии друг от друга поднимались могучие сосны громадными, слегка искривленными столбами бледно-желтого цвета; между ними стояли, вытянувшись в струнку, другие, помоложе. Зеленоватый мох, весь усеянный мертвыми иглами, покрывал землю; голубика росла сплошными кустами; крепкий запах ее ягод, подобный запаху выхухоли, стеснял дыхание. Солнце не могло пробиться сквозь высокий намет сосновых ветвей; но в лесу было все-таки душно и не темно; как крупные капли пота, выступала и тихо ползла вниз тяжелая, прозрачная смола по грубой коре деревьев. Неподвижный воздух без тени и без света жег лицо. Все молчало; даже шагов наших не было слышно; мы шли по мху, как по ковру; особенно Егор двигался бесшумно, словно тень; под его ногами даже хворостинка не трещала. Он шел не торопясь и изредка посвистывая в пищик; рябчик скоро отозвался и в моих глазах нырнул в густую елку; но напрасно указывал мне его Егор: как я ни напрягал свое зрение, а рассмотреть его никак не мог; пришлось Егору по нем выстрелить. Мы нашли также два выводка глухарей; осторожные птицы поднимались далеко, с тяжелым и резким стуком; нам, однако, удалось убить трех молодых.

У одного *майдана*¹ Егор вдруг остановился и подозвал меня.

— Медведь воды хотел достать,— промолвил он, указывая на широкую, свежую царапину на самой середине ямы, затянутой мелким мхом.

— Это след его лапы? — спросил я.

— Его; да вода-то пересохла. На той сосне тоже его след: за медом лазил. Как ножом прорубил, когтями-то.

Мы продолжали забираться в самую глушь леса. Егор только изредка посматривал вверх и шел вперед спокойно и самоуверенно. Я увидел круглый, высокий вал, обнесенный полузасыпанным рвом.

— Что это, майдан тоже? — спросил я.

— Нет,— отвечал Егор,— здесь воровской городок стоял.

— Давно?

— Давно; дедам нашим за память. Тут и клад зарыт. Да зарок положен крепкий: на человечесью кровь.

Мы прошли еще версты с две; мне захотелось пить.

— Посидите маленько,— сказал Егор,— я схожу за водой, тут колодезь недалеко.

Он ушел; я остался один.

¹ «М а й д а н о м» называется место, где гнали деготь.

Я присел на срубленный пенёк, оперся локтями на колени и, после долгого безмолвия, медленно поднял голову и оглянулся. О, как все кругом было тихо и сурово-печально — нет, даже не печально, а немо, холодно и грозно в то же время! Сердце во мне сжалось. В это мгновение на этом месте я почувствовал веяние смерти, я ощутил, я почти осязал ее непрерывную близость. Хоть бы один звук задрожал, хоть бы мгновенный шорох поднялся в неподвижном зеве обступившего меня бора! Я снова, почти со страхом, опустил голову; точно я заглянул куда-то, куда не следует заглядывать человеку... Я закрыл глаза рукою — и вдруг, как бы повинаясь таинственному повелению, я начал припоминать всю мою жизнь...

Вот мелькнуло передо мной мое детство, шумливое и тихое, задорное и доброе, с торопливыми радостями и быстрыми печальюми; потом возникла молодость, смутная, странная, самолюбивая, со всеми ее ошибками и начинаниями, с беспорядочным трудом и взволнованным бездействием... Пришли на память и они, товарищи первых стремлений... потом, как молния в ночи, сверкнуло несколько светлых воспоминаний... потом начали нарастать и надвигаться тени, темнее и темнее стало кругом, глуше и тише побежали однообразные годы — и камнем на сердце опустилась грусть. Я сидел неподвижно и глядел, глядел с изумлением и усилием, точно всю жизнь свою я перед собою видел, точно свиток развивался у меня перед глазами. О, что я сделал! — невольно шептали горьким шепотом мои губы. О, жизнь, жизнь, куда, как ушла ты так бесследно? Как выскользнула ты из крепко стиснутых рук? Ты ли меня обманула, я ли не умел воспользоваться твоими дарами? Возможно ли? эта малость, эта бедная горсть пыльного пепла — вот все, что осталось от тебя? Это холодное, неподвижное, ненужное нечто — это я, тот прежний я? Как? Душа жаждала счастья такого полного, она с таким презрением отвергла все мелкое, все недостаточное, она ждала: вот-вот нахлынет счастье потоком — и ни одной каплей не смочило алкавших губ? О, золотые мои струны, вы, так чутко, так сладостно дрожавшие когда-то, я так и не услышал вашего пенья... вы и звучали только — когда рвались. Или, может быть, счастье, прямое счастье всей жизни проходило близко, мимо, улыбалось лучезарною улыбкой — да я не умел признать его божественного лица? Или оно точно посещало меня и сидело у моего изголовья, да позабылось мною, как сон? Как сон, повторял я уныло. Неуловимые образы бродили по душе, возбуждая в ней не то жалость, не то недоумение... А вы, думал я, милые, знакомые, погибшие лица, вы, обступившие меня в этом мертвом уединении, отчего вы так глубоко и грустно безмолвны? Из какой бездны возникли вы? Как мне понять ваши

загадочные взоры? Прощаетесь ли вы со мною, приветствуете ли вы меня? О, неужели нет надежды, нет возврата? Зачем полились вы из глаз, скупые, поздние капли? О, сердце, к чему, зачем еще жалеть, старайся забыть, если хочешь покоя, приучайся к смиренности последней разлуки, к горьким словам: «прости» и «навсегда». Не оглядывайся назад, не вспоминай, не стремись туда, где светло, где смеется молодость, где надежда венчается цветами весны, где голубка-радость бьет лазурными крылами, где любовь, как роса на заре, сияет слезами восторга; не смотри туда, где блаженство, и вера, и сила — там не наше место!

— Вот вам вода,— раздался за мною звучный голос Егора,— пейте с богом.

Я невольно вздрогнул: живая эта речь поразила меня, радость потрясла все мое существование. Точно я падал в неизведанную, темную глубину, где уже все стихало кругом и слышался только тихий и непрестанный стон какой-то вечной скорби... я замирал, но противиться не мог, и вдруг дружеский зов долетел до меня, чья-то могучая рука одним взмахом вынесла меня на свет божий. Я оглянулся и с несказанной отрадой увидел честное и спокойное лицо моего провожатого. Он стоял передо мной легко и стройно, с обычной своей улыбкой, протягивая мне мокрую бутылочку, всю наполненную светлой влагой... Я встал.

— Пойдем, веди меня,— сказал я с увлечением.

Мы отправились и бродили долго, до вечера. Как только жара «свалила», в лесу стало так быстро холодать и темнеть, что оставаться в нем уже не хотелось. «Ступайте воп, беспокойные живые»,— казалось, шептал он нам угрюмо из-за каждой сосны. Мы вышли, но не скоро нашли Кондрата. Мы кричали, кликали его, он не отзывался. Вдруг, среди чрезвычайной тишины в воздухе, слышим мы, ясно раздается его: «тпру, тпру», в близком от нас овраге... Он не слышал наших криков от ветра, который внезапно разыгрался и так же внезапно упал совершенно. Только на отдельно стоявших деревьях виднелись следы его порывов: многие листья были поставлены им наизнанку и так и остались, придавая пестроту неподвижной листве. Мы взобрались в телегу и покатали домой. Я сидел, покачиваясь и тихо вдыхая сырой, немного резкий воздух, и все мои недавние мечтанья и сожаленья потонули в одном ощущении дремоты и усталости, в одном желании поскорее вернуться под крышу теплого дома, напиться чаю с густыми сливками, зарыться в мягкое рыхлое сено и заснуть, заснуть, заснуть...

На следующее утро мы опять втроем отправились на «Гарь». Лет десять тому назад несколько тысяч десятин выгорело в Полесье и до сих пор не заросло; кой-где пробиваются молодые елки и сосенки, а то все мох да перележалая зола. На этой «Гари», до которой от Святого считается верст двенадцать, растут всякие ягоды в великом множестве и водятся тетерева, большие охотники до земляники и брусники.

Мы ехали молча, как вдруг Кондрат поднял голову.

— Э! — воскликнул он, — да это никак Ефрем стоит. Здорово, Александрыч, — прибавил он, возвысив голос и приподняв шапку.

Небольшого роста мужик в черном коротком армяке, подпоясанном веревкой, вышел из-за дерева и приблизился к телеге.

— Аль отпустили? — спросил Кондрат.

— А то небось пет! — возразил мужичок и оскалил зубы. — Нашего брата держать не приходится.

— И Петр Филиппыч ничего?

— Филиппов-то? Знамо дело, ничего.

— Вишь ты! А я, Александрыч, думал: ну, брат, думал я, теперь ложись гусь на сковороду!

— От Петра Филиппова-то? Вона! Видали мы таких. Суется в волки, а хвост собачий. На охоту, что ль, едешь, барин? — спросил вдруг мужичок, быстро вскинув на меня свои прищуренные глазки, и тотчас опустил их снова.

— На охоту.

— А куда примерно?

— На Гарь, — сказал Кондрат.

— Едете на Гарь, не наехать бы на пожар.

— А что?

— Видал я глухарей много, — продолжал мужичок, все как бы посмеиваясь и не отвечая Кондрату, — да вам туда не попасть: напрямик верст двадцать будет. Вот и Егор — что говорить! в бору, как у себя на дворе, а и тот не продерется. Здорово, Егор, божия душа в полтора гроша, — гаркнул он вдруг.

— Здорово, Ефрем, — медленно возразил Егор.

Я с любопытством посмотрел на этого Ефрема. Такого страшного лица я давно не видывал. Нос имел он длинный и острый, крупные губы и жидкую бородку. Его голубые глазки так и бежали, как живчики. Стоял он развязно, легонько подпершись руками в бока и не ломая шапки.

— На побывку домой, что ли? — спросил его Кондрат.

— Эк-ста, на побывку! Теперь, брат, погода не та: разгулялось. Широко, брат, стало, во как. Хоть до зимы на печи лежи, никака́ собака не чукнет. Мне в городе говорил этот-та производитель: брось, мол, нас, Лександрыч, выезжай из уезда вон, пачпорт дадим первый сорт... да жаль мне вас, святовских-то: такого вам вора другого не пажить.

Кондрат засмеялся.

— Шутник ты, дядюшка, право, шутник,— проговорил он и потрянул вожжами. Лошади тронулись.

— Тпру,— промолвил Ефрем. Лошади остановились. Кондрату не поправилась эта выходка.

— Полно озорничать, Александрыч,— заметил он вполголо-са.— Вишь, с барином едем. Осерчает, гляди.

— Эх ты, морской селезень! С чего ему серчать-то? Барин он добрый. Вот посмотри, он мне на водку даст. Эх, барин, дай проходимцу на косушку! Уж раздавлю ж я ее,— подхватил он, подняв плечо к уху и скрыпнув зубами.

Я невольно улыбнулся, дал ему гривенник и велел Кондрату ехать.

— Много довольны, ваше благородие,— крикнул по-солдатски нам вслед Ефрем.— А ты, Кондрат, напредки знай, у кого учиться; оробел — пронал, смел — съел. Как вернешься, у меня побывай, слышь, у меня три дня попойка стоять будет, сшибем горла два; жена у меня баба хлѣцкая, двор на полозу... Гей, сорока-белобока, гуляй, пока хвост цел!

И, засвистав резким свистом, Ефрем юркнул в кусты.

— Что за человек? — спросил я Кондрата, который, сидя на облучке, все потряхивал головой, как бы рассуждая сам с собою.

— Тот-то? — возразил Кондрат и потупился.— Тот-то? — повторил он.

— Да. Он ваш?

— Наш, святовский. Это такой человек... Такого на сто верст другого не сыщешь. Вор и плут такой — и боже ты мой! На чужое добро у него глаз так и коробится. От него и в землю не зароешься, а что деньги, например, из-под самого хребта у тебя вытащит, ты и не заметишь.

— Какой он смелый!

— Смелый? Да он никого не боится. Да вы посмотрите на него: по финазомии бестиян, с носу видеи. (Кондрат часто езживал с господами и в губернском городе бывал, а потому любил при случае показать себя.) Ему и сделать-то ничего нельзя. Сколько раз его и в город возили и в острог сажали, только убытки одни. Его станут вязать,— а он говорит: «Что ж, мол, вы ту ногу не путаете? путайте и ту, да покрепче, я пока посплю; а домой и

раньше ваших провожатых поспею». Глядишь: точно, опять вернулся, опять тут, ах ты, боже ты мой! Уж на что мы все, здешние, лес знаем, приобькли сызмала, а с ним поравняться немочно. Прошлым летом, ночью, напрямки из Алтухина в Святое пришел, а тут пикто и не хаживал отродясь, верст сорок будет. Вот и мед красть, на это он первый человек; и пчела его не жалит. Все пасеки разорил.

— Я думаю, он и бортам спуска не дает.

— Ну нет, что напраслину на него взводить? Такого греха за ним не замечали. Борт у пас святое дело. Пасека огорожбпа; тут караул; коли утащил — твое счастье; а бортовая пчела дело божие, не бережепое; один медведь ее трогает.

— Зато он и медведь,— заметил Егор.

— Он женат?

— Как же. И сын есть. Да и вор же будет сын-то! В отца вышел весь. Уж он его и теперь учит. Намеднись горшок с старыми пятаками притащил, украл где-нибудь, значит, пошел, да зарыл его на полянке в лесу, а сам вернулся домой, да и послал сына на полянку. Пока, говорит, горшка не отыщешь, есть тебе не дам и на двор не пущу. Сын-то день целый просидел в лесу, и ночевал в лесу, а нашел-таки горшок. Да, мудреный это Ефрем. Пока дома — любезный человек, всех потчует: пей, ешь, сколько хочешь, пляска тут у него поднимется, балагурство всякое; а что коли на сходке, такая у нас сходка на селе бывает, уж лучше его никто не рассудит; подойдет сзади, послушает, скажет слово, как отрубит, и прочь; да уж и слово-то веское. А как вот уйдет в лес, пу, так беда! Жди разорения. А и то сказать: он своих не трогает, разве самому тесно придется. Коли встретит кого святовского — «обходи, брат, мимо,— кричит издали,— на меня лесной дух нашел: убью!» Беда!

— Чего же вы смотрите! Целая вотчина с одним человеком справиться не может?

— Да уж пожалуй, что так.

— Колдун он, что ли?

— Кто его знает! Вот намеднись он к соседнему дьячку на пасеку забрался ночью, а дьячок-то караулил сам. Ну, поймал его, да впотемках и приколотил. Как кончил, Ефрем-то и говорит ему: а знаешь ты, кого бил? Дьячок, как узнал его по голосу, так и обомлел. Ну, брат, говорит Ефрем, это тебе даром не пройдет. Дьячок ему в ноги: возьми, мол, что хочешь. Нет, говорит, я с тебя в свое время возьму, да и чем захочу. Что ж вы думаете? Ведь с самого того дня дьячок-то, словно ошпаренный, как тень бродит! Сердце, говорит, во мне изныло; слово больно крепкое, знать, залепил мне разбойник. Вот что с ним случилось, с дьячком-то.

— Дьячок этот, должно быть, глуп, — заметил я.

— Глуп? А вот это как вы рассудите. Вышел раз приказ ловить этого самого Ефрема. Становой такой у нас завелся вострый. Вот и пошло человек десять в лес ловить Ефрема. Смотрят, а он им навстречу идет... Один-то из них и закричи: вот он, вот он, держите его, вяжите! А Ефрем вошел в лес да вырезал себе дерево, этак перста в два, да как выскочит опять на дорогу, безобразный такой, страшный, как скомандует, словно енарал на разводе: «На коленки!» — все так и попадали. «А кто, говорит, тут кричал: держите, вяжите? Ты, Серега?» Тот-то как вскочит да бежать... А Ефрем за ним, да деревом-то его по пяткам... С версту его гладил. И потом все еще жалел: «Эх, мол, досадно: заговеться ему не помешал». Дело-то было перед самыми Филипповками. Ну, а станового в скором времени сместили, — тем все и покончилось.

— Зачем же они ему все покорились?

— Зачем! то-то и есть...

— Он вас всех запугал, да и делает теперь с вами, что хочет.

— Запугал... Да он кого хочешь запугает. И уж горазд же он на выдумки, боже ты мой! Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, я было в сторону... А он поглядел на меня, да этак меня ручкою и подозвал. «Подойди, мол, Кондрат, не бойся. Поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть». Я подошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых веток: дым-то набрался в елку и не дает дождю капать. Подивился я тут ему. А то вот он раз что выдумал (и Кондрат засмеялся), вот уж потешил. Овес у нас молотили на току, да не кончили; последний ворох сгрести не успели; пу и посадили на ночь двух караульщиков, а ребята-то были не из бойких. Вот сидят они да гуторят, а Ефрем возьми да рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в эдаком-то виде к овину, да и ну из-за угла показываться, помаленьку роги-то свои выставлять. Один-то малый и говорит другому: видишь? — Вижу, говорит другой, да как ахнут вдруг... только плетни затрепали. А Ефрем нагреб овса в мешок, да и стащил к себе домой. Сам потом все рассказал. Уж стыдил же он, стыдил ребят-то... Право!

Кондрат засмеялся опять. И Егор улыбнулся. «Так только плетни затрепали?» — промолвил он.

— Только их и видно было, — подхватил Кондрат. — Так и пошли сигать!

Мы опять все притихли. Вдруг Кондрат всполохнулся и выпрямился.

— Э, батюшки, — воскликнул он, — да это никак пожар!

— Где, где? — спросили мы.

— Вон смотрите, впереди, куда мы едем... Пожар и есть! Ефрем-то, Ефрем ведь напороочил! Уж не его ли это работа, окаянная он душа...

Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, верстах в двух или трех впереди нас, за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расплываясь шапкой; от него вправо и влево виднелись другие, поменьше и побелеей.

Мужик, весь красный, в поту, в одной рубашке, с растрепанными волосами над испуганным лицом, наскочил прямо на нас и с трудом остановил свою поспешно взбужданную лошадедку.

— Братцы, — спросил он задыхающимся голосом, — полесовщиков не видали?

— Нет, не видали. Что это, лес горит?

— Лес. Народ согнать надо, а то, коли к Тросному кинется...

Мужик задержал локтями, заколотил пятками по бокам лошади... Она поскакала.

Кондрат также погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который расстилался все шире и шире; местами он внезапно чернел и высоко взвивался. Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становились его очертания; скоро весь воздух потускнел, сильно запахло горелым, и вот, между деревьями, странно и жутко шевельясь на солнце, мелькнули первые, бледно-красные языки пламени.

— Ну, слава богу, — заметил Кондрат, — кажется, пожар-то позёмный.

— Какой?

— Поземный; такой, что по земле бежит. Вот с подземным мудрено ладить. Что тут сделаешь, когда земля на целый аршип горит? Одно спасение: копай канавы — да это разве легко? А поземный — ничего. Только траву сбреет да сухой лист сожжет. Еще лучше лесу от него бывает. Ух, батюшки, гляди, однако, как шибануло!

Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел к нему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу *против* ветра; он подвигался неровной чертой или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относил ветром. Кондрат сказал правду: это действительно был поземный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собою черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огню попадалась яма, наполненная дромом и сухими сучьями, он вдруг, и с каким-то особенным, довольно злоеющим ревом, воздымался длинными, волнующимися косицами, но

скоро опадал и бежал вперед по-прежнему, слегка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими, висячими листьями оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, отчего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило оттого, что пожар поземный, «значит, не сердитый». Да ведь огонь тот же, возражал я. Поземный пожар, повторил Кондрат. Однако, хоть и поземный, а пожар все-таки производил свое действие: зайцы как-то беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды возвращаясь в соседство огня; птицы попадали в дым и кружились, лошади оглядывались и фыркали, самый лес как бы гудел, — да и человеку становилось неловко от внезапно бьющего ему в лицо жара...

— Чего смотреть! — сказал вдруг Егор за моей спиной. — Поедьте.

— Да где проехать? — спросил Кондрат.

— Возьми влево, по сухоболотью проедем.

Мы взяли влево и проехали, хоть иногда трудненько приходилось и лошадям и телеге.

Целый день протаскались мы по Гари. Перед вечером (заря еще не закраснелась на небе, но тени от деревьев уже легли неподвижные и длинные, и чувствовался в траве холодок, который предшествует росе) я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат не спеша впрягал наевшихся лошадей, и вспомнил свои вчерашние невеселые мечтанья. Кругом все было так же тихо, как и накануне, но не было давящего и теснящего душу бора; на высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного, невысокого солнца. Все отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу; ничего еще не заснуло, по уже все готовилось к целебным усыпленьям вечера и ночи. Все, казалось, говорило человеку: «Отдохни, брат наш; дыши легко и не горюй и ты перед близким сном». Я поднял голову и увидел на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают «девицами», а наш бесхитростный народ прозвал «коромыслами». Долго, более часа не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками... вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом от-

дельном существе — вот самая ее основа, ее неизменный закоп, вот на чем она стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня, кверху ли, книзу ли, все равно, — выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающие равновесие жизни радости любви; больной зверь забивается в чашу и угасает там один: он как бы чувствует, что уже не имеет права ни видеть всем общего солнца, ни дышать вольным воздухом, он не имеет права жить; а человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен по крайней мере уметь молчать.

— Ну, что ж ты, Егор! — воскликнул вдруг Кондрат, который уже успел поместиться на облучке телеги и поигрывал и перебирал вожжами, — иди садись. Чего задумался? Аль о корове все?

— О корове? О какой корове? — повторил я и взглянул на Егора: спокойный и важный, как всегда, он действительно, казалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть.

— А вы не знаете? — подхватил Кондрат, — у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему — что ты будешь делать?..

Егор сел молча на облучок, и мы поехали. «Этот умеет не жаловаться», — подумал я.

БРИГАДИР

I

Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми двадцать пять — тридцать лет тому назад изобиловала наша великорусская Украина? Теперь они попадаются редко, а лет через десять и последние из них, пожалуй, исчезнут бесследно. Проточный пруд, заросший лозником и камышами, приволье хлопотливых уток, к которым изредка присосеживается осторожный «чирок»; за прудом сад с аллеями лип, этой красоты и чести наших черноземных равнин, с загложшими грядами «шпанской» земляники, со сплошной чащей крыжовника, смородины, малины, посреди которой, в томный час неподвижного полуденного зноя, уж непременно мелькнет пестрый платочек дворовой девушки и зазвенит ее пронзительный голосок; тут же амбарчик на курьих ножках, оранжейкой, плохенький огород, со стаей воробьев на тычинках и прикорнувшей кошкой близ провалившегося колодца; дальше — кудрявые яблони над высокой, снизу зеленой, кверху седой травой, жидкие вишни, груши, на которых никогда не бывает плода; потом клумбы с цветами — маком, пионами, анютиными глазками, крыжантами, «девицей в зелени», кусты татарской жимолости, дикого жасмину, сирени и акации, с непрерывным пчелиным, шмелиным жужжанием в густых, пахучих, липких ветках; наконец, господский дом, одноэтажный, на кирпичном фундаменте, с зеленоватыми стеклами в узких рамах, с покатою, некогда крашенной крышей, с балкончиком, из которого выпадали кувшинообразные перила, с кривым мезонином, с безголосой старой собакой в яме под крыльцом; за домом широкий двор с крапивою, полынью и лопухами по углам, службы с захватанными дверями, с голубями и галками на пробуравленных соломенных крышах, погребок с заржавелым флюгером, две-три березы с грачиными гнездами на голых верхних сучьях — а там уже дорога с подушечками мягкой пыли по колеям — и поле, и длинные плетни конопляников, и серенькие избушки деревни, и крики гусей с отдаленных заливных лугов... Знакомо ли тебе все это, читатель? В самом доме все немножко набок, немножко рас-

шаталось — а ничего! Стоит крепко и держит тепло: печи, что твои слоны, мебель сбродная, домодельщина; беловатые протоптанные дорожки бегут от дверей по крашеным полам; в передней чижки и жаворонки в крошечных клетках; в углу столовой громадные английские часы в виде башни, с надписью: «Strike — silent»;¹ в гостиной портреты хозяев, написанные масляными красками, с выражением сурового испуга на кирпичного цвета лицах, а иногда и старая покоробленная картина, представляющая либо цветы и фрукты, либо мифологический сюжет; везде пахнет кваском, яблоком, олифой, кожей; мухи гудят и звенят под потолком и на окнах, бойкий прусак внезапно заиграет усиками из-за зеркальной рамы... Ничего, жить можно — и даже очень недурно можно жить.

II

Вот такую-то усадьбу пришлось мне посетить лет тридцать тому назад... дела давно минувших дней — как изволите видеть. Небольшое именьеце, в котором находилась та усадьба, принадлежало одному моему университетскому товарищу; оно недавно к нему поступило, после смерти троюродного дяди, холостяка, и сам он в нем не жил... Но в недалеком расстоянии оттуда зачинались пространные степные болота, в которых, во время летнего прилета, водилось много дупелей; мой товарищ и я — мы оба были страстные охотники, а потому и сговорились съехаться — он из Москвы, я из своей деревеньки — к Петрову дню в его домик. Приятель мой замешкался в Москве и опоздал двумя днями; я без него не хотел начать охоты. Меня принял старый слуга, по имени Наркиз Семенов: его предупредили о моем приезде. Этот старый слуга нисколько не походил на «Савельича» или на «Калеба»; мой товарищ звал его в шутку «Маркизом». В нем было что-то самоуверенное, даже утонченное, не без достоинства: он смотрел на нас, молодых людей, свысока, но и к другим помещикам не нитал особенного уважения; о прежнем барине отзывался небрежно, а свою братью просто презирал — за невежество. Сам он умел читать и писать, выражался правильно и вразумительно — и водки не пил. В церковь ходил редко — так что его раскольников считали. Из себя он был худощав и высок, лицо имел длинное и благообразное, острый нос и нависшие брови, которые он беспрестанно то надвигал, то поднимал; носил просторный, опрятный сюртук и сапоги до колен с вырезанными в виде сердца голенищами.

¹ «Бьют — молчат» (англ.).

В самый день моего прибытия Наркиз, подав мне позавтракать и убрав со стола, остановился в дверях, пристально посмотрел на меня и, поиграв бровями, промолвил:

— Что же вы, сударь, теперь делать будете?

— А я, право, не знаю. Если бы Николай Петрович свое сдержал, приехал — мы бы на охоту вместе отправились.

— А вы, стало, сударь, надеялись, что они так в самый раз и приедут, как обещались?

— Конечно, надеялся.

— Гм.— Наркиз опять посмотрел на меня и как бы с сожалением покачал головою.— Коли чтением позабавиться желательно,— продолжал он,— от старого барина остались книжки; я их, буде угодно, принесу; только вы их читать не станете, так полагать надо.

— Почему?

— Книжки-то пустые; не для теперешних господ писаны.

— Ты их читал?

— Не читал, не стал бы говорить. Сонник, например... это что ж за книга? Ну, есть другие... только вы их тоже не станете читать.

— А что?

— Божественные.

Я помолчал... Наркиз помолчал тоже.

— Главное-то мне досадно,— начал я,— в этакую погоду — дома сидеть.

— В саду прогуляйтесь; а не то в рощу сходите. Тут у нас роща за гумном. Не охочи ли вы рыбу ловить?

— А у вас есть рыба?

— Есть, в пруде. Гольцы, пескари, окуни попадаются. Теперь, конечно, настоящая пора прошла: июль на дворе. Ну... а все-таки попытаться можно... Прикажете удочку снарядить?

— Сделай одолжение.

— Я с вами мальчика пошлю... червей насаживать. А то разве самому пойти? — Наркиз, очевидно, сомневался в том, сумею ли я один справиться.

— Пойдем, пожалуйста, пойдем.

Наркиз улыбнулся молча, но во весь рот, потом вдруг надвинул брови... и вышел из комнаты.

Полчаса спустя мы отправились ловить рыбу. Наркиз надел какой-то необыкновенный, ушастый картуз и стал еще величественнее. Он выступал впереди, степенным, ровным шагом; две удочки мерно колыхались на его плече; босоногий мальчишка нес за ним лейку и горшок с червями.

— Тут, возле плотины, на плоту лавочка устроена для удобства, — начал пояснять мне Наркиз, заглянул вперед и вдруг воскликнул: — Эго! да наши убогие уж тут... Повадились!

Я вытянул из-за него голову и увидел на плоту, на той самой лавочке, о которой он говорил, двух сидевших к нам спиной людей: они преспокойно удили рыбу.

— Кто это? — спросил я.

— Соседи, — отвечал с неудовольствием Наркиз. — Дома-то есть им нечего, так вот они к нам и жалуют.

— А им позволяется?

— Препятствие барин позволял... разве вот Николай Петрович не разрешит... Длинный-то — дьячок из заштатных: совсем пустой человек; ну, а тот, что потолще, — бригадир.

— Как бригадир, — повторил я с изумлением. Одежда на этом «бригадире» была чуть ли не хуже дьячковской.

— Я же вам докладываю: бригадир. И состояние у них было хорошее. А теперь вот из милости угол отведен, и живут... так, чем господь пошлет. Однако, между прочим, как же быть? Заняли они лучшее место... Надо будет дорогих гостей потревожить.

— Нет, Наркиз, пожалуйста, не тревожь их. Мы тут же присядем в стороне: они нам не мешают. Мне с бригадиром хочется познакомиться.

— Как угодно-с. А только что если насчет знакомства... много удовольствия вы, сударь, получить не надеетесь; слабы они очень понятием стали и в «разговорке» тупы... что малый ребенок. И то сказать: восьмой десяток доживают.

— Как его зовут?

— Васильем Фомичом. По фамилии — Гуськов.

— А дьячка как?

— Дьячка-то?.. прозвище ему — Огурец. Его здесь все так величают, а какое его настоящее имя — господь ведает! Пустой человек! Как есть проходимец!

— Они живут вместе?

— Нет, не вместе; да черт их... знаете... веревочкой связал.

Мы подошли к плоту. Бригадир вскинул на пас глазами... и тотчас устремил их на поплавок; Огурец вскочил, выдернул удочку, снял свою истасканную поповскую шляпу, провел трепетной рукой по жестким, желтым волосам, поклонился наотмашь и засмеялся дряблым смехом. Его припухлое лицо изобличало горького пьяницу; съезженные глазки униженно моргали. Он толкнул своего соседа в бок, как бы давая ему знать, что надо, мол, убираться... Бригадир зашевелился на лавочке.

— Сидите, прошу вас, не беспокойтесь,— поспешно заговорил я.— Вы нам несколько не мешаете. Мы тут поместимся; сидите.

Огурец запахнул свой дырявый балахон, передернул плечами, губами, бородкой... Наше присутствие, видимо, его стесняло... и он бы охотно улизнул, но бригадир снова погрузился в созерцание своего поплавка... «Проходимец» кашлянул раза два, присел на самый край лавочки, положил шляпу на колени и, подбрав под себя свои голые ноги, скромно закинул удочку.

— Ключет? — с важностью спросил Наркиз, медлительно разматывая лесу.

— Штучек пять гольцов залучили,— отвечал Огурец разбитым и силным голосом,— да вот они порядочного окунька поймали.

— Да, окунька,— пискливо повторил бригадир.

VI

Я принялся пристально рассматривать — не его, а опрокинутое его отражение в пруде. Оно мне представлялось ясно, как в зеркале, немного темней, немного серебристей. Широкий пруд дышал на нас прохладой; прохладой веяло и от сырого обрывистого берега; и тем слаще была она, что там, над головою, в золотистой и темной лазури, над купами деревьев, ощутительным бременем навис неподвижный зной. Вода не колыхалась около плота; в тени, падавшей на нее с раскидистых прибрежных кустов, блестели, как крохотные светлые пуговики, водяные паучки, описывавшие свои вечные круги; лишь изредка чуть заметная рябь шла от поплавков, когда рыба «шалילה» с червяком. Бралась она очень плохо: в течение целого часа мы вытащили двух гольцов и пескаря. Я бы не сумел сказать, почему бригадир возбуждал мое любопытство: чин его не мог на меня действовать; разоренные дворяне и в то время не считались редкостью — и самая его наружность не

представляла ничего замечательного. Из-под теплого картуза, закрывавшего всю верхнюю часть его головы до бровей и до ушей, виднелось красное, гладко выбритое, круглое лицо, с маленьким носом, маленькими губками и светло-серыми небольшими глазами. Простоту и слабость душевную и какую-то давнишнюю беспомощную грусть выражало это смиренное, почти детское лицо; в пухлых белых ручках с короткими пальцами было тоже что-то беспомощное, неумелое... Я никак не был в состоянии себе представить, каким образом этот убогий старичок мог когда-то быть военным человеком, комапдовать, распорядиться — да еще в екатерининские суровые времена! Я глядел на него: иногда он наддувал щеки и слабо пыхтел, как ребенок, иногда он щурился болезненно, с усилием, как все дряхлые люди. Раз он широко раскрыл и поднял глаза... Они уставились на меня из водной глубины — и странно трогательным и даже значительным показался мне их унылый взор.

VII

Я старался заговорить с бригадиром... но Наркиз не обманул меня: бедный старик действительно очень слаб понятием стал. Он осведомился о моей фамилии и, переспросив меня раза два, подумал, подумал и промолвил наконец: «Да у нас, кажись, был такой судья. Огурец, был у нас такой судья — ась?» — «Был, был, батюшка, Василий Фомич, ваше благородие, — отвечал ему Огурец, который вообще обходился с ним, как с ребенком. — Был, точно. А удочку вашу мне пожалуйста: у вас червячок, должно, съеден... Съеден и есть».

— С ломовским семейством изволили быть знакомы? — внезапно, напряженным голосом спросил меня бригадир.

— Какое такое ломовское семейство?

— Какое? — Ну, Федор Иваныч, Евстигней Иваныч, Алексей Иваныч жид, ну, Феодулия Ивановна грабительница... а там еще...

Бригадир вдруг умолк и потупился.

— Самые им близкие были люди, — наклонясь ко мне, шепнул Наркиз, — чрез них, чрез самого этого Алексея Иваныча, что жидом они обозвали, да еще через одну Алексея Иванычину сестрицу, Аграфену Ивановну, — они, можно сказать, всего состояния лишились.

— Что ты там об Аграфене Ивановне толкуешь? — воскликнул вдруг бригадир, и голова его поднялась, белые брови нахмурились... — Ты смотри у меня! И какая она тебе Аграфена? Агрипина Ивановна — вот как надо... ее называть.

— Ну-ну-ну-ну, батюшка,— залепетал было Огурец.

— Ты разве не знаешь, что про нее Милонов-стихотворец сочинил? — продолжал старик, внезапно войдя в совершенно мною неожиданный азарт. — «Не брачные свечи возженны,— начал он нараспев, произнося все гласные в нос, а слоги «ан» и «ен» — как французские *an, en*,— и странно было слышать из уст его эту связную речь,— не факелы...» Нет, это не то, а вот:

Не бранным тления кумиром,
Не амаранфом, не порфиром
Столь услаждаются они...
Одно лишь в них...

Это про нас. Слышишь?

Одно лишь в них непреткновенно,
Приятно, томно, вожделенно:
Взаимный жар питать в крови!

А ты — Аграфена!

Наркиз усмехнулся полупрезрительно, полуравнодушно.

— Эх-ма, каженник!¹ — проговорил он про себя. Но бригадир уже опять потупился — удочка вывалилась из его руки и соскользнула в воду.

VIII

— А что, как я погляжу, дело-то наше — дрянь,— промолвил Огурец,— рыба, вишь, не клюет вовсе. Уж жарко больно стало, а нашего барина «мехлюдия»² постигла. Видно — домой пойти; лучше будет. — Он осторожно достал из кармана жестяную фляжку с деревянной пробочкой, откупорил ее, насыпал себе на соколочек табаку — да и дернул по обоим ноздрям разом... — Эх, табачок! — простонал он, приходя в чувство,— ажнó тоска по зубам заиграла! Ну, голубчик Василий Фомич, извольте подниматься — пора!

Бригадир встал с лавочки.

— Далеко вы отсюда живете? — спросил я Огурца.

— Да они-то вот недалеко... и версты не будет.

— Позвольте вы мне проводить вас? — обратился я к бригадиру. Мне не захотелось отстать от него.

Он посмотрел на меня и, улыбнувшись той особенной, важной, вежливой и несколько жеманной улыбкой, которая, не знаю

¹ Каженник — идиот, чужак.

² Мехлюдия — меланхолия.

как другим, а мне всякий раз напоминает пудру, французские кафтаны с стразовыми пуговицами — вообще восемнадцатый век, — проговорил с старомодной расстановкой, что «о-чен-но будет рад»... и тотчас опять опустил. Екатерининский кавалер мелькнул в нем на мгновение — и исчез.

Наркиз удивился моему намерению; но я не обратил внимания на неодобрительное покачивание его ушастого картуза и вышел из сада вместе с бригадиром, которого поддерживал Огурец. Старик двигался довольно быстро, как на деревяшках.

IX

Мы шли чуть-чуть проторепной тропинкой, по травянистой долине, между двумя березовыми рощами. Солнце пекло; иволги перекликались в зеленой чаще, коростели трещали возле самой тропинки, голубенькие бабочки перелетывали стайками по белым и красным цветам низкого клевера; пчелы, словно сонные, путались и вяло жужжали в недвижной траве. Огурец встряхнулся, оживился; Наркиза он боялся — он жил у него под глазами; я был ему чужой, заезжий — со мною он скоро освоился. «Вот, — зачистил он, — наш барин — постник, что толковать! А одним окуньком — как тут сыту быть? Разве вы, ваше благородие, что пожертвуете? Тут сейчас за поворотком в кабачке — отличные калачики-ситнички. А коли милость будет, так и аз многогрешный при этом случае за ваше здравие — долголетие-долгоденствие, шкальчик выкушаю». Я дал ему двугривенный и едва успел отдернуть руку, которую он бросился лобызать. Он узнал, что я охотник, и пустился толковать о том, что у него есть хороший знакомый офицер, у которого шведское мин-дин-ден-герровское ружье с медным стволом — что твоя пушка! выпалишь — так словно забытые найдут: после французов осталось!.. и собака — просто игра природы! что он сам всегда большую страсть к охоте имел, и поп бы ничего — вместе с ним перепелов лавливал, — да благочинный до бесконечности его затиранил; а что до Наркиза Семеныча, — промолвил он параспев, — так ежели я по ихнему понятию обстоятельный человек на сем свете есть — и я на то доложу: отрасли они себе брови не хуже тетерева, да и полагают, что чрез то все науки произошли. — Тем временем мы подошли к кабачку — одинокой ветхой избушке без задворка и клетки; отошала собака лежала, свернувшись, под окошком; курица копалась в пыли перед самым ее носом. Огурец усадил бригадира на завалинке и мгновенно шмыгнул в избушку. Пока он покупал калачики да подносил себе шкалик — я глаз не сводил с бригадира, который, бог

ведает почему, мне представлялся загадкой. В жизни этого человека — думалось мне — наверное произошло что-нибудь необыкновенное. А он, казалось, и не замечал меня вовсе; сидел, сгорбившись, на завалинке и перебирал в пальцах несколько гвоздик, сорванных им в саду моего приятеля. Огурец появился наконец со связкой калачиков в руке; появился весь красный и потный, с выражением радостного удивления на лице, как будто он только что увидел нечто чрезвычайно приятное и для него неожиданное. Он тотчас предложил бригадиру откусить калачика — и тот откусил. Мы отправились далее.

Х

В силу выпитой водки Огурца совершенно, как говорится, «разлимонило». Он принялся утешать бригадира, который продолжал спешить вперед, пошатываясь, как на деревяшках.

— Что вы, батюшка барин, невеселы, нос повесили? Позвольте, я вам песенку спою. Сейчас всякое удовольствие получите... Вы не извольте сумлеваться, — обратился он ко мне, — барин у нас пресмешливый, и боже ты мой! Вчерась я гляжу: баба на плоту портки моет — да толстая же и попалась баба — а они сзади стоят да от смеху так и киснут, ей-богу!.. Вот позвольте сейчас: про зайца песню знаете? Вы не глядите на меня, что я невзрачен есть; у нас тут в городе цыганка живет, рыло рылом — а запоет: гроб! ложись да помирай. — Он широко раскрыл свои мокрые красные губы и запел, загнув голову набок, закрыв глаза и потряхивая бородкой:

Лежит заяц под кустом;
Ездит охотнички по пустом...
Лежит заяц, еле дышит —
Между тем он ухом слышит —
Смерти ждет!

Чем вам, охотнички, я досадил?
Иль какую бедушку учинил?
Я в капустах хоть бываю,
По одному листу съедаю —
И то не у вас!
Да-с!

Огурец все более задавал форсу:

Скакнул заяц в темный лес
И охотничкам фост поднес.
Вы, охотнички, простите,
На мой фостик поглядите —
Я не ваш!

Огурец уже не пел... Он орал:

Ездили охотники до су-так...
Разбирали заячий па-сту-пак...
Меж собой все толковали
И друг дружку обругали:

Заяц-то не наш!
Косой обманул!!

Первые два стиха каждого куплета Огурец пел протяжным голосом — остальные три, напротив, очень живо, причем щеголевато подпрыгивал и переступал ногами; по окончании же куплета откалывал «колени», то есть ударял самого себя пятками. Воскликнув во все горло: «Косой обманул!», он перекувырнулся... Ожидания его оправдались. Бригадир вдруг залился тонким слезливым хохотом, да так усердно, что дальше идти не мог — и слегка присел, бессильно похлопывая руками по коленкам. Я глядел на его побагровевшее, судорожно искривленное лицо, и очень мне жаль его стало — именно в это мгновенье. Воодушевленный успехом, Огурец пустился вприсядку, беспрестанно приговаривая: «Шилды-будылды да начики-чикалды!..» Он ткнулся наконец носом в пыль... Бригадир внезапно перестал хохотать и заковылял дальше.

XI

Мы прошли еще с четверть версты. Показалась маленькая деревушка на краю неглубокого оврага; в стороне виднелся «флигель» с полуразметанной крышей и одинокой трубой; в одной из двух комнат этого флигелька помещался бригадир. Владетельница деревушки, постоянная обитательница Петербурга, статская советница Ломова, отвела — как я узнал впоследствии — этот уголок бригадиру. Она велела выдавать ему месячину, а также приставить к нему для услужения проживавшую в той же деревне дурочку из дворовых, которая, хотя и плохо понимала человеческую речь, однако могла, по мнению советницы, и пол подмести и щи сварить. На пороге флигелька бригадир снова обратился ко мне с прежней екатерининской улыбкой: не угодно ли, мол, мне пожаловать в его апартамент? Вошли мы в этот «апартамент». Все в нем было до крайности грязно и бедно, так грязно и так бедно, что бригадир, вероятно заметив по выражению моего лица, какое впечатление произвело на меня его жилище, промолвил, пожав плечами и прищурившись: «Се-не-па... оль-де-пердри»...¹

¹ «Ce n'est pas... œil de perdrix». — Это не птичий глаз (*фр.*).

Что, собственно, хотел он этим сказать — осталось мне не совсем ясным... Заговорив с ним по-французски, я не получил ответа на этом языке. Два предмета особенно поразили меня в жилище бригадира: во-первых, большой офицерский георгиевский крест в черной раме, под стеклом, с надписью старинным почерком: «Получен полковником Черниговского Дерфельдена полка Василием Гуськовым за штурм Праги в 1794-м году»; а во-вторых, поясной масляный портрет красивой черноглазой женщины с продолговатым и смуглым лицом, высоко взбитыми и напудренными волосами, с мушками на висках и подбородке, в пестром вырезном робоне с голубыми оборками, эпохи восьмидесятых годов. Портрет был плохо написан — но, паверное, очень схож: чем-то слишком жизненным и несомненным веяло от этого лица. Оно не глядело на зрителя, как бы отворачивалось от него и не улыбалось; в горбине узкого носа, в правильных, но плоских губах, в почти прямой черте густых сдвинутых бровей сказывался повелительный, надменный, вспылчивый нрав. Не нужно было особого усилия, чтобы представить себе, как это лицо могло внезапно загораться страстию или гневом. Под самым портретом, на небольшой тумбочке, стоял полузавядший букет простых полевых цветов в толстой стеклянной банке. Бригадир приблизился к тумбочке, воткнул в банку принесенные им гвоздики и, обернувшись ко мне и подняв руку в направлении портрета, промолвил: «Агрипина Ивановна Телегина, Ломова урожденная». Слова Наркиза пришли мне на память: я с удвоенным вниманием посмотрел на выразительное и недоброе лицо женщины, из-за которой бригадир всего состояния лишился.

— Вы, я вижу, присутствовали при штурме Праги, господин бригадир,— начал я, указывая на георгиевский крест,— и удостоились получить знак отличия, во всякое время редкий, а тогда подавно; вы, стало быть, помните Суворова?

— Александра Васильича-то? — отвечал бригадир, помолчав немного и как бы собираясь с мыслями,— как же, помню, маленький был, живой старичок. Ты стоишь, не чукнешь — а он тудысюды (бригадир захохотал). В Варшаву-то на казачьей лошади въехал; сам весь в бралаиантах, а полякам говорит: «Нету у меня часов, в Питере забыл, нету, нету!», а они-то: «Виват! виват!» Чудаки! Эй! Огурец! малый! — прибавил он вдруг, переменяв и возвысив голос (балагур-дьячок оставался за дверью),— где ж калачики-то? Да Груньке скажи... как бы кваску!

— Сейчас, батюшка барин,— послышался голос Огурца.

Он вручил бригадиру связку ситничков и, выйдя из флигелька, подошел к какому-то взъерошенному существу в лохмотьях, должно быть, самой той дурочке Груньке — и, сколь-

ко я мог разобрать сквозь запыленное окошко, начал требовать от нее «кваску» — ибо несколько раз сряду приставлял одну руку воронкой ко рту, а другою махал в нашу сторону.

XII

Я снова попытался вступить в беседу с бригадиром; но он, видимо, устал, опустился, кряхтя, на лежанку и, простилав: «ой, ой, косточки, косточки», развязал свои подвязки. Помнится, меня тогда удивило, как это у мужчины могли быть подвязки? Я не собрал, что в прежнее время все их носили. Бригадир принялся зевать продолжительно и откровенно, не спуская с меня оступелых глаз: так зевают очень маленькие дети. Бедный старик, казалось, не совсем даже понимал мои вопросы... И он брал Прагу! Он, со шпагой нагольб, в дыму, в пыли — в челе суворовских солдат, простреленное знамя над головой, обезображенные трупы под ногами... Он... он?! Не удивительно ли? Но мне все-таки сдавалось, что в жизни бригадира происходили события еще более необыкновенные. Огурец принес белого квасу в железном ковшике; бригадир напился с жадностью — руки его тряслись. Огурец поддерживал дно ковшика. Старик старательно отер свой беззубый рот обеими ладонями — и снова, уставившись на меня, зажевал и зачмокал губами. Я понял, в чем дело, раскланялся и вышел из комнаты.

— Теперь почивать будут, — заметил Огурец, выступая за мною. — Очень уж уморились сегодня — на могилку с утра ходили.

— На чью могилку?

— А к Аграфене Ивановне на поклонение... Они тут у нас в приходском кладбище похоронены; верст отсюда пять будет. Василий Фомич каждую неделю беспременно к ним ходят. Да он же их и похоронил и ограду поставил на свой кошт.

— А давно она скончалась?

— Да лет почитай с двадцать.

— Она ему приятельницей была, что ли?

— Всю жисть, как есть, с ними провели... помилуйте. Сам я барыни той, признаться, не знавал — а, говорят, промеж их дела были... ннну! Господин, — поспешно прибавил дьячок, видя, что я отвернулся, — не соблаговолите ли, не пожалуете ли «още» на шкалик — а то мне пора в пуньку¹ да под шептуху².

Я не почел за нужное расспрашивать Огурца — дал ему еще двугривенный — и отправился домой.

¹ Клеть.

² Одеяло из грубого сукна.

Дома я обратился за сведениями к Наркизу. Он, как и следовало ожидать, поломался немного, поважничал, выразил свое удивление, что меня такие пустяки «антересовать» могут, и, наконец, рассказал, что знал. Я услышал следующее:

Василий Фомич Гуськов познакомился с Аграфеной Ивановной Телегиной в Москве, вскоре после польского погрома; муж ее служил при генерал-губернаторе, а Василий Фомич находился в отпуску. Он тогда же в нее влюбился, но в отставку не выходил: человек он был одинокий, лет сорока, с состоянием. Муж ее вскоре умер. Она осталась после него бездетной, в бедности, в долгах... Василий Фомич узнал об ее положении, бросил службу (ему дали при отставке бригадирский чин) и отыскал свою любезную вдовушку, которой всего двадцать пятый год пошел, заплатил все ее долги, выкупил имение... С тех пор он уже с нею не расставался и кончил тем, что поселился у нее. Она тоже словно полюбила его, но выйти за него замуж не хотела. «Блажная была покойница,— заметил при этом Наркиз,— мне, говорит, своя воля дороже всего». А пользоваться им — она пользовалась, «во всех частях» — и деньги, какие у него были, он все к ней тащил, как «муравей». Но блажь Аграфены Ивановны принимала иногда размеры необычайные: праву она была неукротимого и на руку дерзка... Однажды она с лестницы своего казачка столкнула, а тот возьми да переломи себе два ребра да ногу... Аграфена Ивановна испугалась... тотчас велела запереть казачка в чулан, и до тех пор сама из дому не выходила и ключ от чулана никому не отдала, пока не прекратились в нем стенанья... Казачка тайком похоронили... И будь это при императрице Екатерине,— прибавил шепотом, пригнувшись, Наркиз,— может, и так бы дело обошлось, много таких делов тогда осталось под спудом, а то... — тут Наркиз выпрямился и возвысил голос, — воцарился тогда справедливый государь Александр Благословенный... ну, и завязало дело... Приехал суд, отрыли тело... оказались боевые знаки... пошел дым коромыслом. И как же вы полагаете? Василий Фомич все на себя взял. «Я, мол, причиной, я толкнул, да я же и запер». Ну, разумеется, сейчас все судьбы там, приказные, полицейские... на него, да на него, и до тех пор, доложу вам... его трепали, пока последний грош из кошмы не выскочил. Нет, нет... да опять за ворот. До самого француза — вот как француз к нам в Расею приходил — всё трепали; тогда только бросили. Ну, а Аграфену Ивановну он обеспечил — точно; он ее спас — так сказать надо. Ну и после, до самой ее кончины, он у ней жил, и, сказывают, помыкала же она

им — бригадиром-то — зря; пешком из Москвы в деревню посыла-ла, ей-богу — за оброком, значит. Он из-за нее, из-за самоё тоё Аграфены Ивановны, с английским милордом Гузе-Гузом на шпантонах дрался; и английский милорд должён был произнести извинительный комплимент. Так вот он, бригадир-то, с тех мест и скопытился... Ну, а теперь уж он, конечно, не в числе челове-ков.

— Кто же этот Алексей Иваныч жид,— спросил я,— через кого он разорился?

— А братец Аграфены Ивановны. Алчная была душа, уж точно жидовская. Сестре в рост деньги отдавал, а Василий Фомич поручителем. Поплатился тоже... лихо!

— А Феодулия Ивановна грабительница? Это... кто была?

— Тоже сестрица... и ловкая тоже. Копье, что называется... бедовая!

XIV

«Вот где проявился Вертер!» — думал я на следующий день, снова направляясь к жилищу бригадира. Я был тогда очень мо-лод — и, быть может, именно потому и считал своей обязанностью не верить в продолжительность любви. Все же я был поражен и несколько озадачен слышанным мною рассказом, и ужасно мне захотелось расшевелить старика, заставить его разговориться. «Сперва упомяну опять о Суворове,— так рассуждал я с самим собою,— должна же в нем таиться хоть искра прежнего огня... а потом, когда он разогреется, наведу речь на эту... как бишь ее?.. Аграфену Ивановну. Странное имя для «Шарлотты» — Агра-фена!»

Я застал Вертера-Гуськова посреди крохотного огородца, в нескольких шагах от флигелька, возле старого, крапивой порос-шего сруба никогда не выведенной избы. По заплесневшим верх-ним бревнам этого сруба с писком пробирались, беспрепятственно скользя и хлопая крыльями, тщедушные индюшата. На двух-трех грядках росла кое-какая убогая зелень. Бригадир только что выта-щил из земли молодую морковь и, продернув ее у себя под мыш-кою — «для очищения»,— принялся жевать ее тонкий хвостик... Я поклонился ему и осведомился об его здоровье.

Он, очевидно, не узнал меня, хотя и отдал мне мой поклон — то есть прикоснулся рукой к картузу, не переставая, однако, же-вать морковь.

— Сегодня вы не пришли ловить рыбу? — начал я, в надежде паомнить ему мою фигуру этим вопросом.

— Сегодня? — повторил он и задумался... а морковь, воткнутая в его рот, сокращалась да сокращалась. — Да ведь это Огурец ловит рыбу!.. А мне тоже позволяют.

— Конечно, конечно, почтеннейший Василий Фомич... Я не с тем... Но вам не жарко... этак на солнце?

На бригадире был толстый ваточный халат.

— А? Жарко? — повторил он опять, как бы недоумевая, и, окончательно проглотив морковь, рассеянно посмотрел вверх.

— Не угодно ли пожаловать в мой апартамент? — заговорил он внезапно. У бедного старика, видно, одна только эта фраза и осталась в распоряжении.

Мы вышли из огорода... но тут я невольно остановился. Между нами и флигелем стоял огромный бык. Склонив голову до самой земли, злобно поводя глазами, он тяжело и сильно фыркал и, быстро сгибая одну переднюю ногу, высоко взбрасывал пыль своим широким раздвоенным копытом, бил хвостом себе по бокам и вдруг немного пятился, упорно тряс мохнатой шеей и мычал — негромко, жалобно и грозно. Я, признаюсь, смутился; но Василий Фомич преспокойно выступил вперед и, проговорив строгим голосом: «Ну ты, деревенщина», — махнул платком. Бык еще попятился, склонил рога... и вдруг бросился в сторону и побежал, мотая головой направо и налево.

«А он точно брал Прагу», — подумал я.

Мы вошли в комнату. Бригадир стащил картуз со вспотевших волос, воскликнул: «Фа!..», прикорнул на край стула... и поворулся...

— Я зашел к вам, Василий Фомич, — начал я свои дипломатические апроши, — собственно, за тем, что так как вы служили под начальством великого Суворова — вообще участвовали в таких важных событиях, — то для меня было бы весьма интересно знать подробности...

Бригадир уставился на меня... Лицо его странно оживилось — я уже ожидал если не рассказа, то по крайней мере одобрительного, сочувственного слова...

— А я, господин, должнó, скоро умру, — проговорил он вполголоса.

Я пришел в тупик.

— Как, Василий Фомич, — вымолвил я наконец, — почему же вы... это полагаете?

Бригадир внезапно задергал руками — вверх, вниз — опять-таки по-ребячьи.

— А потому, господин... Я... вы, может, знаете... Агриппину Ивановну покойницу — царство ей небесное! — часто во сне вижу, и никак я ее поймать не могу; все гоняюсь за нею, а не

поймаю. А в прошлую ночь — вижу я — стоит она этак будто передо мной в пол-оборота и смеется... Я тотчас же к ней побег — и поймал... И она будто обернулась вовсе и говорит мне: «Ну, Васенька, тепер ты меня поймал».

— Что же вы из этого заключаете, Василий Фомич?

— А то, господин, заключаю: стало, вместе нам быть. Да и слава богу, доложу вам; слава господу богу, отцу и сыну и святому духу (бригадир запел) — и ныне и присно и во веки веков, аминь!

Бригадир начал креститься. Больше я ничего от него добить-ся не мог — так и ушел.

XV

На следующий день мой приятель приехал... Я упомянул о бригадире, о моих посещениях... «Ах, да! как же! я его историю знаю,— отвечал мой приятель,— я и со статской советницей Ломовой хорошо знаком, по милости которой он тут приютился. Да постой, у меня, кажется, здесь должно письмо его храниться, к той самой статской советнице; она ему в силу этого письма и уголок отвела». Приятель мой порылся в своих бумагах и действительно нашел письмо бригадира. Вот оно от слова до слова, за исключением орфографических ошибок. Бригадир, как все люди тогдашней эпохи, путался в буквах «е» и «ѣ»,— писал: «хкому, штоп, слюдми» и т. д. Сохранить эти ошибки не предстояло надобности: письмо его и без того носит отпечаток своего времени.

«Милостивая государыня!
Раиса Павловна!

По кончине друга моего, а вашей тетушки, имел я счастье писать к вам два письма, первое июня от первого, второе же июля от шестого числа 1815 года — а она скончалась шестого мая того ж года; в них был я вам открыт в чувствах души и сердца моего, которые стеснены были убийственным оскорблением и изображали в полном виде ожесточенное мое и жалости достойное отчаяние; оба письма посланы по коронной почте страховыми, а по-сему и не можно усумниться, чтоб они не были вами прочтены. Чрез откровенность мою в них я надеялся получить ваше благодетельное ко мне внимание; но сострадательные ваши чувства отдалены были от меня, горького! Оставшись же после единственного друга, Агриппины Ивановны, в самом расстроенном и бедственном состоянии, я только и полагал, по словам ее, всю мою надежду на ваше благоутробие; она, чувствуя уже кончину жизни

своей, сказала мне именно сими, яко бы надгробными и мне вечно памятными словами: «Друг мой, я твоя змея и виновница всего твоего несчастья, я чувствую, сколько много ты мне жертвовал, и за то оставляю тебя в злополучном и воистину обнаженном положении; по смерти моей прибегни ты к Раисе Павловне» — то есть к вам — «и проси у ней помощи, взывай! Она имеет душу чувствительную, и в ней я уверена, что она тебя, сироту, не оставит». Милостивая государыня, примите во свидетельство всевышнего создателя мира, что это ее слова, и я говорю ее языком; а посему, утверждаясь в добродетели вашей, к первой к вам отнесся с чистосердечными и открытыми моими письмами; но по долговременном ожидании не получа на них ответа, иначе не мыслил, что добродетельное ваше сердце оставило меня без внимания! Такое неблагоприятное положение ваше ко мне в вѣщнее меня ввергло отчаяние — куды ж и к кому было мне, бесталанному, прибегнуть — я не знал; рассудок был потерян, дух блуждал — наконец, к совершенной моей гибели провидению угодно было еще жесточайшим образом меня наказать и обратить мои мысли к покойнице же, вашей же тетушке, Феодулии Ивановне, Агриппины Ивановны сестре единоутробной, но не единосердной! Представя самому себе в воображении то, что уже двадцать лет был я предан всему родственному ломовскому вашему дому — особливо же Феодулии Ивановне, которая иначе не называла Агриппину Ивановну, как «сердечный мой дружок», а меня «препочтенный радатель нашего семейства», — представя все сие в обильной воздыханиями и слезами тишине скорбных ночных бдений, я подумал: «Ну, бригадир, так, видно, тому и быть!» — и, обратившись к оной Феодулии Ивановне с моими письмами, получил точное удостоверение, что последнюю кроху со мной разделят! Быв сим обещаьем обнадежен, собрал убогие свои остатки и поехал к Феодулии Ивановне! Привезенные мною гостинцы, более как на пятьсот рублей, были приняты с отменным удовольствием; а потом и деньги, которые я привез для содержания себя, Феодулии Ивановне угодно было, под видом сохранения, взять в свое ведение, чему, угрождая ей, я не противился. Если же вы спросите меня: отколе и в силу чего такое доверие я возымел, — на сие, сударыня, один ответ: Агриппине Ивановне сестра и ломовского семейства ветвь!! — Но увы и ах! денег сих я всех вскорости лишился, и надежда моя, которую я полагал на Феодулию Ивановну, — что хотела последнюю кроху со мной разделить, оказалась тщетной и суетной: напротив, она Феодулия Ивановна моим же добром себя угобзила. А именно, в день ее ангела, пятого февраля, я ей зеленой французской материи на пятьдесят рублей, по пяти рублей аршин, преподнес; сам же из обещанного получил: белого

пике на жилет на пять рублей да кисейный на шею платок, которые подарки при мне же были куплены и, как мне известно, из моих же денег — и вот все, чем я, по благодаянию Феодулии Ивановны ко мне, воспользовался! Вот оная последняя кроха! И я бы мог далее в самой истине обнаружить все недоброжелательные Феодулии Ивановны со мной поступки — а также и мои, всяческую меру превосходящие депансы, как-то, между прочим, на конфеты и фрукты, которые Феодулия Ивановна была великая охотница кушать; но все сие умалчиваю для того, дабы вы такое объяснение об умершей не отнесли в дурную сторону; и притом, так как бог призвал ее к себе на суд — и все, что я от нее претерпел, из сердца моего истребилось, — то я ей, как христианин, простил давно и умоляю бога, чтобы он ей простил!!

Но, милостивая государыня, Раиса Павловна! Неужели ж вы обвиняете меня за то, что я был верным и неложным другом вашего семейства, и за то, что так много и непреоборимо любил Агриппину Ивановну, жертвовал ей моей жизнью, моей честью и всем моим состоянием! был в совершенной ее власти и потому не мог уже управлять ни самим собою, ни моей собственностью — а распоряжалась она по своей воле как мною, так и моим состоянием! Вам известно и то, что по делу ее с людьми ее я терплю *невинно* убийственное оскорбление — дело сие я перенес после смерти ее в сенат, в шестой департамент — оно еще теперь не решено, — по которому сделали меня соучастником с нею, отдали в опеку и всё еще судят уголовным судом! В моем звании, в мои лета, такое бесчестие несносно мне; и остается мне только сим горестным размышлением ублажать свое сердце, что, следовательно, и по смерти Агриппины Ивановны я страдаю за нее, — и сие означает следы неизменной любви и добродетельной благодарности моей к ней!

В упомянутых моих к вам письмах я доводил до сведения вашего о похоронах Агриппины Ивановны со всею подробностью — и какое было по ней поминовение; дружба и любовь моя к ней по состоянию ничего не щадили! На все сие — и с сорокоустами, и за шесть недель за чтение по ней псалтыри (сверх того, пятьдесят рублей ассигнациями мои пропали, кои даны в задаток за камень, о котором я вас уведомил), — на все сие издержано собственных моих денег семьсот пятьдесят рублей ассигнациями, в числе которых и внесенные заместо вклада в церковь полтораста рублей ассигнациями ж!

Благотворная душа твоя, внемли гласу отчаянного и вверженного в пропасть жесточайших мучений! Одно сострадание твое к человеколюбию может возвратить жизнь погибшего!! Я хотя и жив — но в страдании души и сердца моего мертв;

мертв, когда вспомню, чем был и что есмь: был воином и отечеству всею правдою служил и прямил, как истому россиянину и верному подданному несомненно надлежит,— и отменными знаками награждаем был,— и состояние, сообразное с рождением и званием имел; а ныне из-за насущного хлебопитания горбом хребет сгибаю; мертв же особенно я есмь, когда вспомню, какого друга лишился... И на что мне жизнь после сего? Но предела своего не ускоришь, и земля не расступится, а скорее того в камень обратится! А потому взываю к тебе, душа добродетельная, утиши молву народную, не дай себя в общее осуждение, что за таковую мою безграничную преданность я пристанища себе не имею, удиви милостию твоею ко мне, обрати язык злобствующих и завидующих к прославлению твоих достоинств — и осмелюсь со всяческим смирением присовокупить,— утешь во гробе дражайшую тетку твою, незабвенную Агриппину Ивановну, которая за твою благопоспешную помощь, моими грешными молитвами, прострет над главою твоею свои благославящие длани, успокой на закате дней одипокого старца, который не такую мог ожидать себе участь!.. А впрочем, с глубочайшим почтением имею счастье назваться вашим, милостивая государыня,

преданнейшим слугою

Василий Гуськов,
бригадир и кавалер».

XVI

Несколько лет спустя я снова посетил деревушку моего приятеля... Василия Фомича уже давно в живых не было: он скончался вскоре после моего знакомства с ним. Огурец все еще здоровал. Он свел меня на могилку Аграфены Ивановны. Железная ограда окружала большую плиту с подробной и пышной эпиграфией покойницы; а тут же, рядом, и как бы у ног ее, виднелся небольшой холмик с покривившимся крестом; раб божий, бригадир и кавалер Василий Гуськов покоился под этим холмиком... Прах его приютился наконец возле праха того существа, которое он любил такой безграничной, почти бессмертной любовью.

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР

Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.

— А я, господа,— воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой,— знавал одного короля Лира!

— Как так? — спросили мы его.

— Да так же. Хотите, я расскажу вам?

— Сделайте одолжение.

И наш приятель немедленно приступил к повествованию.

I

«Все мое детство,— начал он,— и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы ...й губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению: ничего подобного Харлову я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского! На громадном туловище сидела, несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова; целая копна спутанных, желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного, лица торчал здоровенный, шишковатый нос, надменно то-

порщились крошечные голубые глазки и раскрывался рот, тоже крошечный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сплыв, но чрезвычайно крепкий и зычный... Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой,— и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно... Одним взглядом его, бывало, и не окинешь! Но неприятно оно не было — некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки — те же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухаршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам; но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи — с заворотками и выгибами; щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович — и зиму и лето — казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги; галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух? Дышал он протяжно и тяжко, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что, попавши в комнату, он постоянно боялся все перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, все больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке: народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. «Кули десница у меня благословенная,— говаривал он,— так на то была воля божия!» Он был горд; только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.

— Наш род от вшеда (он так выговаривал слово швед); от вшеда Харлуса ведется,— уверял он,— в княжение Ивана Васильевича Темного (вон оно когда!) приехал в Россию; и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом — а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причине мы все, Харловы, урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом! потому снеговик!

— Да, Мартын Петрович,— попытался я было возразить ему,— Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Ва-

сильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.

— Ври еще! — спокойно ответил мне Харлов, — коли я говорю, стало оно так!

Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.

— Эх, Наталья Николаевна! — промолвил он почти с досадой, — нашли за что хвалить! Нам, господам, нельзя иначе; чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я — Харлов, фамилию свою вон откуда веду... (тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок) и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?

В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему саповнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшеле Харлусе, который выехал в Россию...

— При царе Горохе? — перебил сановник.

— Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном.

— А я так полагаю, — продолжал сановник, — что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии...

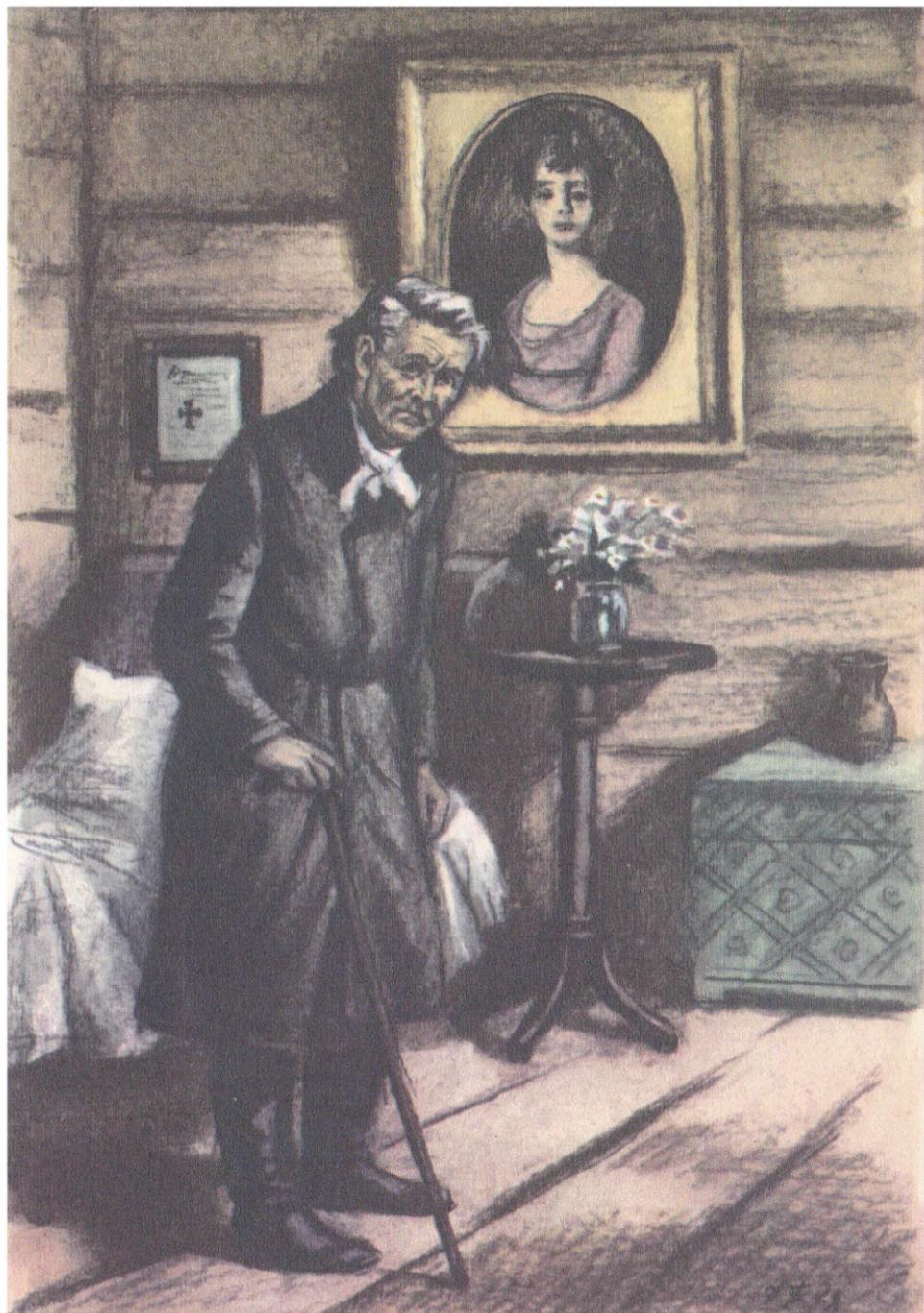
Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу; но он понял, что сановник трунит над ним.

— Может быть, — брякнул он, — наш род точно очень древний; в то время как мой пращур в Москву прибыл, рассказывают, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет.

Саповник взбелепился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул, да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня, — перебил Харлов, — не наскокивай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым; но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где такой человек на свете есть?» — спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом.

II

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему слушала: он, лет двадцать пять тому назад, спас ей жизнь, удержав ее ка-



«Бригадир»
Худ. Д. Б. Боровский

рету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса — хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме; ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом, и пожила она с ним недолго; однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа — и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землицы за ним водилось десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались, — об этом и толковать нечего! По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком: земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадей, чахлой, тридцатилетней кобылой, со шрамом от раны на плече: эту рану она получила в бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; иди шагом она не могла, а только перетрусывала рысцей, вприпрыжку; ела она чернобыльник и польнь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол; иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подборodka своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже, с вожжами в одной руке (другую он хватски, с вывертом локтя, опирался на колено), с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов; попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы и однажды, поравнявшись со мною (я вышел прогуляться с ружьем), так заатукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.

Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. «Барыня! госпожа! Нашего поля ягодка», — так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один на целую ватагу мужиков; и хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа (она рано овдовела) таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. Притом же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил — и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог; и с очками-то на носу он едва-едва, в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему — что писать, что блох ловить — все едино. Да, матушка его уважала... однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух: землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной. «Как есть леший!» — уверяла моя старая няня. К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол — и он этим не обижался — он знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом — да и ему было привольнее есть; а ел он так, как, я полагаю, не едал никто со времен Полифэма. Для него всегда в самом начале обеда припасали, в видах предосторожности, горшок каши фунтов в шесть: «А то ведь ты меня объешь!» — говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» — отвечал, ухмыляясь, Мартын Петрович.

Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете; но долго не могла выдерживать его голос.

— Что это, мой батюшка! — восклицала она, — ты бы от этого хоть полечился, что ли! Совсем оглушил меня. Этакая труба!

— Наталья Николаевна! Благодетельница! — отвечал обыкновенно Мартын Петрович. — Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может — извольте посудить? Я вот лучше помолчу маленечко.

Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал.

Рассказывать он не умел и не любил. «От долгих речей одышка бывает», — замечал он с укоризной. Только когда его наводили

на двенадцатый год (он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке), когда его спрашивали про французов, он сообщал кой-какие анекдоты, хотя постоянно уверял притом, что никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародершки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам колачивал.

IV

А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать; запирался один к себе в комнату и гудел — именно гудел, как целый пчелиный рой; либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома новиковского «Покоящегося Трудолюбца», или петь. И Максимка, который, по странной игре случая, умел читать по складам, принимался, с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений, выкрикивать фразы, вроде следующей: «Но чé-лoвeк страстный выводит из сего пустого места, котo-рoе он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, сказывает он, не сильна сделать меня счас-тливym!» и т. д.¹ — или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что: «И... и... э... и... э... и... Ааа... ска!.. О... у... у... би... и... и... и... ла!» А Мартын Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что все пойдет прахом, увянет, яко былие; прейдет — и не будет! Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: «Такова жизнь человеческая!» Очень понравилась ему эта картинка; он повесил ее у себя в кабинете; но в обыкновенное, не меланхолическое, время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущала. Харлов, этот колосс, боялся смерти! К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было; его в церкви не часто видали; правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать — и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки

¹ «Покоящийся трудолюбец», периодическое издание и т. д., Москва, 1785 г. Часть 3-я. Стран. 23, строка 11 сверху.

и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь всё — трин-трава! Русский был человек.

V

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического; он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме, в качестве не то шута, не то нахлебника — брат его покойной жены — некто Бычков, с младых ногтей прозванный Сувениром и так уже оставшийся Сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его Сувениром Тимофеичем. Настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал. Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик, одним словом. С одной стороны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое, морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, егозил: в девичью заберется или в контору, на свободку к попам, а не то к старосте в избу; отовсюду его гонят, а он только пожимается, да щурит свои косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность поневоле его «сократила». Пить позволялось ему только в праздники. Одевали его прилично, по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял ее партию в пикет или бостон. Сувенир то и дело твердил: «Я вот, позвольте, я чичас, чичас». — «Да что *чичас?*» — с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинет руки назад, струсит и лепечет: «Как прикажете-с!» Под дверями послушать, посплетничать, а главное «шпынять», дразнить — другой у него заботы не было — и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он звал братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. «Вы сестрицу Маргариту Тимофеевну за что уморили?» — приставал он к нему, вертась перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в бильярдной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал и которую сосед наш, враг жары и солнца, — оттого очень жаловал. Сидел он между стеной и бильярдом. Сувенир шмыгал мимо его «чрева», дразнил его, кривлялся... Мартын Петрович хотел оттолкнуть его — и двинул обеими руками вперед. К счастью Сувенира, он успел увернуться — ладони его братца прились в упор о край бильярда — и со всех шести винтов слетел тяжелый деревенский бильярд... В какую лепешку превратился бы Сувенир, если б попал под эти мощные руки!

Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. Однажды я вызвался проводить его верхом до Еськова (так называлось его имение). «Вишь ты! Хочешь посмотреть мою державу,— промолвил Мартын Петрович.— Изволь! И сад покажу, и дом, и гумно — и все. У меня всякого добра много!» Мы отправились. От нашего села до Еськова считалось всего версты три. «Вот она, моя держава! — загремел вдруг Мартын Петрович, сияясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево.— Все мое!» Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма; внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избенок. У пруда, на плоту, старая баба в клетчатой поневе колотила вальком скрученное белье.

— Аксинья! — гаркнул Мартын Петрович, да так, что грачи стаей взвились из соседнего овсяного поля...— Мужу портки моешь?

Баба разом обернулась и поклонилась в пояс.

— Портки, батюшка,— слышался ее слабый голос.

— То-то! Вот посмотри,— продолжал Мартын Петрович, пробираясь рысцой вдоль полусгнившего плетня,— это моя конопля; а та вон — крестьянская; разницу видишь? А вот это мой сад; яблони я понасажал, и ракиты — тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот так-то — учись.

Мы завернули на двор, огороженный тыном; прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигелек с соломенной крышей и крылечком на столбиках; в стороне стоял другой, поновей и с крохотным мезонином — но тоже на курьих ножках. «Вот ты опять учись,— промолвил Харлов,— вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили; а теперь я вона какие палаты себе соорудил». Палаты эти походили на карточный домик. Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. «Овчары! — заметил Мартын Петрович.— Настоящие крымские! Цыц, оглашенные! Вот возьму да всех перевешаю». На крыльце нового флигелька показался молодой человек в длинном нанковом балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрожкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя — и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сидение; потом он помог мне сойти с лошади.

— Авна! — воскликнул Харлов,— Наталья Николаевна сы-

нок к нам пожаловал; попоштовать его надо. Да где Евлампьюшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампией — меньшую.)

— Дома нет; в поле за васильками пошла, — отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери.

— Творог есть? — спросил Харлов.

— Есть.

— И сливки есть?

— Есть.

— Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйте сюда, сюда, — прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не «тыкал»: надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору. — Вот где я пребываю, — промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери, — а вот и мой кабинет. Милости просим!

Кабинет этот оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стенам, на неровно вбитых гвоздях, висели две нагайки, трехугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами; в одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком; впрочем, в комнате было прохладно; только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича.

— Что ж, хорош кабинет? — спросил меня Харлов.

— Очень хорош.

— Ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит, — продолжал Харлов, снова впадая в «тыканье». — Чудесный хомут! У жида выменял. Ты погляди-ка!

— Хомут хороший.

— Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!

Я понюхал хомут. От него несло прелой вбраванью — и больше ничего.

— Ну, присядьте — вон там на стульчике, будьте гости, — промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться: гора — да и полно! Он вдруг встрепенулся.

— Анна! — закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море, — что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

— Все готово, батюшка, пожалуйте, — раздался голос его дочери.

Я внутренне подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами,

уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович, ласково пробурчав: «Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью», — опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной, неподвижно, с опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цепочку трензеля.

VII

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее тысячу рублей ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза; нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок «шпилькой». Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну, какая же ты умница — и злюка!» И со всем тем в ней было что-то привлекательное; даже темные родинки, рассыпанные «гречишкой» по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой — сверху вниз (я сидел, она стояла) — посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный барчонок!» — словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней поздри слегка расширялись — это тоже было несколько странно; но все-таки мне казалось, что полюби меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами, — я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня, — но что за дело! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение... Впрочем, мне тогда только минуло пятнадцать лет, а в эти годы!..

Мартын Петрович опять встрепенулся.

— Анна! — крикнул он, — ты бы на фортепьянах побренчала... Молодые господа это любят.

Я оглянулся: в комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян.

— Слушаю, батюшка,— ответила Анна Мартыновна.— Только что же я им буду играть? Им это не будет интересно.

— Так чему ж тебя обучали в *пинсионе*?

— Я все позабыла... да и струны полопались.

Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный... вроде того, какой бывает у хищных птиц.

— Ну,— проговорил Мартын Петрович и задумался.— Ну,— начал он опять,— так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит.— Эй, Володька! — крикнул он своему зятю, который все еще расхаживал по двору с моею лошадью,— проводи вот их на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо! Так-то! Счастливо оставаться!

Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злее прежнего.

Я взял у харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно,— но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, притом же он во мне, как в молодом мальчишке, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорожку.

VIII

Я хорошо знал харловского зятя: звали его Слёткиным, Владимиром Васильевичем; он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в «вотчинную контору», потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденком, и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип; только цвет кожи он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил; из-за тряпки готов канючить целый день, сто раз напомнит о данном обещании, и обижается, и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем; и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягдташ, приговаривая: «Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь *мне* послужишь!»

— Добрый конек у вас,— заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло,— вот бы мне такую ло-

шадку! Да где! Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили... напомнили.

— А она вам обещала?

— Кабы обещала! Нет; но я полагал, что по великому ее благодушеству...

— Вы бы к Мартыну Петровичу обратились.

— К Мартыну Петровичу! — повторил протяжно Слёткин. — Для него — что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максима — всё едино. Как есть в черном теле нас содержит, и никакой от него награды не видать за все труды.

— Неужели?

— Да, ей-богу же. Как скажет: «Мое слово свято!» — ну, вот точно топором отрубит. Проси, не проси — все едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна.

— Ах, господи боже мой, батюшки! — перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками. — Посмотрите: что это? Целый полуосьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков?! Вот тут и живи! Разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Еськову, Беськову, Ерину, Белину (так назывались четыре окрестные деревни). Ах, ах, что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два — убытку!

В голосе Слёткина слышались чуть не рыдания. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.

Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг, на повороте дороги, попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложения дородного; все в ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и белые, как снег, зубы, и особенно глаза, выпуклые, с поволокой, темно-синие, как стеклярус; все в пей было даже монументально (недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан, малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница, казачья кровь», — так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее... Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голо-

сом, потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидал ее, стоящую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал и указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, и ярко голубел васильковый венок на ее голове.

IX

Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков, Гаврило Федулыч, человек уже немолодой и — как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя — «битый да ломаный». Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя «исполнителем». «Что другое-с, а зубье считать у мужичья — это я до тонкости понимаю, — говаривал он, чуть не скрипя собственными зубами, — потому — привык, — пояснял он, — в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего, некоего Квиципского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо у Житкова было длинное, лошадиное; оно все обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли; в самые сильные морозы оно было покрыто обильным потом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляжкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели!.. и я устремлюсь!» Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией.

— Только сладишь ли ты с ней, отец мой? — спросила она его однажды.

Житков самодовольно улыбнулся.

— Помилуйте, Наталья Николаевна! Целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же-с? Плевое дело.

— То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена, — заметила матушка с неудовольствием.

— Помилуйте-с! Наталья Николаевна! — снова воскликнул Житков. — Это мы всё очень понять можем. Одно слово: барышня, особа нежная!

— Ну! — решила наконец матушка, — Евлампия себя в обиду не даст.

Однажды — дело было в июне месяце и день склонялся к вечеру — человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось!» — воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение, оно так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание. Мартын Петрович оставил на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил наконец, что приехал по одному делу... которое... такого рода, что по причине...

Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел.

Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться.

На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного, как он сам опять появился перед нею. На этот раз он казался спокойнее.

— Сказывай, батюшка, сказывай, — воскликнула матушка, как только увидела его, — что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала: господи! — подумала я, — уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?

— Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем, — отвечал Мартын Петрович, — не таковский я человек. Но мне пужно с вами посоветоваться.

— О чем?

— Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно...

— Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня! К чему тут сие? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла?

Харлов нахмурился.

— Нет, не меланхолия — она у меня к новолунию бывает; а позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?

Матушка всполохнулась.

— О чем?

— О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сем свете пощадить?

— Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великан уродился — и тебе конец будет.

— Будет! ох, будет! — подхватил Харлов и потупился. — Случилось со мною сонное мечтание... — протянул он наконец.

— Что ты говоришь? — перебила его матушка.

— Сонное мечтание, — повторил он. — Я ведь сновидец!

— Ты?

— Я! А вы не знали? — Харлов вздохнул. — Ну, вот... Прилегла как-то, сударыня, неделю тому назад с лишком, под самые заговыны к Петрову посту; прилегла я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул! И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок.

Харлов умолк.

— Ну? — промолвила матушка.

— И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да как ляжет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок! Я проснулся — аи рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич; однако поразмялся и снова вошел в действие: только мурашки долго по суставам бегали и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают.

— Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал.

— Нет, сударыня; не то вы изволите говорить! Это мне предостережение... К смерти моей, значит.

— Ну вот еще! — начала было матушка.

— Предостережение! Готовься, мол, человек! И потому, я, сударыня, вот что имею доложить вам, нимало не медля. Не желая, — закричал вдруг Харлов, — чтоб та самая смерть меня, раба божия, врасплох застала, положил я так-то в уме своем: разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне господь бог на душу пошлет. — Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил: — Нимало не медля.

— Что ж? Это дело хорошее, — заметила матушка, — только, я думаю, ты напрасно спешишь.

— И так как я желаю в сем деле, — продолжал, еще более возвысив голос, Харлов, — должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка, Дмитрия Семеновича, — вас я, сударыня, беспокоивать не осмеливаюсь, — прошу оного сыночка, Дмитрия Семеновича, родственнику же моему Бычкову в прямой долг вменяю — при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евлампии девицы, присутствовать; который акт имеет быть в действие введен послезавтра, в двенадцатом часу дня, в собственном моем имении Еськове, Козюлькине тож, при участии предержавших властей и чинов, кои уже суть приглашены.

Мартын Петрович едва окончил эту явно им наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную речь... У него словно воздуха в груди не доставало: его побледневшее лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с него пот.

— И ты уже составил отдельный акт? — спросила матушка.— Когда это ты успел?

— Успел... ох! Не пимши, не емши...

— Сам писал?

— Володька... ох! помогал.

— И прошение подал?

— Подал, и палата утвердила, и уездному суду предписано, и временное отделение земского суда... ох!.. к прибытию назначено.

Матушка усмехнулась.

— Ты, я вижу, Мартын Петрович, уже совсем, как следует, распорядился, и как скоро! Знать, денег не жалел?

— Не жалел, сударыня!

— То-то! А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь. Что ж, пускай Митенька едет; я и Сувенира с ним отпущу, и Квицинскому скажу... А Гаврилу Федулыча ты не приглашал?

— Гаврила Федулыч... господин Житков... от меня такожде... извещен. Ему, как жениху, следует!

Мартын Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто не совсем благоволил к жениху, приисканному моей матушкой; быть может, он ожидал более выгодной партии для своей Евлампьюшки.

Он поднялся со стула и шаркнул ногою.

— За согласие благодарен!

— Куда же ты? — спросила матушка.— Посиди; я велю закуску подать.

— Много довольны,— отвечал Харлов.— Но не могу... Ох! нужно домой.

Он попытался и полез было, по своему обыкновению, боком в дверь.

— Постой, постой,— продолжала матушка,— неужто ты все свое именье без остатку дочерям предоставляешь?

— Вестимо, без остатку.

— Ну, а ты сам... где будешь жить?

Харлов даже руками замахал.

— Как где? У себя в доме, как жил *доселючи*... так и впредь. Какая же может быть перемена?

— И ты в дочерях своих и в зяте так уверен?

— Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочю пихну, и туда, и сюда... Какая его

власть? А они меня, дочери то есть, по гроб кормить, поить, одевать, обувать... Помилуйте! первая их обязанность! Я ж им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то — за плечами.

— В смерти господь бог волен,— заметила матушка,— а обязанность это их, точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович; старшая у тебя, Анна, гордячка известная, ну, да и вторая волком смотрит...

— Наталья Николаевна! — перебил Харлов,— что вы это?.. Да чтоб они... Мои дочери... Да чтоб я... Из повиненья-то выйти? Да им и во сне... Противиться? Кому? Родителю?.. Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да в покорности век свой прожили — и вдруг... господа!

Харлов раскашлялся, захрипел.

— Ну, хорошо, хорошо,— поспешила успокоить его матушка,— только я все-таки не понимаю, зачем ты *теперь* делить их вздумал? Все равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной.

— Э, матушка! — не без досады возразил Харлов,— зарядили вы свою меланхолию! Тут, быть может, свыше сила действует, а вы: меланхолия! Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще «жимши», при себе хочу решить, кому чем владеть, и кого я чем награжу, тот тем и владей, и благодарность чувствуй, и исполняй, и на чем отец и благодетель положил, то за великую милость...

Голос Харлова опять перервался.

— Ну полно же, полно, отец мой,— перебила его матушка,— а то и впрямь вороной жеребенок появится.

— Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем! — просто-нап Харлов.— Это смерть моя за мной приходила. Прощенья просим. А вас, сударик мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь!

Мартын Петрович вышел; матушка посмотрела ему вслед и значительно покачала головою.

— Не к добру это,— прошептала она,— не к добру. Ты заметил,— обратилась она ко мне,— он говорит, а сам будто от солнца все щурится; знай: это примета дурная. У такого человека тяжело пá сердце бывает и несчастье ему грозит. Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с Сувениром.

XI

В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным «лейб-кучером», седебородым и тучным Алексеичем на коз-

лах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела Сувениру и мне одеться по-праздничному: она, видимо, желала почтить своего «протежé». Квицинский — тот всегда ходил во фраке и в белом галстухе. Во всю дорогу Сувенир трещал как сорока, хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идолом и кикиморой. Квицинский, человек угрюмый, желчный, не выдержал наконец. «И охота вам, — заговорил он со своим польским отчетливым акцентом, — такое все несообразное болтать? И неужели невозможно сидеть смиренно, без этих «никому не нужных» (любимое его слово) пустяков?» — «Ну, чичас», — пробормотал Сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло, ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй — как уже показалась харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор; крошечный фореитор, едва достававший ногами до половины лошадиного коргуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле, локти старика Алексеича одновременно оттопырились и приподнялись — послышалось легкое тпруканье, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем, дворовые мальчишки в длинных, слегка на больших животах раскрытых рубахах — и те куда-то исчезли. Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Помню — меня особенно поразили березки, натканые по обеим сторонам крыльца, словно в троицын день. «Торжество из торжеств!» — пропел в нос Сувенир, вылезая первый из кареты. И точно, торжественность замечалась во всем. На харловском зяте был плисовый галстух с атласным бантом и необыкновенно узкий черный фрак; а у вынырнувшего из-за его спины Максимики волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидели Мартына Петровича, неподвижно возвышавшегося — именно возвышавшегося — посредине комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувенир и Квицинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартын Петрович облекся в серый, должно быть ополченский, двенадцатого года, казакин с черным стоячим воротником, бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока; левую руку он положил на рукоятку, правой оперлся на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел; и какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность

в себе, в своей неограниченной и несомненной власти! Он едва приветствовал нас кивком и, хрипло промолвив: «Прошу!» — повел указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обе дочери Харлова, разодетые по-воскресному: Анна в зелено-лиловом, двуличневом платье с желтым шелковым поясом; Евлампия — в розовом, с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире, с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с бóльшим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые, тусклые глаза, и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали, как груды, на коленях, и выглядывавшие из-под рясы смазные сапоги — все свидетельствовало о трудовой, нерадостной жизни: приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник, жирненький, бледненький, неопрятный господинок, с пухлыми, короткими ручками и ножками, с черными глазами, черными, подстриженными усами, с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице: он слыл за великого взяточника и даже за тирана, как выражались в то время; но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и несколько насмешливо поглядывал кругом: видно было, что вся эта «процедура» его забавляла. В сущности, его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их нашивали при Александре Первом, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз: от очень усиленного внимания и сочувствия он все двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоседился и шепотом заговорил с ним, обьявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станового; но станового либо вовсе не было, либо он до того стусеивался, что я его не заметил; впрочем, он у нас в уезде носил прозвище «несуществующий», как бывают «непомнящие». Я сел подле Сувенира, Квицинский подле меня. На лице практического поляка была написана явная досада на «никому не нужную» поездку, на напрасную трату времени... «Барыня! Барские русские фантазии! — казалось, шептал он про себя... — Уж эти мне русские!»

Когда мы все уселись, Мартын Петрович поднял плечи, крикнул, обвел нас всех своими медвежьими глазками и, шумно вздохнув, начал так:

— Милостивые государи! Я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают... Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи, приближается... Не так ли, батюшка? — обратился он к священнику.

Батюшка встрепенулся.

— Тако, тако, — прошамшил он, потрясая бородкой.

— И потому, — продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос, — не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем... — Мартын Петрович повторил слово в слово фразу, которую он два дня тому назад произнес у матушки. — В силу сего моего решения, — закричал он еще громче, — сей акт (он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам) составлен мною, и предержавшие власти в свидетели приглашены, и в чем состоит оная моя воля, о том следуют пункты. Поцарствовал, будет с меня!

Мартын Петрович надел на нос свои железные круглые очки, взял со стола один из исписанных листов и начал:

— Раздельный акт имению отставного штык-юнкера и столбового дворянина Мартына Харлова, им самим, в полном и здравом уме и по собственному благоусмотрению составленный, и в коем с точностию определяется, какие угодия его двум дочерям, Анне и Евлампии (кланяйтесь! — они поклонились), предоставляются, и коим образом дворовые люди и прочее имущество и живность меж оными дочерьми поделается! Рукою властной!

— Это ихняя бумажка, — шепнул, с неизменной своей улыбочкой, исправник Квицинскому, — они ее для красоты слога прочитывать желают, а законный акт составлен по форме, безо всех этих цветочков.

Сувенир начал было хихикать...

— Согласно с моею волею! — вмешался Харлов, от которого не ускользнуло замечание исправника.

— Во всех пунктах согласно, — поспешно и весело отвечал тот, — только форму, вы знаете, Мартын Петрович, никак обойти нельзя. И лишние подробности устранены. Ибо в пегих коров и турецких селезней палата никаким образом входить не может.

— Подь сюда ты! — гаркнул Харлов зятю, который вслед за нами вошел в комнату и с подобострастным видом остановился у двери. Он тотчас подскочил к своему тестю.

— На, возьми, читай! А то мне трудно. Только смотри, не ло-тоши! Чтобы все господа присутствующие вникнуть могли.

Слёткин взял лист в обе руки и стал трепетно, но внятно, со вкусом и чувством, читать раздельный акт. В нем с величайшею аккуратностью было обозначено, что именно отходило к Анне и что к Евлампии и как им следовало делиться. Харлов от времени до времени прерывал чтение словами: «Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!» — или: «Это тебе, Евлампияшка, жалую!» — и обе сестры кланялись, Анна в пояс, Евлампия одной головой. Харлов с угрюмой важностью поглядывал на них. «Усадебный дом» (новый флигелек) был отдан им Евлампии, — «яко младшей дочери, по извечному обычаю». Голос чтеца зазвенел и задрожал, произнося эти неприятные для него слова; а Житков облизнулся. Евлампия искоса глянула на него: будь я на месте Житкова, не понравился бы мне этот взгляд. Презрительное выражение лица, свойственное Евлампии, как всякой истой русской красавице, на этот раз носило особый оттенок. Самому себе Мартын Петрович предоставлял право жить в занимаемых им комнатах и выговаривал себе, под именем «опричного», полное содержание «натуральной провизией» и десять рублей ассигнациями в месяц на обувь и одежду. Последнюю фразу раздельного акта Харлов пожелал прочесть сам. «И сию мою родительскую волю, — гласила она, — дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь; ибо я после бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан и не давал; и будут они волю мою исполнять, то будет с ними мое родительское благословение, а не будут волю мою исполнять, чего боже оборони, то постигнет их моя родительская неключимая клятва, ныне и во веки веков, аминь!» Харлов поднял лист высоко над головою, Анна тотчас проворно опустила на колени и стукнула о пол лбом; за ней кувыркнулся и муж ее. «Ну, а ты что ж?» — обратился Харлов к Евлампии. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю; Житков нагнулся вперед всем корпусом.

— Подпишитесь! — воскликнул Харлов, указывая пальцем на конец листа. — Здесь: благодарю и принимаю, Анна! Благодарю и принимаю, Евлампия!

Обе дочери встали и подписались одна за другой. Слёткин встал тоже и полез было за пером, но Харлов отстранил его, ткнув его средним перстом в галстух, так что он иокнул. С минуту длилось молчание. Вдруг Мартын Петрович словно всхлипнул и, пробормотав: «Ну, теперь все ваше!» — отодвинулся в сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли к нему и стали целовать его выше локтя. В плечо достать они не могли.

Исправник прочел настоящий, формальный акт, дарственную запись, составленную Мартыном Петровичем. Потом он вместе с стряпчим вышел на крыльцо и объявил собравшимся у ворот соседям, понятым, харловским крестьянам и нескольким дворовым людям о совершившемся событии. Начался ввод во владение новых двух помещиц, которые также появились на крыльце и на которых исправник указывал рукою, когда, слегка наморщив одну бровь и мгновенно придав своему беззаботному лицу вид грозный, он внушал крестьянам о «послушании». Он бы мог обойтись и без этих внушений: более смиренных физиономий, чем у харловских крестьян, я полагаю, в природе не существует. Облеченные в худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, как это всегда водится в торжественных случаях, они стояли неподвижно, как каменные, и, как только исправник выпускал междометие вроде: «Слышите, черти! Понимаете, дьяволы!» — кланялись вдруг все разом, словно по команде; каждый из «чертей и дьяволов» крепко держал свою шапку обеими руками и не спускал взора с окна, в котором виднелась фигура Мартына Петровича. Немного меньше робели и самые понятые.

— Вам известны какие-либо препятствия, — крикнул на них исправник, — ко введению во владение сих единственных и законных наследниц и дочерей Мартына Петровича Харлова?

Все понятые тотчас словно съезжились.

— Известны, черти? — крикнул опять исправник.

— Ничего, ваше благородие, нам не известно, — мужественно отвечал один корявый старичок, с остриженной бородой и усами, отставной солдат.

— Ну, да и смельчак же Еремеич! — говорили, расходясь, про него понятые.

Несмотря на просьбы исправника, Харлов не пожелал выйти вместе с дочерьми на крыльцо. «Мои подданные и без того моей воле покорятся!» — отвечал он. На него, по совершении акта, нашло нечто вроде грусти. Лицо его снова побледнело. Это новое, небывалое выражение грусти так мало шло к пространным и дебелим чертам Мартына Петровича, что я решительно не знал, что подумать! Уж не меланхолия ли на него находит? Крестьяне, очевидно, с своей стороны также ощущали недоумение. И в самом деле: «Барин живехонек — вот он стоит, да еще какой барин: Мартын Петрович! И вдруг он ими владеть не будет... Чудеса!» Не знаю, догадался ли Харлов о том, какие мысли бродили в головах его «подданных», захотел ли он в последний раз покуражиться, только он вдруг открыл форточку, приставил к отверстию

голову и закричал громовым голосом: «Повиноваться!» Потом он захлопнул форточку. Недоумение крестьян, конечно, от этого не рассеялось и не уменьшилось. Они еще пуще окаменели и даже как бы перестали глядеть. Группа дворовых (в числе их находились две здоровенные девки, в коротких ситцах и с такими икрами, подобных которым видеть можно разве на «Страшном судилище» Микеланджело, да еще один, уже совсем ветхий, от древности даже заиндевевший, полуслепой человек в шершавой фризовой шинели — он, по слухам, был при Потемкине «валторщиком» — казачка Максимку Харлов себе предоставил), группа эта выказывала большее оживление, чем крестьяне; она по крайней мере переминалась на месте. Сами новые помещицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснув свои сухие губы, она упорно глядела вниз... Не много доброго обещала дворовым ее строгая фигура. Евлампия тоже не поднимала глаз; только раз она обернулась и, словно с удивлением, медленно окинула взором своего жениха Житкова, который, вслед за Слёткиным, почел нужным также явиться на крыльцо. «Ты здесь с какого права?» — казалось, говорили эти красивые выпуклые глаза. Слёткин — тот изменился больше всех. Во всем существе его проявилась торопливая бодрость, словно аппетит его пронимал; движения головы, ног остались подобострастными по-прежнему, но как весело расправлял он руки, как хлопотно передвигал лопатками! «Наконец, мол, дорвался!» Окончив «процедуру» ввода во владение, исправник, у которого от приближения закуски даже вода подтекла под щеками, потер себе руки тем особенным манером, который обыкновенно предшествует «вонзанию в себя первой рюмочки»; но оказалось, что Мартын Петрович желал сперва отслужить молебен с водосвятием. Священник облачился в старую, еле живую ризу; еле живой дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле. Молебен начался. Харлов то и дело вздыхал; класть земные поклоны он по тучности не мог, но, крестясь правой рукою и наклоняя голову, указывал перстом левой руки на пол. Слёткин так и сиял и даже прослезился; Житков благородно по-военному чуть-чуть помахивал пальцами между третьей и четвертой пуговицей мундира; Квицинский, как католик, остался в соседней комнате; зато стряпчий так усердно молился, так сочувственно вздыхал вслед за Мартыном Петровичем и так истошно шептал и жевал губами, возводя взоры горé, что, глядя на него, я ощутил умиление и начал тоже горячо молиться. По окончании молебна и водосвятия, причем все присутствующие, даже слепой потемкинский «валторщик», даже Квицинский, помочили себе глаза святой водой, Анна и Евлампия еще раз, по приказанию Мартына Петровича, благодарили его земно; и тут наконец наступил

момент завтрака! Кушаний было много, и все превкусные; мы все наелись страшно. Появилась неизбежная бутылка донского. Исправник, как человек, больше всех нас знакомый со светскими обычаями, ну, да и как представитель власти, первый провозгласил тост за здоровье «прекрасных владельцев!». Потом он же предложил нам выпить за здравие наипочтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича! При слове: «великодушнейший», Слёткин взвизгнул и бросился целовать своего благодетеля... «Ну, хорошо, хорошо, не надо», — бормотал Харлов как бы с досадой, отстраняя его локтем... Но тут произошел не совсем приятный, как говорится, пассаж.

XIV

А имеппо: Сувепир, который с самого начала завтрака пил безостановочно, внезапно поднялся, весь красный, как бурак, со стула и, указывая пальцем на Мартына Петровича, залился своим дряблым, дрянным смехом.

— Великодушный! Великодушный! — затрещал он, — а вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придется это великодушие, когда его, раба божия, голой спиной... да на снег!

— Что ты врешь? Дурак! — презрительно промолвил Харлов.

— Дурак! дурак! — повторил Сувенир. — Единому всевышнему богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу, уморили — за то теперь и самих себя похерили... ха-ха-ха!

— Как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать? — запищал Слёткин и, оторвавшись от обхваченного им плеча Мартына Петровича, ринулся на Сувенира. — Да знаете ли, что если наш благодетель того пожелает, то мы и самый акт сию минуту уничтожить можем?..

— А вы все-таки его голой спиной — на снег... — ввернул Сувенир, ступшевавшись за Квицинского.

— Молчать! — загремел Харлов. — Прихлопну тебя, так только мокро будет на том месте, где ты находился. Да и ты молчи, щенок! — обратился он к Слёткину, — не суйся, куда не велят! Коли я, Мартын Петров Харлов, порешил оный раздельный акт составить, то кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти такой нет...

— Мартын Петрович! — заговорил вдруг сочным басом стряпчий; он тоже выпил много, но от этого в нем только важности прибавилось. — Ну, а как господин помещик правду сказать изволил? Дело вы совершили великое, ну, а как, сохрани бог, действительно... вместо должной благодарности, да выйдет какой афронт?

Я глянул украдкой на обеих дочерей Мартына Петровича. Анна так и впилась глазами в говорившего и уж, конечно, более злого, змеиного и в самой злобе более красивого лица я не видывал! Евлампия отворотилась и руки скрестила; презрительная усмешка более чем когда-нибудь скрутила ее полные розовые губы.

Харлов поднялся со стула, разинул рот, но, видно, язык изменил ему... Он вдруг ударил кулаком по столу, так что все в комнате подпрыгнуло и задрезжало.

— Батюшка,— поспешно промолвила Анна,— они нас не знают и потому так о нас понимают; а вы себе не извольте повредить. Напрасно вы гневаться изволите; вот у вас личико словно перекошилось.

Харлов поглядел на Евлампью; она не шевелилась, хотя сидевший подле нее Житков и толкал ее под бок.

— Спасибо тебе, дочь моя Анна,— глухо заговорил Харлов,— ты у меня разумница; я на тебя надеюсь и на мужа твоего тоже.— Слёткин опять взвизгнул; Житков выставил было грудь и ногой слегка топнул; но Харлов не заметил его старания.— Этот шалопай,— продолжал он, указав подбородком на Сувенира,— рад дразнить меня; но вам, милостивый государь мой,— обратился он к стряпчему,— вам о Мартыне Харлове судить не приходится, понятием еще не вышли. И чиновный вы человек, а слова ваши самые вздорные. А впрочем, дело сделано, решению моему отмены не будет... Ну, и счастливо оставаться! Я уйду. Я здесь больше не хозяин, я гость. Анна, хлопочи ты, как знаешь; а я к себе в кабинет уйду. Довольно!

Мартын Петрович повернулся к нам спиною и, не прибавив больше ни слова, медленно вышел из комнаты.

Внезапное удаление хозяина не могло не расстроить нашей компании, тем более что и обе хозяйки тоже вскорости исчезли. Слёткин напрасно старался удержать нас. Исправник не преминул упрекнуть стряпчего в неуместной его откровенности.

— Нельзя! — отвечал тот. — Совесть заговорила!

— Вот и видно, что масон,— шепнул мне Сувенир.

— Совесть! — возразил исправник. — Знаем мы вашу совесть! Так же небось и у вас в кармане сидит, как и у нас, грешных!

Священник между тем, уже стоя на ногах, но предчувствуя скорый конец трапезы, беспрестанно посылал в рот кусок за куском.

— А у вас, я вижу, аппетит сильный,— резко заметил ему Слёткин.

— Про запас,— отвечал священник со смиренной ужимкой; застарелый голод слышался в этом ответе.

Застучали экипажи... и мы разъехались.

На возвратном пути никто не мешал Сувениру кривляться и болтать, так как Квицинский объявил, что ему надоели все эти «никому не нужные» безобразия, и прежде нас отправился домой пешком. На его место к нам в карету сел Житков; отставной майор имел весьма недовольный вид и то и дело, как таракан, поводил усами.

— Что, ваше высокоблагородие, — лепетал Сувенир, — субординация, знать, подорвана? Погодите, то ли будет! Зададут феферу и вам! Ах вы, женишок, женишок, горе-женишок!

Сувенира так и разбирало; а бедный Житков только шевелил усами.

Вернувшись домой, я рассказал все виденное мною матушке. Она выслушала меня до конца и несколько раз покачала головою.

— Не к добру, — промолвила она, — не правятся мне все эти новизны!

XV

На следующий день Мартып Петрович приехал к обеду. Матушка поздравила его с благополучным окончанием затеянного им дела.

— Ты теперь свободный человек, — сказала она, — и должен себя легче чувствовать.

— Легче-то легче, сударыня, — отвечал Мартып Петрович, несколько, однако, не показывая выраженьем своего лица, что ему действительно легче стало. — Можно теперь и о душе помыслить, и к смертному часу как следует приготовиться.

— А что? — спросила матушка, — мурашки у тебя по руке все бегают?

Харлов раза два сжал и разжал ладонь левой руки.

— Бегают, сударыня; и что я вам еще доложу: как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: «Берегись! берегись!»

— Это... нервы, — заметила матушка и заговорила о вчерашнем дне, намекнула на некоторые обстоятельства, сопровождавшие совершение раздельного акта...

— Ну да, да, — перебил ее Харлов, — было там кое-что... неважное. Только вот что доложу вам, — прибавил он с расстановкой. — Не смутили меня вчерась пустые Сувенировы слова; даже сам господин стряпчий, хоть и обстоятельный он человек, — и тот не смутил меня; а смутила меня... — Тут Харлов запнулся.

— Кто? — спросила матушка.

Харлов вскинул на нее глазами.

— Евлампия!

— Евлампия? Дочь твоя? Это каким образом?

— Помилуйте, сударыня, — точно каменная! истукан истуканом! Неужто же она не чувствует? Сестра ее, Анна, — ну, та все как следует. Та — тонкая! А Евлампия — ведь я ей — что греха таить! — много предпочтения оказывал! Неужто же ей не жаль меня? Стало быть, мне плохо приходится, стало быть, чую я, что не жилец я на сей земле, коли все им отказываю; и точно каменная! хоть бы гукнула! Кланяться — кланяется, а благодарности не выдать.

— Вот постой, — заметила матушка, — выдадим мы ее за Гаврилу Федулыча... у него она помягчает.

Мартын Петрович опять исподлобья глянул на матушку.

— Ну разве вот Гаврила Федулыч! Вы, знать, сударыня, на него надеетесь?

— Надеюсь.

— Так-с; ну, вам лучше знать. А у Евлампии, доложу вам, — что у меня, что у ней: нрав все едино. Казацкая кровь — а сердце, как уголь горячий!

— Да разве у тебя такое сердце, отец мой?

Харлов не отвечал. Наступило небольшое молчание.

— Что же ты, Мартын Петрович, — начала матушка, — каким образом намерен теперь душу свою спасти? К Митрофанию съездишь или в Киев? или, может быть, в Оптину пустынь отправишься, так как она по соседству? Там, говорят, такой святой проявился инок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насквозь видит.

— Если она точно неблагодарной дочерью окажется, — промолвил хриплым голосом Харлов, — так мне, кажется, легче будет ее из собственных рук убить!

— Что ты! Что ты! Господь с тобою! Опомнись! — воскликнула матушка. — Какие ты это речи говоришь? Вот то-то вот и есть! Послушался бы меня наемни, как советоваться приезжал! А теперь вот ты себя мучить будешь — вместо того, чтобы о душе помышлять! Мучить ты себя будешь — а локтя все-таки не укусишь! Да! Теперь вот ты жалуешься, трусишь...

Этот упрек, казалось, в самое сердце кольнул Харлова. Вся прежняя его гордыня так волной и прилила к нему. Он встряхнулся и подбородком двинул вперед.

— Не таковский я человек, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить, — угрюмо заговорил он. — Я вам только как благодетельнице моей и уважаемой особе чувства мои изложить пожелал. Но господь бог ведает (тут он поднял руку над головою), что скорее шар земной в раздробление придет, чем мне от своего слова отступить, или... (тут он даже фыркнул) или трусить, или раскаиваться в том, что я сделал! Значит, были при-

чины! А дочери мои из повиновения не выдут, во веки веков, аминь!

Матушка зажала уши.

— Что это, отец, как труба трубишь! Коли ты в самом деле в домочадцах своих так уверен, ну и слава тебе, господи! Голову ты мне совсем размозжил!

Мартын Петрович извинился, вздохнул раза два и умолк. Матушка опять упомянула о Киеве, об Оптиной пустыни, об отце Макарии... Харлов поддакивал, говорил, что «нужно, нужно... надо будет... о душе...» и только. До самого отъезда он не развесялился; от времени до времени сжимал и разжимал руку, глядел себе на ладонь, говорил, что ему страшнее всего умереть без покаяния, от удара, и что он зарок себе дал: не сердиться, так как от сердца кровь портится и к голове приливает... Притом же он теперь от всего отстранился; с какой стати он сердиться будет? Пусть другие теперь трудятся и кровь себе портят!

Прощаясь с матушкой, он страшным образом поглядывал на нее: задумчиво и вопросительно... и вдруг, быстрым движением выхватив из кармана том «Покоящегося трудолюбца», сунул его матушке в руки.

— Что такое? — спросила она.

— Прочтите... вот тут, — торопливо промолвил он, — где уголок загнут, о смерти. Сдается мне, что больно хорошо сказано, а понять никак не могу. Не растолкуете ли вы мне, благодетельница? Я вот вернусь, а вы мне растолкуете.

С этими словами Мартын Петрович вышел.

— Неладно! эх, неладно! — заметила матушка, как только он скрылся за дверью, и принялась за «Трудолюбца».

На странице, отмеченной Харловым, стояли следующие слова: «Смерть есть важная и великая работа натуры. Она не что иное, как то, что дух, понеже есть легче, тоньше и гораздо пронизательнее тех стихий, коим отдан был под власть, но и самой электрической силы, то он химическим образом чистится и стремится до тех пор, пока не ощутит равно духовного себе места...» и т. д.¹

Матушка прочла этот пассажик раза два, воскликнула: «Тьфу», — и бросила книгу в сторону.

Дня три спустя она получила известие, что муж ее сестры скончался, и, взяв меня с собою, отправилась к ней в деревню. Матушка располагая провести у ней месяц, по осталась до поздней осени — и мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню.

¹ См. «Покоящийся трудолюбец», 1785, III ч. Москва.

Первое известие, которым встретил меня мой камердинер Прокофий (он же считался господским егерем), было то, что вальдшнепов налетело видимо-невидимо и что особенно в березовой роще возле Еськова (харловского имения) они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три; я тотчас схватил ружье, ягдташ и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Еськовскую рощу. Вальдшнепов в ней мы нашли действительно много — и, выпустивши около тридцати зарядов, убили штук пять. Спеша с добычей домой, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Лошадь его остановилась, и он, слезливо и злобно ругаясь, нещадно дергал веревочной вожжою ее набок загнутую голову. Я взгляделся в несчастную клячу, у которой ребра чуть не прорывались наружу и облитые потом бока судорожно и неровно вздымались, как кузнечные меха,— и тотчас признал в ней старую чахлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартыну Петровичу.

— Господин Харлов жив? — спросил я Прокофия. Охота нас обоих так «всецело» поглотила, что мы до того мгновенья ни о чем другом не разговаривали.

— Жив-с. А что-с?

— Да ведь это его лошадь? Разве он продал ее?

— Лошадь точно ихняя-с; только продавать они ее не продавали; а взяли ее у них — да тому мужичку и отдали.

— Как так взяли? И он согласился?

— Согласия ихнего не спрашивали-с. Тут без вас порядки пошли,— промолвил с легкой усмешкой Прокофий в ответ на мой удивленный взгляд,— беда! Боже ты мой! Теперь у них Слёткин господин всем орудует.

— А Мартын Петрович?

— А Мартын Петрович самым как есть последним человеком стал. На сухояденье сидит — чего больше? Порешили его совсем. Того и смотри, со двора сгонят.

Мысль, что можно такого великана *сознать*, никак не укладывалась мне в голову.

— А Житков-то чего смотрит? — спросил я наконец.— Ведь он женился на второй дочери?

— Женился? — повторил Прокофий и на этот раз усмехнулся во весь рот.— Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол; поверни, мол, оглобли назад. Сказанное дело: Слёткин всем заправляет.

— А невеста-то что?

— Евлампия-то Мартыновна? Эх, барин, сказал бы я вам... да млады вы суть — вот что. Дела тут подошли такие, что и... и... и! Э! да Дианка-то, кажись, стоит!

Действительно, собака моя остановилась как вкопанная перед широким дубовым кустом, которым заканчивался узкий овраг, выкопанный на дорогу. Мы с Прокофием подбежали к собаке: из куста поднялся вальдшнеп. Мы оба выстрелили по нем и промахнулись; вальдшнеп переместился; мы отправились за ним.

Суп уже был на столе, когда я вернулся. Матушка побранила меня. «Что это? — сказала она с неудовольствием, — в первый же день — да к обеду ждать себя заставил». Я поднес ей убитых вальдшнепов: она и не посмотрела на них. Кроме ее, в комнате находились Сувенир, Квицинский и Житков. Отставной майор забился в угол, — ни дать ни взять провинившийся школьник; выражение его лица являло смесь смущения и досады; глаза его покраснели... Можно было даже подумать, что он незадолго перед тем всплакнул. Матушка продолжала быть не в духе; мне не стоило большого труда догадаться, что поздний мой приход был тут ни при чем. Во время обеда она почти не разговаривала; майор изредка возводил на нее жалостные взгляды, кушал, однако, исправно; Сувенир трепетал; Квицинский сохранял обычную уверенность осанки.

— Викентий Осипыч, — обратилась к нему матушка, — прошу вас послать завтра за Мартыном Петровичем экипаж, так как я известилась, что у него своего не стало; и велите ему сказать, чтобы он непременно приехал, что я желаю его видеть.

Квицинский хотел было что-то возразить, но удержался.

— И Слёткину дайте знать, — продолжала матушка, — что я ему приказываю ко мне явиться... Слышите? При...ка...зываю!

— Вот уже именно... этого негодяя следует... — начал вполголоса Житков; но матушка так презрительно на него посмотрела, что он тотчас отворотился и умолк.

— Слышите? Я приказываю! — повторила матушка.

— Слушаю-с, — покорно, но с достоинством промолвил Квицинский.

— Не приедет Мартын Петрович! — шепнул мне Сувенир, выходя вместе со мною после обеда из столовой. — Вы посмотрите, что с ним случилось! Уму непостижимо! Я полагаю, он, что и говорят-то ему — ничего не понимает. Да! Прижали ужа вилами!

И Сувенир залился своим дряблым смехом.

XVII

Предсказание Сувенира оказалось справедливым. Мартын Петрович не захотел поехать к матушке. Она этим не удовольствовалась и отправила к нему письмо; он прислал ей четвертушку бу-

маги, на которой крупными буквами были написаны следующие слова: «Ей-же-ей, не могу. Стыд убьет. Пушай так пропадаю. Спасибо. Не мучьте. Харлов Мартынок». Слёткип приехал, но не в тот день, когда матушка «приказывала» ему явиться, а целыми сутками позже. Матушка велела провести его к себе в кабинет... Бог ведает, о чем у них велась беседа, но продолжалась она недолго: с четверть часа, не более. Слёткин вышел от матушки весь красный и с таким ядовито-злым и дерзостным выражением лица, что, встретившись с ним в гостиной, я просто остолбенел, а тут же веревшийся Сувенир не окончил начатого смеха. Матушка вышла из кабинета тоже вся красная в лице и объявила во всеуслышание, чтоб господина Слёткина ни под каким видом к ней вперед не допускать; а коли Мартына Петровича дочери вздумают явиться — наглости, дескать, на это у них станет, — им также отказывать. За обедом она вдруг воскликнула: «Каков дрянной жиденек! Я ж его за уши из грязи вытащила, я ж его в люди вывела, он всем, всем мне обязан — и он смеет мне говорить, что я напрасно в их дела вмешиваюсь! Что Мартын Петрович блажит — и что ему потакать невозможно! Потакать! каково? Ах, он неблагодарный пащенок! Жиденек мерзкий!» Майор Житков, который также находился в числе обедавших, вообразил, что теперь-то уж сам бог ему велел воспользоваться случаем и вернуть свое слово... но матушка тотчас его осадила. «Ну уж и ты хорош, мой отец! — промолвила она. — С девкой не умел сладить, а еще офицер! Ротой командовал! Воображаю, как она тебя слушалась! В управляющие метил! Хорош бы вышел управляющий!»

Квицинский, сидевший на конце стола, улыбнулся про себя не без злорадства, а бедный Житков только усами повел да брови поднял и всем своим волосатым лицом уткнулся в салфетку.

После обеда он вышел на крыльцо покурить, по обыкновению, трубочку — и таким он мне показался жалким и сиротливым, что я, хотя его и недолюбливал, однако тут присоседился к нему.

— Как это у вас, Гаврила Федулыч, — начал я без дальних околичностей, — с Евлампией Мартыновной дело расстроилось? Я полагал — вы давно женились.

Отставной майор уныло взглянул на меня.

— Змей подколотный, — начал он, с горестной старательностью выговаривая каждую букву каждого слога, — жалом своим меня уязвил и все мои надежды в жизни — в прах обратил! И рассказал бы я вам, Дмитрий Семенович, все его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь прогневить! («Млады вы еще суть», — мелькнуло у меня в голове выражение Прокофия.) Уж и так...

Житков крякнул.

— Терпеть... терпеть... больше ничего не остается! (Он уда-

рил себя кулаком в грудь.) Терпи, старый служака, терпи! Царю служил верой-правдой... беспорочно... да! Не щадил пота-крови, а теперь вот до чего довертелся! Будь то в полку — и дело от меня зависящее, — продолжал он после короткого молчания, судорожно насасывая свой черешневый чубук, — я б его... я б его фухтелями в три перемены... то есть до отвалу...

Житков вынул трубку изо рта и устремил взор в пространство, как бы внутренне любуясь вызванной им картиной.

Сувенир подбежал и начал шпынять майора. Я отошел от них в сторону — и решился во что бы то ни стало собственными глазами увидеть Мартына Петровича... Детское мое любопытство было сильно задето.

XVIII

На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофия, отправился в Еськовскую рощу. День выдался чудесный: я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней и не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву — падал навсегда: он уж не шелохнется, пока не истлеет. Воздух ни теплый, ни свежий, а только пахучий и словно кисленький, чуть-чуть, приятно щипал глаза и щеки; тонкая, как шелковинка, с белым клубочком посередине, длинная паутина плавно налетала и, прильнув к стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху — знак постоянной, теплой погоды! Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне. Вальдшнепы попадались довольно часто; но я не обращал на них особенного внимания; я знал, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самого плетня его сада, и пробирался в ту сторону, хоть и не мог себе представить, как я в самую усадьбу проникну, и даже сомневался в том, следовало ли мне стараться проникнуть туда, так как матушка моя гневалась на новых владельцев.

Живые человеческие звуки почудились мне в недалеком расстоянии. Я стал прислушиваться... Кто-то шел по лесу... прямо на меня.

— Так бы ты и сказал, — послышался женский голос.

— Толкуй! — перебил другой голос, голос мужчины. — Нешто можно все разом?

Голоса были мне знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь поредевшие ореховые кусты; рядом с ним показался темный кафтан. Еще мгновение — и на поляну, в пяти шагах от меня, вышли Слёткин и Евлампия.

Они внезапно смутились. Евлампия тотчас отступила назад в кусты. Слёткин подумал — и приблизился ко мне. На лице его уже не замечалось и следа того подобострастного смирения, с которым он, месяца четыре тому назад, расхаживая по двору харловского дома, перетирал трензель моей лошади; но и того дерзкого вызова я на нем прочесть не мог, того вызова, которым это лицо так поразило меня накануне, на пороге матушкина кабинета. Оно осталось по-прежнему белым и пригожим, но казалось солидней и шире.

— Что, много вальдшнепов заповелевали? — спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своим черным кудрям. — Вы в нашей роще охотитесь... Милости просим! Мы не препятствуем... Напротив!

— Сегодня я ничего не убил, — промолвил я, отвечая на первый его вопрос, — а из рощи вашей я сейчас выйду.

Слёткин торопливо надел шапку.

— Помилуйте, зачем же? Мы вас не гоним — и даже очень рады... Вот и Евлампия Мартыновна то же скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйста сюда! Куда вы забились?

Голова Евлампии показалась из-за кустов; но она не подошла к нам. Она еще похорошела за последнее время — и словно еще выросла и раздобрела.

— Мне, признаться сказать, — продолжал Слёткин, — даже очень приятно, что «встрелся» с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Матушка ваша вчера на меня прогневаться изволила — никаких от меня резонов принять не хотела, а я как перед богом, так и перед вами доложу: ни в чем я не повинен. С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно: совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем как следует! Спросите хоть Евлампию Мартыновну.

Евлампия не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ее губам — и неласково глядели красивые глаза.

— Но зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичу лошадь-то продали? (Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владении мужика.)

— Лошадь-то ихнюю зачем продали-с? Да помилосердуйте — куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу — коли вздумается куда выехать — стоит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием!

— Владимир Васильевич! — глухо проговорила Евлампия, как бы отзывая его и все не сходя с своего места. Она вертела около

пальцев несколько стеблей подорожника и отсекала им головки, ударяя их друг о дружку.

— Вот еще насчет казачка Максимки,— продолжал Слёткин,— Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли да в ученье отдали. Но извольте сами рассудить: ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши бить; больше ничего. И служить-то как следует он не может — по причине своей глупости и младых лет. А теперь мы его к шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший — и себе пользу принесет, и нам будет оброк платить. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с! В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует!

«И этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой!» — подумал я.— Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает? — спросил я.

— Да что читать-то? Была одна книга — да, благо, запропастилась куда-то... И что за чтение в его лета!

— А бреет его кто? — опять спросил я.

Слёткин засмеялся одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку.

— Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал, — а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно!

— Владимир Васильевич! — с настойчивостью повторила Евлампия,— а Владимир Васильевич!

Слёткин сделал ей знак рукою.

— Обут, одет Мартын Петрович, кушает то же, что и мы; чего ж ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего в сем мире не желает, как только о душе своей заботиться. Хоть бы он то сообразил, что теперь все как-никак — а наше. Говорит тоже, что жалованье мы ему не выдаем; да у нас самих деньги не всегда бывают; и на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся; истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он житье имеет, уж как нам нужны! без них просто повернуться негде; а мы — ничего! — терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечение доставить. Вот я к Петрову дню а-атличные крючки в городе ему купил — настоящие английские: дорогие крючки! чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил! часик, другой посидел — ан ушица и готова. Самое для старичков степенное занятие!

— Владимир Васильевич! — в третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь травяные стебли, которые вертела в пальцах.— Я уйду! — Ее глаза встретились с моими.— Я уйду, Владимир Васильевич! — повторила она и скрылась за куст.

— Я сейчас, Евлампия Мартыновна, сейчас! — крикнул Слёткин.— Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет,— продолжал он, снова обращаясь ко мне.— Сперва он обижался, точно, и даже роптал, пока, знаете, не вник: человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой — беда! ну, а ныне совсем тих стал. Потому — пользу свою увидел. Маменька ваша — и боже ты мой! — как опрокинулась на меня... Известно: барыня властью своею дорожит тоже, не хуже, как, бывало, Мартын Петрович; ну, а вы зайдите сами, посмотрите — да при случае и замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благоденья очень чувствую; однако надо же жить и нам.

— А Житкову как же отказано было? — спросил я.

— Федулычу-то? Талагаю-то этому? — Слёткин плечами пожал.— Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился — а тут хозяйством заняться вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить. Потому — я привык по роже бить. Ничего-с он не может. И по роже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Все наше хозяйство с ним бы пропало!

— Ау! — раздался звучный голос Евлампии.

— Сейчас! сейчас! — отозвался Слёткин. Он протянул мне руку; я хоть и неохотно, а пожал ее.

— Прощения просим, Дмитрий Семенович,— проговорил Слёткин, выказывая все свои белые зубы.— Стреляйте себе вальдшнепов на здоровье; птица прилетная, никому не принадлежащая; ну, а коли зайчик вам попадется — вы уж его пощадите: это добыча — наша. Да вот еще! Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили!

— Ау! — раздался снова голос Евлампии.

— Ау! ау! — отозвался Слёткин и бросился в кусты.

ХІХ

Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль: как это Харлов не прихлопнул Слёткина так, «чтобы только мокро было на том месте, где он находился», — и как это Слёткин не страшился подобной участи? Видно, Мартын Петрович точно «тих» стал, подумалось мне — и еще сильнее захотелось обратиться в Еськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смиренным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих, с сильным треском крыл, выскочил крупный вальдшнеп и помчался в глубь рощи. Я прицелился; ружье мое осеклось. Очень мне стало досадно:

птица уж больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я ее снова? Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов двести, увидел на небольшой лужайке, под развесистой березой, не вальдшнепа — а того же господина Слёткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх, на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения. По лужайке, в нескольких шагах от него, медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия; казалось, она искала чего-то в траве — грибов, что ли, изредка наклонялась, протягивала руку и напевала вполголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что это она такое поет, но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни:

Ты найди-ка, ты найди, туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку.
Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку,
А молодую-то жену я и сам убью!

Евлампия пела все громче и громче; особенно сильно протянула она последние слова. Слёткин все лежал на спине да посмеивался, а она все как будто кружила около него.

— Вишь ты! — промолвил он наконец. — И чего им только в голову не взбредет!

— А что? — спросила Евлампия.

Слёткин слегка приподнял голову.

— Что? Какие ты это речи произносишь?

— Из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь, — отвечала Евлампия, обернувшись и увидела меня. Мы оба разом вскрикнули, и оба бросились в разные стороны.

Я поспешно выбрался из рощи — и, перейдя узенькую полянку, очутился перед харловским садом.

XX

Мне некогда да и не к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово «присуха», которое я недавно пред тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошел вдоль садового плетня и чрез несколько мгновений из-за серебристых тополей (они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели) увидал двор и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне подчищенной и подтянутой; всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна

Мартыновна появилась на крыльце и, прищулив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи.

— Барина видел? — спросила она проходившего по двору мужика.

— Владимир Васильича? — отвечал тот, схватив с головы шапку. — Он никак в рощу пошел.

— Знаю, что в рощу. Не вернулся он? Не видал его?

— Не видал... нетути.

Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартыновной.

— Ну, ступай, — проговорила она. — Или нет... постой... Мартын Петрович где? Знаешь?

— А Мартын это Петрович, — отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то левую руку, словно показывая куда-то, — сидит тамotka у пруда, с удою. В камыше сидит и с удою. Рыбу, что ль, ловит, бог его знает.

— Хорошо... Ступай, — повторила Анна Мартыновна, — да подбери колесо, вишь, валяется.

Мужик побежал исполнять ее приказание, а она постояла еще несколько минут на крыльце и все смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась в дом.

— Акютка! — раздался ее повелительный голос за дверью.

Анна Мартыновна имела вид раздраженный и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одета она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря ни на небрежность ее одежды, ни на ее раздражение, она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы ее узкую, тоже как будто злую руку, которою она два два с досадой откинула ту развитую прядь.

XXI

«Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» — спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взшел на плотину, глянул туда, сюда... Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда — и наконец в самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную, сероватую глыбу... Я присмотрелся: это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле; так неподвижно сидел он, что куличок-

песочник при моем приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрыгая крылышками и посвистывая, над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, как только увидела его, круто уперлась, поджала хвост и зарычала. Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его меняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах, наподобие смушек. В правой его руке лежал конец удилица, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно иокнуло; однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно спросонья.

— Что это вы, Мартын Петрович,— начал я,— рыбу здесь ловите?

— Да... рыбу,— отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилице, на конце которого болтался обрывок нитки в аршин и без крючка.

— У вас леса порвана,— заметил я и тут же увидел, что возле Мартына Петровича ни лейки не оказывалось, ни червей... И какая могла быть ловля в сентябре?!

— Порвана? — промолвил он и провел рукой по лицу.— Но это все едино!

Он снова закинул свою удочку.

— Натальи Николаевны сынок? — спросил он меня спустя минуты две, в течение которых я не без тайного изумления его рассматривал. Он, хотя и похудел сильно, однако все-таки казался исполином; но в какое он был одет рубище и как опустился весь!

— Точно так,— отвечал я,— я сын Натальи Николаевны Б.

— Здравствует?

— Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашим отказом,— прибавил я,— она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать.

Мартын Петрович понурился.

— А был ты... там? — спросил он, качнув в сторону головою.

— Где?

— Там... на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего. Не люблю.

Он помолчал.

— Тебе бы все с ружьем баловаться! В младых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня... а я его уважал; во как! не то что нынешние. Отхлестал отец меня арапником — и шабаш! Полно баловаться! Потому я его уважал... У!.. Да...

Харлов опять помолчал.

— А ты здесь не оставайся,— начал он снова.— Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька...— Тут он на миг запнулся.— Володька у меня на все руки. Молодец! Ну, да и bestия же!

Я не знал, что сказать; Мартын Петрович говорил очень спокойно.

— И дочерей посмотри. Ты, чай, помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки... ловкие. А я стар становлюсь, брат; отстранился. На покой, знаешь...

«Хорош покой!» — подумал я, взглянув кругом.— Мартын Петрович! — промолвил я вслух.— Вам непременно надо к нам приехать.

Харлов глянул на меня.

— Ступай, брат, прочь; вот что.

— Не огорчайте маменьку, приезжайте.

— Ступай, брат, ступай,— твердил Харлов.— Что тебе со мной разговаривать?

— Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет.

— Ступай!

— Да, право же, Мартын Петрович!

Харлов опять понурился — и мне показалось, что его потемневшие, как бы землей перекрытые щеки слегка покраснели.

— Право, приезжайте,— продолжал я.— Что вам тут сидеть-то? Себя мучить?

— Как так мучить,— промолвил он с расстановкой.

— Да так же — мучить! — повторил я.

Харлов замолчал и словно в думу погрузился.

Ободренный этим молчаньем, я решил быть откровенным, действовать прямо, начистоту. (Не забудьте — мне было всего пятнадцать лет.)

— Мартын Петрович! — начал я, усаживаясь возле него.— Я ведь все знаю, решительно все! Я знаю, как ваш зять с вами поступает — конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении... Но зачем же унывать?

Харлов все молчал и только удочку уронил, а я-то — каким умницей, каким философом я себя чувствовал!

— Конечно,— заговорил я снова,— вы поступили неосторожно, что все отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны — и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта! Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение... именно презрение... и не тосковать...

— Оставь! — прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно...— Уйди!

— Но, Мартын Петрович...

— Уйди, говорят... а то убью!

Я было совсем пододвинулся к нему; но при этом последнем слове невольно вскочил на ноги.

— Что вы такое сказали, Мартын Петрович?

— Убью, говорят тебе: уйди! — Диким стоном, ревом вырвался голос из груди Харлова, но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой. — Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду, — вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить, молокосос! — «Он с ума сошел!» — мелькнуло у меня в голове.

Я взглянул на него попристальнее и остолбенел окончательно: Мартын Петрович плакал!! Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам... а лицо приняло выражение совсем свирепое...

— Уйди! — закричал он еще раз, — а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было!

Он дрыгнул всем телом как-то вбок и оскалился, точно кабан; я схватил ружье и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною! И она тоже испугалась.

Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел, но, встретившись с Сувениром, я — черт знает почему — рассказал ему все. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, как визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его.

— Эх! посмотрел бы я, — твердил он, задыхаясь от смеха, — как этот идол, «вшед» Харлус, залез в тину, да и сидит в ней...

— Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно.

— Да; а как убьет?

Очень мне надоел Сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости... Житков, которому он передал мой рассказ, взглянул на дело несколько иначе.

— Придется к полиции обратиться, — решил он, — а пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать.

Предчувствие его насчет воинской команды не сбылось, — но произошло действительно нечто необыкновенное.

XXII

В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей комнаты, во втором этаже нашего дома — и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролежавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная; об охоте невозможно было и помыш-

лять. Все живое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто; низкое, без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловеющий цвет — и дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее и с визгом расплывался по стеклам. Деревья совсем истрепались и какие-то серые стали: уж, кажется, что было с них взять, а ветер нет-нет — да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мертвыми листьями лужи; крупные волдыри, то и дело лопааясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная; холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости; невольная дрожь пробегала по телу — и уж как становилось дурно на душе! Именно дурно — не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая — и ветер будет вечно пищать и ныть! Вот стоял я так-то в раздумье у окна — и помню я: темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего двенадцать. Вдруг мне почудилось, что через наш двор — от ворот к крыльцу промчался медведь! Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не верил. Если и не медведя я увидел, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое... Не успел я еще сообразить, что б это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня...

Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую...

В дверях гостиной, лицом ко мне, стояла как вкопанная моя матушка; за ней виднелось несколько испуганных женских лиц; дворецкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами — тискались у двери в переднюю; а посреди столовой, покрытое грязью, растрепанное, растерзанное, мокрое — мокрое до того, что пар поднимался кругом и вода струйками бежала по полу, стояло на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор! И кто же был это чудовище? Харлов! Я зашел сбоку и увидел — не лицо его — а голову, которую он обхватил ладонями по слеplенным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно; что-то даже хлопотало в его груди — и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен! Вспомнился мне саванник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно: такой вид должно было иметь допотоп-

ное животное, только что спасшееся от другого, сильнейшего зверя, напавшего на него среди векового ила первобытных болот.

— Мартын Петрович! — воскликнула наконец матушка и руками всплеснула. — Ты ли это? Господи, боже милостивый!

— Я... я... — слышался прерывистый голос, как бы с усилием и болью выпирая каждый звук, — ох! Я!

— Но что это с тобою, господи?!

— Наталья Николаевна... на... я к вам... прямо из дому бе... жал пешком...

— По этакой грязи! Да ты на человека не похож. Встань, сядь по крайней мере... А вы, — обратилась она к горничным, — поскорей сбегайте за полотенцами. Да нет ли какого сухого платья? — спросила она дворецкого.

Дворецкий показал руками, что где же, мол, на такой рост?..

— А впрочем, одеяло можно принести, — доложил он, — не то попона есть новая.

— Да встань же, встань, Мартын Петрович, сядь, — повторяла матушка.

— Выгнали меня, сударыня, — простонал вдруг Харлов, — и голову назад закинул и руки протянул вперед. — Выгнали, Наталья Николаевна! Родные дочери из моего же родного пепелища...

Матушка ахнула.

— Что ты говоришь! Выгнали! Экой грех! экой грех! (Она перекрестилась.) Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость!

Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступить к этакой уйме грязи.

— Выгнали, сударыня, выгнали, — твердил между тем Харлов. — Дворецкий вернулся с большим шерстяным одеялом и тоже остановился в недоумении. Головка Сувенира высунулась из-за двери и исчезла.

— Мартын Петрович, встань! Сядь! и расскажи мне все по порядку, — решительным тоном скомандовала матушка.

Харлов приподнялся... Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку замарал и, встряхивая пальцами, отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать: обсушить Харлова, очевидно, не было возможности; только следы его на полу наскоро подтерли.

— Как же это тебя выгнали? — спросила матушка Харлова, как только он немного «отдышался».

— Сударыня! Наталья Николаевна! — начал он напряженным голосом — и опять поразила меня беспокойная беготня его белков, — буду правду говорить: больше всех виноват я сам.

— То-то вот; не хотел ты меня тогда послушаться, — промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком: очень уже разило от Харлова... в лесном болоте не так сильно пахнет.

— Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня, не хуже царя Навуходносора. Думал я: не обидел меня господь бог умом-разумом; коли я что решил — стало, так и следует... А тут страх смерти подошел... Вовсе я сбился! Покажу, мол, я напоследках силу да власть свою! Награжу — а они должны по гроб чувствовать... (Харлов вдруг весь всколыхался...) Как пса паршивого выгнали из дому вон! Вот их какова благодарность!

— Но каким же образом, — опять начала было матушка...

— Казачка Максимку от меня взяли, — перебил ее Харлов (глаза его продолжали бегать, обе руки он держал у подбородка — пальцы в пальцы), — экипаж отняли, мясчину урезали, жалаванья выговоренного не платили — кругом, как есть, оконнали — я все молчал, все терпел! И терпел я по причине... ох! опять-таки гордости моей. Чтобы не говорили враги мои лютые: вот, мол, старый дурак, теперь кается; да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали: локтя, мол, своего не укусишь! Вот я и терпел... Только сегодня прихожу я к себе в комнату, а уж она занята — и постельку мою в чулан выкинули! Можешь-де и там спать; тебя и так за милость терпят; нам-де твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит — кто же? Володька Слёткин, смерд, паскуд...

Голос Харлова оборвался.

— Но дочери-то твои? Они-то что же? — спросила матушка.

— А я все терпел, — продолжал Харлов свое повествование, — горько, горько мне было во́ как и стыдно... Не глядел бы на свет божий! Оттого я и к вам, матушка, поехать не захотел — от этого от самого от стыда, от страму! Ведь я, матушка моя, все перепробовал: и лаской, и угрозой, и усовещивал-то их, и что уж! кланялся... вот так-то (Харлов показал, как он кланялся). И все понапрасну! И все-то я терпел! Сначала-то, на первых-то порах, не такие у меня мысли были: возьму, мол, перебыю, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось... Будут знать! Ну, а потом — покорился! Крест, думаю, мне послан; к смерти, значит, пригото-

виться надо. И вдруг сегодня, как пса! И кто же? Володька! А что вы о дочерях спрашивать изволили, то разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки! Да!

Матушка удивилась.

— Про Анну я еще это понять могу; она — жена... Но с какой стати вторая-то твоя...

— Евлампия-то? Хуже Анны! Вся, как есть, совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину, приказу. Анне — видимое дело — следовало бы обидеться, да она и терпеть сестры не может, а покоряется! Околдовал, проклятый! Да ей же, Анне, вишь, думать приятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая всегда была гордая, а теперь вон что из тебя стало!.. О... ох, ох! Боже мой, боже!

Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону, из предосторожности, как бы меня не выслали...

— Очень сожалею, Мартын Петрович,— начала она,— что мой бывший воспитанник причинил тебе столько горя и таким нехорошим человеком оказался; но ведь и я в нем ошиблась... Кто мог это ожидать от него!

— Сударыня,— простонал Харлов и ударил себя в грудь.— Не могу я снести неблагодарность моих дочерей! Не могу, сударыня! Ведь я им все, все отдал! И к тому же совесть меня замучила. Много... ох! много передумал я, у пруда сидючи да рыбу удучи! «Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал! — размышлял я так-то,— бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал! Ведь ты перед богом за них ответчик! Вот когда тебе отливаются их слезки!» И какая теперь их судьба: была яма глубокая и при мне — что греха таить, а теперь и дна не видать! Эти все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш! Из дому меня пинком, как пса!

— Полно об этом думать, Мартын Петрович,— заметила матушка.

— И как он мне сказал, ваш-то Володька,— с новой силой подхватил Харлов,— как сказал он мне, что мне в моей горенке больше не жить, а я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал — как сказал он мне это — и бог знает, что со мной приключилось! В головушке помутилось, по сердцу как ножом... Ну, либо его зарезать, либо из дому вон!.. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя, Наталья Николаевна... И куды ж мне было голову приклонить? А тут дождь, слякоть... Я, может, раз двадцать упал! И теперь... в таком безобразии...

Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался.

— Полно тебе, полно, Мартын Петрович, — поспешно проговорила матушка, — какая в том беда? Что ты пол-то замарал? Эка важность! А я вот какое хочу тебе предложение сделать. Слушай! Отведут тебя теперь в особую комнату, постель дадут чистую — ты разденся, умойся, да приляг и усни...

— Матушка, Наталья Николаевна! Не уснуть мне! — уныло промолвил Харлов. — В мозгах-то словно молотами стучат! Ведь меня, как тварь непотребную...

— Ляг, усни, — настойчиво повторила матушка. — А потом мы тебя чаем набим — ну, и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный! Если тебя из *твоего* дома выгнали, в *моем* доме ты всегда найдешь себе приют... Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас.

— Благодетельница! — простонал Харлов и закрыл лицо руками. — Спасите *вы* меня теперь!

Это воззвание тронуло мою матушку почти до слез.

— Охотно готова тебе помочь, Мартын Петрович, всем, чем только могу; но ты должен обещать мне, что будешь вперед меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь.

Харлов принял руки от лица.

— Коли нужно, — промолвил он, — я ведь и простить могу! Матушка одобрительно кивнула головой.

— Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа, Мартын Петрович; но речь об этом впереди. Пока приведи ты себя в порядок — а главное, усни. Отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина, — обратилась матушка к дворецкому, — и что он только потребует, чтобы сию минуту было! Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье, какое понадобится, спроси у кастелянши — слышишь?

— Слушаю, — отвечал дворецкий.

— А как он проснется, мерку с него прикажи снять портному; да бороду надо будет сбрить. Не сейчас, а после.

— Слушаю, — повторил дворецкий. — Мартын Петрович, пожалуйста. — Харлов поднялся, посмотрел на матушку, хотел было подойти к ней, но остановился, отвесил поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошел за дворецким. Вслед за ним и я выскользнул из комнаты.

XXIV

Дворецкий привел Харлова в зеленый кабинет и тотчас побежал за кастеляншей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней и вместе с нами вскочивший

в кабинет, немедленно принялся, с кривляньем и хохотом, вертеться около Харлова, который, слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода все еще продолжала течь с него.

— Вшед! Вшед Харлус! — пищал Сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока. — Великий основатель знаменитого рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков он есть? Можешь его признать? Ха-ха-ха! Ваше сиятельство, пожалуйста ручку! Отчего это на вас черные перчатки?

Я хотел было удержаться, пристыдить Сувенира... но не тут-то было!

— Приживальщиком меня величал, дармоедом! «Нет, мол, у тебя своего крова!» А теперь небось таким же приживальщиком стал, как и аз грешный! Что Мартын Харлов, что Сувенир проходимец — теперь всё едино! Подачками тоже кормиться будет. Возьмут корку хлеба завалящую, что собака нюхала, да прочь пошла... На, мол, кушай! Ха-ха-ха!

Харлов все стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки.

— Мартын Харлов, столбовой дворянин! — продолжал пищать Сувенир. — Важность-то какую на себя напустил, фу ты ну ты! Не подходи, мол, зашибу! А как именье свое от большого ума стал отдавать да делить — куды раскудахтался! «Благодарность! — кричит, — благодарность!» А меня-то за что обидел? Не наградил? Я, быть может, лучше бы восчувствовал! И, значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной...

— Сувенир! — закричал я; но Сувенир не унимался. Харлов все не трогался; казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени все на нем было мокро, и ждал, когда это с него все снимут. Но дворецкий не возвращался.

— А еще воин! — начал опять Сувенир. — В двенадцатом году отечество спасал, храбрость свою показывал! То-то вот и есть: с мерзлых мародеров портки стащить — это наше дело; а как девка на нас ногой притопчет, у нас у самих душа в портки...

— Сувенир! — закричал я вторично.

Харлов искоса посмотрел на Сувенира; он до того мгновенья словно и присутствия его не замечал, и только возглас мой возбудил его внимание.

— Смотри, брат, — проворчал он глухо, — не допрыгайся до беды!

Сувенир так и покатился со смеху.

— Ох, как вы меня испугали, братец почтеннейший! уж как вы страшны, право! Хоть бы волосики себе причесали, а то, сохрани бог, засохнут, не отмоешь их потóm; придется скосить ко-

сою.— Сувенир вдруг расхотелся.— Еще куражитесь! Голыш, а куражится! Где ваш кров теперь, вы лучше мне скажите, вы все им хвастались? У меня, дескать, кров есть, а ты бескровный! Наследственный, дескать, мой кров! (Далось же Сувениру это слово!)

— Господин Бычков,— промолвил я.— Что вы делаете! опомнитесь!

Но он продолжал трещать и все прыгал да шмыгал около самого Харлова... А дворецкий с кастеляншей все не шли!

Мне жутко становилось. Я начинал замечать, что Харлов, который в течение разговора с моей матушкой постепенно стихал и даже под конец, по-видимому, помирился с своей участью, снова стал раздражаться: он задыхал скорее, под ушами у него вдруг словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забегали среди темной маски забрызганного лица...

— Сувенир! Сувенир! — воскликнул я.— Перестаньте, я маменьке скажу.

Но Сувениром словно бес овладел.

— Да, да, почтеннейший! — затрепал он опять,— вот мы с вами теперь в каких subtilных обстоятельствах обретаемся! А дочки ваши, с зятьком вашим, Владимиром Васильевичем, под вашим кровом над вами потешаются вдоволь! И хоть бы вы их, по обещанию, прокляли! И на это вас не хватило! Да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володькой его называли! Какой он для вас Володька? Он— Владимир Васильевич, господин Слёткин, помещик, барин, а ты — кто такой?

Неистовый рев заглушил речь Сувенира... Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинело, пена показалась на истресканных губах, он задрожал от ярости.

— Кров! — говоришь ты! — загремел он своим железным голосом,— проклятие! — говоришь ты... Нет! я их не прокляну... Им это нипочем! А кров... кров я их разорю, и не будет у них крова так же, как у меня! Узнают они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила! Узнают, как надо мной издеваться!.. Не будет у них крова!

Я обомлел; я отроду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался предо мною! Я обомлел... а Сувенир, тот от страха под стол забился.

— Не будет! — закричал Харлов в последний раз и, чуть не сбив с ног входивших кастеляншу и дворецкого, бросился вон из дому... Кубарем прокатился он по двору и исчез за воротами.

Матушка страшно рассердилась, когда дворецкий пришел с смущенным видом доложить о новой и неожиданной отлучке Мартына Петровича. Он не осмелился утаить причину этой отлучки; я принужден был подтвердить его слова.

— Так это все ты! — закричала матушка на Сувенира, который забежал было зайцем вперед и даже к ручке подошел, — твой пакостный язык всему виною!

— Помилуйте, я чичас, чичас... — залепетал, заикаясь и закидывая локти за спину, Сувенир.

— Чичас... чичас... Знаю я твое чичис! — повторила матушка с укоризной и выслала его вон. Потом она позвонила, велела позвать Квицинского и отдала ему приказ: немедленно отправиться с экипажем в Еськово, во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привезти его. — Без него не являйтесь! — заключила она. Сумрачный поляк молча наклонил голову и вышел.

Я вернулся к себе в комнату, снова подсел к окну и, помнится, долго размышлял о том, что у меня на глазах совершилось. Я недоумевал; я никак не мог понять, почему Харлов, почти без ропота переносивший оскорбления, нанесенные ему домашними, не мог совладать с собою и не перенес насмешек и шпилек такого ничтожного существа, каков был Сувенир. Я не знал еще тогда, какая нестерпимая горечь может иной раз заключаться в пустом упреке, даже когда он исходит из презренных уст... Ненавистное имя Слёткина, произнесенное Сувениром, упало искрою в порох; наболевшее место не выдержало этого последнего укола.

Прошло около часа. Коляска наша въехала на двор; но в ней сидел наш управляющий один. А матушка ему сказала: «Без *него* не являйтесь!» Квицинский торопливо выскочил из экипажа и взбежал на крыльцо. Лицо его являло вид расстроенный, что с ним почти никогда не бывало. Я тотчас спустился вниз и по его пятам пошел в гостиную.

— Ну? привезли его? — спросила матушка.

— Не привез, — отвечал Квицинский, — и не мог привезти.

— Это почему? Вы его видели?

— Видел.

— С ним что случилось? Удар?

— Никак нет; ничего не случилось.

— Почему же вы не привезли его?

— А он дом свой разоряет.

— Как?

— Стоит на крыше нового флигеля — и разоряет ее. Тесин, полагать надо, с сорок или больше уже слетело; решетин тоже

штук пять. («Крѳва у них не будет!» — вспомнились мне слова Харлова.)

Матушка уставилась на Квицинского.

— Один... на крыше стоит и крышу разоряет?

— Точно так-с. Ходит по настилке чердака и направо да налево ломает. Сила у него, вы изволите знать, сверхчеловеческая! Ну и крыша, надо правду сказать, лядащая; выведена вразбежку, шалѳвками забрана, гвозди — однотес¹.

Матушка посмотрела на меня, как бы желая удостовериться, не слышалась ли она как-нибудь.

— Шалѳвками вразбежку,— повторила она, явно не понимая значения ни одного из этих слов...

— Ну, так что ж вы? — проговорила она наконец.

— Приехал за инструкциями. Без людей ничего не поделаешь. Тамошние крестьяне все со страха попрытались.

— А дочери-то его — что же?

— И дочери — ничего. Бегают, зря... голосят... Что толку?

— И Слѳткин там?

— Там тоже. Пуще всех вопит, но поделать ничего не может.

— И Мартын Петрович на крыше стоит?

— На крыше... то есть на чердаке — и крышу разоряет.

— Да, да,— проговорила матушка,— шалѳвками...

Казус, очевидно, предстоял необыкновенный.

Что было предпринять? Послать в город за исправником, собрать крестьян? Матушка совсем потерялась.

Приехавший к обеду Житков тоже потерялся. Правда, он упомянул опять о воипской команде, а впрочем, никакого совета не преподал и только глядел подчиненно и преданно. Квицинский, видя, что никаких инструкций ему не добиться, доложил — со свойственной ему презрительной почтительностью — моей матушке, что если она разрешит ему взять несколько конюхов, садовников и других дворовых, то он попытается...

— Да, да,— перебила его матушка,— попытайтесь, любезный Викентий Осипыч! Только поскорее, пожалуйста, а я все беру на свою ответственность!

Квицинский холодно улыбнулся.

— Одно наперед позвольте объяснить вам, сударыня: за результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова боль-

¹ Крыша выводится «вразбивку» или «вразбежку», когда между каждыми двумя тесинами оставляется пустое пространство, закрываемое сверху другой тесиной; такая крыша дешевле, но менее прочна. Шалѳвкой называется самая тонкая доска в $\frac{1}{2}$ вершка, обыкновенная тесина — в $\frac{3}{4}$ вершка,

шая и отчаянность тоже; очень уж он оскорбленным себя считает!

— Да, да,— подхватила матушка,— и всему виною этот гадкий Сувенир! Никогда я этого ему не прощу! Ступайте, возьмите людей, поезжайте, Викентий Осипыч!

— Вы, господин управляющий, веревок побольше захватите да пожарных крючьев,— промолвил басом Житков,— и коли сеть имеется, то и ее тоже взять недурно. У нас вот так-то однажды в полку...

— Не извольте учить меня, милостивый государь,— перебил с досадой Квицинский,— я и без вас знаю, что нужно.

Житков обиделся и объявил, что так как он полагал, что и его позовут...

— Нет, нет! — вмешалась матушка.— Ты уж лучше оставайся... Пускай Викентий Осипыч один действует... Ступайте, Викентий Осипыч!

Житков еще пуще обиделся, а Квицинский поклонился и вышел.

Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку и пустился вскачь по дороге к Еськову.

XXVI

Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой — прямо мне навстречу. На полдороге седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла; я слез и принялся зубами натягивать ремни... Вдруг слышу: кто-то зовет меня по имени... Сувенир бежал ко мне по зеленам.

— Что, батенька,— кричал он мне еще издали,— любопытство одолело? Да и нельзя... Вот и я туда же, напрямиком, по харловскому следу... Ведь этакой штуки умрешь — не увидишь!

— На дело рук своих хотите полюбоваться,— промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в галоп; но неугомонный Сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот наконец и Еськово — вот и плотина, а там длинный плетень и ракатник усадьбы... Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении.

От передней трети крыши на новом флигельке, от мезонина, оставался один остов; дрань и тесины лежали беспорядочными грудками с обеих сторон флигеля на земле. Положим, крыша была, по выражению Квицинского, лядащая; но все же дело было невероятное! По настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже-проворно двигалась исчерна-серая масса и то раскачивала оставшуюся, из кирпича сложенную, трубу (другая уже повалилась),

то отдирала тесину и бросала ее книзу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут: и голова, и спина, и плечи — медвежьи, и ставил он ноги широко, не разгибая ступни — тоже по-медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая его склоченные волосы; страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья; страшно было слышать его дикое, хрипкое бормотание. На дворе былолюдно; бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора; несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиною к стене, неподвижно смотрела на отца; Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом; Слёткин — весь бледный, желтый, в старом плафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках, перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидал; задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо, — целился опять, кричал, плакал... Увидав меня с Сувениром, он так и ринулся к нам.

— Посмотрите, посмотрите, что тут происходит! — завизжал он, — посмотрите! Он с ума сошел, взбеленился... и вот что делает! Я уж за полицией послал — да никто не едет! Никто не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность! А я выстрелю!.. Ей-богу, выстрелю!

Он подскочил к дому.

— Мартын Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете, — я выстрелю!

— Стреляй! — раздался с крыши хриплый голос. — Стреляй! А вот тебе пока гостинец!

Длинная доска полетела сверху и, перевернувшись раза два на воздухе, брякнулась наземь у самых ног Слёткина. Тот так и взвился, а Харлов захохотал.

— Господи Иисусе! — пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся: Сувенир. «А! — подумал я, — перестал теперь смеяться!»

Слёткин схватил близ стоявшего мужика за шиворот.

— Да полезай, полезай же, полезайте, черти, — вопил он, тряса его изо всей силы, — спасайте мое имущество!

Мужик ступил раза два, закинул голову, помахал руками, закричал:

— Эй, вы! господин! — потолокся на месте и верть назад.

— Лестницу! лестницу несите! — обратился Слёткин к прочим крестьянам.

— А где ее взять? — послышалось ему в ответ.

— И хоть бы лестница была, — промолвил не спеша один голос, — кому ж охота лезть? Нашли дураков! Он те шею свернет — мигом!

— С'час убить, — проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом.

— А то нешто нет? — подхватили остальные. Мне показалось, что, не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивлял он их.

— Ах вы, разбойники! — застонал Слёткин, — вот я вас всех...

Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба, и среди мгновенно взвившегося облака желтой пыли Харлов, испустив пронзительный крик и высоко подняв окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткин опять в него прицелился.

Евлампия одернула его за локоть.

— Не мешай! — свирепо вскинулся он на нее.

— А ты — не смей! — промолвила она, — и синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей. — Отец свой дом разоряет. Его добро.

— Врешь: наше!

— Ты говоришь: наше; а я говорю: его.

Слёткин зашипел от злости; Евлампия так и уперлась ему в лицо глазами.

— А, здорово! здорово, дочка любезная! — загремел сверху Харлов. — Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь-можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?

— Отец! — послышался звучный голос Евлампии.

— Что, дочка? — отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка, — светлая, веселая, — и именно потому особенно страшная, недобрая усмешка... Много лет спустя я видел такую же точно усмешку на лице одного к смерти приговоренного.

— Перестань, отец; сойди (Евлампия не говорила ему «батюшка»). Мы виноваты; все тебе возвратим. Сойди.

— А ты что за нас распоряжаешься? — вмешался Слёткин. Евлампия только пуще брови нахмурила.

— Я свою часть тебе возвращу — все отдам. Перестань, сойди, отец! Прости нас; прости меня.

Харлов все продолжал усмехаться.

— Поздно, голубушка, — заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь. — Поздно шевельнулась каменная твоя душа!

Под гору покатилося — теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я — пропащий человек! Ты посмотри лучше на своего Володьку: вишь, какой красавчик выискался! Да на свою эхиденную сестру посмотри; вон ее лисий нос из окошка выставляется, вон она муженька-то подуськивает! Нет, сударики! Захотели вы меня крова лишить — так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал, своими же руками разорю — как есть одними руками! Видите, и топора не взял!

Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропила.

— Полно, отец, — говорила меж тем Евлампия, и голос ее стал как-то чудно ласков, — не поминай прошлого. Ну, поверь же мне; ты всегда мне верил. Ну, сойди; приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя да согрею; раны твои перевяжу, вишь, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того. Ну, были виноваты! ну, зазнались, согрешили; ну, прости!

Харлов покачал головою.

— Расписывай! Поверю я вам, как бы не так! Убили вы во мне веру-то! Все убили! Был я орлом — и червяком для вас сделался... а вы — и червяка давить? Полно! Я тебя любил, сама знаешь, — а только теперь ты мне не дочь и я тебе не отец... Я пропащий человек! Не мешай! А ты стреляй же, трус, горе-богатырь! — гаркнул вдруг Харлов на Слёткина. — Что все только целишься? Али закон вспомнил: коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, — заговорил Харлов с расстановкой, — то датель властен все назад потребовать? Ха-ха, не бойся, законник! Я не потребую — я сам все покончу... Валяй!

— Отец! — в последний раз взмолилась Евлампия.

— Молчи!

— Мартын Петрович! братец, простите великодушно! — пролепетал Сувенир.

— Отец, голубчик!

— Молчи, сука! — крикнул Харлов. На Сувенира он и не посмотрел — и только сплюнул в его сторону.

XXVII

В это мгновенье Квицинский со всей своей свитой — на трех телегах — появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за одним соскакивали в грязь.

— Эге! — закричал во все горло Харлов. — Армия... вот она, армия! Целую армию против меня выставляют. Хорошо же! Только предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует — и того я

вверх тормашками вниз спусти! Я хозяин строгий, не в пору гостей не люблю! Так-то!

Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил, за так называемые «ноги» фронтона, и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он как бы тащил их за собою, мерно напевая по-бурлацкому: «Еще разик! еще раз! ух!»

Слёткин подбежал к Квицинскому и начал было жаловаться и хныкать... Тот попросил его «не мешать» и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал, в виде диверсии, объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело...

— Еще разик, еще раз! — напевал Харлов.

...Что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того от него ожидала...

— Еще разик, еще раз! ух! — напевал Харлов. А между тем Квицинский отрядил четырех самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома, с тем чтобы они сзади взобрались на крышу. От Харлова, однако, не ускользнул план атаки; он вдруг бросил стропила и проворно побежал к задней части мезонина. Вид его до того был страшен, что два конюха, которые успели уже взобраться на чердак, мигом спустились обратно на землю по водосточной трубе, к немалому удовольствию и даже хохоту дворовых мальчишек. Харлов потряс им вслед кулаком и, вернувшись к передней части дома, опять ухватился за стропила и стал их опять раскачивать, опять напевая по-бурлацки.

Он вдруг остановился, възрелся...

— Максимушка, друг! приятель! — воскликнул он, — тебя ли я вижу?

Я оглянулся... От толпы крестьян действительно отделился казачок Максимка и, ухмыляясь и скаля зубы, вышел вперед. Его хозяин, шорник, вероятно, отпустил его домой на побывку.

— Полезай ко мне, Максимушка, слуга мой верный, — продолжал Харлов, — станем вместе отбиваться от лихих татарских людей, от воров литовских!

Максимка, все продолжая ухмыляться, немедленно полез на крышу... Но его схватили и оттащили — бог знает почему — разве для примера другим; помощи большой он Мартыну Петровичу не оказал бы.

— Ну, хорошо же! Добро же! — промолвил Харлов угрожающим голосом и снова взялся за стропила.

— Викентий Осипович! позвольте я выстрелю, — обратился Слёткин к Квицинскому, — я ведь больше для страха, ружье у меня заряжено бекасинником. — Но не успел еще ответить ему Квицинский, как передняя пара стропил, яростно раскаченная

железными руками Харлова, накренилась, затрещала и рухнула на двор — и вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов и грузно треснулся оземь. Все вздрогнули, ахнули... Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном.

XXVIII

К Харлову подскочили, свалили долой с него брус, повернули его навзничь; лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, он не дышал. «Дух отшибло», — пробормотали подошедшие мужики. Побежали за водой к колодцу, принесли целое ведро, окатили Харлова голову; грязь и пыль сошли с лица, но безжизненный вид оставался тот же. Притащили скамейку, поставили ее у самого флигеля и, с трудом приподнявши громадное тело Мартына Петровича, посадили его, прислонив голову к стене. Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина. Евлампия, бледная как сама смерть, стала прямо перед отцом, неподвижно устремив на него свои огромные глаза. Анна с Слёткиным не подошли близко. Все молчали, все ждали чего-то. Наконец послышались прерывистые, хлюпающие звуки в горле Харлова, точно он захлебывался... Потом он слабо повел одной — правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один — правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул — произнес картавя:

— Рас... шибся... — и, как бы подумав немного, прибавил: — Вот он, воро... ной жере... бенок! — Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта — все тело затрепетало...

«Конец!» — подумал я... Но Харлов открыл еще все тот же правый глаз (левая века не шевелилась, как у мертвеца) и, вперив его на Евлампью, произнес едва слышно: — Ну, доч... ка... Тебя я не про... — Квицинский резким движением руки подозвал попа, который все еще стоял на крыльце флигеля... Старик приблизился, путаясь слабыми коленями в тесной рясе. Но вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело и живот тоже; по лицу, снизу вверх, прошла неровная судорога — точно так же исказилось и задрожало лицо Евлампии. Максимка начал креститься... Мне стало жутко, я побежал к воротам и, не оглядываясь, приник к ним грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудело по всем устам сзади меня — и я понял, что Мартына Петровича не стало.

Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии.

«Что он хотел сказать ей умирая?» — спрашивал я самого себя, возвращаясь домой на своем клеппере: «Я тебя не про...кли-наю? или не про...щаю?» Дождик опять полил, но я ехал шагом. Мне хотелось подольше остаться одному, хотелось безвозвратно предаться моим размышлениям. Сувенир отправился на одной из телег, прибывших с Квицинским. Как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная, общая (не в одних частностях) перемена, постоянно вызываемая во всех сердцах неожиданным или ожидаемым (все равно!) появлением смерти, ее торжественность, важность и правдивость — не могли не поразить меня. Я и был поражен... но со всем тем мой смущенный детский взор заметил тотчас многое: он заметил, как Слёткин, проворно и робко, словно краденую вещь, швырнул в сторону ружье, как он и жена его оба мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, как сделалось пусто вокруг них... На Евлампию, хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторое сожаление к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата, — это все-таки чувствовалось всеми. «Обидели старика, — промолвил один седоватый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бороною на длинную палку, — на вашей душе грех! Обидели!» Это слово «обидели!» тотчас было принято всеми, как бесповоротный приговор. Правосудие народное сказалось, я понял это немедленно. Я заметил также, что на первых порах Слёткин не *смел* распоряжаться. Без него подняли и понесли тело в дом; не спросясь его, священник отправился за нужными вещами в церковь, а староста побежал в деревню справлять подводу в город. Сама Анна Мартиновна не решилась обычным начальническим тоном приказать поставить самовар, «чтоб теплая вода была — обмыть покойника». Ее приказание походило на просьбу — и отвечали ей грубо...

Меня же все занимал вопрос: что он, собственно, хотел сказать своей дочери? Простить ли он ее хотел или проклясть? Я решил наконец, что — простить.

Дня через три происходили похороны Мартына Петровича на счет матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалеть издержек. Сама она не поехала в церковь, — потому что не хотела, как она выражалась, видеть тех двух мерзавок и гадкого того жиденка; но послала Квицинского, меня и Житкова, которого, впрочем, с того времени иначе уже не величала, как бабой! Сувенира она на глаза к себе не пускала и долго потом еще гневалась на него, называя его убийцей своего друга. Опала эта

была ему весьма чувствительна: он постоянно расхаживал на цыпочках по комнате, соседней с той, где находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхолии, вздрагивал и шептал: «Чичас!»

В церкви и во время процессии Слёткин показался мне снова попавшим «в свою тарелку». Он распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдал за тем, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дело не касалось собственно его кармана. Максими́ка, в новом, тоже моей матушкой пожалованном казакине, выводил на клиросе такие теноровые ноты, что в искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомневаться не мог! Обе сестры были как следует в траурных платьях — но казались более смущенными, чем огорченными, особенно Евлампия. Анна приняла на себя смиренный и постный вид, впрочем, не силилась плакать и все только проводила своей красивой сухой рукой по волосам и щеке. Евлампия все задумывалась. То общее, бесповоротное отчуждение, осуждение, какое я заметил в день смерти Харлова, чудилось мне и теперь на всех лицах бывших в церкви людей, во всех их движениях, в их взглядах, — но еще степеннее и как бы безучастнее. Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство, — тот великий грех поступил теперь в ведение единого праведного Судии и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, которого при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уже круто наступила смерть.

— И хоть бы испивал, братец ты мой, — говорил на паперти один мужик другому.

— И не пимши да захмелеешь, — отвечал тот. — Каков случай выдет.

— Обидели, — повторил первый мужик решающее слово.

— Обидели, — промолвили за ним другие.

— А ведь покойный сам вас притеснял? — спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина.

— Барин был, известно, — отвечал мужик, — а все-таки... обидели его!

— Обидели... — опять послышалось в толпе.

У могилы Евлампия стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало... тяжкое раздумье. Я заметил, что с Слёткиным, который несколько раз с ней заговаривал, она обращалась, как, бывало, с Житковым, и еще хуже.

Несколько дней спустя в нашем околотке распространился слух, что Евлампия Мартыновна Харлова навсегда ушла из родительского дома, предоставив сестре и свояку все доставшееся ей имение и взявши только несколько сот рублей...

— Откупилась, видно, Анна-то! — заметила моя матушка, — только у нас с тобою, — прибавила она, обратившись к Житкову, с которым играла в пикет — он заменил ей Сувенира, — руки немелые!

Житков уныло глянул на свои мощные длани... «Они-то, немелые!» — казалось, думалось ему...

Скоро потом мы с матушкой переехали на жительство в Москву — и много минуло лет, прежде чем мне пришлось увидеть обеих дочерей Мартына Петровича.

XXX

Но я увидал их. С Анной Мартыновной я встретился самым обыкновенным образом. Посетив, после кончины матушки, нашу деревню, в которую я не заезжал больше пятнадцати лет, я получил от посредника приглашение (тогда по всей России, с незабытой доселе медленностью, происходило размежевание чересполосицы) — приглашение прибыть для совещания, с прочими владельцами нашей дачи, в имение помещицы вдовы Анны Слёткиной. Известие о несуществовании более на сем свете матушкина «жиденка» с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не печалило; но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у нас за отличнейшую хозяйку. И точно: ее имение, и усадьба, и самый дом (я невольно взглянул на крышу, она была железная) — все оказалось в превосходном порядке, все было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно — выкрашено, хоть бы у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела; но та особенная, сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала, не совсем ее покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас не радушно — это слово к ней не шло, — но вежливо и, увидав меня, свидетеля того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о моей матушке, ни о своем отце, ни о сестре, ни о муже она даже не заикнулась, точно воды в рот набрала.

Были у ней две дочери, обе прехорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с веселым и ласковым выражением в черных глазах; был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда! Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто вернее ее не понимал своих выгод и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права; все «подходящие» законы, даже министерские циркуляры были ей хорошо известны; говорила она немного

и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все ее требования изъявили согласие и таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали; все крихтели и покачивали головами.

— Экая баба умница! — говорил один.

— Продувная шельма! — вмешался другой, менее деликатный владелец, — мягко стелет, да жестко спат!

— Да и скряга же! — прибавил третий, — рюмка водки и кусочек икры на брата — это что же такое?

— Чего от нее ждать? — брякнул вдруг один, до того безмолвный помещик, — кому же не известно, что она мужа своего отравила?

К удивлению моему, никто не почел нужным опровергнуть такое ужасное, навверное, ни на чем не основанное обвинение! Это тем более меня удивило, что, несмотря на приведенные мною бранчивые выражения, уважение к Анне Мартыновне чувствовали все, не исключая неделикатного владельца. Посредник, тот даже в пафос впал.

— Возведи ее на трон, — воскликнул он, — та же Семирамида или Екатерина Вторая! Повиновение крестьян — образцовое... Воспитание детей — образцовое! Голова! Мозги!

Семирамиду и Екатерину в сторону, — но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье... это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Все на свете — и хорошее и дурное — дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще не известных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их.

XXXI

Я осведомился у посредника об Евлампии Мартыновне и узнал, что она, как ушла из дому, так и пропала без вести — и, «вероятно, теперь уже давно воспарила в горния».

Так выразился наш посредник... но я убежден, что я *видел* Евлампью, что я встретился с нею. Именно вот как.

Года четыре после моего свидания с Анной Мартыновной я поселился на лето в Мурине, небольшой деревушке около Петербурга, хорошо известной дачникам средней руки. Охота около Му-

рина была в то время недурна — и я ходил с ружьем чуть не каждый день. Был у меня товарищ, некто Викулов, из мещан — очень неглупый и добрый малый, но, как он сам про себя выражался, совершенно «потерянного» поведения. Где только не был этот человек и чем он не был! Ничего-то его удивить не могло, все-то он знал — но любил он только охоту да вино. Вот однажды возвращались мы с ним в Мурино, и пришлось нам миновать одинокий дом, стоявший у перекрестка двух дорог и обнесенный высоким и тесным частоколом. Не в первый раз видел я этот дом, и всякий раз он возбуждал мое любопытство: в нем было что-то таинственное, замкнутое, угрюмо-немое, что-то напоминавшее острог или больницу. С дороги только и можно было видеть что его крутую, темной краской выкрашенную крышу. Во всем заборе находились одни ворота; и те казались наглухо запертыми; никакого звука не слышалось никогда за ними. Со всем тем вы чувствовали, что в этом доме непременно кто-нибудь обитает: он вовсе не являл вид заброшенного жилья. Напротив, все в нем было так прочно, и плотно, и дюже, что хоть осаду выдерживай!

— Что за крепость такая? — спросил я у своего товарища. — Не знаете?

Викулов лукаво прищурился.

— Чуднее небось строение? Много с него здешнему исправнику дохода!

— Как так?

— Да так же. О хлыстах-раскольниках — вот что без попов живут, — небось слышали?

— Слышал.

— Ну вот тут их главная матка обретается.

— Женщина?

— Да, матка; богородица по-ихнему.

— Что вы?!

— Я ж вам говорю. Строгая, говорят, такая... Командирша! Тысячами ворушает! Взял бы я да всех этих богородиц... Да что толковать!

Он позвал своего Пегашку, удивительную собаку, с превосходным чутьем, но без всякого понятия о стойке. Викулов принужден был подвязывать ей заднюю лапу, чтоб она не так неистово бежала.

Слова его запали мне в память. Я, бывало, нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот однажды поравнялся я с ним, как вдруг — о чудо! — засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке, потом самые ворота тихонько растворились — показалась могучая лошадиная голова с заплетенной челкой под расписной дугой — и не спеша выкатила на дорогу

небольшая тележка вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки, ближе ко мне, сидел мужчина лет тридцати, замечательно красивой и благообразной наружности, в опрятном черном армяке и низко на лоб надетом черном картузе; он степенно правил откормленным, как печь широким конем; а рядом с мужчиной, по ту сторону тележки, сидела женщина высокого роста, прямая как стрела. Голову ее покрывала дорогая черная шаль; одета она была в короткий бархатный пушун оливкового цвета и темно-сизую мериносовую юбку; белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево — и женщина очутилась в двух шагах от меня; она слегка повела головою, и я узнал Евлампия Харлову. Я узнал ее немедленно, я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться; таких глаз, как у ней — и особенно такого склада губ, надменного и чувственного, — я ни у кого не видывал. Лицо ее стало длиннее и суше, кожа потемнела, кой-где виднелись морщины; но особенно изменилось выражение этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво! Не простым спокойствием власти — пресыщением власти дышала каждая черта; в небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя, застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками — а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено! Я громко назвал ее по имени и по отчеству; она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня — не с испугом, а с презрительным гневом: кто, мол, смеет меня беспокоить? — и, едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина встрепенулся, с размаха ударил вожжой по лошади, та двинулась вперед шибкой и крупной рысью — и телега скрылась.

С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в хлыстовские богородицы — я и представить себе не могу; но кто знает, быть может, она основала толк, который назовется — или уже теперь называется, по ее имени — евлампиевщиной? Все бывает, все случается.

И вот что я имел сказать вам о моем степном короле Лире, о семействе его и поступках его».

Рассказчик умолк — а мы потолковали немного, да и разошлись восвояси.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

11 ноября 1870 года И. А. Гончаров писал С. А. Толстой: «Вы, конечно, читали «Степной король Лир». Как живо рассказано — прелесть! Этот рассказ я отношу к «Запискам охотника», в которых Тургенев — истинный художник, творец, потому что он знает эту жизнь, видел ее сам, жил ею — и пишет с натуры... Эти две головки, дочерей Лира, не правда ли живые, бежавшие из грёзовских рамок! И очерчены так легко, почти без красок, будто карандашом: между тем — они перед глазами. Да, Тургенев — трубадур (пожалуй, первый), странствующий с ружьем и лирой по селам, полям, поющий природу сельскую, любовь — в песнях, и отражающий видимую ему жизнь — в легендах, балладах...» (И. А. Гончаров. Собр. соч., т. 8. М., 1955, с. 435). Это писал современник автора, тонкий и взыскательный художник, в пору, когда «Записки охотника» воспринимались уже как юность их создателя, когда мир узнал тургеневские романы — художественную летопись русской общественной жизни середины века: «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Накануне».

Этот отзыв Гончарова весьма симптоматичен, ибо «Записки охотника» не только исток и пролог всего творчества Тургенева, но и по самой своей художественной природе явление новаторское, развившееся в русле пушкинской и гоголевской прозы, которое другой современник писателя — Лев Толстой — ставил в один ряд с «Мертвыми душами» Гоголя, «Записками из Мертвого дома» Достоевского, «Былое и думы» Герцена (см.: Г. А. Русанов, А. Г. Русанов. Воспоминания о Л. Н. Толстом. Воронеж, 1972, с. 102).

Биография «Записок охотника» началась с первого номера некрасовского «Современника» за 1847 год, где в отделе «Смесь» был напечатан небольшой рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч». Обстоятельства (на первый взгляд, вполне прозаические) появления этого рассказа, сыгравшего столь важную роль в творческой судьбе Тургенева, описаны им в его «Литературных и житейских воспоминаниях»: «Только вследствие просьб И. И. Панаева, не имевшего чем наполнить отдел «Смеси» в 1-м номере «Современника», я оставил ему очерк, озаглавленный «Хорь и Калиныч». (Слова: «Из записок охотника» были придуманы и прибавлены тем же И. И. Панаевым с целью расположить читателя к снисхождению.») (И. С. Тургенев. Полное собрание сочинений и писем в 28-ми томах. Соч., т. XIV. М.—Л., «Наука», 1963,

с. 52¹). Существует интересное предположение исследователя творчества Тургенева В. А. Громова, что инициатива появления «Хоря и Калиныча» в «Современнике» исходила от Белинского и Некрасова.

Возможно, что подзаголовок «Из записок охотника» был сознательно дан Панаевым с целью привлечь читателя к весьма популярному в 30—40-е годы прошлого века своеобразному жанру охотничьих рассказов, особенное развитие получившему в Англии и «обошедшему... другие европейские литературы», в том числе и русскую (см.: М. П. А л е к с е е в. Заглавие «Записки охотника». — «Тургеневский сборник», вып. V, Л., «Наука», 1969, с. 217). Вполне вероятно, что есть иной, скрытый, глубинный и более обобщенный смысл этого «внешнего» названия. Дело в том, что и другие повести и рассказы, не вошедшие в цикл, порой тоже ведутся от имени некоего «охотника», странствующего по родным лесам, полям и весям (например, рассказ «Три встречи»). Таким образом, *охотник* может восприниматься как заинтересованный наблюдатель, наделенный даром «всеобъемлющего созерцания», «свидетель», «летописец», стремящийся к глубокому постижению жизни, законов, по которым она движется...

Судя по этому, на первый взгляд, невинному заглавию, Панаев вряд ли мог предполагать, чем станет впоследствии рассказ из «Смеси» для Тургенева и всей русской литературы.

Но, как всегда, пророческим оказалось впечатление Белинского. «Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч», — писал критик Тургеневу. — Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род...» (В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. XII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 336). И хотя сам Тургенев утверждал, что успех «Хоря и Калиныча» «побудил... написать другие», создание всего цикла не было случайностью, а, наоборот, явилось закономерностью, творческой и нравственной необходимостью. Весь предшествующий путь молодого Тургенева, воспитанника Московского, а затем Петербургского и Берлинского университетов, близкого в 40-е годы наиболее передовым и талантливым людям России, властителям дум, — Белинскому, Грановскому, Станкевичу, Герцену и Огареву, декабристу Н. И. Тургеневу, — неотвратимо подводил писателя к созданию большого антикрепостнического произведения, эпического полотна, своего рода «русской Илиады».

В 1846 году, еще до появления первого рассказа о русском крестьянине, Тургенев выступил в качестве негласного сотрудника французского журнала «Revue Independant», органа утопических социалистов. Как теперь стало известно, основная часть статьи «Об освобождении крепостных в России», напечатанной в журнале за подписью Луи Виардо, одного из прогрессивных деятелей Франции, принадлежала Тургеневу и представляла собой переработанный вариант его раннего политико-экономического исследования 1842 года «Несколько замечаний о русском хозяйстве и русском крестьянине». В редакции 1846 года Тургенев в самой категорической форме

¹ В дальнейшем в ссылках на это издание указывается только серия, том и страница.

говорит о необходимости скорейшего освобождения крестьян от крепостной зависимости. Тургенев, по словам Виардо, «стал, вопреки интересам своего класса, вопреки собственным интересам, таким смелым и открытым сторонником освобождения крепостных, словно сам родился в этом бедственном состоянии и требовал свободы для себя во имя страждущего человечества и попоранной справедливости» («Тург. сб.», вып. IV, с. 108).

Успех «Хоря и Калиныча» вдохновил молодого писателя, давно захваченного идеей борьбы с крепостничеством.

Один за другим печатаются рассказы Тургенева в «Современнике». В течение только 1847 года появилось восемь рассказов: «Хорь и Калиныч» (№ 1), «Петр Петрович Каратаев» (№ 2), «Ермолай и мельничиха», «Мой сосед Радилов», «Однодворец Овсяников», «Льгов» (№ 5), «Бурмистр», «Контора» (№ 10); в 1848 году были опубликованы: «Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Бирюк», «Лебедеянь», «Татьяна Борисовна и ее племянник», «Смерть» (№ 2); в 1849 году публикуются: «Гамлет Щигровского уезда», «Чертопханов и Недолюскин», «Лес и стамп» (№ 2); в 1850 году — «Певцы» и «Свидание» (№ 11); в 1851 году — «Бежин луг» (№ 2) и «Касьян с Красивой Мечи» (№ 3) — последний рассказ из «Записок охотника», опубликованный на страницах «Современника». Интересно, что второй рассказ цикла, «Петр Петрович Каратаев», был напечатан без подзаголовка «Из записок охотника» и только начиная с третьего — «Ермолай и мельничиха» — этот подзаголовок, ставший затем названием всей книги, окончательно укреплёлся.

Почти все рассказы были написаны Тургеневым в отдалении от России, за границей, куда он уехал во второй половине января 1847 года, то есть сразу же после появления в «Современнике» «Хоря и Калиныча». Отъезд на столь длительное время (писатель вернулся на родину лишь в 1850 году) был вызван не только обстоятельствами личной жизни Тургенева — любовью к великой певице и актрисе Полине Виардо, но прежде всего соображениями гражданского и творческого характера. «Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него... враг этот был — крепостное право», — так писал Тургенев в своих «Литературных и житейских воспоминаниях».

История создания «Записок охотника» нерасторжимо связана с именем Белинского. Самые социально острые антикрепостнические рассказы из «Записок охотника» — «Бурмистр», «Контора», «Два помещика» — создавались летом 1847 года в маленьком курортном городке Зальцбрунне, где Тургенев жил вместе с тяжело больным Белинским. Символично, что рассказ «Бурмистр» помечен: «Зальцбрунн в Силезии, июль 1847 г.» Этим же месяцем помечено и знаменитое «Письмо» Белинского к Гоголю, о котором Тургенев, по словам современников, говорил: «Белинский и его письмо, это — вся моя религия» («Дневник В. С. Аксаковой». СПб., 1913, с. 42).

Уже в июне 1847 года Тургенев задумал объединить рассказы из «Записок охотника» в отдельную книгу. А позже, в октябре 1847 года, Некрасов сообщал писателю о своей идее издания серии «Библиотека русских романов,

повестей, записок и путешествий». По мысли Некрасова, серия должна была открываться романом Герцена «Кто виноват?», во втором томе предполагалось напечатать «Обыкновенную историю» Гончарова, а третий том составили бы рассказы Тургенева. Замысел этот не осуществился. После революционных событий 1848 года в Западной Европе, и прежде всего во Франции, русская цензура стала крайне осторожной, и это незамедлительно сказалось на тургеневских рассказах из «Записок охотника». Особенно «пощипала» цензура «Гамлета Щигровского уезда» (1849), изъяв из текста целые «страницы».

Возможно, что цензурные мытарства заставили Тургенева в ту пору отказаться не только от издания отдельной книги, но и предупредить читателя в обращенных к нему словах из очерка «Лес и степь» о своем намерении завершить на этом публикацию «Записок охотника» в «Современнике». Но с большей уверенностью можно предположить другое: предупреждение о завершении «Записок охотника» связано с тем, что сам очерк был задуман как своеобразный эпилог цикла и во всех «программах», составлявшихся Тургеневым на протяжении трех лет (1847—1850), обозначался в конце. Это предположение тем более вероятно, что публикация в «Современнике» рассказов из «Записок охотника» продолжалась и после очерка «Лес и степь», вплоть до 1851 года.

Мысль об отдельном издании «Записок охотника» не оставляла Тургенева. Писатель упорно работал над его «проспектом», о чем красноречиво говорят многочисленные программы. Последняя, десятая, программа была набросана в августе — сентябре 1850 года на полях чернового автографа рассказа «Притынный кабачок» («Певцы»). После публикации в «Современнике» рассказов «Свидание» и «Певцы» Тургенев писал Полине Виардо в ноябре 1850 года: «Я не оставляю мысли собрать все эти рассказы и издать их в Москве». В этом же письме он говорил и о своем желании посвятить ей свою будущую книгу (Тургенев. Письма, т. I, с. 409). Но затем Тургенев из тактических соображений отказался от этого намерения: «По размышлении — посвящения не будет...» — писал он Полине Виардо 21 марта 1852 года. В цензурной рукописи сохранился титульный лист с зашифрованным посвящением (три звездочки).

Политическое досье Тургенева к началу 50-х годов все больше убеждало правительство в сомнительной благонадежности писателя — автора антикрепостнических рассказов. Кроме того, Тургенев, встречавшийся за границей с Герценом, Огаревым, Бакуниным, Н. И. Тургеневым, бывший очевидцем революционных событий в Париже, вызывал явное подозрение властей. «Когда Тургенев в 1850 году вернулся в Петербург, его предостерегали, но он не хотел обращать на это внимание», — вспоминал один из современников писателя, немецкий критик Карл Глюмер («Тург. сб.», вып. V, с. 362).

Но Тургенев, понимая, что на него «давно смотрят косо», тем не менее продолжал свои хлопоты об отдельном издании «Записок охотника» — и в этом выразилась гражданская позиция писателя. Дело в том, что уже осенью 1851 года за Тургеневым был установлен особый негласный надзор тайной

полицей и все его письма перлюстрировались. Исследователи связывают факт установления надзора с французским изданием книги А. И. Герцена «О развитии революционных идей в России» (в переводе которой на французский язык, по-видимому, принимал участие и Тургенев). В ней «Записки охотника» были названы «шедевром Тургенева»: «Кто может читать, не содрогаясь от возмущения и стыда... шедевр И. Тургенева «Записки охотника?» — писал Герцен (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VII. М., Изд-во АН СССР, с. 228). Симптоматично, что впервые о тургеновских «Записках» Европа узнала из уст издателя «Колокола». С книгой Герцена, услужливо присланной в Россию префектом парижской полиции, специально ознакомился Николай I, и, возможно, он обратил внимание как на отзыв Герцена о «Записках охотника», так и на весь «крамольный» контекст, в котором они упоминались (см.: Ю. Г. Оксман. От «Капитанской дочки» А. С. Пушкина к «Запискам охотника» И. С. Тургенева. Саратов, 1959, с. 247—249).

По инициативе друга Тургенева Василия Петровича Боткина рукопись «Записок охотника» прошла частный предварительный просмотр цензора кн. В. В. Львова, близкого знакомого П. Чаадаева, профессионального литератора, писавшего для юношества. По словам В. П. Боткина, это был «честный и благородный цензор». Львов, с огромным интересом прочитавший рукопись, одобрил ее, и вскоре она была официально представлена в Московскую цензуру и разрешена к печати. В этом издании Тургенев восстановил многочисленные цензурные изъятия из журнальных публикаций. Вмешательство кн. Львова в текст было минимальным (за что впоследствии цензор жестоко поплатился — был уволен от службы). «Из обеих частей, — писал Боткин Тургеневу 10 марта 1852 года, — Львов выкинул *строк десять*, и то таких, которых нельзя было оставить» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Незданная переписка», М.—Л., 1930, с. 29).

Впервые в отдельном издании появился рассказ «Два помещика», задуманный, по всей вероятности, одновременно с «Бурмистром» в 1847 году. Все предшествовавшие попытки Тургенева опубликовать его в «Современнике», а затем в сборниках («Иллюстрированном альманахе» и в альманахе «Комета») терпели крах. В августе 1852 года «Записки охотника» вышли из печати и очень быстро по тому времени разошлись.

С «Записками охотника» связана драматическая полоса в жизни Тургенева — арест в апреле 1852 года, а затем — ссылка в деревню. Внешним поводом для гонений послужила статья о Гоголе, которую написал Тургенев, потрясенный смертью гениального создателя «Мертвых душ». Но истинной причиной были «Записки охотника». «В 1852 г. за напечатание статьи о Гоголе (в сущности за «Записки охотника») отправлен на жительство в деревню...» — писал Тургенев К. К. Случевскому в марте 1869 года (Тургенев. Письма, т. II, с. 635).

«Арестование Тургенева за напечатание в Москве статьи о Гоголе, — писал цесаревич Александр 28 апреля 1852 года своему отцу Николаю I, — наделало здесь много шума — я, как ты знаешь, до так называемых л и т е

раторов также не большой охотник и потому нахожу, что урок, данный ему, и для других весьма здоров...» (Тургенев. Собр. соч. в 12-ти томах, т. 1. М., «Художественная литература», 1975, с. 366).

Тургенев был арестован раньше, чем вышли из печати две части «Записок охотника». На какое-то время возникла даже опасность изъятия и уничтожения части готового тиража. Но власти так и не решились пойти на этот рискованный шаг — уж слишком большую известность приобрели «Записки охотника» при первом появлении в «Современнике» — журнале, который читался всей просвещенной Россией. Однако были приняты другие репрессивные меры — началось, пожалуй единственное в своем роде, подробнейшее цензурное расследование по уже отпечатанной книге. В сущности, после этого расследования, возглавлявшегося министром народного просвещения кв. П. А. Ширинским-Шихматовым (ему подчинялось Главное управление цензуры) «Записки охотника» были запрещены в России в течение более чем шести лет. Результаты цензурного следствия докладывались самому Николаю I.

Выводы цензуры содержали серьезные обвинения политического характера. Известную роль в этом сыграло объединение «Записок охотника» в отдельную книгу. Публикуя свои рассказы в журнале, Тургенев дипломатично заботился о том, чтобы самые острые из них чередовались с более спокойными, да и цензура «помогала», убирая «опасные» фразы, а то и целые страницы. В отдельном издании авткрепостнический замысел цикла как бы высветлился, освободительные настроения нарастали от рассказа к рассказу, достигая своей кульминации примерно к середине цикла, где один за другим шли «Касьян с Красивой Мечи», «Бурмистр», «Ковтора», «Бирюк», «Два помещика». Подобно стихотворениям Некрасова, рассказы Тургенева, «собранные в один фокус», рождали чувства гнева и сострадания.

В своем рапорте цензор Е. Е. Волков особенно подчеркивал опасный политический смысл всей книги, написанной, по его мнению, с определенной тенденцией. «Издавая «Записки охотника», г. Тургенев, человек, как известно, богатый, конечно, не имел в виду прибыли от продажи своего сочинения, — утверждал цензор, — но, вероятно, имел совершенно другую цель, для достижения которой и напечатал свою книгу». Эту «другую цель» цензор сразу уловил: «Полезно ли, например, — рассуждал чиновник, — показывать нашему грамотному народу... что однодворцы и крестьяне наши, которых автор до того опоэтизировал, что видит в них администраторов, рационалистов, романтиков, идеалистов, людей восторженных и мечтательных (бог знает, где он нашел таких!), что крестьяне эти находятся в угнетении, что помещики, над которыми так издевается автор, выставляя их пошлыми дикарями и сумасбродами, ведут себя неприлично и противозаконно... или, наконец, что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше» (Тургенев. Соч., т. IV, с. 505). По мнению Волкова, такая книга «сделает более зла, чем добра», ибо подрыгает самые основы крепостнического государства.

Недоумение цензора, вызванное якобы неправдоподобно высоким ду-

шевным строем тургеневских крестьян («где он нашел таких!»), было скорее просто риторическим восклицанием верноподданного чиновника. Именно удивительная, абсолютная достоверность книги, доподлинность изображенных ситуаций, характеров, самого уклада русской жизни смущала цензуру и приводила в восхищение великих современников Тургенева — Белинского и Герцена, Чернышевского и Некрасова, Салтыкова-Щедрин и Льва Толстого.

Сохранились многочисленные мемуарные свидетельства о существовании реальных прототипов тургеневских героев из «Записок охотника». Так, реальным лицом был знаменитый Хорь, мужик, «наделенный государственным умом» и «лбом Сократа». А. А. Фет, поэт, друг и сосед Тургенева по имению, записал свои впечатления от встречи с этим русским крестьянином, которого обессмертил писатель. «В запрошлом году, в сезон тетеревиной охоты, — вспоминает Фет, — мне привелось побывать у одного из героев тургеневского рассказа «Хорь и Калиныч». Я почевал у самого Хоря. Заинтересованный мастерским очерком поэта, я с большим вниманием всматривался в личность и домашний быт моего хозяина. Хорю теперь за восемьдесят лет, но его колоссальной фигуре и геркулесовскому сложению лета нипочем» («Русский вестник», 1862, кн. V, с. 246). Бывший крепостной Тургенева, Ардалион Иванович Замятин (впоследствии учитель земской школы), рассказывал в своих воспоминаниях: «Бабушка и мать говорили мне, что почти все лица, упоминаемые в «Записках», не выдуманные... даже имена их настоящие... был Бирюк, которого в лесу убили свои же крестьяне, был Яшка-Турчонок — сын пленной турчанки. Даже я лично знал одного тургеневского героя, именно Сучка Антона, переименованного барыней Варварою Петровною из Козьмы. Бежин луг, Парахинские кусты, Варнавицы, Кобылий верх... — все эти места имели те же названия и в 1882 году» («Тург. сб.», вып. II., с. 298—299). Между прочим, эти названия сохранились и по сей день, так же как и речка Красивая Меча, и деревня Колотовка. Чернский, Белевский, Жиздринский уезды, «места действия» в «Записках охотника», были исхожены Тургеневым вместе с его постоянным спутником Афанасием Тимофеевичем Алифановым, выведенным в книге под именем Ермолая. Это был крепостной соседних помещиков, выкупленный Тургеневым на волю, «охотник с ног до головы, всею душой и помыслами преданный охоте» (И. Ф. Рында. Черты из жизни Ивана Сергеевича Тургенева. СПб., 1903, с. 43). По свидетельству одного из приятелей Тургенева, Е. Я. Колбасина, рассказ «Ермолай и мельничиха» «целиком взят из действительного происшествия» («Первое собрание писем И. С. Тургенева». СПб., 1885, с. 92).

На страницах книги Тургенев воскресил мрачные истории из жизни своих предков, лихих крепостников, вельмож старинного покроя. Отголоски похождения отца Варвары Петровны — Петра Ивановича Лутовинова звучат в «Однодворце Овсянникове». Сохранилось предание о жестокой расправе помещика с однодворцами, осмелившимися запахать «ничейную» землю. «В числе владений П. И. Лутовинова было село Топки... Там, вероятно, и произошло побоище с однодворцами... После побоища, в котором было уби-

тых до 15 человек», Лутовинов «собрал все мертвые тела и повез их в город Ливны, едучи туда через селение противников, зажег оное с обоих концов и кричал: «Я бич ваш!» (Б. В. Богданов. Предки Тургенева. — «Тург. сб.», вып. V, с. 348). В рассказе «Смерть» Тургенев привел действительный факт из биографии своей бабки (со стороны В. П. Лутовиновой): «В рассказе «Смерть»... — вспоминает В. Н. Житова, — описаны ее последние минуты: барыня, заплатившая сама священнику за свою отходную, была родная бабка Ивана Сергеевича» (В. Н. Житова. Воспоминания о семье И. С. Тургенева. Тула, 1961, с. 23). «Истинным происшествием» называет сам Тургенев события, послужившие основой сюжета «Живых мощей», рассказа, снискавшего мировую известность. В письме к Людвигу Пичу Тургенев называет имя парализованной женщины, ставшей прообразом Лукерьи: «*Клавдия* (это было ее настоящее имя)... я посетил ее летом» (Тургенев. Письма, т. X, с. 229, 435). Но возможно, что в Лукерье слились два реальных женских образа. Речь идет о крепостной красавице Евпраксии, первой певичке и плясунье, с которой семнадцатилетний Тургенев был близок (там же, т. VII, с. 138).

В 1856 году, после смерти Николая I, Тургенев задумывает второе отдельное издание «Записок охотника», которого, по словам Добролюбова, «уже несколько лет с таким нетерпением ожидала терпеливая русская публика» («Современник», 1859, № 2, отд. «Новые книги», с. 289). Однако появилось оно только в самый канун отмены крепостного права. Как стало известно, Александр II также считал «Записки охотника» «предсудительной книгой», что и являлось главным препятствием ее переиздания (см. примеч. В. А. Громова в кн.: И. С. Тургенев. Собр. соч., т. I М., 1975, с. 368—369). Издание стало возможным тогда, когда то, что вменялось в вину тургеневским «Запискам», можно было официально объявить их достоинством. Это и сделал И. А. Гончаров (исполнявший в 1859 году обязанности цензора) в своей докладной записке, в которой он нарочито подчеркнул, что книга Тургенева «скорее может подтвердить необходимость принимаемых правительством мер» по отмене крепостного права. В феврале 1858 года «Записки охотника» были разрешены к переизданию и в 1859 году вышли в свет.

Начиная с 1859 года «Записки охотника» получили «права гражданства» в России и стали одним из наиболее издаваемых произведений Тургенева как в составе собраний сочинений писателя, так и отдельной книгой. Впервые они были включены в Собрание сочинений в 1860 году и дополнены двумя новыми рассказами: «О соловьях» и «Поездка в Полесье». Однако уже следующее издание — 1865 года (также в составе Собрания сочинений) — вышло без этих двух рассказов. Очевидно, писатель, необычайно бережно относившийся к своей книге, боялся нарушить ее жанровую и стилевую цельность. До некоторой степени именно особой художественной щепетильностью объясняется и то обстоятельство, что не все замыслы, относящиеся к «Запискам охотника», нашли свое окончательное воплощение. Всего их было, по словам Тургенева, «заготовлено около тридцати». «Иные очерки остались недоконченными из опасения, что цензура их не пропустит; другие — потому что показались...

не довольно интересными или не идущими к делу» (письмо к Я. П. Полонскому от 25 января/6 февраля 1874 года. — Письма, т. X, с. 191). По всей вероятности, речь шла о таких неосуществленных замыслах, как «Приметы», «Безумная», «Человек екатерининского времени». Идея рассказа, условно названного «Приметы» — о дурных предчувствиях и предзнаменованиях, — действительно не была созвучна ясному и строгому тону «Записок». «Человек екатерининского времени» — этот замысел, относящийся к «веку мнущему», нашел свое частичное воплощение в одном из образов (вельможи) в рассказе «Малиновая вода», а наиболее полное в рассказе «Бригадир». Реминисценцией другого неосуществленного замысла, «Безумная» (возникшего после встречи писателя в лесу с безумной женщиной), по всей вероятности, является рассказ одного из мальчиков в «Бежином луге» о потерявшей рассудок Акулине и связанное с этим рассказом воспоминание самого Тургенева.

Окончательно состав «Записок охотника» сформировался в 1874 году, когда Тургенев ввел в книгу три «новых» рассказа — «Живые мощи», «Стучит!», «Конец Чертопханова». Но, в сущности, они не являлись новыми рассказами в полном смысле этого слова. Два первых из них были основаны на старых неоконченных набросках, относящихся к 40-м годам и не завершенных по цензурным причинам. «Конец Чертопханова» представлял собой естественное продолжение новеллы «Чертопханов и Недопюскин». Тургенев, узнав о трагической судьбе человека, явившегося прототипом Чертопханова, написал рассказ, который как бы завершал историю, начатую еще в 1848 году. Первоначально «Конец Чертопханова» был опубликован в 1872 году в «Вестнике Европы» с подзаголовком «Из записок охотника». Появление нового рассказа в 70-е годы взволновало друга Тургенева, П. В. Анненкова: «Какая прибавка, какие дополнения, украшения и пояснения могут быть допущены к памятнику, захватившему целую эпоху и выразившему целый народ в известную минуту, — писал Тургеневу Анненков 23 октября/4 ноября 1872 года. — Он должен стоять — и более ничего. Это сумасбродство — начинать сызнова «Записки» (Тургенев, Соч., т. IV, с. 508). Между тем Тургенев ничего диссоциирующего не ввел в свою книгу — «мемориал» эпохи крепостного права.

О «Живых мощах» Тургенев писал Анненкову, что, воспользовавшись «целевшим наброском», он «оболванил его». Писатель исключил из поздней редакции сцену «видения» Лукерья («тираду об освобождении»), в которой она благословляет крестьян на борьбу за волю (Тургенев, Письма, т. X, с. 189, 193). Но и в редакции 1874 года Тургенев в самом главном сохранил изначальный замысел о героическом русском характере, способном на великое «долготерпение» (до поры до времени), наделенном силой мужественно переносить тяжкие страдания. Исключив «тираду об освобождении», Тургенев ввел иной, едва ли не более острый сюжет: Лукерья, рассказывающая на особый, житийный лад историю о Жанне д'Арк — легендарной героине Франции, которая погибла за свободу своего народа. В статье «Живые мощи». Житийная традиция и «легенда» о Жанне д'Арк в рассказе

Тургенева» исследователь (Н. Ф. Дробленкова) не без оснований замечает, что введение этой легенды в сюжет произведения привносит в первоначальный замысел Тургенева дополнительные оттенки — с ней «появлялось утверждение гражданских идеалов его героини», а также и совсем новая для «Записок охотника» тема «сопоставления судеб и путей России и Европы» («Тург. сб.», вып. V, с. 300).

В издание 1874 года вошли двадцать пять рассказов, и с тех пор состав «Записок охотника» никогда больше не менялся.

Книга о русском крестьянине, о русском народе принесла Тургеневу всемирную славу. Вскоре после выхода в свет первого отдельного издания «Записки охотника» получили известность в Европе и Америке. Первые переводы «Записок охотника» стали появляться уже в 50-е годы во Франции, Германии, Англии, затем Дании и других европейских странах. Как справедливо утверждает М. П. Алексеев в своем исследовании «Мировое значение «Записок охотника», европейская известность книги Тургенева была также одной из причин разрешения в 1858 году второго отдельного издания, ибо русская интеллигенция могла читать «запретное» произведение и в переводе на другие языки (см.: сб. «Записки охотника» Тургенева». Орел, 1955, с. 51).

Судьба переводов «Записок охотника» не совсем обычна. Первый их перевод на французский язык, выполненный Э. Шаррьером под вымышленным названием «Воспоминания знатного русского барина, или Картина состояния дворянства и крестьянства в русских провинциях в настоящее время», явился своеобразным орудием политической борьбы. Перевод вышел в самом начале войны 1854 года, объявленной Россией Англией и Францией, и этим во многом объяснялась тенденциозность переводчика, а затем и французской прессы, стремящихся прежде всего возбудить в условиях войны неприязнь к противнику, то есть к России. Тургенев, не удовлетворенный не только качеством перевода, но и политической ситуацией, возникшей в связи с выходом первого французского издания, выступил с открытым письмом в газете «Journal de St. Pétersbourg» (1854, № 475), в котором выразил свой протест (Тургенев. Соч., т. XV, с. 129—131). Но даже этот далеко не блестящий перевод заставил французских писателей обратить внимание на автора «Записок охотника» — и в первую очередь Проспера Мерима, ставшего впоследствии не только популяризатором творчества Тургенева во Франции, но и другом русского писателя. В 1858 году во Франции вышел перевод «Записок охотника», выполненный Ипполитом Делава, личностью в высшей степени примечательной, одним из лучших славистов того времени, целиком посвятившим себя популяризации русской литературы на Западе. Перевод был сделан при непосредственном участии самого Тургенева. Это единственный авторизованный перевод «Записок охотника», что и значит на титульном листе книги: «единственное издание, авторизованное автором» (см.: Ф. Я. П р и й м а. Новые данные о «Записках охотника» Тургенева во французской литературе. — Сб. «Записки охотника» Тургенева», с. 331—355). Перевод Делава особенно интересен тем, что в нем Тургенев восстановил

некоторые цензурные купюры, сделанные в 1852 году, между тем как ни в одном из русских прижизненных изданий осуществить этого он не мог.

С «Записок охотника» началась известность Тургенева во Франции — их с захватывающим интересом читали Флобер и Жорж Санд, Мопассан и Альфонс Доде, А. Дюма, Ламартин, Ипполит Тэн и Гизо, молодой Анатоль Франс. Для прогрессивных людей разных стран «Записки охотника» были своего рода «открытием России». Именно так восприняли книгу Тургенева Жорж Санд, Флобер, Мопассан.

В «Записках охотника», замечал Анатоль Франс в своей статье 1877 года, «Тургенев... дал голос целому миру» (см.: сб. «Записки охотника» Тургенева», Орел, 1955, с. 363). Юный Ромен Роллан, прочитав книгу Тургенева, писал в дневнике 1887 года: «Взволнованная, свежая, блистательная любовь к природе... Чудесная галерея современных портретов». Будущий создатель «Жана Кристофа», «Очарованной души» ощущал автора «Записок охотника» как предтечу Толстого, видел в тургеневских образах русских людей «материал для тех душ, которые Толстой бросит в необъятное, всемирное действие»... Из каждого рассказа Тургенева, утверждал Ромен Роллан, «мог бы выйти целый роман Толстого» (сб. «Творчество И. С. Тургенева». М., 1959, с. 105).

В Германии переводы рассказов из «Записок охотника» начали появляться уже в 1849 году, то есть значительно раньше, чем в других странах Европы. Однако известность и популярность «Записок охотника» среди немецких читателей утвердилась с середины 50-х годов, после выхода в свет двухтомного издания в переводе Августа Видерта (1854—1855). В специальной информационной статье, опубликованной в одной из немецких газет в связи с выходом второй части «Записок охотника», книга Тургенева называлась «классической», повлиявшей «больше, чем какое-либо произведение до нее, на познание общественных и политических порядков России» («Тург. сб.», вып. II, с. 114). В лице известного немецкого писателя Пауля Гейзе и талантливого критика Юлиана Шмидта «Записки охотника» приобрели своих поистине замечательных популяризаторов. «По силе изображения» Гейзе сравнивает автора «Записок охотника» с великим комедиографом Гоголем. Юлиан Шмидт (критик, который, по мнению самого Тургенева, сумел постигнуть его «внутреннее существо») видел историческую заслугу Тургенева в том, что «он объяснил современникам и потомкам», читателям всего мира истинную «трагедию бесправия». Юлиан Шмидт называл автора «Записок охотника» «величайшей поэтической силой нашего времени», видел в нем яркое выражение творческих возможностей России. «Нация, которая... породила такого писателя — и не его одного, — писал он, — поистине может оправдать любые надежды...» («Тург. сб.», вып. V, с. 280—285).

Английские читатели впервые познакомились с рассказами из «Записок охотника» в 1855 году на страницах весьма популярного журнала «Household Words» («Вседневное слово»), редактором которого был Чарлз Диккенс. Но подлинная, широкая известность «Записок охотника» в Англии связана с

прекрасными переводами, выполненными видной английской писательницей Констанцией Гарнетт в 90-х годах прошлого века.

Известный английский прозаик Джордж Мур, встретившийся с Тургеневым в 1878 году, писал в своих воспоминаниях о новаторском характере «Записок охотника»: «Что имеем мы, англичане, в своей литературе или что имеют французы такого, что хотя бы на мгновение могло быть сопоставлено с «Записками охотника»?.. При чтении их литература понимается нами как нечто совершенно новое, так как они совершенно новы по форме и содержанию и не имеют в прошлом никаких корней... Это не жизнь плюс художник, это просто жизнь...» (сб. «Записки охотника» Тургенева», с. 95, 96).

Тургенев преподал писателям Запада уроки истинного гуманизма, «ненасытимого сострадания». Как свидетельствует английский мемуарист Форд Мэдокс Форд, молодой Голсуорси, прочитав «Записки охотника», «узнал муки сострадания и возмущения за страдания других...» (там же, с. 94).

«Записки охотника» положили начало особой популярности Тургенева в Америке, достигшей своего зенита с появлением английского перевода «Отцов и детей». По словам друга Тургенева историка М. М. Ковалевского, посетившего Америку в 1882 году, это объяснялось историческими причинами: «...недавнее освобождение негров из неволи как бы породило общество с тем из русских писателей, который всего громче подымал голос за свободу крестьян...» (сб. «И. С. Тургенев в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1959, с. 142).

Чем больше проходило времени с момента появления «Записок охотника», тем с большей очевидностью создание книги воспринималось современниками как гражданская миссия Тургенева. До некоторой степени выражением этого было присуждение писателю Оксфордским университетом в 1878 году почетного звания «доктора гражданского права». «В письме из Оксфорда сказано, что это воздаяние за мои труды по освобождению крестьян», — писал Тургенев П. В. Анненкову (Тургенев. Письма, т. XII, кн. 2, с. 84).

Стр. 28. ...хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть Пинну... — «Сочинения в стихах и прозе» А. Н. Нахимова (1783—1815), автора эпиграмм, басен, непритязательных сатирических стихов на взяточничество и т. п. «Пинна» — повесть М. А. Маркова (1810—1876), писавшего в псевдоромантическом стиле Марлинского. В рецензии на сборник «Сто русских литераторов» (т. III, СПб, 1845), куда вошла и «Пинна» Маркова, Белинский назвал эту повесть «галиматьей» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IX. М., 1955, с. 270).

Стр. 31. ...кто без бороды живет, тот Хорю и наибольший. — Намек на чиновническую власть, которой не избежать крестьянину, даже освобожденному от крепостной зависимости (чиновники по указу Николая I от 2 апреля 1837 г. не имели права носить усы и бороду).

Стр. 35. ...из наших разговоров я вынес одно убеждение... что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. — Утверждение Тургенева, полемически направленное против славянофильских представлений об исторической миссии Петра I, о значении произведенных им государственных реформ. В этом споре Тургенев наряду с Белинским занимал прогрессивные позиции, отстаивая исторически закономерный характер петровских преобразований.

Стр. 48. ...ктитора Герасима... — то есть крепостного человека, исполняющего должность церковного сторожа. Вообще же ктитор — церковный староста.

Стр. 52. ...матресонок держал... — то есть любовниц (от фр. *maitresse*).

Стр. 56. ...депозитки... — просторечное название бумажных денег, ассигнаций.

Стр. 63. ...о «прежде почивших отцах и братьях»... — слова заупокойной молитвы.

Стр. 65. «Гром победы раздавайся!» — полонез для хора и оркестра композитора И. А. Козловского (1757—1831) на слова Г. Р. Державина. Был очень популярен в начале XIX в.

Стр. 68. ...о се к лучшему в здешнем мире, как сказал, кажется, Вольтер... — несколько измененное знаменитое изречение Панглоса, одного из героев философской повести Вольтера (1694—1778) «Кандид, или Оптимизм» (1759).

Стр. 70. *Однодворец* — понятие, возникшее еще в XVIII в. Так назывались государственные крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости и наделенные земельными участками, как правило, в один двор. Однако, наряду с крепостными, они облагались подушной податью.

Стр. 73. *Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского не доходил ни один.* — Военный и государственный деятель России граф А. Г. Орлов (1737—1807) получил почетное добавление к фамилии — Чесменский — за победу над турецким флотом в Чесменской бухте (1770).

Стр. 75. ...по случаю размежевания. — Процесс размежевания помещичьих земель и крестьянских наделов, начавшийся задолго до отмены крепостной зависимости, в середине 30-х годов прошлого века, проходил очень болезненно, особенно в Орловской губернии, и растянулся на многие годы.

Стр. 77. ...а на голове така шапонька мудреная... — иронический намек на чисто внешнюю приверженность к народным обычаям некоторых славянофильствующих деятелей. В данном случае современники усматривали намек на К. С. Аксакова, который, как шуточно заметил Чаадаев, «оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персанина» (А. И. Герцен и н. Собр. соч. в 30-ти томах, т. IX. М., 1956, с. 148). Антиславянофильская тенденция рассказа вызвала раздражение И. С. Аксакова, который писал Тургеневу в связи с изданием 1852 г.: «Как могли вы теперь оставить место о г. Любозвонове? Само собою разумеется, что под Любозвоновым вы разумели брата Константина...» (см.: «Русское обозрение», 1894, № 8, с. 477).

Стр. 78. ...с бессрочными...— то есть солдатами, отпущенными в бессрочный отпуск после двадцатипятилетней службы в армии.

Стр. 114. *Странный старичок*...— В образе Касьяна Тургенев изобразил «бегуна», религиозного сектанта. В примечаниях к французскому переводу «Записок охотника» о сектантстве Касьяна говорится прямо: «Под этим именем автор представил сектанта, и если он не говорит этого, так только потому, что этому воспротивилась цензура» (сб. «Записки охотника» Тургенева», с. 349).

Стр. 120. *«И родни у тебя нет?»*...— *«Есть... да... так»*.— Старик замялся.— В издании Делаво дано такое примечание к этому не совсем ясному тексту: «Сектанты не признают власти официальной церкви и естественно поэтому, что организуемые ими общины рассматриваются властями как незаконные. Поэтому рассказывать о своих семейных связях посторонним сектанты не любят; постоянные преследования, жертвой которых они становятся, делают их крайне подозрительными» (там же). См. также «Постоялый двор» и «Степной король Лир».

Стр. 126. *«Вечного жид»* едва осилил.— Имеется в виду многотомный роман французского писателя Эжена Сю (1804—1857), пользовавшийся особенной популярностью в 40-х годах прошлого века.

Стр. 127. ...из Лючии и Соннамбулы...— Итальянские оперы «Лючия ди Ламмермур» (1835) Гаэтано Доницетти и «Соннамбула» (1831) Винченцо Беллини имели огромный успех в России 40-х годов.

Стр. 129. ...доморощенного Карема...— Мари-Антуан Карем (1784—1833) — один из законодателей французского поварского искусства.

Стр. 132. ...сказку подписали—то есть официальную бумагу о проведении размежевания.

Стр. 133. ...купите... на мое имя...— Покупка земли крепостными крестьянами, не имевшими прав собственности на землю, могла быть оформлена только на имя помещика (ср. в повести «Постоялый двор»).

Стр. 147. ...цвета аделаида...— то есть светло-сиреневого тона.

Стр. 154. ...«как в море челнок»...— слова из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Три пальмы» (1839).

Стр. 160. ...иных зубов уже нет, как сказал Саади, по уверению Пушкина...— перефразированные строки из заключительной строфы восьмой главы «Евгения Онегина».

Стр. 169. ...пана Твардовского дают на театре...— Речь идет об опере А. Н. Верстовского «Пан Твардовский» (1828).

Стр. 170. ...уже Эней знал, как неприятно припоминать минувшее горе...— Имеются в виду стихи из книги второй «Энеиды» Вергилия (приводится в переводе С. Ошерова):

Но если жажда сильна узнать о наших невзгодах,
Краткий услышать рассказ о страданиях Трои последних,
Хоть и страшится душа и бежит той памяти горькой,
Я начну.

Стр. 180. ...*поклонник Виотти*...— Широко известный в Европе итальянский композитор и скрипач Джованни Баттиста Виотти (1753—1824) приезжал на гастроли в Россию.

Стр. 182. ...*упоминала о Гёте... Беттине*...— Немецкая писательница Беттина фон Арним (1785—1859), корреспондентка и друг Гете, была автором книги «Переписка Гете с ребенком» (*Goethes Briefwechsel mit einem Kinde*), 1835), получившей всемирную известность. В данном контексте имя Беттины упоминается иронически, как символ экзальтированной восторженности.

Стр. 183. ...*«на лоне сельской тишины»*...— строка из седьмой главы «Евгения Онегина» Пушкина (строфа II).

Стр. 184. ...*«Джакобы Саназары»*...— Имеется в виду так называемая драматическая фантазия «Джакобо Саназар» Н. В. Кукольника, одного из наиболее типических выразителей псевдоромантической, «ложновеличавой», по выражению Тургенева, школы в русском искусстве первой половины XIX в.

Стр. 187. ...*бездарные Полежаевы второй руки невыносимы*...— Тургенев имеет в виду эпигонов А. И. Полежаева (1804—1838), поэта сложной, трагической судьбы. Произведения Полежаева, представляющие, по словам Белинского, «поэтическую исповедь его... страдальческой жизни», пользовались громкой известностью в 30—40-е годы XIX в. (В. Г. Б е л и н с к и й. Полн. собр. соч., т. VI. М., 1955, с. 128).

...*романсы Варламова: «У-единенная сосна»*...— «Уединенная сосна» — романс Н. А. Титова. А. Е. Варламову же принадлежит романс «Доктор» на слова Ф. Н. Глинки.

...*«Уймитесь, волнения страсти»*...— первая строка романса М. И. Глинки «Сомнение» (1838) на слова Н. В. Кукольника.

Стр. 188. ...*роман Иоганн Шопенгауэр*...— Сочинения немецкой писательницы, матери известного философа, пользовались популярностью в 30-х годах прошлого века. В 1830—1831 гг. вышло собрание ее произведений в 24-х томах.

Стр. 189. ...*лекарство Леруа*... — Имеется в виду известный французский хирург Жан-Жак Ле-Руа де Тийе (1749—1832).

...*«сменила их, не заменив»*... — несколько измененная строка из первой главы (строфа XIX) «Евгения Онегина» Пушкина.

Стр. 190. *Где ж девалася... Мочь зеленая?*...— цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Лес» (1837), посвященного памяти А. С. Пушкина.

Стр. 195. ...*людям, не стоившим развязать ремень от сапог его?*...— Несколько измененное изречение из Евангелия от Марка (гл. 1, 7).

«Аль у сокола»...— неточная цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Дума сокола» (1840).

Стр. 223. *«Не более! и знать, что этот сон...»* — Каратаев декламирует отрывки из монологов Гамлета (в переводе А. Кронеберга, действие III, сцена 1; действие I, сцена 2).

Стр. 241. *«Моей судьбою очень никто не озабочен»*...— неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Завещание» (1840).

Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre, сказал кто-то.— Слова из «Посвящения Альфреду Татте», предпосланного драматической поэме А. Мюссе «Уста и чаша» («La coupe et les lèvres», 1832).

Стр. 242. *...какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля?*— Имеется в виду «Энциклопедия философских наук» (1817), одно из основополагающих произведений Гегеля, которое особенно пристально изучалось в русских философских кружках 30-х годов.

Стр. 244. *Помнится, Шиллер сказал где-то: «Gefährlich ist's den Leu zu wecken...»* — неточная цитата из «Песни колокола» («Das Lied von der Glocke») Ф. Шиллера.

Стр. 246. *...постоял в Риме перед Пресображением, и перед Венерой во Флоренции...*— Имеются в виду картина Рафаэля «Пресобращение» (музей Ватикана) и «Венера во Флоренции» (широко известна, как «Венера Медичейская») работы неизвестного скульптора, находящаяся в флорентийском музее Уффици.

Стр. 248. *...известный портрет белокурой девицы с голубком на груди...*— по-видимому, одна из многочисленных «головок» французского живописца конца XVIII — начала XIX в. Ж.-Б. Грёза.

Стр. 255. *Орбассан пал?..*— Велеречивый Чертопханов назвал лошадь именем одного из персонажей трагедии Вольтера «Танкред».

Стр. 256. *...тем чином, по поводу которого распространилось мнение, будто курица не птица.*— Среди русского офицества существовала шуточная поговорка, имевшая в виду чин прапорщика, т. е. пизний обер-офицерский чин: «Курица не птица, прапорщик не офицер».

Стр. 263. *...любил Марлинского и лучшего кобеля прозвал Аммалат-Беком...*— именем героя повести А. Марлинского «Аммалат-Бек» (1832).

Стр. 271. *«Век юный, прелестный»*...— романс А. Л. Гурилева на слова Н. М. Кюшина.

Стр. 273. *Малек-Адель* — герой популярного в свое время романа французской писательницы Софи Коттен «Матильда, или Воспоминания из времен крестовых походов» (1805).

Стр. 278. *Коли ты царь,— промовлял с расстановкой Чертопханов (а он отроду и не слыхивал о Шекспире)...*— В трагедии Шекспира «Ричард III» король Ричард в сцене четвертой V акта восклицает: «Коня! коня! полцарства за коня!» (перевод Я. Г. Брянского).

Стр. 296. *Край родной долготерпенья...*— строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

Стр. 305. *А другой угодник себя в землю зарыть велел...*— Подобные покаяния в житийной литературе приписываются нескольким угодникам: Феодосию Печерскому, Иоанну Затворнику (их жития входят в состав Киево-Печерского патерика), Епифанию (соратнику знаменитого протопопа Аввакума)

и святому Антонию (см.: Н. Ф. Дробленкова. «Живые мощи...». — «Тург. сб.», вып. V, с. 294—295).

Стр. 315. *Топор разбойника презренный...* — слова из стихотворения В. А. Жуковского «На смерть фельдмаршала графа Каменского».

Стр. 319. *...И понемногу начало назад//Его тянуть... там хорошо...* — Стихотворный эпиграф принадлежит Тургеневу (см.: Тургенев. Соч., т. I, с. 74, 529—530).

ТРИ ПОРТРЕТА

Впервые рассказ «Три портрета» был опубликован в 1846 году на страницах знаменитого «Петербургского сборника» Некрасова.

С первых же строк возникает непронзвольная ассоциация с миром пушкинской поэзии. «Три портрета» — семейное предание о нравах далекой старины. «Деревенька», описанная в начале, напоминает ту, «где скучал Онегин». Тургенев прямо цитирует пушкинский роман, говоря о рассказчике: «Он был рожден «для жизни мирной, для деревенской тишины».

«Три портрета», рассказ г. Тургенева, при ловком и живом изложении имеет всю заманчивость не повести, а скорее воспоминаний о *добром* старом времени, — писал Белинский в рецензии на «Петербургский сборник». — К нему шел бы эпиграф: *Дела давно минувших дней...* (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. IX. М., Изд-во АН СССР, с. 566). По словам Белинского, рассказ «Три портрета» свидетельствует о том, что Тургенев «и в прозе нашел свою настоящую дорогу» (там же, т. X, с. 345).

Современная критика не была единодушна в своих отзывах о новом произведении Тургенева. Отмечалось «прямое» влияние Лермонтова, когда речь шла о герое рассказа Василии Лучинове.

Одно из наиболее интересных и значительных суждений о «Трех портретах» принадлежит Ап. Григорьеву, критику, который с пристальным вниманием относился к творчеству Тургенева. Ап. Григорьев чутко уловил особый интерес писателя к людям XVIII века, к той поре русской жизни, когда формировались сильные личности, героические характеры (яркий пример этому одна из лучших повестей Тургенева — «Бригадир»). «...Рассказ г. Тургенева «Три портрета»... в высшей степени художественный, в котором впервые в нашей литературе является одно из тех чудных лиц XVIII века, из тех героев своего времени, которые носили в душе семена того же пресыщения жизнью, как и наши, с тем только различием, что они были величавее, ослепительнее наших...» (Тургенев. Соч., т. V, с. 563). Этот отзыв Ап. Григорьева относится к 1846 году. Но и позднее, через тринадцать лет, критик, вновь обращаясь к «Трем портретам», писал о герое рассказа: «Василию Лучинову Тургенева я придаю особенную важность потому, что в этом лице старый тип Дон-Жуана, Ловласа и т. д. принял *впервые* (курсив наш. — В. Ф.)... русские, оригинальные формы (Тургенев. Соч., т. V, с. 564). Здесь Ап. Григорьев точно выразил редкую способность Тургенева-

художника воплощать в русские формы общечеловеческие типы и страсти (см. повесть «Степной король Лир»).

В повести легко прочитываются семейные предания рода Лутовиновых. С именем деда Тургенева по материнской линии, Петра Ивановича Лутовинова (1743—1787), известного своим жестоким и крутым нравом, связаны страшные и зловещие истории ¹.

Стр. 328. *Зачичкало* — то есть съезжилось, похудело, спало с тела (Даль); слово орловского и курского диалектов.

Стр. 329 ...«по строгим правилам искусства»... — неточная цитата из «Евгения Онегина» (глава шестая, строфа XXVI).

Разговоры имеют свои судьбы — как книги... — Перифраза известного латинского изречения: книги имеют свою судьбу (*habeant sua fata libelli*).

Живописец изобразил его в кафтане алого цвета... — Сохранилось воспоминание современника Тургенева, М. А. Щепкина, свидетельствующее о документальности, подлинности описания этого «фамильного» портрета в рассказе. Почти точно такой же портрет висел в столовой родового имения писателя, в Спасском: «На нем был изображен мужчина в зеленом камзоле екатерининских времен, обшитом галуном, в трехугольной шляпе. Портрет был проколот, по-видимому, шпагой, как раз на месте сердца изображенного мужчины. Нетрудно было узнать в этом портрете прототип картины, описанной Тургеневым в одной из его повестей — «Три портрета». Предание, вполне схожее с содержанием тургеневской повести, долго держалось среди старых дворовых» («Исторический вестник», 1898, № 8).

Стр. 336. ...*русские девицы начали почитать романы вроде Похождения маркиза Глаголя... Алексея, или Хижинь в лесу.* — Тургенев называет популярные в России в конце XVIII и начале XIX вв. романы Прево и Ф.-Г. Дюкре-Дюминилля в переводе с французского. Это — «Записки и приключения маркиза Г., или Жизнь благородного человека, оставившего свет», соч. аббата Прево, СПб., 1756—1761 (переиздавались в 1780 и 1793 гг.), романы Дюкре-Дюминилля «Лолотта и Фанфан...» (СПб, 1789) и «Алексис, или Домик в лесу...» (издавался на русском языке в 1794, 1800, 1804 гг.).

Стр. 337. *Мужчины на свете//Как мухи к нам льнут...* — В начале прошлого века большой популярностью в России пользовалась опера немецкого композитора Кауэра, известная в переделке Н. С. Краснопольского под названием «Леста, днепровская русалка». По словам историка русского театра, «у барынь и барышень из мелкого чиновничьего быта не сходила с клавинорд ария Лиды «Мужчины на свете как мухи к нам льнут» (Т у р г е н е в. Соч., т. V, с. 566).

...*в ее время об эмигрантах не было еще и помина.* — После революции 1789—1793 гг. началась эмиграция французской аристократии в страны

¹ См. об этом интересную публикацию Б. В. Богданова «Предки Тургенева». — «Тургр. сб.», вып. V, с. 345.

Европы. Русские дворяне приглашали французских эмигрантов в учителя и гувернеры (ср. в очерке «Льгов» историю такого эмигранта, с. 84).

Стр. 340. ...«быстрее быстрой лани...» — неточно процитированная строка из поэмы Лермонтова «Беглец» (1838).

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Над повестью «Дневник лишнего человека» Тургенев усердно работал около двух лет. Завершена она была в январе 1850 года и появилась на страницах апрельского номера «Отечественных записок». Судя по высказываниям самого Тургенева, он ценил эту повесть, которую писал «сop amore» (с любовью): «...думаю, что это хорошая вещь» (Тургенев. Письма, т. I, с. 319, 377—379). «В этом произведении схвачен кусок подлинной жизни», — скажет Тургенев спустя восемнадцать лет (там же, т. VII, с. 89, 368).

Журнальная публикация повести подверглась жестокой цензурной расправе. Она оказалась неприемлемой с точки зрения норм официальной морали и нравственности. Сатирическая направленность нового произведения Тургенева также противоречила охранительным принципам российской цензуры того времени. (Подробно цензурная история освещена в пятом томе академического издания, с. 580—583¹.) Однако в 1856 году в сб. «Для легкого чтения» и первом томе «Повестей и рассказов» Тургеневу удалось восстановить все цензурные купюры.

«Дневник лишнего человека» занимает видное место в ряду произведений Тургенева. Это рубеж (притом, что еще существует внутренняя нерасторжимая связь с «Записками охотника», главным образом, с «Гамлетом Щигровского уезда») на пути к психологической повести второй половины 50-х годов, романам «Рудин», «Дворянское гнездо» и «Накануне». Название повести дало имя целому историческому явлению; оно как бы отделилось от нее и обрело самостоятельную жизнь в мире русской литературы. Цензура не случайно всполошилась, ибо повесть таила в себе острый политический смысл. Это становится особенно ясным при знакомстве с черновым автографом. После слов окончательного текста «Кто знает? Кто скажет?» (с. 356) — речь шла о том, «какие причины могли способствовать» появлению «сверхштатного», «лишнего человека», — в черновом автографе говорилось: «...кто знает? А может быть — я не столько сам виноват, сколько... Э! да я, кажется, вдаюсь в политику». Почти то же самое заметит позднее герой «Переписки»: «Все мы виноваты, да винить-то нас все-таки нельзя... *Обстоятельства* (курсив наш. — В. Ф.) нас определяют; они наталкивают нас на ту или иную дорогу, и потом они же нас казнят...» Эти горькие слова прямо перекликаются с тем, что столь многозначительно скажет один из героев романа «Рудин» Лежнев: «Нас бы очень далеко повело, если бы мы хотели разобрать, отчего у нас являются Рудины...» Тургенев явно имел в виду николаевскую действительность, заду-

¹ См. также «Тург. сб.», вып. V, с. 5—112.

пившую декабристское движение, погубившую Пушкина, Лермонтова, Чаадаева; мир, который довел до смертельного отчаяния Гоголя...

«Дневник лишнего человека» — одна из первых «личных» повестей писателя, в ней много от самого Тургенева — и это сразу же почувствовали современники. «... за остротами г. Чулкатуринна беспрестанно видны Вы сами...» — писал Тургеневу Е. М. Феокистов, рассказывая о впечатлении, произведенном повестью в литературных кругах (Т у р г е н е в. Соч., т. V, с. 583).

Как всегда, мнения критики о новом произведении Тургенева четко разделились. Ее либеральная часть, в данном случае в лице А. В. Дружинина, резко выступила против «критического» начала повести. «Мы не хотим тоски, — писал критик, — не желаем произведений, основанных на болезненном настроении духа... сатирический элемент, как бы блистателен он ни был, не способен быть преобладающим элементом в изящной словесности» («Современник», 1850, № 5, с. 80—85). Дружинин, таким образом, рассматривал повесть Тургенева в совершенно определенном ряду — в ряду созданий Григоровича и, главным образом, Ф. М. Достоевского. Однако спустя шесть лет, в связи с выходом в 1856 году «Новостей и рассказов» Тургенева, Дружинин вновь высказался о «Дневнике лишнего человека», и этот (уже более объективный) отзыв профессионального и талантливого критика представляет явный интерес, ибо он обращен к герою повести: «Большой и унылый Чулкатурин есть тип своего рода, тип, принадлежащий кружку небольшому, но замечательному. Он истинно лишний человек, один из тех лишних людей, без которых не существует ни одного молодого общества» (А. В. Д р у ж и н и н. Собр. соч., т. VII. СПб., 1865, с. 334).

Значительность повести, глубину ее идейных и художественных обобщений отметил Ан. Григорьев. «Дневник лишнего человека» — это, по его словам, «глубокая, искренняя исповедь болезненного душевного момента, пережитого многими, может быть целым поколением» (Ан. Г р и г о р ь е в. Соч., т. I. СПб., 1876, с. 318).

И. Г. Чернышевский обратил внимание на эту повесть при появлении ее во втором томе сборника «Для легкого чтения», особо выделив ее вместе с «Записками маркера» Л. Толстого (И. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Полн. собр. соч., т. III. М., с. 56).

Стр. 352. *Herz, mein Herz... was willst du mehr?* — перифраза из стихотворения Гете «*Neue Liebe, neues Leben*» (1775): «*Herz, mein Herz, was soll das geben?...*»

Стр. 354. *О мой сад... и вы, высокие березы... Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки.* — Это явно автобиографический отрывок. Описание сада в Спасском встречается во многих произведениях Тургенева (в «Фаусте», «Дворянском гнезде», повести «Пунин и Бабурин»). Старинный запущенный сад в Спасском с годами слился для Тургенева, подолгу жившего за границей, с образом нежно любимой родины. Видение цветущего сада буквально преследовало Тургенева до последних мгновений жизни. Смертельно

больной, он писал другу своему, поэту Я. П. Полонскому: «Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже вероятно никогда не увижу» (Тургенев. Письма, т. XIII, с. 271).

Стр. 354. *Я бы хотел еще раз надышаться горькой свежестью полей...*— Эти ощущения Чулкатурина сродни тем, которые охватили героя повести «Ася», набредшего на куст конопли возле дороги: «Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней...»

Стр. 360. *Я ложился спать и вставал... трубку курил—иначе, чем прежде... словно крылья вдруг выросли у меня за плечами.*— Сравнение это получило свое дальнейшее развитие в повести «Ася»: «— А крылья могут у нас вырасти, — возразил я. — Как так? — Поживите — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья», — говорит г. Н. Н., полюбившей его Асе.

Стр. 362. *Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком...*— Исчерпывающий комментарий к этому тексту повести дан М. П. Алексеевым. По мнению ученого, наиболее вероятным источником, из которого Тургенев мог почерпнуть сведения о слепом английском математике XVII в. Н. Саундерсоне, уподобившем красный цвет трубному звуку, был знаменитый трактат Джона Локка «Опыт о человеческом разуме» (впервые опубликован в 1690 г. и затем неоднократно переиздавался). Сравнение Саундерсона, которого Локк знал лично, было опубликовано в этой книге впервые и подвергнуто здесь же психологическому анализу (см. подробно: «Тург. сб.», вып. V, с. 218—223).

Стр. 364. *...кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран...*— Имеются в виду строки из стихотворения поэта «Журналист, читатель и писатель» (1840).

Стр. 365. *...разве любовь — естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь...*— Эту же мысль Тургенев развил в повести «Переписка». В последнем письме Алексея Петровича говорится: «Любовь даже вовсе не чувство; она — болезнь, известное состояние души и тела...» Близкие мысли звучат и в повести «Фауст».

Стр. 368. *...поставляли в пример... лакедемонца, который... предпочел самую смерть позору...*— Эта притча приведена Плутархом в «Жизнеописании Ликурга», в рассказе о воспитании спартанцев (Плутарх. Сравнительные жизнеописания славных мужей. Перевел с греческого Спиридон Дестунис. Часть первая. СПб., 1814, с. 235).

Стр. 369. *Я был разбит наголову... как пруссаки под Иеной...*— 14 октября 1806 г. под городом Иеной Наполеон разгромил часть прусской армии; одновременно маршал Даву разбил остальную ее часть под Ауэрштедтом. В результате этих поражений прусская армия перестала существовать.

Стр. 372. *...аптекарем, необыкновенно чирым немцем...*— Чирый — самодовольный (орловский диалект).

Стр. 374. ...петербургских мирлифлеров... — Мирлифлёрами (*фр.* mirli-floge: от *mirer* — любоваться собой и *fleur* — цветок) во времена Людовика XVI называли молодых парижских франтов. В России, в конце XVIII — начале XIX в. это прозвище использовали в борьбе против Карамзина сторонники классицизма. Слово прочно вошло в литературный обиход; например, П. А. Вяземский писал в 1847 г.: «Требования наших журнальных маркизов и мирлифлёров мало озабочивали смиренную и опростонародившуюся натуру Гоголя» (см.: «Тург. сб.», вып. III, с. 179).

Стр. 381. ...я, как Поприщин, большею частью лежал на постели... — В «Записках сумасшедшего» Гоголя, под датой 4 октября Поприщин записал: «Дёма большею частью лежал на кровати».

О люди! точно, жалкий род!... — перифраза из стихотворения Пушкина «Полководец» (1835): «О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!»

Стр. 382. ...указательный палец, украшенный перстнем из корналинки... — Корналинка, или корналин (*фр.* cognaline) — полудрагоценный камень сердолик. Это слово одним из первых употребил Тургенев, что было специально отмечено учеными-лингвистами (см.: «Тург. сб.», вып. V, с. 338—339).

Стр. 383. Я чувствовал себя чем-то вроде Цципиона Африканского. — Древнеримский полководец Публий Корнелий Цципион Африканский Старший (около 235—183 гг. до н. э.) прославился своими воинскими доблестями и великодушным отношением к побежденным.

Стр. 390. ...как то легкое дуновение, от которого поднялись дыбом волосы у пророка... — В Библии Елифаз Феманитянин говорит Иову: «И дух прошел надо мною; дыбом стали волоса на мне» (Книга Иова, гл. 4, 15). Размышления героя повести о неостратимости смерти и обреченности человека Ап. Григорьев справедливо считал выражением собственно тургеневских взглядов. Уже в этой повести, по убеждению критика, находится «ключ к уразумению тургеневских отношений к природе» (Ап. Григорьев. Соч., т. I. СПб., 1876, с. 315). Наиболее полно эти мысли Тургенева развиты в повести «Поездка в Полесье».

И пусть у гробового входа...//Красою вечною сиять! — Цитата из стихотворения Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

ТРИ ВСТРЕЧИ

Рассказ написан в 1851 году. Первоначальное название — «Старая усадьба». Опубликован в февральском номере «Современника» за 1852 год под названием «Три встречи».

«Итальянские» страницы рассказа явно автобиографичны и связаны с первой поездкой писателя в Италию весной 1840 года. Тогда двадцатидвухлетний Тургенев провел в Сорренто несколько дней. Описания Италии, ее природы необычайно достоверны, на что обратили внимание и современники Тургенева, и позднейшие исследователи его творчества: «Удивляешься, как смог писатель, после кратковременного, еще однократного пребывания в

Италии, так полно схватить, так прочно удержать, так жизненно воспроизвести реальный облик страны в его интимных деталях. Ведь итальянская картина не уступает по силе изображения многим мастерским тургеневским этюдам русской действительности, хотя бы тем, которые тут же, в «Трех встречах», переплетаются с нею» (И. М. Г р е в с. Тургенев и Италия. Культурно-исторический этюд. Л., 1925, с. 51—52). Не менее достоверны и русские картины: сельцо Глинное, где расположилась старая усадьба, находилось действительно недалеко от Спасского, по соседству, и Тургенев охотился в его окрестностях.

«Три встречи» — пожалуй, одно из наиболее личных, исповедальных произведений писателя, созданных им в самом начале 50-х годов. «Три встречи», так же как и «Дневник лишнего человека», написаны на перепутье: лирический сюжет, романтический мир героев устремлены в будущее и связывают рассказ с «Перепиской» и более поздними повестями — «Фауст», «Первая любовь» и «Вешние воды» (в последней тоже оживают итальянские впечатления). Но рассказ близок к «Запискам охотника», да и ведется он от имени охотника. Это — рассказ-воспоминание, рассказ-быль. Загадочный, на первый взгляд, старик Лукьяныч, вольноотпущенный человек (бывший дворовый), чем-то сродни Калинычу, Касьяну с Красивой Мечи (см., напр., сцену, где он брезгливо отказывается взять барские деньги). Но, вместе с тем, он единственный человек, духовно близкий прекрасной незнакомке. Он также томится (бессознательно, не понимая этого) по идеалу, прекрасному. «Высокий, сутуловатый... с выразительными и неподвижными чертами лица», Лукьяныч похож... на Дон-Кихота. Таким он и снится рассказчику в символическом сне: «Вы ошибаетесь, синьор, — отвечает мне Лукьяныч, и лицо его принимает странное выражение, — я не дворовый человек; узнайте во мне Дон-Кихота Ламанчского, известного странствующего рыцаря; целую жизнь отыскивал я свою Дульцинею — и не мог найти ее...»

Пение незнакомки в этом рассказе невольно вызывает в памяти вдохновенную и страстную игру Лемма в «Дворянском гнезде».

Красота, «разлитая» в человеке и в природе, любовь, искусство вызывают потребность счастья. Современники — Боткин, Некрасов, Добролюбов — тонко почувствовали поистине шопеновский, высокий лиризм нового рассказа писателя. Прочитав «Три встречи», Боткин писал Тургеневу: «...ночь в Сорренто, ночь в усадьбе, явления молодой женщины — превосходны, — с них так и пышет жаром... первые страницы — прелесть сладчайшая. Жарче их я ничего не читал», они «облиты» «магическим колоритом» («В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Незданная переписка. 1851—1869». М.—Л., «Academia», 1930, с. 14—15). Правда, трагическая история Лукьяныча представлялась Боткину чужеродной в этом рассказе. Почти те же очищающие душу человека чувства вызвал рассказ у Некрасова и Добролюбова.

«Но прошу тебя — перечти «Три встречи», — писал Тургеневу Некрасов весной 1857 года после выхода в свет «Повестей и рассказов» (1856), — уйди в себя, в свою молодость, в любовь, в неопределенные и прекрасные по

своему безумию порывы юности, в эту тоску без тоски — и напиши что-нибудь этим тоном. Ты сам не знаешь, какие звуки польются, когда раз удастся прикоснуться к этим струнам сердца, столько жившего — как твое — любовью, страданием и всякой идеальностью» (Н. А. Некрасов. Собр. соч. в 12-ти томах, т. X. М., с. 328). А вот запись в дневнике Н. А. Добролюбова от 25 января 1857 года: «Вечером я решился читать Тургенева и взял первую часть... Что-то томило и давило меня; сердце ныло,— каждая страница... как-то сладостно-грустно отзывалась в душе... Наконец прочитал я «Три встречи» и с последней страницей закрыл книгу, задул свечу и вдруг — заплакал... Это было необходимо, чтобы облегчить тяжелое впечатление чтения. Я дал волю слезам и плакал довольно долго, безотчетно, от всего сердца, собственно по одному чувству, без всякой примеси какого-нибудь резонерства» (Н. А. Добролюбов. Дневники. 1851—1859. М., 1932, с. 224).

Но были и резкие отзывы. Братья Аксаковы вообще не приняли этого произведения, сочтя его безделицей. Строго отнесся к «Трем встречам» П. В. Анненков — главным образом осудив фантастический элемент рассказа, но отметив все же «несколько блестящих страниц» («Современник», 1853, № 1, с. 10).

Спустя одиннадцать лет после появления рассказа в печати Теодор Шторм писал немецкому художнику и журналисту Людвигу Ничу: «В «Трех встречах», как ни слабы они по композиции, есть что-то пленительное; главное в них не в событии, о котором повествуется, а в том впечатлении, которое оно производит на рассказчика; настроение, овладевающее им в результате этого события,— вот, собственно, тема... одним словом, он скрытый лирик...» («Литературное наследство», т. 76. М., «Наука», 1967, с. 582).

Стр. 395. ...*уехал из Сорренто, не посетив даже Тассова дома.*— Великий итальянский поэт Торквато Тассо (1544—1595) родом из Сорренто. Дом, в котором он родился, не уцелел. В 1840 г. мемориальным считался дом, где Тассо жил позднее.

Стр. 411. ...*статуя Галатеи, сходящая живой женщиной с своего пьедестала в глаза замирающего Пигмалиона.*— Согласно древнегреческому мифу, великий скульптор, кипрский царь Пигмалион, полюбил изваянную им прекрасную статую Галатеи. Вняв его мольбам, Афродита оживила статую.

Стр. 413. ...*звуки «однообразного и безумного» вальса.*— Ср. в пятой главе «Евгения Онегина» «однообразный и безумный, как вихорь жизни молодой» (строфа XL1).

МУМУ

Повесть написана весной 1851 года, в необычных условиях, «под арестом, на съезжей» в Петербурге (см. преамбулу к «Запискам охотника», с. 577). Напечатать «Муму» удалось лишь в мартовском номере «Современника» за 1854 год. Опубликование повести вызвало крайнее неудовольствие высших цензурных властей, а цензору «Современника» В. И. Бекстovu, разрешив-

шему явно антикрепостническое произведение к печати, было сделано замечание. В 1856 году, когда Тургенев готовил трехтомное издание своих повестей и рассказов (предпринятое по инициативе П. В. Анненкова), для того чтобы включить «Муму», пришлось испрашивать специальное разрешение министра просвещения А. С. Норова. Главное управление цензуры было вынуждено разрешить переиздание повести по соображениям политического характера, учитывая при этом психологию читателя: запрещение ранее публиковавшейся повести «могло бы *более обратить на нее внимание читающей публики* (курсив наш.— В. Ф.) и возбудить неуместные толки, тогда как появление оной в собрании сочинений не произведет уже на читателей того впечатления, какого можно было опасаться от распространения сей повести в журнале, с приманкою новизны» (Тургенев. Соч., т. V, с. 600). Это представление Главного управления цензуры и было санкционировано министром при сведении 31 мая /12 июня 1856 года (там же).

«Муму» — повесть-воспоминание, сюжет которой взят из жизни. Почти все прототипы ее персонажей — крепостные матери Тургенева, Варвары Петровны Лутовиновой. Сводная сестра писателя, В. Н. Житова, чье детство и юность прошли в Спасском, вспоминает: «Весь рассказ Ивана Сергеевича об этих двух несчастных существах не есть вымысел. Вся эта печальная драма произошла на моих глазах...» Прототипом Герасима был глухонемой дворник Варвары Петровны, человек редкой красоты и силы.

«Варвара Петровна щеголяла своим гигантом дворником...»

В Москве зеленая блестящая бочка и красивая серая в яблоках заводская лошадь, с которыми Андрей ездил за водой, были очень популярны у фонтана близ Александровского сада, — вспоминает мемуаристка... — Сила его была необыкновенная, а руки так велики, что, когда ему случалось меня брать на руки, я себя чувствовала точно в каком экипаже. И вот таким-то образом была я однажды внесена им в его каморку, где я в первый раз увидела Муму. Крошечная собачка, белая с коричневыми пятнами, лежала на кровати Андрея...» («Тургенев в воспоминаниях современников», т. 1. М., «Художественная литература», 1969, с. 60—61). Воспоминания Житовой, кроме своей достоверности, важны еще и по другой причине. Они дают возможность оценить истинную остроту тургеневского замысла. «Всем известна печальная участь Муму, — пишет Житова, — с тою только разницей, что привязанность Андрея к своей барыне осталась все та же...» В этой *разнице* и заключается суть повести. Герасим после гибели Муму покидает городскую усадьбу навсегда. «Он спешил без оглядки... к себе в деревню, на родину... Он шел... с какой-то *несокрушимой отвагой* (курсив наш.— В. Ф.), с отчаянной и вместе радостной решимостью...» Таким открытым финалом закончил Тургенев повесть, исходя из высшего представления о гуманизме и человеческом достоинстве.

Современная критика сразу же обратила внимание на повесть Тургенева, сравнивая ее с наиболее выдающимися рассказами из «Записок охотника» («Отечественные записки», 1854, № 4, с. 90—91).

С совершенно разных позиций, но одинаково высоко была оценена повесть как в славянофильском лагере Аксаковых, так и в западнических и демократических кругах, в частности А. И. Герценом. Он назвал Герасима русским «дядей Томом», как бы предугадав дальнейшую европейскую популярность небольшой повести Тургенева, при жизни писателя ставшей вровень с прославленным романом Бичер-Стоу (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XIII. М., Изд-во АН СССР, с. 177).

«Муму» оставила глубокий след в истории русской литературы. Чеховская «Каштанка» и один из наиболее трагических и значительных рассказов зрелого Чехова «Тоска» восходят к этой тургеневской повести, созданной опытным писателем.

ПОСТОЯЛЫЙ ДВОР

Повесть написана осенью 1852 года, когда Тургенев жил в Спасском под особым надзором полиции. Над «Постоялым двором» писатель работал с редким воодушевлением и закончил его меньше чем за месяц. До появления повести в печати она разошлась в списках в близких Тургеневу литературных кругах Москвы и Петербурга и быстро снискала популярность.

В «Постоялом дворе» Тургенев-художник одним из первых в России обратил внимание на совершенно новый тип, сложившийся в условиях крепостной деревни, — тип деревенского кулака, дельца, воротилы, который превосходил щедринских Колупаевых и Разуваевых. Среди тургеневских героев Науму особенно близки бурмистр из одноименного рассказа «Записок охотника» и Анна Харлова из «Степного короля Лиры».

По словам Тургенева, в основе повести — действительный факт, «выхваченный из жизни». История, послужившая сюжетом произведения, «буквально совершилась в 25-ти верстах» от Спасского — и «Наум жив и процветает до нынешнего дня» (Тургенев. Письма, т. II, с. 103).

Один из самых требовательных критиков Тургенева, П. В. Анненков, очень высоко отзывался о «Постоялом дворе», отметив возросшее художественное мастерство автора, которое, по его мнению, столь выразительно проявилось в этой повести: «Это вещь зрелая, обдуманная, спокойно выполненная, — писал Анненков, — и потому весьма замечательная, гораздо более замечательная, чем «Муму», да, по моему мнению, и все прежние Ваши рассказы. Еще ни в одном из них не было столько драмы (там же, с. 468).

Для Анненкова, человека достаточно консервативных взглядов, характерно его более позднее суждение о повести. Он считал, что «полемическое направление» «Постоялого двора» обречено в России («И. С. Тургенев. Статьи и материалы». Орел, 1960, с. 139). Но здесь критик оказался недалевидным, так как уже современник Тургенева, будущий «великий полемический писатель» (по терминологии Анненкова) Салтыков-Щедрин набирал силу: спустя несколько лет появятся его «Губернские очерки».

Сам Тургенев был более всего доволен отзывом С. Т. Аксакова, который «так верно понял все, что я хотел сказать» (Тургенев. Письма, т. II, с. 140).

10/22 марта С. Т. Аксаков писал Тургеневу, что в «Постоялом дворе» — «русские люди, русская драма жизни, некрасивая по внешности, но потрясающая душу...» (см.: Тургенев. Соч., т. V, с. 609). Аксаков был восхищен достоверностью всех героев повести, что особенно обрадовало Тургенева: «Ваша оценка каждого отдельного лица... меня просто возгордила», — отвечал автор «Постоялого двора» (Тургенев. Письма, т. II, с. 140).

Опубликована повесть в ноябрьском номере «Современника» за 1855 год со следами явной автоцензуры (подробно об этом см.: Тургенев. Соч., т. V, с. 611—614).

Появление в печати «Постоялого двора» не вызвало сколько-нибудь значительных выступлений критики. Важно, однако, отметить, что современники воспринимали повесть в одном ряду с такими шедеврами Тургенева, как «Певцы» и «Бирюк» (см.: К. Н. Леонтьев. По поводу рассказов Марка Вовчкя. — «Отечественные записки», 1861, № 3, с. 11, 13). И еще — нельзя пройти мимо такого факта: в ответ на запрос (1874) комиссии Комитета грамотности Московского общества сельского хозяйства, что может Тургенев порекомендовать из своих произведений в специальное «издание для народа», писатель ответил: «Позволю себе рекомендовать комиссии «Записки охотника», «Муму» — и особенно «Постоялый двор» (Тургенев. Письма, т. X, с. 210).

Стр. 440. ...*про степи черкасские*... — то есть южноукраинские. В народном языке в первой половине XIX в. еще нередко встречалось старинное название украинцев черкасами.

Стр. 450. ...*поднимать струшню* — то есть поднимать напрасный шум, устраивать склоку. Слово часто встречается и в более поздних произведениях Тургенева.

Стр. 454. ...*лакей, сладко дремавший на конике*. — Коник — «в крестьянской избе короткая, широкая и высокая неподвижная скамья (лавка) с ящиком под ней», куда кладут хозяйственные принадлежности, а на скамье — спят. Но коник часто бывал принадлежностью передних провинциальных помещичьих домов (см.: «Тург. сб.», вып. III, с. 175—176).

Стр. 474. ...*крестным ходом... в Коренную*... — Коренной пустынью назывался монастырь под Курском. Обычно в церковный праздник, 8 сентября, там устраивалась Коренная ярмарка, пользовавшаяся особой популярностью у местных крестьян.

ПОЕЗДКА В ПОЛЕСЬЕ

Творческая история этой повести Тургенева довольно сложна. Замысел ее, по всей вероятности, относится к 1850 году, ко времени работы писателя над циклом «Записок охотника», в частности, над рассказом «Певцы». Впервые упоминание о Полесье встречается в особом примечании к «Певцам» (в журнальной публикации рассказа это примечание было гораздо пространнее. — См.: «Современник», 1850, № 11, с. 109).

Исследователи творчества Тургенева связывают дальнейшее развитие замысла рассказа с намерением писателя сделать для «Охотничьего сборника», предпринятого Аксаковым в 1853 году, два очерка, один из которых должен был повествовать «о стрельбе мужиками медведей на овсах в Полесье» (Тургенев. Письма, т. II, с. 140, 149). Такого очерка Тургенев не написал. Но вскоре после поездки в июне 1856 года на охоту в Калужскую губернию Тургенев пишет «Поездку в Полесье»: начал он ее в России в ноябре — декабре, а закончил в Дижоне в феврале — марте. Писатель предполагал дать и подзаголовок: «Неизданный отрывок из записок охотника» (там же, т. III, с. 51).

Впервые «Поездка в Полесье» была опубликована в октябрьском номере журнала «Библиотека для чтения» за 1857 год (подробнее см. на с. 580).

В «Поездке в Полесье» воплотились многолетние размышления Тургенева над Человеком и Природой. «Поездка в Полесье» — первое произведение писателя, во многом предварившее философские обобщения в таких повестях, как «Довольно», романах «Отцы и дети», «Накануне», в «Стихотворениях в прозе». Особенно ясно прочитывается повесть в сопоставлении со статьей Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот» (начатой осенью того же, 1856 года, когда уже писалась «Поездка в Полесье») — она может служить своеобразным авторским комментарием почти ко всему творчеству зрелого Тургенева и к этой повести в том числе. К созданию образов полесских крестьян Тургенев подходит с общечеловеческими критериями: черты Гамлета и Дон-Кихота (в тургеневской интерпретации) причудливо переплелись в Егоре и Ефреме — своего рода антиподах. Это об одном из них (вернее, о его прототипе) рассказывал Тургенев в письме к Анненкову еще летом 1853 года: «Я на днях вернулся с довольно большой охотничьей поездкой. Был на берегах Десны, видел места, ни в чем не отличающиеся от того состояния, в котором они находились при Рюрике, видел леса безграничные, глухие, безмолвные... познакомился с весьма замечательной личностью, мужиком Егором — и стрелял много и много делал промахов. Вообще я доволен своей поездкой. Егор — это для меня новый тип, я с ним намерен поохотиться один целый день — и тогда расскажу Вам о нем, а теперь со мной был товарищ — хороший малый — простой, веселый человек не без лукавства и даже плутоватости, как оно и следует, — он мне несколько мешал в моих наблюдениях» (Тургенев. Письма, т. II, с. 173—174).

Повесть привлекла внимание современников. Герцен назвал ее «пансимпатичнейшею вещью» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXVI. М., 1962, с. 149—150).

Стр. 476. *Вечная Изида* — древнеегипетская богиня Изида, в мифологии — олицетворенное воплощение могучих и вечных сил Природы; образ, широко распространенный в мировой поэзии.

Стр. 482. *...точно свиток разгивался у меня перед глазами.* — Перифраза из стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (1828):

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток.

Стр. 485. ...двор на полозу... — то есть готовый к приему гостей.

Б Р И Г А Д И Р

Замысел «Бригадира» относится, как предполагают исследователи, к концу 1850 года — времени, когда после смерти матери Тургенев разбирал ее архив. Среди фамильных бумаг он обнаружил письмо (подлинный документ), чрезвычайно его заинтересовавшее. «Письмо это, — рассказывал Тургенев, — было написано к моей матери в 19 или 20 году одним отставным бригадиром, который рассказывал свою связь с лутовиновским семейством и просил приюта» (Т у р г е н е в. Письма, т. VI, с. 219). Автор этого «ужасающе печального письма» (Мериме) — Павел Никитич Козлов (см. об этом в публикации Н. М. Чернова. — «Неделя», 1968, № 35). Возможно, именно тогда в одном из планов (или «программ» «Записок охотника») возник сюжет, названный Тургеневым «Человек екатерининского времени». Есть все основания предполагать, что «Бригадир» и есть воплощение этого давнего замысла.

Писатель начал работать над рассказом в феврале 1867 года, по завершил его только после того, как было найдено (в мае) затерявшееся письмо бригадира, которое, по словам Тургенева, составляло «необходимую принадлежность... рассказа и давало ему смысл» (Т у р г е н е в. Письма, т. VI, с. 236). И вновь замечал, обращаясь к Анненкову: «Письмо его, по-моему, chef d'œuvre; к сожалению, не я — его автор» (т а м ж е, с. 251). Но Тургенев несколько преуменьшал свою роль творца — «документ» подвергся его художественной тончайшей правке, отчего приобрел еще большую достоверность (см. об этом: Т у р г е н е в. Соч., т. X, с. 434—435).

П. В. Анненков был уверен, что Тургенев включит рассказ в цикл «Записок охотника» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III. СПб., 1912, с. 258). Но «Бригадир» был опубликован в январском номере «Вестника Европы» за 1868 год.

Современники воспринимали новое произведение писателя как своеобразный русский вариант истории любви Вертера или кавалера де Грие. Маленький рассказ Тургенева по-своему «соперничал» с прославленными созданиями Гете и Прево.

Рассказ при жизни писателя был переведен на французский, английский, немецкий языки и получил европейскую известность. Друг и почитатель творчества Тургенева французский писатель Проспер Мериме сравнивал историю трагической любви одного «из самых блестящих полковников Суворова» с поэмой о Меджнуне и Лейли, «это так же печально», — писал он (см.: Т у р г е н е в. Соч., т. X, с. 439).

Из русских современников писателя особенно высоко оценил рассказ И. А. Гончаров: «Я почувствовал, что и во мне есть немного художника, — писал Тургеневу Гончаров, — художник и оценит больше всего эту малень-

кую вещь, напоминающую Ваше лучшее... чем Вы воздвигали себе прочный памятник,— то есть «Записки охотника» (И. А. Гончаров. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8. М., ГИХЛ, 1955, с. 372).

Интересно привести малоизвестное высказывание Валерия Брюсова об этой повести: «Бригадир» довольно характерная фигура; ее можно отнести к ряду тех, которых Тургенев вывел впоследствии в «Воспоминаниях своих и чужих»¹. Очень удачно бригадир выведен именно дряхлым стариком, в котором только изредка вспыхивает екатерининский кавалер. Эти вспышки — лучшие места в рассказе...» («Тургенев и его современники». Л., «Наука», 1977, с. 185).

Стр. 492. ...не походил на «Савельича» или на «Калеба»...—Тургенев противопоставляет самоуверенного и равнодушного слугу Маркиза пушкинскому Савельичу, преданному крепостному дядьке Гринева («Капитанская дочка») и старому Калебу Бальдерстону — верному службе Эдгара Равенсвуда (роман Вальтера Скотта «Ламмермурская невеста»).

Стр. 496. ...екатерининские суровые времена! — Намек на частые войны, которые велись в годы царствования Екатерины: с Турцией, Польшей, Швецией.

Стр. 497. ...Милонов-стихотворец сочинил?..— По всей вероятности, это умелая стилизация самого Тургенева, имитирующая сентиментальные стихи поэта М. В. Милонова, писавшего в начале XIX в.

Стр. 501. Черниговского Дерфельдена полка...— В. Х. Дерфельден (1735—1819) — боевой генерал, сподвижник Суворова, в молодости командовал Тверским карабинерным полком. В его честь был назван эскадрон лейб-гвардии конного полка. Прототип тургеневского бригадира П. Н. Козлов действительно был конногвардейцем (см.: Н. М. Чернов. Из разысканий о Тургеневе.— «Тургенев и его современники», с. 215).

...за штурм Праги в 1794-м году...— 4 ноября 1794 года русские войска под командованием Суворова штурмом взяли Прагу, что и предопределило исход войны. Далекий родственник семьи Лутовиновых-Тургеновых, генерал И. В. Аргамаков тоже «отличился при штурме Пражских ретрашаментов», за что и был награжден золотым знаком. Эти сведения собраны Н. М. Черновым, который не без оснований полагает, что Тургенев «почти наверное помнил И. В. Аргамакова по личным впечатлениям. «Бригадир» тематически связан с семьей Аргамаковых» («Тургенев и его современники», с. 215).

...маленький был, живой старичок.— В жизнеописании Суворова, выпущенном незадолго до начала работы Тургенева над «Бригадиром», есть такие свидетельства о Суворове периода войны с Польшей: он «не старелся. Ему было тогда 64 года, но, как живой и бодрый юноша, он изумлял своей

¹ Тонкое замечание Брюсова. Есть все основания предполагать, что Тургенев собирался создать целый цикл рассказов под этим названием, куда вошли бы и такие рассказы, как «Три портрета», «Три встречи», «Бригадир».

неутомимостью» («Русские люди. Жизнеописание соотечественников», т. I. СПб. и М., Изд. Вольфа, 1866, с. 251).

...В Варшаву-то на казачьей лошади въехал; сам весь в бриллиантах...— После штурма и взятия Праги (в ту пору предместья Варшавы) Суворов въехал в Варшаву во главе русского войска. Тогда «он был на казацкой лошади в вицмундире, без орденов, кроме георгиевской звезды...» (там же, с. 258). Но на следующий день Суворов «в полном мундире, украшенном бриллиантовыми эполетами и бриллиантовой петлицей на шляпе, во всех орденах своих, при шпаге, осыпанной бриллиантами, сопровождаемый своими генералами и чиновниками русского посольства, отправился посетить короля Станислава» (там же).

«Нет у меня часов, в Питере забыл, нету, нету!» — Гуськов вспоминает один из многочисленных рассказов-легенд о шутках русского полководца. Он никогда не носил часов. В Польшу Суворов отправился из действующей армии, через Брест, не заезжая в Петербург.

...а они-то: «Виват! виват!» — Великодушие Суворова, проявленное им после взятия Праги, потрясло варшавян. Русский главнокомандующий, разоружив, отпускал многих пленных. Так, например, в ответ на просьбу короля Станислава об освобождении одного пленного офицера он распорядился освободить пятьсот польских офицеров и солдат.

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР

Замысел повести относится к февралю 1869 года, когда Тургенев жил в Карлсруэ. Завершена же была повесть в Веймаре, весной 1870 года. Как и «Бригадир», повесть обращена в прошлое и связана с воспоминаниями Тургенева о жизни в Спасском, когда имением управляла его властная и суровая мать — В. П. Тургенева-Лутовинова. 11 марта 1869 года Тургенев писал Н. А. Кишинскому: «Я начал повесть, в которой главное действующее лицо, старик-помещик, задумал при жизни своей передать свое родовое имение двум своим дочерям». (Дело происходит в 40-м году.) (Т у р г е н е в. Письма, т. VII, с. 324—325).

Из формулярного списка героев повести, который Тургенев составил перед тем, как начать писать ее, известны некоторые прототипы. Так, в облике помещицы Наталии Петровны, покровительницы Харлова, выведена мать Тургенева. Квицинский, поляк-управляющий, списан с Кишинского, который в 60-х годах управлял имением Тургенева. Существует предположение, что прототипом главного героя повести послужил знаменитый на всю округу мценский силач Василий Семенович Протасов. В формулярном списке Тургенева указан в качестве прототипа некто Николай Семенович Протасов. Возможно, что писатель просто забыл имя. О Василии Семеновиче Протасове вспоминает А. Фет в своих известных мемуарах: «...он постоянно ездил на крешких беговых дрожках», и тургеневский Харлов «всюду разъезжал на визеньких беговых дрожках» (подробно об этой гипотезе см. в сб.

«Тургенев и его современники» статью Л. М. Лотман «Тургенев и Фет», с. 45—47).

Писатель создал повесть, в которой действительно ощущается шекспировский накал чувств и страстей, бушующих в его «степных» героях. Это ощутили современники, например, друг и — нередко — оппонент Тургенева А. А. Фет, воспринявший повесть как своего рода полемику с Шекспиром: «Точно философско-эстетическая критика на «Лира» Шекспира — дескать, вот что это значит...» («Тургенев и его современники», с. 47).

Герой Тургенева — личность необычайно яркая и самобытная. О том, как тщательно выстраивался писателем этот образ, свидетельствует правка в беловом автографе повести, скрупулезно прослеженная в комментариях к академическому изданию. Тургенев вписывает целые большие куски текста, повествующие «о смутных философских раздумьях героя, о неосознанном его стремлении к познанию тайн жизни и смерти... Харлов — «человек XVIII века». Отсюда его вольнодумство, уживающееся с мистическими толками о тайнах загробной жизни и силе страстей человеческих... его отказ от имущества выступает как результат... *стихийных нравственных исканий* (курсив нан. — В. Ф.), а не как прихоть самодура» (Т у р г е н е в. Соч., т. X, с. 487).

Стр. 511. ...*в золотую книгу записался.* — Возможно, Харлов имеет в виду «бархатную книгу» — сборник родословных князей и дворян русских и «выезжих», составленный после указа от 12 января 1682 г. об уничтожении местничества в палате родословных дел. «Золотой» же родословной книги просто не существовало.

Стр. 512. *Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.* — Великий князь московский Василий II Васильевич (1415—1462) был ослеплен галицким князем Димитрием Шемякой, поэтому и прозван «темным».

Стр. 515. ...*новиковского «Покоящегося Трудолюбца»*... — Московский журнал «Покоящийся трудолюбец» издавался Н. И. Новиковым в 1784—1785 гг. В журнале участвовали студенты и профессора Московского университета, в большинстве своем масоны. В ряде статей и стихотворений журнала развивались философско-мистические идеи о смерти и бессмертии.

...*«Но человек страстный... меня час-тливым!»* и т. д. — Цитата из статьи: «Рассуждения о беспорядках, производимых страстями в человеке, и о средствах, какие в таких случаях употреблять должно» (см. примеч. Тургенева на с. 515). Пафос статьи заключался в развенчании страстей человеческих и, в частности, гордости, как одной из самых пагубных, а также в призыве к смирению — необходимому условию на пути к нравственному самоусовершенствованию.

Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу... «Такова жизнь человеческая!» — Подобные изображения можно было увидеть в книге Н. М. Амбодика «Эмблемы и символы избранные, на российский, латинский, французский и английский язык предложенные», СПб., 1811. Книга

эта имела в библиотеке Спасского и в детстве произвела неизгладимое впечатление на Тургенева (см.: Тургенев. Письма, т. I, с. 201).

Стр. 529. *Рукою властной!*— Старинное юридическое выражение, означающее «собственноручно». Харлов, по-видимому, понимает его буквально, образуя от слова «власть».

Стр. 532. ...на «*Страшном судилище*» Микеланджело...— Речь идет о росписи алтарной стены Сикстинской капеллы, картине «*Страшный суд*» (1535—1541) кисти Микеланджело Буонарроти.

...он, по слухам, был при Потемкине «валторщиком»...— Князь Г. А. Потемкин умер в 1791 г. (более чем за 40 лет до описываемых в повести событий). «Валторщик» — музыкант, игравший в оркестре на валторне — духовом инструменте, напоминающем охотничий рог.

Стр. 536. *К Митрофанию съездишь...*— Митрофан — воронежский епископ; по смерти (1703) причислен к лику святых. К мощам его в Воронеже совершались паломничества.

...в Оптину пустынь...— древний Оптин-Троицкий мужской монастырь в Орловской губернии (существовал с XV в.) привлекал много паломников.

Стр. 537. «*Смерть есть важная и великая работа натуры... духовного себе места...*» и т. д.— Эти строки заимствованы из опубликованной в т. III «Покаяющегося трудолюбца» статьи: «Письмо с того света в Москву от Мумиага к сыну малая земля Муравью, живущему в Муравейнике». В статье с масонских позиций сделана попытка объяснить соотношение материального и духовного начал в жизни человека и истолковать проблему бессмертия души.

Стр. 544. *Талагаю-то этому?*— Талагай — лентяй, тунеядец. Это слово редко употреблялось русскими писателями. Кроме Тургенева, оно встречается у Мельникова-Печерского.

Стр. 552. ...возьму, мол, перебыю, перешыряю всех, чтобы и на семена не осталось.— Ср. в «Короле Лире» Шекспира: «И разбросай по ветру семена, рождающие людей неблагодарных» (перевод А. В. Дружинина).

Стр. 561. ...на лице одного к смерти приговоренного.— Имеется в виду Тропман — убийца целой семьи. 7/19 января 1870 г. Тургенев присутствовал на его публичной казни в Париже. Это событие описано им в очерке «Казнь Тропмана» («Вестник Европы», 1870, № 6, с. 872—890). Тургенев упоминает в очерке об улыбке удовольствия, появившейся на лице Тропмана, когда с него перед казнью сняли тяжелый тюремный камзол.

Стр. 562. *Али закон вспомнил... властен все назад потребовать?*— Слова эти являются сокращенной и несколько измененной цитатой из выписки «Правила из узаконений. Дарение». В разделе «Уничтожение дарения» третий пункт гласит: «Если принявший дар учинит покушение на жизнь дарителя, причинит ему побои или угрозы, оклеветает его в каком-либо преступлении или вообще окажет ему явное непочтение, то даритель имеет право требовать возвращения подаренного» (см.: Тургенев. Соч., т. X, с. 500).

СОДЕРЖАНИЕ

В. Кулешов. Тургенев — мастер рассказа и повести 5

ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

Хорь и Калиныч	27
Ермолай и мельничиха	37
Малиновая вода	47
Уездный лекарь	55
Мой сосед Радилов	63
Одюдворец Овсяников	70
Льгов	84
Бежин луг	93
Касьян с Красивой Мечи	110
Бурмистр	126
Контора	138
Бирюк	153
Два помещика	160
Лебедянь	168
Татьяна Борисовна и ее племянник	178
Смерть	188
Певцы	198
Петр Петрович Каратаев	213
Свидание	225
Гамлет Щигровского уезда	233
Чертопханов и Недопюскин	253
Конец Чертопханова	268
Живые мощи	296
Стучит!	307
Лес и степь	319

П О В Е С Т И И Р А С С К А З Ы

Три портрета	327
Дневник лишнего человека	350
Три встречи	391
Муму	415
Постоялый двор	437
Поездка в Полесье	476
Бригадир	491
Степной король Лир	510
Примечания В. Фридлянд	573

Тургенев И. С.

Т 87 Записки охотника.; Повести и рассказы./Вступ. статья В. Кулешова; Примеч. В. Фридлянд.— М.: Худож. лит., 1979.— 607 с. (Б-ка классики. Русская литература)

В том включены «Записки охотника», повести и рассказы разных лет, близкие этому циклу по своему идейно-художественному характеру.

Т $\frac{70301-262}{0281(01)-79}$ 2-79

Р1

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ
Русская литература

Иван Сергеевич Тургенев
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

*

Редактор
А. Краковская
Оформление «Библиотеки»
И. Сальниковой
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Силицына
Корректоры
М. Пастер
Н. Гришина

*

ИБ № 1450

Сдано в набор 27.11.78. Подписано
в печать 19.07.79. Формат 60×84^{1/16}.
Бумага типографская № 1. Гарнитура
«Обыкновенная». Печать высокая.
35,454+1 вкл.+6 нак.=36,912 усл.
печ. л. 38,509+1 вкл.+6 нак.=39,336
уч.-изд. л. Тираж 1 000 000 экз. (5-й
завод 800 001—1000 000). Заказ № 3431.
Цена 4 р. 20 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Октябрьской Революции и ор-
дена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли. Москва, М-54,
Валовая, 28

Scan Kreyder - 29.09.2019 - STERLITAMAK

